

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»

На правах рукописи

Красильникова Екатерина Ивановна

**ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(КОНЕЦ 1919 – СЕРЕДИНА 1941 г.)**

Специальность 07.00.02 – Отечественная история

**Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук**

Научный консультант – доктор исторических наук,
профессор В. А. Зверев

Новосибирск – 2016

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»

На правах рукописи

Красильникова Екатерина Ивановна

**ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(КОНЕЦ 1919 – СЕРЕДИНА 1941 г.)**

Специальность 07.00.02 – Отечественная история

**Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук**

Том 1

Научный консультант – доктор исторических наук,
профессор В. А. Зверев

Новосибирск – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ 1

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. КОММЕМОРАЦИИ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 1920–1930-х гг.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСТОЧНИКОВ	37
1.1. Городские коммеморации Западной Сибири межвоенного времени: историография вопроса	37
1.2. Основные источники исследования	83
ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ	113
2.1. Исторические кладбища Томска	113
2.2. Городские кладбища Новониколаевска-Новосибирска	145
2.3. Старые кладбища Барнаула	166
2.4. Городской некрополь Омска	177
ГЛАВА 3. ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ВЫЗОВЫ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ	194
3.1. Массовые торжественные похороны героев и жертв Гражданской войны и проблемы формирования военно-революционного героического некрополя в западно- сибирских городах	194
3.2. Проблемы создания мемориальных знаков на братских могилах жертв «колчаковщины»	222

3.3. Массовое прощание с В. И. Лениным, Ленинские дни и траурные мероприятия, приуроченные к смерти крупных советских политических деятелей	241
3.4. Похоронно-поминальные практики в повседневной жизни западно-сибирских городов	271
ГЛАВА 4. МАССОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ДИНАМИКА КОММЕМОРАЦИЙ	303
4.1. Коммеморативная составляющая Октябрьских торжеств	303
4.2. Массовые празднования юбилейных годовщин Первой русской революции.....	336
4.3. Годовщины местных событий Гражданской войны	346
ГЛАВА 5. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ: ПРОБЛЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОХРАНУ ПАМЯТНИКОВ	357
5.1. Омский краеведческий музей: диктат политики памяти и краеведческие инициативы музейщиков.....	357
5.2. Краеведческий музей Томска: судьба репрезентаций «томской старины»	396
5.3. Новосибирский краеведческий музей: история на службе государственной идеологии	416
5.4. Барнаульский краеведческий музей: незаметное существование	435
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	450
 ТОМ 2	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	3
ПРИЛОЖЕНИЕ	58
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	96

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Потребность общества в исторической памяти базируется на социально-психологических и аксиологических основаниях; историческая память лежит в основе формирования групповой идентичности и политического целеполагания. «Поиск» идентичности в периоды переломных исторических эпох ставит общество перед выбором: что нужно помнить о прошлом, а что можно забыть¹. В конце 1980-х гг. в нашей стране началось открытое обсуждение альтернативной относительно официального нарратива версии исторической памяти населения СССР о Гражданской войне, нэпе и «сталинщине». Потрясение, ставшее результатом осознания несоответствия между «историей» и «памятью», российское общество в некоторой степени переживает до сих пор, что находит отражение в отечественной гуманитаристике. В последние годы тематика, связанная с изучением исторической памяти советского общества, обрела в России, переживающей очередной «переломный момент» своей истории, особенную популярность.

Сегодня можно говорить и о возросшем интересе к проблемам социальной памяти в рамках зарубежной науки, о так называемом «мемориальном повороте» в историографии. В результате этого поворота не событие, а социальная память об этом событии все чаще становится предметом изучения историков². По словам П. Х. Хаттона, угасание коллективной памяти и традиций обостряет в век постмодерна научный интерес к проблемам памяти³. В современности традиции оказываются «раздробленными»; их изучение служит цели деконструировать стратегии отправления власти. Этот всплеск интереса происходит на фоне осознания противоречий между «книжной» историей и «живой»

¹ Савельева И. М. Перекрестки памяти [Электронный ресурс] // Хаттон П. Х. История как искусство памяти. – СПб., 2004. – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hatt/09.php (дата обращения: 20.02.2016).

² Леонтьева О. Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке // Диалог со временем. – 2015. – Вып. 50. – С. 59.

³ Хаттон П. Х. История как искусство памяти [Электронный ресурс]. – СПб., 2004. – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hatt/09.php (дата обращения: 20.02.2016).

поливариантной исторической памятью различных сообществ, а также под влиянием неослабевающей манипуляции общественным сознанием посредством государственной политики памяти. Сибирь, будучи частью СССР, ставшего ареной масштабных драматичных социально-политических событий первой трети XX в., оказалась в поле влияния советской политики памяти большевиков, пытавшихся «менять прошлое», конструировать определенные исторические образы в коллективной памяти. Содержание и средства советской политики памяти, каналы ее осуществления, ее рецепция обществом требуют уточнения, особенно на наименее изученных региональных материалах. Исследование этой проблематики принципиально важно в перспективе осмысления ценностной и идеологической составляющих исторической памяти современного российского общества, корни которой произрастают, в частности, из 20–30-х гг. XX в. – периода открытого насилия со стороны государства над исторической памятью общества и над традиционной культурой памяти.

Принципиальна фокусировка внимания в рамках данного исследования на городах Западной Сибири, являвшихся административными центрами губерний, преобразованных в 1925 г. в округа, а в 1937 г. – в области. В начале XX в. определилась новая историческая роль сибирских городов, которым уже в недалеком будущем суждено было стать центрами концентрации основных экономических и демографических ресурсов Сибири. Города развивались также как центры культурной и политической жизни. С установлением советской власти именно города стали основными центрами трансляции коммунистической идеологии. В городах началось формирование ландшафта коллективной памяти, создававшегося на основе новых идейных оснований, менявших облик обжитой среды. Историк А. С. Сенявский подчеркивает, что в этот период менялось само качество общества, перераставшего из сельского в городское¹. Траурные и праздничные коммеморации в городах, подчиненные целям пропаганды, были более масштабными и массовыми, нежели в сельской местности. За счет своих специфических пространственных, демографических, экономических и социокультурных характеристик урбанизированная среда представляет собой более благоприятное пространство для трансформаций форм и практик традиционной культуры, обусловленных модернизацией. Город сам по себе является фактором изменений коллективной памяти. Иными словами, город

¹ Сенявский А. С. Российский тоталитаризм: урбанизация в системе факторов его становления, эволюции и распада // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.). – М., 1999. – С. 7–33.

как особый социокультурный организм играет свою, до сих пор практически неизученную роль в трансформациях культуры памяти, в процессах формирования ландшафта коллективной памяти и осуществления коллективных коммемораций.

Необходимо отметить и то, что в Западной Сибири в 20–30-х гг. XX в. был сильно обеднен культурно-исторический ландшафт. Лишившись значительного числа достопримечательностей, города нашего региона во многом утратили привлекательность с точки зрения культурного туризма и краеведения. Один из наиболее ярких примеров разрушений межвоенного периода – исторический некрополь, имевший источниковедческую, эстетическую и мемориальную ценность. Уничтожение памятных мест неизбежно сопровождалось процессами деградации традиционной культуры памяти. Такая деградация и в настоящее время представляет собой серьезную проблему. Созданные в западносибирских городах межвоенных лет революционные мемориалы до сих пор составляют основу ландшафта коллективной памяти. Однако слабо осмыслены основания и принципы их включения в культурно-историческую среду городов нашего региона, специфика их сосуществования со старыми памятными местами и включения в коммеморативные практики (функционирования). Необходимо уточнение и их символического значения. Важную роль в формировании исторической памяти сибиряков в 1920–1930-х гг. играли музеи, деятельность которых в обозначенном аспекте также до сих пор практически не изучена. Вышесказанное дает основание подчеркнуть краеведческую значимость данного исследования, его воспитательный и просветительский потенциал.

Хотя изучение развития коммемораций в Сибири XX в. только начинается, можно признать, что историками, культурологами, этнографами, музеоведами и краеведами создана историографическая почва для подготовки обобщающего исследования, посвященного основным коммеморациям в западносибирских городах 1920–1930-х гг. В первой главе диссертации охарактеризована степень изученности данной проблематики. Здесь лишь остается отметить, что к настоящему моменту в значительной степени изучен социально-политический и идеологический контексты интересующей нас проблематики, широко разработана тема, посвященная общественному сознанию населения СССР межвоенных лет, политической культуре этого времени и политическим настроениям в обществе. Кроме того, давно и активно изучаются вопросы некрополистики, исторической эртологии, истории музейного дела и мемориальной культуры в Сибири. Однако большая часть этих исследований выполнялась в рамках краеведения, этногра-

фии и музееведения. Попыток комплексного изучения различных коммемораций в историческом контексте на материалах Сибири 20–30-х гг. XX в. до сих пор не предпринималось. Этот вывод является основанием для постановки цели и задач данного исследования.

Цель настоящего исследования – раскрыть динамику основных коммемораций в городах – административных центрах Западной Сибири в условиях становления и развития советской политической системы и связанных с ней контекстов социально-экономической, культурной и повседневной жизни в СССР на этапе между концом 1919 и серединой 1941 г.

Важно подчеркнуть, что динамика – это сущностная характеристика коммемораций, которые априорно изменчивы и в своем содержании, и в оформлении. Термин «динамика» имеет широкий общенаучный смысл, он используется не только в рамках гуманитарных наук, но и в естественнонаучном и онтологическом смыслах. Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяет динамику в широком смысле как «движение, действие, развитие, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него сил, противопоставляемое состоянию относительного равновесия»¹. С точки зрения нашего исследования важно определить, что именно понимается под динамикой в социально-гуманитарных науках, когда говорится об исторической динамике и динамике общества. В социальном смысле понятие «динамика» начал использовать О. Конт для обозначения процессов изменений социальных явлений, их обусловленности, направленности и последствий. В рамках обозначенной проблематики социальной динамики изучались факторы, влияющие на изменения, закономерности приспособления индивидуума к системе общественных отношений или общества к новым условиям². В рамках нашего исследования мы имеем в виду историческую динамику коммемораций: их трансформацию, обусловленную менявшимися со временем политическими, социально-экономическими и культурными условиями; тенденции их развития, как в традиционном, так и в новационном аспектах, а также изменения восприятия коммемораций обществом.

Под политической системой, выступавшей главным условием динамики советских коммемораций, мы подразумеваем сложную, разветвленную совокупность различных

¹ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1993. – С. 168.

² Динамика [Электронный ресурс] // Философский энциклопедический словарь. – М., 1993. – URL: http://mirslivarej.com/content_soc/dinamika-1398.html#ixzz39zuzokZc (дата обращения: 10.11.2015).

политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть. Политическая система включает в себя государство, партийную систему, политические отношения, политический режим, легитимность, политическую культуру, политическую деятельность. В структуре политической системы выделяют три подсистемы: институциональную (государство, политическая инфраструктура, средства массовой информации), нормативную (право, мораль, нормы общественных организаций, обычаи и традиции) и идеологическую¹.

Для реализации поставленной цели нам предстояло решить *ряд взаимосвязанных задач*.

1. Раскрыть содержание и эволюцию историографической традиции в научной рефлексии памятных мест и коммеморативных практик, а также представить аналитический обзор источников, лежащих в основе данного исследования.

2. Дать краткую характеристику основным коммеморациям дореволюционного периода: традициям культуры некрополя городов Западной Сибири, стандартам организации похорон крупных политических деятелей и народным похоронно-поминальным традициям, принципам организации массовых политических праздников, приуроченных к памятным датам, в целом в стране и в Западной Сибири; деятельности городских музеев Западной Сибири, направленной на репрезентацию исторического прошлого в экспозициях и выставках, а также деятельности в сфере охраны местных памятников истории.

3. Установить политические, социально-экономические, а также культурные условия и факторы изменений в коммеморативной сфере культуры городов Западной Сибири межвоенных лет.

4. Выявить содержание советской политики памяти, выраженное в законодательстве, отдельных распоряжениях и высказываниях представителей центральной и местной власти относительно исторического некрополя городов и похоронных практик, бытовавших на уровне частной жизни городского населения; в выборе всесоюзными и местными комиссиями и комитетами отдельных ритуальных элементов массовых праздничных и траурных торжеств; в законодательных инициативах и директивных распоряжениях государственных органов управления музейным делом, направленных на

¹ Система политическая // Политология: слов.-справ. – Новосибирск, 2006. – С. 390–392.

изменение задач экспозиционной, выставочной и памятно-охранительной деятельности краеведческих музеев.

5. Определить и охарактеризовать каналы трансляции государственной политики памяти и особенности ее реализации на практике в городах Западной Сибири.

6. Выявить на материалах Томска, Омска, Новосибирска и Барнаула межвоенных лет динамические характеристики традиций в сфере некрокультуры (культуры городского некрополя, похоронно-поминальных практик), в массовых торжествах, приуроченных к памятным датам, в подходах к музейным репрезентациям исторического прошлого и в памятно-охранительной деятельности музеев; а также определить и описать динамику этих традиций в исторических условиях периода между Гражданской и Великой Отечественной войнами.

7. Выявить и охарактеризовать советские нововведения (новации) в ритуальной сфере траурных и праздничных коммемораций, в принципах кладбищенского хозяйствования и организации символического пространства некрополя, в подходах к созданию музейных репрезентаций прошлого в рамках выставочно-экспозиционной деятельности и деятельности, направленной на охрану памятников.

8. Определить варианты отношения населения к разным коммеморативным практикам и памятным местам, а также формы рецепции жителями городов Западной Сибири изменений, происходивших в коммеморативной сфере культуры в период с конца 1919 до середины 1941 г.

Объектом исследования являются *основные коммеморации* в городах – административных центрах Западной Сибири: *памятные места* (некрополь, военнореволюционные памятники, историко-краеведческие музеи), *коммеморативные практики* (праздничные и похоронно-поминальные), а также *политика памяти*.

Предмет исследования определяется нами как *динамика коммемораций*, изучение которых предполагает обращение к вопросам об исходном состоянии коммемораций, сложившемся к началу изучаемого периода, о факторах их воспроизведения и трансформации в условиях формирования советской политической системы, а также о воздействии на развитие коммемораций социально-экономических факторов, контекстов духовной и повседневной жизни; о роли различных социальных агентов динамики коммемораций (институтов власти, законодательства, тенденций развития культуры, традиций и конкретных людей); об идеологическом смысле содержания коммемораций, вы-

раженном в политике памяти; о культурных формах их существования и бытования, специфике восприятия различными социальными группами процессов развития коммерций.

Территориальные рамки исследования ограничиваются пределами четырех городов, имевших статус главных административных центров Западной Сибири: Томска, Омска, Новониколаевска (Новосибирска) и Барнаула. Выбор этих городов объясняется тем, что они представляют собой историческое ядро Западно-Сибирского региона. В административном отношении на протяжении всего изучаемого периода эти города оставались в составе Сибири, в отличие, к примеру, от Тюмени, которая в 1923 г. вошла в состав Уральской области. С 1804 г. Томск оставался центром Томской губернии. В апреле 1917 г. была создана Алтайская губерния с центром в Барнауле. В августе 1919 г. Омск стал центром Омской губернии. В июне 1921 г. была сформирована Новониколаевская губерния из частей Томской, Омской и Алтайской. В 1925 г. был создан Сибирский край, административным центром которого стал Новониколаевск (с 1926 г. – Новосибирск). Помимо Омской, Томской и Алтайской губерний, в состав края вошли также Енисейская губерния (с центром в Красноярске) и Ойротская АО. Однако города – центры двух последних административных единиц мы не включаем в территориальные рамки нашего исследования, поскольку традиционно в силу географических обстоятельств Красноярск считается городом Восточной Сибири, как и Иркутск – центр губернии, присоединенной к Сибирскому краю в 1926 г. В Ойротии (ныне – Республика Алтай) существовала выраженная национальная специфика, не позволяющая включить ее в единое социокультурное пространство Западной Сибири, где доминировало русское население. После реформы административно-территориального деления СССР (1930 г.), проводившейся с целью разукрупнение краев и областей, был выделен Западно-Сибирский край с центром в Новосибирске, в составе которого оказались Барнаул, Томск и Омск, а также Ойротия и Хакасия, которая вскоре отошла ко вновь образованному Красноярскому краю. В 1937 г. Западную Сибирь разделили на Новосибирскую область (Томск был в ее составе) и Алтайский край с центром в Барнауле¹.

Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом с конца 1919 до середины 1941 г. Именно в конце 1919 г. в Омске, Томске, Новониколаевске и Барнауле

¹ Тархов С. Изменения административно-территориального деления России в XVIII–XX вв. // Логос. – 2005. – № 1. – С. 72–84.

была восстановлена советская власть. Фактически в стране и в регионе еще продолжалась Гражданская война, но в городах – административных центрах Западной Сибири боевые действия прекратились. Уже к этому времени относятся первые масштабные коммеморации, организованные большевиками. Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война резко изменила повседневную жизнь сибиряков, что отразилось на траурных и праздничных коммеморативных практиках, государство поставило новые задачи в сфере политики памяти. Весь обозначенный период мы условно называем межвоенным. Осуществленное нами исследование позволяет учитывать и внутреннюю периодизацию, которая обычно используется историками, изучающими политические и экономические процессы в СССР. Проведенное нами исследование дает возможность убедиться в том, что эта периодизация подходит и для истории коммемораций, которые зависят от политики и экономики.

На первом этапе с конца 1919 до 1929 г. происходило восстановление экономики страны, осуществлялось преодоление хозяйственной разрухи, осуществлялась новая экономическая политика, свернутая правительством в 1928 г. Одновременно большевики вели борьбу с контрреволюцией. Внутри партии шла активная борьба, постепенно укреплялся сталинский политический режим, оцененный в дальнейшем частью историков как тоталитарный. На этом этапе происходило утверждение советских методов пропаганды, посредством которой осуществлялась мобилизация общества на достижение политически обусловленных задач.

Второй выделяемый нами этап длился с 1929 до середины 1941 г. В советской историографии соответствующий этап характеризовался как время «развернутого социалистического строительства», успехи которого восхвалялись. 1929-й год сам И. В. Сталин назвал «годом великого перелома», подразумевая смену экономического и политического курса, резкий переход к коллективизации и форсированной индустриализации. Как в отечественной, так и в англоязычной историографии существует также выражение «сталинская революция сверху»¹ («Stalin's revolution from above»²), означающее этап истории СССР с конца 1928 до середины 1941 г. Данный этап характеризуется переходом от «коллективного руководства» к единоличной диктатуре вождя. В стране пропагандировалась начинавшаяся эпическая борьба за индустриализацию, правительство

¹ Хлевнюк О. В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – М., 2010 и др.

² Tucker R. C. Stalin in Power: the Revolution from Above, 1928–1941. – N. Y., 1990 и др.

взяло курс на форсированные темпы создания мощной национальной промышленности. В 1930 г. развернулись сплошная коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. Вспыхнуло массовое народное недовольство, одновременно фиксировался энтузиазм значительной части общества, одобрявшей политику государства. Поднялась первая в последующем десятилетии волна политических репрессий. Все эти события сопровождались изменениями в области политики памяти, что отразилось на отношении власти к роли музеев в процессах формирования определенной версии коллективной исторической памяти масс, к дореволюционным и новым памятным местам. Иным смыслом наполнились и массовые коммеморативные практики. Во второй половине 1930-х гг. устойчивое, практически центральное место в коммеморативном нарративе заняла фигура живого генерального секретаря партии И. В. Сталина. Так выстраивалась однозначная концепция связи времен: прошлого, настоящего и будущих перспектив. Государство стремилось в этот период к тому, чтобы всецело подчинить себе коммеморативную сферу культуры и процессы мемориализации во всей стране.

Методология исследования. Исследование, представленное в данной диссертации, выполнено в общем контексте так называемого «культурного поворота», который с 1970-х гг. и по сей день задает один из векторов развития историографии политической истории, как и исторической науки вообще. «Культурный поворот» отразил стремление гуманитариев к познанию «культурного измерения» исторических, социальных и политических реалий. В частности, это означает поиск возможностей увидеть не только традиционно изучаемые историками контуры политики, но и механизмы власти, которые функционировали за пределами собственно политики, около политики: в сфере массовой культуры, искусства, просвещения и т. д.¹

В англоязычной историографии 1980-х гг. обнаружилось противостояние позиций традиционных советологов и «ревизионистов», настаивавших на необходимости изучения культурной истории как некоей цепи релевантных событий в области культурной и интеллектуальной жизни. Именно в контексте данного противостояния пришло осознание того, что ни политическая, ни социальная история не могут быть полноценно рассмотрены вне культурной и интеллектуальной истории². «Ревизионисты» впервые обра-

¹ Takiguchi J. Cultural History of Early Soviet Russia and Its Repercussion to Political History // Acta Slavica Japonica. – 2008. – Vol. 25. – P. 224.

² Добренко Е. М. Сталинская культура: вслушиваясь в письмо, читая голос [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. – URL: <http://www.nlobooks.ru/node/2642> (дата обращения: 03.11.2015).

тили внимание на массовые зрелища, юбилеи, музеи, кино и «вечера воспоминаний», ставшие уже в начале 1920-х гг. формами выражения различных версий коллективной памяти коммунистов и беспартийных граждан, а значит, и различного осмысления процессов политизации истории¹. Это позволило расширить представление о политическом, поставить вопрос о «политическом воображаемом», об общественной рецепции государственной политики, о влиянии различных средств пропаганды и индокринации на сознание и стратегии поведения людей, о неформальных ресурсах политики, а также о процессах «обмирщения» политического, включения политики в контексты повседневности.

Базовой методологической опорой нашего исследования служат работы, выполненные в рамках направления исследований, известного на Западе как «*memory studies*» («*memory research*») и представленного как во французской (П. Рикёр, М. Хальбвакс, П. Нора и др.), так и в немецкой (Т. Адорно, Я. Ассман, Ю. Хабермас, Ю. Шеррер и др.) исторических школах². С начала XXI в. специалисты в области философии истории говорят и о формировании новой парадигмы истории: от изучения «общества» историки переходят к изучению «памяти» (Д. Динер). Э. Г. Эксле называет «историческую память» «новой парадигмой исторической науки»³, утверждение которой требует допустить плюрализм памятей и интерпретаций истории⁴, а также признать, что «одной истории одного мира больше не существует»⁵. Возрастание интереса к исторической памяти разные исследователи характеризуют в таких категориях, как «мемориальный поворот», «мемориальный уклон», о современности даже говорят, как о «мемориальной эпохе»⁶.

Согласно заключению Б. Зелицера, «общие контуры» исследований, ведущихся в рамках «*memory studies*», таковы: коллективная память трактуется как процесс постоянного развертывания, трансформаций и видоизменений; считается, что коллективная память непредсказуемо отражает прошлое (не всегда рационально и логично); коллективная память рассматривается с точки зрения вырабатываемых ею стратегий обращения со временем в интересах тех или иных социальных групп; память рассматривается в связи

¹ Corney F. C. *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution*. – Ithaca; L., 2004. – P. 10.

² Хаттон П. X. Указ. соч.

³ Эксле О. Г. История памяти – новая парадигма исторической науки // Историческая наука сегодня: Теории. Методы. – М., 2012. – С. 78.

⁴ Там же. – С. 79.

⁵ Там же. – С. 89.

⁶ Леонтьева О. Б. Указ. соч. – С. 59.

с пространством, «местами» (а также «фигурами», под которыми подразумевается память о персонах) и ландшафтами памяти, прослеживается топография социально значимых воспоминаний; коллективная память понимается как субстанция избирательная, социально распределенная, потенциально конфликтная; она воспринимается в «инструменталистской» перспективе, с точки зрения использования ее социальными группами для достижения определенных целей и получения тех или иных выгод и преимуществ¹.

Понятийный аппарат «memory studies» обширен и неоднозначен в определениях. Поэтому необходимо объяснить значение и контекст использования основных понятий, применяемых автором данного исследования: «*социальная память*», «*коллективная память*», «*историческая память*», «*коммеморация*», «*политика памяти*», «*проработка прошлого*».

Выбор определений заставляет обратиться, прежде всего, к работам социолога М. Хальбвакса – одного из наиболее авторитетных родоначальников «memory studies», представителя школы Э. Дюркгейма. Еще в 1920-х гг. Хальбвакс пришел к выводу о том, что память – это не чисто индивидуальный процесс хранения и обработки полученных впечатлений, этот процесс определяется обществом. Воспоминания индивида строятся по модели, заданной не прошлым, а нынешним обществом, которым заведомо сформирован некий социально-мемориальный каркас – опорные, базовые воспоминания, названные Хальбваксом «*ориентирами*», или «*рамками*» памяти. «Рамки» воспоминаний задаются также их пространственно-временным фоном. Это чрезвычайно важно учитывать, поскольку социальная память не отличается статичностью, она меняется в зависимости не только от политики, но и от временных и пространственных обстоятельств. Большинство воспоминаний, согласно выводам Хальбвакса, возникают у индивида тогда, когда их актуализируют окружающие, «свои собственные воспоминания человек, как правило, приобретает, воссоздает в памяти, узнает и локализует именно в обществе»². Кроме того, коллективные рамки памяти «служат орудием, которым пользуется коллективная память для воссоздания таких образов прошлого, какие в данный период согласны с господствующими идеями данного общества»³.

¹ Цит. по: Васильев А. Г. Современные «memory studies» и трансформация классического наследия // Диалог со временем: память о прошлом в контексте истории. – М., 2008. – С. 20–21.

² Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М., 2007. – С. 28.

³ Там же. – С. 30.

Согласимся с наблюдением П. Рикера, который отметил некоторое преувеличение значения социальных рамок памяти над ее индивидуальной составляющей в выводах, сделанных М. Хальбваксом. Рикер справедливо, на наш взгляд, корректирует вывод Хальбвакса, акцентируя его же выражение, не вынесенное в резюме: «Каждая индивидуальная память является точкой зрения на память коллективную... эта точка зрения меняется в зависимости от занимаемого мной места... это место само меняется в соответствии с отношениями, которые я поддерживаю с другими социальными кругами»¹.

М. Хальбвакс разводит понятия социальной (коллективной) и исторической памяти. Ключевыми характеристиками социальной (коллективной) памяти в контексте нашего исследования являются следующие тезисы. Во-первых, *социальная память* – это сильно расширенный вариант автобиографической памяти, которая дополнена памятью других членов социальной группы о наиболее значимых для нее событиях. Во-вторых, индивидуальная и коллективная память теснейшим образом имманентно взаимосвязаны, они взаимно проникают друг в друга. В своей работе «Коллективная память» Хальбвакс отметил, что запоминание дат, фактов, названий, крупных событий, важных персонажей, праздников, которые нужно отмечать, характерно для изучения школьником истории, которая пока не наполняется переживаниями и не соотносится с живой памятью². В-третьих, социальная память изменчива и непостоянна, она разная у разных социальных групп, эмоциональна и противоречива. В-четвертых, будучи содержательно изменчивой, социальная память обычно фиксирует мысль о неизменности социальной группы, поскольку социальная память должна поддерживать существование этой группы. Таким образом, социальная память – это фактор формирования и поддержания идентичности группы, которая постоянно переосмысляет и «реорганизует» прошлое. В-пятых, при повторениях память меняется: со временем индивидуальные версии памяти, принадлежащие разным субъектам, сливаются в стереотипные образы, которые сообщают форму коллективной памяти. Отличительная специфика индивидуальных воспоминаний стирается, происходит движение к идеализированному образу – *имаго*, который может отразиться в некой материальной (символической) форме. Память неизбежно угасает с исчезновением самой группы. Коллективная память, по мнению Хальбвакса, не совпа-

¹ Цит. по: Рикер П. Память, история, забвение. – М., 2004. – С. 173.

² Рикер П. Указ. соч. – С. 547.

дает с историей, «история начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, затухает или распадается социальная память».

В адрес концепции М. Хальбвакса, оформленной еще в 1920-х гг., неоднократно звучали критические замечания. Существование самой коллективной памяти подвергалось сомнениям. В этой связи необходимо остановиться на отдельных уточнениях в общей теории коллективной памяти, предлагаемых современной наукой. Обобщая имеющийся опыт ученых, работающих над теорией коллективной памяти в настоящее время, А. Ассман различает несколько видов памяти. Память человека, отражающую его собственный жизненный опыт и опыт его семьи в трех поколениях, А. Ассман предлагает считать «индивидуальной памятью», оказывающей решающее воздействие на ориентацию человека во времени. «Социальную память» этот исследователь предлагает определить принадлежностью целому поколению и иным большим социальным группам. Такая память «живет» порядка 80–100 лет, отражается преимущественно в устном нарративе и имеет межпоколенный характер коммуникации. «Коллективная память», по мнению А. Ассман, совпадает с национальной или политической памятью, для которой характерна выработка политических мифов как культурных конструкций, оказывающих существенное воздействие на настоящее и будущее. Наконец, «культурная память» характеризуется как более емкое и глобальное понятие. Будучи отраженной в символах, монументах, годовщинах, ритуалах, текстах, картинах, она имеет транспоколенный характер коммуникации и может существовать без ограничений во времени при условии перевода сохраненной информации в акты коммуникации и приобретение опыта¹.

Как происходит сближение живой социальной памяти с «большой» историей масштаба страны и нации и как формируется феномен «*исторической памяти*»? Изначально над памятью индивида осуществляется насилие, приходящее извне, усилиями трансляторов «большого» исторического нарратива (учителей, ученых, экскурсоводов и др.), но постепенно индивид свыкается с непривычной чуждостью исторического прошлого. «Вживание» в «большой» (национальный, государственный) исторический нарратив происходит при помощи общения с литературой, с родственниками, которые открывают память о предках, с людьми, относящимися к разным социальным группам и способными так или иначе «оживить» в своих воспоминаниях прошлое. Со временем и личная, и коллективная память обогащается историческим прошлым, так формируется именно

¹ Ассман А. Длинная тень прошлого: метериальная культура и историческая политика. – М., 2014. – С. 19–61.

историческая память – гибрид, прежде всего, книжной истории и живой социальной памяти. По выражению философа В. В. Панкова, «историческая память – это фактор, обеспечивающий идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных групп, формирующегося у них чувства общности и достоинства»¹. П. Рикер считает, что главным референтом исторической памяти является нация. Но между индивидом и нацией имеется много других групп, в частности, профессиональных, религиозных, семейных, поэтому между коллективной памятью и памятью исторической продолжает существовать скрытое несогласие: они далеко не всегда гармонично переключаются, могут даже конфликтовать и вытеснять одна другую.

Как уже говорилось, понятие «историческая память» остается дискуссионным. Уточняются его содержание, отличия от понятий «историческое сознание» и «исторические представления». По наблюдению Л. П. Репиной, «характерная для социальной (групповой) памяти избирательность (тенденциозность) действует от ситуации настоящего – через идеал “светлого” будущего (в той или иной его версии) или, напротив, из страха перед ним, рождающего ностальгический культ “славного” прошлого, – к образу минувшего, соответствующего заданной исторической траектории»². Репина продолжает: «При таком “встречном” движении речь может идти как о сознательной манипуляции прошлым со стороны власть предержащих или их оппонентов, так и об эффектах коллективного бессознательного»³. В этом плане особенно перспективным выглядит изучение кульминационных точек истории, ее переломных периодов, всегда отмеченных высоким общественным интересом к прошлому, острыми политическими дебатами, конкуренцией социально-политических проектов и «позиционной войной» в историографии. Данный вывод особенно значим в контексте нашего исследования.

Историческая память общества выражается в *коммеморациях*, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Однако и в индивидуальной коммеморации отражен социальный контекст. Под коммеморацией мы подразумеваем сознательный социальный акт передачи нравственно, эстетически, мировоззренчески или технологически значимой информации (или актуализации ее) путем увековечения определенных лиц и событий, то есть введения образов прошлого в пласт современной куль-

¹ Панков В. В. Проблема рационального и иррационального в историческом познании: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Магнитогорск, 2006. – С. 14.

² Репина Л. П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. – 2004. – № 5. – С. 39.

³ Там же.

туры¹. Коммеморация также может быть понята как процесс, который мобилизует разнообразие дискурсы и практики в репрезентации события, содержит в себе социальное и культурное видение памяти о событии и служит выражением солидарности группы².

Формы коммемораций разнообразны: от фотографии до реабилитации жертв политических репрессий. В рамках данного исследования мы выделяем следующие коммеморации: 1) *памятные места* – объекты материальной среды, обжитой человеком, намеренно созданные с целью запечатления, хранения и трансляции коллективной памяти об актуальных для общества исторических событиях и лицах. К памятным местам мы относим кладбища (некрополь), скульптурные памятники и монументы, установленные в честь исторических деятелей и исторических событий, а также экспозиции и выставки исторических (краеведческих) музеев; 2) *коммеморативные практики*, предполагающие целенаправленную, часто стереотипную и ритуализованную деятельность, необходимую для сохранения и трансляции коллективной памяти. В рамках нашего исследования под коммеморативными практиками мы подразумеваем похоронно-поминальные практики, торжества, посвященные годовщинам и юбилеям важных для государства и общества политических событий, историко-экскурсионную и памятнико-охранительную деятельность музеев.

Мы ограничили выбор объекта исследования основными коммеморациями из числа тех, которые организовывались в публичном пространстве городов Западной Сибири и испытывали выраженное воздействие политики памяти. Кладбища, монументы и краеведческие музеи представляли собой важнейшие элементы системы памятных мест каждого из городов. Официальные траурные и юбилейные торжества являлись наиболее масштабными и регулярными коммеморативными практиками, в которые включалась основная масса населения. Частные похороны, испытывавшие влияние политики памяти, были, так или иначе, актуальны для всех жителей городов. Необходимо добавить, что современная англоязычная практика исторических «memory studies» демонстрирует устойчивый интерес к некрополю, похоронным и праздничным коммеморациям, а также к музейным репрезентациям прошлого и формам мемориализации исторических событий. В настоящее время исследования, посвященные этой проблематике, объединяются под обложкой журнала «Memory studies», претендующего на обобщение соответствующей

¹ Святославский А. С. Среда обитания как среда памяти: к истории отечественной мемориальной культуры: автореф. дис. ... д-ра культурологии. – М., 2012. – С. 1.

² Sherman D. The construction of Memory in Interwar France. – Chicago, 1999. – P. 7.

щего опыта в рамках разных дисциплин, информирование об этом опыте читателей и на создание «критического форума» для обсуждения эмпирических, методологических и теоретических вопросов¹. В отечественной историографии эти сюжеты разработаны слабо, особенно на региональных, в том числе и сибирских, материалах. Именно поэтому мы считаем уместным предложить в диссертации соответствующее обобщение, которое может послужить базой для дальнейшего специализированного изучения отдельных коммемораций.

Помимо указанных выше понятий, мы также предлагаем использовать термины «*салютационные места*» и «*салютационные практики*» – от лат. «saluto», означающего «приветствие», «приветствованные», «визит для засвидетельствования почтения». Введение этих понятий позволяет акцентировать торжественность, особенно уважительное и признательное отношение со стороны общества к коллективной памяти об отдельных событиях и лицах. К примеру, «салютационным местом» для большевиков начала 1920-х гг. являлся коммунистический некрополь, в то же время статус «салютационного места» в глазах этой социальной группы утрачивает некрополь старой дореволюционной элиты.

Коммеморации формируются как на уровне *коммуникативной памяти* – «живой», бытующей в повседневной жизни, выражаемой в устных рассказах, в спонтанной мемориализации, в похоронно-поминальных практиках, так и на уровне *культурной памяти* – монументальной, официальной, «твердой», малоэмоциональной, канонизирующей культурные тексты о событии². В более широком смысле можно говорить о «*коммеморативной культуре*» (культуре коммеморации, мемориальной культуре) – о культуре увековечивания памяти, современной мемориализатору, и о культуре реконструкции культуры, прошлой (ушедшей) по отношению к современности³.

Коммеморации противостоит *забвение* – совокупность социально значимых пробелов в коллективной памяти⁴. Забвение может происходить как естественно, так и в результате спланированных стратегий. Цели забвения могут быть различными: от кары до

¹ Editorial / A. Hoskins, A. Barnier, W. Kansteiner, J. Sutton // *Memory Studies*. – 2008. – №1. – P. 5.

² Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах Древности. – М., 2004. – С. 50–62.

³ Святославский А. В. История России в зеркале памяти: механизмы формирования исторических образов. – М., 2013. – С. 9.

⁴ Васильев А. Г. Культурная память / забвение и национальная идентичность: теоретические основания анализа // Культурная память в контексте формирования национальной идеи России в XXI в. – М., 2011. – С. 10.

амнистии¹. Характеризуя процессы забвения, происходившие в городах Западной Сибири межвоенных лет, мы использовали типологию сценариев забвения, разработанную британским антропологом П. Коннертоном. Он описывает *«репрессивное стирание памяти»* – целенаправленное уничтожение коммемораций в тоталитарных условиях (насильственное или неявное); *«предписание забыть»* – исходящая от государства установка на прощение и полное забвение старых обид и унижения, характерная для этапа смены тирании демократией; *«забвение на фоне формирования новой идентичности»* – сценарий, предполагающий утрату актуальности воспоминаний, ненужных для формирования новых видов социальной идентичности; *«структурную амнезию»*, которая возникает в условиях дефицита информации и смены инструментария воспроизведения памяти; сценарий *«аннулирования»*, предполагающий забвение в результате преизбытка информации, ее надоедания обществу; сценарий *«запланированного устаревания»*, при котором память теряет актуальную утилитарную пользу; сценарий *«молчания унижения»*, предполагающий замалчивание обществом постыдных воспоминаний и коллективных психологических травм². Мы исходим из того, что возможно одновременное протекание различных сценариев забвения.

Государство всегда в той или иной степени стремится контролировать *коммеморативную сферу* культуры – сферу социокультурных мнемических практик, порождающих коммеморативные знаки³. Степень государственного контроля над коллективной памятью и коммеморациями проявляется в *политике памяти*, т. е. в способах и самих процессах идеологизации прошлого, создания с помощью памяти о нем необходимых власти социальных представлений и национальных символов⁴. А. Г. Васильев уточняет, что в современной гуманитаристике «политика памяти» понимается как совокупность всех видов действий политиков и чиновников, имеющая формальную легитимацию, целью которой является поддержание, вытеснение или переопределение тех или иных элементов коллективной памяти⁵. А. И. Миллер подразумевает под политикой памяти различные общественные практики и нормы, связанные с регулированием коллективной памяти: сооружение памятников и музеев, отмечание на государственном или местном

¹ Ассман Я. Указ. соч. – С. 111–112.

² Connerton P. Seven Types of Forgetting // Memory Studies. – 2008. – № 1. – P. 59–71.

³ Святославский А. В. Среда обитания как среда памяти. – С. 4.

⁴ Савельева И. М., Полетаев А. В. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования. – М., 2004. – С. 41.

⁵ Васильев А. Г. Феномен творчества в контексте memory studies // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 1, т. 1: (гуманитарные науки). – С. 228.

уровне в качестве особо значимых определенных событий прошлого, акцентирование внимания на одних сюжетах истории и замалчивание или маргинализация других и пр.¹

«Политика памяти» представляет собой методологический конструкт. Важно пояснить, что политика памяти в СССР не была институционализована и оформлена в систематическом виде, она была «растворена» в советской идеологии и пропаганде. Не существовало и самого понятия «политика памяти», которое является порождением современной науки. В советских условиях государство обладало монополией на политику памяти. Ее акторами выступали политические лидеры (вожди), Коммунистическая партия, местные советские и партийные органы власти (горсоветы, губкомы, обкомы, горкомы), которые не всегда и не во всех вопросах строго подчинялись центру, журналисты советских периодических изданий (газетчики), Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП (Истпарт) и ее местные бюро, активисты из числа музейщиков, историков и др. Диапазон методов политики памяти был широким: информационный диктат и строгий контроль, направленный на СМИ, деятельность музеев, организация торжеств, монументальная пропаганда, создание специальных институтов, разрабатывающих на местных материалах и распространяющих необходимые государству трактовки прошлого (Истпарт) и др.

Для реализации поставленных в диссертации задач мы использовали следующий разработанный нами алгоритм характеристики установленных особенностей политики памяти определенного периода: а) содержание (официальное отношение представителей власти к историческому прошлому) и его динамика, отраженные в высказываниях политических лидеров, нормативных документах, «догматических» учебных и научных текстах, в решениях, принятых местными органами власти относительно коммемораций; б) выбор коммуникативных средств, которые использует государство для своего влияния на коллективную память населения; в) особенности реализации процесса трансляции в массы выгодной для носителей власти версии коллективной памяти о прошлом (примеры удачной и неудачной реализации, местная специфика и пр.).

Классик французской школы «Анналов» Ф. Ариес подчеркивал значимость роли монументов в публичной сфере, в политике, делая вывод о том, что коммеморативные практики стали важнейшим способом современной политической репрезентации². Сего-

¹ Миллер А. И. Россия: власть и история [Электронный ресурс] // Полит.ру. – URL : <http://polit.ru/article/2009/11/25/miller/http://polit.ru/article/2009/11/25/miller/> (дата обращения: 04.01.2016).

² Хаттон П. Х. Указ. соч.

дня, говоря о политике памяти, французский историк Ю. Шеррер демонстрирует связь этого понятия с родственными ему понятиями «исторической политики» (*Geschichts politik*), «политики прошлого» (*Vergangenheits politik*) и «политики идентичности» (*Identitäts politik*). Отмечается, что *историческая политика* – более жесткое и узкое понятие. Она направлена на формирование общественно значимых исторических образов и образов идентичности, которые реализуются в ритуалах и дискурсе, претерпевая изменения со сменой поколений или по мере эволюции социальной среды. По словам Ю. Шеррер, историческая политика – «это намного более широкое явление, чем история на службе политики. Это также нечто большее, чем просто формирование и закрепление нормативного или догматического мировоззрения, поскольку включает в себя передачу самого разного рода воспоминаний и опыта, а также поиск забытых фактов и следов отвергнутых альтернатив»¹. Анализируя опыт современной Германии, А. И. Миллер видит в исторической политике особую «интерпретацию истории, избранной по политическим, то есть партийным, мотивам, и попытки убедить общественность в правильности такой интерпретации». Он подчеркивает, что ее механизмы и задачи обычно намеренно скрываются. По мнению А. И. Миллера, историческая политика – явление, рожденное в рамках современной демократической политической системы, при которой всегда сохраняется бытование альтернативных оценок исторического прошлого², поэтому в контексте нашего исследования целесообразнее остановиться на использовании более широкого понятия «политика памяти». Мы исходим из того, что в СССР существовал строгий контроль правящей партии над изучением истории и историческими репрезентациями, что альтернативные версии прошлого не допускались в сферу публичного бытования истории.

Однако мы придерживаемся установки, согласно которой политика памяти не достигает эффекта абсолютной манипуляции сознанием индивида. Память не может полностью слиться с политической идеологией. Наше исследование подтверждает мысль сторонников *динамически-коммуникативного подхода* (М. Шадсон и др.) к изучению социальной памяти о существовании ограничений, накладываемых контекстом самого процесса коммуникации между обществом и властью. По словам А. Г. Васильева, «с точки зрения этого подхода, память конструируется не только “сверху”, правящими

¹ Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти // *Pro et contra*. – 2009. – Май – август. – С. 91.

² Миллер А. И. Указ. соч.

элитами, но и “снизу”, со стороны подчиненных групп»¹, имеющих собственные интересы, взгляды, социально-политические и культурные ориентации. Поэтому на приватном уровне частной жизни и частных воспоминаний могли бытовать своеобразные трактовки прошлого и коммеморативные практики.

В европейской историографии используется еще один близкий к понятию «политика памяти» термин – «*проработка прошлого*». Это выражение взято из контекста обсуждения проблемы отношения немцев к памяти о национал-социализме и Второй мировой войне. В. Адорно подчеркивал, что данное понятие отражает процессы вытеснения из памяти сюжетов о вине и насилии, сопряженные с неспособностью преодолеть «позорное прошлое». Таким образом, «проработку прошлого», не являющуюся исключительно немецкой проблемой, целесообразно воспринимать как тактический прием политики памяти, который можно наблюдать и на примерах советской истории².

На сегодняшний день существуют разные подходы к изучению проблем исторической памяти. В рамках данного исследования наиболее продуктивным, на наш взгляд, становится обращение к *процессо-реляционному* подходу, разрабатываемому американским социологом Дж. Оликом, который выступает с критикой распространенных в науке представлений о сущности исторической памяти и коммемораций. Во-первых, мы учитываем тезис о том, что коллективную память нельзя расценивать как статичный объект. Память характеризуется Оликом, прежде всего, как процесс. В этой связи он предлагает учитывать четыре «процессо-реляционных концепта»: «поле, средства передачи, жанр и профиль»³.

Концепт «поле» подразумевает отказ от восприятия коллективной памяти как единого, всеми разделяемого социального достояния. Иначе говоря, коллективная память априорно вариативна. Не существует единого типа памяти. Можно говорить о существовании официального и народного, семейного и национального, а также и множества других вариантов социальной памяти⁴. Учитывая данный тезис, мы не останавливаемся на изучении государственной политики памяти, предпринимая попытку выявить прояв-

¹ Васильев А. Г. Современные «memory studies»... – С. 32.

² Адорно Т. Что означает «проработка прошлого» // Память о войне 60 лет спустя: Россия. Германия. Европа. – М., 2005. – С. 64.

³ Олик Дж. Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии // Социологическое обозрение. – 2012. – № 1. – С. 40–73.

⁴ Там же. – С. 47–51.

ления народной памяти, связанные с традициями дореволюционной культуры, с религиозностью, с локальным компонентом исторической памяти местных сообществ и т. п.

Концепт *«средства передачи»* акцентирует внимание на важности изучения не только содержания коллективной памяти (политики памяти, коммемораций), но и средств передачи информации сквозь время. Поскольку воспоминание (коммеморация) – это всегда процесс, исследование средств передачи памяти становится ключом к постижению характеристик изменчивости памяти. Дж. Олик подчеркивает, что воспоминание – это не есть воспроизведение единожды законсервированной информации о прошлом, а ее бесконечное интерпретирование в процессах передачи, которые отражаются в различных репрезентациях прошлого (речь, жест, музей и пр.)¹. Именно поэтому мы считаем важным изучение коммемораций на отдельно взятых примерах и прослеживаем динамику форм и содержания коммемораций на протяжении непрерывного отрезка времени, а также их рецепцию, которая, строго говоря, является составной частью коммеморации. Человек, отвергающий коммеморацию, остается ее участником и, используя понятие Олика, «медиумом».

Концепт *«жанр»* предполагает учитывать дискурсивную историчность коллективной памяти. Это означает, что процессы воспоминания обычно подчиняются логике некого, уже сложившегося в культуре «жанра», который используется коммемораторами подчас неосознанно. Изучение законов этого «жанра» (дискурса) дает еще одну возможность интерпретации происхождения содержания и форм коммемораций². Учитывая, что постижение смысла коммемораций недоступно без изучения его «жанровой» истории, мы прослеживаем дореволюционные культурные и политические истоки советских коммемораций и устанавливаем взаимосвязь их форм.

Концепт *«профиль»* вводится Дж. Оликом для объяснения невозможности редуцировать память, рассматривать ее как побочный продукт социально-политических процессов. Коммеморация рассматривается Оликом как основная среда самоопределения и политического целеполагания общества. Взгляд в прошлое задает направление дальнейшего развития общества. Это дает исследователю право говорить о памяти не только как о сущности, испытывающей различные влияния, но и о ее способности влиять на общественное развитие³.

¹ Там же. – С. 51–58.

² Там же. – С. 58–61.

³ Там же. – С. 61–68.

В рамках данного исследования применен также *междисциплинарный подход*. Будучи историческим, наше исследование учитывает также культурологические контексты, контексты культурной антропологии и музееведения. Антропологический ориентир нашего исследования позволяет поставить в центр внимания человека, его частную жизнь и повседневные практики, связанные с традиционным пластом культуры, которые менялись под воздействием государственной политики. Обращение к исследовательскому опыту культурологов дает возможность ввести в язык исследования круг понятий, содержание которых разработано, прежде всего, представителями этой науки.

В частности, историками редко используется культурологическое понятие *«некрокультура»*. Под *«некрокультурой»* подразумевается значимая сфера системы культуры общества, в которой закрепляется понимание сущности смерти в различных видах и формах воздействия на нее (через манипуляции с телом, ритуалы, погребальные обряды и пр.)¹. В погребальных традициях отражены механизмы накопления, трансляции и воспроизводства социального опыта через культуру. При изучении некрокультуры мы разводим значение понятий *«похоронная традиция»* и *«похоронный стереотип»*. Стереотип, хотя он может складываться длительно, включен в социальное пространство «здесь и сейчас», функционирует только в нем, он обновляется в зависимости от ситуации; традиция же обращена в прошлое, она не подвержена резким изменениям.

В рамках культурологии детально разработано еще одно актуальное для нас понятие – *«памятник»*. По определению А. В. Святославского, памятник – это объект действительности, приобретший со временем мемориальные свойства; в более узком смысле – это артефакт, который изначально рождается памятником в своей основной социокультурной функции, это объект намеренной коммеморации. Святославский подчеркивает аксиологическое значение памятника и изменчивость его восприятия. Так, предлагается выявлять и учитывать его исходный смысл, заложенный автором памятника; репродуцированный смысл, в основе которого лежит интерпретация исходного материала субъектами, воспринимающими сам памятник; имплицативный смысл, рождающийся в итоге восприятия субъектами исходного смысла².

Обращение к опыту музееведения, в рамках которого преимущественно изучается история музейного дела, дает нам возможность понимания принципов и методов экспо-

¹ Качемцева А. А. Традиции некрокультуры как форма сохранения социально-исторической памяти // Вестн. / Бурят. гос. ун-т. – 2010. – № 6. – С. 276–279.

² Святославский А. В. История России в зеркале памяти. – С. 29–30.

зиционной деятельности музеев, а также деятельности, направленной на охрану памятников. В своем исследовании мы используем также ряд понятий, разработанных в контексте музееведения: «музеефикация», «мемориал» и «экспозиция». Музеефикацией называют направление музейной деятельности, заключающееся в преобразовании историко-культурных или природных объектов в музейные объекты с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной и художественной ценности¹. Под мемориалом (итал. *memoriale*, от лат. *memorialis* – памятный) мы понимаем архитектурный ансамбль, воздвигаемый на памятном месте в память об историческом событии или выдающейся личности. Мемориал, как правило, представляет собой синтез архитектуры, малых архитектурных форм и монументальной скульптуры. Элементами мемориала могут являться музеи, культовые сооружения (храмы, часовни) и захоронения. Часто мемориал соединен с музейной экспозицией². В свою очередь, под экспозицией (от лат. *expositio* – выставление напоказ, изложение) понимается основная форма презентации музеем историко-культурного наследия в виде искусственно созданной предметно-пространственной структуры. Экспозиция включает архитектуру, музейные предметы и их коллекции, воспроизведения музейных предметов (объектов), научно-вспомогательные материалы, специально созданные произведения экспозиционного искусства, тексты, информационные технологии и пр. Экспозиция создается в соответствии с единым идейным замыслом. Она является центральным звеном музейной коммуникации и основным музейным продуктом³.

В числе общенаучных и конкретно-исторических методов исследования нами применялись анализ и синтез материала, сравнительно-исторический и историко-генетический методы, последний из которых предполагает последовательную характеристику процессов и событий в рамках хронологической логики. Востребованными в диссертации оказались и методы «устной истории». По естественным причинам в настоящее время поколения, у которых межвоенное время запечатлелось в памяти как лично пережитый опыт, стало малочисленным. Однако нам удалось записать на аудионосители несколько интервью с респондентами из Новосибирска, рассказавшими о своем раннем довоенном детстве. Также мы составили беседы и с теми, для кого этот опыт

¹ Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. – М., 2012. – С. 13.

² Мемориал [Электронный ресурс] // Российская музейная энциклопедия. – URL: <http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?9> (дата обращения: 12.11.2014).

³ Там же.

был известен из рассказов старшего поколения. Интервью строилось преимущественно в опоре на анкету, включавшую вопросы о памятных местах и похоронах. Полученные нами материалы отражают субъективное восприятие и эмоциональное переживание индивидом реалий культуры памяти недавнего прошлого, а также их оценку с позиции современности. Для поиска данных о лицах, упокоившихся на старых городских кладбищах Западной Сибири, нами применялись традиционные *методы некрополистики*, построенные на работе с метрическими источниками и сохранившимися мемориальными артефактами – остатками надгробий на местах старых кладбищ.

Композиция основной части диссертации построена в опоре на сконструированный и апробированный нами в ходе работы над диссертацией авторский *алгоритм изучения истории коммемораций*. При его разработке мы учитывали собственную *гипотезу* о том, что развитие всей коммеморативной сферы происходило в межвоенные годы в рамках общих тенденций. Поэтому избранные нами в качестве основных примеров коммеморации (памятные места и коммеморативные практики) рассматриваются в рамках единой логики, которая определяется постановкой задач. Характеристика динамики каждой из коммемораций представлена в нашей работе последовательно, в рамках отдельных глав, которые структурированы в соответствии с предлагаемым нами исследовательским алгоритмом. В перспективе он может быть использован для изучения коммемораций иных видов.

Первый элемент алгоритма – это краткое описание исходного состояния коммеморации в досоветский период. *Второй элемент* – характеристика условий и факторов динамики коммемораций в межвоенный период. В числе таких условий и факторов мы выделяем фоновую политическую обстановку, решения партии и правительства, культурно-интеллектуальный фон эпохи, инициативы местных органов власти, личные инициативы жителей городов. Также второй элемент алгоритма предполагает обозначение влияния на коммеморации социально-экономических условий, контекстов местной культурной и повседневной жизни, а также духовной среды. *Третий элемент* предполагает определение содержания государственной политики памяти, повлиявшей на динамику коммемораций, а также способов и особенностей реализации на практике этой политики. *Четвертый элемент* – выявление в развитии коммемораций черт преемственности с традицией, сложившейся в культуре дореволюционной России. *Пятый элемент* – характеристика черт новационного, нетрадиционного для культуры дореволюционной России,

развития коммемораций. Изменения в коммеморативной сфере порождали в обществе разные оценки, соответственно, *седьмой элемент алгоритма* предполагает определение особенностей социальной рецепции коммемораций.

Основное содержание диссертации состоит из пяти глав. Первая глава посвящается обзору историографии заявленной нами темы и источников ее изучения. В последующих главах реализуется охарактеризованная выше последовательность действий. Во второй главе представлены результаты использования этого алгоритма на примерах старых кладбищ Томска, Новосибирска, Барнаула и Омска. В третьей главе приведена общая характеристика развития траурных (похоронно-поминальных) коммеморативных практик во всех этих городах. Здесь рассматриваются массовые похороны «жертв колчаковщины», прощание сибиряков с В. И. Лениным, С. М. Кировым, В. В. Орджоникидзе и другими «героями» межвоенных десятилетий всесоюзного масштаба, а также религиозные и гражданские похороны, практиковавшиеся городским населением. В четвертой главе также обобщенно, без разбивки материала по территориальному признаку, характеризуется специфика праздничных коммемораций, стандартных для всех городов Западной Сибири. В этой главе мы останавливаемся на анализе коммеморативной составляющей Октябрьских торжеств, годовщин Первой русской революции и местных праздников, связанных с памятью о событиях Гражданской войны. Выбор этих праздников обусловлен тем, что, во-первых, они входили в число наиболее значительных, с точки зрения власти, во-вторых, именно эти торжества воспринимались как исторические даты в чистом виде, в-третьих, их организация лучше всего отражена в сохранившихся источниках. Пятая глава, как и вторая, скомпонована по территориальному признаку. В этой главе отдельно охарактеризован коммеморативный аспект работы музеев Омска, Томска, Новосибирска и Барнаула. В 20–30-х гг. XX в. перед всеми этими музеями стояли общие задачи и проблемы, однако опыт реализации этих задач и решения проблем у каждого музея был индивидуальным, поэтому его нельзя описать обобщенно, как, например, опыт организации юбилеев Октябрьской революции.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно отражает первый опыт комплексной характеристики памятных мест и коммеморативных практик в городах Западной Сибири периода между Гражданской и Великой Отечественной войнами. Автором предлагается методологическая модель, сконструированный на основе теоретических подходов, направлений и методов, прежде не объединявшихся иссле-

дователями для изучения коммемораций определенного периода на примере отдельно взятого региона, а также алгоритм изучения истории коммемораций. Этот алгоритм может быть применен к изучению аналогичных сюжетов на материалах иных регионов и периодов, он также может быть скорректирован путем расширения или сужения объекта исследования в зависимости от целеполагания автора. Теоретическую значимость исследованию придает и использование междисциплинарного подхода, позволившего рассмотреть в одной работе проблематику, традиционно изучающуюся в рамках отдельных гуманитарных наук и исторических субдисциплин (политическая и интеллектуальная история, некрополистика, эртология, музееведение, история повседневности).

Научная новизна исследования. До сих пор историками не предпринималось попыток комплексного изучения динамики основных коммемораций в городах – административных центрах Западной Сибири, представленных историческими некрополями, монументами, памятниками, краеведческими музеями, праздничными и траурными коммеморативными практиками.

В диссертации характеризуется многообразие советских способов распространения и закрепления в сознании масс стереотипов памяти, оказавших влияние на формирование отечественной политической и духовной культуры. Впервые определяются условия и факторы, влиявшие на динамику коммемораций. Установлены как общие, так и отличительные черты в истории городских некрополей, мемориалов и музеев, указаны типичные и особенные характеристики коммеморативных практик в разных западно-сибирских городах. Отмечено, что социокультурные особенности городов, а также нюансы местной духовной жизни отразились на истории некрокультуры, музейных репрезентаций прошлого, на торжествах, связанных с годовщинами локальных событий периода Гражданской войны, но мало сказались на стандартных траурных и праздничных коммеморациях всесоюзного значения.

Новизна выражена также в попытке определения того, какое место в практиках сохранения памяти играли традиционные и новые (советские) ритуалы и способы организации пространства памятных мест. Подчеркнута устойчивость традиционных форм коммемораций, менявшихся в советское время зачастую лишь частично и внешне. С другой стороны, в диссертации акцентировано стремление советской власти изменить онтологический смысл коммемораций, изжив религиозную веру в загробную жизнь и изменив распространенное в обществе христианское видение смысла истории. На от-

дельных примерах показана связанная с этими установками власти деградация традиций.

Новым сюжетом в историографии является и советская политика памяти, нашедшая отражение в Западной Сибири. Автором сконструирован и применен в рамках конкретного исследования порядок изучения государственной политики памяти, реализовавшаяся в пределах одного региона. Новой проблемой изучения, поставленной автором данной работы, является также и рецепция жителями городов Западной Сибири коммемораций межвоенных лет и политики памяти, направленной на их динамику. Нами выявлены разные варианты отношения общества к изменению облика старых кладбищ, к попыткам власти повлиять на похоронные традиции, к политическим торжествам, приуроченным к памятным датам и музейным репрезентациям прошлого. На отдельных примерах показана разница в восприятии коммемораций интеллигенцией, красноармейцами, рабочими, учащимися и др.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов при подготовке обобщающих научных трудов, посвященных социокультурной истории России и Сибири в первой половине XX в., по истории памятных мест, праздничной культуры и некрокультуры Сибирского федерального округа. Диссертация может быть использована для разработки образовательных программ, лекционных курсов, научно-популярных изданий и учебных пособий по истории России и Сибири. Результаты исследования могут применяться в целях культурного и образовательного туризма для составления экскурсионных маршрутов и проведения познавательных экскурсий по памятным местам городов Западной Сибири. Соответствующий опыт уже существует в Новосибирске. Охарактеризованный в диссертации профессиональный опыт музейных работников Западной Сибири может быть переосмыслен и востребован современными музейщиками в их экспозиционной, выставочной, экскурсионной и лекторской деятельности. Тема исследования может быть также интересна журналистам, занимающимся популяризацией краеведения, авторам радио- и телевизионных передач.

Положения, выносимые автором диссертации на защиту.

1. В историографии сложилась длительная традиция изучения истории коммемораций. При этом в контексте проблематики «memory studies» коммеморации Западной Сибири 1920-х – 1930-х гг. практически не исследовались. Однако для работы в этом

направлении сформирован существенный историографический задел и существует обширная база исторических источников.

2. Как в народно-бытовой, так в официально-церковной и официально-государственной сферах культуры дореволюционной Западной Сибири, как части России, сложились устойчивые формы коммемораций. К числу основных мы относим: 1) кладбища, отражавшие память преимущественно в контекстах религиозных и семейно-родственных ценностей, и музеи, которые предлагали репрезентации исторического прошлого Сибири, основанные на его научном и аксиологическом осмыслении; 2) регулярно воспроизводившиеся обществом практики, направленные на увековечивание памяти (похороны, поминовение, празднования памятных дат государственного и местного значения).

3. Динамика основных коммемораций в городах – административных центрах Западной Сибири в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами имела единую направленность. Она была обусловлена, прежде всего, политическими обстоятельствами и связана с утверждением нового политического режима и идеологической системы, которая предполагала распространение в обществе представлений об историческом процессе в контексте исторического материализма, атеизма и коллективистских ценностей.

4. Главными субъектами советской политики памяти выступали политические лидеры (вожди), коммунистическая партия, местные советские и партийные органы власти (горсоветы, губкомы, обкомы, горкомы), советские СМИ, Истпарт. В отношении разных коммемораций повышалась решающая роль разных субъектов. Содержание советской политики памяти постепенно менялось. На первом этапе (начало 1920-х гг.) акцентировалась «проработка прошлого» на уровне локальных событий и процессов недавней истории. На втором этапе (с середины 1920-х гг.) «мрачные» образы прошлого России и Сибири активно использовались пропагандой с целью оттенить всесторонний прогресс в послереволюционном развитии страны, представление о котором навязывалось обществу. На третьем этапе (с начала 1930-х гг. до войны) из коллективной памяти сибиряков тенденциозно вытеснялись образы локальной истории образами, связанными с общесоветским историческим нарративом.

5. Спектр каналов трансляции государственной политики памяти был представлен: 1) массовыми мероприятиями, содержащими коммеморативные элементы;

2) мероприятиями, целиком имевшими коммеморативное значение; 3) устройством общедоступных памятных мест; 4) печатными изданиями идеологического содержания; 5) демонстрациями произведений идеологического искусства и народного творчества. Политика памяти предполагала также практики, нацеленные на забвение: замалчивание, игнорирование отдельных тем и разрушение старых памятных мест.

6. Соответствие реализации советской политики памяти в регионе ее задачам зависела от активности местных органов власти, отвечавших за организацию и создание коммемораций, их материальных и административных возможностей, а также от реакции местного населения на эти инициативы. Спецификой начала 1920-х гг. было активное формирование в городах Западной Сибири героического некрополя борцов с «колчакщиной» и обилие мемориальных инициатив. Однако никак не увековечивалась память о многотысячных жертвах Гражданской войны (жертвы тифа, террора и боев). В дальнейшем, вплоть до конца 1930-х гг., тенденции разрушения памятных мест дореволюционного периода превалировали над тенденциями создания новых мемориальных объектов и обновления памятников, созданных в начале 1920-х гг.

7. На протяжении всего межвоенного периода сохранялась выраженная преемственность в формах коммемораций, характерных для культуры дореволюционного периода. После Гражданской войны традиции официальной коммеморативной культуры фактически использовались властью в идеологических целях и внешне изменялись лишь в деталях.

8. Официальной коммеморативной культуре межвоенного периода был присущ ряд новационных черт, сопряженных, прежде всего, с ее смыслами. 1) Постоянно усиливавшееся идеологическое давление на историческую память общества посредством стандартных, регулярных, массовых коммемораций, отражавших марксистско-ленинское понимание истории, материалистические и атеистические мировоззренческие установки. 2) Формирование квазирелигиозных политических культов вождей, героев и «эпохальных» событий. Перед сибиряками ставилась задача: установить и отразить в местных коммеморациях связь этих культов с историей Сибири. 3) Крайний радикализм в отношении к памятным местам (их уничтожение и перестройки).

9. Традиционно обустроенные исторические некрополи городов Западной Сибири, сформированные в дореволюционный период, не расценивались советскими органами власти как объекты культурного наследия. С середины 1920-х гг. началось их постепен-

ное уничтожение во всех городах региона. Но попытки изжить религиозность из культуры некрополя удавались лишь частично.

10. На протяжении всего межвоенного периода политические похороны и массовые прощания с «вождями» занимали одно из центральных мест в культуре коммемораций. В конце Гражданской войны внимание акцентировалось на похоронах жертв «колчаковщины», которые в последующие годы оказались в тени траурных кампаний, приуроченных к смерти «вождей». С начала 1920-х гг. в городах Западной Сибири стали практиковаться салютационные «красные» похороны (особенно популярные в первой половине 1930-х гг.) и скромные гражданские («безрелигиозные») похороны. Одновременно многие жители городов оставались верны традиционным религиозным ритуалам, но скрывали эту приверженность по мере усиления антирелигиозной пропаганды.

11. Главными памятным датами в Сибири, как и по всей стране, стали ежегодные Октябрьские торжества и годовщины смерти В. И. Ленина, нацеленные на формирование советской идентичности. Аналогичными в смысле целеполагания и сценариев были юбилеи революции 1905 г. В Сибири также отмечали дни памяти важнейших местных событий периода Гражданской войны. Формы торжеств отвечали дореволюционным образцам. С конца 1920-х гг. местным памятным датам придавалось все меньше значения.

12. Краеведческие музеи Западной Сибири накопили значительный опыт в сфере репрезентаций исторического прошлого, особенно заметный в сравнении с дореволюционным периодом. В 1920-х гг. их инициативы в этом направлении были связаны с локальной историей и отличались оригинальностью, особенно в Томске. Первая половина 1930-х гг. была крайне неплодотворным периодом, связанным с неудачным экспериментированием в экспозиционном деле. К концу 1930-х гг. краеведческие музеи Западной Сибири встали на путь унификации репрезентаций исторического прошлого. История региона стала экспонироваться слабо.

13. Спектр вариантов восприятия жителями городов Западной Сибири динамики коммемораций включает в себя: 1) категорическое неприятие советских коммемораций, верность на практике старым коммеморативным традициям; 2) внешнюю имитацию приверженности советской коммеморативной культуре при ее реальном отторжении; 3) попытки сохранить верность старым коммеморативным традициям и одновременно найти себе место и применение в сфере советской коммеморативной культуры (характерно только для 1920-х гг.); 4) позитивное восприятие советских коммемораций, их

усвоение и воспроизведение; 5) лишь частичное одобрение и неполное усвоение образцов официальной культуры коммемораций при частичном же сохранении верности старым коммеморативным традициям и практикам; 6) неполное усвоение ценностей и форм советских коммемораций при забвении старых традиций, приводившее к культурной маргинализации.

14. Реакции населения на коммеморации 1920-х гг. были гораздо вариативнее, чем в следующем десятилетии. С одной стороны, репрессивная политика 1930-х гг. удерживала жителей городов Западной Сибири от критики коммемораций, с другой стороны, пропаганда действительно достигала целей консолидации общества и формирования однотипных представлений и взглядов на прошлое среди населения.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были представлены автором и обсуждены научным сообществом, прежде всего, на 13 *международных и всероссийских с международным участием научных и научно-практических конференциях*: «Человек в истории российской повседневности: история и современность» (Пенза, 2010), «Образы России, ее регионов в историческом и образовательном пространстве» (Новосибирск, 2010), «Воспоминания и дневники как историко-психологический источник» (СПб., 2011), «Музеология – музееведение в XXI в.» (СПб., 2010, 2012, 2014), «Интеграция исторического и образовательного пространства» (Новосибирск, 2011), «Культура и интеллигенция России. Личность. Творчество. Интеллектуальные диалоги в эпохи политических модернизаций» (Омск, 2012), «Боевое братство славян на защите мира» (Гродно, 2011, 2013); «Социальные коммуникации и эволюция обществ» (Новосибирск, 2013, 2015); «История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества» (Минск, 2015), на 14 *всероссийских* научно-практических конференциях, которые проходили в Кургане, Курске, Нижневартовске, Омске, Новосибирске, Тобольске, Челябинске; на четырех *региональных и межрегиональных* научно-практических конференциях в Новосибирске; в рамках *научных школ* (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2007; Казанский национально-исследовательский технологический университет, 2012; Центр независимых социальных исследований, Иркутск, 2014).

По теме диссертации опубликована одна авторская монография, две главы в коллективной монографии. Основные результаты исследования также отражены в серии

статей, которые публиковались в научных журналах, выходящих в Санкт-Петербурге, Кемерово, Курске, Новосибирске, Омске, Перми, Тамбове и Томске.

Структура диссертации определяется объектом и предметом исследования, соответствует ее цели и задачам. Диссертация состоит из введения, пяти глав (включающих 17 параграфов), заключения, списка использованных источников и литературы, двух приложений, списка сокращений. В приложениях приводится часть визуальных материалов, послуживших источниками исследования, а также таблицы, отражающие особенности похоронных практик в городах Западной Сибири, составленные в опоре на материалы местной газетной периодики.

ГЛАВА 1

КОММЕМОРАЦИИ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 1920–1930-х гг.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСТОЧНИКОВ

1.1. Городские коммеморации Западной Сибири межвоенного времени: историография вопроса

Проблематика исторической памяти сибиряков осознана лишь в новейшей историографии. По наблюдению философа М. Я. Рожанского, подготовившего фактически первую работу, обобщающую различные сюжеты, которые связаны с данной проблематикой, «существуют особенности функционирования памяти в том социальном пространстве, которое называется Сибирью»¹. В центре внимания Рожанского – конфликты и рассогласования между разными версиями и даже «мирами» коллективной памяти сибиряков о событиях, персонах и реалиях прошлого региона, актуальной в контексте выстраивания идентичности различных социальных групп, а также проблемы идеологизации и деидеологизации представлений сибиряков о региональном прошлом. Исследование М. Я. Рожанского поднимает круг проблем, значимых и в контексте нашего исследования: о роли памятника в конструировании ландшафта коллективной памяти и групповой идентичности, о значении политического фактора в обыденных оценках прошлого. Михаил Яковлевич приходит к выводу о том, что «советская эпоха как идеократическая использовала ресурс “мест памяти” в максимальной степени и не только увековечивала свои идейные смыслы, но и стремилась вычеркнуть приметы предшествующих эпох, рассматривая их исключительно как символы, которые надо заменить новыми, со-

¹ Рожанский М. Я. Сибирь как пространство памяти. – Иркутск, 2014. – С. 3.

ветскими», что отчетливо видно в сибирских городах¹. При всей справедливости данного вывода, очевидно, что историческая память жителей советской Сибири – это еще слабо, фрагментарно изученная проблематика, в рамках которой лишь предстоит найти ответы на множество сложно поставленных вопросов. Еще не существует обобщающих работ, посвященных проблемам коллективной памяти жителей городов Западной Сибири в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами.

Отчасти проливает свет на обозначенную проблему книга американского историка К. Петроне, посвященная вопросам коллективной памяти советских граждан 1920–1930-х гг. о Первой мировой войне: роли многогранного дискурса этой войны, постепенно исчезавшего в 1930-х гг., в формировании советской идентичности и морали через представления о героизме, насилии и патриотизме². Сегодня К. Петроне разрабатывает, несомненно, актуальное в рамках славистики исследовательское поле, однако этот историк не работает с сибирскими источниками. Столетие начала Первой мировой войны заострило проблематику памяти российского общества об этой войне. В контексте нашего исследования представляет интерес статья С. Б. Ульяновой, посвященная памяти российского общества 1920-х гг. о Первой мировой войне³.

Среди российских опытов в области изучения исторической памяти советского общества обращают на себя внимания работы челябинского историка Е. В. Волкова⁴. Предметом изучения этого автора стало белое движение в культурной памяти общества, отраженной в мемуарном, научном и художественном дискурсах. В контексте нашего исследования важно отметить обращение этого автора к теме коллективной памяти об адмирале А. В. Колчаке, режим которого представляет собой важный сюжет истории Гражданской войны в Сибири. Подобные исследования имеют, несомненно, далеко идущие перспективы, позволяющие расширить диапазон мнений и представлений об историческом прошлом России. Проблемы коллективной памяти жителей Урала о Гражданской войне затронуты также в работах И. С. Нарского, который обратил внима-

¹ Там же. – С. 4.

² Petrone K. *The Grate War in Russian Memory*. – Bloomington, 2011.

³ Ульянова С. Б. Память об «империалистической войне» в советском обществе в 1920-е гг. // *Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918*. – М., 2014. – С. 675–680.

⁴ Волков Е. В.: 1) «Гидра контрреволюции»: белое движение в культурной памяти советского общества. – Челябинск, 2008; 2) Белое движение в культурной памяти советского общества: эволюция «образа врага»: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Челябинск, 2009; 3) «Колчаковщина» в советском игровом кино // *Новый исторический вестник*. – 2013. – Вып. 35. – С. 84–108; 4) «Правитель омский»: образ адмирала А. В. Колчака в советской художественной литературе // *Проблемы российской истории*. – 2010. – №1. – С. 262–273 и др.

ние на особенности «коллективного забывания» гуманитарной катастрофы, вызванной войной¹.

Особенности формирования, содержательного наполнения, выражения, сохранения и угасания коллективной памяти различных социальных групп 1920–1930-х гг. об общем историческом прошлом изучались И. Е. Козновой (социальная память российского крестьянства)², М. В. Ковалевым (коллективная память ученых – русских эмигрантов «первой волны»)³, С. А. Чуйкиной (семейная память «бывших» дворян)⁴.

Несмотря на преимущественную не изученность поставленной нами проблемы, следует признать, что в исследовании смежной с ней тематики достигнуты значительные результаты. Имеющуюся историографию вопроса целесообразно разделить на несколько групп по проблемному принципу. Использовать проблемно-хронологический принцип в данном случае затруднительно, поскольку вопросы истории коллективной памяти в рамках сибиреведения были поставлены недавно.

Историческая память общества зависима от политических, социальных, экономических и культурных контекстов эпохи. Характер политики памяти в значительной степени определяется общими чертами политического режима (политической системы). Именно поэтому в контексте данного исследования целесообразно обратить внимание на наиболее значимые работы, посвященные специфике политического режима СССР в период сталинизма. Дискуссия о его определении до сих пор не закрыта. Так, немецкий историк Й. Баберовски отказывается видеть в сталинизме тоталитарный режим, полагая, что он был скорее авторитарным, но террористическим, с тоталитарными притязаниями⁵.

Однако концептуальное осмысление исторических процессов в СССР, характерных для 20–30-х гг. XX в., все-таки до сих пор выстраивается преимущественно вокруг понятия «тоталитаризм», введенного в научный оборот в 1930-х гг. Общую характеристику тоталитарному политическому режиму как антидемократическому дали еще в 1950–1960-х гг. К. Фридрих, З. Бжезинский, Х. Арндт, Р. Арон. И. А. Ильин, Р. Талкер. К середине 1990-х гг. стали очевидными слабые места концепции тоталитаризма и было

¹ Нарский И. В. 1) Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. – М., 2001. – С. 10–11; 2) Конструирование мифа о Гражданской войне и особенности коллективного забывания на Урале в 1917–1922 гг. // Век памяти. – 2004. – С. 394–412.

² Кознова И. Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. – М., 2000.

³ Ковалев М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). – Саратов, 2012.

⁴ Чуйкина С. А. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–1930-е гг.). – СПб., 2006.

⁵ Баберовски Й. Красный террор: история сталинизма. – М., 2007. – С. 6–7.

признано ее несовершенство. Однако пришлось признать и то, что понятие «тоталитаризм» все-таки отражает реальное сходство ряда политических режимов, возникших в разных странах в XX в.

Опыт изучения специфики именно советского тоталитаризма, имевшийся к концу 1990-х гг., обобщил А. В. Голубев¹. В контексте нашего исследования имеют значения следующие тезисы, сформулированные этим автором. Во-первых, тоталитаризм – это феномен, который следует признать порождением догоняющей модернизации. Во-вторых, тоталитаризм характеризуется объемом власти, стремлением контролировать не только действия, но даже эмоции и мысли населения. В этом смысле специфика тоталитаризма состоит в степени контроля и его средствах. В-третьих, тоталитарный режим является массовым. В рамках тоталитарной политической системы осуществляется массовая поддержка движения к тотальной цели, имеющей общенациональное значение. Общество в тоталитарном государстве вовсе не отдалено от политики, оно политизировано, но в нужном государству духе. Именно эти характеристики важнее однопартийности, харизматического лидерства и прочих внешних атрибуций. В-четвертых, успешность в реализации политического целеполагания в условиях советского тоталитарного режима складывается из сочетания приемов насилия и опоры на определенные механизмы массового сознания, сильно мифологизированного. В-пятых, тоталитарный режим является альтернативой гражданскому обществу, а не демократии. А. В. Голубевым подчеркнута, что уничтожение основ гражданского общества сопровождалось огромным ростом политической мобилизации общества. По данным Голубева, многие советские граждане понимали абсурдность и необоснованность обвинений в адрес «врагов народа» и «вредителей», однако до 30 % населения поддерживало сталинскую политику. В условиях массовой политической пассивности такой процент значителен. Важен и еще один вывод: общество скорее примирилось с террором, нежели поддерживало его.

Дальнейшее изучение феномена сталинизма, как формы тоталитаризма, по выражению С. А. Красильникова, привело к пониманию того, что «сталинизм – это системное образование, где взаимодействуют и сочетаются не просто разные, но разнонаправленные институциональные и внеинституциональные процессы и явления». К таковым Красильников относит сосуществовавшие одновременно передовые формы индустри-

¹ Голубев А. В. Тоталитаризм как феномен истории XX в. // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.). – М., 1997. – С. 7–33.

ального труда и архаичные формы принуждения и насилия, политические репрессии и массовый энтузиазм¹. В недавно опубликованной коллективной монографии группы историков Новосибирского государственного университета «Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.)» сталинизм охарактеризован как бюрократический (тоталитарный) режим, опирающийся на идеологию (идеократический) и мобилизационный по способу своего существования².

Окончание холодной войны и «культурный поворот» в англоязычной историографии способствовали деидеологизации и усложнению представлений западных историков о сталинизме и его идеологической составляющей. По словам американского советолога Ш. Фицпатрик, «пятнадцать лет назад еще живо было застарелое представление, будто “советская идеология” – нечто насильно скармливаемое режимом населению и пассивно потребляемое атомизированными представителями последнего. То, что у нас появился “сталинистский субъект” как “полноправный идеологический агент”, – большой шаг вперед»³. Современная историческая наука постепенно отказывается видеть в сталинизме лишь его репрессивную сторону и насилие над массами. Наоборот, подчеркивается ориентир тоталитарного государства на массовое сознание и массовые запросы, популизм, способность улавливать и использовать общественные настроения. Неоднозначности восприятия обществом политики и пропаганды советского государства посвящены, в частности, работы А. Я. Лившица, характеризующего общественные настроения и политические эмоции населения СССР⁴, а также С. Дэвис, строящей свои выводы преимущественно в опоре на сводки о политических настроениях⁵.

Общеизвестно, что тоталитарный режим старался максимально эффективно для себя использовать историю, что в частности, отразилось в известном афоризме академика М. Н. Покровского об истории как о политике, «опрокинутой» в прошлое. В 1920–1930-х гг. власть усердно работала над «проработкой прошлого», над целенаправленным формированием определенной версии исторической памяти общества. Политика памяти советского государства на сегодняшний день изучены слабо. Особенно это касается межвоенного периода. Однако в числе существующих общих работ, где освещаются проблемы политики памяти и исторической политики 1920–1930-х гг., необходимо

¹ Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.). – Новосибирск, 2013. – С. 4–5.

² Там же. – С. 5.

³ Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX в. – М., 2011. – С. 18.

⁴ Лившиц А. Я. Настроения и политические эмоции в Советской России (1917–1932 гг.). – М., 2010.

⁵ Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: террор, пропаганда и инакомыслие (1934–1941 гг.). – М., 2011.

назвать книгу Н. Е. Копосова «Память строгого режима. История и политика в России»¹. Характеризуя историческую политику (используется именно это понятие) межвоенного периода, Копосов выделяет два этапа ее развития: этап 1920-х гг., связанный с активной деятельностью академика М. Н. Покровского, когда отечественная история объяснялась с помощью универсальных законов классовой борьбы, а специфике национальной истории уделялось мало внимания, а также этап 1930-х, когда историческая политика переориентировалась на патриотическое воспитание и национальное сплочение перед лицом внешнего врага. Этот автор показывает влияние исторической политики на стандарты преподавания истории и на искусство. Им описан «советский пантеон» как иерархически организованная символическая структура политических культов советских героев².

Представляют интерес также исследования профессора Шеффилдского университета (Великобритания) Е. А. Добренко, который дает интерпретацию сталинскому историческому нарративу в контексте культурной традиции на основе анализа «Краткого курса истории ВКП(б)». Этот исследователь показывает прямое влияние «догматического» текста «Краткого курса», в частности на художественное кино, рассматриваемое как средство реализации исторической политики³. Добренко приходит к заключению, согласно которому в советском историческом нарративе собственно историю заменила логика, построенная на панисторических представлениях. «Краткий курс истории ВКП(б)», по мнению Добренко, – это «своего рода книга бытия и теогония», где скрыты реальные мотивы социальных явлений. Еще одна характерная черта сталинского исторического нарратива, выделенная Добренко, – видение истории в категориях заговора⁴.

Государственная политика памяти реализуется главным образом посредством разных форм пропаганды. Вопросы формирования советской пропаганды, ее содержания, форм и рецепции неоднократно поднимали американские и британские историки, перу которых принадлежит ряд обобщающих работ. В первую очередь, заслуживают внимания исследования русиста П. Кенеза, рассматривающего, в частности, отражение пропаганды в советской периодической печати, стенгазетах и художественном кино⁵. Нельзя обойти вниманием и исследование М. Е. Леное, построенное, в частности, на анализе

¹ Копосов Е. Н. Память строго режима: история и политика в России. – М., 2011. – С. 77–105.

² Там же. – С. 81–90.

³ Добренко Е. А. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. – М., 2008.

⁴ Там же. – С. 239–309.

⁵ Kenez P.: 1) *The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization (1917–1929)*. – Cambridge; N. Y., 1985; 2) *Cinema and the Soviet Society from the Revolution to the Death of Stalin*. – N. Y., 2001.

периодики, служившей основным каналом пропаганды¹. Интересно и исследование Дж. Брукса, в центре внимания которого – советская печать и ее механизмы воздействия на читателей: создание и внедрение особых структур мышления, моральных императивов, представлений о времени и пространстве в сознание граждан². В последние годы, наряду с феноменом пропаганды, применительно к советскому обществу исследуется и феномен индокринации – насильственного навязывания ценностей, целей, идеологий путем использования латентных приемов. Содержание индокринации, ее формы и приемы в СССР обобщены, в частности, томским политологом А. И. Щербининым³.

Цель пропаганды состояла не только в формировании определенной системы политических убеждений, но и в управлении политическими действиями людей, в мобилизации общества на достижение неких общих целей. Советская политика памяти также осуществлялась в контексте общих тенденций социальной мобилизации. Поэтому важно обратиться и к общим работам, характеризующим советскую социальную мобилизацию и ее формы.

Ключевые особенности социальной мобилизации – всеобъемлющего и многоликого феномена – описаны новосибирским историком С. А. Красильниковым, который определяет ее как «целенаправленное воздействие институтов власти на массы, основанное на подавлении или искажении свободных и рациональных предпочтений, мотиваций и действий индивидов и отдельных групп для приведения общества в активное состояние, обеспечивающее поддержку реализации целей и задач, объявляемых приоритетными и признаваемых общественным большинством»⁴. По мнению С. А. Красильникова, социальная мобилизация в период сталинизма являла собой «деформированный, искаженный и фальсифицированный вариант модели общественного договора западного типа»⁵. Им выделены такие характеристики социальной мобилизации, как институциональность, всеохватность, непрерывность, интенсивность, агрессивность, конфликтность, экстраординарность и ресурсозатратность. Отмечено, что такой тип социальной мобилизации утверждался в СССР постепенно, войдя в зенит лишь в 1930-х гг. При этом «мобилизационность» оценивается как сущностная характеристи-

¹ Lenoë M. E. *Close to the Masses: Stalinist Culture, Social Revolution and Soviet Newspapers*. – Cambridge; L., 2004.

² Brooks J. *Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War*. – Princeton, 2000.

³ Щербинин А. И.: 1) Тоталитарная индокринация: у истоков системы: политические праздники и игры // *Полис*. – 1998. – № 5. – С. 79–96; 2) Тоталитарная индокринация как управление сознанием: учеб. пособие. – Томск, 2012.

⁴ Красильников С. А. Социальная мобилизация как системная характеристика сталинского режима: природа, формы, функции // *История сталинизма: итоги и проблемы изучения*. – М., 2011. – С. 150.

⁵ Там же.

ка постреволюционного советского режима, определившая в значительной мере формат, направления и масштабы модернизационных процессов¹.

Одной из форм социальной мобилизации в межвоенном СССР являлись идеолого-пропагандистские кампании, которые охарактеризованы С. Н. Ушаковой. Этот историк приводит характеристику подачи политических кампаний газетными изданиями, окончательно утратившими в 1930-е гг. ценность в качестве достоверного источника информации². В отечественной историографии сложился и более широкий взгляд на социальную мобилизацию периода сталинизма: как на частный случай в целом характерного для России со времен Ивана Грозного мобилизационного типа развития общества в условиях хронического дефицита ресурсов и незрелости социума для решения вырастающих перед ним задач³. Определение советской политической системы как мобилизационной существовало уже в советской же литературе. Еще до распада СССР, в частности, на примерах из периода сталинизма А. Галкиным были отмечены ее слабые стороны: инертность, краткосрочность эффективности, постепенное ослабевание в результате перенапряжения общественной организации в условиях чрезвычайных мер, снижение темпов развития тех сфер, за счет которых осуществляется мобилизация в других сферах, негативная кадровая селекция, выход на «первые роли» людей только лишь преданных режиму, конформистов⁴.

Среди англоязычных работ, посвященных проблемам советской мобилизации, обращает на себя внимание, прежде всего, исследование Д. Пристланда⁵. Этот автор связывает возникновение стратегий мобилизации с левыми течениями внутри большевизма. Пристланд выделяет два основных внутривнутрипартийных течения 1920–1930-х гг., которые условно называет «обновленческим» (ориентир на «оживление» всех сторон советской жизни, на мобилизацию масс, на стимуляцию энтузиазма и укрепление политической воли) и «техницистским» (опора на рационализм, научность, разработку новых технических достижений и методов управления), противостоявших друг другу. Этот автор убедительно доказывает победу «обновленчества», которое, по его мнению, изна-

¹ Социальная мобилизация в сталинском обществе... – С. 22.

² Ушакова С. Н. Идеолого-пропагандистские кампании как способ социальной мобилизации советского общества в конце 1920-х – начале 1940-х гг. – Новосибирск, 2009.

³ Никифоров В. П. Мобилизационный тип развития: особый путь России от Ивана Грозного до Владимира Путина. – М., 2000.

⁴ Галкин А. Общественный прогресс и мобилизационная модель развития // Коммунист. – 1990. – № 18. – С. 23–33.

⁵ Pristland D. Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power and Terror in Inter-War Russia. – Oxford; N. Y., 2007.

чально ориентировалось на возрождение революционного духа, но в итоге его и «убило».

Ряд авторов рассматривает в контексте тактики мобилизации масс на реализацию глобальных задач, в частности, и ситуацию, связанную с убийством С. М. Кирова. Идеологизации гибели лидера партийной организации и члена правительства, а также ее использованию в мобилизационных целях уделяется внимание в работах как отечественных, так и зарубежных авторов, которые расходятся во мнениях относительно виновников преступления, однако солидарны в выводах об «эпохальном» политическом значении этого события, позволившего И. В. Сталину обосновать усиление террора¹.

Тоталитарный режим в России формировался в определенных, уже сложившихся культурных условиях. Неоднократно отмечалось, что сам приход к власти большевиков в значительной степени был обусловлен ментальными характеристиками российского общества. А. В. Голубев подчеркивает инертность российской политической культуры в канун Октябрьской революции, неприятие обществом идей модернизации, высказывавшихся представителями либеральных политических сил, поиском альтернативы этому пути дальнейшего экономического и социально-политического развития. Голубев предполагает, что в программах большевиков народ увидел такую альтернативу, однако на практике их модернизационные планы оказались куда более радикальными. Становление тоталитарного политического режима быстро меняло общество, массовое сознание, вело к утверждению новых ценностей и эсхатологических представлений. Соответственно, можно говорить о формировании советской политической культуры – системы исторически сложившихся, относительно устойчивых и воплощающих опыт предшествующих поколений людей установок, убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в деятельности субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство политической жизни на основе преемственности².

Среди обобщающих работ, посвященных специфике советской политической культуры, необходимо назвать исследование В. А. Щегорцова. Еще на рубеже 1980–1990-х гг. им были выделены специфические черты политической культуры советского обще-

¹ Балан В. Сталин и убийство Кирова [Электронный ресурс] // Лебедь: независимый альм. – 2002. – 1 дек. (№ 300). – URL: <http://www.lebed.com/2002/art3162.htm> (дата обращения: 14.10.2015); Кирилина А. А. Неизвестный Киров: мифы и реальность. – СПб., 2002; Эгге О. Убийство, развязавшее сталинский террор. – М., 2011; Conquest R. Stalin and the Kirov Murder. – L.; Sidney; Auckland; Johannesburg, 1989; Knight A. Who Killed Kirov? The Kremlin's Grates Mystery. – N. Y., 2000; Lenoë M. E. The Kirov Murder and Soviet History. – New Haven; L., 2011 и др.

² Культура политическая // Политология: слов.-справ. – С. 189.

ства: слабая развитость политической системы с преобладанием во властных структурах не государственных, а партийных органов; демократическое несовершенство общественных отношений, наличие авторитарного режима единоличной власти; политический и идеологический монополизм правящей партии с жесткой ориентацией на сугубо классовые ценности, отсутствием свободы инакомыслия; морально-психологическая атмосфера подозрительности и недоверия, контроль общественности над личностью; наличие политической идеологии закрытого общества с ограниченной, дозированной информированностью людей о событиях в стране и мире; стереотипизация политического мышления и установок; качественно и количественно ограниченные знания политической теории, позволяющие манипулировать массовым сознанием; искусственная политизированность миросозерцания, насаждение и внедрение во все сферы жизни системы политико-идеологических критериев и оценок; преобладание харизматических убеждений и установок, безоговорочная вера в вождя и его сподвижников; слабая развитость самостоятельного политического мышления, привычка к интеллектуальному потреблению готовых штампов, лозунгов и т. п.; слабая развитость навыков политической активности граждан; жестко регламентированное политическое поведение, сводимое главным образом к мобилизации сил на поддержку и выполнение принятых руководством решений и борьбу с различными отклонениями от них; страх перед наказанием за политическое инакомыслие и не санкционированная сверху политическая деятельность¹. По словам В. А. Щегорцова, политическая культура советских людей этого периода представляла собой «харизматический, индифферентный (патриархальный) тип, в сочетании с верноподданническим типом политической культуры»².

В качестве яркой черты советской политической культуры межвоенных лет исследователями отмечено формирование героических культов, которые немецкий историк Я. Плампер определяет, как символическое выражения чрезвычайного возвышения какого-либо лица над всеми окружающими³. Разработка теории советских политических культов осуществлялась, в частности, Э. Шлисом и К. Гиртцем, по выводам которых эти культы стоит признать порождением массовой политики, а их возникновение было возможно лишь в условиях закрытых обществ и борьбы с религией (эти культы признаются

¹ Щегорцов В. А. Эволюция политической культуры советского общества: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – М., 1991. – С. 36–37.

² Там же.

³ Плампер Я. Алхимия власти: культ Сталина в изобразительном искусстве. – М., 2010. – С. 9.

квазирелигиозными)¹. Разработка темы советских героических культов происходила в имеющейся историографии, прежде всего, на примерах культов вождей – В. И. Ленина и И. В. Сталина, однако в последнее время появляются также работы, посвященные прочим героическим культам². Наиболее значимыми, концептуальными работами, посвященными сущности культа Ленина, который целенаправленно создавался в изучаемы нами период, стоит признать исследования О. В. Великановой³, а также немецких историков Н. Тумаркин⁴ и Б. Энкер⁵. В контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что эти авторы обратили внимание на роль организации похорон В. И. Ленина в формировании политического культа вождя. Представляет интерес и новаторское исследование Дж. Г. Хартзока, посвященное роли культа Гражданской войны в формировании советской идентичности. Этот исследователь работает преимущественно с визуальными источниками, главным образом с советским кино⁶. Образ врага («колчаковщины») в репрезентациях художественного кино исследован, как мы уже сообщали, Е. В. Волковым⁷.

Один из векторов развития политической истории Советского Союза задан так называемым «культурным поворотом». Историками, работающими в рамках этого направления, в значительной степени разработана проблематика, связанная с «эстетизацией политики» – с политической символикой и публичными политическими ритуалами, в числе которых были праздничные и траурные торжества. Сделан убедительный вывод о том, что в военно-революционные годы, в годы становления советской политической системы и на этапе сталинизма политическая жизнь управлялась с помощью символов и ритуалов. В этой связи необходимо назвать исследования Б. И. Колоницкого, посвященные революционному периоду⁸, а также В. В. Глебкина⁹. Этот автор обращает внимание на то, что после Октябрьской революции большевики работали над установлением собственных ритуалов, противостоявших религиозным.

¹ Там же. – С. 11–13.

² Рапопорт Е. Политика мифотворчества: случай пионеров-героев [Электронный ресурс] // Гефтер: интернет-журн. – 2013. – 20 дек. – URL: www.gefter.ru/archive/10887 (дата обращения: 14.11.2015).

³ Великанова О. В. Образ В. И. Ленина в государственной идеологии и общественном восприятии в Советской России: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 1993.

⁴ Tumarkin N. Lenin lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. – Cambridge; Massachusetts; L., 1983.

⁵ Энкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе. – М., 2011.

⁶ Hartzok J. G. Children of Чарпаев [Электронный ресурс]: the Russian Civil War Cult and the Creation of Soviet Identity, 1918–1941. – Iowa City, 2009. – URL: <http://ir.uiowa.edu/etd/1227> (дата обращения: 15.03.2015).

⁷ Волков Е. В. «Колчаковщина» в советском игровом кино.

⁸ Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 г. – СПб., 2011 и др.

⁹ Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. – М., 1998.

Глебкин утверждает, что эти ритуалы должны были подтверждать наличие нового сакрального образования – государства, строившего коммунизм. Однако политические ритуалы XX в. Глебкин называет «лишь отзвуком религиозного действия». Они служили возвышению политических ценностей над бытом, над миром повседневного. Ученый также отмечает «вторичность» советской культуры, которая возникла на уже освоенном пространстве, которое нельзя игнорировать¹.

Проблемы советской политической символики активно разрабатываются и зарубежными русистами, многие из которых исследуют визуальные репрезентации сферы политического. К примеру, плакатная символика и использование плакатного искусства в целях пропаганды изучается В. Боннелл². Идеологическое значение государственных праздничных торжеств, выраженное в символической форме, исследуется С. Хэттери, Ф. К. Корни, К. Петроне³. В этих работах показана парадная, официальная сторона сталинизма, служившая ширмой, скрывавшей террор. На сегодняшний день доказано, что политическая символика являлась мощным средством воздействия на сознание и эмоции советских людей.

С. Коткин определяет сталинизм не просто как политический режим, но и как особый образ жизни, как систему ценностей⁴. Согласно выводам этого автора, «отменив» религию, «мещанские» ценности и эстетику «класса эксплуататоров», советское государство было вынуждено предложить обществу альтернативную систему ценностей, которая и была разработана в середине 1930-х гг. Проблемы приспособления человека, жившего в советской стране, к официальной идеологии, к советской системе ценностей разрабатываются известными русистами Ш. Фицпатрик (на уровне выработки повседневных практик)⁵ и Й. Хелльбеком (на уровне преобразования человеком самосознания и образа жизни под идеологическим воздействием)⁶. Официальной советской культуре сталинизма посвящена также работа Д. Л. Хофманна, по мнению которого, в середине 1930-х гг. официальная культура претерпела резкий переход к консервативным

¹ Там же. – С. 17, 44.

² Bonnell V. E. *Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*. – Berkley; Los Angeles; L., 1997.

³ Chatterjee C. *Celebrating Women: Gender, Festival Culture and Bolshevik Ideology, 1910–1939*. – Pittsburgh, 2002; Corney F. C. *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution*. – Ithaca, 2004; Petrone K. *Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin*. – Bloomington, 2000.

⁴ Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization*. – Berkley, 1995. – P. 23.

⁵ Фицпатрик Ш. 1) *Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е гг.: город*. – М., 2001; 2) *Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 30-е гг.: деревня*. – М., 2001.

⁶ Hellbeck J. *Fashioning the Stalinist Soul: the Diary of Stepan Podlubnyi, 1931–1939 // Stalinism*. – L., 2000. – P. 344–373.

ценностям и возрождению памяти о национальных героях царской России, а также о классиках русской литературы. По мнению Хоффманна, в этот период власть использовала некоторые элементы традиционной культуры для укрепления социалистического строя¹.

Историками также охарактеризована «концепция культурности», предложенная советским массам в середине 1930-х гг.² Именно этой проблеме посвящена статья В. В. Волкова, который отмечает поверхностную сущность данной концепции и ее политизацию. Волков выявляет критерии определения культурности, к которым относит умение одеваться со вкусом, соблюдение правил личной гигиены, общественную активность, новый быт, грамотную разговорную речь, широкий кругозор и «начитанность». Вопросам становления социалистического образа жизни посвящаются труды сборника под редакцией Т. Вихавайнен³. Проблема утверждения советских форм досуга в контексте формирования новых культурных ценностей «без религии» на примере истории Парка культуры им. М. А. Горького в Москве разработана К. Кухер⁴. Исследователями поставлена и важная в контексте нашего исследования проблема противоречий между советскими ценностями «нового человека» и культурно-исторической средой городов, сложившейся в дореволюционный период. В этом смысле, прежде всего, заслуживает внимания исследование Н. Б. Лебиной и В. С. Измозика, выполненное на материалах Ленинграда 1920–1930-х гг.⁵

Необходимо обратить внимание также и на основную литературу, посвященную ключевым событиям в городах Западной Сибири во время революции 1905 г., Октябрьской революции и Гражданской войны. Без обращения к этим работам невозможно понять акценты советской пропаганды, использовавшей историю, а также оценить степень искажения ею фактов. Советская историография этой темы фактически неохватна и сильно зависима от идеологических контекстов⁶. Однако нельзя обойти вниманием отдельные статьи «Сибирской советской энциклопедии», посвященные

¹ Hoffman D. L. *Stalinist Values: the Cultural Norms of Soviet Modernity*. – Ithaca, 2003.

² Волков В. В. Концепция культурности (1935–1938 гг.): советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социол. журнал. – 1996. – № 1/2. – С. 194–213.

³ Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е гг. – СПб., 2000.

⁴ Кухер К. Парк Горького: культура досуга в сталинскую эпоху (1928–1941 гг.). – М., 2012.

⁵ Измозик В. С., Лебина Н. Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве (1920–1930-е гг.). – СПб., 2010.

⁶ Подробнее см.: Гарипова Л. Г. Советская историография Гражданской войны в Сибири (конец 60-х – 80-е гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Томск, 1991; Плотникова М. Е. Советская историография Гражданской войны и интервенции в Сибири: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Томск, 1974.

военно-революционным событиям¹, а также 3 и 4 тома фундаментального обобщающего коллективного труда «История Сибири»². Важно указать и на книги коллективного обобщающего серийного издания «История рабочего класса Сибири»³.

Поскольку в 1920–1930-х гг. велась активная работа над увековечиванием памяти погибших подпольщиков, партизан и красноармейцев, хотелось бы также упомянуть советские краеведческие издания, посвященные судьбам людей, признанных в тот период героями революционной борьбы⁴. Эти книги отражают продолжение довоенного этапа мемориализации героев, утратившего актуальность после распада СССР.

Среди постсоветских исследований политической истории Западной Сибири нам представляется важным остановить внимание на работах В. П. Зиновьева⁵ и М. В. Шиловского⁶, посвященных событиям Первой русской революции, на постсоветских коллективных трудах об Октябрьской революции и Гражданской войне в Сибири⁷, а также на работах Н. С. Ларькова⁸, В. Л. Кожевина, А. И. Шумилова, В. Б. Шепелевой⁹, Д. Г. Симонова¹⁰, Д. Р. Тимербулатова¹¹, В. Г. Михеенкова¹², В. И. Шишкина¹³ по этой тематике. Современные справочные данные об основных событиях военно-

¹ Колчак Александр Васильевич // Сибирская советская энциклопедия (далее – ССЭ). – М., 1931. – Т. 2. – С. 832–833; Колчаковщина // ССЭ. – Т. 2. – С. 834–847; Красная армия в Сибири и на Дальнем Востоке // ССЭ. – Т. 2. – С. 994–1020.

² История Сибири с древнейших времен до наших дней. – Л., 1968. – Т. 3: Сибирь в эпоху капитализма. – С. 251–494; Т. 4: Сибирь в период строительства социализма. – С. 27–176.

³ Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. – Новосибирск, 1982. – (История рабочего класса Сибири); Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917–1937 гг.). – Новосибирск, 1982. – (История рабочего класса Сибири).

⁴ Гузеева В. Т. Семья Шамшиных: шаги в бессмертие. – Новосибирск, 1989; Люди большевистского подполья Урала и Сибири, 1918–1919. – М., 1988 и др.

⁵ Зиновьев В. П. Об октябрьских событиях 1905 г. в Томске // Революция 1905–1907 гг. и общественное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Омск, 1995. – С. 86–93; и др.

⁶ Шиловский М. В.: 1) Первая русская революция 1905–1907 гг. в Сибири. – Новосибирск, 2012; 2) Томский погром 20–22 октября 1905 г.: хроника, комментарий, интерпретация. – Томск, 2010.

⁷ Сибирь в период Гражданской войны. – Кемерово, 1995.

⁸ Ларьков Н. С. Начало Гражданской войны в Сибири: армия и борьба за власть. – Томск, 1995.

⁹ Кожевин В. Л. Омск и омичи в период революционных событий 1917 – первой половины 1918 г. // Энциклопедия г. Омска. – Омск, 2009. – С. 251–269; Очерки истории г. Омска. – Омск, 2005. – Т. 2: Омск, XX в. – С. 7–117; и др.

¹⁰ Симонов Д. Г. Свержение советской власти в Сибири летом 1918 г. // Проблемы истории Гражданской войны на востоке России. – Новосибирск, 2003. – С. 3–36.

¹¹ Тимербулатов Д. Р. «Баржи смерти» в Сибири в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.) // Вестн. / Кемеров. гос. ун-т. – 2011. – № 4. – С. 57–62.

¹² Михеенков В. Г. Вузовская интеллигенция Томска в годы революции и Гражданской войны: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Томск, 2002.

¹³ Шишкин В. И. Гражданская война в Сибири (1920 г.) [Электронный ресурс] // Сиб. заимка. – 2000. – № 7. – URL: <http://zaimka.ru/soviet/shishkin2.shtml> (дата обращения: 12.03.2015).

революционных лет в Западной Сибири и их участниках отражены также авторами трехтомного издания «Историческая энциклопедия Сибири»¹.

Общий исторический фон социально-политической, культурной и повседневной жизни в городах Западной Сибири межвоенных лет, существенно влиявший на состояние памятных мест и коммеморации, представлен в многочисленных исследованиях как советских, так и современных историков. Из всего массива работ, посвященных этим вопросам, мы выделяем, прежде всего, наиболее ранние обзорные статьи, приведенные в 4 томе «Истории Сибири в древнейших времен до наших дней»². Общие проблемы реализации политики репрессий в нашем регионе отражают работы С. А. Папкова³. Вопросы сталинских репрессий в Сибири проясняют и исследования В. Н. Уйманова⁴. Социальным катаклизмам (голоду, эпидемиям) в жизни Сибири 1920–1930-х гг. посвящена монография В. С. Познанского⁵. Эпидемии тифа в городах Западной Сибири (1919–1920 гг.) и борьбе с ней уделено внимание в работах В. М. Лойко⁶, К. А. Семенов⁷ и др. Повседневный фон жизни в сибирских городах описан, в частности, В. И. Исаевым⁸. Городская повседневность Новосибирска 1920–1930-х гг. изучалась также и автором данного исследования⁹. В. Л. Соскиным, С. А. Красильниковым и Е. Г. Водичевым определены основные контуры культурной политики в Сибири межвоенного времени¹⁰. С. А. Красильниковым также охарактеризованы основные направления деятельности и историческая судьба Общества изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС)¹¹. Помимо этого, история ОИС привлекала внимание К. А. Кабанова¹², О. А. Безродной¹³ и

¹ Историческая энциклопедия Сибири: [в 3 т.]. – Новосибирск, 2009.

² История Сибири с древнейших времен до наших дней. – Т. 4. – С. 177–433.

³ Папков С. А.: 1) Сталинский террор в Сибири 1928–1941. – Новосибирск, 1997; 2) Обыкновенный террор: политика сталинизма в Сибири. – М., 2012.

⁴ Уйманов В. Н. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец 1919 – 1941 г.). – Томск, 2012.

⁵ Познанский В. С. Социальные катаклизмы в Сибири: голод и эпидемии 20–30-х гг. XX в. – Новосибирск, 2007.

⁶ Лойко В. М. Большевики Западной Сибири в борьбе за ликвидацию последствий колчаковщины (конец 1919 – 1920 г.): по материалам Томской, Омской и Алтайской губерний: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1957.

⁷ Семенова К. А. Здравоохранение г. Томска: время становления (1860-е – 1919 г.). – Томск, 2009. – С. 39–51.

⁸ Исаев В. И. Необычные судьбы обычных людей: советская повседневность в 1920–1930-е гг. – Новосибирск, 2008.

⁹ Красильникова Е. И. Жизнь в городе-акселерате: обеспечение потребностей новосибирцев в межвоенное время (конец 1919 – первая половина 1941 г.). – Новосибирск, 2008.

¹⁰ Советская культурная политика и практика ее реализации в Сибирском регионе: очерки истории. – Новосибирск, 2006; Соскин В. Л. Российская советская культура (1917–1927 гг.): очерки социальной истории. – Новосибирск, 2004.

¹¹ Красильников С. А. Общество изучения Сибири: от рассвета до заката (1925–1931) // Наука в Сибири. – 2000. – 12 мая.

¹² Кабанов К. А. Роль Общества изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС) в изучении освоения Сибирского региона // Культура и интеллигенция России: интеллектуальное пространство (Провинция и Центр), XX в. – Омск, 2000. – С. 112–116.

¹³ Безродная О. А. Общество изучения Сибири и ее производительных сил: трагический финал // Седьмые Всероссийские краеведческие чтения. – М.; Омск, 2013. – С. 577–584.

др. Вопросы отношений сибирского театра и органов власти в 1920-х гг. освещаются в монографии О. А. Литвиновой¹. Жизнь вузовской интеллигенции Томска освещается в исследовании А. В. Литвинова².

Говоря о духовной жизни городов Западной Сибири 1920–1930-гг., необходимо также упомянуть книгу М. М. Громько, посвященную реконструкции биографии старца Федора Томского и его посмертному почитанию. Автор отождествляет Федора Томского и императора Александра I, излагая религиозный взгляд на эту проблему³. В Томске начала 1920-х гг. широко распространились слухи о чудесных явлениях старца. Осмысление их природы и значения строится нами в опоре на работы социологов, фольклористов, антропологов и литературоведов: М. В. Загидуллиной, Р. Л. Красильникова, Е. Е. Левкиевской, А. П. Назертяна, А. А. Чамеева⁴.

Необходимо упомянуть и о справочных изданиях, содержащих хроникальные данные по истории западно-сибирских городов⁵, а также работах, посвященных истории градостроительства в Сибири, формированию городской среды с ее культурной и коммунально-бытовой подсистемами⁶. Более широкий взгляд на градостроительство межвоенных лет, на процессы формирования городской среды в СССР представлен в обобщающих работах городоведов, историков архитектуры и градоустройства: Е. В. Коньшева, М. Г. Мееровича, Д. С. Хмельницкого⁷. Их исследования следует учитывать, определяя условия и факторы динамики коммемораций в городах Западной Сибири.

¹ Литвинова О. А. Власть и театральная культура в сибирской провинции в годы нэпа. – Барнаул, 2005.

² Литвинов А. В. Профессорско-преподавательский корпус Томского университета (20–30-е гг. XX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Томск, 2002.

³ Громько М. М. Святой праведный Федор Кузьмич – Александр I Благоверный: исследование и материалы к житию. – М., 2007.

⁴ Загидулина М. В. Мифотворческая функция слухов в рамках фольклета: к вопросу о расширении классической теории фольклора // Вестн. / Челяб. гос. ун-т: сер. «Филология. Искусствоведение». – 2009. – № 34, вып. 36. – С. 37–42; Красильников Р. Л. «Живой труп» в русской литературе [Электронный ресурс]. – URL: http://www.booksite.ru/fulltext/suda/kov/6_03.htm (дата обращения: 12.03.2015); Левкиевская Е. Е. Слухи как речевой жанр [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/1s09_program_levkievskaya.htm (дата обращения: 12.03.2015); Назертян А. П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопр. философии. – 2002. – № 11. – С. 74–79; Чамеев А. А. Лицом к лицу с призраками, или Шаг во тьму // Готический рассказ XIX–XX вв. – М., 2010. – С. 5–21.

⁵ Барнаул: летопись города. – Барнаул, 1994. – Ч. 1; Новосибирск, 100 лет: События. Люди. – Новосибирск, 1993; Цыплаков И. Ф. Корона сибирской столицы: хроника исторического центра г. Новосибирска. – Новосибирск, 2003 и др.

⁶ Баландин С. Н. Новосибирск: история градостроительства (1893–1945 гг.). – Новосибирск, 1978; Кочедамов В. И. Омск: как рос и строился город. – Омск, 1960; Шабунин Е. А. Храмы Новосибирска: ист. путеводитель. – Новосибирск, 2002 и др.

⁷ Меерович М. Г., Коньшева Е. В., Хмельницкий Д. С. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР (1928–1932 гг.). – М., 2011; Хмельницкий Д. С. Зодчий Сталин. – М., 2007.

Круг вопросов, поставленных нами в контексте данного исследования, до определенной степени изучен историками, этнографами и краеведами, работавшими над проблемами культуры русского некрополя, истории памятников и монументов в городском пространстве, похоронных практик, траурных и праздничных торжеств и истории отечественного музейного дела в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами, а также в предыдущий период.

Наибольший вклад в изучение истории старинных кладбищ России и Сибири внесли некрополисты. Обычно «некрополями» называют комплексы погребений (кладбища, захоронения в храмах, могильники и пр.). Но современное научное определение некрополя может включать: 1) совокупность захоронений в пределах одного кладбища или в масштабах города, области, государства; 2) сочетание захоронений и мемориальных памятников, рассматриваемых как произведения изобразительного искусства и литературы и как исторический источник; 3) сочетание захоронений (включая и места, где уничтожены мемориальные памятники) и комплекса источников по истории формирования и существования кладбищ, включая списки захоронений и литературу, посвященную данному вопросу¹. Можно сказать и так: «некрополистикой» принято называть направление исторических исследований, посвященных установлению, систематизации и интерпретации сведений о местах погребений, принадлежащих определенному локусу, о надгробиях и памятниках, а также о людях, чьи останки были захоронены в этих местах.

Российская некрополистика коренится еще в XVIII в. Однако, по выводам историка С. В. Шокарева, «уже в России XVI–XVII вв. проявлялось восприятие некрополя (кладбища, усыпальницы. – *Е. К.*) как части истории, ориентировавшей людей Средневековья на личностное восприятие прошлого, осознание своей связи с ним»². Такое восприятие некрополя утвердилось в XVIII–XIX вв. Ментальная индивидуализация Нововременной эпохи (XVIII в.) дала жизнь новым видам исторических источников, к числу которых относятся и некрополи (первые «книги памяти»), которые, как мемуары и портретная живопись, свидетельствуют о пробуждении в обществе интереса к «частным историям» и внутреннему миру личности³. Русские некрополи эпохи классицизма испытывали на

¹ Шокарев С. Ю. Русский средневековый некрополь: обряды, представления, повседневность (на материалах Москвы XIV–XVII вв.) // Культура памяти. – М., 2003. – С. 141.

² Там же. – С. 187.

³ См., например: Список эпитафий с надгробий Лазаревского кладбища и церкви-усыпальниц Александро-Невской лавры // Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с 1703, по 1751 г. – СПб., 1779. – С. 374–446.

себе влияние государственной политики памяти. В них фиксировались сведения о главных лицах государства, которые репрезентировались в качестве героев своего времени. Романтизация смерти начала XIX в., когда кончина воспринималась как момент «вышненья духа», избавления человека от земных страданий и перехода в иной мир, где душу ждет покой и свет¹, актуализировала составление некрополей. Некрополистика этого периода развивалась в духе романтической историографии, уделявшей пристальное внимание нравственно-психологическому облику людей, «делавших историю». Поэтому в XIX в. продолжалась систематизация надгробных надписей с могил благородных и знаменитых петербуржцев и москвичей². XIX столетию принадлежит признание пользы некрополей с точки зрения генеалогии и биографики. Также повествования о кладбищах как о местах святого упокоения в XIX в. часто сопровождали описания городов, храмов и монастырей³.

В начале XX в. наступил расцвет отечественной некрополистики. Началось изучение надгробий столичных кладбищ как произведений искусства: их атрибуции и стилистической принадлежности⁴. Была осознана и польза некрополей для изучения социальной и духовной жизни ушедших поколений⁵. Развитие интереса к столичным некрополям выразилось в начале XX в. в издании работ о московских кладбищах П. А. Росиева, А. Г. Саладина⁶ и др. На рубеже XIX и XX вв. великий князь Николай Михайлович выступил организатором грандиозного исследовательского проекта по изучению некрополей российских столиц и провинции, именуемого сегодня «Русским некрополем». Изначальным методом некрополистики являлось переписывание надгробных надписей с уцелевших могил. Надгробия, в отличие от метрических книг, которые ограничивались сообщением о количестве прожитых лет, информировали о дате рождения усопшего⁷. Сначала изучались некрополи столицы и лишь во вторую очередь – некрополи провинци-

¹ Аръес Ф. Человек перед лицом смерти. – М., 1992. – С. 341.

² Беляев В. О кладбищах в Санкт-Петербурге. – СПб., 1872; Мартынов А. Надгробная летопись Москвы. – [М., 1895]; Орлов А. Надгробные надписи из всех монастырей и со всех кладбищ московских. – М., 1834; Павлов А. Описание Александро-Невской лавры с хронологическими списками особ, погребенных в церквах и на кладбищах. – СПб., 1842 и др.

³ Озеров Ю. В. История погребальной культуры российской провинции в конце XVIII – начале XX в.: на примере Курской губ.: дис. ... канд. ист. наук. – Курск, 2004. – С. 3.

⁴ Врангель Н. Забытые могилы // Старые годы. – 1907. – № 2. – С. 35–49; и др.

⁵ Чех С. С. Опыт исследования Старого Симферопольского кладбища // Изв. / Таврич. уч. архив. комис. – 1918. – № 55. – С. 321–329.

⁶ Росиев П. А. Забытые могилы на московских кладбищах // Исторический вестник. – М., 1906. – Т. 104. – С. 822–847; Саладин А. Г. Очерки истории московских кладбищ. – М., 1995.

⁷ Шилов Д. Н. «Русский некрополь» великого князя Николая Михайловича (история создания, неопубликованные материалы и проблемы их изучения и издания): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2004. – С. 3.

альных городов и заграничных кладбищ с русскими захоронениями¹. К работе над «Русским некрополем» были привлечены опытные исследователи: Б. Л. Модзалевский, В. И. Саитов, В. В. Шереметьевский, В. А. Андерсон². Под руководством великого князя Николая Михайловича вышел также и «Русский провинциальный некрополь»³, подготовкой которого занимались все те же авторы. К работе привлекались и провинциальные священнослужители, которые собирали сведения о состоянии местных кладбищ и захоронений. Усилиями русских некрополистов начала XX в. был собран значительный массив сведений о старинных кладбищах, до сих пор лишь частично опубликованный. Вообще, в начале XX в. изучались исторические некрополи разных регионов страны⁴. В этот период впервые предметом изучения стал и сибирский (иркутский) некрополь⁵.

Октябрьская революция предопределила дальнейшее развитие некрополистики в нашей стране. В начале 1920-х гг. составлялись описания некрополей большевиков и красноармейцев⁶. Однако уже в 1930-е гг. некрополистику в дореволюционном понимании власть ликвидировала как «реакционное» направление науки. Классовый подход противоречил концентрации внимания на памяти о людях, не оставивших заметного следа в перипетиях классовой борьбы или оказавшихся «по ту сторону баррикад». Советские исследователи продолжали изучать лишь могилы декабристов, классических русских писателей и художников⁷. Советские историки не могли обойти вниманием также старинные могилы московских царей и бояр в силу неоспоримого источниковедческого значения этих памятников⁸. Также опыт некрополистики пригодился и для уве-

¹ Там же.

² Петербургский некрополь, или Справочный исторический указатель лиц, родившихся в XVII и XVIII столетиях, по надгробным надписям Александро-Невской лавры и упраздненных петербургских кладбищ. – М., 1883; Саитов В. И., Модзалевский Б. Л. Московский некрополь. – М., 1907–1908 и др.

³ Русский провинциальный некрополь. – М., 1914.

⁴ Агафонов Н. Я. Казанский некрополь, 1747–1894 // Агафонов Н. Я. Казань и казанцы. – Казань, 1906. – Кн. 1. – С. 58–113; Чернопятов В. И. Некрополь Крымского полуострова. – М., 1910; и др.

⁵ Мокеев Н. Иркутское Иерусалимское кладбище // Сиб. архив. – 1912. – № 12. – С. 927–938.

⁶ Братская могила: биографический словарь умерших и погибших членов Московской организации РКП(б). – М., 1922. – Вып. 1; 1923. – Вып. 2.

⁷ Например: Охотников И. В. Литераторские мостки. – Л., 1965; Чулков Н. П. Москва и декабристы // Декабристы и их время: труды московской и ленинградской секций по изучению декабристов и их времени. – М.; Л., 1932. – Т. 2. – С. 291–323; Ястржембский Л. А. Московский некрополь декабристов // Декабристы в Москве: труды Музея истории и реконструкции Москвы. – М., 1963. – Вып. 8. – С. 265–278.

⁸ Кучкин В. А. Захоронение Ивана Грозного и русский средневековый погребальный обряд // Советская археология. – 1967. – № 1. – С. 289–295; Спирина Л. М. Неизвестные произведения искусства и исторические документы, связанные с погребальным комплексом Годуновых // Памятники культуры: новые открытия: ежегодн., 1980. – Л., 1981. – С. 455–464.

ковечивания памяти героев Великой Отечественной войны¹. Пожалуй, образцом поздней, официальной советской некрополистики можно признать «Некрополь на Красной площади» А. С. Абрамова². В перестроечные годы некропестика оживилась. Теперь активнее публиковались данные о могилах и кладбищах, имеющих художественную ценность и историческую значимость в марксистском понимании³. Появились и обобщающие работы искусствоведов по истории русских и советских надгробий, а также искусствоведческие труды, в которых давалось описание исторических некрополей российских столиц⁴. Уже в 1980-х гг. отдельные энтузиасты (например, М. Д. Артамонов) занялись составлением некрополей в духе досоветских традиций.

В 1990-е гг. проснулся интерес к истории православия, возрождалась память о русском духовенстве и церквях. Поскольку при церквях часто существовали погосты, они тоже стали попадать в поле зрения историков, занимавшихся церковной проблематикой. Продолжилось изучение городских некрополей. На источниковедческую ценность подобных источников стали обращать внимание такие крупные историки современности, как С. О. Шмидт⁵. В 1990-х гг. неоднократно устраивались конференции по некрополистике, тесно связанной с проблемами генеалогии⁶. Характерные для этого периода реабилитация белого движения и эмигрантов первой волны, жертв сталинских репрессий, а также празднования юбилеев Великой Победы давали жизнь новым направлениям отечественной некрополистики⁷. Этому десятилетию принадлежит и первая диссертация по

¹ Например: Их имена вечно будут жить в народе: кладбище героев Великой Отечественной войны в Ужгороде. – Ужгород, 1961; Памятники советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и захороненным в Москве. – М., 1985; и др.

² Абрамов А. С. У кремлевской стены. – М., 1987 и др. изд.

³ Например: Александро-Невская лавра: архитектурный ансамбль и памятники некрополей. – Л., 1986. – С. 65–273; Богуславский Г. Памятники Сибири: Западная Сибирь и Красноярский край. – М., 1974; Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Алтайский край. – М., 1990; Пирютко Ю. М. Лазаревская усыпальница – памятник русской культуры XVIII–XIX вв. // Памятники культуры: новые открытия: ежегодн., 1998. – М., 1989. – С. 484–497; Турчин В. С. Надгробные памятники эпохи классицизма в России: типология, стиль, иконография // От Средневековья к Новому времени: материалы и исследования по русскому искусству XVIII – первой половины XIX в. – М., 1984. – С. 211–228 и др.

⁴ Ермонская В. В. Советская мемориальная скульптура: (к истории становления и развития русского советского художественного надгробия). – М., 1979; Компанец С. Е. Надгробные памятники XVI – первой половины XIX в. – М., 1990 и др.

⁵ Шмидт С. О. Исторический некрополь в системе культуры России // Московский некрополь: история, археология, искусство, охрана. – М., 1991. – С. 17–20.

⁶ Московский некрополь: история, археология, искусство, охрана. – М., 1991; Московский некрополь: история, археология, искусство, охрана. – М., 1996 и др.

⁷ Воинский некрополь Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Ваганьковское кладбище. – М., 1994; Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской обл. (1917–1987). – Тула, 1999; Книга расстрелянных: мартиролог погибших от руки НКВД в годы Большого террора (Тюменская обл.). – Тюмень, 1999. – Т. 1–2; Шулепова Э. А. Русский некрополь под Парижем. – М., 1993.

некрополистике¹. А в 1996 г. была основана серия книг «Российский некрополь», издание которых продолжается и сегодня.

Современные «некрополисты» (особенно провинциальные) оказались в иных условиях, нежели их единомышленники начала XX в. Использовать старые методы сбора информации для некрополей (списывать надписи с надгробий в полевых условиях) оказалось затруднительно: большинство старых кладбищ по всей стране подверглись уничтожению в советские годы. Поэтому для установления данных о погребенных на уже несуществующих кладбищах исследователям пришлось обращаться к метрическим книгам, книгам советских ЗАГСов и прочим письменным источникам, что повлекло за собой усложнение и в некотором размывание некрополистики как жанра. Изменились и глобальные контексты развития мировой исторической науки. Современное влияние антропологии на социальную историю побуждает историков ценить данные и о «маленьких людях», поэтому становятся актуальными сведения обо всех захоронениях на старых кладбищах, а не только о могилах некогда известных людей. В современной России издаются и разрабатываются в виде электронных ресурсов некрополи различных провинциальных городов. Свои некрополи - справочники есть во Владимире, Калуге, Курске, Перми, Смоленске, Ярославле и т. д.² Продолжается издание материалов, собранных еще в начале XX в. Также продолжается изучение истории мемориального искусства, характерного для традиций русского некрополя³. Обобщенный исторический обзор развития культуры некрополя в России был недавно представлен в диссертации А. А. Павленко⁴.

Отдельного внимания заслуживают исследования, посвященные некрополю городов – административных центров Западной Сибири. Работа «Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах» отличается богатством интересно скомпонованных источников, среди которых списки упокоенных горожан с указанием дат их кончины и похорон, биографические статьи, некрологи, тексты эпитафий,

¹ Шокарев С. Ю. Московский некрополь XV – начала XX в. как социокультурное явление (источниковедческий аспект): дис. ... канд. ист. наук. – М., 2000.

² Алексеев В. Л. Ярославский некрополь. – Ярославль, 2000. – Вып. 1: Тугова гора; Бугров Ю. А. Курский некрополь: Никитское и Всехсвятское кладбища: опыт научного исследования. – Курск, 2003; Владимирский некрополь: Старое (Князь-Владимирское) кладбище. – Владимир, 1996; Гладышев В. Ф. Перми старинное зеркало: история Перми в зеркале некрополя. – Пермь, 2001; Калужский некрополь. – Калуга, 2009; Кулешов С. Я. Смоленский некрополь. – СПб., 2004 и др.

³ Акимов П. А. Русское надгробие XVIII – первой половины XIX в.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2008.

⁴ Павленко А. А. Смерть в структуре тезауруса современной культуры России: дис. ... канд. культурологии. – Комсомольск-на-Амуре, 2014. – С. 98–120.

дошедших до нашего времени. Издание снабжено исторической справкой о старинных томских кладбищах. Осуществление этого исследовательского проекта курировалось опытными историками Н. М. Дмитриенко и В. П. Зиновьевым. Основным источником получения сведений для этого справочного издания стала томская газетная периодика. В этом же издании дана краткая историческая справка о местонахождении, времени и условиях существования старинных томских гражданских (Вознесенского, Каштакского, Северного, Преображенского) и монастырских кладбищ¹. Исследования исторического некрополя Томска продолжают и в настоящее время. Центром изучения этой проблематики является Томский государственный университет. При участии студентов и аспирантов подготовлено несколько новых публикаций². Параллельно сотрудники ГАТО издали справочник «Католический некрополь г. Томска (1841–1919) гг.»³. Добавляет новые сведения о томском некрополе и издание документов из коллекции великого князя Николая Михайловича, подготовленное Д. Н. Шиловым, снабженное развернутым предисловием, содержащим критику публикуемых источников⁴. Наконец, в 2013 г. Г. Скарлыгиным, Т. Назаренко и А. Яковенко была издана богато иллюстрированная книга, содержащая биографические очерки и путеводитель по кладбищам Томской области «Томский литературный некрополь»⁵.

В 2005 г. опубликован «Омский некрополь», где приведены сведения о снесенных омских кладбищах и биографические статьи о некоторых лицах, погребенных здесь⁶. В настоящее время омичами ведется работа по подготовке второго тома издания. В 2009 г. был опубликован также и «Новосибирский некрополь», в подготовке которого принял участие и автор данного исследования⁷. Эта книга представляет собой не справочник, а научно-популярное краеведческое издание, выполненное в опоре на традицию российской некрополистики и направленное на повышение внимания общественности к проблемам истории и сохранения старых кладбищ Новосибирска.

¹ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах (1827–1939 гг.). – Томск, 2001.

² Томский некрополь: Южное кладбище. – Томск, 2010. – Вып. 1: Восточная сторона; 2013. – Вып. 2: Западная сторона; Дмитриенко Н. М., Монгуш А. А. О публикации траурных сообщений в томской газете «Красное знамя» (1940–1962) // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2012. – № 10 (636). – С. 89–91; Монгуш А. А. Томские эпитафии как памятники культурного наследия // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2013. – № 374. – С. 107–109.

³ Католический некрополь г. Томска (1841–1919 гг.). – Томск, 2001.

⁴ Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая Михайловича в РГИА). – СПб., 2010.

⁵ Томский литературный некрополь. – Томск, 2013.

⁶ Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – Омск, 2005.

⁷ Новосибирский некрополь. – Новосибирск, 2009.

Характеризуя наличные итоги изучения истории некрополя городов Западной Сибири, нельзя обойти вниманием и многочисленные работы по краеведению и археологии. Прежде всего обращают на себя внимание, как наиболее ранние, работы о православной церкви в Томске, в которых упоминается тема кладбищ. В 1900 г. протоиерей Д. Н. Беликов привел сведения о самом старом городском православном кладбище на мысу Воскресенской горы у Троицкой соборной церкви¹. А в книге К. Н. Евтропова «История Троицкого кафедрального собора в Томске» упомянуто Вознесенское кладбище². В 1912 г. была опубликована замечательная краеведческая работа А. В. Адрианова «Томская старина», где приводились и более подробные сведения о томских кладбищах. Описывая пространственную организацию старинного Томска, Адрианов упоминал Шведскую гору (Каштак), где, по его словам, в петровское время хоронили преимущественно пленных шведов, сосланных в Сибирь по царскому указу. Из книги следует, что Адрианову удалось найти могильную плиту коменданта Томска Т. Т. Девильнева, умершего в 1794 г. и похороненного на Шведской горе. Адрианов привел и некоторые сведения о местах погребения легендарных жителей Томска (могила старца Федора Кузьмича на кладбище мужского Алексеевского монастыря и др.)³.

Свою лепту внесли в определение местоположения старинных томских кладбищ и характера имевшихся на них погребений томские археологи и антропологи, прежде всего С. М. Чугунов, определивший местонахождение многих старинных кладбищ Томска и описавший элементы погребального обряда православного населения Томска: использование кедровых гробов-колод, обычай ставить детские гробики на материнские гробы и пр.⁴ В середине 1950-х гг. сведения, собранные в Томске С. М. Чугуновым, были дополнены археологом А. П. Дульзоном, который изучал старинное татарское кладбище близ современного Коммунального моста через Томь⁵. А в 1960 г. при составлении ар-

¹ Беликов Д. Н. Старинный Свято-Троицкий собор в г. Томске. – Томск, 1900. – С. 7–8.

² Евтропов К. Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске. – Томск, 1904. – С. 25, 44.

³ Адрианов А. В. Прошлое Томска // Город Томск. – Томск, 2012. – С. 108, 119.

⁴ Чугунов С. М.: 1) Материалы для антропологии Сибири: древнее кладбище близ г. Томска «Тоянов городок» // Изв. / Императ. Томск. ун-т. – 1902. – С. 34; 2) Материалы для антропологии Сибири: старинное татарское и следы других кладбищ в Юрточной части г. Томска // Изв. / Императ. Томск. ун-т. – 1904. – С. 11; 3) Материалы для антропологии Сибири: антропологический состав населения г. Томска по данным пяти старинных православных кладбищ // Изв. / Императ. Томск. ун-т. – 1905. – С. 237–240; и др.

⁵ Дульзон А. П. Археологические памятники Томской обл.: (материалы к археологической карте Среднего Приобья) // Тр. / Томск. обл. краевед. музей. – 1956. – Т. 5. – С. 113.

хеологической карты Омска А. Ф. Палашенков привел некоторые сведения о старинных омских погостах¹.

Советские краеведы и историки обращали лишь эпизодическое внимание на старинные городские кладбища. Е. И. Лясоцкий упоминал кладбище на Воскресенской горе в Томске², а А. П. Уманский и другие краеведы описывали уцелевшую в советский период могилу Н. М. Ядринцева на Нагорном кладбище Барнаула, сообщали и о прочих, уничтоженных в 1930-х гг., захоронениях выдающихся барнаульцев³. В работах советских краеведов главным образом фигурировали сюжеты о захоронениях (не только на кладбищах) революционеров, борцов за советскую власть и других героев советского идеологического дискурса⁴.

В первой половине 1990-х гг. в сибирских городах появились новые краеведческие работы, освобожденные от идеологической предопределенности их содержания и ориентированные на восстановление биографических сведений о людях, некогда живших, умерших и похороненных в сибирских городах. Так, краткую справку по истории омских кладбищ приводит Н. М. Пугачева. В ее справочной статье даны сведения о старинных и современных омских кладбищах; охарактеризованы обстоятельства их существования и приведены сведения о некоторых известных омичах, которые были там захоронены⁵. Продолжая исследование этой темы, в середине 1990-х гг. Н. М. Пугачева в соавторстве с П. П. Вибе подготовила развернутую статью о Старо-Северном кладбище Омска, включавшую биографические очерки о лицах, погребенных здесь⁶. В 1990-х – начале 2000-х гг. в омских газетах и краеведческих изданиях было опубликовано несколько статей, принадлежащих перу И. Бродского, А. Лосунова, Ф. Нады, Н. Руденко, И. Шахитова и др.⁷ Также интерес представляют статьи Н. И. Лебедевой и Г. И. Сороколевой, посвященные истории старинного, закрытого еще в XIX в., Кадышевского

¹ Палашенков А. Ф. Материалы к археологической карте Омска // Изв. / Геогр. о-во СССР. Омск. отд. – Омск, 1960. – С. 19–22.

² Лясоцкий И. Е. Прошлое Томска в названиях его улиц, построек и окрестностей. – Томск, 1952. – С. 10.

³ Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Алтайский край. – С. 42–46; Уманский А. П. Памятники культуры Алтая. – Барнаул, 1959. – С. 12, 42–46, 178–181 и др.

⁴ Памятники и памятные места Омска и Омской обл. – Омск, 1967. – С. 144–147; Памятники Новосибирска. – Новосибирск, 1980. – С. 52–62; Усольцева Л. С. Дом Ленина. Сквер героев революции. – Новосибирск, 1990.

⁵ Пугачева Н. М. Кладбища Омска // Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 109–111.

⁶ Пугачева Н. М., Вибе П. П. Старо-Северное кладбище г. Омска // Памятники истории и культуры Омской обл. – Омск, 1995. – С. 145–165.

⁷ Бродский И.: 1) Кладбища Омска // Омский вестник. – 1994. – 27 янв.; 2) Метастазы беспамятства // Омский вестник. – 1996. – 5 янв.; Бродский И., Лосунов А. Чтить сограждан своих // Вечерний Омск. – 1999. – 2 апр.; Надь Ф.: 1) Мысли на кладбище // Омская правда. – 1990. – 7 июня; 2) Их давно уже нет на свете... // Вечерний Омск. – 1993. – 3 июля, 3 авг.; Руденко Н. Останки Старо-Южного // Вечерний Омск. – 1998. – 28 апр. и др.

кладбища в Омске¹. Изучение истории томских кладбищ продолжила в это время В. Соловьева, посвятившая статью Южному кладбищу², а также С. В. Привалихина, вернувшаяся к теме монастырских кладбищ³.

Первому десятилетию XXI в. принадлежат и краеведческие работы, посвященные истории кладбищ Новосибирска. Краевед М. И. Корсакова работала над определением местоположения старинных новосибирских кладбищ (Воскресенского, Нового, Магометанского, Закаменского, братских могил периода Гражданской войны, захоронений военнопленных), сообщала о времени их открытия. Она описала их внешний облик и прояснила вопрос о службах, отвечавших за их благоустройство⁴. Краевед, председатель Историко-родословного общества М. Н. Добрынин, принимавший активное участие в инвентаризации кладбищ Новосибирска, также является автором работ по их истории. Он называет и не сохранившиеся, и существующие городские кладбища, указывает время их открытия, ликвидации (тех, что уничтожены), местоположение, некоторые другие общие сведения⁵. История еще одного новосибирского кладбища – Заельцовского мемориального – стала предметом исследования историка В. И. Баяндина⁶. В последние годы дополнялись также и сведения о томских старинных кладбищах. Н. М. Дмитриенко, составляя хронику жизни Томска, упоминала захоронения выдающихся томичей и указывала даты закрытия некоторых кладбищ⁷.

Некрополь Барнаула также изучался в историко-краеведческом контексте. В 1995 г. в Барнауле появилась первая работа В. Ф. Гришаева об истории некрополя Барнаула, где рассказывалось о создании Нагорного кладбища и строительстве Иоанно-Предтеченской церкви; о наиболее интересных захоронениях на Нагорном кладбище (о могилах организаторов и руководителей горнозаводского производства, художников, архитекторов, ученых, деятелей образования, литераторов); об уничтожении кладбища в

¹ Лебедева Н. И. Читая книгу истории: Кадышевское кладбище Омска // Проблемы сохранения и изучения историко-культурного наследия в памятниках Омского Прииртышья. – Омск, 2005. – С. 89–93; Сороколетова Г. И. Кадышевское кладбище на картах г. Омска // Там же. – С. 94–96.

² Соловьева В. Южное кладбище // Сиб. старина. – 1992. – С. 11–12.

³ Привалихина С. В. Мой Томск. – Томск, 1999. – С. 99–116.

⁴ Корсакова М. И. Погосты, кладбища, братские могилы // История города: Новониколаевск – Новосибирск: ист. очерки. – Новосибирск, 2005. – С. 349–364.

⁵ Добрынин М. Н. Кладбища Новосибирска (Новониколаевска) // Материалы Новосибирской генеалогической конференции, проведенной Новосибирским историко-родословным обществом совместно с Домом народного творчества Новосибирской обл. – Новосибирск, 2003. – С. 6–9.

⁶ Баяндин В. И. Заельцовское мемориальное кладбище советских воинов // Новосибирск: энцикл. – Новосибирск, 2003. – С. 330.

⁷ Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска. – Томск, 2003. – С. 146, 162, 168–169, 175–176, 184, 190, 197, 198, 209, 220.

советское время¹. В это же время была опубликована и статья А. В. Контева, посвященная также Нагорному кладбищу². Контев, как и Гришаев, кратко описал основные события в истории кладбища. Он также дал характеристику результатам археологических раскопок, которые велись на территории уничтоженного Нагорного кладбища, пояснив особенности его зонирования и описав найденные исследователями останки церкви и могил известных барнаульцев – В. К. Штильке, Г. Менье.

В контексте нашего исследования важно учитывать и работы, посвященные истории кладбищенского хозяйства в России и, в частности, Сибири. Этот вопрос изучен слабо, однако участию православной церкви в благоустройстве дореволюционных кладбищ посвящены работы Е. В. Караваевой³. История кремации в советской России исследовалась, в частности, Л. А. Головковой⁴.

Подводя итог, отметим, что история городских кладбищ Западной Сибири изучается давно, наибольших успехов в исследовании этого вопроса достигли томичи, в значительной степени эта тематика разработана также в Омске и Новосибирске. В меньшей степени она изучена в Барнауле. Несмотря на то, что краеведы и некрополисты собрали уже много сведений по истории западно-сибирских городских кладбищ, стоит отметить, что эти данные пока имеют в большинстве случаев описательный характер. Поэтому дальнейшая работа по изучению старинных кладбищ сибирских городов в контексте проблем исторической памяти общества способствовала бы проблематизации темы истории кладбищ, ее более глубокому и разностороннему осмыслению.

Историография создания советских памятников и мемориалов в сибирских городах 1920–1930-х гг. также значительна. Прежде всего, стоит упомянуть общие работы культурологов искусствоведов и историков, посвященные характеристике места памятника в культурной среде российских городов и в идеологическом пространстве. В этом отношении наиболее интересны исследования А. В. Святославского, которому принадлежит попытка концептуального осмысления среды обитания как среды памяти на материалах

¹ Гришаев В. Ф. Барнаульский некрополь: (к истории Нагорного кладбища) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 1995. – Вып. 5, ч. 1. – С. 171–177.

² Котнев В. А. Материалы по истории Нагорного кладбища г. Барнаула // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – С. 178–185.

³ Караваева Е. В. Устройство сельского православного погоста в конце XIX – начале XX в. (на примере Томской губ.) // Макарьевские чтения. – Горно-Алтайск, 2011. – С. 74–89; и др.

⁴ Головкова Л. А. Из истории советских крематориев [Электронный ресурс]. – URL: <http://russsdom.ru/node/4102> (дата обращения: 15.03.2015).

отечественной культуры в ее историческом развитии¹. Пониманию предыстории процессов советской мемориализации героев и событий, а также характера преемственности между эпохами в мемориальной сфере способствует фундаментальное произведение Р. Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии», в котором уделено внимание идеологическим смыслам возведения памятников 1000-летию Руси в Новгороде, памятников Петру I, Екатерине II и др.² Осмыслению специфики и значения всесоюзной Ленинианы первых лет советской власти посвящено исследование Н. Ю. Андриановой³. Лениниана на Украине специально исследовалась В. П. Хархун в контексте языка политической пропаганды⁴. Этим автором также велась работа над установлением контекстуальной взаимосвязи между соцреалистическими образами Ленина и канонами христианского искусства⁵.

Общим тенденциям развития советского монументального искусства – его смысловому наполнению, поиску пластических форм, творчеству ведущих скульпторов 1920–1930-х гг. – посвящен обширный пласт преимущественно искусствоведческой литературы. Уже в 1950–1980-х гг. был обобщен материал по истории монументальной скульптуры межвоенных десятилетий, определены стилистические и идеологические особенности развития этого вида искусства в «Ленинский» и «Сталинский» периоды⁶. Отдельного внимания заслуживают исследования, посвященные творческому поиску классиков советского монументального искусства, задававших стандарты развития мемориальной скульптуры по всей стране⁷. Среди англоязычных работ стоит отметить обобщающие исследования 1990-х гг., принадлежащие М. Боуну, Б. Тейлору и др. Эти авторы впервые после Холодной войны предприняли попытку комплексного, концептуального

¹ Святославский А. В.: 1) Указ. соч.; 2) Памятник в культуре России: краткий исторический очерк // Культура памяти. – М., 2003. С. 53–75; 3) Городской монумент как объект восприятия: некоторые аспекты современной мемориальной культуры // Преподаватель, XXI в. – 2010. – № 1. – С. 356–364; и др.

² Уортман Р. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии. – М., 2004. – Т. 2. – С. 119–124, 173–174, 182–184.

³ Андрианова Н. Ю. Концепция пролетарской культуры и монументальная лениниана как отражение идеологических установок в обществе в первые годы советской власти (1917–1927). – М., 2008.

⁴ Хархун В. П. Язык политической пропаганды: Лениниана как пример тоталитарной иконографии // *Slovanské jazyky a literatury: hľadání identity*. – Praha, 2009. – С. 23–29.

⁵ Хархун В. П. Христологические коннотации в литературной Лениниане (украинский контекст) // Труды Русской Антропологической школы. – М., 2011. – Вып. 9. – С. 86–96 и др.

⁶ Монументы СССР. – М., 1964; Иванова И. В., Стригалева А. А. Советская монументально-декоративная скульптура. – М., 1967; Толстой В. П.: 1) Ленинский план монументальной пропаганды в действии. – М., 1961; 2) У истоков советского монументального искусства, 1917–1923 гг. – М., 1983 и др.

⁷ Воронов Н. В. Вера Мухина. – М., 1989; Боброва С. Л. Творчество С. Т. Коненкова в 1920–1940-е гг.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1992 и др.

осмысления советского изобразительного искусства в контексте советской культуры и сталинской политики¹.

Среди современных исследований обращают на себя внимание работы, посвященные процессу формирования советской культурной политики межвоенного времени (О. А. Симонова)² и проблемам ее реализации в сфере монументального искусства (Н. В. Шалаева)³; значению мемориальных досок конца XIX – XX в. с точки зрения сохранения исторической памяти общества и выражения государственной политики памяти (Е. А. Беседина, Т. В. Буркова)⁴.

Интерпретации символического значения памятников межвоенных лет в городах Западной Сибири способствует знакомство с исследованием П. Берка, выполненным в рамках визуальной истории, в которой содержится расшифровка символов власти и политического протеста в западной культуре Нового и Новейшего времени⁵.

Памятники и монументы, созданные в сибирских городах между Гражданской и Великой Отечественной войнами, еще в советское время были описаны авторами однотипных справочных изданий⁶. Публикация краеведческих работ, выполненных в этой традиции, продолжилось и в постсоветское время. Примером может послужить интересная научно-популярная книга, подготовленная омичами при участии краеведческого музея, – «Памятники истории и культуры Омска»⁷. В последние два десятилетия краеведы неоднократно возвращаются к этой тематике. Так, истории монументальной скульптуры Томска уделено внимание в книге журналиста С. В. Привалихиной «Мой Томск»⁸. Вклад в изучение мемориальной культуры Сибири советских лет внесли и сотрудники Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, давшие негативную оценку сибирского монументального искус-

¹ Art of the Soviet. Painting, Sculpture and Architecture in a One-party State, 1917–1992. – Manchester, 1993; Bown M. Art under Stalin. – N. Y., 1991 и др.

² Симонова О. А. К. С. Малевич и В. А. Луначарский: полемика в искусстве и культурная политика Страны Советов в 1917–1935 гг. // Вестн. / Рус. христиан. гуманитар. акад. – 2011. – № 2. – С. 230–238.

³ Шалаева Н. В. План советской монументальной пропаганды // Вестн. / Челяб. гос. ун-т. – 2014. – № 8. – С. 30–35.

⁴ Беседина Е. А., Буркова Т. В. «В этом здании жил и работал»: мемориальные доски как образ исторической памяти // Тр. / Санкт-Петербург. гос. ун-т. Ист. фак. – 2013. – № 16. – С. 45–67.

⁵ Burke P. Eye witnessing: the Uses of Images as Historical Evidence. – Ithaca; N. Y., 2001. – P. 59–80.

⁶ Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР: Алтайский край. – М., 1990; Наш родной город: исторические места и памятники Томска. – Новосибирск, 1982; Памятники истории и культуры Барнаула. – Барнаул, 1983; Памятники Новосибирска. – Новосибирск, 1980; Полухин Т. А. По историческим местам Барнаула. – Барнаул, 1972; Синяев В. С. Памятные места г. Томска. – Томск, 1957; Усольцева Л. С. Указ. соч.

⁷ Памятники истории и культуры Омска. – Омск, 1992.

⁸ Привалихина С. В. Указ. соч. – С. 83–98.

ства изучаемого периода¹. Новым этапом осмысления места и роли революционных мемориалов в культурной среде западно-сибирских городов стали работы омских культурологов – В. Г. Рыженко, Д. А. Алисова, В. Ш. Назимовой². Советские памятники и монументы рассматриваются этими авторами в контексте градостроительной мысли и тенденций развития духовной культуры тех лет. Недавно В. Г. Рыженко была предложена модель изучения воплощений различных типов фигур памяти (фигуры общегосударственной и национальной значимости; определяющие региональную идентичность; определяющие формирование локальной идентичности). Соответственно, предложено рассматривать памятник (монумент) как отражение попыток разных сообществ и политических сил «присвоить прошлое»³. Несомненно то, что обозначенная исследовательская стратегия, близкая нашей собственной и отвечающая утверждению исторической памяти в качестве новой парадигмы исторической науки, позволит в скором времени изменить русло изучения истории памятников в регионах. Однако до сих пор все-таки еще систематически не исследован вопрос о городских памятниках Западной Сибири как об узловых элементах ландшафта коллективной памяти городских жителей, не отслежена динамика смыслов, отражавшихся в этих коммеморациях на разных этапах истории.

Развитию похоронных традиций и обычаев в России посвящено огромное количество исследований: фольклористов, изучающих преимущественно традиционные обрядовые песни и плачи, и этнографов, в центре внимания которых – структура, смысл похоронного обряда и его региональные особенности. Еще во второй половине XIX в. классики русской этнографической науки посвятили ряд трудов происхождению и развитию погребальных обычаев славян и народным представлениям о смерти⁴. В похоронной обрядности они видели неотъемлемую часть народной и, в первую очередь, крестьянской духовной культуры.

¹ Правоторова А. А., Гусаченко В. Л. Город и наследие. – Новосибирск, 2002.

² Рыженко В. Г. Образы и смыслы советского города в современных исследовательских опытах (региональный аспект). – Омск, 2010. – С. 198–213; Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Пространство советского города (20–50-е гг.): теоретические представления, региональные социокультурные и историко-культурологические характеристики (на материалах Западной Сибири). – Омск, 2004. – С. 184–191.

³ Рыженко В. Г. Историческая наука, регионоведение, культурология. Возможности кооперации вокруг проблемы «присвоение прошлого» // Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы. – М., 2012. – С. 330–342.

⁴ Зеленин Д. К. Избр. тр.: очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. – М., 1995; Костомаров Н. И. Очерки домашней жизни и нравов в XVI–XVII столетиях. – М., 1993; Котляревский А. А. О погребальных обычаях языческих славян. – М., 1868.

Советские этнографы продолжили изучение похорон в контексте семейной жизни¹. Но углубление в проблематику, связанную с устойчивыми во времени похоронными обрядами, базировавшимися на религиозных представлениях, было чревато нарушением тонкой грани идеологической корректности. Поэтому лишь с середины XX в. этнографы приступили к изучению не только крестьянской, но и рабочей похоронной обрядности², игнорируя, однако, обряды других социальных групп. В 1960-х гг. Октябрьская революция, «привнесшая просвещение в народные массы», считалась основным фактором «положительного» влияния и на похоронные обычаи, которые стали освобождаться от «пережитков» прошлого, особенно присущих «застойному быту» крестьянской семьи, и обретать гражданский («прогрессивный») характер. Отмечалось, что похороны революционеров имели «новый общественный характер», превращаясь из действия, наполненного религиозным смыслом, в «грандиозные революционные манифестации»³. Но советские этнографы были вынуждены признать «живучесть» на селе традиционных похоронных обрядов. С точки зрения нашего исследования важно вспомнить и труд М. Г. Рабиновича, который очертил общие контуры эволюции похоронного обряда в городах X–XIX вв. и выявил константы похоронной обрядности, обнаруживающиеся, по свидетельствам источников, и в западно-сибирских городах 1920-х гг.

В 1980-х – начале 1990-х гг. появились отдельные исследования, посвященные именно гражданским похоронам в дореволюционной России и в СССР⁴. Специалисты установили связь между «литературными» похоронами середины XIX в. и формированием обряда «красных похорон» в период Первой русской революции, описали обрядовую специфику «красных похорон» начала XX в., объяснили ее политическое значение и обозначили роль партийных и культурно-просветительских органов в создании новой обрядности. Н. С. Полищук убедительно показала дореволюционные истоки формирования гражданского похоронного обряда советской поры и вписала «красный» похоронный обряд в контексты модернизировавшегося на рубеже веков быта и нравов рабочей

¹ Например: Токарев С. А. Этнография народов СССР. – М., 1958. – С. 85–86.

² Например: Куприянская В. С., Полищук Н. С. Культура и быт горнозаводского Урала (конец XIX – начало XX в.). – М., 1971. – С. 83–84.

³ Народы европейской части СССР: этногр. очерки. – М., 1964. – Т. 1. – С. 472–473, 477–478.

⁴ Гедрене Р. К. Гражданские похороны в Литве // Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. – М., 1981. – С. 125–134; Полищук Н. С. Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон») // Советская этнография. – 1991. – № 6. – С. 25–39.

среды¹. В конце 1980-х гг. актуализировался интерес и к похоронам В. И. Ленина в рамках истории партии, что нашло, в частности, отражение в исследовании В. В. Рябова, имеющего описательный характер².

Сегодня интерес ученых постепенно смещается от внешней стороны народной обрядности к вопросам национального самосознания, народной памяти, нравственных идеалов, веры и т. п. В обобщающих этнографических трудах похоронные обычаи и обряды по-прежнему рассматриваются в контексте уклада семейной жизни и обрядов жизненного цикла человека³. Теперь ученые дают более адекватную оценку роли религии в формировании похоронно-погребальных обрядов⁴. Уделяется внимание и изменениям в похоронно-поминальной обрядности, произошедшим в советское время. Но, по наблюдениям этнографа И. А. Кремлевой, эта тематика мало изучена⁵.

Если этнографов интересуют главным образом похоронные традиции, то историкам интересны изменения в похоронной обрядности, обусловленные модернизационными процессами и политикой. Во-первых, темы похорон касаются те, кто изучает ментальность и особенности духовного мира россиян⁶. Обретает актуальность эта тематика и для социальных историков. Характеризуя феномен революционной жертвенности, затрагивает проблему влияния идеологии на похоронную обрядность В. С. Тяжелникова, которая анализирует истоки и значение новой революционной похоронной атрибутики⁷. Данное исследование – это показательный пример сегодняшней интенсификации междисциплинарного диалога, в ходе которого социальные историки обращаются к этнографическим и культурологическим материалам, необходимым для воссоздания поведенческих моделей представителей различных социальных групп и специфики их восприятия власти. В этом отношении интересна и работа Е. А. Бесединой, анализирующей внедрение в повседневную жизнь рабочих рубежа веков практики, выработанной соци-

¹ Полищук Н. С. Обычаи и нравы рабочих России (конец XIX – начало XX в.) // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций (1861 – февр. 1917 г.). – СПб., 1997. – С. 114–130.

² Рябов В. В. В дни всенародной скорби...: по страницам отчета Комиссии по увековечиванию памяти В. И. Ульянова (Ленина) // Вопр. истории КПСС. – 1988. – № 5. – С. 98–108.

³ Прибалтийско-финские народы России. – М., 2003. – С. 115–117, 273–278, 419–425; Русские. – М., 1999. – С. 517–531; Украинцы. – М., 2000. – С. 324–326 и др.

⁴ Православная жизнь русских крестьян XIX–XX вв.: итоги этнографических исследований. – М., 2001. – С. 72–87.

⁵ Русские. – С. 518.

⁶ Бердинских В. А. Крестьянская цивилизация в России. – М., 2001. – С. 233–237; Озеров Ю. В. История погребальной культуры российской провинции в конце XVIII – начале XX в. (на пример Курской губ.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Курск, 2004; Янгиров Р. Прощание с мертвым телом [Электронный ресурс] // Отечественные записки: журн. для медлен. чтения. – 2007. – № 2. – URL: <http://www.strana-oz.ru> (дата обращения: 15.03.2015).

⁷ Тяжелникова В. С. «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»: генезис и эволюция революционной жертвенности коммунистов // Социальная история: ежегодн., 1998/1999. – М., 1999. – С. 411–433.

ал-демократами, в том числе и «красных похорон»¹. Политические похороны революционной Франции нашли описание в исследовании Б. С. Итенберга². Эта работа углубляет наше представление об истоках ритуала «красных похорон». Представляют интерес и работы культурологического характера В. Беляевой, Г. Михайлина³, М. Могильнер⁴, раскрывающие проблему использования смерти и ее образов в политических целях. Еще в одном культурологическом исследовании А. А. Павленко предлагается характеристика ритуалов захоронений и памяти, сформировавшихся в русской культуре к настоящему времени, в контексте процессов социальной коммуникации⁵.

В последние годы исследователи проявили интерес и к похоронам политической элиты досоветского периода, в первую очередь русских царей. Придворные траурные церемониалы стали объектом исследования М. О. Логуновой, подготовившей по этой теме кандидатскую диссертацию в 2010 г.⁶ Описанию траурных церемоний в семье Романовых, прежде всего, похоронам Александра III уделено внимание в диссертации С. А. Лимановой⁷. Траурным церемониалам также посвящена книга «Ритуал печального кортежа» с обширным цитированием источников, свидетельствующих об императорских похоронах в России⁸. Интрепретацию идеологическому значению похорон российских императоров в контексте реализации различных сценариев власти» предложил Р. Уортман⁹. Описание похорон премьер-министра П. А. Столыпина, убитого в 1911 г., приводится в исследовании В. В. Востриковой¹⁰.

Первые этнографические труды о похоронах русских в Сибири опубликованы уже в начале XX в.¹¹, в 1920-х гг. эстафету подхватил иркутянин Г. С. Виноградов¹. Сибирь-

¹ Беседина Е. А. Российские социал-демократы в рабочей среде: повседневная революционная практика (1905–1907 гг.) // Рабочие – предприниматели – власть в XX в. – Кострома, 2005. – С. 6–13.

² Итенберг Б. С. Россия и Парижская коммуна. – М., 1971. – С. 138–139.

³ Беляева Г., Михайлин В. «Вы жертвою пали» [Электронный ресурс]: феномен присвоения смерти в советской традиции // Археология русской смерти: блог по некросоциологии, антропологии, фольклористике: практики памяти и визуализация смерти. – URL: <http://nebokakcofe.ru/archives/1339> (дата обращения: 15.03.2015).

⁴ Могильнер М. Российская радикальная интеллигенция перед лицом смерти // Археология русской смерти: блог по некросоциологии, антропологии, фольклористике: практики памяти и визуализация смерти. – URL: <http://nebokakcofe.ru/archives/1339> (дата обращения: 15.03.2015).

⁵ Павленко А. А. Указ. соч. С. 120 – 132.

⁶ Логунова М. О.: 1) Траурный церемониал в Российской империи // Власть. – 2010. – № 3. – С. 111–115; 2) Траурный церемониал в Российской империи в XVIII–XIX вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2010.

⁷ Лиманова С. А. Официальные церемонии в городском пространстве Петербурга и Москвы в царствование Николая II: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2013. – С. 20–21.

⁸ Ритуал печального кортежа: ритуал похорон российских императоров. – СПб., 1998.

⁹ Уортман Р. Указ. соч. – С. 275–278, 407–410.

¹⁰ Вострикова В. В. Похороны Столыпина [Электронный ресурс] // Фонд «Русское либеральное наследие». – URL: http://rusliberal.ru/full/novostnoj_gazdel_tcentralnij/aleksej_kara-murza_petr_stolipin_tragicheskaya_figura/ (дата обращения: 15.03.2015).

¹¹ Неклепаев И. Я. Поверья и обычаи Сургутского края // Обряды, обычаи, поверья. – Тюмень, 1997. – С. 208–214.

ская похоронная «причеть», адаптировавшаяся к новым социально-политическим условиям советского времени, заинтересовала в 1920-х гг. этнографа Н. Хадзинского². Ритуальный фольклор изучали в эти годы также А. Соколова и М. К. Азадовский³. В дальнейшем изучение похоронной обрядности в Сибири шло в том же русле, что и в других регионах нашей страны. Изучались главным образом похоронные обычаи коренных народов Сибири и выявлялись местные особенности похоронной обрядности русских⁴. К характеристике сибирского похоронного крестьянского обряда обращались и историки⁵. Однако городские сибирские похороны и, тем более, «красные похороны» в Сибири – это практически неизученная тематика. Лишь отдельные, наиболее масштабные похороны жертв Гражданской войны описаны историками, которые, однако, не критично относились к первоисточникам и не пытались интерпретировать обрядовую сторону таких похорон, подчеркивая лишь их политическое значение⁶. Однако в последнее время стали появляться работы о распространении «красных похорон» в разных регионах СССР и их восприятии местными жителями⁷. Существует также опыт описания пионерских похорон в контексте идеологии советского государства⁸. Недавно А. Д. Соколовой была защищена кандидатская диссертация по этнографии «Трансфор-

¹ Виноградов Г. С. Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилото населения Сибири // Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского университета. – Иркутск, 1923. – Вып. 5. – С. 261–345.

² Хадзинский Н. «"Покойнишний вой" по Ленине» // Сиб. живая старина. – 1925. – Вып. 3/4. – С. 53–64.

³ Азадовский М. К. Ленские причитания. – Чита, 1922; Соколова А. Материалы для изучения партизанской поэзии: (песни и причитания) // Сиб. живая старина. – 1926. – Вып. 5 (1). – С. 159–162.

⁴ Бардина П. Е.: 1) Быт русских сибиряков Томского края. – Томск, 1995. – С. 192–196; 2) Материалы о похоронно-поминальном обряде русского населения Среднего Приобья в конце XIX – начале XX в. // Обряды народов Западной Сибири. – Томск, 1990. – С. 170; Бережнова М. Л.: 1) Погребальный обряд русских старожилото Среднего Прииртышья // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1997. – Т. 2. – С. 310; 2) Православные нормы в погребальном обряде русских Среднего Прииртышья // Народная культура. – Омск, 1997. – С. 40–44; Голубкова О. В. Особенности похоронного обряда у украинцев и русских старожилото юга Западной Сибири // Русские старожилото и переселенцы Сибири в историко-этнографических исследованиях. – Новосибирск, 2002. – С. 205–213; Жигунова М. А. О похоронной обрядности сибирских казаков // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алма-Аты; Омск, 2004. – С. 191–194; Недзелько Т. Г. Представления сибирских католиков о смерти и связанная с ними погребальная обрядность // Восток – Запад: проблемы взаимодействия. – Новосибирск, 2013. – С. 108–116; Прошлое Болотнинской земли / А. В. Новиков, А. Ю. Майничева, В. М. Кравцов, М. В. Грес. – Новосибирск, 2003. – С. 88, 90, 93; и др.

⁵ Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири XVII – первой половины XIX в. – Новосибирск, 1979. – С. 252–267; Андусев Б. Е. Традиционное сознание крестьян-старожилото Приенисейского края 60-х гг. XVIII – 90-х гг. XIX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Красноярск, 2002. – С. 13; и др.

⁶ Корсакова М. И. Указ. соч. – С. 359; Памятники Новосибирска. – Новосибирск, 1980. – С. 54; и др.

⁷ Овсейчик В. Трансформация погребально-поминальной обрядности в советское время: на примере белорусов Подвинья // Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве. – М., 2013. – С. 170–178; Соколова А. Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-старому!» [Электронный ресурс]: эволюция похоронного обряда в Советской России // Отечественные записки: журн. для медлен. чтения. – 2013. – № 5. – URL: <http://www.strana-oz.ru/2013/5/nelzya-nelzya-novyh-lyudey-horonit-po-staromu> (дата обращения: 15.03.2015).

⁸ Маслинская (Леонтьева) С. Г. «По-пионерски жил, по-пионерски похоронен»: материалы к истории гражданских похорон 1920-х гг. // Живая старина. – 2012. – № 3. – С. 49–52.

мация похоронной обрядности у русских в XX–XXI вв.», где большое внимание уделено вопросам советской идеологии, общественным и личным аспектам концептуализации смерти¹.

Отдельного внимания, несомненно, заслуживают работы британского историка К. Мэрридэйл – автора ряда статей и монографии, посвященной проблемам восприятия смерти и особенностям бытования коллективной памяти в российском обществе XX в.² Причины «беспамятства», разрыва поколений и культурных традиций этот автор видит в бесчеловечности и жестокости политической истории нашей страны, уже в начале XX в. погрузившейся в войны и конфликты, жертвами которых стали миллионы людей. Тема исследований Мэрридэйл тесно соприкасаются с предметом нашего изучения, однако свои выводы этот историк строит лишь на материалах Европейской России. Заслуживают внимания и исследования К. Ваннер, раскрывающие проблемы столкновения религиозных традиций памяти и антирелигиозной пропаганды в советский период³.

Тема праздничных коммемораций в западно-сибирских городах 1920–1930-х гг. специально не изучалась. Однако историография вопроса формирования праздничной советской культуры обширна и многоаспектна. Прежде всего, необходимо остановить внимание на работах, характеризующих городскую праздничную культуру дореволюционного периода, поскольку именно эти работы позволяют составить представление о характере изменений, происходивших в сфере государственных торжеств в 20–30-х гг. XX в. Знакомство с этими работами позволяет также увидеть некоторую преемственность в сфере праздничной культуры. Традиционно праздники, как и похороны, исследовались в контексте этнографии. Среди классических этнографических работ, освещающих тему праздника в царской России, стоит упомянуть произведения родоначальников эртологии И. М. Снегирева, А. В. Терещенко, И. М. Сахарова, дающие обзор русских праздников – церковных и простонародных, восходящих к язычеству⁴. Начало изучения дворцовых церемониалов и государственных торжеств в XIX в. было положено бытопи-

¹ Соколова А. Д. Трансформации похоронной обрядности у русских в XX–XXI вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2013.

² Merridale C.: 1) *Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia*. – L., 2000; 2) *Death and Memory in Modern Russia // History Workshop Journal*. – 1996. – № 42. – P. 1–18; 3) *Revolution among the Dead: Cemeteries in Twentieth Century Russia // Mortally*. – 2003. – Vol. 8, № 2. – P. 176–188.

³ Ваннер К. Переживаемая религия: концептуальная схема для понимания погребальных обрядов приграничных районов Советской Украины // *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. – 2012. – №3–4. – С. 464–484.

⁴ Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1837–1839. – Вып. 1–4; Сахаров И. П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. – 3-е изд. – СПб., 1841–1849. Т. 1–2, кн. 1–8; Терещенко А. В. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 6 и др.

сателями. Так, И. М. Забелин описал значение царских палат в отношении разных придворных обрядов, торжественных приемов и собраний¹.

Значительное развитие темы светских праздников и политических торжеств в дореволюционной России отражает современная историография. О. Ю. Захаровой исследованы светские церемониалы в России XVIII – начала XX вв., в частности, светские праздники. Светским ежегодным праздникам императорского двора посвящается работа О. Г. Агеевой, официальным светским праздникам, устраивавшимся в форме массовых торжеств, – труды Р. М. Байбуровой, Д. Д. Зелова, А. Ф. Некрыловой². Государственные праздники и юбилейные торжества в российских столицах периода правления Николая II подвергнуты анализу в работе С. А. Лимановой³. Идеологическая подоплека празднований 1000-летия Руси, юбилеев Петра I, Екатерины II, 900-летия крещения Руси, 200-летия Полтавской битвы, 100-летия Бородинской битвы и 300-летия Дома Романовых подвергнута анализу Р. Уортмана⁴. Праздничные и выходные дни России начала XX в., а также формы организации досуга населения – проблема, разработанная С. Ю. Малышевой⁵. Различным формам досуга жителей столиц начала XX в. посвящено исследование Е. Д. Уваровой⁶. Все эти работы позволяют судить о предыстории советских праздников и досуговых мероприятий, организаторы которых так или иначе использовали дореволюционный опыт.

Отдельный интерес в контексте нашего исследования представляют исследования, подготовленные на материалах Западной Сибири. В их числе, прежде всего, работы Н. В. Бутаковой, Ю. М. Гончарова, А. В. Куприянова, Н. В. Паршуковой, С. А. Шилина⁷.

¹ Забелин И. М. Домашний быт русских царей [Электронный ресурс]. – URL: http://bookz.ru/authors/ivan-zabelin/domaбnaa_884/1-domaбnaa_884.html (дата обращения: 10.07. 2015).

² Агеева О. Г. Светские ежегодные праздники русского двора от Петра до Екатерины Великой // *Отечеств. история*. – 2006. – № 2. – С. 11–26; Байбурова Р. М. Праздники в Москве 100 лет назад // *Развлекательная культура России XVIII–XIX вв.: очерки истории и теории*. – СПб., 2000. – С. 258–280; Зелов Д. Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII в. – М., 2002; Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища конца XVIII – начала XX в. – СПб., 2004.

³ Лиманова С. А. Указ. соч. – С. 22–25.

⁴ Уортман Р. Указ. соч. – С. 113–118, 173–174, 182–184, 332–333, 568–591, 592.

⁵ Малышева С. Ю. «Еженедельные праздники, дни господские и царские»: время отдыха российского горожанина второй половины XIX – начала XX в. // *Ab imperio*. – 2009. – № 2. – С. 225–269.

⁶ Уварова Е. Д. Как развлекались в российских столицах. – СПб., 2004.

⁷ Бутакова Н. В. Общественный быт горожан Томской губ. во второй половине XIX – начале XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2005; Гончаров Ю. М. Городские праздники в Западной Сибири в середине XIX – начале XX в. // *Вестн. / Томск. гос. пед. ун-т*. – 2004. – № 4. – С. 9–15; Куприянов А. И.: 1) Русский город в первой половине XIX в.: общественный быт и культура горожан Западной Сибири. – М., 1995; 2) Городская культура русской провинции (конец XVIII – первая половина XX в.). – М., 2007; Паршукова Н. П. Литературные праздники в Барнауле в конце XIX – начале XX в. // *Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири*. – Барнаул, 2003. – Кн. 2. – С. 477–480; Шилин С. А. Общественные праздники в Барнауле (конец XIX – начало XX в.). – Барнаул, 2008.

Историками нашего региона описаны разнообразные примеры массовых празднований памятных дат политического и культурного значения в дореволюционной Сибири, предприняты попытки обобщения эмпирического материала, однако коммеморативной стороне торжеств особенного внимания не уделено.

Государственные праздники 20–30-х гг. XX в., устраивавшиеся в советской России, были описаны некоторыми исследователями уже в 1960–1980-х гг. (В. С. Аксенов, И. М. Бибилова, Д. М. Генкин, С. Герасимов, В. П. Толстой, П. Г. Ширяева)¹ и др. Безусловно, все эти авторы не могли игнорировать узких идеологических рамок, которые не оставляли возможности для критичного взгляда на праздничную культуру межвоенных десятилетий. Также стоит отметить, что перечисленные авторы уделяли больше внимания педагогическим, художественным и прочим аспектам праздников, не ставя перед собой специальной задачи представить их в контексте истории политического развития страны.

Советский праздничный календарь, специфика массовых торжеств и их идеологическое значение в последние годы активно изучаются как российскими, так и зарубежными учеными. В России эта тематика исследуется преимущественно на региональных материалах². Однако стоит отметить, что в области современной российской эртологии имеются существенные достижения, к числу которых стоит отнести работы С. Ю. Малышевой, выполненные на материалах Татарстана. Автор не только детально описывает изменения в праздничном календаре и разъясняет принципы организации торжеств, но также выявляет рецепцию советской праздничности и интерпретирует символику и историческую мифологию революционных праздников 1920-х гг.³ Не менее интересны работы томского по-

¹ Аксенов В. С. Организация массовых праздников трудящихся (1918–1920): пособие по курсу «История массовых праздников». – Л., 1974; Бибилова И. М. Как праздновали десятилетие Октября // Декоративное искусство. – 1966. – № 11. – С. 5–10; Генкин Д. М. Массовые праздники. – М., 1975; Герасимов С. Первое празднество Октябрьской революции // Искусство. – 1957. – № 7. – С. 44–45; Толстой В. П. Агитационно-массовое искусство: оформление празднеств, 1917–1932. – М., 1977–1989. – Т. 1–4; Ширяева П. Г. Из истории становления революционных пролетарских традиций // Советская этнография. – 1970. – № 3. – С. 38–48; и др.

² Деканова М. К. Трансформация российской праздничной культуры в конце XIX – первой трети XX в.: центр и провинция: дис. ... канд. ист. наук. – Самара, 2009; Котылева И. Н. Праздничная культура Европейского Северо-Востока России в 1918 – начале 1930-х гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Сыктывкар, 2005; Мордасова М. А. Праздничная культура Южного Урала в 1917–1941 гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Челябинск, 2005; Фролова А. В. Праздники русских Архангельского Севера в XX – начале XXI в.: традиции и инновации: дис. ... канд. ист. наук. – М., 2007; Шаповалов С. Н. Историческая трансформация российских (советских) государственных праздников в 1917–1991 гг. (на материалах Краснодарского края и Ростовской обл.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Краснодар, 2011.

³ Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, мифы (1917–1927). – Казань, 2005.

литолога А. И. Щербинина, рассматривающего государственные праздники 1920–1930-х гг. как средство политической индокринации¹.

В контексте нашего исследования необходимо также упомянуть книгу Г. А. Бордюгова «Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти»². В этом исследовании внимание автора сконцентрировано на советской политике памяти, отраженной в характере проведения торжеств. Большое внимание уделено Октябрьским торжествам, на примере которых демонстрируются попытки власти управлять коллективной памятью населения страны. Однако в этом исследовании, имеющем обзорный характер, акцент делается только на юбилейных датах, внимание неюбилейным годовщинам Октябрьской революции не уделяется. В культурно-антропологическом ключе рассматривает советские Первомайские массовые торжества С. Б. Адоньева, интерпретируя демонстрации в контексте мифологии и идеи «социального тела»³. В. В. Глебкин отдельно исследует митинги и демонстрации, видя в них семантическое ядро советских праздников. Этот автор обращает внимание на происхождение советских ритуалов и их связь с дореволюционными традициями⁴. Наконец, в отечественной науке актуализировалась проблематика коммемораций в связи с изучением советской культуры памятных дат. Различным коммеморациям, приуроченным к 50-летию Русско-Японской войны, посвящена статья Н. А. Антипина⁵. В ней рассматриваются практики формирования, трансформации, актуализации и деактуализации образов войны в культурной памяти советского общества.

Немалый вклад в разработку тематики, связанной с массовыми праздниками 1920–1930-х гг., внесли зарубежные специалисты в области истории СССР. Предметом исследования немецкого историка М. Ральфа стало идеологическое и культурное значение советских праздников для общества. Этот автор попытался показать контекстуальную и эстетическую взаимосвязь торжеств 20–30-х гг. (в том числе проходивших в Новосибирске) с российскими праздниками имперского периода, послевоенного времени, с торжествами тоталитарных Германии и Италии⁶. Ф. К. Корни предпринята попытка концептуального осмысления сакрализации Октябрьской революции в официальном

¹ Щербинин А. И. «Красный день календаря»: формирование матрицы восприятия политического времени в России // Вестн. / Томск. гос. ун-т: Философия. Социология. Политология. – 2008. – № 2. – С. 52–69; и др.

² Бордюгов Г. А. Октябрь. Сталин. Победа: культ юбилеев в пространстве памяти. – М., 2010.

³ Адоньева С. Б. Дух народа и другие духи. – СПб., 2009. – С. 261–281.

⁴ Глебкин В. В. Указ. соч. – С. 93–109.

⁵ Антипин Н. А. 50-летие Русско-Японской войны в СССР: коммеморативные практики (1954–1955) // Диалог со временем: альм. интеллектуальной истории. – 2012. – № 40. – С. 79–93.

⁶ Рольф М. Советские массовые праздники. – М., 2009.

дискурсе. Корни дает развернутую характеристику деятельности Истпарта, сыгравшего решающую роль в формировании необходимой советской власти версии истории Октябрьской революции и ее укоренения в коллективной памяти населения страны. Этот историк раскрывает процесс создания коллекций Истпарта и, стоящие за этим процессом идеологические задачи, подробно характеризует массовые празднования двадцатилетия Революции 1905 г. и десятилетия Октябрьской революции во всей стране, демонстрируя изменения репрезентаций исторического прошлого, порожденных этими торжествами¹. Таким образом, можно признать, что исследование Корни наиболее тесно соприкасается с предметом нашего собственного исследования.

Глубокий анализ идеологического значения 20-летнего юбилея Октябрьской революции предложен в книге К. Петроне, упомянутой выше². На примере юбилея автор демонстрирует приемы «коррекции» исторической памяти о революции, ее подчинения общим идеологическим контекстам сталинской политики периода «Большого террора». Будучи в целом новаторскими, работы зарубежных исследователей строятся преимущественно на материалах Москвы и Ленинграда, преимущественно не отражая специфики Сибири. Можно также констатировать факт отсутствия работ, созданных на основе анализа эмпирического материала, относящегося ко всему межвоенному периоду, включая неюбилейные даты. В тени остаются локальные сибирские революционные праздники, годовщины Первой русской революции и другие торжества, имевшие в 1920–1930-х гг. второстепенное значение, однако игравшие важную роль в процессах формирования исторической памяти советского общества.

Изучение проблем репрезентации исторического прошлого в музейном пространстве предполагает обращение к исследовательскому опыту музееведов. Традиции, сложившиеся в музейном деле в дореволюционный период, идейные установки, интересы и профессиональные приоритеты российских музейщиков подвергались изучению как советских, так и современных историков³.

Общие контуры развития музейного дела в СССР 1920–1930-х гг. были описаны группой ученых, возглавляемых А. М. Разгоном. В результате этим авторским коллек-

¹ Corney C. F. *Telling October. Memory and the Making of the Bolshevik Revolution*. – Ithaca, N. Y., 2004.

² Petrone K. *Life Has Become More Joyous, Comrades*. – P. 149–174.

³ Малицкий Г. Л. Музейное строительство в России к моменту Октябрьской революции // *Научный работник*. – 1926. – № 2. – С. 43–56; Разгон А. М.: 1) *Этнографические музеи в России (1861–1917 гг.)* // *Очерки истории музейного дела в России*. – М., 1961. – Вып. 3. – С. 231–268; 2) *Исторические музеи в России (1861–1917)*. – М., 1979; Турьинская Х. М. *Этнографическое музееведение в конце XIX – начале XX в.: (историограф. исслед.)*. – М., 2008 и др.

тивом было подготовлено семь выпусков «Очерков истории музейного дела» (1957–1971 гг.). В контексте нашего исследования особый интерес представляют труды музееведов Л. Н. Годуновой, О. В. Ионовой, Д. А. Равикович, Т. Н. Семенович, А. В. Ушакова о культурной политике государства, органах управления музейным делом, выставочной и научно-исследовательской деятельности исторических музеев в 1920–1930-х гг.¹ Позже была опубликована обобщающая работа Д. А. Равикович о формировании государственной сети музеев².

В начале 1990-х гг., на этапе демократизации отечественной историографии, историки вновь обратились к вопросам советской государственной политики в области музейного дела³. Среди постсоветских изданий по истории музейного дела в СССР, освобожденных от идеологических клише предыдущих десятилетий, особенного внимания заслуживают «Российская музейная энциклопедия» (М., 2001) и «Музейное дело России» (М., 2003), где представлена характеристика основных этапов деятельности отечественных музеев в разных направлениях.

Переломным этапом в истории российских музеев, изменившим вектор развития экспозиционной, выставочной, памятнико-охранительной и экскурсионной деятельности, стал Первый Всероссийский музейный съезд 1930 г. Одной из первых попыток осмысления роли этого съезда в истории отечественного музейного дела стала работа, подготовленная А. Б. Закс⁴, где в духе времени давалась позитивная оценка съезда. Иной, критический взгляд на значение съезда представлен в работе Г. А. Кузиной⁵. Более развернутая оценка съезда, ориентированного на подчинение музейного дела целям социалистического строительства, подготовлена томскими историками Н. М. Дмитриенко и Л. А. Лозовой. В их статье определен состав делегатов, раскрыто содержание основных докладов, авторы которых выступали за превращение музеев в политико-просветительные учреждения, раскрыты требования к музейным работникам

¹ Годунова Л. Н. Органы управления музейным делом в СССР, 1917–1941 гг. // Музейное дело в СССР. – М., 1989. – Вып. 19. – С. 13–42; Ионова О. В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток (1928–1941) // Очерки истории музейного дела в СССР. – М., 1963. – Вып. 5. – С. 84–118; Равикович Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925) // Очерки истории музейного дела в СССР. – М., 1969. – Вып. 6. – С. 97–145; Семенович Т. Н. Выставочная работа музеев (1917 – начало 1950-х гг.) // Музейное дело в СССР. – М., 1989. – Вып. 19. – С. 99–124; Ушаков А. В. Научно-исследовательская работа музеев исторического профиля (1917–1959) // Музейное дело в СССР. – М., 1989. – Вып. 19. – С. 45–71 и др.

² Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 – первая половина 60-х гг.). – М., 1988.

³ Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть. – М., 1991. – Ч. 1: Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). – С. 96–172.

⁴ Закс А. Б. Всероссийский музейный съезд // Вопр. истории. – 1980. – № 12. – С. 164–167.

⁵ Кузина Г. А. Указ. соч.

овладевать марксистской методологией и создавать музейные экспозиции с опорой на формационную теорию общественного развития¹. Влияние этого съезда на дальнейшее развитие музейного дела в советских музеях на примере Дальнего Востока раскрыто в статье Н. И. Рубан².

Еще один важный вопрос – охраны музеями памятников – изучался в советской России историками и юристами. Уже в 40–70-х гг. XX в. к этой проблематике обращались В. К. Гарданов, Ю. Оснос, Д. А. Равикович, И. С. Смирнов и др.³ С 1980-х гг. ведется более детальное изучение правовых основ истории памятнико-охранительной деятельности в РСФСР⁴. Имеется также опыт обобщения по истории сохранения музеями историко-культурных ценностей⁵ и музеефикации историко-культурных объектов⁶. Однако результаты деятельности музеев Западной Сибири в этой сфере до сих пор не обобщались и не рассматривались в контексте сохранения и формирования исторической памяти сибиряков. Параллельно в России стали официально публиковаться работы об инициированных государством разрушениях памятников. Еще в 1930-х гг. данной проблеме было уделено внимание за рубежом⁷, позже книги на эту тему выходили в «самиздате»⁸. К настоящему моменту существует обширная историография вопроса сноса памятников в разных регионах нашей страны⁹, в том числе и в Западной Сибири¹.

¹ Дмитриенко Н. М., Лозовая Л. А. Первый Музейный съезд как фактор эволюции музейного мира России // Вестн. / Томск. гос. ун-т: история. – 2013. – № 6 (26). – С. 193–197.

² Рубан Н. И. Первый Всероссийский музейный съезд, его влияние на развитие дальневосточных музеев [Электронный ресурс]. – URL: http://www.museumstudy.ru/content/files/ruban_1_s_ezd.pdf (дата обращения: 07.09.2015).

³ Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы советской власти // История музейного дела в СССР. – М., 1957. – С. 7–36; Оснос Ю. Октябрьская революция и памятники художественной культуры // Искусство. – 1940. – № 6. – С. 62–66; Смирнов И. С. Из истории строительства социалистической культуры. – М., 1949; Равикович Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР, 1917–1967 гг. // Тр. / НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. – М., 1970. – Вып. 22. – С. 3–127; и др.

⁴ Богуславский А. В. Из истории советского законодательства об охране памятников (Декрет 5 окт. 1918 г.) // Правоведение. – 1987. – № 5. – С. 87–93; Галай Ю. В. Правовая охрана культовых памятников в первые годы советской власти // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья. – Горький, 1990. – С. 36–44; Жуков Ю. Н.: 1) Роль права в охране культурно-исторического наследия в первые годы советской власти // Советское государство и право. – 1983. – № 11. – С. 117–122; 2) Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры, 1917–1920. – М., 1989.

⁵ Киндзерская М. А. Музейное дело и сохранение историко-культурных памятников России (начало XX в. – конец 1930-х гг.): автореф. дис. ... канд. культурологии. – Краснодар, 2005.

⁶ Каулен М. Е. Указ. соч. – С. 173–257.

⁷ Савицкий П. Н. Разрушающие свою Родину: (снос памятников искусства и распродажа музеев СССР). – Прага, 1936.

⁸ The Destruction of the Church of Christ the Savior [Самиздат]. – Л., 1988 и др.

⁹ Длужневская Г. В. Утраченные храмы Петербурга. – СПб., 2003; Михайлов К. Взорванная память: уничтожение памятников русской воинской славы. – М., 2007; Личак Н. А.: 1) Система охраны памятников во второй половине 1930-х гг. // Науч. ведомости / Белгород. гос. ун-т: сер.: «История. Политология. Экономика. Информатика». – 2010. – № 16, т. 19. – С. 202–208; 2) Разрушение памятников церковного зодчества Иваново-Вознесенской губ. в 1920–1930-х гг. // Изв. / Тульск. гос. ун-т: гуманитар. науки. – 2010. – № 2. – С. 83–91; Тимофеева Т. П. «Лежит в

В настоящее время изучаются подходы к построению экспозиции исторического музея – актуальные для прошлого и для современности². Также в современной науке поставлен вопрос о роли музеев в формировании коллективной памяти общества. Эта проблематика разрабатывается культурологами О. А. Божченко и Е. Е. Герасименко³. Отражение государственной политики памяти в музейных репрезентациях исторического прошлого также стало актуальной проблемой гуманитарных исследований. Примерами могут послужить работы филолога В. П. Хархун⁴ и социолога Р. Абрамова⁵.

Отдельно следует остановиться на историографии развития музейного дела в городах Западной Сибири. Обзор деятельности сибирских музеев в 1920-х – начале 1930-х гг. был дан в нескольких статьях «Сибирской советской энциклопедии»⁶. В конце 1960-х гг. В. Л. Соскин привел обобщенные сведения о характере «музейного строительства» 1920-х гг. в Сибири, где упомянуты краеведческие музеи Омска, Томска, Новосибирска и Барнаула⁷. Однако в те годы, как подчеркивал Соскин, история музейного дела в Сибири была изучена еще очень слабо⁸. Уже двадцатью годами позже историография данной тематики значительно расширилась. В настоящее время наблюдается подъем интереса к музейной тематике. Музейному миру всей Сибири посвящены обобщающие работы О. Н. Шелегиной⁹. Вариант систематизации накопленного исследователями эмпирического материала, а также обзор выявленных источников представлен в учебном пособии О. Н. Труевцевой¹⁰. Периодизация истории этнографических и исторических му-

развалинах твой храм»: о судьбах церковной архитектуры Владимирского края (1918–1939 гг.): документ. хроники. – Владимир, 1999 и др.

¹ Фурсова Е. Ф. Закрытие православных церквей в г. Новосибирске в 1920–1930-е гг. // Новосибирская обл. в контексте российской истории. – Новосибирск, 2001. – С. 169–171; Скворцов Г. В. Троицкий кафедральный собор // Томск от А до Я: краткая энциклопедия города. – Томск, 2004. – С. 379–380; и др.

² Дукельский В. В поисках музейной концепции истории // Музейная экспозиция: Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. – М., 1997. – С. 33–41.

³ Божченко О. А. Музей в формировании исторической памяти: автореф. дис. ... канд. культурологии. – СПб., 2012; Герасименко Е. Е. Музей в институционализации социальной памяти: автореф. дис. ... канд. культурологии. – СПб., 2012.

⁴ Хархун В. П. Музеїфікація радянського минулого, або Комунізм у музеї // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 66. – С. 385–393.

⁵ Абрамов Р. Н. Музеїфікація советського: історическа травма или ностальгія? [Електронний ресурс] // Гефтер: електрон. журн. – 2014. – URL: <http://gefter.ru/archive/11132> (дата обращения: 06.01.2016).

⁶ Алтайский отдел Государственного Русского географического общества // ССЭ. – М., 1929. – Т. 1. – С. 88; Новосибирский музей // ССЭ. – М., 1932. – Т. 3. – С. 791–792.

⁷ История Сибири с древнейших времен до наших дней. – Т. 4. – С. 266–267.

⁸ Соскин В. Л. Основные итоги и задачи изучения истории культурного строительства Сибири (1917–1937 гг.) // Историческая наука в Сибири за 50 лет: основные проблемы истории советской Сибири. – Новосибирск, 1972. – С. 124–136.

⁹ Шелегина О. Н. Музеи Сибири: очерки создания, развития, адаптации. – Новосибирск, 2010. – С. 15–48.

¹⁰ Труевцева О. Н. История сибирского музея: методология, историография, источники: учеб. пособие. – Барнаул, 1999. – С. 29–70.

зеев Сибири разработана Н. А. Томиловым¹. Тема основания и функционирования сибирских музеев на раннем этапе их существования разработана в обобщающей статье Н. М. Щербина².

В рамках сибирского музееведения подготовлено много работ, посвященных истории отдельно взятых музеев. В 1980-х гг. большой вклад в изучение истории Омского краеведческого музея внесли этнографы, которые останавливали внимание на вопросах комплектования его коллекций³ и обзорно характеризовали развитие музейного дела в Омске⁴. В 1990-х гг. продолжилось изучение истории коллекций⁵, исследовалась деятельность Омского музея как учреждения культуры и науки⁶, уделялось внимание участию различных социальных групп в работе музея⁷, уточнялась история здания музея как памятника культуры и истории Омска⁸. В 2000-х гг. этот музей, как и другие крупные музеи Сибири, попал в исследовательское поле омских городоведов: Д. А. Алисова, изучающего взаимосвязь городской среды и культурной жизни городов Западной Сибири⁹, и В. Г. Рыженко, затронувшей историю музея в контексте авторской методологической модели «Интеллигенция – культура – город»¹⁰.

В последние годы продолжается активное изучение темы. Важно, что омские краеведы и музеееды обращаются к истории Омского краеведческого музея на этапе его деятельности между Гражданской и Великой Отечественной войнами. В частности,

¹ Томилов Н. А. Периодизация истории исторических и краеведческих музеев Сибири // Социально-экономическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья. – Тара, 2009. – С. 121–127.

² Щербин Н. М. История создания, становления и развития общественно-краеведческих музеев в Сибири (вторая половина XIX – первая треть XX в.) // Роль музеев в формировании и трансляции региональной идентичности. – Новосибирск, 2012. – С. 266–282.

³ Томилов Н. А. Этнографические коллекции в омских музеях // Советская этнография. – 1981. – № 5. – С. 84–95; Томилов Н. А., Макаров Ю. А. Омский государственный объединенный исторический и литературный музей: (краткий исторический очерк) // Народы Севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и литературного музея. – Томск, 1986. – С. 20; Шумилов А. И. Из истории создания историко-революционного отдела Омского краеведческого музея // Музееведение Западной Сибири. – Омск, 1988. – С. 20–22 и др.

⁴ Назарцев Т. М. Развитие музейного дела в Омской обл. // Музееведение Западной Сибири. – Омск, 1988. – С. 14–16.

⁵ Мартынова Л. С. Этапы комплектования коллекций Омского краеведческого музея // Музей и общество на пороге XXI в. – Омск, 1998. – С. 2–30; и др.

⁶ Вибе П. П. Основные этапы истории и перспективы развития Омского государственного историко-краеведческого музея // Музей и общество на пороге XXI в. – Омск, 1998. – С. 2–7; Пугачева Н. М. Краеведческие музеи // Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 125–126.

⁷ Гефнер О. В. Роль военных в организации Омского музея // Музей и общество на пороге XXI в. – Омск, 1998. – С. 148–150; Томилов Н. А. Интеллигенция в музейном деле Западной Сибири 1920-х гг. // Культура и интеллигенция России в переломные эпохи (XX в.). – Омск, 1993. – С. 79–81.

⁸ Гуменюк А. И. Дворец генерал-губернатора Западной Сибири в Омске // Памятники истории и культуры Омска. – Омск, 1992. – С. 75–80; и др.

⁹ Алисов Д. А. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914). – Омск, 2006; Городская среда и культурный облик Омска // Очерки истории г. Омска. – Омск, 2005. – Т. 2: Омск, XX в. – С. 146; и др.

¹⁰ Рыженко В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. – Екатеринбург; Омск, 2003. – С. 280–316; и др.

О. А. Безродной предложена широкая характеристика разноплановой деятельности музея в 1921–1934 гг.¹ Судьбы и творчество омских музейщиков 1930-х гг. являются предметом изучения А. В. Ремизова. В частности, этим автором реконструированы биографии выдающихся омских краеведов Ф. В. Мелехина, А. Ф. Палашенкова и др.² Обращают на себя внимание также работы О. В. Блиновой, Г. С. Епериной и других, посвященные комплектованию ряда исторических коллекций в первой трети XX в.³

В 1940–1980-х гг. появлялись отдельные публикации, представлявшие краткий экскурс в историю Томского краеведческого музея⁴. Многие публикации этого периода были краткими и акцентировали внимание на отдельных узких аспектах работы музея. В последние два десятилетия сотрудники Томского областного краеведческого музея и томские историки проделали большую работу по изучению начального этапа существования музея, истории комплектования его коллекций, биографий людей, чей вклад в развитие музея трудно переоценить⁵. Отдельного внимания заслуживает публикация сборника наиболее интересных документов музейного архива⁶. Наконец, в 2011 г. была защищена кандидатская диссертация С. Е. Григорьевой, посвященная комплексному анализу истории Томского музея в период с 1920 г. до современности⁷. Важно отметить, что С. Е. Григорьева отдельно изучала опыт томских музейщиков в создании экспозиции, в том числе ее исторической части. Однако этим автором не привлекались к исследованию источники, хранящиеся в Государственном архиве Новосибирской области (в том числе в фонде партийной ячейки музея), мало использовались источники из Центра документации новейшей истории Томской области, не был мобилизован в достаточной мере массив газетных источников 1920–1930-х гг. Практически не рассматривалась работа томских музейщиков по созданию историко-революционной части экспозиции.

¹ Безродная О. А. Западно-Сибирский краевой музей (1921–1934 гг.) // Изв. / Омск. гос. ист.-краевед. музей. – Омск, 2013. – № 18. – С. 31–51.

² Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х гг.: очерк истории. – Омск, 2010. – С. 67–70, 173–233.

³ Блинова О. В. Архив Великой войны: особенности истории комплектования // Вторые Ядринцевские чтения. – Омск, 2014. – С. 148–149; Еперина Г. С. Омск в годы Первой мировой войны: обзор коллекции документов в фондах ОГИК музея // Вторые Ядринцевские чтения. – С. 177–180.

⁴ Елизарьева М. К созданию Томского областного музея краеведения // Красное знамя. – 1949. – 16 апр.; Рудая И. Рождение краеведческого музея в Томске // Красное знамя. – 1979. – 12 июня и др.

⁵ Артюхова И. В. Традиционная культура русских в фондах Томского областного краеведческого музея (далее – ТОКМ). – Томск, 2010; Дмитриенко Н. М. У истоков музейного дела в Томске // Тр. / ТОКМ. – Томск, 2002. – С. 178–187; Исаева Л. Ю. Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохранение памятников архитектуры в Томске. – Томск, 2009; Кулемзин В. М. Михаил Бонифатиевич Шатилов и Владимир Клавдиевич Арсеньев в сибиреведении // Тр. / ТОКМ. – Томск, 2010. – С. 7–10; Томский краеведческий музей: из прошлого в будущее. – Томск, 2003; Усадьба И. Д. Асташева – Томский областной краеведческий музей. – Томск, 2000 и др.

⁶ Андреева Е. А. История Томского краеведческого музея языком архива // Тр. / ТОКМ. – Томск, 2002. – С. 3–156.

⁷ Григорьева С. Е. История Томского областного краеведческого музея, 1920–2000-е гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Томск, 2011.

История Новосибирского краеведческого музея изучена слабее. Одним из первых ее затронул Н. А. Томилов, предложивший периодизацию этой истории¹. СобираТЕЛЬСкая деятельность музея, формирование его коллекций характеризовались омскими этнографами². В начале 2000-х гг. к его истории обращались И. В. Сальникова, Н. В. Мелихова и Т. В. Гришанова, участвовавшие в работе по составлению энциклопедии «Новосибирск»³. Ими были собраны некоторые биографические данные о лицах, работавших в музее до Великой Отечественной войны, кратко подытожены основные достижения музея на разных этапах его деятельности. 85-летие новосибирского музея в 2005 г. стало для его сотрудников новым поводом обратиться к истории музея, в том числе и в межвоенный период. В итоге были подготовлены статьи И. В. Сальниковой и Н. В. Мелиховой⁴.

История музейного дела в Барнауле дореволюционного периода представлена в работах Ю. А. Абрамовой, В. Ф. Гришаева, Л. С. Рафиенко и Я. В. Фролова. Этими исследователями описано создание первого музея на Алтае, формирование его коллекций, особенности работы с посетителями⁵. В последние годы были также подготовлены некоторые работы, посвященные истории музея в советское время⁶. Ю. А. Абрамовой была специально рассмотрена деятельность музея в 20–30-х гг. XX в.⁷ Т. В. Тишкиной охарактеризован процесс формирования музейной сети на Алтае в начале 1920-х гг., пока-

¹ Томилов Н. А.: 1) История музеев Западной Сибири: проблема периодизации музейного дела // Декабрьские диалоги. – Омск, 2000. – Вып. 3. – С. 19–22; 2) Деятельность Новосибирского краеведческого музея в 1920-е – начале 1930-х гг. // Общественное движение и культурная жизнь Сибири (XVIII–XX вв.). – Омск, 1996. – С. 123–136; 3) Новосибирский областной краеведческий музей в 1920–1987 гг. // Проблемы музееведения и народная культура. – Новосибирск, 1999. – С. 65–113; 4) К истории Новосибирского краеведческого музея // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 1. – С. 96–102; и др.

² Жигунова М. А., Томилов Н. А., Деш О. В. СобираТЕЛЬСкая работа Новосибирского областного краеведческого музея в конце XX в. // Русский вопрос: история и современность. – Омск, 2007. – С. 394–397.

³ Гришаева Т. В. Нагорская (Ивановская) Наталья Николаевна // Новосибирск: энцикл. – 2003. – С. 455–456; Мелихова Н. В. Кравков Михаил Алексеевич // Новосибирск: энцикл. – С. 454; Сальникова И. В. Краеведческий музей // Новосибирск: энцикл. – С. 455–456.

⁴ Сальникова И. В.: 1) Документальная летопись Новосибирского государственного краеведческого музея // Образовательная деятельность музея: 85-летию музея посвящается. – Новосибирск, 2005. – С. 48–66; 2) Первые коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея и их собиратели // Образовательная деятельность музея: 85-летию музея посвящается. – С. 67–70; Мелихова Н. В. Кравков Максим Алексеевич – геолог, писатель, краевед, директор Новониколаевского городского музея // Образовательная деятельность музея: 85-летию музея посвящается. – С. 71–72.

⁵ Абрамова Ю. А. Музей Общества исследования Алтая: (из истории АГКМ в 1891–1920 гг.) // Краеведческие записки. – Барнаул, 1999. – Вып. 3. – С. 23–31; Гришаев В. Ф. Барнаульский музей в 1863 г. // Алтайский сборник. – Барнаул, 1993. – Вып. 17. – С. 32–38; Рафиенко Л. С. П. К. Фролов и Барнаульский музей ведомства Кабинета // Краеведческие записки. – Барнаул, 1999. – Вып. 3. – С. 7–13; Фролов Я. В. Археологические и этнографические коллекции Барнаульского музея в XIX в. // Краеведческие записки. – Барнаул, 2011. – Вып. 9. – С. 223–232; и др.

⁶ Падалкина О. В. Музей глазами современников // Алтайский сборник. – Барнаул, 1999. – Вып. 17. – С. 6–24; Попова И. В. Этнографическая коллекция АГКМ: формирование, презентация // Краеведческие записки. – Барнаул, 2009. – Вып. 8. – С. 187–200; Старейший музей Сибири. – Барнаул, 2008. – С. 11–87; и др.

⁷ Абрамова Ю. А. Барнаульский музей в 1917–1941 гг. // Краеведческие записки. – Барнаул, 2001. – Вып. 4. – С. 57–66; и др.

зан процесс становления Барнаульского краеведческого музея в качестве центра краеведения на Алтае¹.

Приведенный историографический обзор позволяет констатировать следующее. Изучение тематики, связанной с исторической памятью советского общества, на сегодняшний день только начинается. На примерах Сибири данная проблематика почти не разработана. Однако для этого подготовлена почва: в значительной степени изучены социально-политический и идеологический контексты интересующей нас проблематики, достигнуты значительные результаты в изучении общественного сознания населения СССР межвоенных лет, политической культуры этого времени и политических настроений в обществе. Давно и активно изучаются вопросы некрополистики, исторической эортологии, истории музейного дела и мемориальной культуры в Сибири. Однако до сих пор большая часть этих исследований выполнялась в рамках краеведения, этнографии и музееведения. Попыток комплексного изучения различных коммемораций в историческом контексте на материалах Сибири 1920–1930-х гг. до сих пор не предпринималось.

Резюмируя сказанное выше необходимо отметить следующее. В соответствии с «мемориальным поворотом», охватившим современные гуманитарные науки, в последние годы, как в отечественной, так и в англоязычной историографии складывается новое направление исследований исторической памяти российского общества на разных этапах его развития. В частности изучаются особенности коллективной памяти россиян о тяжелых, кризисных этапах отечественной истории и отдельных ее событиях, отраженной в различных источниках и нарративах. Исследователями ставится задача изучения социальной памяти отдельных групп: ее содержания, функционирования и угасания. Однако эта проблематика практически не разработана на материалах Сибири 1920–1930-х гг.

Постановка цели нашей диссертации, предполагающая раскрытие динамики основных коммемораций в условиях становления и развития советской политической системы и связанных с ней контекстов, заставила нас обратиться к работам наших предшественников, посвященных сущности сталинизма, как политического режима (политической системы). До сих пор сталинизма преимущественно расценивается как тоталитарный режим, однако полувековой опыт изучения этого режима привел к значительно-

¹ Тишкина Т. В. Музеи Алтая в первой половине 1920-х гг. // Вопр. музеологии. – 2012. – № 1. – С. 59–65.

му пересмотру его основных характеристик и усложнению представлений о специфике взаимодействия власти и общества в условиях сталинизма. Специфика политического режима во многом определяет содержание, формы и методы реализации политики памяти. Советская политика памяти сталинских десятилетий на сегодняшний день изучалась лишь в рамках более широкого обобщения (Е. Н. Копосов), вовсе не рассматривались ее специфичные цели и особенности реализации в Сибири. Однако существует длительная традиция изучения более широкой проблематики: советской идеологии и пропаганды, как инструментария идеологии. На наш взгляд, наибольших успехов в исследовании форм и механизмов «машины советской пропаганды» достигли англоязычные русисты (П. Кенез, М. Леное, Дж. Брукс). В последние годы предметом специального изучения стали также формы и методы политической индокринации (А. И. Щербинин). Установлено, что пропаганда и индокринация (латентная пропаганда) служили целям социальной мобилизации, концептуальное осмысление которой предлагается, как отечественными историками (С. А. Красильников, И. С. Кузнецов и др.), так и англоязычными русистами (М. Леное, Д. Пристланд). Формирование советской политической системы рассматривается сегодня в контексте сложившихся культурных условий, изучается и влияние советского политического режима на политическую культуру российского общества. Контексты «культурно поворота» в историографии привели к постановке проблем культурной составляющей советской политики (Б. И. Колоницкий, В. В. Глебкин, В. Боннел, С. Хэттери и др.). Все это дает нам основание считать достаточно хорошо изученными политические и «около политические» контексты формирования коллективной памяти сибиряков об их общем историческом прошлом, отраженном в коммеморациях.

На протяжении нескольких десятилетий сибирские ученые исследовали разные аспекты политической, социально-экономической и культурной истории региона. Объектами их внимания становились военно-революционные события, общественное мнение и общественные настроения, политические репрессии, повседневная, духовная жизнь сибиряков и др. Однако до сих пор историками Сибири редко ставился вопрос: как и в связи с чем жители нашего региона вспоминали общее для них прошлое? Приходится признать, что коллективная память жителей Западной Сибири 1920–1930-х гг. до сих пор специально практически не изучалась, хотя сюжеты, которыми наполнялась эта память, детально разработаны в научной историографии, хранящей информацию о прошлом совершенно иначе, чем оно сохраняется в живой коллективной памяти.

Исторический некрополь городов Западной Сибири прежде не исследовался в контексте развития коммеморативной культуры и влияния на него советской политики памяти. Этот вывод справедлив применительно и к другим, интересующим нас коммеморациям: к памятникам, музеям, памятным датам и похоронам. Однако существуют длительные традиции изучения истории всех указанных сюжетов. Традиционно история кладбищ, в том числе и западно-сибирских изучается в рамках некрополистики, историей памятников занимаются краеведы, искусствоведы и культурологи, похороны и памятники изучают преимущественно этнографы, музей традиционно является предметом изучения культурологов и музееведов. Обобщение перечисленных сюжетов в-связи с осознанием их общего коммеморативного назначения позволяет преодолеть узкие рамки субдисциплинарности и традиционного, узко профильного их рассмотрения и увидеть общие контексты, а также единое направление в развитии коммемораций.

1.2. Основные источники исследования

С целью реализации общего замысла данного исследования нами был использован широкий круг разнообразных исторических источников разных типов, которые выделяются по способу отражения в них исторической информации. Так, нами были мобилизованы письменные, устные, визуальные и вещественные источники. Часть письменных источников представлена опубликованными материалами, однако в значительной степени исследование базируется на неопубликованных источниках, хранящихся в архивах Западной Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе документы из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА); Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ); Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ); Государственного архива Новосибирской области (ГАНО); Новосибирского городского архива (НГА); Государственного архива Алтайского края (ГААК); Государственного архива Томской области (ГАТО); Центра документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО); Исторического архива Ом-

ской области (ИАОО) и Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова. К числу неопубликованных относятся и устные источники – аудиозаписи интервью с пожилыми сибиряками, рассказавшими автору диссертации о своем детстве. Преимущественно неопубликованными являются также визуальные источники из фондов государственных архивов, частных коллекций и семейных фотоальбомов.

К числу *письменных источников*, положенных в основу нашего исследования, относятся, в первую очередь, *законодательные и нормативные материалы*, как опубликованные, так и неопубликованные. Из числа дореволюционных законодательных источников нами был использован «Устав медицинской полиции»¹. Данный источник потребовался для определения предыстории советского законодательства в области кладбищенского хозяйства и организации похорон. Установление исторического контекста проведения траурных торжеств, связанных с кончиной членов семьи Романовых, и торжеств, приуроченных к открытию памятников и юбилейным датам исторических событий, осуществлялось нами в опоре на соответствующие церемониалы, хранящиеся в фонде церемониальной части Министерства императорского двора в РГИА². Интерес с точки зрения установления исторических контекстов организации государственных праздников представляют также решения комиссии по вопросу о дне всенародного празднования 300-летия царствования Дома Романовых³. Понимание советской специфики массовых коммемораций невозможно без выяснения их дореволюционной предыстории в сибирских городах. Поэтому нами были использованы постановления Томской городской управы о празднованиях, приуроченных к различным памятным датам, о торжественных литургиях, об увековечивании памяти отдельных лиц⁴.

Важными законодательными источниками нашего исследования послужили декреты Советской власти, Конституции СССР 1924 и 1936 гг., Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.⁵ К группе законодательных источников относятся также директивные документы высших органов Коммунистической партии: съездов, конференций,

¹ Устав медицинской полиции // Свод законов Российской империи, повелением государя Николая I составленный. – СПб., 1857. – Т. 13. – С. 159.

² РГИА. – Ф. 473.

³ Там же. – Ф. 1320.

⁴ ГАТО. – Ф. Д-233.

⁵ Декреты советской власти. – М., 1957–1989. – Т. 1–13; Основной закон (Конституция) СССР 31 янв. 1924 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hist.msu.ru> (дата обращения: 15.03.2015); Конституция (Основной закон) СССР 5 дек. 1936 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hist.msu.ru> (дата обращения: 15.03.2015); Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // Кодификация российского гражданского права. – Екатеринбург, 2003. – С. 607–773.

пленумов ЦК, Сиббюро ЦК РКП(б)¹. Законодательные источники, касающиеся музейного дела, содержатся в фондах Главнауки (Главного управления научных и музейных учреждений Наркомата просвещения РСФСР)² и Наркомпроса (Министерства просвещения РСФСР)³ Государственного архива Российской Федерации. В частности, нами были востребованы «Декрет о регистрации, приеме на учет и хранении памятников искусства и старины»; «Инструкция об охране, учете и регистрации памятников старины и искусства»; «Постановление ВЦИК об охране археологических памятников»; «Постановление ВЦИК о порядке охраны памятников зодчества»; «Постановление Наркомпроса о мероприятиях главков по изучению жизни и деятельности В. И. Ленина»⁴ и др.

В контексте данного исследования представляют также интерес директивные документы фонда Центрального Комитета КПСС (отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) РГАСПИ)⁵, где отложились планы проведения праздничных политических торжеств в СССР. Эти документы позволяют судить о направленности государственной политики памяти и ее конкретном содержании в разные годы. Для понимания процессов мемориализации и политического смысла массовых коммемораций в городах Западной Сибири имеет также значение директивная документация некоторых комитетов и комиссий, отвечавших за проведение идеологических кампаний. Для нас представляют интерес документы, отложившиеся в фондах комиссии ЦИК СССР по организации похорон и увековечиванию памяти В. И. Ленина⁶ и Всесоюзного Пушкинского комитета⁷. Важными источниками исследования стали также нормативные документы местных органов власти регионального и городского значения: документы Сибревкома, президиума Западно-Сибирского крайисполкома, постановления горсоветов и горисполкомов, отложившиеся в региональных архивах⁸, а также публиковавшиеся в газетах. Поскольку местные органы власти отвечали за благоустройство и поддержание порядка в городах, эти материалы позволяют судить о времени, причинах и обстоятельствах закрытия старых городских кладбищ, открытия новых, реорганизации

¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). – 9-е изд., доп. и испр. – М., 1983–1989. – Т. 1–7 и др.

² ГАРФ. – Ф. А-2307.

³ Там же. – Ф. А-2306.

⁴ Там же. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 2, 8, 9, 17.

⁵ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60.

⁶ Там же. – Ф. 16.

⁷ ГАРФ. – Ф. А-305.

⁸ ГААК. – Ф. Р-312; ГАНО. – Ф. Р-1; ГАТО. – Ф. Р-430; ИАОО. – Ф. Р-235.

пространственного и функционального значения исторического некрополя городов Западной Сибири; о закладке и открытии памятников; а также о решениях местных органов власти, связанных с региональной спецификой проведения всесоюзных идеологических компаний и политических торжеств. За организацию и проведение государственных праздников и траурных мероприятий на местах также отвечало Сибирское бюро ЦК РКП(б)¹, губернские, окружные, уездные и городские комитеты партии, деятельность которых нашла отражение в соответствующей документации, представленной планами мероприятий, различными постановлениями и циркулярами².

Важным этапом нашего исследования стало изучение *регистрационной документации* – метрических книг, составлявшихся священниками городских церквей и соборов Западной Сибири, а также книг ЗАГСов. Эти материалы, хотя и не без колебаний, источниковеды относят к *актовым источникам*³. Обращение к данным материалам обусловлено следующими обстоятельствами. Как уже подчеркивалось, исторический некрополь Западной Сибири – это слабо, фрагментарно изученная тема. Поскольку не сохранилось подлинных старинных могильных плит, традиционно служащих некрополистам первоисточниками для установления круга лиц, погребенных на старых кладбищах, нам пришлось востребовать сохранившуюся регистрационную документацию. Метрические книги – это реестры, содержащие официальные записи актов гражданского состояния и записи о сопровождавших эти акты религиозных обрядах. Метрические книги велись вплоть до середины марта 1918 г. Они содержали обязательный раздел «О умирающих», где подробно фиксировались сведения об умерших лицах (полное имя, возраст, чин, вероисповедание, причина смерти, даты кончины и отпевания, место погребения).

Как показано в историографическом обзоре, наиболее разработанной историками является тема Томского некрополя, по которой существуют публикации, свидетельствующие о большой источниковедческой работе томичей, фактически снимающие с нас задачу работы с томскими метрическими книгами. Краеведами также была частично разработана тема омского некрополя. Однако сведений о массовых захоронениях на кладбищах Омска в опубликованных работах приводится мало. Поэтому для того, чтобы

¹ ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 1.

² ГААК. – Ф. П-1. – Оп. 1; Ф. П-2. – Оп. 3, 4; Ф. П-4. – Оп. 5; Ф. П-6. – Оп. 2; ГАНО. Ф. П-10. – Оп. 1; Ф. П-18. – Оп. 1; Ф. П-13. – Оп. 1; ИАОО. – Ф. П-1. – Оп. 3; Ф. П-7. – Оп. 1; ЦДНИТО. – Ф. 1. – Оп. 1; Ф. 4. – Оп. 1; Ф. 76. – Оп. 1; Ф. 80. – Оп. 1.

³ Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика. – М., 2004. – С. 79.

составить более полное и объективное представление о социокультурном составе лиц, упокоившихся в омской земле, нами были мобилизованы метрические книги омских церквей: Богородице-Братской, Богородице-Знаменской, Богородице-Скорбященской тюремной церкви, Воскресенского военного собора, Никольского казачьего собора, Всехсвятской кладбищенской церкви, Пророко-Ильинской церкви, Успенского кафедрального собора¹. Нами были выборочно просмотрены книги, составленные в 1910–1919 гг., поскольку еще «свежие» захоронения этих лет формировали общее впечатление о характере некрополя в 20–30-х гг. XX в. Этого оказалось достаточным для нашего исследования, поскольку омский некрополь более раннего периода изучался некрополистами начала XX в. Их наработки были нами также использованы, о чем подробнее будет сказано далее.

Наименее изучены некрополи Новосибирска и Барнаула. Автором данного исследования было просмотрено значительное число метрических книг приходов православных церквей этих городов. Тщательнее были подвергнуты анализу новосибирские метрические книги, поскольку алтайский некрополь в целом лучше отражен в газетах, которые и послужили нам в качестве основного источникового материала, необходимого для реконструкции исторического некрополя Барнаула. Выборочно просмотрены метрические книги храмов Новониколаевска (Новосибирска): Александро-Невского собора, Покровской, Пророко-Данииловской, Вознесенской, Закаменской и Воскресенской (Кладбищенской) церквей, составлявшиеся в период между 1900 и 1920 гг.² Из коллекции барнаульских метрических книг мы использовали книги Знаменской и Покровской церквей³.

Судить о захоронениях лиц, умерших после марта 1918 г., приходится в опоре на книги записей актов гражданских состояний. Однако доступ к этим источникам ограничивает законодательство. Нам удалось использовать соответствующие книги, составлявшиеся в Новосибирске в период 1919–1927 гг.⁴ Как и метрические книги, эти источники отражали основные сведения об умерших, за исключением их вероисповедания.

Делопроизводственными материалами представлен обширный пласт неопубликованных источников исследования. В их числе – нормативные документы (положения,

¹ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 6, 11.

² ГАНО. – Ф. Д-56. – Оп. 1.

³ ГААК. – Ф. 144. – Оп. 6.

⁴ ГАНО. – Ф. 2189.

уставы, инструкции); протокольная документация (протоколы, стенограммы); деловая переписка (отношения, докладные записки, заявления); информационные документы (информационные сводки о политических настроениях, докладные записки, сообщения); учетная (журналы посещений, инвентарные книги) и отчетная документация (отчеты, балансы, доклады) из фондов 11 архивов и двух музеев. Среди документов, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), интерес представляют отчетные материалы о проведении политических праздников из фонда Центрального Комитета КПСС (отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б))¹.

Также нами были востребованы документы, свидетельствующие о работе комиссии ЦИК СССР по организации похорон и увековечиванию памяти В. И. Ленина², отражающие подготовку к траурным мероприятиям (определение ритуальных особенностей похорон, их музыкального сопровождения, лозунговой базы), а также отклик регионов страны на смерть первого советского вождя (опись венков, коллекция телеграмм, содержащих соболезнования, выраженные Н. К. Крупской) и отчеты о проведении официальных траурных мероприятий на местах. К нашему исследованию также привлекались источники, отражающие характерные для 1930-х гг. процессы формирования политических культов героев. Это – документы из личных фондов В. В. Куйбышева³ и С. М. Кирова⁴, чьи биографии были связаны с городами Западной Сибири (письма почитателей, телеграммы, содержащие соболезнования родным усопших «вождей»). Среди делопроизводственной документации, хранящейся в ГАРФ, представляет интерес переписка чиновников Главнауки с музеями Сибири о штатах, сметах, деятельности и пополнениях коллекций⁵.

Важными источниками нашего исследования стали делопроизводственные источники, отражающие повседневную работу сотрудников краеведческих музеев городов Западной Сибири⁶. Были использованы годовые отчеты о работе музеев, протоколы заседаний музейных советов, экспозиционные планы, штатные расписания, переписка музеев с различными учреждениями, штатные расписания, книги отзывов и регистрации посетителей и т. п. Эти источники позволяют судить о проблемах в работе сибирских

¹ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60.

² Там же. – Ф. 16.

³ Там же. – Ф. 79.

⁴ Там же. – Ф. 80.

⁵ ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 348.

⁶ ГААК. – Ф. 66; Ф. Р-288; ГАНО. – Ф. Р-1813; ИАОО. – Ф. Р-1076.

музейщиков, связанных с изменениями идеологических установок государства, экономических условий и контекстов местной социокультурной среды, о специфике взаимоотношений между членами коллектива, о восприятии посетителей музеев экспозиции и экскурсий. Сложности работы сибирских музейщиков в напряженных социально-политических условиях 1930-х гг. еще более рельефно отражены в документации первичных партийных ячеек музеев, представленных, главным образом, протоколами их заседаний¹.

Деятельность западно-сибирских музеев, связанная с охраной памятников, созданием исторических экспозиций, проведением экскурсий и просвещением населения в области краеведения отражается также в фондах различных научных и культурно-просветительских организаций и обществ: Общества изучения Сибири и ее производительных сил²; Западно-Сибирского отдела Российского Географического общества³, Омского отделения Всероссийского Географического общества Академии наук СССР⁴, Омского общества краеведения⁵. Свой вклад в поиск сведений об обустройстве памятных мест в городах Западной Сибири внесли члены Новосибирского областного отделения Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, делопроизводственная документация которого также была изучена нами⁶. Делопроизводственные материалы фондов коммунального хозяйства являются также информативными источниками, позволяющими выяснить вопросы, связанные с благоустройством городских кладбищ и парков, разбивавшихся на их месте, с конкурсами проектов памятников героям и жертвам Гражданской войны⁷. Не меньшее значение имело обращение к фондам местных чрезвычайных комиссий по борьбе с тифом⁸. Эти документы помогают понять глубину демографического и культурного кризиса, в который погрузилась Сибирь в период Гражданской войны, увидеть масштабы жертв, оценить степень деградации культуры памяти и некрокультуры в условиях Гражданской войны.

Нами были также использованы различные делопроизводственные документы местных партийных органов, касающиеся планирования мероприятий в рамках прове-

¹ ИАОО. – Ф. П-1659; ГАНО. – Ф. П-357.

² ГАНО. – Ф. Р-217.

³ ИАОО. – Ф. 86.

⁴ Там же. – Ф. Р-1075.

⁵ Там же. – Ф. Р-1074.

⁶ ГАНО. – Ф. Р-2054.

⁷ ГАТО. – Ф. Р-199.

⁸ ГАНО. – Ф. Р-34; ИАОО. – Ф. Р-846.

дения праздничных и траурных кампаний, отчетов о проведении торжеств, расшифровок стенограмм торжественных заседаний, критики имеющегося опыта. Среди подобных материалов отложились и источники, позволяющие судить о рецепции массовых коммемораций местным населением. Негативное и равнодушное отношение населения к политическим праздникам отражено в документах, посвященных критическому разбору мероприятий членами партийных организаций¹. Отдельного внимания заслуживают прежде засекреченные документы фондов головных партийных организаций, содержащие сводки и докладные записки о политических настроениях жителей Западной Сибири, в том числе в дни политических торжеств². Собранные информаторами сведения об антисоветских высказываниях и поступках представителей населения концентрировались в райкомах партии, передавались обкомам, обобщавшим эти данные. Подобные источники не могут вызывать полного доверия, поскольку возможность проверить достоверность их содержания отсутствует. Однако, как подчеркивает историк С. Дэвид, на информаторах лежала большая ответственность за правдоподобие сводок³. Скептически смотреть на содержание сводок побуждает то, что часто они фиксируют фразы, вырванные из общего контекста, представленные в пересказе, содержащем интерпретацию. Сводка может также отражать единичное высказывание на общем фоне позитивного отношения к политической обстановке.

К числу неопубликованных документов, лежащих в основе нашего исследования, относятся и разнообразные коллекции краеведческих и исторических материалов, скомплектованные в первой трети XX в. В первую очередь необходимо назвать материалы коллекции, собранные по инициативе великого князя Николая Михайловича в рамках проекта, получившего в дальнейшем известность как «Русский некрополь». В 1909 г. омские и томские кладбища стали объектом внимания священнослужителей, являвшихся исполнителями задания Николая Михайловича. В итоге были описаны могилы духовных лиц, дворян, лиц, состоявших на военной и гражданской службе, педагогов, общественных деятелей, к числу которых были отнесены также врачи, купцы и благотворители. Эти данные, как, в частности, показывает просмотр метрических книг омских церквей, не были исчерпывающими. Кроме того, ничего не сообщают документы из

¹ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 204; ЦДНИТО. – Ф. 80. – Оп. 1. – Д. 121 и др.

² ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 2; Ф. П-2. – Оп. 2; Ф. П-3. – Оп. 2; Ф. П-4. – Оп. 1.

³ Дэвис С. Указ. соч. – С. 23.

коллекции великого князя о могилах «простых», незнатных людей¹. Однако материалы коллекции отражают официальное мнение государства и местной элиты относительно того, память о каких людях представлялась в начале XX в. ценной. Источниковедом Д. Н. Шиловым были обработаны и опубликованы сведения, собранные в Томске². Мы также использовали неопубликованные источники этой коллекции, созданные в Омске и хранящиеся ныне в фонде Управления делами великого князя Николая Михайловича Министерства императорского двора в РГИА³. Эти источники необходимы для изучения состава лиц, погребенных на старых кладбищах городов Западной Сибири. Они отражают представления современников о салютационных местах. Кроме того, документы этой коллекции содержат описания надгробий, а значит, проливают свет на особенности местной мемориальной эстетики.

Отдельно стоит назвать коллекции документов по истории Сибири и, в частности, сибирских городов⁴, коллекции сибирских Истпартов, где хранятся рукописи краеведческих записок изучаемого периода (к примеру, «Исторический очерк Омска» С. И. Кочнева⁵), публицистических работ и текстов публичных выступлений, посвященных Сибири («Речь на юбилее Минусинского музея» Г. Н. Потанина⁶); рукопись В. Д. Вегмана «Культурная жизнь Сибири»⁷); биографические материалы о революционерах и подпольщиках, описания маршрутов экскурсий 1920-х гг. по революционным местам городов Западной Сибири и т. п.

В числе источников нашего исследования важное место занимают *мемуары сибиряков*. Нами были выявлены тексты воспоминаний, записанные в разные годы и при разных обстоятельствах. В целях исследования мы использовали отдельные мемуары досоветского периода («На заре сибирского самосознания» Г. Е. Катанаева⁸), а также воспоминания 1920–1930-х гг., хранящиеся в фондах Истпартов и в коллекциях ГАНО, ЦДНИТО, ИАОО, ГАТО⁹, в личных фондах В. В. Куйбышева и С. М. Кирова из

¹ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 15–25.

² Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая Михайловича в РГИА). – СПб., 2010.

³ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24.

⁴ ГААК. – Ф. 86. – Оп. 1.

⁵ ИАОО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Д. 344.

⁶ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 70. – Л. 2–14.

⁷ Там же. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 68.

⁸ Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания: воспоминания генерал-лейтенанта Сибирского казачьего войска. – Новосибирск, 2005.

⁹ ГАНО. – Ф. П-5; ЦДНИТО. – Ф. П-4204; ИАОО. – Ф. П-19; ГАТО. – Ф. Р-1612.

РГАСПИ¹. Отдельные рукописи мемуарного содержания представлены в фонде Общества изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС) ГАНУ. Также использованы мемуары сибиряков, написанные в 1950–1970-х гг., среди которых есть и опубликованные – либо тогда же², либо в постсоветские годы³, и неопубликованные⁴. Отдельную группу воспоминаний представляют неизданные тексты, составленные по инициативе новосибирского отделения общества «Мемориал»⁵.

Мемуары разных лет имеют свою отличительную специфику. Уже в начале 1920-х гг. Истпарты инициировали сбор воспоминаний участников и очевидцев Гражданской войны о пережитых ими политических событиях. У истоков создания этой мемуаристики, по-новому направленной в социальном и тематическом смысле, стояли такие деятели Истпарта, как М. С. Осьминский и В. И. Невский. Именно им принадлежала идея акцентировать в воспоминаниях не личность мемуариста, а те события, которые он описывает⁶. В 1922 г. один из циркуляров комиссии Истпарта при ЦК РКП(б) ставил цель «создать историю Октябрьской революции, действительную, не приукрашенную, не извращенную, освещенную с пролетарской точки зрения»⁷. Характерна формулировка и еще одной программной установки: «Создать классовую пролетарскую историю Октябрьской революции и революционного движения вообще, основанную на исследованиях по методу исторического материализма»⁸.

Истпарт представлял собой централизованно управляемую сеть организаций. В октябре 1929 г. было создано 21 местное бюро Истпарта, в состав каждого из которых вошло не менее четырех человек, получавших четкие инструкции из головной организации в Москве⁹. Реализация задач Истпартов предполагала объединение «ветеранов рабочего движения» и запись их воспоминаний на основе анкетирования и бесед. В задачи агитаторов губкомов входила рассылка писем участникам Гражданской войны с просьбой принять участие в этой программе и с примерным перечнем вопросов. Истпарты организовывали и вечера воспоминаний, которые стенографировались. Прежде всего, ав-

¹ РГАСПИ. – Ф. 79, 80.

² Воспоминания о революционном Новосибирске. – Новосибирск, 1959; Лавров И. М. Мои бессонные ночи: роман-воспоминание. – Новосибирск, 1977 и др.

³ Мой Новосибирск: книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999; Барнаул в воспоминаниях старожилов, XX в. – Барнаул, 2005. – Ч. 1; 2007. – Ч. 2; Память сердца: воспоминания новониколаевцев. – Новосибирск, 2003.

⁴ ЦДНИТО. – Ф. 4204. – Оп. 4. – Д. 11, 42, 49 и др.

⁵ ГАНУ. – Ф. Р-600.

⁶ Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика. – С. 304.

⁷ ЦДНИТО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1464. – Л. 88.

⁸ Там же. – Ф. П-4204. – Оп. 1. – Д. 100. – Л. 1.

⁹ Corney F. C. Op. cit. – P. 111.

торами мемуаров, отложившихся позже в архивах, стали подпольщики, красноармейцы и партизаны. Так зазвучали «голоса из народа». Пафос подобных акций понятен: власть демонстрировала способность слушать и слышать «массы», за которыми признавалась решающая роль в истории.

Мемуары первой половины 1920-х гг. представлены рукописями («самозаписями»), а также печатными расшифровками исходных рукописных текстов. Заметно, что авторы этих воспоминаний руководствовались установкой излагать, прежде всего, запомнившиеся им факты и свидетельствовать о героизме павших борцов с «колчаковщиной». Многие из авторов воспоминаний 1920-х гг., в отличие от дореволюционных мемуаристов – представителей среды интеллигенции, были малограмотными людьми, не умевшими пространно излагать мысли в письменной форме. Это отразилось на качестве текстов, которые обычно отличает краткость и отсутствие фиксации рефлексии (мемуары омичей А. Ф. Ильина, Э. Шенберг и др.)¹. По рукописям видно, что их авторам было трудно и непривычно писать. Однако эти источники все-таки отражают авторскую позицию и индивидуальность. В 1925 г. сотрудники томского Истпарта обратились к 13 революционерам с просьбой написать воспоминания об их «героической борьбе». Мемуаристам был предложен четкий план, который включал вопросы о месте событий, ключевых датах, роли автора воспоминаний в изложенных событиях. Потенциальным мемуаристам задавались вопросы о событиях Февральской и Октябрьской революций, организации коллективов ячеек большевиков и их работе, возникновении советов и их ликвидации в 1918 г., антиправительственных стачках, восстаниях кулаков, о контрреволюции, подполье при Колчаке и подвигах товарищей. Оговаривалось, что уже собранный Истпартом материал недостаточен для официального освещения событий в печати. От мемуаристов требовалось «писать кратко, без лишних комментариев и правдиво»². В итоге такой жесткой диктовки правила записи воспоминаний появлялись тексты, однотипно освещавшие события. Ф. К. Корни считает, что усилиями Истпартов реальная память участников революционных событий была особым образом структурирована, в результате чего сложился своеобразный мемуарный нарратив, использовавшийся в дальнейшем в качестве основного языка репрезентаций Октябрьской революции³.

¹ ИАОО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Д. 335, 411 и др.

² ЦДНИТО. – Ф. П-4. – Оп. 1. – Д. 434. – Л. 29–30.

³ Corney F. C. Op. cit. – P. 116, 201.

С середины 1920-х гг. сотрудники Истпарта неоднократно устраивали встречи (вечера) «старых большевиков» и участников Гражданской войны с целью совместного обсуждения пережитого в «годы героической борьбы». Эти встречи были приурочены к юбилейным датам и были необходимы для сбора материала о местных военно-революционных событиях, которые требовалось освещать в печати, на митингах и в музейных репрезентациях. Примером может служить расшифровка стенограммы беседы омских большевиков о забастовке железнодорожников, устроенной в феврале 1907 г.¹ Собравшиеся (С. П. Молотовников, Ф. Г. Виноградов и др.) спорили о фактах, вспоминали детали событий, предлагали различные оценки происходившего. Однако со временем расшифровки стенограмм подобных встреч перестали отражать свободный диалог, наполнялись оценками и выводами, строго соответствовавшими государственной идеологии. Эти источники отражают особенности памяти лиц, участвовавших в борьбе за советскую власть, об их военно-революционном прошлом, а также государственную политику памяти. Показательно, что в архивах межвоенных лет отложились мемуары лишь тех людей, чьи заслуги были официально признаны властью, соответственно, солидарных большевикам. Поэтому данные тексты лишь фрагментарно отражают коллективную память сибиряков о недавнем для того времени кровавом прошлом. Также воспоминания записывали журналисты, заинтересованные в сборе материала для газетных публикаций в дни годовщин военно-революционных событий².

Другой, не идеологический, а краеведческий тип воспоминаний второй половины 1920-х гг. представлен текстом из фонда ОИС ГАНУ. Он был написан по призыву краеведческого музея М. В. Можаровым, жившим в Новосибирске и пожелавшим принять участие в реконструкции истории этого города. Мемуары Можарова выражают индивидуальный, обывательский взгляд на местную историю, мало зависимый от идеологических контекстов. Так, не затрагивая политических тем, автор свободно рассуждает о том, какое событие напрямую связано с «рождением» города (открытие первого базара), каких мемориальных досок, не связанных с местной политической историей, недостает Новосибирску (доска на первом доме города), как менялось с годами мнение местных жителей о перспективах развития этого населенного пункта³.

¹ ИАОО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Д. 367.

² ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 7. – Д. 33 и др.

³ Там же. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 116.

Вообще, музеи присоединились к записи воспоминаний мемуаров на военно-политические темы в конце 1920-х гг. Музейщики опрашивали главным образом подпольщиков, стараясь собрать больше фактов. Мы можем говорить о попытках музейных работников применять методы «устной истории». Однако не всегда работа над записью воспоминаний доводилась до конца. К примеру, в ЦХДТО сохранились конспекты записей беседы сотрудницы музея К. Н. Юхневич со «старыми большевиками», которые не были расшифрованы, отредактированы и напечатаны¹. В конце 1920-х – 1930-х гг. некоторые из бывших подпольщиков уже зарекомендовали себя как хорошие рассказчики. Они неоднократно составляли новые тексты воспоминаний, многие из которых предназначались для публикации в газетах. Эти мемуары кратко сообщали сведения о павших героях и отдельных эпизодах Гражданской войны. На рубеже десятилетий подобные заметки еще не содержали цитирования лозунгов, тенденциозных выводов и обобщений, отражали именно личное участие автора в событиях. Мемуары 1930-х гг., посвященные военно-революционной тематике, уже отличаются однозначностью оценок, подчиненных идеологии. Как правило, они представляют собой отредактированные и отпечатанные тексты. Некоторые из них написаны в художественной манере. Таковы мемуары Г. И. Шамшина о подпольщице Е. Б. (Дусе) Ковальчук, написанные в годы третьей пятилетки². Такая манера подачи материала объясняется ориентиром на потенциального читателя, на которого эти тексты должны были оказывать воспитательное и политико-просветительское воздействие.

Важно пояснить, что в архивах Западной Сибири сохранилось большое количество воспоминаний о событиях, связанных с революцией 1905 г., Февральской и Октябрьской революциями, событиями Гражданской войны. Нет оснований отказывать авторам этих воспоминаний в искренности. Однако очевидно, что смысл создания «заказных», официальных мемуаров понимался утилитарно, их составление всецело подчинялось государственной политике памяти. Поэтому субъективное восприятие личностью исторических событий и эмоции авторов в этих текстах притуплено, слабо выражено. Очевидно и то, что эти тексты, как и любые мемуарные источники, отражают личностные характеристики и историческую память сообществ на момент их создания, а не во время

¹ ЦДНИТО. – Ф. П-4204. – Оп. 1. – Д. 27 и др.

² ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 652.

описанных событий. Поэтому доминантой в рассказе о Гражданской войне может быть похвала гению Сталина.

Важно остановиться и на конкретной содержательной стороне мемуаров этой группы. В текстах воспоминаний нередко фигурируют сюжеты, связанные с похоронами и поминовением жертв и героев военно-революционных событий, с политическими торжествами, проходившими в условиях конспирации. Мемуары объясняют особенность включения памятных мест в культурную и политическую топографию городов, охваченных войной. Например, поясняется значение кладбищ как мест массовых расстрелов. Отдельные тексты объясняют смысл переименований тех или иных улиц после Гражданской войны, в воспоминаниях названы имена «жертв колчаковщины», выражено отношение когорты подпольщиков и старых большевиков к процессам увековечивания памяти о павших товарищах. Достоверность изложенных фактов не всегда вызывает доверие, однако «забывчивость» и преувеличения имеют определенный смысл, обусловленный, как правило, идеологически. И в этом отношении данные источники интересны и полезны в контексте нашего исследования сами по себе.

В 1950–1960-х гг. запись воспоминаний на военно-революционные темы, ставшая традиционной, продолжалась¹. Однако, во-первых, стоит отметить, что эти тексты подчинялись политике памяти тех десятилетий, когда они создавались; во-вторых, обычно добавляли мало новых фактов к уже известной событийной канве местной истории, поэтому их использование в контексте данного исследования имеет мало смысла. Однако нельзя обойти вниманием опубликованные мемуары новосибирцев 1950-х гг.² В них кристаллизовалась официальная версия местной военно-революционной истории с ее героическим некрополем. Авторами стали люди, чья «компетентность» не вызывала сомнений, поскольку они были хорошо известными участниками подполья и родственниками местных героев первой величины. В контексте нашего исследования обращают на себя внимание воспоминания И. И. Шеина, М. Ф. Никитина, Л. В. Романова, М. Н. Сухачевой-Овечкиной, Л. А. Краснопольского. Эти рассказы представляют собой официальную репрезентацию таких интересных нам сюжетов, как тифозная эпидемия, протестные гражданские похороны тех, кого большевики чтили как героев, гибель председателя Новониколаевского Совдепа В. Р. Романова и его соратников и т. п.³

¹ ЦДНИТО. – Ф. 4204. – Оп. 4. – Д. 11, 42 и др.

² Воспоминания о революционном Новосибирске. – Новосибирск, 1959.

³ Там же.

С рубежа 1960–1970-х гг. публиковалась документальная проза мемуарного характера, затрагивавшая интересующую нас тему коммемораций. Особенный интерес представляет автобиографический роман («роман-воспоминание») новосибирского писателя и актера Театра оперетты И. М. Лаврова «Мои бессонные ночи»¹. Существенное внимание в романе уделено довоенному детству автора, который вспоминает конфликт поколений родителей и детей, росших в 1920-х гг. и воспитывавшихся в советской школе. Автору присуще острое ощущение разрыва времен, разрушения связи между поколениями. В качестве наиболее острого конфликта между поколениями в романе представлен сюжет о комсомольском воскреснике на месте старого кладбища в Новониколаевске. Воскресник служил цели разрушения погоста. Воспоминания Лаврова свидетельствуют о том, что к теме разрушения кладбища и молодежь, и родители неоднократно возвращались в спорах, содержание которых автор романа приводит по памяти. Лаврову также вспоминаются ночные демонстрации, приуроченные к похоронам В. И. Ленина, искренняя печаль школьников и едкие замечания в адрес вождя со стороны отца автора романа. Этот текст составлялся уже не по шаблону и не по инициативе партийных работников, именно поэтому в нем выражена более непосредственная оценка прошлого.

В 1989–1991 гг. активисты общества «Мемориал» инициировали запись воспоминаний лиц, переживших политические репрессии. Нами было просмотрено и использовано два десятка текстов таких воспоминаний из коллекции, хранящейся в ГАНУ. Большинство из этих текстов ранее не использовались в качестве исторических источников. Все они являются автобиографическими сочинениями, в которых доминирует тема политического ареста, нахождения под следствием, в местах лишения свободы. Авторами некоторых текстов стали родные и близкие репрессированных. При том, что по большей части эти воспоминания имеют антисоветский характер, в них угадывается влияние мемуарного нарратива советского периода. Говоря о задержании, допросах, избиваниях, пребывании в тюрьме или лагере, мемуаристы преимущественно используют те же речевые формулировки и композиционные приемы построения текста, которыми пользовались «пятигодники» и подпольщики времен «колчаковщины». Общим является и акцент на несправедливости задержания и осуждения, на беспочвенности обвинений. Однако пафос героизма в этих воспоминаниях отсутствует. Эти тексты представляют большой содержательный интерес. Они свидетельствуют о нюансах политических

¹ Лавров И. М. Указ. соч.

настроений в обществе 1920–1930-х гг., о религиозности, о реакциях на официальные торжества и об отношении к культукам вождей. При этом важно, что авторам, писавшим воспоминания в 1989–1991 гг., уже не нужно было лгать, умалчивать и выдумывать факты из соображений политической корректности. Безусловно, не всеми сокровенными переживаниями и обидами лица, пострадавшие от репрессий, делятся с читателями их воспоминаний, однако эти тексты откровенны и эмоциональны.

В 1991 г. была опубликована книга историка и краеведа В. Д. Славнина «Томск сокровенный», подготовленная в перестроечное время¹. Это произведение сочетает в себе жанр мемуаров и краеведческой научно-популярной книги, посвященной истории родного автору города. Славнин родился на Алтае и вырос в Томске. Именно этапы личного погружения автора в «томскую старину», осознания ее ценности и есть основная тема произведения. Книга по замыслу автора должна была стать альтернативой стандартной советской краеведческой литературе, пропитанной идеологическим пафосом. Среди героев книги – томские музейщики, в том числе М. Б. Шатилов, А. А. Адрианов (сын областного краеведа А. В. Адрианова), дед автора – музейный хранитель В. Д. Славнин. Их жизнь и профессиональная деятельность характеризуются в нравственном контексте. Славнин вспоминает разрушенное Преображенское кладбище, реакцию отца и его друзей на вандализм, излагает сюжет о «спасении могилы Г. Н. Потанина», осуществленной по инициативе отца мемуариста. Сравняя моральный аспект отношения к памяти об умерших представителями разных поколений, В. Д. Славнин обращается также к теме старинных томских кладбищ XVII–XIX вв., застроенных и забытых томичами еще до революции. В качестве результата сталинской политики памяти Славнин видит поколенческий разрыв, который воспринимает с разочарованием и пессимизмом.

На рубеже XX и XXI вв. в городах Западной Сибири было опубликовано несколько сборников воспоминаний старожилов, посвященных их родным городам: «Мой Новосибирск. Книга воспоминаний», «Память сердца», «Барнаул в воспоминаниях старожилов». Авторы воспоминаний, опубликованных в этих сборниках, обычно описывают реалии истории своей семьи на фоне городской повседневности прошлого, в мемуарах неоднократно затрагивается тема старых кладбищ, их разрушения и создания на их месте парков. Некоторые мемуаристы упоминают старые, снесенные памятники, их местопо-

¹ Славнин В. Д. Томск сокровенный. – Томск, 1991.

жение и общий вид. Эти воспоминания уже лишены выраженного идеологического контекста, в них мало событийной истории и оценок прошлого.

Нами были использованы и опубликованные *публицистические произведения*, в которых заостряется внимание на проблемах культуры Сибири, в частности, на развитии музеев¹. Важными источниками нашего исследования стали также произведения дореволюционных краеведов², томских исследователей, пытавшихся выяснить биографическую связь между императором Александром I и старцем Федором Томским³; труды классиков городоведения 1920-х гг.⁴ и сибирских краеведов 1920–1930-х гг.⁵; научные и отчетные работы музейщиков Западной Сибири⁶, позволяющие судить об аксиологическом аспекте их восприятия прошлого региона и отдельных городов, о степени разработанности той или иной научной тематики музеями в межвоенное время, об интересе к некрокультуре краеведов, к историческому некрополю Сибири.

Советская политика памяти, историческая память общества развивались во взаимосвязи с исторической наукой, выражавшей официальный взгляд на прошлое России. Именно поэтому в числе наших источников – *произведения историков* 1920–1930-х гг.: труды академика М. Н. Покровского, в которых дается оценка революционному движению в России и Гражданской войне⁷; «Краткий курс истории ВКП(б)»⁸ и другие произведения историков межвоенного периода. Полезными для понимания советской политики памяти оказались и отдельные произведения литературоведов-пушкинистов 1930-х гг.: Н. Л. Бродского и В. Я. Кирпотина⁹.

¹ Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. – Новосибирск, 2003.

² Адрианов А. В. Указ. соч. – С. 101–182.

³ Голицын С. Н. Народная легенда об Александре-отшельнике // Русская старина. – 1880. – № 11. – С. 742–744; Новое в легенде о Федоре Кузьмиче // Томский вестник. – 1912. – 17 нояб. и др.

⁴ Анциферов Н. П.: 1) Главная улица города // На путях краеведения. – М., 1926. – С. 99–106; 2) «Непостижимый город...». – СПб., 1991; Гревс И. М. Краеведение и экскурсионное дело // Вопросы экскурсионного дела по данным Петроградской экскурсионной конференции 10–12 марта 1923 г. – М.; Пг., 1923. – С. 3–10; и др.

⁵ Вегман В. Д.: 1) Как и почему пала в 1918 г. советская власть в Томске // Путь борьбы. – Томск, 1923. – Вып. 1. – С. 25–48; 2) Восстание омских рабочих против колчаковщины 22 дек. 1918 г. // Сиб. огни. – 1934. – № 1. – С. 200–207; 3) Вооруженные восстания против Колчака в городах и рабочих районах Сибири. – Новосибирск, 1928 и др.; Прибыткова-Фролова А. М. Памятники архитектуры XVIII–XIX вв. в Томске // Тр. / Томск. краев. музей. – Томск, 1929. – Т. 2. – С. 19–29; и др.

⁶ Мелехин В. Ф. Пять лет работы музея, 1923–1928: (краткий отчет). – Омск, 1928. – С. 14; Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея (1922 – 18 марта 1926 г.) // Тр. / Томск. краев. музей. – Томск, 1927. – Т. 1. – С. 2–30; и др.

⁷ Покровский М. Н. Октябрьская революция. – М., 1929.

⁸ Краткий курс истории ВКП(б) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lib.ru/DIALEKTIKA/kr_vkpd.txt (дата обращения: 20.09.2015).

⁹ Бродский Н. Л. Пушкин: биография. – М., 1937; Кирпотин В. Я. Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837). – М., 1937 и др.

Нами также использовались *богословские произведения православных авторов*, необходимые для понимания смысла традиционного похоронно-поминального обряда, значения погребения в землю, христианских представлений о загробной жизни и «общении» живых с усопшими¹.

Периодическая печать. Наиболее обширный пласт опубликованных источников нашего исследования представлен газетной периодикой. Использование этой группы источников чрезвычайно важно, ведь именно газеты в межвоенное время были главным средством массовой информации, оказывающим решающее воздействие на общественное сознание через агитационно-пропагандистские каналы. Нами были использованы полные комплекты основных ежедневных советских газет, выходивших в Новосибирске, Томске, Омске и Барнауле в изучаемый период. В первую очередь в их числе стоит назвать региональное издание «Советская Сибирь» (конец 1919 – первая половина 1941 г.), основанное в декабре в 1919 г. в Омске как орган Сибревкома и Сибирского областного бюро РКП(б). С июня 1921 г. «Советская Сибирь» издавалась в Новониколаевске. С октября 1921 по ноябрь 1922 г. газета являлась также изданием Новониколаевского губернского комитета РКП(б) и губернского исполнительного комитета. В дальнейшем газета стала изданием Новосибирского областного комитета и городского комитета ВКП(б), областного и городского Советов трудящихся Новосибирска. Нами также были востребованы советские новониколаевские газеты «Красное знамя» (1920 г.), «Большевик» (1923 г.) и «Новосибирский рабочий» (1932 г.). Из числа томских газет было использовано основное городское издание «Красное знамя» (конец 1919 – середина 1941 г.), выходившее в январе 1920 г. под названием «Сибирский коммунист», а позднее, до октября 1921 г., под названием «Знамя революции». На протяжении изучаемого двадцатилетия газета являлась изданием Томского губернского революционного комитета, в дальнейшем – окружных и городских партийных, советских и профсоюзных органов. Из числа омских газет источником нашего исследования послужил «Рабочий путь» (1922 – первая половина 1941 г.) – орган Омского губернского (впоследствии областного) и городского комитета партии, а также Омского исполнительного комитета. Издание «Рабочего пути» началось в 1922 г. после «переезда» в Новониколаевск «Советской Сибири». Однако газета имела предысторию: считается, что еще с марта 1917 г.

¹ Гумеров П. [свящ.]. Вечная память: православный обряд погребения и поминаения усопших. – М., 2011; Закон Божий для семьи и школы / сост. протоиерей С. Слободский. [Б. м.], 2002; Иов (Гумеров) [иером.]; Митрофан (монах). Загробная жизнь: как живут наши умершие, как будем жить и мы по смерти. – СПб., 1897.

она издавалась под названием «Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов»¹. В декабре 1934 г. газета была переименована в «Омскую правду». Еще одна газета, ставшая источником нашего исследования – «Красный Алтай» (1920 – первая половина 1941 г.), переименованная в октябре 1937 г. в «Алтайскую правду». Эта газета также являлась органом местных советских, партийных и профсоюзных органов.

В целях установления исторической ретроспективы нами были использованы и некоторые дореволюционные газеты, настроенные оппозиционно по отношению к большевикам. К их числу принадлежит барнаульское издание «Жизнь Алтая» (использованы подшивки номеров за 1917–1918 гг.), выходившая на средства купца В. М. Вершинина, позиционировавшая себя в качестве «внепартийной и прогрессивной» газеты. Ее редакторы и авторы придерживались либерально-демократических взглядов, исповедовали идеи областничества. Также нам стали полезными кадетская газета «Народная свобода» (1919 г.), выходившая в Барнауле; меньшевистское издание «Алтайский луч» (1918–1919 гг.); газета омских кадетов «Сибирская речь» (1917–1919 гг.); неофициальное кадетское, либерально-демократическое издание Томска «Сибирская жизнь» (1918–1919 гг.).

Газетные источники обладают богатым содержанием. Из всего массива информации интерес с точки зрения задач нашего исследования представляют планы проведения массовых торжеств, репортажи с мест праздничных и траурных мероприятий; афиши мероприятий в праздничные дни; краеведческие статьи и заметки, посвященные памятным местам, памятным датам, памяти о выдающихся людях; новости, связанные с памятными местами и торжествами; некрологи; траурные объявления. Особенно стоит заострить внимание на объявлениях о похоронах. Именно эти источники послужили нам основой изучения исторического некрополя городов Западной Сибири межвоенных лет и похоронных практик. Объявления, подававшиеся гражданами, представляют собой более ли менее точную летопись местных событий. По количеству и содержанию объявлений можно судить о социальном статусе умерших, характере похоронных практик в разных городах, степени политизации похорон. Однако стоит учитывать фрагментарность общей картины похоронных реалий, отраженной в печати. Газетные объявления, несомненно, позволяют увидеть лишь общие тенденции и, возможно, не очень четко. Кроме сказанного важно и то, что газеты отражают общий фон пропаганды, очередные

¹ Евдокимова Н. «Омская правда» отмечает 95-летие // Омская правда. – 2012. – 14 марта.

идеологические задачи. Будучи рупором власти, газета крайне субъективно репрезентирует практически любой материал. Именно поэтому газетные репортажи и статьи исторического содержания нельзя воспринимать на веру. По замечанию С. Н. Ушаковой, к концу 1930-х гг. «Советская Сибирь», как и вся сибирская печать, окончательно потеряла ценность как источник правдоподобной информации, она содержала лишь агитационные материалы, вела работу над организацией разного рода кампаний, соревнований и починов¹. Советская печать часто выдавала желаемое за действительное, была предвзята в оценках событий. Со временем печать все более становилась средством манипуляции общественным сознанием. Однако именно эта специфичная черта газетной периодики отражает особый источниковедческий потенциал. В контексте данного исследования изучение газетных материалов необходимо, прежде всего, для понимания изменений идеологических установок правящей партии и содержания государственной политики памяти, выраженной в пропаганде.

Из числа «толстых» журналов, издававшихся в Сибири между Гражданской и Великой Отечественной войнами, нами было использовано в качестве источника ежемесячное издание «Сибирские огни», выходившее с 1922 г. В журнале печатались преимущественно литературно-художественные произведения и общественно-политические статьи. Издание выходило при поддержке Сиббюро ЦК РКП(б). Редколлегия быстро реагировала на идеологическое заострение тех или иных проблем, подбирая материалы, актуальные как в культурном, так и в политическом смысле. Журнал предлагал статьи и литературные произведения, необходимые для создания определенной атмосферы в праздничные дни в преддверии «круглых дат». Статьи о героическом революционном прошлом, печатавшиеся в канун знаменательных дат, несомненно, должны были корректировать контуры исторической памяти сибиряков, способствовать формированию определенного представления о подвигах героев революции и подполья². Показательно, что рубрика «Из прошлого» была в 1920–1930-х гг. представлена преимущественно материалами на военно-революционные темы. Не оставались без внимания и темы, связанные с «народной скорбью». Так, к примеру, появлялись статьи о реакции общества на смерть В. И. Ленина, стихи о вожде³. Нередко в «Сибирских ог-

¹ Ушакова С. Н. Указ. соч. – С. 61.

² Орлов П. 1905 г. в Омске // Сибирские огни. – 1925. – № 4/5. – С. 159–173; и др.

³ Зазубрин В. Я. Смерть: [на смерть В. И. Ленина] // Сибирские огни. – 1924. – № 1. – С. 3–6.

нях» публиковались некрологи¹. Журнал освещал проблемы культурной жизни, на его страницах появлялись репортажи о состоянии и актуальных задачах развития сибирских музеев². Использование этого издания, признававшегося современниками лучшим в регионе, помогает в реконструкции содержания советской политики памяти, общего фона социально-политической жизни, отраженного в зеркале культуры.

Для установления факторов изменения отношения в советское время к традиционным кладбищам и похоронам нами использовались издававшиеся в 1920–1930-х гг. отраслевые журналы по коммунальному хозяйству – «Коммунальное хозяйство», «Коммунальное дело», а также журнал «За социалистическую реконструкцию городов». Из материалов, опубликованных на страницах этих изданий, особенно интересны в контексте нашего исследования статьи, посвященные характеристике проблем кладбищенского хозяйства в СССР, вопросам внедрения кремации, санитарным и хозяйственным проблемам городов, в том числе и сибирских, озеленению, нормам планировки. Эти материалы отражают развитие градостроительной и коммунальной мысли, а также ее зависимость от решений партии и правительства.

Еще одну группу источников нашего исследования составляют *справочные издания*, построенные на материалах Сибирского региона, как дореволюционные, так и межвоенные³. В старых справочниках приводятся основные сведения о городах: их административном статусе и районировании, о численности и составе их населения, состоянии коммунального хозяйства, культурной ситуации в городе. По справочным изданиям можно судить о процессах, связанных с увековечиванием памяти отдельных лиц, в честь которых называли или переименовывали предприятия и учреждения (обувная фабрика им. С. М. Кирова в Новосибирске и пр.).

К справочной литературе, имеющей значение источника данного исследования, мы также относим эмпирические материалы, собранные томскими некрополистами. Томские «некрополи» нельзя признать первоисточниками, поскольку на их составлении ска-

¹ Сергей Миронович Киров // Сибирские огни. – 1934. – № 6. – С. 1–4; и др.

² Краеведческие музеи Сибкрая // Сибирские огни. – 1928. – № 3. – С. 250; и др.

³ Весь Омск. – Омск, 1911; Весь Новосибирск. – Новосибирск, 1931; Весь Новониколаевск. – М., 1925; Весь Томск: адрес-календарь и справ. по г. Томску. – Томск, 1918; Вольский З. Вся Сибирь: справ. кн. по всем отраслям культурной и торгово-промышленной жизни Сибири. – СПб., 1908; Вся Сибирь: справ. и адресн. кн. на 1924 г. – Л., 1924; Вся Сибирь со включением Уральской обл.: справ. и адресн. кн. на 1925–1926 гг. – М., 1925; Вся Сибирь и Дальний Восток: справ. кн. на 1926 г. – Л., 1926; Город Томск. – Томск, 1912; Новосибирская обл.: экон.-геогр. описание. – Новосибирск, 1939; Новосибирск: справ. по городу и району. – Новосибирск, 1935; Новосибирск: справ. по городу и району. – Новосибирск, 1936; По Оби и г. Барнаул, 1912–1913 гг. – Барнаул, 1919; Сибирь в 1923–1924 гг. – Новониколаевск, 1925; Справочник милиционера по Новосибирску. – Новосибирск, 1939.

зались субъективные факторы, однако составители этих изданий стремились к точному цитированию просмотренных ими городских газет, содержащих некрологи и траурные объявления, а также метрических книг костелов¹.

В целях решения задач этого исследования нами были созданы *устные источники*, послужившие дополнением по отношению к письменным. Их использование было важно для выявления неофициального, обывательского взгляда на некрокультуру межвоенного времени. Устный нарратив 1920–1930-х гг. принципиально отличается от газетного, практически всецело подчиненного идеологии. По естественным причинам во втором десятилетии XXI в. трудно найти респондентов, готовых ответить на вопросы о состоянии сибирских городских кладбищ межвоенных лет, тем более, что «мрачность» темы далеко не всегда вызывает желание рассказывать у пожилого собеседника. Для многих людей эта тема интимна, далеко не все, кому предлагается рассказать о виденных в детстве похоронах, соглашаются это сделать, недоумевая по поводу того, кому эта тема может быть интересна. Именно поэтому нам удалось записать лишь два полноценных интервью, посвященных воспоминаниям именно об историческом некрополе Новосибирска.

Нашими собеседницами стали пенсионерки Е. А. Иванова (1934 г. рожд.) и Г. Д. Ким (1933 г. рожд.). Обе они смогли описать по памяти старые, уже не существующие новосибирские кладбища и похороны близких такими, какими они запомнились с детских лет, пришедшихся на довоенный период. Эти рассказы позволяют составить представление об эмоциональном фоне обывательских похорон того времени и их меморативном значении для окружения семьи умерших. Важна и фактологическая сторона рассказов. Безусловно, фактическое содержание устных воспоминаний не может претендовать на исключительную точность. Однако использование данных источников – это зачастую практически единственная возможность узнать о похоронах людей, не занимавших высокого положения в советском обществе, ничем не прославившихся. Рассказы наших собеседников наполнены глубоким личным содержанием. Говоря о похоронах 1930-х гг., эти люди излагают свои детские воспоминания, которые часто связаны с травматическим психологическим опытом. В услышанных нами рассказах фигурируют сюжеты о похоронах матери и сестры – самых близких людей, с которыми была установлена тесная психологическая связь. Рассказчицам было трудно найти в себе ду-

¹ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... и др.

шевные силы проговорить этот травматический опыт. Как и в случае с рассказами репрессированных, собеседники, соглашающиеся говорить о похоронах, преодолев первое затруднение в поиске подходящих слов, говорят монологом, назидательно, стараясь вложить в свой рассказ нечто такое, что очень значимо именно для них. Им сложно было вписать похороны и поминовение близких в контекст официальной советской истории. У людей этого поколения сохраняется старая привычка не афишировать соблюдение их окружением христианских похоронно-поминальных обрядов. Заметно, что для наших собеседников коллективная память семьи, которая насыщена переживаниями, существует отдельно от формальной истории страны и народа. Для многих ситуация похорон, о которых идет разговор, – это своеобразный катализатор, позволяющий судить об «истинном» моральном облике окружающих людей. Отношение, выраженное окружением к родным и близким умершего, становится для наших рассказчиков критерием нравственной оценки конкретных людей и общества в целом. Нередко рассказчики проводят параллели и с современностью, указывая на статичность либо изменчивость похоронных практик и отношений к ним в обществе.

Вообще о старых кладбищах Новосибирска и похоронах 1930–1940-х гг. нами было составлено более десятка бесед с пожилыми людьми. Взгляд на эту тему «через поколение», в опоре на воспоминания и рассказы родителей, был представлен в беседах с В. К. Лобановой (2008, 2012 гг.) и Г. А. Кочергиной (2008 г.). Фрагментарно эта тема затрагивалась в беседах о повседневной жизни новосибирцев и производственной повседневности Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова с В. Г. Дугалюковым (2004 г.) и С. В. Перепечаевым (2004 г.).

Нами были также использованы разнообразные *источники визуального типа*, как натурально-изобразительные, так и художественно-изобразительные. В частности, источниками для нас послужили *фотографии, снятые в изучаемый период*. Большинство визуальных источников исследования имеют отношение к траурной тематике. Наиболее ранними по времени создания являются официальные советские снимки «жертв колчаковщины» и массовых политических похорон в городах Западной Сибири, устроенных на этапе восстановления советской власти (см. Прил., рис. 37–41). Эти источники отражают большевистский подход к визуальной репрезентации «жертв колчаковщины» и их похорон. Оригиналы исследованных нами фотоматериалов хранятся в западно-сибирских архивах. Однако эти источники, копии которых неоднократно публиковались

в региональной исторической литературе, как советского, так и постсоветского периодов, до сих пор привлекают внимание общественности, о чем красноречиво свидетельствует их размещение на разнообразных краеведческих и политических сайтах (чаще всего имеющих отношение к КПРФ) в сети Интернет¹. Имеющиеся в широком доступе снимки можно условно разделить на три категории. Фотографии первой категории, снятые до похорон, фиксируют картины сваленных грудой тел погибших. Снимки второй категории запечатлели прощание с погибшими, шествие похоронной процессии и ритуал погребения.

Эти источники целесообразно рассматривать в контексте советской визуальной пропаганды, выразившейся во множестве различных форм. В дореволюционный период сложились правила изображения усопших, базировавшиеся на каноне православной иконы. Большевики учитывали эту традицию, однако ошибкой было бы считать, что они ее воспроизводили. В отдельных случаях она намеренно ломалась с целью эпатажа и заострения общественного внимания на том или ином событии. Поэтому визуальные репрезентации смерти и похорон различны в советской культуре. Характер изображения зависит от статуса усопших, контекста их смерти и ее идеологической интерпретации.

Представляет интерес комплект снимков, выполненных в Томске при перезахоронении жертв неудачного восстания против режима Колчака. В комплекте есть снимок, выполненный фактически с высоты птичьего полета, отражающий массовость и порядок траурного шествия. Есть также снимки, запечатлевшие момент вскрытия изначально устроенной братской могилы. Эти источники позволяют судить о некоторых специфических ритуальных особенностях массовых «красных похорон», таких, как использование черных траурных и красных знамен, лозунгов, православной атрибутики и т. п. Снимки отражают и эмоциональный фон прощания.

Также среди «траурных» фотографических источников более позднего времени мы выделяем группу снимков, опубликованных в периодической печати, и группу снимков из частных фотоальбомов. Первая группа представляет собой официальные репрезентации похорон государственных и политических деятелей, а также деятелей культуры.

¹ Гражданская война в Сибири [Электронный ресурс]: [фотографии]. – URL: <http://gorod.tomsk.ru/index-1231783842.php> (дата обращения: 15.03.2015); Омский обком КПРФ [Электронный ресурс]: Депутаты от партии. Наглядная агитация. Газеты «Красный путь» и «Омское время». – URL: <http://www.omsk-kprf.ru/?q=node/8260> (дата обращения: 15.03.2015); 15 ноября – день победы российского пролетариата в Гражданской войне [Электронный ресурс] // Прорыв: обществ.-полит. журн. – URL: http://proziv.moy.su/publ/15_nojabrja_den_pobedy_rossijskogo_proletariata_v_grazhdanskoj_vojne/4-1-0-435 (дата обращения: 15.03.2015) и др.

Отдельные изображения запечатлели посмертные изображения местных знаменитостей. Эти изображения позволяют судить о тенденциях развития официальной некрокультуры, о степени ее политизации и идеологической составляющей, о степени преемственности с дореволюционной традицией, о характере использования этой традиции носителями власти. Технические средства 1930-х гг. позволили публиковать в газетах довольно четкие фотографии с похорон героев этого десятилетия. Примеры многочисленны: посмертные снимки С. М. Кирова, В. В. Куйбышева, А. М. Горького, С. Г. Орджоникидзе, Н. К. Крупской, академика М. А. Усова, жившего и работавшего в Томске и др. (см. Прил., рис. 61). Нами замечено, что данные изображения в высокой степени соответствовали дореволюционной иконографической традиции. Мы считаем, что эти, широко растиражированные, фотографии служили идее утверждения порядка и стабильности в стране, где фактически существовали серьезные социально-политические проблемы.

Иное значение имеют похоронные семейные фотографии из частных альбомов, запечатлевшие этап последнего прощания близких с усопшим (см. Прил., рис. 62–64). Неверно считать, что сообщение, содержащееся в этих источниках, сугубо лично и эмоционально. Эти снимки служили цели «документировать» важное в истории семьи событие. Для людей 20–30-х гг. XX в. фотографирование было нерядовым событием. Любительское фотографирование семьи «для себя» почти не практиковалось. Фотосъемка, как правило, выполнялась профессиональным фотографом, чаще всего в ателье. Фото предназначалось для демонстрации. Однако эти источники создавались для использования в узком кругу людей, близких усопшему, и все-таки отражали аспекты приватной жизни семьи. Еще до революции фотографирование было вписано в структуру погребального обряда, служило целям последующего конструирования истории семьи. Снимки отражают элементы сохранявшейся похоронной обрядности в условиях культурных перемен.

Еще одну тематическую группу фотографических источников нашего исследования составляют изображения видов городов, отдельных зданий, считавшихся памятными местами, памятников и монументов. Часть подобных изображений хранится в архивных коллекциях, формировавшихся, как правило, в связи с юбилейными датами военно-революционных событий. К примеру, к десятилетию Октябрьской революции томский фотограф Н. В. Татауров отснял дома, где располагались конспиративные квартиры

подпольщиков в период Гражданской войны¹ (см. Прил., рис. 1, 50–51, 65–66). Такие снимки позволяют судить не только о внешнем виде и состоянии памятных мест в изучаемый период, но также о тенденциях мемориализации и советской политики памяти. Отдельные фотографии вновь открытых памятников, монументов и памятных мест, значение которых актуализировалось в разные годы, опять-таки в связи с годовщинами и юбилеями военно-революционных событий, публиковались в газетах (см. Прил., рис. 48–49, 58). Подобные снимки также служили визуальной пропаганде. Их появление в ежедневных газетах, являвшихся основным средством массовой информации, способствовало усвоению и запоминанию читателями стандартной советской символики и визуальных образов, связанных с конкретными политическими событиями как локального, так и всесоюзного значения. Источниками нашего исследования послужили также фотографии из газет, иллюстрирующие репортажи о праздничных коммеморациях: выставках, театральных премьерах и т. п. (см. Прил., рис. 55–57).

К числу художественно-изобразительных источников нашего исследования относятся *зарисовки томских художников*, занимавшихся в начале 1920-х гг. краеведением, прежде всего, А. Л. Шиловского. Эти рисунки по сей день хранятся в Томском краеведческом музее им. М. Б. Шатилова. Значительная их часть была опубликована в электронном издании Л. Ю. Исаевой, посвященном творчеству Шиловского и его вкладу в сохранение культурного наследия Томска². Начавшаяся в первые годы советской власти музеефикация культурных ценностей побудила томских краеведов заняться изучением, описанием и визуальной фиксацией архитектуры и городской среды «старого Томска», в результате чего и была сформирована замечательная коллекция работ Шиловского и его помощников, обладающая не только исторической, но и художественной ценностью. Эти рисунки передают, говоря словами Н. П. Анциферова, «дух места», интерес к которому был одной из наиболее оригинальных и продуктивных краеведческих идей первой половины 1920-х гг. Сами по себе эти рисунки выступают свидетельством личной инициативы томской интеллигенции в деле увековечивания памяти о прошлом сибирского города, творческого, лишённого формализма подхода томских музейщиков к решению стандартных, политизированных задач, поставленных государством перед музеями. А. Л. Шиловский, как и некоторые другие сибирские художники, участвовал в конкурсах

¹ ГАТО. – Ф. Р-1313. – Оп. 2.

² Исаева Л. И. Вклад А. Л. Шиловского в сохранение памятников архитектуры в Томске. – Томск, 2009.

памятников героям революции и Гражданской войны. Сохранившиеся после этих конкурсов рисунки, авторство которых не всегда удается определить – это также важная группа источников данного исследования, позволяющая более полно реконструировать особенности мемориальной культуры 1920-х гг. (см. Прил., рис. 45–46).

Нами использовались и *картографические источники* – планы городов Западной Сибири разных лет, позволяющие наглядно увидеть динамику роста Томска, Новосибирска, Барнаула и Омска, определить местоположение памятных мест на разных этапах истории городов. Часть этих источников была опубликована в краеведческой литературе¹. Однако мы использовали и оригиналы картографических источников, хранящихся в местных архивах².

В числе источников данного исследования также и *вещественные материалы*. В первую очередь речь идет об остатках исторического некрополя городов Западной Сибири. Их осмотр обусловлен установкой, заложенной выдающимся краеведом И. М. Гревсом. Он считал, что, изучая историю города, нельзя ограничиваться одними документами, историческими планами города, литературными источниками и т. п. Необходимо наглядное, зрительное и вместе с тем эмоциональное восприятие истории. Именно поэтому для нас важно было посетить *места старых кладбищ* в Томске, Новосибирске, Барнауле и Омске. Сохранность исторического некрополя в этих местах незначительна. Старые городские кладбища к настоящему времени разрушены. Их территории застроены либо переоборудованы в парки. Однако, как мы уже отметили, наличие старых карт и планов городов дает возможность установить их прежнее местонахождение, определить их размеры. Своеобразным источником исследования становится существующая городская среда, в которой «растворились» кладбища. Несмотря на существенные изменения городского пейзажа, до сих пор возможно оценить то, как кладбища были «вписаны» в обжитое пространство города.

Отношение к историческому некрополю в городах Западной Сибири различно. В Омске была предпринята попытка реконструкции мемориального Казачьего кладбища. 22 июня 2005 г. на его месте состоялось открытие мемориального сквера. Там представлены уцелевшие к началу XXI в. старинные надгробия и их обломки, позволяющие составить частичное представление об особенностях местной некрокультуры (см. Прил.,

¹ Весь Омск: справ. – Омск, 1912. – С. 95, 118, 154; Кочедамов В. И. Омск: как рос и строился город. – Омск, 1960. – С. 18–20; Город Томск. – Томск, 1912. – Вкладка; и др.

² НГА. – Ф. Р-331. – Оп. 1. – Д. 107, 108 и др.

рис. 31–36). Значима также попытка создания мемориального парка на месте старинного Нагорного кладбища в Барнауле. Выставка достижений народного хозяйства, располагавшаяся в советское время на его месте, в 1990-е гг. пришла в запустение и производила впечатление не менее удручающее, чем некогда разрушенный погост. В последние годы это место изменилось. Здесь снесены развалины местного ВДНХ, восстановлены памятники и надгробия на некоторых могилах выдающихся барнаульцев, известных и за пределами этого города, установлен поклонный крест. Желая быть толерантными, барнаульцы сохранили памятник В. И. Ленину, существующий здесь со времен ВДНХ. Однако здесь почти нет старых надгробий, сегодня можно судить лишь о территории кладбища, о специфике его пространственной организации (см. Прил., рис. 19–24).

В Новосибирске не предпринималось попыток отметить мемориальными знаками Воскресенское и Успенское кладбища, стертые с лица земли. Однако нами были найдены надгробия двоенных лет, перенесенные на действующее Заельцовское кладбище с уничтоженного Успенского (см. Прил., рис. 13–14). На территории старого Закаменского кладбища в настоящее время строится православный храм, но никаких попыток реконструировать некрополь не предпринимается. Зато здесь еще можно отыскать единичные надгробия, выполненные кустарным способом (см. Прил., рис. 15–16).

Ничтожная степень сохранности исторического некрополя городов Западной Сибири побуждает к использованию контекстных источников, позволяющих судить об общей специфике отечественной некрокультуры первой трети XX в. В этой связи важным этапом данного исследования стало посещение и детальный осмотр относительно хорошо сохранившихся старых кладбищ Москвы (кладбище Донского монастыря), Санкт-Петербурга (Никольское и Смоленское) и Гродно (Старое кладбище на ул. Антонова). Эти кладбища дают примеры пространственной организации старых кладбищ, специфики устройства семейных некрополей, мемориальной скульптуры с ее богатой символикой, эпитафий, характерных для разных десятилетий. Некрокультура Сибири, как и других регионов, имела отличительные особенности, однако обращение к этим источникам позволяет судить о специфике соотношения культуры сибирского некрополя с культурными контекстами страны в целом.

Источниками данного исследования стали и городские *военно-революционные монумен- ты* 1920–1930-х гг., существующие в каждом городе Западной Сибири (см. Прил., рис. 42–43, 52, 69). Вместе эти объекты формируют особое символическое поле эпохи,

своеобразный «культурный слой» городской среды. Обнаружение памятников в их натуральном виде важно для понимания специфики включения данных объектов в обжитое городское пространство и оценки их реальных масштабов, несомненно, влияющих на восприятие. Безусловно, за последние десятилетия эти объекты претерпели изменения, поэтому и существует необходимость одновременного использования визуальных источников 1920–1930-х гг.

В том же смысле, что и монументы, мы воспринимаем как источники своего исследования здания западно-сибирских городских музеев (те, в которых размещались музеи в межвоенные годы), музейные вещи, до сих пор экспонирующиеся и выставляющиеся (к примеру, мебель и бытовые предметы из «ампирного зала» дома Асташова в Томске). Эти предметы позволяют добавить ясности к пониманию характера исторической части экспозиции в 1920–1930-х гг.

В заключении поясним некоторые общие принципы, на основе которых нами осуществлялся отбор источников данного исследования. Во-первых, задача рассмотреть обозначенный круг коммемораций в исторической ретроспективе, привела нас к необходимости мобилизовать источники, позволяющие судить о культуре коммемораций дореволюционной России и Западной Сибири в частности. Найти достаточную опору в уже опубликованных работах, посвященных некрополю, памятникам, похоронам и государственным праздникам в имперской период нам не удалось, прежде всего потому, что эти сюжеты слабо изучены на сибирских материалах. Те же авторы, которые исследовали советующие темы применительно к российским столицам, ставили перед собой задачи, не совпадающими с нашими, в результате чего их труды не могли дать нам исчерпывающих ответов.

Во-вторых, коллективная память находит множество репрезентаций и отражается в самых разных, созданных человеком артефактах, поэтому и источники изучения памяти могут быть самыми разнообразными. Рассматривая коммеморацию как процесс, специфика протекания которого обусловлена различными контекстами и влиянием многочисленных факторов, мы обратились не только к мемуарам, фотографиям, памятникам, описаниям кладбищ и музейных репрезентаций прошлого. Нам пришлось мобилизовать источники, раскрывающие мало заметную обществу деятельность акторов политики памяти, экономические и культурные условия ее реализации, источники отражающие вос-

приятие коммемораций обществом, которое далеко не всегда помнит именно то, что политика памяти диктует.

В-третьих, имея ввиду то, что нарративы и другие устойчивые коммеморативные практики подчиняются законам определенного «жанра», мы исходили из необходимости использовать не отдельно взятые примеры типичных источников, а их сохранившиеся массивы, преимущественно в полном объеме. Это касается мемуаров, записанных по инициативе Испарта, траурных газетных объявлений, репортажей с похорон и торжественных заседаний горсоветов и т.п. Сопоставление содержания источников одной группы дает возможность увидеть шаблон описания, отражающий искомый жанр.

Итак, приведенный выше историографический обзор дает нам основание утверждать, что в целом данное исследование продолжает историографическую традицию изучения памятных мест и практик, нацеленных на увековечивание памяти, складывавшуюся в Западной Сибири и в целом в России на протяжении более чем ста лет. Также наше исследование отчасти продолжает традиции изучения культурных явлений «около политики», сформировавшиеся в западной русистике. Однако на уровне постановки цели и задач подготовленная нами диссертация претендует и на некоторое изменение традиции, сложившейся в историческом краеведении и в профессиональной историографии, применительно к изучению истории коммемораций. Предлагая обобщение, посвященное истории основных памятных мест городов Западной Сибири и практик, направленных на увековечивание памяти, мы впервые стараемся уйти от постановки вопроса «Как это было?» в пользу вопроса «Как менялась память сообществ о том, что было, и в каких формах проявлялись изменения памяти?».

Использованная нами источниковая база представляется нам достаточно репрезентативной и разнообразной. В числе источников, мобилизованных нами, есть как новые, прежде не известные исследователям, так и хорошо знакомые историкам. Однако думается, что новая постановка исследовательских задач и вопросов к источникам дала нам возможность продемонстрировать тот факт, что их потенциал еще далеко не исчерпан.

ГЛАВА 2

ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ

2.1. Исторические кладбища Томска

К моменту восстановления советской власти в декабре 1919 г. исторический некрополь Томска был представлен четырьмя основными действовавшими кладбищами. Два из них являлись монастырскими и находились при Иоано-Предтеченском женском и Алексеевском мужском монастырях. Действовали еще и два общегражданских кладбища: Вознесенское и Преображенское. Предыстория томского некрополя насчитывала более 300 лет. Однако уже в XIX в. старинные приходские томские кладбища практически исчезли с лица земли, будучи застроенными. Как уже сообщалось в историографическом разделе, в начале XX в. в Томске велись раскопки старых кладбищ, инициированные антропологом С. М. Чугуновым. Забытые захоронения еще в XVIII–XIX вв. неоднократно находили и строители, которые, по мнению краеведа В. Д. Славнина, «богобоязненно» перезахоранивали обнаруженные скелеты¹.

До революции устройство кладбищ подчинялось религиозным традициям народов России. В Сибири доминировала православная традиция. В восприятии местных жителей, воспитанных в атмосфере религиозной культуры, кладбища являлись святыми местами, где происходит «встреча» с умершими предками. Протоиерей Г. Дьяченко объяснял значение погребения следующим образом: «Нашему бренному телу суждено сначала умереть и истлеть, а потом опять воскреснуть. Места, где погребаются усопшие, суть

¹ Славнин В. Д. Указ. соч. – С. 177.

нивы, в которых рукою смерти сеются наши тела, как семена. Земля – мать наша – есть хранилище, где среди тления сохраняется наше нетленное»¹. Человек, по христианским убеждениям, был сотворен из праха, во прах (в землю) он должен быть возвращен и после смерти, откуда будет взят Богом в «будущем веке» и оживотворен. Пока же не настало это время, усопший должен покоиться в земле «как путник после долговременного странствия». У православных погребение в землю считается Божией заповедью, данной Адаму после грехопадения, а могила – святым местом поминовения усопшего и моления за его душу². Уход за могилами близких и прародителей, а также поминальное моление о них мыслятся христианами как священный долг. Эти духовные практики не сочетаются с настроением мирского праздного отдыха.

Традиционно церковь заботилась о содержании и санитарном состоянии кладбищ. По требованию дореволюционного законодательства священнослужители участвовали в деятельности по отведению мест для захоронений и их благоустройству. Уже в начале XIX в. законодательство предусматривало неприкосновенность старых, закрытых кладбищ при учреждении новых. Их застройка и перезахоронения без особого дозволения запрещались. В сфере охраны порядка на кладбищах духовное ведомство сотрудничало со светскими властями, прежде всего с полицией³. Все работы на кладбищах выполняли артели могильщиков, артельный староста входил в состав церковного причта. Законодательство второй половины XIX в. предусматривало возможность повторных захоронений в уже существующих могилах по истечении так называемого «кладбищенского периода», равного 30 годам. Для устройства семейных некрополей существовала возможность откупа мест захоронений⁴. На кладбищах выделялось до семи разрядов мест погребений, отражавших социальный и экономический статус усопших.

Еще с середины XVIII в. контексты роста городов и развития медико-санитарных знаний заострили экологические и гигиенические проблемы больших приходских кладбищ, нередко располагавшихся в центре крупных населенных пунктов. Именно из санитарных соображений указом Екатерины II кладбища были вынесены за пределы городской черты. По правилам второй половины XIX в. кладбища должны были располагаться за городом на выгонной земле, на расстоянии не менее 100 сажен от последнего жи-

¹ Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. – С. 563.

² Иов (Гумеров) [иером.], Гумеров П. [свящ.]. Указ. соч. – С. 22, 46.

³ См. подробнее: Караваева Е. В. Указ. соч.

⁴ Начала теории православного кладбищенского хозяйствования. – М., 1995. – С. 23.

лого строения. Их огораживали заборами или земляными валами¹. Однако на практике это не касалось монастырских кладбищ и небольших погостов при храмах, где сохранялась возможность погребения священнослужителей и благотворителей. До революции при церкви обычно хоронили духовных лиц и тех, кто строил этот храм либо жертвовал деньги на его строительство. Такие могилы высоко чтились. В качестве томского примера можно назвать погребение купца П. В. Михайлова, дважды избравшегося городским головой и прославившегося благотворительностью. Он был погребен в ограде Троицкого кафедрального собора.

В начале XX в. вопросы санитарной безопасности кладбищ для населения городов Западной Сибири неоднократно поднимались местными жителями и городскими думами по причине распространения инфекционных заболеваний, среди которых наиболее сильные страхи вызывала холера. Это обстоятельство приводило к необходимости отвода особых «холерных» участков на городских кладбищах. Города росли, соответственно, и местоположение кладбищ менялось – они находились уже не на окраинах, их плотно «обступали» кварталы жилой застройки, что также вызывало множество критических замечаний. В итоге ставился вопрос о закрытии кладбищ, который в начале XX в. далеко не всегда решался положительно.

Большие могильники представляли проблему для хозяйственников и санитарных врачей. Однако в начале XX в. кладбище расценивалось и как объект мемориальной культуры, обладающий идеологическим потенциалом. Символы некрополя оказывались востребованными как сторонниками самодержавия, так и носителями либеральных и леворадикальных взглядов. В первой главе мы уже характеризовали рассвет некрополистики, пришедшийся на начало XX в. Напомним, что наиболее заметная инициатива сбора некрополистами материала исходила от великого князя Николая Михайловича – представителя правящей фамилии, заинтересованного в разработке новых культурных ресурсов власти, в числе которых могли быть и провинциальные некрополи – своего рода «доски почета», хранилища памяти о тех, кто выступал социальной опорой монархии (прежде всего – дворяне, иерархи церкви, чиновники, высшие военные чины), а также и тех, кто воспринимался как верные подданные, посвятившие жизнь службе государю и служению народу (учителя, приходские священники, почетные граждане и пр.).

¹ Устав медицинской полиции. – С. 159.

Мы полагаем, что в Сибири во второй половине XIX – начале XX в. отношение к некрополю задавали и контексты областничества, «пробуждавшегося общественного сознания» жителей региона. Память о заслугах местной интеллигенции и «класса предпринимателей» – ученых, педагогов, священнослужителей, купцов-благотворителей, врачей, инженеров, военных, писателей, отраженная в мемориальных формах некрополя, была востребована в условиях борьбы сибиряков за преодоление колониального положения региона в Российской империи. Областники работали над увековечиванием памяти о людях, внесших, по их мнению, вклад в прогрессивное развитие региона. Так, Н. М. Ядринцев составил первый некролог на казахского литератора Ч. Ч. Валиханова, умершего в Омске в 1866 г. Увековечивание областниками памяти о Валиханове нашло в дальнейшем отражение в работах Г. Н. Потанина и Н. И. Наумова¹. Вообще, по наблюдению М. В. Шиловского, областники написали и опубликовали в периодических изданиях большое количество некрологов, посвященных не только памяти своих соратников, но и деятелям культуры, общественным деятелям не из числа областников². В предыдущей главе мы отметили, что областник А. В. Адрианов, занимавшийся краеведением, уделил в своей книге «Томская старина» внимание истории мемориальной среды Томска (его некрополя). Стоит добавить и то, что в этой работе он попытался увековечить память о роли интеллигенции в развитии Томска: Г. Н. Потанина, Д. Л. Кузнецова, Н. М. Ядринцева, Н. И. Наумова, И. А. Кущевского, В. В. Плотникова, Ф. П. Любимова, Н. В. Берга и С. С. Шашкова³.

Пристальное внимание областников к коммеморациям подтверждают и массовые похороны лидера сибирского областничества Н. М. Ядринцева, состоявшиеся в Барнауле в 1894 г., оказанные ему посмертные почести, установка на его могиле памятника, изготовленного к 10-летию со дня кончины скульптором К. М. Сибиряковым, торжественное открытие памятника в присутствии членов Общества любителей исследования Алтая и Общества попечения о начальном образовании. Так же торжественно в 1920 г. томичи провожали в последний путь областника Г. Н. Потанина (к данному сюжету мы обратимся далее). Это дает основание полагать, что для областников и сочувствовавших им

¹ Шиловский М. В. Сибирские областники как первые биографы Ч. Ч. Валиханова [Электронный ресурс] // Земля Томская: краеведческий портал. – URL: <http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/42/> (дата обращения: 04.01.2016).

² Шиловский М. В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX в. [Электронный ресурс]: дис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1992 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – URL: <http://www.dissercat.com/content/sibirskoe-oblastnichestvo-vo-vtoroi-polovine-xix-nachale-xx-veka#ixzz3wRyxXXBo> (дата обращения: 06.01.2016).

³ Адрианов А. В. Указ. соч. – С. 58–164.

жителей сибирских городов мемориальные погосты, формировавшиеся в последней трети XIX – начале XX в., выступали подтверждением культурного, социального и экономического прогресса региона. По нашему мнению, именно этим было обусловлено стремление М. Б. Шатилова сохранить надгробия томской интеллигенции вопреки решению горсовета о сносе старых кладбищ (к этому сюжету мы также обратимся далее), а также активное участие сына А. В. Адрианова в перенесении останков Г. Н. Потанина в Университетскую рощу и установке памятника на его могиле.

С началом Первой русской революции свою долю символического мемориального пространства на элитных кладбищах пытались отвоевать и социалисты. Еще в 1905 г. в Томске началась борьба за существование революционных памятных мест, представленных могилами. Так, в ходе демонстрации, устроенной 18 января 1905 г., погиб молодой печатник И. Е. Кононов, державший в руках красное знамя. Революционеры добились погребения его тела на мемориальном кладбище женского монастыря. Уже в советское время мемуарист по фамилии Феофанов рассказывал о том, что в последний путь Кононова провожала шеститысячная толпа¹. Здесь не исключено преувеличение, к которому мы еще вернемся. Важно подчеркнуть особые почести, выраженные в адрес Кононова его товарищами. На могиле простого рабочего уложили мраморную плиту, на которой были выбиты слова: «Товарищу Иосифу Егоровичу Кононову, убитому на демонстрации 18 января 1905 г. 18 лет от роду»². Оградка могилы была декорирована изображением пуль, которые, по воспоминаниям «старых большевиков», неоднократно удалялись полицией и восстанавливались революционерами³. Погребение Кононова на монастырском кладбище было вызовом власти и «буржуазии», демонстрацией силы оппозиции, которая стремилась символически вписать жертву своей борьбы в анналы местной истории. Тем, кто создавал и защищал это памятное место, было принципиально важно показать правомерность расположения могилы молодого, ничем особенно не прославившегося при жизни печатника среди могил томской профессуры, статских советников и епископов. Кононова прославила лишь его смерть – ранняя и героическая, с точки зрения социалистов. Молодого печатника хоронили как невинную жертву, мученика, достойного глубокого почитания после смерти (см. Прил., рис. 1).

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 1. – Д. 295. – Л. 3.

² Всеобщая забастовка в Томске // Красное знамя. – 1935. – 9 янв.

³ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 67. – Л. 2–3.

Остановимся подробнее на характеристике наиболее показательных примеров погребений, существовавших в пределах томских кладбищ к 1920 г. Старейшими из них являлись монастырские погосты. Кладбище при мужском Богородице-Алексеевском (Алексеевском) монастыре возникло еще в 1663 г. (см. Прил., рис. 2–5). Очевидно, оно было элитным. Как свидетельствуют записи, подготовленные священнослужителями для «Русского провинциального некрополя», здесь покоились церковные иерархи, наиболее знатные, состоятельные и почитаемые в дореволюционные годы томичи, некоторые из которых оставили этот мир уже около сотни лет назад. Среди них были настоятели монастыря: архимандриты Иероним (ум. в 1829 г.), Феофилакт (ум. в 1817 г.), игумен Даниил (ум. в 1806 г.), епископ Томский и Семипалатинский Платон (ум. в 1876 г.). На этом погосте имелись могилы дворян: томского вице-губернатора князя А. И. Ведищева (ум. в 1807 г.), князя В. А. Кекуатова (ум. в 1887 г.) и др. Достопримечательными считались также могилы томского губернатора Н. В. Родзянко (ум. в 1871 г.); почетных граждан, к примеру, благотворителя монастыря Н. С. Сосулина (ум. в 1870 г.). На кладбище Алексеевского монастыря имелись также могилы слепого старца Константина (Мартиченко), год кончины которого не был указан на надгробии, и «великого благословенного старца» Федора Кузьмича (ум. в 1864 г.), которому молва приписывала царское происхождение¹. По слухам, распространившимся после смерти старца изначально в Томске, а позже и по стране, за именем Федора Кузьмича скрывался сам император Александр I, который не умер в 1925 г. в Таганроге, а лишь инсценировал свою смерть, стремясь покончить с опостылевшими ему обязанностями государя, со светским образом жизни и, желая остаток жизни посвятить Богу².

Еще одно старинное кладбище Иоанно-Предтеченского женского монастыря (открыт в 1864 г.) также отличалось множеством погребений томских знаменитостей, людей, имевших при жизни высокий социальный статус. Здесь покоились останки основательницы монастыря игуменьи Евпраксии (ум. в 1877 г.), иереев и протоиереев, священников и дьяконов. Еще в начале XX в. некрополисты из числа духовных лиц, работавшие по заданию великого князя Николая Михайловича, обращали внимание на могилы выдающихся представителей местной интеллигенции: архитектора П. П. Нарановича, спроектировавшего здание Томского университета (ум. в 1894 г.), доктора медицины А.

¹ Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая Михайловича в РГИА). – С. 18–19.

² Долг-ов Всев. Указ. соч.; Голицын С. Н. Указ. соч.; Новое в легенде о Федоре Кузьмиче; и др.

Н. Хохрякова (ум. в 1884 г.), профессоров Томского университета П. С. Климентова (ум. в 1902 г.), Д. И. Тимофеевского (ум. в 1903 г.), М. Н. Попова (ум. в 1908 г.), Э. Г. Салищева (ум. в 1901 г.). В современной краеведческой литературе специально акцентируется внимание на том, что при Иоанно-Предтеченском монастыре существовало так называемое «профессорское кладбище» – самый известный, обособленный уголок этого монастырского погоста¹. А для первых томских некрополистов достопримечательными являлись также могилы юродивой Домны Карповны (ум. в 1872 г.) и чиновников высших рангов (М. А. Архангельского, Е. И. Донецкого, П. И. Фризеля и др.)².

В годы Гражданской войны оба монастырских кладбища стали местами упокоения многих людей, выступавших против советской власти³. Здесь также торжественно хоронили военных, павших в боях с Красной армией и с партизанами⁴. Похороны этих лиц были пышными и политизированными, о добродетелях и «мученической смерти» практически каждого из них красноречиво рассказывали газетные некрологи. На элитных монастырских кладбищах продолжали хоронить представителей старой коммерческой элиты⁵. На кладбище Иоанно-Предтеченского монастыря, как и прежде предавали земле останки томских профессоров (М. Ф. Попов⁶, Н. М. Хвостов⁷).

Вознесенское кладбище, действовавшее и после Гражданской войны, возникло еще в XVIII в. Краевед С. В. Привалихина так определяет его местонахождение: «... в северо-восточной загородной части на участке между современными улицами Дальне-Ключевской, Пушкина в протяжении до того места, где теперь стоит школа-интернат № 3, а с западной стороны – овраг, разделяющий Воскресенскую и Каштачную горы»⁸. До революции, по мнению местных некрополистов, кладбище было примечательно могилами городского головы З. М. Цибульского (ум. в 1882 г.), ходатайствовавшего об открытии Сибирского университета и жертвовавшего деньги на это мероприятие. Упокоились здесь и известные томские купцы-благотворители, жертвовавшие средства на строительство томских храмов, социальных и культурных учреждений: С. С. Валгусов (ум. в 1890 г.), Ф. Х. Пушников (ум. в 1898 г.), Е. Н. Кухтерин (ум. в 1887 г.), И. А. Еренев (ум.

¹ Привалихина С. Мой Томск. – Томск, 1999. – С. 105.

² Там же. – С. 20–22.

³ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 182.

⁴ Там же. – С. 195.

⁵ Там же. – С. 184, 201.

⁶ Там же. – С. 196.

⁷ Там же. – С. 211.

⁸ Привалихина С. Указ. соч. – С. 103.

в 1899 г.), Е. И. Королев (ум. в 1900 г.), в честь которого была названа одна из улиц Томска, и др. Здесь имелось много могил чиновников высоких рангов, представителей духовенства, многочисленных почетных граждан, военных чинов¹. Имелось также огромное количество мещанских и крестьянских могил.

Уже в начале XX в. Вознесенское кладбище было признано переполненным, однако городская дума Томска так и не приняла окончательного решения о его закрытии. По данным авторов «Томского некрополя», это было связано с тем, что к участку на Каштаке, предназначавшемуся для устройства нового могильника, не провели удобной дороги². В годы Гражданской войны и послевоенной разрухи Вознесенское кладбище разрослось еще больше. К зиме 1919 г. Томск был наводнен беженцами и военными, население города удвоилось. В условиях антисанитарии, переполнения жилых помещений и недостатка медикаментов началась эпидемия тифа, жертвами которой ежедневно становилось до 150 человек³. В фонде Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом (Чекатиф) ГАНУ отложились документы, свидетельствующие о количестве умерших от тифа томичей. Всего за период с 18 декабря, когда начались подсчеты, по 18 апреля, когда Чекатиф закончил работу, томскими врачами было зафиксировано 3344 смерти⁴. Очевидно, что реально жертв тифа было больше, поскольку эпидемия началась раньше середины декабря 1919 г. и окончательно «сошла на нет» позже середины апреля. Кроме того, не все жертвы были учтены, поскольку многие обыватели болели и гибли в домашних условиях, не обращаясь в лечебные учреждения. Многочисленными жертвами тифа стали томские врачи и сестры милосердия, массовая гибель которых началась уже осенью 1919 г. Газета «Сибирская жизнь» писала об этом: «Конца не видно жертвам, которые несет население и врачебная семья, в частности, при совершенной и всеобщей жизненной разрухе»⁵. Повышенная смертность, вызванная эпидемией, вела к еще большему переполнению кладбищ.

Преображенское (Новоеланское) кладбище было открыто позже Вознесенского, в 1871 г.⁶ Оно располагалось на участке между современными улицами Усова, Вершини-

¹ См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 97.

² Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 5.

³ Ларьков Н. С. Декабрьские события 1919 г. в Томске. – С. 47.

⁴ ГАНУ. – Ф. Р-34. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 7–97.

⁵ Цит. по: Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 204.

⁶ Привалихина С. Указ. соч. – С. 104.

на, Нахимова и Коларовским трактом¹. До революции, судя по воспоминаниям, оно было менее престижным, чем Вознесенское, здесь «хоронили простой люд»². Соответственно, существовали проблемы с его содержанием и благоустройством. Однако составители дореволюционного томского некрополя зафиксировали существование на Преображенском кладбище также немалого количества могил священников, офицеров, чиновников, преимущественно коллежских асессоров; представителей местной интеллигенции. Встречались также купеческие могилы, захоронения дворян (Е. И. Медведев, скончавшийся в 1894 г.) и почетных граждан (А. А. Смиренский, умерший в 1909 г.)³.

Разумеется, после окончания боевых действий благоустройство томских кладбищ оставляло желать лучшего. К слову сказать, не стоит идеализировать состояние сибирских кладбищ и в дореволюционный период. Случаи вандализма и бесхозяйственного отношения к кладбищам отмечались, в частности, и в конце XIX в.⁴ Однако «разруха» больно ударила по кладбищенскому хозяйству. Имели значение и закрытие монастырей, произошедшее в 1920 г., а также эмиграция лиц, не принявших власть большевиков (они перестали, таким образом, ухаживать за могилами близких), демографический кризис, обострение санитарно-эпидемической ситуации.

Изменения исторического некрополя Томска, как и других городов Западной Сибири, после восстановления советской власти были неизбежными. В первую очередь приходится учитывать политический фактор этих изменений. Преобразования в сфере кладбищенского хозяйства вписывались в общую концепцию политики большевиков, направленную против капитала. Еще 7 июля 1918 г. был обнародован Декрет СНК о кладбищах и похоронах. Согласно этому законодательному документу, все кладбища, крематории и морги, а также организация похорон граждан поступали в ведение местных совдепов. Деление мест погребения на разряды упразднялось. Оплата мест на кладбищах отменялась. Разрешалась кремация⁵. Этот декрет стал первым официальным шагом к радикальным изменениям в сфере отечественной некрокультуры. Контрреволюция и свержение советской власти в Западной Сибири привели к прекращению действия

¹ Там же.

² Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 6.

³ Томский некрополь: по документам фонда великого князя... – С. 26–29.

⁴ Г[олодничков] К. Несколько слов о современном состоянии городских кладбищ в Тобольской губ. // Тобольские епархиальные ведомости. – 1882. – № 9.

⁵ Декрет Совета народных комиссаров от 07.12.1918 г. о кладбищах и похоронах // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг.: управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – С. 1275–1276.

советского законодательства, ставшего, однако, вновь актуальным после падения «колчаковщины».

В 1922 г. была осуществлена реформа похоронного дела, вызванная нэпом, а значит, и возвратом к товарно-денежным отношениям. Сами коммунальщики отмечали, что к концу Гражданской войны кладбищенское хозяйство находилось в кризисном состоянии: не хватало бесплатных гробов, многочисленные умершие и погибшие скапливались на кладбищах, подолгу ожидая погребения, поскольку недоставало рабочих рук могильщиков, нарушались санитарные нормы¹. Наконец, в 1922 г. Декрет о кладбищах и похоронах был отменен. Вводилась оплата за место на кладбище, за похороны и погребение. Похоронные услуги населению стали оказывать частные похоронные бюро, предлагавшие разнообразные надгробия и ритуальную атрибутику. При этом кладбища находились в ведении коммунальных отделов местных советов, которые несли ответственность за их санитарное состояние, за соблюдение на кладбищах порядка и чистоты. Стоимость места на кладбище определял президиум местного исполкома². Законодательство предполагало изоляцию церкви от кладбищенского хозяйства, однако на практике без ее участия на местах было трудно обходиться. Поэтому фактическое участие церкви в благоустройстве кладбищ еще несколько лет сохранялось.

В ходе реформы 1922 г. уточнялись правила закрытия переполненных кладбищ. Сообщалось, что при переполнении и невозможности расширения существующего кладбища, во избежание нарушения санитарных норм, следовало «теперь же озаботиться отводом новых мест для погребения, с соблюдением санитарных правил», которые отдельно оговаривались. Допускалось погребение умерших без гробов в ямах глубиной не менее 1 аршина при условии скопления трупов на новом кладбище. При этом требовалось лишь соблюдение расстояния между телами не менее чем в 0,5 аршина³. Это постановление отражает драматичные реалии: высокую смертность, запустение и антисанитарию на старых кладбищах, осознаваемые в качестве серьезной проблемы.

Свертывание нэпа привело к закрытию частных похоронных бюро и отмене платы за место на кладбище. В 1929 г. сферу кладбищенского хозяйства страны вновь реформировали. Санитарные требования к содержанию кладбищ заметно ужесточались. Бла-

¹ Ансеров С. Этапы похоронного дела в Москве // Коммунальное хозяйство. – 1922. – № 12. – С. 12–14.

² Инструкция о порядке похорон умерших граждан и о пользовании кладбищами // Коммунальное дело. – 1922. – № 1. – С. 59; Реформа похоронного дела // Коммунальное хозяйство. – 1922. – № 7. – С. 18.

³ Об устройстве кладбищ и погребении умерших // Коммунальное дело. – 1922. – № 2. – С. 41.

гоустройство городских кладбищ и контроль над их санитарным состоянием целиком ложились на органы местного коммунального хозяйства. Коммунальщики должны были поддерживать четкую разбивку кладбища на участки, которые более не должны были определяться по религиозному признаку. Захоронения должны были осуществляться в строго последовательном порядке. Это мешало «подхоранивать» усопших к семейным некрополям. Четко определялась площадь могилы (4 м² для взрослых и не менее 2 м² для детей, не достигших десятилетнего возраста), ее длина (2 м) и ширина (1 м). Обязательной была могильная насыпь высотой не менее 0,5 м. Требовалось сохранять насыпь даже в случае отсутствия надгробия. Содержание надгробий вменялось в обязанность лицам, которые их устанавливали. Если надгробия находились в «ненадлежащем состоянии», коммунальные органы должны были добиться в годичный срок от лиц, ухаживавших за могилой, исправления надгробия. В противном случае оно удалялось с кладбища. Однако забота о надгробиях выдающихся людей: революционеров, общественно-политических деятелей, деятелей науки и искусства, а также о надгробиях, имевших высокую художественную ценность, ложилась на самих коммунальщиков и районные исполкомы.

Новые правила запрещали наносить вред благоустройству кладбищ. Категорически запрещались устройство братских могил и «могил лентой», постанова одного гроба на другой. Устройство склепов допускалось лишь с дозволения санитарной комиссии. «Вырывать» (эксгумировать) тела допускалось лишь по требованию судебно-следственных органов под надзором санитарных врачей. При эксгумировании запрещалось присутствие посторонних лиц. «Выкапывать» трупы с единственной целью перезахоронения запрещалось. Повторное погребение в старой могиле допускалось не ранее чем через 20 лет.

Отдельно и подробно разъяснялись правила закрытия старых кладбищ и открытия новых. Закрытие по решению горсовета подлежали кладбища, земельные участки которых были полностью использованы, а также в случае невозможности повторного использования старых могил. Допускалось частичное закрытие кладбища. Немедленное использование территории закрытого кладбища допускалось лишь «под парки, зеленые насаждения, покосы при условии не нарушения земельного покрова». Под застройку эти территории допускалось использовать лишь после полной минерализации тел – не ранее чем через 20 лет при сухих почвах и через 30 лет при влажных. Новые кладбища, по

правилам, открывались не менее чем в 500 м от жилых строений с учетом возможности использования их территории под зеленые насаждения и места отдыха населения¹. Безусловно, эти утилитарные правила требовали ускорения процесса закрытия старых кладбищ, уже давно переполненных, неухоженных, лишенных порядка. Заметно и то, что правила однозначно не оговаривали судьбу могил выдающихся людей: не было ясно, нужно ли сохранять их надгробия после закрытия старых кладбищ. Другой не проясненный вопрос: что делать с территорией старого кладбища. Нужно ли удалять надгробия и «заравнивать» землю? Если да, то в какие сроки это делать?

С государственной политикой в отношении кладбищенского хозяйства были связаны и другие факторы изменений, коснувшиеся некрополя городов Западной Сибири после Гражданской войны. Среди них мы выделяем, во-первых, новые веяния в сфере градостроительной мысли и коммунального хозяйства, государственную коммунальную и градостроительную политику, а также хозяйственные и градостроительные решения местных органов власти, направленные на решение давно существовавших коммунальных проблем. Во-вторых – изменения в сфере культурной политики, к которым мы относим антирелигиозную пропаганду, концептуальные представления о «новом быте», «культурности» и «культурном досуге».

Уже в начале XX в. в России стала известна градостроительная концепция «города-сада», разработанная англичанином Э. Гоуардом. В Сибири вплоть до середины 1920-х гг. было немало последователей этой теории. Не вдаваясь в детали концепции, отметим важность ее значения в осмыслении проблем российских городов, очевидно нуждавшихся после Гражданской войны в рациональной перепланировке, преодолении антисанитарии, «оздоровлении» городской среды. В середине 1920-х гг. отраслевые журналы коммунальщиков все больше заостряли внимание на экологии и благоустройстве городов, предлагая вниманию читателей статьи о вреде для человека городской пыли, грязи и нечистот, о методах озеленения, нормах проектировки жилых кварталов, реконструкции старых городских центров и т. п. Нередко авторами данных статей были активисты Общества городов-садов². В рамках градостроительного дискурса ставился и вопрос о состоянии кладбищ, которое признавалось плачевным. Отмечались их «пере-

¹ Правила НКВД и НК Здрав РСФСР № 198/Б/197/МВ от 7/11 июня 1929 г. об устройстве кладбищ и порядке погребения // Бюллетень НКВД РСФСР. – 1929. – № 23/24. – С. 458–462.

² Косякова (Красильникова) Е. И. Обсуждение концепции города-сада на страницах советских журналов 1920-х гг. // История и культура Сибири в исследовательском и образовательном пространстве. – Новосибирск, 2004. – С. 210–214.

полнение», хозяйственная запущенность и не эстетичность, а также вред трупного яда и инфекций для человека.

Уже в начале 1920-х гг. активно обсуждалась мысль о необходимости перехода к кремации. Политическая обусловленность нововведения кремации считается очевидной. Положительно о кремации отзывался В. И. Ленин. Среди первых умерших, преданных огню в образцовом для всей страны крематории Донского кладбища (открыт в 1927 г.), были старые большевики и чекисты¹. В 1930-х гг. кремировали тела С. М. Кирова, С. Г. Орджоникидзе, В. В. Куйбышева и других «героев» сталинской эпохи. Известно, что к 1920 г. относятся первые опыты кремации в Петрограде. В это же время осуществлялись попытки кремации тел массовых жертв Гражданской войны в наспех оборудованных с нарушением всяких технологических требований крематориях в Сибири (Новониколаевск). В отраслевых журналах коммунальщиков первые статьи, доказывавшие необходимость перехода к кремации, публиковались с 1922 г.

Признавая кремацию выходом из проблем санитарии в кладбищенском хозяйстве, коммунальщики, однако, изначально видели два основных препятствия к строительству крематориев: «религиозные предрассудки большинства населения», которые, впрочем, не расценивались как серьезная проблема, а также отсутствие материальных средств. Н. Алексеев информировал читателей, что российские гигиенисты пытались добиться кремации еще в дореволюционное время, однако Синод дал категорический отказ. При этом со страниц советской печати церковь обвинялась в корыстном расчете, поскольку она получала доход от содержания кладбищ и осуществления погребений. Теперь противостояние церкви считалось раз и навсегда преодоленным².

Труднее, по мнению другого автора – С. Ансерова, было преодолеть безденежье. Он считал, что выходом из ситуации было открытие новых загородных кладбищ, отделенных от жилой застройки³. Хорошо зная проблемы московских кладбищ, Ансеров настаивал на необходимости их «сокращения», на «уплотнении» старых могил, переживших «кладбищенский период», и скорейшего открытия кладбищ на новых местах⁴. В публикациях последующих лет мысль о необходимости строительства крематориев утверждалась бесспорно. Статьи информировали читателей о санитарных преимуще-

¹ Головова Л. А. Указ. соч.

² Алексеев Н. Кремация и оздоровление городов // Коммунальное хозяйство. – 1922. – № 7. – С. 16–19.

³ Ансеров С. Кремация и ее осуществление // Коммунальное хозяйство. – 1922. – № 11. – С. 7–8.

⁴ Ансеров С. Этапы похоронного дела в Москве // Коммунальное хозяйство. – 1922. – № 13. – С. 13–14.

ствах кремации, о технологии этого процесса, о постановке дела кремации за рубежом¹. В 1925 г. создание крематориев преподносилось печатью как «государственная задача». Приводилось указание народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко: «Борьбу за введение этого красивого, культурного и экономичного способа захоронения следует вести по выработанным формам советской общественности, то есть при пробуждении инициатив самих рабочих масс»². Делался вывод о том, что кремация решает проблемы «кладбищенского кризиса городов», является экономичной, эстетичной, выступает признаком «высокой культуры», облегчает транспортировку умершего и похоронные хлопоты его семьи³.

Пропаганда кремации была ярко выраженной. В 1925 г. в Москве прошла выставка, посвященная кремации, которая, в частности, на наглядных примерах демонстрировала недостатки погребения в землю. На выставке присутствовали картины переполненных кладбищ, плакаты, изображавшие «кладбищенскую фауну», снимки разлагавшихся трупов. Все эти материалы должны были убедить посетителей в преимуществах кремации – «признака высокой культуры»⁴. В последующие годы в отраслевых журналах по коммунальному хозяйству публиковались отчеты о деятельности московского крематория, которая признавалась успешной и перспективной⁵. Подчеркивалось, что кремация – это «культурнейшее оружие в руках нашего государства в борьбе с вековыми предрассудками, суевериями, косностью широких масс»⁶. При этом крематорий описывался как фабрика, как конвейер, утилизирующий трупы.

По мнению К. Мэрридэйл, в 1920-х гг. потребность в крематориях была обусловлена, прежде всего, высокой смертностью, а с началом массовых репрессий и расстрелов крематории были необходимы также для незаметной «утилизации трупов», которые, в частности, предавались огню в московском крематории на кладбище Донского монастыря, после чего прах помещался в общих ямах⁷. Сибирь также познала все ужасы сталинских репрессий. В застенках НКВД гибли бесчисленные подсудимые и осуж-

¹ Бунге, инж. Трупожигание и его значение в коммунальном хозяйстве // Коммунальное хозяйство. – 1924. – № 1. – С. 8–10; Лазарев В. Устройство крематориев и техника кремации // Коммунальное хозяйство. – 1924. – № 1. – С. 10–12; Обзор открытых и решенных к постройке крематориев за границей за 1925 г. // Коммунальное хозяйство. – 1925. – № 24. – С. 76–81; и др.

² Ге Ф. Погребение в земле или кремация? // Коммунальное хозяйство. – 1925. – № 18. – С. 32.

³ Там же.

⁴ Бартель Г. Первая в России выставка по кремации // Коммунальное хозяйство. – 1925. – № 4. – С. 47–51.

⁵ Бартель Г. Обзор деятельности по кремации за 1927 г. // Коммунальное хозяйство. – 1928. – № 5. – С. 8–10; Годовщина кремации // Коммунальное хозяйство. – 1928. – № 19/20. – С. 139–140.

⁶ Бартель Г. Обзор деятельности по кремации за 1927 г. – С. 10.

⁷ Marrisdale C. Night of Stone. – P. 193.

денные, места захоронений многих из которых до сих пор не установлены. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. активисты общества «Мемориал» собрали немало данных о братских могилах жертв репрессий за пределами городов, в сельской местности. Однако остается неясным до конца – где «закапывали» жертв своих расправ томские чекисты. Этим целям могло служить и Преображенское кладбище, спешно закрытое в 1939 г.

Во второй половине 1920-х гг. мысль о необходимости крематориев городам Сибири звучала в региональной печати, однако местные власти не находили финансово возможным оборудование крематориев в западно-сибирских городах¹. Мы приходим к заключению о том, что в нашем регионе борьба с проблемами старых кладбищ выразилась в иной тактике. О ней говорил, в частности, С. Ансеров, имевший ввиду о закрытие старых и открытии новых загородных кладбищ, тем более, что этот процесс начался еще до революции и поддерживался законодательством, разрабатывавшимся в 1920-х гг.

В 1926 г. местные власти Томска вновь обратили внимание на «переполнение» Вознесенского кладбища. Горсовет принялся за рассмотрение вопроса о выборе места под новое кладбище, которое планировалось открыть в 1928 г.² В качестве подходящей для этих целей рассматривалась территория возле железнодорожного моста через р. Ушайку. Наконец, 19 августа 1928 г. «Красное знамя» объявило о закрытии Вознесенского кладбища. Газета подводила итоги: еще дореволюционная городская дума закрывала это кладбище, но позже разрешила продолжать на нем погребения; в целом кладбище просуществовало более 100 лет. В 1927 г. президиум Томского горсовета решил закрыть кладбище женского монастыря, а в 1930 г. было принято решение о его ликвидации³. Кладбище мужского монастыря закрыли в 1929 г.⁴ В 1939 г. официально закрыли и Преображенское кладбище⁵. Согласно действовавшим правилам, новые кладбища открывались за пределами городской черты, вдали от жилищной застройки.

В 1928–1932 гг. в СССР доминировала градоустроительная концепция соцгорода, который должен был «преодолеть инерцию столетий»⁶. В этот период началась индустриализация, сопровождавшаяся высокими темпами урбанизации, которую государство инициировало и стремилось контролировать. Избранная властью система расселения

¹ Вместо земли – огонь // Красный Алтай. – 1927. – 12 окт.

² Отвод места для нового центрального кладбища // Красное знамя. – 1927. – 13 дек.

³ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 7.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Лялин В. Строительство социалистических городов // Коммунальное хозяйство. – 1929. – № 23/24. – С. 5.

представляла собой дезурбанистическую структуру, состоявшую из опорных урбанизированных промышленно-селитебных образований – соцгородов. Население соцгородов было преимущественно оторвано от малой родины и ее традиций мемориальной культуры, фактически привязано к предприятию, лишено культурного выбора. Соцгород воплощал разрыв с традицией, отражал призыв к материализации трудо-мобилизационной и военно-мобилизационной организации населения¹. Традиционному, тем более старому, кладбищу в соцгороде не было места. Действующее кладбище рассматривалось утилитарно – как зеленая зона. В идеале его должен был вытеснить крематорий.

С 1933 г. обострился интерес государства к культурному наследию страны, которое подлежало критике и переоценке. «Переоценка» нередко приводила к уничтожению памятников архитектуры и других объектов наследия. По словам историка архитектуры Д. С. Хмельницкого, к этому моменту архитекторам стало ясно, что «Сталину нравится архитектура богатая, пышная, торжественная»². Социалистическая реконструкция городов предполагала «чистку фасадов», т. е. создание иллюзии благополучной жизни, символически отраженной в помпезных дворцах, жилых высотках, московском метро и т. п. К середине 1930-х гг. было решено, что архитектура должна быть «бодрой, здоровой, простой и радостной»³. При такой расстановке приоритетов старые кладбища вновь ставились под угрозу исчезновения, не отвечая этим характеристикам.

Закрытие старых кладбищ, несомненно, было связано также с антирелигиозной политикой и пропагандой, в которой выражалось отношение к религии и церкви как политически опасным институтам. Общеизвестно, что религия воспринималась большевиками как препятствие для нового идеологического воспитания. Уже в первой половине 1920-х гг. ВЧК неоднократно обращала внимание на контрреволюционные настроения верующих. Так, делались выводы об интеграции вокруг православной церкви торговцев, интеллигенции, «обывательщины», бывших белых офицеров, которые расценивались как потенциально опасные, контрреволюционные элементы, распространяющие антисоветские настроения. Вызвали опасения и «распространение сектантства», случаи «исключения из секты» баптистами лиц, сочувствовавших советской власти⁴.

¹ Меерович М. Г., Коньшева Е. В., Хмельницкий Д. С. Указ. соч. – С. 122–123.

² Хмельницкий Д. С. Указ. соч. – С. 136.

³ Там же. – С. 160.

⁴ ГАНУ. – Ф. П. 1. – Оп. 2. – Д. 376. – Л. 165 об., 174.

Одной из наиболее громких кампаний начала 1920-х гг. стало развенчание культа святых мощей, которое предполагало вскрытие раки, извлечение и демонстрацию мощей, преподносившихся как «совершенно обыкновенные кости». Подобные мероприятия производили эффект десакрализации святынь некрокультуры и пространства смерти в сознании населения. Старые кладбища изобиловали религиозной символикой: здесь имелись и храмы, и часовни, и кресты. На кладбищах была представлена не только православная символика. Несомненно, что для «сектантов» кладбища также являлись важными памятными местами, с которыми связывалась их религиозная идентичность. Поэтому кладбища, наполненные крестами, подлежали уничтожению, как и культовые сооружения, являвшиеся до сих пор неотъемлемой частью культурного ландшафта сибирских городов. Новая волна антирелигиозной пропаганды началась в 1937–1938 гг., когда обострилась реакция верующих на массовые репрессии. Поэтому, в частности, партийные органы Сибири в 1937 г. принимали решения об усилении антирелигиозной пропаганды. На этом фоне выглядит логичным закрытие Преображенского кладбища в Томске в 1939 г.¹

Культурная жизнь и досуг советского человека должны были обходиться без религии и церкви. Концепция «нового быта» предполагала его обобществление и «оздоровление», жизнь в коллективе, отказ от старых бытовых привычек, традиционных для приватной семейной жизни. Если религиозный философ начала XX в. Н. Ф. Федоров считал, что «поселение должно быть крепостью, защищающей могилы отцов», что заброшенные кладбища должны преобразовать в «учебные или воспитательные крепости при храмах», что с точки зрения сохранения духовности общества одинаково значима роль университетов, музеев, церквей и погостов², то советские градостроители отдавали приоритет совершенно иному объекту – парку культуры и отдыха. Показательно такое высказывание: «Целесообразным представляется создание центрального парка культуры, на территории которого расположатся центральные учреждения города. Сюда будут относиться Дом советов (где будут находиться партийные и общественные организации города), центральный клуб – дом культуры, центральная библиотека, рабочий университет, стадион, школы»³. Парк мыслился как место массовой пропаганды советской куль-

¹ ГАНО. – Ф. П-3. – Оп. 2. – Д. 146. – Л. 1–3.

² Федоров Н. Ф. Философия общего дела. – Новосибирск, 1993. – С. 27–28.

³ Цит. по: Костюрина Н. Ю. Досуг и быт нового советского города 1930-х гг.: проекты и действительность // Вестн. // ДВО РАН. – 2006. – № 3. – С. 150.

туры и пролетарского творчества¹, как место, где трудящиеся будут восстанавливать физические силы, культурно развиваться и получать моральное удовлетворение².

До революции даже Преображенское кладбище было обнесено двухметровой стеной из кирпича с ажурной кованой решеткой по верху. Центральная аллея, которая вела к церкви, еще в 1920-х гг. была заасфальтированной³. Но после Гражданской войны томики массово обнищали и уже не имели возможности устанавливать на могилах своих близких дорогие, искусно оформленные надгробия. Кроме того, безусловно, военно-революционные потрясения вели к упадку морали. В результате от хулиганов страдали погосты и кладбища. Участились случаи мародерства и дерзкого вандализма. Прежде всего, разграбляли погребения некогда состоятельных людей – именно их близкие некогда могли позволить себе кованые решетки оградок и мраморные памятники. В действиях многих вандалов присутствовал оттенок доведенного до абсурда революционного максимализма. Вандалы разрушали и выбрасывали на дорогу венки, выворачивали и опрокидывали могильные плиты, ломали и били каменные украшения. По словам газетчиков, с наступлением летнего времени томские кладбища превращались в «хулиганские притоны»⁴. Эта проблема была общей для Западной Сибири. Здесь, как и по всей стране, переживавшей социально-культурные трудности послевоенного времени, власть сквозь пальцы смотрела на разрушение мест, связанных с коллективной памятью о «бывших».

Безусловно, на состоянии томских кладбищ сказывалась советская политика памяти, более выраженная и отчетливее направленная на исторический некрополь, нежели политика царского правительства. В изучении и сохранении исторического некрополя провинциальных городов монархическая власть проявила заинтересованность лишь в начале XX в. Собранные некрополистами материалы так и не были внятно использованы в идеологических целях. Сохранение исторического некрополя Томска к началу XX в. стоит признать заслугой церкви, университета, общественных организаций и, конечно, отдельных семей. Большевицкая политика памяти проявлялась последовательнее. Отчасти это было связано с тем, что Томск, как и другие города Западной Сибири, стал одним из эпицентров Гражданской войны: здесь лилась кровь, происходили пере-

¹ Я. Московский парк культуры и отдыха // Коммунальное хозяйство. – 1928. – № 11/12. – С. 20–22.

² Парк культуры и отдыха // Коммунальное хозяйство. – 1929. – № 7/8. – С. 23.

³ Славнин В. Д. Указ. соч. – С. 199.

⁴ Безобразия на кладбище // Красное знамя. – 1926. – 17 мая.

становки власти, действовало подполье. Сибиряки не со стороны наблюдали за войной, а были ее активными участниками. Война шла и в коммеморативной сфере. В похоронах «жертв красного террора» на монастырских кладбищах отразилась борьба диктатуры Колчака за самолегитимацию, попытка конструировать свою героическую историю, создавая репрезентации собственного наследия. То же делали позже и большевики. При этом коммеморативные инициативы в значительной степени исходили от рядовых большевиков и их близких. Соперничество между разными политическими силами в экспансии на территории монастырских кладбищ, которые к тому времени концентрировали память о наиболее значимых для томичей персонах, означало стремление овладеть ландшафтом коллективной памяти и в конечном итоге умами и сердцами жителей этого города. Окрепнув, советская власть уже не видела смысла бороться за место на старом кладбище, отражавшем сложные реалии социально-политической жизни страны нескольких последних десятилетий. С укреплением сталинского режима от старых могил стало возможным избавиться радикально и окончательно. В середине 1920-х гг. переосмыслялась отечественная история, насаждался большевистский исторический нарратив, очернявший прошлое. Этот процесс сопровождал борьбу с инакомыслием, с вариативностью исторической памяти общества.

Центральным памятным местом героического революционного некрополя Томска стала братская могила на бывшей Новособорной площади, о которой речь пойдет отдельно. Одиночные «коммунистические» могилы на старых кладбищах дополняли этот некрополь в начале 1920-х гг. Однако в условиях разрухи этой «второстепенной» части некрополя местные власти практически не уделяли внимания. Забота об этих памятных местах была уделом «простых» томичей, которые могли и не поддерживать большевиков. Будучи, прежде всего, памятными местами отдельных семей и малых неформальных сообществ, такие могилы не интересовали горсовет всерьез. «Расправа» с историческим некрополем, которую горсовет объяснял хозяйственными причинами, выражала ориентир культуры эпохи сталинизма на будущее, а не на прошлое, особенно в тех его сегментах, которые не представлялись полезными с точки зрения идеологии. В акте уничтожения кладбищ проявилось стремление перечеркнуть «неудобное», обесценившееся прошлое и сконструировать новое. Для местных властей старые кладбища не имели аксиологического смысла. В разрушении некрополя проявилось и бескультурье хозяйственников, их высокомерное и категорично отрицательное отношение к доводам

томской интеллигенции, пытавшейся отстоять некрополь. Драматизм ситуации состоял в том, что объект культурного наследия был отдан в распоряжение коммунальщиков, которые не могли оценить его духовного значения.

Страна менялась, а старые томские кладбища длительное время существовали преимущественно в рамках традиции, сложившейся до революции. Собственно, статичность кладбищенского бытия и являлась основной причиной «нападок» на старые кладбища Томска. После восстановления советской власти ввиду высокой платы за могильное место на престижных монастырских погостах, достигавшей в 1922 г. 800 р., погребения здесь осуществлялись единично. Так, в 1922–1923 гг. на обоих кладбищах было совершено только 31 погребение¹. Стоит учесть и то, что при монастырях была упокоена старая элита, которая не могла вызывать симпатий новой власти. Однако сразу после Гражданской войны советская власть еще не определилась с местом нового почетного кладбища, подходящего для захоронения героев наставшей эпохи. Поэтому монастырские погосты могли в некоторых случаях послужить для погребения тех, чьи заслуги пред обществом советская власть в начале 1920-х гг. признала.

К примеру, в 1920 г. скончался исследователь Монголии и Китая, путешественник, почетный гражданин Томска и Сибири, один из лидеров сибирского областничества Г. Н. Потанин. Его останки с почестями похоронили на кладбище женского Иоанно-Предтеченского монастыря, среди могил других выдающихся представителей томской интеллигенции. Позже его тело было перенесено в университетскую рощу (см. Прил., рис. 6). Краевед В. Д. Славнин вспоминал, что «по соседству» с Г. Н. Потаниным покоились А. В. Адрианов – археолог, этнограф, музейщик, публицист, расстрелянный в марте 1920 г. большевиками и погребенный без официальных почестей (см. Прил., рис. 7), а также выдающийся хирург Э. Г. Салищев². Но, советская печать посмертно благодарилась лишь усопшего Потанина за его научную и писательскую деятельность³.

Хотя в 1920 г. монастыри были закрыты, монастырские кладбища еще несколько лет фактически продолжали действовать, о чем говорят траурные объявления⁴. На кладбище женского монастыря после Гражданской войны продолжали хоронить представителей старой томской элиты: интеллектуальной и коммерческой. Интересен пример похоро-

¹ ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 270. – Л. 1–31.

² Славнин В. Д. Томск сокровенный. – С. 201.

³ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 212.

⁴ [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 27 янв. и др.

рон на этом монастырском кладбище останков начальника службы пути Томской железной дороги В. А. Языкова (ум. в 1926 г)¹. Эти похороны были гражданскими, памятник – советским, несмотря на то, что кладбище располагалось при монастыре. Вероятно, Языков также должен был, по мнению близких, упокоиться рядом с его родными. Возможно и то, что по старой памяти близкие Языкова считали погребение именно на этом кладбище более престижным.

В 1920-х гг. массовые захоронения производились на двух кладбищах города: на Вознесенском и Преображенском. Если в предреволюционный период хоронить останки на Вознесенском кладбище можно было лишь по особым разрешениям, то в период с 1920 по 1928 г. здесь безо всяких особенных разрешений было предано земле внушительное количество тел усопших. Примечательно, что на Вознесенском кладбище упокоились многие медики – жертвы тифа². Используя численные данные по месяцам о количестве погребений на томских кладбищах за 1922–1923 гг., мы подсчитали, что на Вознесенском кладбище только за этот небольшой отрезок времени добавилось не менее 428 могил³. Объявления о похоронах, размещавшиеся в томских газетах, также позволяют сделать вывод о том, что и в последующие годы это кладбище активно заполнялось. В местных газетах за 1926 г. похороны на Вознесенском кладбище упоминались чаще других.

Последнее объявление о погребении усопшего на Вознесенском кладбище до его официального закрытия «Красное знамя» опубликовало 22 июня 1927 г., когда после отпевания в Богоявленской церкви похоронили останки томича С. Н. Глушкова. Позже, несмотря на то, что кладбище официально больше не действовало, хоронить здесь усопших жители Томска продолжали. Ежегодно от одного до шести объявлений о похоронах на этом официально закрытом кладбище фиксировала пресса на протяжении всего третьего десятилетия XX в. Вплоть до 1939 г. действовали отдельные кварталы Вознесенского кладбища, традиционно использовавшиеся религиозными группами и меньшинствами (католики, единоверцы).

По данным за 1922–1923 гг., активнее других использовалось Преображенское кладбище. За период с сентября 1922 по июль 1923 г. включительно на Преображенском

¹ [Объявление] // Красное знамя. – 1926. – 17 авг.

² Подробнее см.: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 113.

³ ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 270. – Л. 1–31.

кладбище было погребено в одиночных могилах не менее 657 усопших¹. В начале 1920-х гг. потребовалось расширение Преображенского кладбища. Кроме того, за его оградой в начале 1920-х гг. осуществлялись погребения умерших в братских могилах: не менее 505 человек за указанный выше отрезок времени². После закрытия Вознесенского и монастырских кладбищ фактически до Великой Отечественной войны Преображенское кладбище было в Томске основным. Стоит обратить внимание на целый ряд захоронений выдающихся томичей, которые скончались в 1920–1930-х гг. и были погребены на Преображенском кладбище. Это профессор медицинского факультета ТГУ К. А. Кытманов (ум. в 1925 г.)³; П. Н. Лашенков – также профессор ТГУ, ушедший из жизни в одном году с Кытмановым⁴. Стоит упомянуть и таких выдающихся людей, как чл.-кор. АН СССР, профессор ТГУ, ботаник, исследователь Сибири П. Н. Крылов (ум. в 1931 г.)⁵; декан строительного факультета Сибирского строительного института Г. В. Ульяновский (ум. в 1931 г.)⁶, профессор медицинского факультета ТГУ С. В. Лобанов (ум. в 1930 г.)⁷; профессор В. Н. Гутовский (ум. в 1933 г.), занимавший должность директора Сибирского института металлов, артист цирка, дрессировщик, основатель школы атлетов и учитель циркового искусства А. В. Лапидо (ум. в 1936 г.)⁸ и др.

В приведенном нами списке фигурирует в основном томская профессура. Такова специфика сохранившегося посредством газетных источников некрополя Томска 1920–1930-х гг. Это неслучайно. Историками уже замечено, что вузовская интеллигенция Томска в общей массе не разделяла политической позиции советской власти⁹. Однако до начала массовых репрессий профессура шла на деловое сотрудничество с властью, которая старалась всячески поощрять томских ученых. К установленным историками приемам такого поощрения относились: выдачи «академических пайков», назначение льгот, повышение заработной платы, награждение ученых путевками в санатории, избрание их в органы местной власти, присуждение им высоких званий, пышные празднования их юбилеев¹⁰. Добавим к этому списку и особое отношение власти к памяти усопших про-

¹ Там же.

² Там же.

³ [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 14 сент.

⁴ [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 29 апр.

⁵ [Объявление] // Красное знамя. – 1931. – 28 декабря.

⁶ [Объявление] // Красное знамя. – 1931. – 24 мая.

⁷ [Объявление] // Красное знамя. – 1930. – 27 июля.

⁸ Александр Васильевич Лапидо: [некролог] // Красное знамя. – 1936. – 26 окт.

⁹ Михеенков В. Г. Указ соч. – С. 20, 23, 34.

¹⁰ Литвинов А. В. Указ соч. – С. 18.

фессоров. Печать по заказу местных властей акцентировала внимание на смерти и погребении вузовской интеллигенции, публикуя многочисленные похоронные объявления и некрологи. Судя по объявлениям, похороны профессуры были пышными, сопровождалась политизированными панихидами, в ходе которых прославлялись заслуги усопших перед советской наукой. В результате интеллигенция должна была удовлетворяться данными коммеморациями, которые выражали благодарность усопшим за их труд и добродетели. Это практика ассоциируется с важной составляющей христианской культуры памяти, в традициях которой, несомненно, воспитывалась томская интеллигенция. Сами ученые и преподаватели активно участвовали в таких коммеморациях. Власть в подобных случаях имела собственную выгоду, повышая статусные характеристики «своего» некрополя памятью о наиболее образованных «советских» людях.

Однако не только томская профессура удостоивалась в данный период благодарностей и пышных проводов в последний путь. К числу людей, с почестями погребенных на Преображенском кладбище в 1930-х гг. и особенно отмеченных прессой, можно отнести, к примеру, ударника завода «Металлист» Г. С. Селиванова (ум. в 1931 г.)¹ и трагически погибшую женщину-следователя М. А. Байгулову (ум. в 1931 г.)². Печать выразила этим людям посмертное признание.

Хотя официально Преображенское кладбище не действовало с июля 1939 г., здесь, как и на закрытом Вознесенском кладбище, продолжали хоронить умерших. Так, в конце 1939 г. земле этого могильника с почестями предали тело академика М. А. Усова³. Видимо, хоронить такого выдающегося человека на новом кладбище, не имеющем мемориального статуса, общественность посчитала недостойным (позже останки академика были перенесены). Возможно, захоронение академика на официально закрытом кладбище было обусловлено желанием его семьи. В 1940 г. «Рабочий путь» опубликовал еще три объявления о похоронах на «бывшем Преображенском кладбище». В 1939 г. открылось Северное кладбище за станцией Томск-2 и Южное (Коларовское) кладбище⁴.

До нас не дошли источники, которые могли бы свидетельствовать об одномоментном уничтожении надгробных памятников на территории старых томских кладбищ, не планировалось на их месте и разбивки парков, как в Новосибирске и Барнауле. «Быв-

¹ [Объявление] // Красное знамя. – 1931. – 21 марта.

² Мария Байгулова: [некролог] // Красное знамя. – 1931. – 14 авг.; [Объявление] // Красное знамя. – 1931. – 14 авг.

³ Академик Михаил Антонович Усов: [некролог] // Красное знамя. – 1939. – 30 июля.

⁴ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 7.

шие» кладбища постепенно застраивались жилыми домами и заводскими корпусами, на месте кладбища Иоанно-Предтеченского монастыря вырос студенческий городок. В 1930-х гг. поверженные памятники и могильные плиты Горкомхоз, как и в других городах, продавал обывателям на их хозяйственные нужды.

Нами также зафиксированы случаи погребения отдельных лиц в ограде старинной Воскресенской церкви (см. Прил., рис. 8). С дореволюционного периода там до сих пор лежит могильная плита купца-благотворителя А. А. Васильева (см. Прил., рис. 9). После революции было официально запрещено хоронить усопших в ограде кафедрального Троицкого собора, у часовни Иверской Божьей матери, на территории монастырей¹. Но этот запрет, видимо, не коснулся других церквей. В начале 1920-х гг. место у церкви можно было купить. Нами зафиксирован такой случай приобретения могильного места у Воскресенской церкви за 15 тыс. р. в 1923 г.² Интересно, что на Воскресенском погосте при церкви похоронили в 1924 г. кандидата в члены партии С. И. Тимофеева³. Как и в случае похорон на монастырском кладбище лиц, солидарных (возможно, лишь внешне) с советской властью, ритуал прощания с Тимофеевым был гражданским. Однако такой порядок вовсе не парадоксален для начала 1920-х и даже для 1930-х гг. Примеры захоронений большевиков у подножий храмов многочисленны, они встречаются повсеместно. К примеру, в некогда почетных кварталах при храме Николая Чудотворца на Никольском кладбище, расположенном на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, до сих пор сохранились могилы тех, кого советская власть чтит как героев и выдающихся людей. В сознании того поколения место при церкви оставалось особенно почетным (см. Прил., рис. 10). Кроме того, размещая «свои» могилы среди могил старой элиты, большевики пытались вытеснить коллективную память об этой элите. В газетах за 1930-е гг. изредка встречаются объявления о погребениях на Воскресенском кладбище (видимо, на погосте при Воскресенской церкви)⁴.

В 1920-х гг. кладбища, в соответствии с дореволюционной традицией, все еще делились по религиозному признаку на обособленные части. Старое Преображенское кладбище, спланированное в дореволюционный период, сохранило признаки этого деления и в 1930-х гг. Самыми большими из религиозных участков оставались православ-

¹ Привалихин С. Указ. соч. – С. 106.

² ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 270. – Л. 8.

³ [Объявление] // Красное знамя. – 1924. – 26 сент.

⁴ [Объявление] // Красное знамя. – 1932. – 15 марта.

ные. К Вознесенскому православному кладбищу примыкали небольшие Лютеранское, Старообрядческое (Староверческое), Католическое, Иудейское, Единоверческое и Магометанское кладбища, где в начале 1920-х гг. осуществлялись единичные погребения¹. Обрядовая специфика оформления этих могил отвечала религиозным традициям. К примеру, по наблюдению историка Т. Г. Недзелюк, польские католические кладбища делились центральной дорожкой на две части, усопших хоронили ногами к дороге, получалось, что часть из них лежит головой на восток, другая часть – головой на запад; в изголовье могилы устанавливали четырехконечный крест². Рядом с Преображенским кладбищем располагались еще одно Лютеранское и Магометанское кладбища. Со временем под действием антирелигиозной пропаганды весь этот комплекс могильников стали называть обобщенно Преображенским кладбищем.

В 1920-х гг., как и до революции, сохранилось традиционное ранжирование могил по трем «разрядам». Наиболее престижным, соответственно, и более дорогостоящим считалось погребение первого разряда, которое стоило в три раза дороже «третьеразрядного» могильного места. Обычно в братских могилах хоронили бесплатно, однако иногда с бедняков, которые не могли позволить себе достойные похороны, взималась небольшая плата (5–10 р.)³.

В Томске еще оставалось множество старинных надгробий из резного камня и металла. Дореволюционные томские некрополисты описывали виды надгробий: плита из точильного камня, мраморный памятник, чугунная плита, чугунный крест и т. п. Некрополисты зафиксировали существование на могилах богатых купцов С. С. Ваглюсова, Е. Н. Кухтерина и Ф. Х. Пушникова мраморных часовен⁴. Надгробия были разнообразными, но наиболее распространенной формой надгробия являлся деревянный крест, предпочтение которому многие обыватели отдавали и в межвоенные годы. В религиозном понимании кладбище оставалось святым местом. В православной традиции крест в качестве надгробного знака напоминает живым о неизбежности смерти и бренности земной жизни, о вечности мироздания и бессмертии души, о добродетелях и заслугах усопшего, о необходимости молиться за него. Также крест традиционно выражает бла-

¹ ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 270. – Л. 8.

² Недзелюк Т. Г. Указ. соч. – С. 114–115.

³ ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 270. – Л. 8.

⁴ Томский некрополь: по документам фонда великого князя... – С. 23–26.

годарность живых усопшему за его земные заслуги¹. Крест так многозначен и ценен для христиан, что многие не могли отказаться от этой формы надгробия, как и от отпевания покойных.

Нововведением советского времени стали могильные памятники в виде пирамидок, увенчанных пятиконечными звездами. Эта форма надгробного памятника, символически противостоявшего христианскому пониманию смерти, была связана с художественными традициями классицизма революционной Франции и гражданским отношением к погребальной атрибутике.

Складывается впечатление, что известие о предстоящем закрытии Вознесенского кладбища, как и Преображенского, не останавливало томичей, желавших похоронить своих близких именно там. Сказывалось традиционное стремление к формированию семейных некрополей, символически воссоединявших супругов и родственников после кончины. Скорее всего, многие жители города не ожидали, что официально закрытые кладбища так скоро будут подвергнуты разрушению. Главным аргументом обывательской логики в пользу похорон на закрытом кладбище оставалось удобство посещения могил, находящихся в одном месте, и расчет на то, что в ближайшие годы старые кладбища все равно не исчезнут.

Как мы уже заметили, в Томске 1920-х гг. сохранилась традиция погребения умерших на погостах при церквях. Однако таким традиционным способом было невозможно выделить могилу выдающегося человека, умершего при советской власти, да еще и выражавшего критическое отношение к православной церкви. Поэтому, отталкиваясь от уже сложившейся традиции, томичи избрали альтернативный вариант почетного погребения, прежде не практиковавшийся в городах Западной Сибири. В 1926 г. умер известный просветитель и книжник, бывший предприниматель, почетный гражданин Томска и Сибири П. И. Макушин. Благодаря этому человеку в Томске было основано первое просветительское общество, открыт первый книжный магазин, первая библиотека. На его средства был построен и Дом науки, который сам Макушин хотел видеть народным университетом. Эта мечта исполнилась незадолго до его смерти. Именно в ограде Дома науки и был по собственному завещанию погребен П. И. Макушин после кончины.

¹ Святославский А. В. Традиция памяти в православии. – М., 2004. – С. 95.

Он сам придумал символическую форму собственного надгробия – вертикально поставленную рельсу с закрепленным на ее верхушке фонарем¹. Еще до революции в оформлении надгробий выдающихся представителей определенных профессий использовались символические изображения профессиональных атрибутов: книг на надгробиях писателей, оружия у военных и т. п.² Фонарь на могиле П. И. Макушина, несомненно, символизировал просвещение. Сложнее интерпретировать рельсу: вероятнее всего, она означала технический и культурный общественный прогресс. Однако для Петра Ивановича, исколесившего тысячи верст по России в качестве миссионера и просветителя, рельса могла означать буквально и все эти дороги, а фигурально – тяжелый, но верный путь распространения знания и культуры. Для Макушина, боровшегося за просвещение масс, Дом науки в самом деле был храмом. Петра Ивановича, как и томских купцов, жертвовавших средства на строительство церквей, хоронили у стен его «детища». В день годовщины смерти тело П. И. Макушина было перенесено в склеп, сооруженный в усадьбе Дома науки³. Это событие отвечало еще дореволюционной традиции, согласно которой открытие памятников и обновление монументов приурочивается к памятным датам, с ними связанными. Пройдет всего несколько лет, изменится внутренняя политика советского государства, с позиции местных органов власти П. И. Макушин станет антигероем истории Томска, и эта знаковая могила придет в запустение. Памятник в виде рельсы, увенчанной фонарем, до настоящего времени не сохранился (см. Прил., рис. 11–12).

После Гражданской войны появилось Коммунистическое (Партийное) кладбище – новый, отдельный участок Преображенского. Здесь, в частности, упокоились сельский педагог С. М. Тепляшина (ум. в 1924 г.)⁴; председатель месткома строительной конторы № 6 Т. В. Костриков (ум. в 1924 г.)⁵; управляющий отделения Госбанка в Петропавловске Г. П. Моисеевский (ум. в 1929 г.)⁶ и др. Отведение особого участка на кладбище для могил коммунистов и представителей советской номенклатуры, как людей «новой веры» укладывается в традиционную логику, хотя и выглядит внешне нововведением. Нельзя сказать, что в Томске четко соблюдалось правило хоронить коммунистов на

¹ Последняя просьба П. И. Макушина // Красное знамя. – 1926. – 6 июня.

² Ермонская В. В. Указ. соч. – С. 19.

³ Памятник П. И. Макушину // Красное знамя. – 1927. – 2 июня.

⁴ Томский некрополь: списки и некрологи погребенных... – С. 221.

⁵ Там же. – С. 228.

⁶ Там же. – С. 239.

Партийном кладбище. В 1920-х гг. земле Вознесенского кладбища также предавали тела умерших большевиков, красноармейцев и советских служащих. Однако общая масса дореволюционных и современных могил с крестами на Вознесенском кладбище, по всей вероятности, раздражала советскую власть, которая все более тенденциозно стремилась к избавлению от памяти об антигероях большевистского исторического нарратива. К концу 1920-х гг. исторический некрополь Томска был фактически разрушен. Уже само фактически одномоментное закрытие и уничтожение старых кладбищ выглядит инновацией в истории некрополя городов Западной Сибири.

Принципиально важен вопрос рецепции жителями Томска старых кладбищ и процессов их разрушения. В условиях разгула вандализма начала 1920-х гг. дело доходило до того, что местные жители самостоятельно устраивали облавы на хулиганов и избивали их, не дожидаясь помощи со стороны милиции. По всей видимости, традиционное отношение к кладбищу как святому месту побуждало городских жителей защищать могилы земляков от вандалов.

Если простые обыватели били вандалов, то интеллигенция пыталась законными методами защищать отдельные, наиболее значимые с точки зрения ее коллективной памяти могилы. Так, в 1929–1930 гг. директор краеведческого музея М. Б. Шатилов неоднократно делал запросы в Главнауку Народного комиссариата просвещения и Томский городской отдел коммунального хозяйства по поводу сохранения могил профессоров Э. Г. Салищева и Д. И. Тимофеевского, областника Г. Н. Потанина и писателя Н. И. Наумова на кладбище бывшего женского монастыря, а также часовни, украшавшей могилу старца Федора Кузьмича¹. На свои письма М. Б. Шатилов получил категорический отказ, мотивированный отсутствием исторической ценности этих объектов². Столкнувшись с упорным стремлением представителей местных органов власти уничтожить старые кладбища, уже в канун своего ареста пытался хоть как-то сохранить память о могилах выдающихся томичей. Он составлял схемы расположения отдельных погребений на Вознесенском кладбище и описывал внешний облик отдельных надгробий. Эти записи (вероятно, не в полном объеме) сохранились в музейном архиве³.

Публикации томского историка архитектуры А. М. Прибытковой-Фроловой, относящиеся к середине 1920-х гг. дают пример восприятия старого кладбища при Алексеев-

¹ Андреева Е. А. Указ. соч. – С. 69.

² ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 51.

³ Там же. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 51.

ском монастыре, как поэтического и интригующего места¹. В Томске 20-х гг. сохраняла популярность легенды о Федоре Кузьмиче, живший в усадьбе томского купца С. Ф. Хромова. Могила старца на кладбище Алексеевского монастыря почиталась многими томичами как святое место со второй половины XIX в.² Уже в 1920-х гг., опираясь на воспоминания краеведов старшего поколения, В. Д. Славнин сообщал, что Федором Кузьмичем интересовались, прежде всего, мещане и купцы, среди интеллигенции середины XIX в. он не был известен. Память старца лелеял настоятель мужского монастыря Иона. В 1920-х гг. поток паломников к часовне не иссякал, потянулись к ней и экскурсанты. Экскурсии были разными: краеведческими и атеистическими³. Неоднократно жители Томска и его округа рассказывали о чудесных видениях самого старца, происходивших как во сне, так и наяву. Источники говорят о том, что чудеса продолжались и в 1920-е гг. К примеру, старец являлся бывшим монахам Алексеевского монастыря незадолго до их расстрела. По мнению историка М. М. Громыко, эти явления были реальными и «служили укреплению людей в вере в обстановке разгула темных сил»⁴. Однако заметим, что чудеса, реальность которых все-таки недоказуема, «обросли» слухами и стали достоянием местного фольклора.

М. М. Громыко не обратила внимания на газетные публикации начала 1920-х гг. в «Красном знамени» и «Советской Сибири», отражающие слухи, ходившие в Томске о Федоре Кузьмиче, поднявшемся из могилы⁵. Печать дает понять, что в 1920-х гг. томичи оценивали увиденное неоднозначно: они трактовали его или как чудесное видение, или как привидение. Молва и газеты превратили старца в призрачного, воинственного, но справедливого мстителя разрушителям могил и осквернителям памяти предков. Из газетных материалов понятно, что к 1924 г., несмотря на радикальную политику памяти советской власти, Федор Кузьмич – герой, подлежащий несомненной дискредитации, был еще живым коллективным воспоминанием для разных групп городского сообщества томичей. Ясно и то, что «проработка памяти» о Федоре Кузьмиче была частью программы по дискредитации героев царской и православной России как общегосударственного, так и локального масштаба. Нами замечено, что одним из общих приемов дискредитации памяти о «старых» героях была деконкретизация сведений о них в пуб-

¹ Пибыткова-Фролова А. М. Указ. соч. – С. 54.

² Громыко М. М. Указ. соч. – С. 400, 415.

³ Славнин В. Д. Указ. соч. – С. 193.

⁴ Там же. – С. 428.

⁵ Прodelки шарлатанов и легковерие дураков // Красное знамя. – 1924. – 17 авг.

лицистических и художественных текстах. Образ неясного призрака-старца хорошо подходил для этих целей. Видимо, поэтому газетчики воспользовались городскими слухами, которые показались им удобными с точки зрения актуальных задач антирелигиозной пропаганды. Прием высмеивания старых героев также был рассчитан на развенчание легенды, жизнь которой, видимо, имела реальное фольклорное продолжение. Смех должен был уничтожить веру в легенду. Эту же цель преследовали газетчики, предлагая рациональные объяснения появлений призрака «мистификацией попов» и хулиганством. Наконец, грубые выражения в адрес тех, кто верит слухам, и оскорбления должны были подействовать как угроза на тех, кто еще сомневался в правоте газеты.

По нашему мнению, появление слухов о «гуляющем мертвце» имело сложную природу. Помимо чудесных видений образа старца, на которых настаивает М. М. Громыко, эти слухи базировались на архетипической основе народного сознания, на фольклорных традициях, а также на традициях русской литературы и готического литературного нарратива Западной Европы. Фигура Федора Кузьмича уже стала достоянием культурной памяти. Философ А. П. Назертян считает, что архетип «восставшего покойника» и сопряженный с ним иррациональный страх посмертного мщения старше, чем все другие человеческие страхи, которые связаны со смертью. Образ мертвца с признаками произвольного поведения, по мнению Назертяна, уходит корнями в чрезвычайно глубокую древность, когда механизмы духовной культуры только формировались. С другой стороны, с древнейших времен существует культ предков – защитников и покровителей рода. Будет мертвый вредить или помогать живым, зависит, прежде всего, от поведения и отношения живых к умершему¹.

Непочтительное отношение советской власти к памяти старца Федора Кузьмича и множества других, прежде высокочтимых, персон стало очевидным для всего Томска, в результате чего коллективное бессознательное актуализировало архетип «восставшего покойника». Пресса фиксировала ночное паломничество к старому кладбищу и «недалеких» ротозеев, и образованных людей, еще до революции читавших в библиотеке, созданной П. И. Макушиным, мистические произведения А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, В. Скотта и Ч. Диккенса. По воспоминаниям В. Д. Славнина, в конце 1920-х гг. в Томске вновь заговорили о том, что Федор Кузьмич «является». Некоторые томичи посчитали, что эти слухи спровоцировали «органы», чтобы окончательно избавиться от надоевшей

¹ Назертян А. П. Указ. соч. – С. 75.

святыни. Разрушение часовни на могиле старца произошло в одну из ночей 1930 г. В дальнейшем могила старца была обращена в выгребную яму, однако сами мощи остались нетронутыми¹.

С одной стороны, в Томске 1930-х гг. жили люди, безразличные к судьбе исторического некрополя, сыпавшие мусор на старые могилы и кравшие надгробия для личных хозяйственных нужд. Но, с другой стороны, официально закрытые томские кладбища ужасали многих местных жителей картиной «разградия» и «мерзости запустения». В частности, интеллигенция тяжело переживала оскорбление семейной памяти и памяти о людях, некогда уважаемых в кругах образованных людей. Многие томчии еще долго продолжали посещать старые кладбища, превратившиеся в руины.

По воспоминаниям краеведа В. Д. Славнина, его отец, решивший найти могилы родителей на старом Переображенском кладбище в начале 1950-х гг., лишь приблизительно вышел к месту их упокоения, «увиденное довело отца до слез и обострения болезни»². Похожие чувства, по свидетельству В. Д. Славнина, испытал также краевед А. А. Адрианов (сын А. В. Адрианова), репрессированный в 1935 г., вернувшийся в Томск в середине 1950-х гг. и пришедший на кладбище «поклониться родным могилам», которые оказались совершенно разрушенными³.

Итак, история томского некрополя межвоенных лет демонстрирует радикальный вариант реализации советской политики памяти в стране. В качестве субъекта политики памяти, отразившейся на состоянии исторического некрополя, выступали, прежде всего, органы законодательной власти, постановления которых регулировали кладбищенское хозяйство. Но, местные томские власти не получали из Москвы каких-либо четких инструкций, как поступать со старыми кладбищами. Они лишь ориентировались на общие рекомендации и правила. Поэтому именно местные члены горсовета и коммунальщики выступили в данном случае основными акторами советской политики памяти. От их решений зависела реализация политики памяти в конкретном случае. По их инициативе и с их допущения старые кладбища не только закрывали с тем, что бы прекратить захоронения на переполненных участках, но и оскверняли: коммунальные службы сносили надгробные памятники без учета даже их художественной ценности, бытовой вандализм никак не наказывался. Идеи советских градостроителей и гигиенистов не нашли в Том-

¹ Славнин В. Д. Указ. соч. – С. 194.

² Там же. – С. 198.

³ Там же. – С. 203.

ске после закрытия старых кладбищ и малейшего воплощения. Было ли дело в отсутствии необходимых средств в бюджете города, административное значение которого постепенно снижалось, или просто томские чиновники не были достаточно просвещенными в новейших градоустроительных теориях, остается не ясным до конца.

Однако, в университетском Томске – городе с развитой по меркам начала XX в. краеведческой традицией, в городе двух православных монастырей, ставшем также культурным центром для иных конфессиональных групп, разрушение некрополя стало ощутимой потерей, осознаваемой, прежде всего, интеллигенцией и верующими людьми, которые дорожили могилами предков. Попытки игнорировать закрытие кладбищ и продолжать погребения там, где официально это уже не разрешалось, а также осуществлять погребения при храмах, свидетельствуют о приверженности многих томичей дореволюционным традициям некрокультуры.

По нашему мнению, не случайно на рубеже XX–XIX вв. именно в Томске наиболее активно по меркам Сибири начала возрождаться историческая некрополистика. Неслучайно и то, что именно Томский университет стал центром соответствующих исследований. Память о томской профессуре и других персонах, посмертно почитавшихся томичами в прошлом, не угасла в советский период окончательно. В частности, это подтверждается краеведческими работами В. Д. Славнина и С. В. Привалихиной, громко заявлявшими на рубеже веков о необходимости вернуть Томску его исторический некрополь¹. Это подтверждается фактом канонизации православной церковью старца Федора Кузьмича (местночтимый святой Федор Томский). Фактически современная томская интеллигенция обратилась к делу описания городского некрополя с использованием методов дореволюционной некрополистики, что, на наш взгляд, свидетельствует о потребности продолжить прерванный под воздействием агрессивной советской политики процесс конструирования локальной идентичности в варианте, близком тому, что был актуален до революции.

¹ См. подробнее: Красильникова Е. И. Пляски на костях: разрушение исторического некрополя Западной Сибири в памяти разных поколений // Сибирские огни. – 2015. – С. 174–184.

2.2. Городские кладбища Новониколаевска-Новосибирска

К концу Гражданской войны в Новосибирске функционировало три кладбища. Первое и старейшее из них – Воскресенское – было открыто на кабинетских землях в 1896 г. по просьбе жителей Новониколаевского поселка (статус безуездного города этот населенный пункт получил только в конце 1903 г.). К середине указанного 1896 г. в Новониколаевском поселке уже проживало более 8 тыс. человек, потребность в наличии своего кладбища стояла остро, поскольку новониколаевцы были вынуждены пользоваться кладбищами окрестных деревень¹. Первое кладбище города со временем стали называть Старым городским. В 1907 г., согласно православной традиции, построили и освятили кладбищенскую Воскресенскую церковь² (см. Прил., рис. 13–14). По названию церкви с этой поры именовали и погост. К середине первого десятилетия XX в. в прессе и на уровне городского самоуправления стал обсуждаться вопрос о закрытии Старого кладбища³. К этому времени по причине активной застройки территории, выделенной Новониколаевску, Воскресенское кладбище оказалось практически в центре. На соседних улицах строили кирпичные особняки местные богачи, не желавшие соседства их усадеб с кладбищенской ледянкой, наполненной мухами, переносящими заразу. Соседство с кладбищем местные жители считали неблагоприятным с санитарной и эстетической точек зрения. Полиция указывала на то, что кладбище является местом сходов преступников. После продолжительных дебатов кладбище частично закрыли, сохранив небольшой погост возле церкви для погребения усопших священнослужителей и состоятельных людей, заранее «выкупивших места на кладбище». Этот погост был окончательно ликвидирован предположительно в 1924 г.

В 1900 г. близ первого православного храма города – собора Александра Невского появилась могила инженера-путейца, руководившего строительством собора и скоропо-

¹ РГИА. – Ф. 468. – Оп. 23. – Д. 1082. – Л. 2.

² Шабунин Е. А. Указ. соч. – С. 33.

³ Почетное кладбище // Обская жизнь. – 1912. – 20 апр.; [Хроника] // Сибирская новь. – 1913. – 4 авг., и др.

стижно скончавшегося «от удара» – Н. М. Тихомирова. Этот человек был хорошо известен местным жителям, на его похороны собралась многолюдная толпа, а могила стала одним из первых памятных мест Новониколаевска, связанным с формировавшимся локальным компонентом коллективной памяти жителей поселка¹ (см. Прил., рис.15).

В 1911 г. официально открылись два новых кладбища, находившиеся за пределами городской черты. Одно, располагавшееся по Каменской дороге за Граничной улицей, получило название Нового городского (в дальнейшем известно также как Успенское). Его открытие планировалось с 1906 г. Уже в 1907 г. здесь неофициально появился небольшой могильник, который в дальнейшем стали называть Старым русским кладбищем. Второе кладбище открыли на окраине Закаменской части города, на меже надела крестьян деревни Усть-Ини². По местоположению его называли Закаменским.

Воскресенский погост в канун военно-революционных потрясений, несомненно, являлся элитной частью новониколаевского некрополя. Видимо, близ Воскресенской церкви были упокоены останки местных дворян (Абаринины, Байковы, Е. П. Вержбицкая, А. И. Жалиховский³ и др.); почетных граждан и их детей, среди которых особенно обращают на себя внимание могилы известной благотворительной деятельностью купчихи Е. И. Жернаковой (ум. в 1911 г.)⁴ и крупного предпринимателя, мукомола И. М. Луканина (ум. в 1916 г.)⁵. На Воскресенском кладбище имелись также могилы купцов и духовных лиц⁶. В первые два десятилетия существования города здесь также погребены останки многочисленных крестьян и мещан – выходцев чуть ли не из всех губерний Российской империи. Это объясняется тем, что в Новониколаевске не было коренного населения, его «первожителями» становились строители моста через Обь, железнодорожные рабочие, мелкие предприниматели, рассчитывавшие на хорошие заработки в быстро развивавшемся транспортном узле, крестьяне-переселенцы, многочисленные криминальные элементы и т. п.

Новое городское кладбище, которое тоже быстро заполнялось, в 10-х гг. XX в. изначально использовали преимущественно люди «низкого» социального происхождения, однако и здесь появлялись могилы дворян (П. В. Вельможин, Е. Я. Пучеглазов,

¹ См. подробнее: Косякова Е. [Красильникова Е. И.] Божья нива // Новосибирский некрополь. – С. 24–25.

² Корсакова М. И. Указ. соч. – С. 325.

³ См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 113.

⁴ ГАНУ. – Ф. Д. 156. – Оп. 1. – Д. 2725. – Л. 343.

⁵ [Объявление] // Алтайское дело. – 1917. – 7 февр.

⁶ См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить, нельзя забыть? – С. 113–114.

М. П. Русанов), а также и купеческие могилы (И. Т. Суриков, А. Н. Удадова)¹. Здесь также имелись захоронения интеллигентов, внесших вклад в социальное развитие Новониколаевска, например, первых городских врачей В. Ф. Сосунова (ум. в 1913 г.)² и В. И. Масмана (ум. в 1913 г.)³. С началом Первой мировой войны Новое кладбище стало также местом погребения воинов, умерших от ран в лазаретах Новониколаевска и беженцев из западных губерний империи, попавших в зону боевых действий⁴.

Закаменское кладбище, расположенное на окраине беднейшей части города, использовалось преимущественно малообеспеченным местным населением – вчерашними крестьянами, чернорабочими, грузчиками, мелкими кустарями. Здесь также имелось немало захоронений мещан, перебравшихся в Новониколаевск из Колывани. Контингент лиц, нашедших упокоение на этом кладбище, в 20–30-х гг. XX в. изменился несущественно.

В 1908 г. городская управа выделила также участок под Магометанское (Татарское, Узбекское) кладбище близ Татарской слободы (район современных ул. Татарской и Татарского спуска)⁵. Мы не располагаем данными о дореволюционных мусульманских погребениях, однако, вероятно, контингент захороненных здесь людей не особенно отличался от контингента 1920-х гг.: чернорабочие, мелкие торговцы, домашние хозяйки.

Кладбища Новониколаевска быстро росли вместе с самим городом. Однако составители дореволюционного «провинциального некрополя», работавшие по заданию великого князя Николая Михайловича, обошли их вниманием. Возможно, им казалось, что на погостах сибирского городка с короткой историей нет смысла искать могилы, которые могут заинтересовать великого князя. Однако с позиции современности досоветский некрополь Новониколаевска, безусловно, интересен. Он отражал социокультурную специфику города – транспортного узла и поприща предпринимателей. Пожалуй, в советское время большевики могли бы охарактеризовать новониколаевский некрополь как «буржуазный». Вероятно, наиболее красивые могильные памятники принадлежали дворянам и купцам, занятым торговлей и местным производством. Именно они могли расцениваться как местные достопримечательности.

¹ Там же. – С. 134.

² ГАНО. – Ф. Д-156. – Оп. 1. – Д. 2729. – Л. 155 об.

³ Там же. – Л. 168 об.

⁴ Подробнее см.: Красильникова Е. И. Беженцы из Белоруссии в сибирском городе Новониколаевске // Боевое братство славян на защите мира. – Гродно, 2012. – С. 83–87.

⁵ Новосибирский некрополь. – С. 175.

Однако и в Новониколаевске наметилась тенденция борьбы левых политических сил за символическое пространство погоста. К примеру, в воспоминаниях старого большевика И. И. Шеина, опубликованных в 1959 г., фигурировал сюжет о похоронах на Старом кладбище члена Обской группы РСДРП банковского служащего Абрама. В 1908 г. этот человек «погиб от случайного выстрела». Товарищи устроили ему демонстративные гражданские похороны, на кладбище состоялся митинг, могила стала символом рабочего движения¹.

В дальнейшем историческая судьба некрополя Новосибирска складывалась под влиянием тех же факторов, что и судьба томского некрополя. Однако некоторые обстоятельства все-таки заслуживают уточнения. Острейший демографический кризис, вызванный эпидемией тифа, охватившей Сибирь в конце 1919 – начале 1920 г., был выражен сильнее в Новониколаевске, чем в Томске. В Новониколаевске тиф выкосил почти половину населения. На улицах города, в санитарных вагонах на вокзале, в помещениях, переоборудованных под «ледянки», на территории кладбищ оказались брошенными десятки тысяч погибших, из которых лишь часть была опознана². Созданной в городе советской властью после отступления армии А. В. Колчака Чрезвычайной комиссией по борьбе с тифом (Чекатифу) стоило невероятных усилий «очистить» Новониколаевск от трупов. В 1933 г. «старый большевик» А. Денисов вспоминал: «Мы получили в наследство 62000 трупов. Могилы мы делали сразу на 8000 трупов, а потом заливали их известкой, чтобы не распространялась зараза. Частично сожгли их в гофмановых печах. Опускали туда трупы сверху через люк... В каждом доме почти были расположены белогвардейцы, в каждом доме был тиф. Чтобы не хоронить мертвых, жители закапывали их в снег, вывозя на улицу, больше на Базарную площадь. Выйдешь, а из снега то ноги торчат, то еще что-нибудь. Мы свозили их к Военному городку. Когда эти 62 тысячи были сложены в штабеля, то получилась колоссальная скала, горы настоящие. Это было что-то кошмарное»³. Другие мемуаристы называли это зрелище «целыми лесами штабелей из трупов»⁴. Мертвецов свозили и из эшелонов, которые на многие десятки километров растянулись вдоль железнодорожной линии. В эти вагоны были сгружены по-

¹ Шеин И. И. В рядах Обской группы РСДРП // Воспоминания о революционном Новосибирске. – С. 17.

² Подробнее см.: Красильникова Е. И. Жизнь в городе-акселерате. – С. 103–107.

³ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 3. – Д. 92. – Л. 104.

⁴ Там же. – Оп. 2. – Д. 557. – Л. 64.

гибшие солдаты армии Колчака, беженцы, пленные, партизаны. Разгружать такие вагоны приходилось вручную в ходе субботников, организованных Чекатифом¹.

Сначала умерших пытались закапывать в братских могилах, но рыть мерзлую землю оказалось слишком тяжело. Тогда трупы стали сжигать прямо на открытом воздухе, что вело к большим тратам дефицитного угля². В результате в здании кирпичного завода наспех оборудовали крематорий, где было предано огню огромное количество тел³. Для кремации использовались печи, которые ранее применялись для обжига кирпича. Этот опыт как «весьма остроумный» в 1925 г. был описан в журнале «Коммунальное дело», занимавшемся пропагандой кремации⁴. Несомненно, 1919–1921 гг. стали временем острейшего кризиса культуры погребения и памяти как в Новониколаевске, так и во всей Сибири. Видимо, пошатнулось традиционное восприятие самого кладбища как святого места. Теперь оно ассоциировалось с «кучами» трупов, тифозной заразой и гуманитарной катастрофой, в которой вынуждены были выживать любой ценой десятки тысяч человек.

На состоянии новосибирского некрополя, уцелевшего после разорения Воскресенского погоста, безусловно, сказались особенности демографической и социально-экономической ситуации в городе. «Сибирский Чикаго» быстро разрастался. В город приезжали все новые жители, многие из которых рассматривали Новосибирск в качестве временного пристанища. Если в 1921 г. население города составляло 62,7 тыс. человек, то в 1929 г. оно возросло до 141,2 тыс.⁵ К концу 1939 г. за счет промышленных строек и включения в городскую черту Новосибирска нескольких сельских поселений численность населения города возросла до 405,6 тыс. человек⁶. Хронически высокой была и смертность. Урбанизация и индустриализация сопровождалась маргинализацией населения, разрывом с традиционной сельской культурой, отдалением от «родной земли». Однако эти эффекты стали заметны в более далекой перспективе. В 1930-х гг. повседневную жизнь Новосибирска характеризует оттенок рурализации⁷. В 1929–1930 гг. в городской черте Новосибирска оказалось и несколько сельских кладбищ, которые однозначно планировалось снести. Ныне эти кладбища застроены преимущественно завод-

¹ Там же. – Л. 59–61.

² Там же. – Ф. Р-34. – Оп. 1. – Д. 82. – Л. 123.

³ Красильникова Е. И. Жизнь в городе-акселерате. – С. 103–104.

⁴ Бартель Г. О введении кремации в СССР // Коммунальное дело. – 1925. – № 4. – С. 29.

⁵ Букин С. С., Исаев В. И. Указ. соч. – С. 27–28.

⁶ Новосибирск, 100 лет: События. Люди. – С. 189.

⁷ Красильникова Е. И. Жизнь в городе-акселерате. – С. 219–220.

скими и больничными корпусами. Однако в 30-х гг. они еще являли собой островки традиционной сельской культуры в среде, охваченной урбанизацией. Городским же кладбищам, которые также во многом сохраняли традиционный вид, хронически недоставало благоустроенности и порядка. Старожилы вспоминают их неухоженный вид и заброшенные могилы.

Особую остроту имели в Новониколаевске и проблемы градоустройства. Этот город был еще очень молодым, но темпы и специфика его роста стали причинами всесторонней неблагоустроенности. Особенно не хватало Новониколаевску зелени, город буквально задыхался в пыли. Между тем, градоустроительная политика середины 1920-х гг. требовала активной работы над озеленением. Пропаганда призывала беречь каждое дерево. От местных коммунальных органов требовалось проведение «дня леса» под лозунгами: «Больше зелени в городах! Больше растительности!», «Развивайте и сохраняйте древесные насаждения!»¹. Согласно инструкции НКВД РСФСР «О проведении дня леса» в 1924 г. требовалось обратить внимание на уже существовавшие сады и привести их в «благоустроенное состояние»². Думается, именно в связи с обязанностью решать проблему озеленения Воскресенский погост в Новониколаевске был «переоборудован» в сад. В практическом смысле этот сад, появившийся на месте закрытого кладбища, был нужен коммунальщикам Новониколаевска для ежегодных отчетов о проведении дня леса.

Важно подчеркнуть и то, что Новониколаевск в изучаемый период стал региональной столицей. Это обязывало к формированию образцового городского пространства, среды, отвечавшей свежим градостроительным идеям. Город должен был также задавать тон идеологической работе в регионе, распространению и укоренению в общественном сознании советских ценностей. Мы считаем, что поэтому именно в Новосибирске начался процесс уничтожения исторического некрополя городов Западной Сибири, обусловленный советской политикой памяти. Первым от рук вандалов пострадал Воскресенский погост.

Нами замечено, что в полемике отечественных архитекторов и градостроителей первой половины 1920-х гг. образ кладбища нередко использовался сторонниками радикального обновления облика советских городов для того, чтобы подчеркнуть необходи-

¹ Земблукхтер М. День леса в городах // Коммунальное дело. – 1924. – № 3/4. – С. 25.

² Инструкция НКВД РСФСР «О проведении дня леса в текущем 1924 г.» // Коммунальное дело. – 1924. – № 3/4. – С. 30–31.

мость изживания старой эстетики и традиций. Например, на страницах журнала «Коммунальное хозяйство» была опубликована дискуссия между академиком А. В. Щусевым и его оппонентами. Щусев просил у Московского городского совета сохранить церковь Евпла на Мясницкой улице, объясняя свою позицию следующими доводами: «Москва – один из красивейших мировых центров, обязана она этим преимущественно своей старине. Отнимите у Москвы старину, и она делается одним из безобразных русских городов». Некто Н. Попов возразил академику: «Мясницкой не нужны ни церкви, ни больницы... Москва – не *кладбище* былой цивилизации, а колыбель нарастающей, новой пролетарской культуры, основанной на труде и знании»¹.

Разумеется, в дискуссиях между сторонниками и противниками сохранения памятников прошлых эпох обычно побеждали вторые. Быстрому разрушению некогда мемориального Воскресенского погоста способствовало и то обстоятельство, что это кладбище было фактически закрыто еще до революции, а официально действовавший небольшой погост («почетное» кладбище) уже не воспринимался советской властью как объект культурного наследия, более того, оно могло раздражать местных большевиков социальным составом контингента лиц, здесь погребенных. Тут практически не существовало могил, которые большевики могли бы причислить к героическому военно-революционному некрополю. Уничтожая Воскресенский погост, радикально настроенные новониколаевцы продолжали «бить буржуев и попов».

Разрушение некрополя классовых врагов можно признать продолжением революционной борьбы, в которую включалась и молодежь для ее политической социализации. Если поколение родителей воевало с еще живыми классовыми врагами, то поколению детей была дана также важная задача уничтожения памяти о врагах. По форме бой, в который вступили комсомольцы, был скорее безопасной для их жизни игрой, но, «играючи», ребята фактически лишали врага возможности оправдания в будущем. Уместно вспомнить христианское сравнение могилы с посеянным семенем, которое, когда придет время, прорастет вечной жизнью. Большевики не признавали этой религиозной мистики, но с материалистической позиции вражеские могилы могли восприниматься как опасные семена «сорняков» памяти. Даже те «враги» («попы» и «буржуи»), которые скончались задолго до революции, в результате этого погрома символически пополняли число побежденных, возвеличивая героизм большевиков в их собственных глазах. Важно, что

¹ Попов Н. (Сибиряк). Наш ответ академику Щусеву // Коммунальное хозяйство. – 1925. – № 23. – С. 47.

разрушителям некрополя пришлось «бороться» не только с могильными крестами и плитами. У них были также реальные, живые оппоненты, которые устроили много шума, но фактически не смогли оказать сопротивления. Для участников события это должно было означать еще одну революционную победу.

С точки зрения интерпретации политики памяти, повлиявшей на судьбу исторического некрополя в середине 1920-х гг., важно остановиться подробнее на том, как использовалась территория разрушенного Воскресенского кладбища в последующие годы. Как мы уже сказали, на его месте основали сад для досуга граждан и стадион. По нашему мнению, созданием парков «на костях» советская власть бросала максималистский вызов традиции, всему прошлому страны и народа. Действительно, на первый взгляд, парк становился символическим антиподом заброшенного погоста. Кладбищенская религиозная эстетика и реальная бесхозность, установившиеся на погостах, отвращали разработчиков проектов социалистических городов, которые должны были создать на месте этого «позора» пространство, где воплощаются идеалы безупречной санитарии и культурного досуга без участия церкви. Если погост должен был обращать мысли человека в вечность через переживание в памяти прошлого, то парк – к светлому будущему, уже частично наступившему здесь, в рукотворном оазисе советского города. Однако, при внешнем различии, между парком и кладбищем существует глубинная символическая связь, быть может, слабо осознанная советскими градоустроителями. Традиционно кладбище оформляется как цветущий сад, служащий напоминанием о трансцендентном и вечном христианском рае. Советский парк – это тоже, по сути, символ рая, но земного. Пространство сада, как кладбищенского, так и советского, ориентирует человека на совершенствование, которое необходимо для достижения рая, однако в первом случае речь идет о духовном росте, а во втором – о выполнении планов пятилеток. Таким образом, мы видим упрощение христианского культурного символа сада и его использование в идеологических целях.

Ранее мы уже кратко говорили о культурной политике СССР, являющейся контекстом разбивки садов на месте кладбищ. Вернемся к этой острой для Новониколаевска (Новосибирска) проблеме. Вообще, устройство городских садов как мест традиционных народных гуляний и развлечений началось в Сибири еще в середине XIX в. Первым и особенно заметным в культурной жизни региона был роскошный сад с озерами и островами, созданный томским золотопромышленником Ф. А. Гороховым. Сад украшался

фонтанами, скульптурами и ажурными беседками. Он вошел в историю как образчик невиданной до сих пор в Томске роскоши и одновременно пошлости. В саду гремела музыка, полыхали фейерверки, хозяин сада устраивал для своих гостей дорогостоящие званые обеды, где лилось рекой шампанское, подавались изысканные блюда. Этот сад был ориентирован, прежде всего, на состоятельных томичей, которых Горохов стремился убедить участвовать в его финансовых махинациях, демонстрируя неслыханное богатство и непревзойденную успешность предпринимателя¹. Гороховский сад остался бесподобным. В советское время его показную роскошь не могли не критиковать, но память об этом саде осталась актуальной, о чем свидетельствует хотя бы следующий факт: этому саду посвящался доклад, сделанный И. Д. Серебрянниковым в 1926 г. в краеведческом музее Томска².

Создание садов на месте старых погостов неправильно считать исключительно советской «традицией». К примеру, в конце XIX в. в Омске был разбит Санниковский сад на месте старинного Кадышевского кладбища. Уже в 30-х гг. XX в. сад реконструировали и переименовали в честь В. В. Куйбышева³. Не стоит идеализировать и отношение жителей сибирских городов XIX в. к некрополю. Как мы уже отмечали, советские археологи и строители неоднократно обнаруживали остатки старинных кладбищ в неожиданных местах. Территории этих погостов были попросту затоптаны или застроены, память о них практически стерлась.

В молодом городе начала XX в. Новониколаевске первые сады были основаны на прежде необжитых и нетронутых территориях. В их числе: общественный сад развлечений Александровский (более известный в народе как «Сосновка») и частный сад «Альгамбра» (был назван по аналогии с одним из московских садов). Гуляния в садах в выходные и праздничные дни были ориентированы на легкий отдых. Здесь устраивались танцы, выступали артисты, продавались напитки и снедь. С 1909 г. в «Альгамбре» работал театр «Яр», а в Александровском имелось театральное помещение для выступлений трупп гастролеров. Дореволюционный российский городской сад, как и сад европейский, был местом неформального общения, организованного и относительно безопасного времяпрепровождения, а также «необходимым оазисом в молохе больших городов»⁴.

¹ Томское купечество: краеведческий дайджест. – Томск, 2004. – С. 9–12; Адрианов А. В. Указ. соч. – С. 170–171.

² ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 32.

³ Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – С. 19.

⁴ Кухер К. Указ. соч. – С. 41.

Кроме того, в начале XX в., с распространением массовой культуры, городские сады, открытые по всей стране с конца апреля по сентябрь, оказывались «чуть ли не основными площадками, где получали постоянную прописку легкие жанры» музыкального и театрального искусства, столь доступные для массового восприятия¹. В духе этих практик в саду на месте Старого кладбища во второй половине 1920-х гг. выступали куплетисты, факиры, «летающие женщины» и другие балаганные артисты с заурядным, исключительно развлекательным репертуаром². Одновременно с Кладбищенским садом в Новосибирске существовал также сад с рестораном «Юпитер», посетителями которого являлись преимущественно нэпманы, кутившие здесь до поздней ночи³.

В годы Гражданской войны городские сады стали не только местом развлечений, но и одной из площадок, необходимых власти для установления коммуникации с местным сообществом через пропаганду. Так, в саду «Сосновка» проходил публичный судебный процесс над бароном Унгерном. Сад отныне рассматривался как удобное место для политических консультаций, дебатов и народного просвещения.

В период хозяйственной разрухи едва ли можно говорить о попытках наведения порядка на кладбищах, пришедших в глубокое запустение. По понятным социально-политическим причинам многие могилы оказались брошенными, территория гражданских кладбищ никем не облагораживалась. В 1920 г. деревья Старого кладбища вырубались по причине острого дровяного кризиса. Работы, нацеленные на благоустройство этих памятных мест, начались лишь с 1924 г. Новое и Закаменское кладбища вновь огораживались, с их территории удалялись засохшие деревья, формировались центральные аллеи⁴. В соответствии с дореволюционной традицией сохранялись признаки деления кладбищ на кварталы по конфессиональному признаку. Старое кладбище состояло из Православного, Католического, Протестантского (Лютеранского), Иудейского (Еврейского) и Магометанского кладбищ. Здесь же существовало и небольшое Холерное кладбище (городские кварталы № 140, 142, 152, 153). План Новониколаевска 1923 г. также отражает и зонирование Нового кладбища, в состав которого входили: «Старое русское кладбище 1907 г.», участки Холерного, Еврейского, Католического (Польского), Магометанского, Лютеранского,

¹ Уварова Е. Д. Указ. соч. – С. 87.

² Организмизм в садах культурный отдых // Сов. Сибирь. – 1930. – 15 мая.

³ Красильникова Е. И. Жизнь в городе-акселерате. – С. 76.

⁴ НГА. – Ф. Р-33. – Оп. 1. – Д. 106. – Л. 6.

Старообрядческого, Баптистского (Евангелического) кладбищ, располагавшихся на правой стороне. По левой стороне размещались Военное кладбище, братские могилы и шесть больших кварталов Православного кладбища¹.

Закаменское кладбище в период разрухи утратило свою упорядоченность и требовало уточнения плана, а также очистки. Несомненно, на его удручающем состоянии сказалась близость еще недавно переполненного незахороненными трупами Военного городка, который находился в нескольких минутах ходьбы. Соответственно именно на Закаменское кладбище удобнее всего было доставлять подводы с мертвецами во время тифозной эпидемии. В 1923 г. здесь вновь четко обозначили места под Православное, Лютеранское, Еврейское, Католическое, Военное кладбища, оставили в плане и резервные земли. Как и до революции, в 1920-х гг. территория кладбищ ранжировалась «по разрядам», или «поясам». Согласно таксе 1927 г., лучшие места на Новом кладбище, относившиеся к первому поясу (ближе к церкви), стоили 5 р., худшие места в шестом поясе выделялись бесплатно².

Следуя традиции, уже в 1925 г. на территории Нового кладбища построили и освятили православный храм в память Успения пресвятой Богородицы. В ограде этой церкви, опять-таки по традиции, сформировался небольшой погост, где упокоились священнослужители, многие из которых стали жертвами гонений на церковь 1930-х гг.³

В межвоенные годы на гражданских кладбищах оставалось еще много дореволюционных надгробий, оформленных в соответствии с религиозными традициями. Поскольку старые кладбища Новосибирска к настоящему времени уничтожены, утрачены и практически все надгробия первой трети XX в. Однако в настоящее время жители города еще изредка отыскивают чудом уцелевшие надгробные памятники. Некоторые из них были перенесены на открытое в годы Великой Отечественной войны Заельцовское кладбище. Тщательно обследовав его территорию, мы, в частности, отыскали старинные надгробия на могилах М. П. Сабуровой (ум. в 1921 г.) и А. С. Сабуровой (ум. в 1922 г.). Оба надгробия оформлены в виде величественных каменных крестов, украшенных резными цветами и листьями (см. Прил., рис. 16–17). В соответствии с дореволюционной традицией на крестах высечены не только имена усопших, даты их кончины, но также указан их возраст, место рождения (Уфимская губерния), а также сокращенный текст

¹ ГАНО. – Ф. Р-1124. – Оп. 4. – Д. 8. – Л. 3.

² НГА. – Ф. Р-33. – Оп. 1. – Д. 177. – Л. 1, 12 – 12 об.

³ Шабунин Е. А. Указ. соч. – С. 57.

Трисвятого («Стый Бже, Стый безсмертный, помилуй нас»). На Заельцовское кладбище переносили прах и других людей (инженера Н. М. Тихомирова, профессора А. И. Прибыткова и пр.), усопших до Великой Отечественной войны (см. Прил., рис. 18–19). Но очевидно, что надгробия над их новыми могилами также обновлялись. Лишь памятный знак на могиле митрополита Новосибирского Никифора (в миру Н. П. Асташевского) сохраняет старинные очертания небольшой часовни, увенчанной крестом (см. Прил., рис. 20). Вероятно, существовали и менее искусно выполненные надгробия в форме крестов и могильных плит, которые в 1920-е гг. тесали кустари. Одно из таких надгробий чудом уцелело на месте уничтоженного в 1960-х гг. Закаменского кладбища. Не очень ровная плита прямоугольной формы с изображением православного креста и сегодня сообщает о том, что под ней покоятся дети – братья Таракановы, скончавшиеся в 1918 г. (см. Прил., рис. 21). Видимо, к изучаемому нами периоду относится и надгробие со звездой, также уцелевшее на месте Закаменского кладбища (см. Прил., рис. 22).

В 1930-х гг. после закрытия похоронных бюро и запрета на предпринимательскую деятельность в похоронной сфере изготовлением надгробных памятников занималась организация «Камнетрест»¹. Его рекламное объявление содержало изображение примера памятника – небольшого столпа, выполненного в традициях классицизма. Еще с 1920-х гг. в Новосибирске, как и во всей стране, нововведением мемориальной культуры советского времени стали могильные памятники в виде пирамидок, увенчанных пятиконечными звездами, о которых мы уже упоминали ранее. Однако, вероятно, именно в 1930-х гг., в период усиления антирелигиозной пропаганды, эта форма надгробия становилась все популярнее.

Старожил нашего города Г. Д. Ким так описала по памяти Успенское кладбище второй половины 1930-х гг.: «Успенское кладбище. Это – Березовая роща (сейчас парк). И там – маленькая церквушка. У меня умерла в сороковом году сестренка двухлетняя, и я была там на похоронах... И в моей памяти – кресты. То есть, тогда не ставили каких-то дорогих, больших памятников, всё кресты, кресты, кресты. Деревянные кресты всё у меня в голове»². Образ Успенского кладбища, сохраненного в памяти другой жительницы нашего города, Е. А. Ивановой, похож на тот, что сложился в памяти Г. Д.

¹ [Объявление] // Новосибирск: справочник по городу и району. – С. 404.

² Подробнее см.: Красильникова Е. И. Старинные городские кладбища и похороны в отражении устных воспоминаний (на примере Новосибирска предвоенных лет) // Воспоминания и дневники как историко-психологический источник. – СПб., 2011. – С. 130.

Ким: «Кладбище не было ухоженным, таких каких-то памятников, как сейчас, гранитных, не было, обыкновенные кресты стояли. А в то время кресты-то, знаешь как, еще и преследовались... Звездочки. Но кладбище-то старое было, большое, всякие были памятники»¹. Этой рассказчице запомнились и необычные, оригинальные надгробия на могилах летчиков-испытателей: «Рядом с маминной могилкой два летчика были похоронены. Я была маленькая, но помню: два таких деревянных постаментика и пропеллеры, сделанные из дерева, что ли. И это был для нас ориентир»².

То, что приметные могилы служили ориентиром, свидетельствует об отсутствии четкой пространственной организации кладбища, о плохой «читаемости» его среды. Хотя могилы близких были жителям города «родными», кладбище в целом отпугивало. Судя по рассказам, Успенское кладбище, в соответствии с народной традицией, воспринималось как «страшное» место. Кроме того, источники фиксируют реальную небезопасность городских кладбищ той поры: вечерами на них собирались хулиганы, случалось даже, что на кладбищах находили убитых. Особенно много газеты сообщали о беспорядках, царивших на Магометанском (Татарском) кладбище. Там в январе 1926 г. был найден труп Марии Кузнецовой, которую убил и мертвой бросил среди могил бывший сожитель – рецидивист Павел Моисеев³. Также пресса сообщала, что «окрестность Татарского кладбища – это самое жуткое место для прохожих, особенно ночью», поскольку там орудовали вечно пьяные хулиганы, с ножами нападавшие на шедших мимо людей⁴. Обыватели, жившие по соседству, похоже, привыкли к виду кладбища, но предостерегали детей от присутствия на нем или около него в вечернее время⁵.

Несомненный интерес представляют отдельные захоронения Нового кладбища. В 1920–1922 гг. здесь упокоились некоторые из числа бывших новониколаевских дворян, очевидно, не имевшие возможности уехать за границу, например, А. П. Абарин, живший на ул. Ядринцевской и работавший плотником⁶. В этот период появилось немало могил представителей интеллигенции (педагоги, врачи, артисты)⁷, а также студентов – беженцев с Волги и Урала, вероятно, поддерживавших режим А. В. Колчака⁸.

¹ Там же. – С. 131.

² Там же.

³ Мешала жить // Сов. Сибирь. – 1926. – 8 янв.

⁴ Хулиганы с Татарского кладбища // Сов. Сибирь. – 1925. – 14 сент.

⁵ Красильникова Е. И. Старинные городские кладбища и похороны в отражении устных воспоминаний. – С. 131.

⁶ ГАНО. – Ф. Р-2189. – Оп. 1. – Д. 520. – Л. 10.

⁷ Там же. – Д. 92. – Л. 43, 77, 188; Д. 379. – Л. 53; Д. 700. – Л. 20; и др.

⁸ Там же. – Д. 92. – Л. 11, 74.

В 1920-х гг. в Новониколаевске активно формировался революционный некрополь, о чем можно судить по публикациям в газетах. Печать нередко сообщала о смерти и предстоящем погребении революционеров и деятелей большевистского подполья. Обратим внимание на наиболее яркие примеры. Из газет нам известно, что в 1925 г. на Новом городском кладбище были захоронены останки артиста драмы, революционера и героя труда Г. А. Соколова¹, а также молоденькой сотрудницы издания «Советская Сибирь» Алевтины Ковальчук² – дочери известной новониколаевской подпольщицы Е. Б. (Дуси) Ковальчук. Сама Евдокия Борисовна в 1919 г. покончила с собой в тюрьме, не вынеся пыток колчаковской контрразведки, и тайно была похоронена товарищами в неустановленном месте³. Акцентируя внимание на смерти Али, подпольщики вполне традиционно конструировали генеалогию подполья и поколенную революционную преемственность. Фактически революционная история Новониколаевска была короткой, но пример семьи Ковальчук, как и пример героической семьи Шамшиных, позволял делать вывод, что за идеалы Октября отдает жизнь уже второе поколение трудящихся, что подтверждает верность большевистского пути.

С середины 1930-х гг. региональное газетное издание «Советская Сибирь» начало публиковать значительное количество похоронных объявлений. В эти годы партийные органы и государственные учреждения устраивали пышные прощания с умершими коммунистами, революционерами, чекистами, ударниками производства, директорами предприятий. Такие похороны сопровождалась политизированными панихидами и служили средством морального поощрения активных «строителей социализма», которым гарантировались почетные проводы в последний путь и «вечная память». В числе тех новосибирцев, кому оказывались особые посмертные почести, можно назвать «активного работника по чистке партии», члена партии с 1906 г. Д. П. Васильченко (ум. в 1935 г.)⁴; «старейшего» сурдопедагога, заведующую школой для глухонемых детей А. Д. Огурцову (ум. в 1935 г.)⁵; профессора НИИВИТа А. И. Прибыткова (ум. в 1935 г.)⁶; летчика гражданской авиации В. Ф. Галата (ум. в 1938 г.)⁷.

¹ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1925. – 6 февр.

² [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1925. – 22 апр.

³ ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 652. – Л. 2.

⁴ Васильченко Денис Петрович: [некролог] // Сов. Сибирь. – 1935. – 28 сент.

⁵ Огурцова Александра Дмитриевна: [некролог] // Сов. Сибирь. – 1935. – 9 апр.

⁶ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1935. – 10 мая.

⁷ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1938. – 2 сент.

Как мы уже отметили, знаковым событием в истории новосибирского некрополя стало окончательное закрытие и уничтожение Воскресенского погоста. Собственно, именно с уничтожения этого некогда элитного погоста начался процесс разрушения исторического некрополя городов всего региона. Еще в июле 1923 г. горсовет принял решение о создании на месте Старого кладбища сада¹. К этому подстегивала реформа кладбищенского хозяйства 1922 г., требовавшая повышения внимания к санитарии и благоустройству, а также эпопея с озеленением. На плане Новониколаевска 1924 г. Воскресенское кладбище всё еще было обозначено. Возможно, план содержал несколько устаревшие данные. С другой стороны, понятно, что уничтожение кладбища производилось в несколько этапов, не за один год. В документах новониколаевского Горкомхоза, датированных 10 мая 1925 г., используется выражение «Бывшее Старое кладбище»². Наиболее запомнившимся сюжетом, связанным с разрушением старейшего некрополя Новониколаевска, стал комсомольский воскресник, состоявшийся поздней весной 1924 г. Жители города были заранее предупреждены о предстоящем уничтожении кладбища. Желавшие перезахоранивали своих родственников: могилы раскапывали, укладывали скелеты в новые гробы, батюшка отпевал останки, гробы заколачивали и увозили на новые кладбища³.

Уже в 1929 г., как было упомянуто выше, такие перезахоронения были запрещены, однако закон, действовавший с 1922 г., это допускал. Перезахоронения длились не один год. Известно, что за организацию этого дела брались некоторые общественные и религиозные организации. К примеру, уже в 1925 г. иудеи Новониколаевска создали так называемое Еврейское погребальное братство, которое предлагало всем «гражданам еврейской национальности» содействие в организации перезахоронений, сообщая с помощью газеты о наличии у организации соответствующих разрешений от местных органов власти⁴.

В своих воспоминаниях актриса З. Ф. Булгакова отмечала: немногие придерживались того мнения, что «заботиться нужно о душе, а не о костях, потому что кости – это прах и тленье и им все равно, где лежать». Наоборот, рассуждали так: «Как это по

¹ История Центрального парка [Электронный ресурс]. – URL: <http://parknsk.ru/about.php> (дата обращения: 12.05.2015).

² НГА. – Ф. 33. – Оп. 1. – Д. 106. – Л. 26.

³ Булгакова З. Ф. Судьбе говорю спасибо // Мой Новосибирск: книга воспоминаний. – С. 50–63.

⁴ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1941. – 3 июня.

нашим покойникам кто-то будет ходить, как это тут будут смеяться и песни петь?»¹. Такая позиция соответствует православному отношению к человеческим останкам. Но, разумеется, с чувствами верующих разрушители кладбища не считались. Для актера и писателя И. М. Лаврова, который родился и рос в Новониколаевске, воскресник, посвященный «разгрому» кладбища, запал в душу ярчайшим детским воспоминанием. Много лет спустя он описал свои чувства, возникшие от увиденного: «Мне стало нехорошо. Я так чувствовал себя, когда видел вещий сон перед отцовским дебошем»². Мальчик стал свидетелем того, как «весной комсомольцы решили переделать кладбище в парк». Распевая во все горло «Смело мы пойдем за власть Советов!», ребята, вооруженные лопатами, пришли на место старого погоста. Воскресенская церковь уже пострадала от их вторжения, крест был свернут. Стоял солнечный майский день, «среди шумящих на ветру берез залязгало железо, затрещало дерево, выворачивали кресты, памятники, оградки, стаскивали их в кучу»³. Молодежь не осознавала важности некрополя для семейной памяти и не признавала его духовного значения. Другой старожил Новосибирска, А. С. Тростонецкий, так рассказывал о воскреснике по сносу кладбища: «Рабочие сворачивают с могил памятники и надгробия, а оркестр наяривает “Марш энтузиастов”, заглушаемый криками “Антихристы!” и проклятиями пожилых людей»⁴. Кладбище сносили именно под «Марш энтузиастов», который зачастую звучал во время субботников и на соцстройках.

Пожилые люди, собравшиеся на кладбище, пытались предотвратить разорение погоста. И. М. Лавров воспроизводит в своих воспоминаниях словесную перепалку между защитниками кладбища и его погромщиками. Противники разрушения кладбища зывали к совести, напоминали о Божьей каре за разрушение святого места, называли комсомольцев «дикарями», забывшими о том, что в земле погоста лежат их «деды, которые возводили этот город». Участники воскресника отвечали, что «было объявлено: “Кто хочет перенести родных на новое кладбище – переносите”, люди переносили, а здесь остались безнадзорные могилы». Формулировка «безнадзорные могилы», по словам Лаврова, вызвала новую вспышку раздражения у «стариков», которые, как и ребята, пе-

¹ Булгакова З. Ф. Указ. соч. – С. 53.

² Лавров И. М. Указ. соч. – С. 122.

³ Там же. – С. 121.

⁴ Тростонецкий А. С. Нахаловка // Мой Новосибирск: книга воспоминаний. – С. 38.

решили от разумных аргументов к взаимным оскорблениям¹. По словам И. М. Лаврова, разрушителей лишь раззадорили крики защитников некрополя: «Мелькали лопаты, сравнивая холмики, громко звучали топоры и пилы, с треском и шумом валялись березы – прорубали аллеи...»². Однако важно отметить, что некрополь крушили не только дети. Судя по воспоминаниям, на воскресник пришли и рабочие, готовые исполнить постановление Горсовета³. Едва ли без их участия комсомольцы чувствовали себя так уверенно.

Старое кладбище быстро исчезло, но все-таки едва ли корректно было считать его в полном смысле «старым». Известно, что некоторые захоронения появились здесь уже после Гражданской войны⁴. Видимо, родные этих усопших все еще пытались формировать семейные некрополи. Но не только семейная память и религиозные чувства являлись причинами несогласия новониколаевцев с решением разбить на месте погоста парк. Это кладбище было одним из немногих в городе, связанных с локальным компонентом исторической памяти жителей Новониколаевска. Именно поэтому вплоть до уничтожения оно привлекало внимание местных краеведов. Источники отрывочно свидетельствуют о том, что при бюро краеведения, размещавшемся в здании Государственного Западно-сибирского краевого краеведческого музея, существовало некое общество некрополистов, названное в последующие годы презрительно «Обществом изучения купеческих могил». Дореволюционные краеведческие традиции, к которым можно отнести и увлечение образованных людей некрополистикой, находили в начале 1920-х гг. сторонников и продолжателей в сибирских городах. Но уже к концу 1920-х гг. деятельность новониколаевского общества некрополистов была осуждена как «реакционная», а их наработки не стали хранить⁵.

Как мы понимаем, закон был на стороне разрушителей Старого кладбища. Уголовный кодекс, действовавший в СССР 1920–1930-х гг., не относил подобные деяния к числу преступных и не квалифицировал как вандализм. Однако воскресник шокировал тех, кто хорошо помнил дореволюционный период, когда законодательство предусматривало неприкосновенность старых, закрытых кладбищ.

¹ Лавров И. М. Указ. соч. – С. 123.

² Там же.

³ Тростонецкий А. С. Указ. соч. – С. 38.

⁴ ГАНУ. – Ф. Р-2189. – Оп. 1. – Д. 92. – Л. 391; Д. 379. – Л. 67.

⁵ Там же. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 21.

В парк культуры территория Воскресенского кладбища превращалась постепенно. Обследование коммунальщиками закрытого погоста весной 1925 г. показало наличие на его территории большого количества сокрушенных крестов, разбитых памятников и оградок. Отмечалось, что для преобразования этого места в сад требуются колоссальные усилия. Помимо удаления обломков памятников требовалось провести озеленительные работы, поскольку местами существовали густые заросли, местами деревья засохли, либо зеленые насаждения вовсе отсутствовали¹. Временем основания Кладбищенского сада, предназначенного для целей досуга, считается 1925 г.

Итак, Кладбищенский сад, переименованный скоро в Центральный (см. Прил., рис. 23–24) был организован в соответствии с уже сложившейся до революции традицией и практическим опытом работы в области агитации и пропаганды последних лет. В новом саду построили сцену и концертные площадки для выступления передвижных театров, чтения лекций и проведения дискуссий, а также солярий. Солярий появился в саду неслучайно. Его создание обусловлено влиянием концепций оздоровления городской среды, актуальных не только для нашей страны этих лет, но и для стран Запада. Солярий – открытая площадка, окруженная уютным кольцом зелени, необходимая тем, кто является сторонником новых форм «культурного» и «здорового» отдыха, казался вполне уместным на затоптанных могилах.

В середине 1920-х гг. Новониколаевский горсовет признавал, что по сравнению с другими городами Западной Сибири Новосибирск остается самым отсталым в смысле благоустройства². Недостаток зелени, свежего воздуха и пыль стали привычными для его жителей еще в начале XX в. Теперь устройство сада на месте кладбища оправдывалось и необходимостью сохранить зеленый массив, сформировавшийся на кладбище благодаря распространённой практике сажать деревья и кустарники у могил. К концу 1930-х гг. место могильных плит в саду заняли скульптуры идеологического значения: «Сталин», «Теннисистка», статуи других спортсменов, которые расположились вдоль центральной аллеи. Эти образы нового мира фактически вытесняли из памяти местных жителей прежние, актуальные для семейной и локальной идентичности образы усопших близких, земляков и их могил.

¹ НГА. – Ф. 33. – Оп. 1. – Д. 106. – Л. 26 – 26 об.

² Там же. – Л. 7.

Значительная часть территории Старого кладбища, отделенная от формировавшегося сада улицей Фрунзе, была передана в 1925 г. под строительство стадиона «Спартак», который открылся уже в 1927 г. И это тоже неслучайно. Советская власть изначально видела в развитии массового спорта возможность укрепить моральные устои и консолидировать общество¹. «Советская Сибирь» с гордостью освещала новости создания стадиона. В начале августа 1927 г. его строительство считалось практически законченным. Газета приводила снимок, на котором видны деревянные трибуны и обнесенное частоколом футбольное поле². В 1935 г. городской стадион передали обществу «Спартак». В связи с этим на оборудование стадиона была выделена значительная денежная сумма – 230 тыс. р., которые пошли на оборудование теннисного корта, катка и восстановление беговой дорожки³.

Из-за малочисленности рабочего класса в Новосибирске 1920-х гг. развлекательная и просветительская деятельность сада не могла быть ориентирована исключительно на рабочих, как того требовала пропаганда. Поэтому изначально в саду устраивались вполне традиционные гуляния по уже сложившемуся дореволюционному трафарету. В середине 1930-х гг., когда Новосибирск стал городом промышленных строек, сад переориентировался на организацию досуга для рабочих. В 1930 г. «Советская Сибирь» признала этот сад лучшим, наиболее благоустроенным: здесь имелись недавние древо-насаждения, были устроены клумбы, готовились танцевальная площадка и павильон кино, планировалось устроить электрифицированные карты пятилеток⁴. С 1935 г. в духе времени сад назывался Сталинским. Его дальнейшее благоустройство осуществлялось по образцу Парка Горького в Москве. Старожил Новосибирска В. Г. Дугалюков так рассказывал нам о саде предвоенных лет: «Детьми мы ходили в Парк Сталина. К тому, что прежде на этом месте располагалось кладбище, относились совершенно нормально, ведь все религиозное было запрещено. Там были карусели, к примеру, чертово колесо, был ресторан – там, где сейчас находится сцена, сцена же была на другом месте. В парке проходили танцы, выступали артисты, играл духовой оркестр. Там продавали мороже-

¹ Кухер К. Указ. соч. – С. 51.

² Наш стадион // Сов. Сибирь. – 1927. – 4 авг.

³ Городской стадион передан обществу «Спартак» // Сов. Сибирь. – 1935. – 4 дек.

⁴ Организуем в садах культурный отдых // Сов. Сибирь. – 1930. – 15 мая.

ное, конфеты, газировку с сиропом и разливное пиво. Массовики устраивали развлекательные программы, конкурсы. Я хорошо запомнил драки мешками и бег в мешках»¹.

И. М. Лавров запомнил танцплощадку, духовой оркестр, сияние огней в дощатом ресторане, «который гудит, как базар, где звякают вилки, ножи и стаканы». Запомнились писателю и полупустынные боковые аллеи, где «в темноте мелькали какие-то фигуры, изредка вспыхивали спички, краснели глазки папирос, в кустах шептались, тихо смеялись, по дорожкам шаркали ноги, местами из темноты приплывал запах цветов, а над всем этим неслись звуки вальса». Все скамейки парка были заняты парочками. О чем рассказывал Илья Лавров девушке Вере, сидя на такой парковой скамеечке? «Я рассказывал Вере о том, что этот шумный, сияющий сад был когда-то глухим, жутковатым кладбищем... о том, как срывали могилы, выламывали кресты, оградки, а толпа старух выла, глядя на это»². Даже в романтической обстановке пережитые впечатления не давали молодому человеку забыть тот потрясший его день. Конечно, старое кладбище окрасилось под идеологическим давлением для Ильи Михайловича в мрачные тона, но память о нем сохранилась. Он рассказывал Вере об этом дне как о чем-то интимном, лично для него значимом. Видимо, внутренний конфликт памяти не был для него разрешен.

Воспоминания И. М. Лаврова дают интерпретацию рецепции разрушения старого кладбища, которая представлена в контексте проблемы конфликта поколений: молодого, воспитанного в советской школе и верившего в советскую пропаганду, и старшего – сомневающегося в советских ценностях. Воспоминания Лаврова свидетельствуют о том, что к теме разрушения кладбища и молодежь, и родители неоднократно возвращались в спорах³. Мать пыталась оспорить целесообразность сноса кладбища, но в итоге предпочитала не возражать подросткам, максималистски отстаивавшим свою позицию.

Безусловно, в эти годы действовавшие кладбища оставались важными местами семейной памяти. Традиция посещения кладбищ с целью поминовения демонстрировала жизнеспособность. Мемуаристы вспоминают таких людей, кто посещал родные могилы ежедневно. Показательно, что после закрытия Закаменского и Нового кладбищ в послевоенный период многие люди, чьи близкие покоились в этих местах, еще долго помнили местонахождение их могил. Е. А. Иванова вспоминала, что в 1980-х гг. православная

¹ Записано автором от В. Г. Дугалюкова в Новосибирске в 2002 г.

² Лавров И. М. Указ. соч. – С. 251.

³ Там же. – С. 153.

церковь устроила поминальный молебен в Березовой роще – на месте снесенного Нового кладбища, собравший большое количество народа, пришедшего помянуть родных¹.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что процесс разрушения исторического городского некрополя Западной Сибири начался именно в Новосибирске – новой региональной столице, спешившей утвердиться в своем административном статусе. Воскресенский погост был не таким старым, как исторические кладбища Томска. Можно полагать и то, что он был менее запущенным в хозяйственном смысле. Едва ли справедливо видеть в его разрушении вариант решения наболевшей коммунальной проблемы. В отличие от томского горсовета, новосибирский горсовет осуществил после разрушения погоста прогрессивный по меркам 1920-х и даже 1930-х гг. градостроительный проект, создав образцовый сад, нужный для идеологической работы. Видимо, устройство сада многие жители города одобрили. Тем более, что все имели право перенести останки своих близких на другое кладбище. То, что место сада прежде было кладбищем, стало постепенно забываться, тем более, что этому способствовали высокие темпы урбанизации и социальная мобильность населения.

Воскресенский погост был памятным местом, связанным с поселковым этапом в истории Новосибирска, а также с этапами его существования в качестве безуездного и уездного города. Общие контексты советской политики памяти препятствовали формированию позитивного образа дореволюционного Новониколаевска на официальном уровне. В частности местная газетная печать крайне негативно характеризовала как «старый Томск», так и «дореволюционный Новониколаевск». Поэтому память о местных героях того периода не была актуальна для лиц, принимавших решение о сносе погоста. В первой половине 1920-х гг. они были озадачены мемориализацией жертв «колчаковщины». Вероятно и то, что лица, погребённые на Воскресенском погосте вообще были плохо известны членам горсовета. Организованно противостоять разрушению дореволюционного кладбища в Новониколаевске было некому. Из-за молодости города в нем еще не успела сформироваться краеведческая традиция. Здесь не было ни университета, ни монастырей, ни каких-либо других институций, которые в 1920-х гг. отстаивали ценности дореволюционной русской культуры и могли воспротивиться уничтожению памяти о новониколаевских купцах, дворянах и почетных гражданах.

¹ Записано автором от Е. А. Ивановой в Новосибирске в 2010 г.

Два других, открытых до революции кладбища (Новое и Закаменское) продолжали действовать еще долгое время. Местные власти не обращали внимания на их старые кварталы, представлявшие собой места, отражавшие смещение процессов естественного забвения и иногда внешне мало заметного поддержания памяти отдельных семей. Никакого внимания не уделялось братским могилам массовых жертв Гражданской войны и эпидемии тифа, местонахождение которых сегодня уже никто не сможет указать. Показательно, что и сейчас в Новосибирске практически не получила развития некрополистика, как направление краеведческой деятельности до сих пор слабо поставленной в Новосибирске.

2.3. Старые кладбища Барнаула

После Гражданской войны в Барнауле продолжали функционировать два кладбища, открытые до революции. Нагорное (Предтеченское, Иоанно-Предтеченское) было основано еще в 1772 г. на крутом берегу Оби за пределами жилой застройки. Еще в 1870-е гг. священнослужители кладбищенской Иоанно-Предтеченской церкви, в обязанности которых входила забота о погосте, поделили его территорию на четыре разряда и определили стоимость погребений на каждом из участков. Элитный участок первого разряда располагался близ церкви. Здесь покоились самые богатые и уважаемые барнаульцы. Две трети погребений приходились на участок четвертого разряда. Уже в 1870-х гг. на Нагорном кладбище ежегодно появлялось до 400 новых могил¹. На рубеже XIX и XX вв. городская дума Барнаула признала Нагорное кладбище переполненным, поэтому был отведен участок земли в конце Московского проспекта под Новое кладбище, известное в дальнейшем как Воздвиженское или Крестовоздвиженское (от названия построенной там в 1903 г. Крестовоздвиженской старообрядческой церкви).

Когда в начале XX в. барнаульское духовенство получило задание от великого князя Николая Михайловича прислать в столицу список выдающихся людей, погребенных

¹ ГААК. – Ф. Д-219. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 6 – 6 об., 21–22.

на кладбищах этого города, священники не стали утруждаться данным заданием. Они отправили в Петербург формальный ответ, сообщив великому князю о том, что в Барнауле «сколько-нибудь замечательных по своему происхождению или деятельности лиц в числе погребенных при церквях или на городских кладбищах нет». Исключением барнаульское духовенство признало лишь могилу «писателя и публициста Ядринцева, на могиле которого почитателями его поставлен дорогой памятник из серого мрамора со следующим четверостишием на восточной стороне его: “Желал бы я, что б в недра дорогие / Мой прах ты приняла, родимая земля! / Лежать в чужой земле, где люди все чужие, / Где чуждые кругом раскинуты поля, / Я не могу...”»¹ (см. Прил., рис. 25). Тот факт, что барнаульские священнослужители начала XX в. оставили исторический некрополь своего города практически без внимания, не означало, что для местных жителей он не имел ценности.

В современной краеведческой литературе фигурируют следующие имена выдающихся жителей Барнаула, погребенных на Нагорном кладбище: изобретатель-гидротехник К. Д. Фролов (ум. в 1800 г.); горный специалист, организатор и руководитель горного производства В. С. Чулков (ум. в 1807 г.); ученик изобретателя И. И. Ползунова, участник строительства и испытания «огнедействующей машины» И. И. Черницын (ум. в 1809 г.); академики живописи И. И. Мягков (ум. в 1852 г.) и В. И. Петров (ум. в 1810 г.); один из первых архитекторов Барнаула Я. И. Попов (ум. в 1863 г.); члены-корреспонденты Петербургской АН П. И. Шангин (ум. в 1816 г.) и Ф. В. Геблер (ум. в 1850 г.); фольклорист, этнограф и изобретатель С. И. Гуляев (ум. в 1888 г.); один из основателей Общества попечения о начальном образовании в Барнауле и любитель исследований Алтая Н. И. Журин (ум. в 1891 г.); поборник просвещения В. К. Штильке (ум. в 1908 г.); французский путешественник археолог Л. М. Менье (ум. в 1862 г.)². Некоторые из этих надгробий были восстановлены лишь в постсоветские годы (см. Прил., рис. 26–28). Приведенный выше список был воссоздан в советское время. В него не включены лица, входившие в круг местной «буржуазной» элиты, отличавшей именно барнаульское городское сообщество. Вообще на Нагорном кладбище покоились многие представители верхушки местного общества, в числе которых были и дворяне,

¹ Томский некрополь: по документам фонда великого князя... – С. 33–34.

² Нагорное кладбище [Электронный ресурс]. – URL: [www/http://istai.ru/nagornoe-kladbishe/](http://istai.ru/nagornoe-kladbishe/) (дата обращения: 22.03.2015).

например, Черные¹, почетные граждане, купцы. Некоторые анонимные надгробия тех лет до сих пор сохранились на месте старого Нагорного кладбища, где сегодня существует также памятник всем упокоившимся в земле этого некрополя (см. Прил., рис. 29–30). Обратим внимание на могилы лиц, чьи похороны, состоявшиеся в военно-революционный период, были отмечены местной периодической печатью и упоминались в газетных траурных объявлениях.

Газетные объявления отражают повседневную жизнь горожан, протекавшую на фоне грандиозных политических событий. В стране менялась власть, разворачивалась война, а жизнь провинциалов еще подчинялась старым привычкам, сохраняла упорядоченность в известных всем ритуалах и культурных практиках. Барнаульцы часто подавали объявления в местные газеты о смерти близких людей, обычно не разъясняя читателям, кем именно был усопший. Между тем понятно, что такие объявления, как правило, давали люди из среды местной буржуазии – предприниматели, почетные граждане, имевшие возможность устроить пышные похороны своим родным, а также представители интеллигенции, включенной в густую сеть социальных связей.

Так, из объявлений известно о погребении на Нагорном кладбище А. П. Пешкова – директора Барнаульского городского общественного банка им. Бодунова (ум. в 1917 г.)²; предпринимателя В. Ф. Морозова (ум. в 1917 г.)³ – представителя одного из богатейших семейных кланов Барнаула; А. Р. Михалевского, который одновременно был управляющим барнаульского отделения «Русского и для внешней торговли банка», председателем Общества попечения о начальном образовании, Военно-промышленного комитета, совета попечителей гимназии № 3 (ум. в 1918 г.)⁴; купчихи С. А. Айдаровой⁵; крупного торговца С. Я. Яковлева (ум. в 1917 г.)⁶. Из газет известно и о могилах интеллигенции на Нагорном кладбище военно-революционных лет: учителя мужской гимназии А. А. Филимонова (ум. в 1919 г.)⁷; преподавателя свободных искусств Д. Н. Невского (ум. в 1919 г.)⁸; присяжного поверенного Н. Н. Новикова (ум. в 1919 г.)⁹; члена общества врачей

¹ ГААК. – Ф. Д-144. – Оп. 6. – Д. 2550. – Л. 112 об.

² [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 9 марта.

³ [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 16 мая.

⁴ [Объявление] // Алтайский луч. – 1918. – 2 марта.

⁵ [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 30 сент.

⁶ [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 5 дек.

⁷ [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1919. – 6 нояб.; [Объявление] // Народная свобода. – 1919. – 6 нояб.

⁸ [Объявление] // Народная свобода. – 1919. – 8 сент.

⁹ [Объявление] // Народная свобода. – 1919. – 17 сент.

Н. А. Заводовского (ум. в 1917 г.)¹; доктора медицины, врача военного лазарета П. Н. Цветкова (ум. в 1919 г.)². На Нагорном кладбище были похоронены многие жертвы боевых действий, сражавшиеся против большевиков³.

На Воздвиженском кладбище хоронили преимущественно простой люд: мещан, разночинцев, крестьян, многие из которых были переселенцами из самых разных губерний Российской империи. Однако иногда земле этого кладбища предавали тела лиц, имевших высокий социальный статус (почетных граждан, чиновников высокого ранга, интеллигентов)⁴.

Вопрос о закрытии Нагорного кладбища и о создании вместо него еще одного был серьезно поставлен в 1910 г. Городская застройка подошла к кладбищу вплотную, его территория подтоплялась Обью, случались обвалы земли у обрыва. Но, несмотря на трехкратное прошение барнаульцев об отводе земли под кладбище в новом месте, императорский Кабинет не дал согласия, ссылаясь на «неудобство» предлагавшихся барнаульцами под кладбище участков и собственную невыгоду⁵. Местные советские органы власти вернулись к данному вопросу только в 1931 г.⁶

Перед отступлением белой армии в конце 1919 г. барнаульские кладбища стали местами массовых расстрелов. Зимой 1919/1920 г. здесь оставались брошенными под открытым небом многочисленные трупы, которые было необходимо «ликвидировать» до наступления весны. Однако и в апреле пресса фиксировала наличие на Крестовоздвиженском кладбище «открытой» могилы, где лежало несколько трупов. Газета сообщала, что на мертвые тела посягают птицы и собаки, а местные жители, хотя и знают о сложившейся ситуации, не пытаются самостоятельно засыпать могилу землей⁷. Очевидно, сказывался естественный страх перед мертвыми и отвращение. После отступления армии Колчака в Барнауле, как и в других городах региона, воцарились хаос и антисанитария, грозившие населению вымиранием. Здесь также существовала необходимость захоронения многочисленных тел погибших и предотвращения дальнейшего распространения тифа. В Барнауле, как и в других городах Западной Сибири, гибли врачи, санитары и сестры милосердия. Показателен пример доктора В. И. Краснова, заведовавшего го-

¹ [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 8 мая.

² [Объявление] // Народная свобода. – 1919. – 19 февр.

³ См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть?. – С. 158–159.

⁴ Там же.

⁵ РГИА. – Ф. 468. – Оп. 27. – Д. 1750. – Л. 7 – 7 об.

⁶ ГААК. – Ф. Р-312. – Оп. 1. – Д. 256. – Л. 1 – 1 об.

⁷ Новоцкий. По городу // Красный Алтай. – 1920. – 25 апр.

родской больницей¹. Как и в других городах, в Барнауле жертв тифа и боевых действий хоронили на Братском кладбище в общих могилах.

После Гражданской войны Барнаулу, как и другим губернским городам региона, пришлось пережить серьезные испытания, связанные с разрухой, тифозной эпидемией, миграциями населения и деморализацией общества. Краевед В. Ф. Гришаев отмечает, что именно в это время начались заметное запустение кладбищ и надругательство обывателей над надгробными памятниками. В соответствии с советским законодательством церковь постепенно была отстранена от участия в содержании погостов. В 1924 г. президиум горсовета поручил охрану и содержание кладбищ «домзаку»².

Судьбу старых кладбищ Барнаула окончательно решила реформа 1929 г., установившая новые правила их закрытия. Реформа обращала внимание на необходимость «ликвидировать» переполненные кладбища, каковыми, несомненно, являлись кладбища Барнаула. Принятие новых правил подстегнуло местные власти к радикальному разрешению кладбищенского кризиса. Прочие, стандартные для всей страны в 1920–1930-х гг. факторы изменений в сфере культуры некрополя, охарактеризованные нами в первом параграфе данной главы, повлияли и на барнаульский некрополь.

Медленно, с большим трудом этот город восстанавливался и отстраивался после Гражданской войны. Коммунальное хозяйство длительное время оставалось слабым местом³. Вероятно, нерешенность большого количества коммунальных проблем привела к некоторому затягиванию со сносом старых кладбищ, которые окончательно утратили признаки благоустроенности к концу 1920-х гг.

Контурь политики памяти, сказавшейся на судьбе барнаульского некрополя, не оригинальны и в целом уже нам понятны: обесценивание памяти о «бывших людях» («буржухах» и «попах»); ослабление семейной памяти; формирование советского героического некрополя; воспитание молодого поколения в духе неприязненного отношения к прошлому; внушение атеистического отношения к смерти и памяти об усопших. Однако стоит добавить именно барнаульские штрихи к общей картине. В этом городе уничтожение старых кладбищ не ограничилось сносом и распродажей надгробий – стандартными формами реализации политики памяти. В 1935 г. дело дошло до устроенного городскими властями «вскрытия» склепов на Нагорном кладбище. Целью являлась «до-

¹ Кармашев В. Доктор Краснов: [некролог] // Красный Алтай. – 1920. – 12 июня.

² Гришаев В. Ф. Указ. соч. – С. 172.

³ Петров А. И. Планировка городов Сибкрая // Коммунальное дело. – 1929. – № 2. – С. 98–102.

быча» драгоценностей, принадлежавших когда-то умершим. Это, в сущности, мародерское мероприятие привлекло толпу зевак, которые помогали специальной комиссии сортировать «добытые для нужд государства» кольца, перстни, браслеты, кресты и даже золотые зубы. Очевидец данного события Г. А. Чайкин вспоминал: «Могилы так и оставались незакрытыми, а после ухода комиссии эту работу продолжила ребятня». Мальчишки вынимали из могил черепа и кости, которые потом валялись не только на кладбище, но и на улицах. «Поиски драгоценностей» на кладбище продолжались все лето 1935 г.¹ Законность этого мероприятия сомнительна. Все-таки правила 1929 г. запрещали вскрытие могил иначе, чем в интересах следственных органов. При эксгумации не должны были присутствовать посторонние, тем более дети². «Вскрытие» кладбищ отражает абсолютно циничное и прагматичное отношение к некрополю, культурная ценность которого совершенно не признавалась.

В 1936 г., когда в культурной политике государства стали очевидны консервативные тенденции и начался процесс возрождения памяти о некоторых «героях» дореволюционной истории, местная газета «Красный Алтай» опубликовала статью под заголовком «Исторические могилы». В предвоенные годы государство давало установку историкам и деятелям культуры конструировать преемственность между историческими эпохами, искать признаки классовой борьбы в творчестве русских классиков, выявлять незаслуженно забытые в «эпоху царизма» имена выдающихся людей, не имевших высокого социального статуса.

К примеру, в контексте политики памяти этого времени в Барнауле активно популяризировали историю И. И. Ползунова – бедного, недооцененного современниками изобретателя парового двигателя, жившего и работавшего в XVIII в. в Барнауле. В упомянутой нами газетной публикации 1936 г. приводился небольшой список выдающихся людей, чьи останки были похоронены на Нагорном кладбище. В их числе: алтайский былиноскоказатель Л. Г. Тупицын, краевед Н. С. Гуляев, уже упоминавшиеся нами В. К. Штильке, Г. Л. Менье и Н. М. Ядринцев. В газете сообщалось о том, что лишь на могиле Менье чудом сохранился чугунный памятник в виде ажурного креста. Прочие надгробия уже были уничтожены. Местонахождение могил Ядринцева и Штильке указывалось ориентировочно, а о могиле Тупицына сообщалось как об утра-

¹ Чайкин Г. А. [Воспоминания] // Барнаул в воспоминаниях, XX в. – Ч. 1. – С. 289.

² Правила НКВД и НК Здрав № 198/Б/197/МВ от 7/11 июня 1929 г. об устройстве кладбищ и порядке погребения. – С. 44.

ченной. Автор статьи С. Шаронов перечислил преимущественно те могилы, которые до революции почитали либералы и народники. Эти люди всё еще помнились в Барнауле как местные герои. Однако автор не вспомнил ни одной «советской» могилы, которых также было немало на Нагорном и Крестовоздвиженском кладбищах¹. Вероятно, это можно объяснить слабым вниманием со стороны местных властей к советскому некрополю и общим ослаблением культуры памяти, в значительной степени поддерживавшейся дореволюционной интеллигенцией и духовенством. Стоит учитывать и контекст репрессий против бывших алтайских партизан. Большинство из них было арестовано и уничтожено уже в 1937 г.² Соответственно, логичным выглядит замалчивание сведений об их могилах.

Больше в довоенные годы печать не обращалась к теме могил выдающихся барнаульцев. Закрытое Нагорное кладбище в печати рассматривалось исключительно как будущий парк. В 1940 г. прошел конкурс проектов нового парка. Первую премию барнаульский горисполком присудил художникам Казаринову и Баранскому. С наступлением строительного сезона рабочие принялись за реализацию этого проекта. «Алтайская правда» сообщала, что строительство идет с большим энтузиазмом, новый парк озеленяется сиренью, акациями и татарником, возводятся танцевальная площадка и летний театр³. Одновременно Воздвиженское кладбище было перестроено в парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Газета и словом не обмолвилась о том, что парки строятся на местах уничтоженных кладбищ (см. Прилож., рис. 31–32).

Вплоть до закрытия Нагорное кладбище оставалось наиболее традиционным и престижным. В начале 1920-х гг. именно здесь упокоились многие барнаульские революционеры и те, кого считали героями Гражданской войны. Мы вновь видим пример борьбы различных политических сил за символическое пространство некрополя. Во второй половине 1920-х гг. газеты акцентировали внимание на погребении на Нагорном кладбище новой советской интеллигенции и бывших подпольщиков: народного учителя И. Н. Лампицкой (ум. в 1927 г.), работавшей в годы разрухи инструктором по детским домам, а позднее заведовавшей школой № 8⁴; художника и педагога В. А. Худяшева (ум. в

¹ Шаронов С. Исторические могилы // Красный Алтай. – 1936. – 3 авг.

² Папков С. А. Обыкновенный террор: политика сталинизма в Сибири. – С. 201–203.

³ Премии авторам проекта Нагорного парка // Алтайская правда. – 1940. – 20 марта.

⁴ Учительница Лампицкая: [некролог] // Красный Алтай. – 1927. – 10 нояб.

1927 г.)¹; инженера С. М. Эпштейна (ум. в 1927 г.)²; «участницы революционной борьбы», известной в городе как Нюся Попова (ум. в 1928 г.)³ и др. Объявления, публиковавшиеся в местной печати, далеко не всегда сообщали о месте предстоявшего захоронения усопшего. Однако источники этой группы позволяют все-таки увидеть, что в 1920-х гг. на Нагорном кладбище с почестями хоронили членов ВКП(б), к примеру, М. М. Кронберга (ум. в 1927 г.)⁴.

С 1928 г. в ежедневной газете «Красный Алтай» стали появляться объявления о похоронах на новом, недавно открытом кладбище. Старинное Нагорное кладбище, как и Крестовоздвиженское, вскоре официально закрыли. Но погребения здесь продолжались: все еще появлялись свежие могилы старых большевиков и представителей партийной номенклатуры. Так, уже в 1930 г. на Нагорном кладбище были погребены В. Н. Тимугин – бывший командир партизанского отряда⁵; физкультурник-общественник П. Д. Ильиных⁶; агроном А. В. Тимофеев⁷; музыкант Б. А. Белозерский⁸. Барнаульцы, как и жители других городов, стремились к формированию семейных некрополей, задумывались о престиже места, избранного для погребения. Вероятно, они также не ожидали, что официально закрытые кладбища так скоро будут подвергнуты полному уничтожению. Однако, как мы уже показали в предыдущих параграфах, явной тенденцией советской «некрополитики» этого периода стало избавление от старых кладбищ.

В ноябре 1931 г. горсовет Барнаула постановил окончательно закрыть оба старых кладбища ввиду их переполнения и невозможности расширения. Было также принято постановление об организации ряда субботников для устройства на месте кладбищ садов и стадионов. Производить погребения умерших на старых кладбищах официально разрешалось до 1 августа 1932 г. К этому же дню планировалось огородить новое кладбище и произвести его разметку⁹.

Некрополь Барнаула 1930-х гг., представленный Новым (Загородным) кладбищем, до сих пор остается белым пятном в сибирском краеведении. Его изучение осложнено скудностью сведений, содержащихся в траурных объявлениях, из которых часто невоз-

¹ Художник Худяшев: [некролог] // Красный Алтай. – 1927. – 21 авг.

² [Объявление] // Красный Алтай. – 1928. – 18 окт.

³ [Объявление] // Красный Алтай. – 1928. – 14 апр.

⁴ [Объявление] // Красный Алтай. – 1927. – 11 окт.

⁵ [Объявление] // Красный Алтай. – 1930. – 1 дек.

⁶ [Объявление] // Красный Алтай. – 1930. – 11 сент.

⁷ [Объявление] // Красный Алтай. – 1930. – 19 мая.

⁸ [Объявление] // Красный Алтай. – 1930. – 27 дек.

⁹ ГААК. – Ф. Р-312. – Оп. 1. – Д. 256. – Л. 1 – 1 об.

можно узнать о заслугах и профессии усопшего. Однако несколько интересных имен все-таки обращают на себя внимание. Среди них Д. Е. Веронская (ум. в 1933 г.) – активная участница революции 1905 г., впоследствии учитель советской школы¹; Е. П. Березовский (ум. в 1936 г.)² – ученый, заведовавший метеорологической станцией Барнаула; А. Н. Борисов (ум. в 1937 г.) – известный художник, член Союза художников, преподаватель и общественный деятель³.

Строительство Меланжевого комбината в начале 1930-х гг., а также соцгородка положило начало социалистической реконструкции Барнаула. В последующие годы, в связи с образованием Алтайского края в 1937 г. и повышением административного статуса Барнаула, город стал обретать более благоустроенный вид; строились административные здания, новые кинотеатры, школы, облагораживались центральные улицы. Одновременно закрывались и сносились храмы. Росла численность населения города, становилось больше рабочих. В этих процессах отразилось преобразование социокультурного облика Барнаула, становившегося индустриальным центром и центром официальной советской культуры.

Принципиально важен вопрос восприятия барнаульцами уничтожения старых кладбищ. Известно, что судьбоносное постановление горсовета явилось руководством к действию для коммунальщиков, принявших за снос надгробий. Как и в Томске, это вызвало ответную реакцию интеллигенции. Директор Барнаульского краеведческого музея обратился с письмом в Горкомхоз, где обращал внимание на безжалостное уничтожение памятников, «выдающихся свойствами материала, из которого они сделаны, и художественным отличием». Директор музея руководствовался законом. Горкомхоз действительно был обязан охранять надгробия выдающихся людей и памятники, ценные в эстетическом смысле. Однако, как мы уже отмечали, оставалось неясным, касается ли это требование закрытых кладбищ. Автор письма считал, что необходимо восстановить уже пострадавшие от разрушения памятники ученому и публицисту Н. М. Ядринцеву (медный бюст на гранитном основании), механику-изобретателю К. Д. Фролову (каменный памятник с двумя чугунными плитами), врачу Ф. В. Геблеру (чугунная плита на кирпичной основе), французскому ученому Г. Л. Менье (крест из чугуна), общественному деятелю Т. С. Бурнашеву (чугунная плита на кирпичном основании), одному из

¹ [Объявление] // Красный Алтай. – 1933. – 24 мая.

² [Объявление] // Красный Алтай. – 1936. – 20 нояб.

³ [Объявление] // Красный Алтай. – 1937. – 24 нояб.

основателей Общества любителей исследования Алтая Н. И. Журину (яшмовая глыба). Просил директор музея и о сохранении уникального памятника XVIII в. на могиле некого Черницына, а также искусно изготовленного из темно-зеленой яшмы и розового кварца надгробия мальчика Матвеева. Сотрудники музея просили не только восстановить все эти памятники, но также зарегистрировать их и принять меры к их охране¹.

Судя по всему, это письмо осталось без ответа. Если даже ответ и существовал, вероятнее всего, Горкомхоз отказал музею. По крайней мере, нам знакома аналогичная ситуация, произошедшая в Томске. Уже вскоре поверженные каменные надгробия стали использовать для мощения улиц. Часть памятных знаков была просто сброшена в Обь с обрыва. Чугунные кресты пошли на переплавку. Ряд каменных плит был распродан Горкомхозом. Некоторые плиты пытался выкупить музей, но безуспешно². В городе имелись и другие равнодушные к судьбе исторического некрополя люди. Например, краевед Г. Д. Няшин в 1931 г. посетил Нагорное кладбище и зафиксировал отсутствие чугунной плиты с могилы К. Д. Фролова и бюста с памятника Н. М. Ядринцеву, которые были отправлены на переплавку; могила В. К. Штильке была завалена навозом, а от памятника на могиле С. И. Гуляева был отломлен крест³.

Процесс разрушения исторического некрополя Барнаула затянулся. Отдельные разбитые надгробия, заросшие травой и кустарниками, еще долго оставались на своих местах. Атмосфера таинственности привлекала сюда детей и молодежь, которые на всю жизнь запомнили побитые гранитные и мраморные памятники. Одновременно знакомство с мемуарами, где затронута тема старых кладбищ Барнаула, позволяет сделать вывод о том, что в сознании разрушителей погостов умершие переставали быть людьми. Могила уже не воспринималась в христианском смысле как «дом» усопшего человека. Был забыт и суеверный, восходящий к язычеству, страх перед мезьтью покойника, которого потревожили живые. Не останавливали разрушителей ни соображения гигиены и санитарии, ни сочувствие к тем, для кого кладбища являлись местами, связанными с переживанием личного горя. Мемуаристы фиксируют крайний атеистический цинизм: «Когда копали озеро на территории нынешнего парка, вытаскивали гробы из ямы»⁴. Далее в цитируемом тексте воспоминаний сказано, что извлеченные из земли «черепя и

¹ ГААК. – Ф. Р-288. – Оп. 1. – Д. 4. – Л. 27.

² Гришаев В. Ф. Указ. соч. – С. 175–176.

³ Там же. – С. 173.

⁴ Дмитриева Л. М. Барнаул в сознании жителей города // Барнаул в воспоминаниях старожилов, XX в. – Ч. 2. – С. 259.

кости еще долго валялись на поверхности». На фоне этих картин происходила социализация подраставшего поколения, усвоившего обесценившееся отношение к некрополю.

Важно понять, как реагировало на уничтожение кладбищ большинство населения Барнаула. Хотя нам не известны воспоминания о начале ликвидации кладбищ, все-таки сюжеты об уже разоренных погостах часто встречаются в опубликованных мемуарах. Очевидно, что закрытые кладбища оставались для многих горожан памятными местами. Некоторые из тех, кто в 1930–1950-е гг. были детьми, вспоминают, что взрослые водили их на старые кладбища, где семьи поминали своих близких. Делалось это, по всей видимости, «тихо». Страх перед репрессиями и осуждением был причиной молчания несогласных с уничтожением святынь. В воспоминаниях жителей Барнаула часто фигурируют сюжеты о снятии крестов с церкви. Отмечается, что верующие не смели перечить, многие в толпе наблюдателей стояли, молча потупив головы, или тихо молились. Видимо, восприятие уничтожения кладбищ у многих барнаульцев было похожим. Воспоминания свидетельствуют, что обыватели сомневались в нравственной возможности преобразования памятных мест в увеселительные. Это подтверждается и такими отрывками из мемуаров: «Парк Меланжевого комбината – это бывшее кладбище. В 1942 г. его открывали, и я туда пошел... Я знал, что там было кладбище, мне было интересно посмотреть. Там работала танцплощадка, играл духовой оркестр, но я пошел дальше. И вот я увидел могилки еще не заглаженные, не заасфальтированные. Пошел в сторону стадиона, а там большая куча каменных крестов. И я не понимал: вот здесь кресты, а там танцуют и веселятся»¹. Прочитанные выше воспоминания Г. А. Чайкина позволяют увидеть детей, участвовавших в разорении Нагорного кладбища и игравших костями. Показательно, что взрослые не препятствовали детям, не прогоняли их с кладбища, не объясняли им того, что выкапывать чужие кости ради забавы – это святотатство. Было ли дело в безразличии взрослых, легкомысленно отпускавших детей на улицу, в их нежелании спорить с властями, в отсутствии нравственного авторитета, которым в прежние времена мог обладать священник? Имеющиеся источники не дают однозначного ответа.

Барнаул дает еще один пример радикального разрушения исторического некрополя западно-сибирского города в межвоенный период. Дореволюционные кладбища, продолжавшие действовать и после Гражданской войны, местные власти также не расцени-

¹ Там же. – С. 259.

вали как объекты культурного наследия, несмотря на то что прежде у отдельных могил существовало много почитателей. Однако уничтожение исторического некрополя Барнаула началось позже, чем в Томске и Новосибирске. Здесь не существовало монастырских кладбищ, которые закрылись в Томске в первую очередь, вместе с закрытием самих монастырей. А в сравнении с новосибирским Барнаул стал в это время более провинциальным. Коммунальное хозяйство в этом городе восстанавливалось медленно. В то время, как Новосибирск должен был показывать большие достижения в выходе из хозяйственной разрухи, в Барнауле решение многих назревших вопросов затягивалось. Однако реформа 1929 г. в сфере кладбищенского хозяйства подстегнула местный горсовет к закрытию старых кладбищ. В создании парка на месте Крестовоздвиженского кладбища угадывается подражание Новосибирску.

Как и в Томске, попытку противодействия разрушению барнаульского некрополя предприняла интеллигенция. Показательно то, что не только музейщики, но и местные газетчики в конце 1930-х гг. обратились к истории уже практически утраченного барнаульского некрополя. Опубликованные мемуары дают возможность увидеть попытки барнаульских обывателей приспособиться к реалиям политики памяти, не протестовать против нее открыто, а найти лично для себя возможность сохранить семейную память, продолжая посещать уже закрытые кладбища и не афишируя подобные походы. Уже в послевоенные годы на месте Нагорного кладбища устроили местную ВДНХ, к настоящему времени совершенно разрушенную. На наш взгляд можно признать, что попытки краеведов начала 1930-х гг. добиться восстановления памятников выдающимся барнаульцам все-таки дали позитивные результаты, но уже в постсоветские годы, когда все-таки были воссозданы отдельные надгробия и приведен в порядок памятник Н. М. Ядринцеву. Однако в целом интересный и своеобразный некрополь Барнаула еще слабо осознается барнаульцами как объект культурного наследия.

2.4. Городской некрополь Омска

На этапе между Гражданской и Великой Отечественной войнами для захоронений в Омске, как и в других городах региона, оставались открытыми дореволюционные Шепелевское и Казачье (Всехсвятское) кладбища, функционировало и «ведомственное» кладбище Омского сельскохозяйственного института, известное также как Институтское. Изначально это кладбище считалось иноверческим¹.

Шепелевское кладбище, являвшееся самым большим в городе, было основано во второй половине XIX в. Его использовали главным образом жители правобережной части Омска. Кладбище располагалось на окраине между улицами Гусарова и Чернышевского, за 1-й Ремесленной². К 1917 г. кладбище состояло из общегражданского, холерного, военного участков и кладбища военнопленных. Этот погост находился под наблюдением Крестовоздвиженской и Кладбищенской церквей. Метрические записи, составленные священниками этих и других храмов города, позволяют судить о социально-культурном составе лиц, погребенных на Шепелевском кладбище. Омские некрополисты начала XX в., работавшие по заданию великого князя Николая Михайловича, а также современные омские краеведы обращали внимание, прежде всего, на могилы знатных и выдающихся жителей города: дворян, ученых, священнослужителей, деятелей культуры, педагогов, врачей, благотворителей. Однако для понимания направленности политики памяти местных властей на омский некрополь важно составить более полное представления о том, круг лиц каких «чинов» покоился на старых кладбищах Омска.

В ходе просмотра метрических книг храмов Омска нами замечено, что в дореволюционный период и на этапе Гражданской войны земле Шепелевского кладбища было предано значительное количество останков людей, имевших в те годы очень высокий социальный статус. Это подтверждают и списки, составленные первыми омскими некрополистами из числа духовных лиц. В 1909 г. некрополистами зафиксированы могилы дворянина А. М. Яновского (ум. в 1895 г.), являвшегося мировым судьей и статским советником; почетного каноника Ф.-А. Е. Сенчиковского (ум. в 1907 г.)³. Судя по метрическим книгам, в годы Первой мировой и Гражданской войн здесь появилось зна-

¹ Сорокин А. П. «Места памяти»: проблемы сохранения, изучения и популяризации исторических некрополей (на примере Омска и Тобольска) // Первые Ядринцевские чтения. – Омск, 2012. – С. 173.

² Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – С. 20.

³ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 17.

чительное число могил дворян (Е. В. Васильева¹, Н. С. Волков², А. К. Двиняшинов³, А. Д. Косоловский⁴, В. П. и Д. П. Сосуновы⁵ и др.).

Дореволюционные некрополисты обращали внимание на могилы статских и коллежских советников на Шепелевском кладбище⁶. Погребения крупных чиновников и их близких продолжались здесь вплоть до революции⁷. В Омске жили и многочисленные чиновники низших рангов, что также сказалось на специфике городского некрополя. Шепелевское кладбище было богато наполнено могилами коллежских асессоров и членов их семей.

Обращают на себя внимания и имена почетных граждан, живших в Омске и похороненных после смерти на Шепелевском кладбище (А. Капенцев, Ф. Я. Муратовский)⁸; представителей купечества (Щербинины⁹ и Перфильевы). И. Я. Перфильев, умерший в 1895 г., был внесен в список дореволюционных омских некрополистов как купец первой гильдии и почетный гражданин¹⁰. В качестве благотворителя, строившего Крестовоздвиженскую церковь, был отмечен купец Н. И. Скалетов (ум. в 1870 г.)¹¹. Источники также содержат немало упоминаний о духовенстве, чьи могилы также имелись на Шепелевском кладбище¹². В списке дореволюционных некрополистов фигурировали и фамилии представителей интеллигенции: учителей гимназии И. П. Лебедева (ум. в 1903 г.) и Э. Н. фон Штерна (ум. в 1902 г.); смотрителя Приготовительного пансиона Сибирского казачьего войска Н. А. Попова (ум. в 1892 г.); доктора медицины Н. Л. Зеланда (ум. в 1902 г.) и др.¹³ Многие из интеллигентов, живших в Омске, встретили смерть в период отступления колчаковских войск из опальной «третьей столицы» морозной осенью-зимой 1919 г.¹⁴

¹ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 6. – Д. 1451. – Т. 3. – Л. 776 об.

² Там же. – Л. 611 об.

³ Там же. – Л. 551.

⁴ Там же. – Л. 950 об.

⁵ Там же. – Д. 1210. – Л. 13 об.; Д. 1451. – Т. 3. – Л. 570 об.

⁶ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 17–18.

⁷ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 6. – Д. 1210. – Л. 151 об.; Д. 1325. – Л. 84 об.

⁸ Там же. – Д. 888. – Л. 109 об., 130 об.

⁹ Там же. – Л. 171 об.

¹⁰ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 19.

¹¹ Там же. – Л. 19 об.

¹² См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 171.

¹³ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 18 об.

¹⁴ См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 171.

На Военном (Николаевском)¹ кладбище, являвшемся участком Шепелевского, покоились лица разных воинских званий, среди которых были полковник В. А. Логинов (ум. в 1891 г.), подполковник И. А. Вахлячев (ум. в 1880 г.), братья А. А. Акулин, полковник, и А. А. Акулин, подполковник, умершие в один год (1907)². Даже по формальным записям метрических книг заметна выраженная политизация отдельных смертей и похорон, имевших место в 1918–1919 гг. Так, в апреле 1919 г. после гибели молодого знатного дворянина Е. Н. Дурново, воспитывавшегося в Омском кадетском корпусе, священник Воскресенского военного собора в графе «Причина смерти» записал: «Жертва насилия большевиков»³. На Военном кладбище было много могил рядовых солдат, ратников, стрелков, унтер-офицеров⁴, погибших от ран в омских лазаретах или от тифозной заразы, которая начала выкашивать армию Колчака уже летом 1919 г. Здесь же в период Гражданской войны были погребены добровольцы Чехословацкой армии. Колчаковская городская управа потрудились над тем, чтобы облагородить этот участок, построив ограждение, изготовив надгробия в виде крестов и украсив могилы⁵. Чехословацкий гарнизон выражал городской управе благодарность и надежду на сохранение могил их соотечественников в порядке после ухода чехов из города. На этом кладбище покоились также военнопленные и военные медики⁶.

Примечательно и то, что Шепелевское кладбище хранило память о тех, кого большевики после восстановления советской власти обычно причисляли к «колчаковской своре». В 1918–1919 гг. на Шепелевском кладбище были погребены: главный казначей при штабе Верховного главнокомандующего А. Д. Кислицин⁷; умерший летом 1919 г. от ран поручик отряда генерала В. О. Каппеля М. В. Семенов⁸ и др.

Казачье кладбище было основано во второй четверти XIX в. близ одноименного форштадта⁹. По данным омских краеведов, в начале XX в. его считали старым сословным кладбищем сибирских казаков. По данным метрических книг, действительно, большинство захоронений этого кладбища принадлежало казакам. Также здесь было немало могил мещан и крестьян. В состав этого кладбища входили православный, католический,

¹ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 11. – Д. 3. – Л. 468 об.

² РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 17 об. – 18.

³ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 11. – Д. 1. – Л. 389 об.

⁴ Там же. – Д. 3.

⁵ Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – С. 171.

⁶ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 11. – Д. 3. – Л. 467 об.

⁷ Там же. – Оп. 6. – Д. 1451. – Т. 3. – Л. 784 об.

⁸ Там же. – Л. 613 об.

⁹ Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – С. 22.

братский, холерный участки и участок кадетского корпуса. Именно это кладбище в досоветский период считалось мемориальным. В 1859 г. на кладбище по традиции была построена Всехсвятская церковь, которую местные власти закрыли в 1939 г.

На этом кладбище покоились останки многочисленных дворян, к примеру, потомственного дворянина П. П. Халдеева (ум. в 1883 г.), барона П. Ф. Маноеля (ум. в 1866 г.)¹. К военно-революционному периоду принадлежали захоронения дворян М. А. Даниловой², О. А. Дурново³, Л. А. Пантре⁴, П. А. Потанина⁵ и др. Помимо многочисленных захоронений низшего чиновничества здесь также существовало значительное число могил чиновников высших рангов⁶. Казачье кладбище привлекает внимание могилами генералитета царских времен: П. Н. Иванова (ум. в 1887 г.), Ф. Я. Солнцева (ум. в 1889 г.), Н. Н. Гредянина (ум. в 1892 г.), А. И. Симонова (ум. в 1857 г.), С. И. Кирикова (ум. в 1907 г.), А. Л. Гинтовта (ум. в 1860 г.) и др.⁷ Здесь также покоились останки многочисленных почетных граждан, живших в Омске (А. А. Сикорская⁸, С. Г. Сивов⁹, С. И. Соколов¹⁰). Было немало купеческих захоронений, среди которых особенно обращают на себя внимание могилы благотворителей: А. Л. Елизарова (ум. в 1882 г.) и М. И. Галкина (ум. в 1880 г.)¹¹. На Казачьем кладбище нашли последнее пристанище также и омские протоиереи¹².

Обратим внимание и на захоронения интеллигенции. Здесь покоился директор Сибирской военной гимназии К. А. Линден (ум. в 1874 г.), директор гимназии Д. Тихомиров (ум. в 1877 г.)¹³, доктор медицины В. А. Баулин (ум. в 1896 г.)¹⁴. Значительное число могил представителей интеллигенции появилось здесь и в военно-революционный период, когда свирепствовала эпидемия тифа¹⁵. На небольшом участке кадетского корпуса покоились преимущественно воспитанники и преподаватели этого учебного заведения¹⁶.

¹ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 20.

² ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 11. – Д. 1451. – Л. 400 об.

³ Там же. – Д. 109. – Л. 188 об.

⁴ Там же. – Д. 68. – Л. 144 об.

⁵ Там же. – Д. 109. – Л. 157 об.

⁶ См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 170–174.

⁷ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 21 об. – 22 об.

⁸ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 11. – Д. 120. – Л. 218 об.

⁹ Там же. – Оп. 6. – Д. 1324. – Л. 131 об.

¹⁰ Там же. – Оп. 11. – Д. 68. – Л. 177 об.

¹¹ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 25.

¹² См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 175.

¹³ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 24.

¹⁴ Там же. – Л. 24 об.

¹⁵ Там же. – Д. 120. – Л. 217 об. и др.

¹⁶ ИАОО. – Ф. 16. – Оп. 6. – Д. 954. – Л. 232 об.

На Казачьем кладбище, как и на Шепелевском, были погребены лица, смерть которых не обошла политизации, тенденциозной для Омска, как для одного из важнейших эпицентров белогвардейского сопротивления большевикам. Здесь покоились убитые белогвардейцы, добровольцы Карпато-Русского батальона, погибшие в 1918 г.¹ На Казачьем кладбище в 1918–1919 гг. было захоронено много жертв убийств, о чем особенно красноречиво сообщают метрические книги Всехсвятской кладбищенской церкви, отпевавшей в эти годы данный контингент. Большинство убитых и «удушенных» являлись молодыми мужчинами 25–30 лет. Этим убийствам нередко придавалась политическая окраска, что отражалось и на записях в метрических книгах: «Убит большевиками». Обращают на себя внимание и могилы Казачьего кладбища, принадлежавшие лицам, близким к колчаковским правительственным кругам и элите белой армии. В их числе – В. И. Хорошина, жена помощника военного министра генерал-майора Б. И. Хорошина², супруга полковника Сибирского казачьего войска Н. В. Калачева (1918 г.)³.

Приведенный нами обзор отражает внимание к омскому некрополю со стороны местных жителей, принадлежавших к разным социальным группам. Омское духовенство из числа составителей «провинциального некрополя» отнеслось к заданию великого князя довольно ответственно, предоставив длинный список имен, доказывавший значимость Омска как города верноподданных государю военных и чиновников. В период диктатуры Колчака идеологический потенциал омского некрополя также активно использовался. Меньшими сведениями мы располагаем относительно формирования большевистского некрополя в годы Гражданской войны. Однако это объясняется тем, что именно Омск являлся «белой» столицей, где контроль над использованием символического пространства должен был быть более выраженным.

Как и в других городах региона, в дореволюционном Омске существовали могилы священнослужителей и благотворителей у подножия церквей. К примеру, нами выяснено, что близ Пророко-Ильинской церкви покоились останки священника Д. А. Клепикова (ум. в 1909 г.), строителя храма генерала-поручика Н. Г. Огарева (ум. в 1789 г.), купцов Г. В. Кузьмина (ум. в 1890 г.), Г. А. Терехова (ум. в 1896 г.) и Р. А. Тереховой (ум. от 1897 г.). При Крестовоздвиженской церкви были преданы земле

¹ Там же. – Оп. 11. – Д. 120. – Л. 251 об.

² Там же. – Д. 139. – Л. 158 об.

³ Там же. – Д. 120. – Л. 213 об.

строитель храма купец первой гильдии Г. П. Андреев (ум. в 1867 г.) и священник П. Н. Афанасьев (ум. в 1897 г.)¹.

При других церквях Омска также существовали погосты. Однако за годы активной антирелигиозной пропаганды многие из этих памятных мест были заброшены. По сведениям омского краеведа Н. Лебедевой, при разборе Пророко-Ильинской церкви было обнаружено захоронение человека в генеральской форме. Сегодня, опираясь на записи дореволюционных омских некрополистов, мы можем уверенно утверждать, что останки принадлежали генералу-поручику Н. Г. Огареву. Однако некоторые до сих пор полагают, что тело могло принадлежать основателю Омской крепости И. Д. Бухольцу². Закрытие и разрушение церквей неизбежно приводило к утрате таких памятных мест. Дело-производственная документация Омского краеведческого музея сохранила упоминание о получении имущества закрытых церквей. В частности, сообщается, что в 1930 г. из Казачьего собора музей получил «все ценности, за исключением решетки и памятника на могиле»³. В настоящее время признаков существования погоста при Казачьем соборе нет.

Факторы изменений культуры некрополя в Омске в целом такие же, как и во всем регионе. Однако необходимы некоторые уточнения. После установления в 1918 г. «одинаковых похорон» и формального уничтожения деления погребений на разряды, родственники усопших все-таки могли организовать за свой счет похороны с соблюдением религиозных обрядов. По местному постановлению, религиозные общества допускались к участию в поддержании порядка на все еще фактически закрепленных за ними участках кладбищ⁴.

В 1920 г. состоялась муниципализация кладбищ. Акт обследования Шепелевского кладбища сообщал о его удовлетворительном состоянии: обвалившихся могил обнаружено не было, старые могилы «оказались в исправности», территория была обнесена проволокой⁵. С одной стороны, это может свидетельствовать о повышенном внимании со стороны колчаковских властей к некрополю. Однако, с другой стороны, нет оснований полностью доверять этому документу. Все-таки Омск, как и другие города региона,

¹ РГИА. – Ф. 549. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 25.

² Лебедева Н. История омских храмов [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.omsktime.ru/projects/church/ilia.html> (дата обращения: 14. 03. 2015).

³ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 121. – Л. 65.

⁴ Там же. – Ф. 47. – Оп. 1. – Д. 25. – Л. 7.

⁵ Там же. – Л. 1 об.

пострадал от тифозной эпидемии зимой 1919/1920 г. Здесь также существовала острая проблема «очистки» улиц и помещений от трупов, скапливавшихся сотнями. При этом складывается впечатление, что Омск все-таки не испытал трагедии новониколаевского масштаба. Но с точки зрения порядка, санитарии и опасности возникновения новых вспышек эпидемии ситуация являлась критической. С января до конца марта 1920 г. омские коммунальщики были заняты главным образом «ликвидацией трупов». Изначально предпринимались попытки организации субботников с целью уборки тел умерших, но людей, желавших участвовать в таких субботниках, практически не находилось. Те же, кто привлекался к субботникам насильственным путем, старались при первой возможности убежать с кладбища. Поэтому коммунальщики были вынуждены поставить вопрос о мобилизации для осуществления погребений крестьян, которые должны были работать под надзором конной милиции. Мерзлую землю было чрезвычайно трудно копать, поэтому братские могилы готовили с использованием динамита. Мертвецов с улиц, из лазаретов, казарм, госпиталей, больниц, с эвакуационного пункта тысячами свозили на Военное кладбище, где постепенно хоронили в братских «подрывных» могилах.

Только к 20 декабря коммунальный подотдел принял на кладбище к погребению 10 846 трупов¹. За день удавалось предать земле около 150 тел, однако такой темп работ являлся довольно медленным. По данным за 3 марта 1920 г., 2907 трупов еще только дожидалось погребения на Военном кладбище. Однако, по всей видимости, этот могильник оказался уже переполненным, поэтому с 10 марта оставшиеся трупы с Военного кладбища увозили в иные места².

В Омске, как и в других городах, остро стояли проблемы благоустройства, однако Омск был не настолько пыльным и грязным, как, к примеру, Новосибирск. В Омске не было и такого выраженного недостатка зелени, поэтому срочного создания нового сада не требовалось. Антирелигиозная пропаганда привела к скорому закрытию монастырских кладбищ в Томске. В Омске монастырских кладбищ не существовало. И это, по всей видимости, стало одним из факторов более продолжительного существования омского некрополя. Вероятно и то, что переполнение омских кладбищ было не столь очевидным, как в Барнауле, поэтому на протяжении всего изучаемого периода ими продолжали пользоваться.

¹ Там же. – Л. 20–47.

² Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – С. 173.

Возможно, в силу указанных причин судьба исторического некрополя Омска в межвоенный период несколько отличается от общих тенденций, присущих региону. Казачье и Шепелевское кладбища просуществовали дольше других дореволюционных кладбищ городов Западной Сибири. В 1935–1936 гг. Омским горсоветом был поставлен вопрос о закрытии Казачьего кладбища в связи с планами местных властей построить на его территории новую больницу¹. Но лишь 15 августа 1941 г. исполнительный комитет Омского областного совета депутатов трудящихся все-таки принял решение закрыть Шепелевское и Казачье кладбища². В итоге Казачье кладбище функционировало до 1942 г., Шепелевское также было закрыто в 1940-х гг. (точная дата не установлена). Однако в условиях войны и восстановительного периода разрушений памятников, «вскрытия» могил, переустройства мест скорби в увеселительные места не состоялось. Развалины исторического некрополя Омска исчезали постепенно. Сначала было разрушено и застроено Шепелевское кладбище, и лишь в 1970-х гг. окончательно стерто с лица земли Казачье.

Если говорить о социально-экономических и повседневных контекстах истории омских кладбищ, нельзя обойти вниманием реалии, описанные в газетах, возможно, утрированные, но все-таки изображенные с натуры. В Омске, «освобожденном» от армии А. В. Колчака, покинутом сотнями противников советской власти, но имевшем старые кладбища, хранившие память о «бывших», невозможно было избежать запустения и вандализма на все еще богатых погостах. Несомненно, на состоянии городских кладбищ сказались общая деморализация, вызванная военно-революционными потрясениями, и антирелигиозная пропаганда. Вопиющая бесцеремонность вандалов вызывала резонное возмущение жителей города, о чем писала печать. В 1922 г. «Рабочий путь» сообщал, что кладбищенские мародеры «днем открыто ломают и увозят решетки, ограды, даже целые памятники, приезжают с подводами, грузят добычу и спокойно уезжают»³. Безоружные кладбищенские сторожа не могли остановить разграбления некрополя, поэтому местные власти вынуждены были пойти на их вооружение⁴. Показательно, что мародеры и вандалы не только разрушали и похищали надгробия, они не считали зазорным и разрывать могилы с целью поживиться одеждой, в которой усопших проводили в по-

¹ Там же. – С. 179.

² ИАОО. – Ф. Р-1089. – Оп. 1. – Д. 228. – Л. 61.

³ Кладбищенские мародеры // Рабочий путь. – 1922. – 10 марта.

⁴ Охрана кладбищ // Рабочий путь. – 1922. – 14 марта.

следний путь. Несомненно, к этому подталкивала нужда, дефицит предметов первой необходимости и прочие обстоятельства хозяйственной разрухи. Но все-таки для того, чтобы надеть или, хуже того, продать с целью наживы вещи «с покойника», нужно было довольно глубоко духовно и нравственно деградировать, о чем и гласила печать, призывавшая обывателей остановить «беспредел»¹.

Коммунальщики, не справлявшиеся с ситуацией, решили передать кладбища в аренду тем, кто настойчиво требовал порядка. Еврейское кладбище передавалось «прихожанам еврейских молитвенных домов» (надо полагать, общине верующих), Казачье – созданному кругом заинтересованных лиц, кладбищенскому попечительству². Видимо, без серьезного вмешательства органов местной власти в проблемы кладбищ все указанные меры по охране погостов не являлись достаточными.

На состоянии кладбищ сказывалось их местоположение вдали от городского центра. Окраина, периферия всегда является наименее безопасной частью городского пространства. Именно поэтому близ Шепелевского кладбища, в месте, не особенно приметном для милиции и советских органов власти, хулиганы нэповских времен регулярно устраивали нешуточные кулачные бои, проходившие, по заявлению печати, фактически без правил, с применением дубинок, кирпичей, железных прутьев и ножей³. Печать неоднократно сообщала и о чрезвычайных происшествиях на территории кладбищ. К таковым стоит отнести самоубийство неизвестного мужчины, произошедшее на Шепелевском кладбище в 1926 г.⁴, и случай изнасилования женщины на Еврейском кладбище⁵. Газета описала и еще одно ужасающее преступление: в 1926 г. незамужняя девушка родила тайком в сарае ребенка, задушила его, завернула в бумагу и, придя с этим свертком на кладбище, бросила его в свежую могилу⁶.

Решая задачу интерпретации политики памяти, повлиявшей на историю городского некрополя нашего региона, важно уделить внимание омской печати. В первые годы советской власти омские газетчики неоднократно обращали внимание на проблемы городских кладбищ: запустение, вандализм, криминализацию среды. С одной стороны, эти публикации отражали реальность, с другой же, все-таки, по нашему мнению, выполняли

¹ Вскрытие могилы // Рабочий путь. – 1922. – 6 янв.

² Хроника // Рабочий путь. – 1922. – 4 мая.

³ Афанасьев С. Кулачные бои в Омске // Рабочий путь. – 1924. – 1 нояб.

⁴ Происшествия // Рабочий путь. – 1926. – 25 авг.

⁵ Насильники с Еврейского кладбища // Рабочий путь. – 1927. – 14 сент.

⁶ Детоубийство // Рабочий путь. – 1926. – 9 апр.

идеологическую функцию. Эти публикации выступали способом формирования негативного общественного мнения о старых памятных местах, еще воспринимавшихся верующими как святые места. Печать намеренно стремилась к дискредитации старых памятных мест, к деформации их образа в общественном сознании. Газета работала над тем, чтобы подготовить жителей Омска к разрушению исторического некрополя, представив его перед читателями уродливым, естественно разрушающимся, не имеющим ценность и опасным. Неслучайно с этими материалами соседствуют и материалы, посвященные пропаганде кремации¹.

В 1926 г. в «Рабочем пути» была напечатана статья о состоянии Казачьего кладбища, имеющая явный идеологический контекст. Автор отмечал, что прежде на Казачьем кладбище было «тихо и спокойно», что это место отличалось «редким благолепием», служило для чинных воскресных прогулок обывателей, чиновников и учащихся. С разрастанием города Казачье кладбище «обступила» плотная жилая застройка, через кладбище стало ежедневно ходить больше народа, «благолепию» пришел конец. «Убьют, ограбят, излают, изнасилуют! Шкеты, парижанки, ночлежники», – так автор кратко изложил высказывания местных жителей о Казачьем кладбище. Он также описал, как кладбищенские завсегдатаи («шкеты» и «ночлежники») ломали деревянные кресты на дрова, решетки с целью сдать их скупщикам металла и прочего утиля, обрывали цветущие ветки кладбищенской сирени и яблонь на продажу; как вечерами на кладбище веселились пьяные компании с гармошками, «шатались» проститутки; как в полуразрушенных часовенках на старых могилах ночевали и обильно сорили бездомные и беспризорники. В этом описании чувствуется явное осуждение. Автор говорил о гнусности хулиганства и проституции, просил обывателей защитить кладбищенскую зелень, которая была так необходима пыльному городу, но советский журналист не мог потребовать от жителей города остановить вандализм, защитить исторический некрополь от разрушения, ведь действия кладбищенских мародеров, как мы уже замечали ранее, с точки зрения закона не считались преступными.

К тому же власть стремилась искоренить коллективную память о людях, оказавшихся во время войны по вражескую сторону баррикад. Не будем забывать, что в Новосибирске к этому моменту уже было уничтожено старейшее кладбище, раздражавшее представителей власти контингентом погребенных здесь лиц. Именно в эти годы нача-

¹ Вахмянин. Трупы сжигать // Рабочий путь. – 1928. – 11 янв.

лось также и разрушение исторического некрополя Томска. С учетом этих контекстов становится понятным, почему автор статьи о состоянии Казачьего кладбища не придавал значения аморальности действий тех, кто осквернял погост. Более того, в заключении статьи прозвучало: «Не кладбища жаль, а большого тенистого сада, на территории которого нашли себе приют тысячи могил. Но ведь могилы скоро сотрутся с лица земли, хоронить больше негде, а лес останется... Граждане лохмотники, любители сирени, топчите могилы, ломайте решетки, продавайте на толчок кресты, разрушайте часовенки, но не троньте деревьев!»¹.

На примере Новосибирска и Барнаула мы показали, что перспектива увидеть на месте старого кладбища в обозримом будущем городской сад воспринималась местными властями середины 1920-х гг. как актуальная задача. Преобразование кладбищ в парки шло по всей стране. Показательно, что вскоре в газете появилась новая заметка о планах Омского горсовета снести Казачье кладбище, открыв новое за городом².

Культура омского некрополя длительное время оставалась вполне традиционной. Кладбища по-прежнему делились на кварталы по религиозному признаку, сохранялась традиционная кладбищенская эстетика. Омский некрополь межвоенных лет до сих пор еще мало изучен краеведами. Между тем местная печать содержит значительное количество траурных объявлений, которые являются ценным источником в контексте подобных исследований. Заметно, что на протяжении всего межвоенного периода в объявлениях гораздо чаще обозначалось Казачье кладбище, нежели Шепелевское. С одной стороны, это говорит о том, что Казачье кладбище оставалось более престижным, ведь там продолжали хоронить выдающихся людей, с другой стороны, это обстоятельство может говорить о том, что Шепелевским кладбищем омичи действительно стали пользоваться реже. Газеты содержат немало объявлений о смерти и предстоявшем погребении лиц, об обстоятельствах жизни которых сегодня мы уже не можем судить. Однако омская печать, как и печать других городов, акцентировала внимание на похоронах людей, которым современники устраивали пышные проводы. Как и в других городах региона, советский некрополь должен был постепенно затмевать и вытеснять старый исторический некрополь Омска. Здесь, кстати, как и везде, практиковалось повторное захоронение

¹ Ли. На городских окраинах: Казачье кладбище // Рабочий путь. – 1926. – 29 мая.

² Хроника // Рабочий путь. – 1926. – 10 авг.

умерших в «старых» могилах и «вторичное использование» могильных плит дореволюционной поры.

Обратим внимание на некоторые имена из омского некрополя 1920–1930-х гг., отмеченные в газетных объявлениях. Большинство из них пока не упоминались краеведами – разработчиками исторического некрополя Омска. Еще в 1922 г. земле Шепелевского кладбища было предано тело Н. К. Иванова-Эмина – первого ректора Омского медицинского института¹. В 1929 г. здесь появились могилы В. Е. Опарина – лесоведа, одного из лидеров омской аграрной науки, профессора, убежденного коммуниста²; заведующего Куломзинским лесным питомником В. М. Церингера³ и артиста драмы Е. Н. Бодрова⁴. В 1931 г. земле Шепелевского кладбища также было предано тело еще одного профессора, специалиста в области ветеринарии С. А. Грюнера. Этот ученый внес вклад в изучение болезней северных оленей, возглавлял кафедру, выпускавшую уникальных для того времени специалистов-оленеводов. Печать сообщала о его участии в выпуске газеты «Искра» в дореволюционные годы⁵. Интересна также могила артиста театра драмы И. Орлова, скончавшегося 16 февраля 1936 г.⁶

Среди людей, погребенных в 1920–1930-х гг. на Казачьем кладбище, чьи судьбы могут быть интересны сегодня историкам и краеведам, стоит назвать А. И. Дроздова – врача, жертву тифа, умершего в 1922 г. на посту⁷, а также И. А. Позднякова – начальника резерва Омской губернской милиции, погибшего в тот же тяжелый год⁸. В 1925 г. ушел из жизни и был погребен на Казачьем кладбище А. В. Рязанов – коммунист, «красный профессор» Омского медицинского института⁹. Среди могил Казачьего некрополя 1930-х – начала 1940-х гг. стоит назвать погребение Ф. И. Артамасова (ум. в 1932 г.) – ректора Комвуза, члена бюро горкома ВКП(б), в заслуги которого входила организация коммунистических курсов в Новосибирске и в Омске¹⁰; профессора медицин-

¹ [Объявление] // Рабочий путь. – 1922. – 7 янв.; Таскаев И. И. Иванов-Эмин Николай Константинович // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. – 1922. – С. 43–45.

² [Объявление] // Рабочий путь. – 1929. – 16 февр.

³ [Объявление] // Рабочий путь. – 1929. – 20 февр.

⁴ [Объявление] // Рабочий путь. – 1929. – 13 апр.

⁵ [Объявление] // Рабочий путь. – 1931. – 29 марта; Грюнер Сергей Александрович: [некролог] // Рабочий путь. – 1931. – 29 марта.

⁶ [Объявление] // Омская правда. – 1936. – 16 февр.

⁷ [Объявление] // Рабочий путь. – 1922. – 12 янв.

⁸ [Объявление] // Рабочий путь. – 1922. – 23 янв.

⁹ [Объявление] // Рабочий путь. – 1925. – 23 сент.

¹⁰ [Объявление] // Рабочий путь. – 1932. – 30 июля.

ского института И. П. Законова, с 1921 г. возглавлявшего кафедру судебной медицины¹; стахановца К. Л. Василевского, трудившегося на Сибзаводе (ум. в 1938 г.)²; артиста цирка и председателя МК Госцирка А. Т. Казыркова (ум. в 1940 г.)³.

Коммунальщики обычно отмечают, что за могилой родственники усопшего ухаживают около шестидесяти лет, пока жива память более молодых поколений о предке. В первой трети XX в. этот период мог быть гораздо короче. Поэтому брошенных могил на старых кладбищах Омска было действительно много. До революции церковь должна была восполнять недостатки ухода за погребениями. Атеистическое восприятие могилы аннулировало смысл ухаживать за чужими могилами «негероических» людей. Поэтому бесхозяйственность на кладбищах становилась обычным явлением. Запустение старых кладбищ удручало многих омичей. С другой стороны, эти обстоятельства, вероятно, меняли традиционное отношение к кладбищу, девальвируя его ценность как святого места. Однако интерес краеведов последующих лет все-таки отражает неравнодушное отношение к некрополю со стороны интеллигенции, стремившейся, подобно интеллигенции Томска и Барнаула, сохранить хотя бы часть омского некрополя, который, расценивался ими как часть культурного наследия. Так, в 1950–1960-х гг. выдающийся омский краевед А. Ф. Палашенков составил мартиролог на основе сохранившихся до того времени памятников, а фотограф А. В. Борисов сделал ряд снимков сохранившихся памятников, часть которых сохранилась до сих пор (см. Прил., рис. 31–36).

Советская политика памяти, направленная на обесценивание исторических некрополей и постепенное избавление от них, осуществлялась в Омске не столь радикально и стремительно, как в других городах региона. Пример этого города демонстрирует иную тактику: средствами пропаганды некрополь дискредитировался. В хозяйственной запущенности старых кладбищ были виновны коммунальные службы. Однако газетная печать ни разу не заострила на этом внимания. Хозяйственная разруха в стране преодолевалась, а состояние некрополя только ухудшалось. Это давало газетчикам повод увидеть проблему в самих старых кладбищах, подчеркнуть их неисправимость. Видимо, после долгих лет такой пропаганды и реальной нерешенности «кладбищенского вопроса» снес старых кладбищ не вызвал среди омичей открытого порыва отстоять некрополь.

¹ [Объявление] // Омская правда. – 1935. – 8 нояб.

² [Объявление] // Омская правда. – 1938. – 23 дек.

³ [Объявление] // Омская правда. – 1940. – 17 дек.

При этом дореволюционный омский некрополь можно признать наиболее сохранившейся частью всего исторического некрополя городов – административных центров Западной Сибири. Относительная длительность его существования, по всей видимости, и обусловила создание на месте старого Казачьего кладбища мемориального сквера, где выставлены на всеобщее обозрение остатки старых надгробий (см. Прил., рис. 33–38). Такой пример является единственным в западно-сибирских городах. Как объект культурно-исторического наследия омский некрополь ценился не только дореволюционными некрополистами. Краевед А. М. Лосунов подчеркивает, что среди эмигрантов так называемой «первой волны», покинувших Омск после революции, Казачье кладбище оставалось на протяжении всего XX в. значимым памятным местом. Их инициативе, а также инициативам казачества и православной церкви Омск и обязан появлением Казачьего сквера¹.

Подводя промежуточные итоги исследования, мы можем констатировать следующее. История старых кладбищ западно-сибирских городов в межвоенный период развивалась по единому сценарию, обусловленному общими для региона обстоятельствами и факторами. Во всех городах исторический некрополь был связан, прежде всего, с православными традициями, составлявшими основу культурной памяти, но повсюду после Гражданской войны эти традиции постепенно обесценивались и изживались, как под воздействием общих контекстов советской политики памяти этого периода, так и в результате экономических и социокультурных изменений общего фона жизни сибиряков. Постепенное разрушение исторического некрополя городов Западной Сибири было связано с *процессами забвения* местной истории и ее героев дореволюционной поры.

Применительно к ситуации со старыми кладбищами городов Западной Сибири уместно будет обращение к разработанной британским антропологом П. Коннертоном типологии сценариев коллективного забвения. Можно признать, что, во-первых, кладбища разрушались в связи с осуждением памяти о прошлом. Как правило, в тоталитарных условиях это приводит к *репрессивному стиранию памяти*, что выражается в объявлении «врагами народа» умерших, в разрушении памятников, в сжигании книг и т. п.

¹ Лосунов А. М. История и современность Казачьего кладбища // Историко-культурное наследие Омского Прииртышья. – Омск, 2010. – Вып. 4. – С. 158.

Однако этот процесс может проходить не так очевидно, без явного насилия, а путем игнорирования той или иной темы. В случае со старыми кладбищами имели место как грубое уничтожение памятников, так и попустительство, нежелание реконструировать старые кладбища, которые разрушались сами собой (пример, в Омске). Во-вторых, исторический некрополь уничтожался и по такому сценарию коллективного забвения, который воплощается *в условиях формирования новой идентичности*¹. После революции в обществе формировалась новая советская идентичность. При этом воспоминания об образе жизни и образе мысли старых дореволюционных поколений отвергались как не способные служить формированию новой идентичности. Помнить ушедшие поколения, а значит, использовать их жизненный опыт, брать с них пример казалось уже неактуальным для многих жителей западно-сибирских городов (партийным функционерам, учителям, молодежи и др.). Эти обстоятельства задавали направленность как политике памяти, так и общественному восприятию исторического некрополя, постепенно покрывавшегося бытовым мусором.

В межвоенные годы кладбища стали объектами коммунального хозяйства, что отразило процессы десакрализации отношения власти и общества к некрополю. Кульминацией этих процессов стал снос исторического некрополя, начавшийся в региональной столице – Новониколаевске (Новосибирске). Разрушения продолжились в Томске, Барнауле и, наконец, в Омске. Старые кладбища сносились и в дореволюционный период, однако это делалось по мере обострения хозяйственных вопросов и не было массовой тенденцией. В изучаемый нами период безвозвратно утраченными оказались как могилы старой, дореволюционной элиты, так и коммунистический некрополь, формировавшийся после Гражданской войны, что также можно связать с процессами быстрого забвения, вызванными формированием идентичности нового поколения, не «революционного», а «сталинского». При этом восприятие населением повсеместного сноса старых кладбищ и атеистических изменений в сфере некрокультуры было неоднозначным. Источники отражают наиболее острую негативную реакцию среди интеллигенции, считавшей себя хранительницей местной истории и традиций культуры памяти. Сопротивление музейщиков уничтожению старых кладбищ не было эффективным в 1930-х гг., однако их инициативы там, где они проявлялись, все-таки возымели действие в постсоветское время.

¹ Connerton P. Seven Types of Forgetting. – P. 60–64.

Ситуация с кладбищами характеризуется не только процессами забвения и разрушения. Одновременно срабатывала и инертность, традиции некрокультуры демонстрировали жизнеспособность: в межвоенные годы с кладбищ не исчезли надгробия в виде крестов, продолжались посещения закрытых кладбищ, сохранялось деление кладбищ на кварталы по религиозному признаку. Это дает основание сделать вывод, что в качестве памятного места кладбище 1920-х–1930-х гг. отражало одновременно как согласие сибиряков с советской политикой памяти, так и варианты ее неприятия, а также попытки частично к ней приспособиться, сохранив более или менее осознанную верность старой традиции.

ГЛАВА 3

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ВЫЗОВЫ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ

3.1. Массовые торжественные похороны героев и жертв Гражданской войны и проблемы формирования военно-революционного героического некрополя в западно-сибирских городах

Большевистская мемориализация героев и жертв борьбы с «колчаковщиной» началась сразу после «освобождения» городов Западной Сибири. Советские историки неоднократно писали о том, что при отступлении на восток колчаковцы жестоко расправлялись с политическими заключенными из числа подпольщиков, партизан, красноармейцев и подобного им контингента, заточенного в тюрьмы. Изувеченные жертвы этих расправ подчас оставались захороненными, брошенными на морозе под открытым небом или были наспех зарыты в землю без памятных знаков. Торжественные похороны жертв «колчаковщины» зимой 1919/1920 г. были организованы советской властью в каждом западно-сибирском губернском городе (см. Прил., рис. 39–42). В Омске жертвы расправы с заключенными были преданы земле в сквере у Дома Республики (бывший дворец генерал-губернатора), в Новониколаевске – на Базарной площади, переименованной в Красную площадь, в Барнауле жертв партизанского сопротивления «колчаковщине» хоронили на проспекте Ленина. И сегодня одна из могильных плит барнаульского мемориального комплекса сообщает: «Здесь похоронены партийные и советские работники, рабочие-железнодорожники и крестьяне-повстанцы (44 человека), расстрелянные кол-

чаковцами в 1918–1919 гг.». Надпись на другой братской могиле этого комплекса свидетельствует: «Здесь похоронена группа партизан из армии Е. М. Мамонтова и восставших рабочих, погибших при освобождении Барнаула от колчаковцев в декабре 1919 г.».

К моменту восстановления советской власти в западно-сибирских городах уже имелись братские могилы тех, кого местные жители, поддержавшие советскую власть, считали жертвами «колчаковских палачей». В Омске, к примеру, существовала «братская могила тринадцати», где, по предположительным данным, были погребены венгры-интернационалисты; могила двенадцати беглых политических заключенных; могила павших под Марьяновкой (находилась в примыкавшем к Омску Ленинске). Также в 1920 г. сибиряки перезахоранивали жертв боев и восстаний 1918 – первой половины 1919 г., к примеру, трупы участников омского восстания, состоявшегося в декабре 1918 г., и жертв неудачного томского восстания против Колчака, состоявшегося в марте 1919 г. (см. Прил., рис. 37). Уже в конце 1920-х гг. мемуаристы рассказывали, что томские повстанцы были убиты карателями за Артиллерийскими казармами и зарыты в яме на Татарском кладбище¹.

Политические похороны не были новым явлением для России и, в частности, для Сибири. Использование ситуации похорон в идеологических целях происходило во все времена, поскольку скорбь укрепляет чувства общности и преемственности². До революции официальные церемонии народного прощания с жертвами и героями политических конфликтов проходили в соответствии с религиозной традицией. Характерен пример похорон премьер-министра П. А. Столыпина, убитого в 1911 г. анархистом Д. Б. Богровым. Историк В. В. Вострикова приводит следующее описание: «Прощание с телом началось еще с 10 часов утра 7 сентября в больнице Маковского, на Мало-Владимирской улице, где скончался Столыпин. После двух часов дня закрытый гроб был вынесен из больницы, помещен на катафалк с тем, чтобы быть перевезенным к месту захоронения. Возле гроба – почетный эскорт из двух жандармских офицеров, одного дворянина, одного земца, чинов Министерства внутренних дел и двух почетных часовых жандармов. За колесницей следовали вдова, дочь, брат покойного, представители государственных органов, органов местного управления, общественно-политических организаций, церкви. За двумя хорами военной музыки, игравшими попеременно похо-

¹ ЦДНИТО. – Ф. Р-4204. – Оп. 4. – Д. 28. – Л. 5.

² Ассман А. Указ. соч. – С. 117.

ронные марши, ехали эскадроны пеших и конных жандармов, на колесницах везли сотни венков, многие с надписями. Печальная процессия растянулась на несколько кварталов. По всему пути ее следования по обеим сторонам улиц в полном порядке стояли тысячи народа. Балконы, окна и даже крыши домов были усеяны народом, который благоговейно провожал процессию. Многие плакали. Процессия многократно останавливалась для проведения молебна. Около шести часов пополудни гроб был установлен в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Около него организовано почетное дежурство: попеременно сменяли друг друга предводители дворянства, председатели земских управ и чины ведомства внутренних дел. Прощание с телом продолжилось 8 сентября. Возле гроба несколько раз совершались панихиды»¹.

На похоронах П. А. Столыпина, устроенных в полном соответствии с православным обрядом, заупокойная литургия дополнялась политизированной панихидой. Настоятель Сретенской церкви протоиерей Климент сказал, обращаясь к покойному: «Не умрет... дело обновления России, начатое тобой, и не угаснет в нас воженная тобой в наших душах твоя великая идея чистого национализма, духовного подъема русского народного самосознания и укрепления во всех слоях народа русского исконных начал...»². Использовалась и политизация погребальной атрибутики. Епископ Холмский Евлогий возложил к гробу восьмиконечный крест из живых цветов с надписью: «Благодарная крестonosная Холмская Русь самоотверженному борцу и страдальцу за великую неделимую Россию». Погребение происходило под перезвон колоколов. Собравшиеся по традиции обнажили головы. Перед выносом тела жандармы обнажили шашки, при опускании гроба в могилу жандармы дали залп из орудий. В. В. Вострикова пишет, что в день похорон Столыпина во всех правительственных учреждениях столицы и церквях были отслужены заупокойные богослужения, а затем панихиды, в день погребения были отменены спектакли во всех императорских театрах³.

В духе этой традиции устраивали торжественные похороны погибших воинов «колчаковцы». Ритуал белогвардейских похорон оставался религиозным, сопровождался литиями и отпеванием, но был одновременно и политизированным. Как и на похоронах П. А. Столыпина, политизация пронизывала панихиды по усопшим, которые устраивались «над гробом», а также на девятый и сороковой дни с момента кончины «героев»

¹ Вострикова В. В. Указ. соч.

² Там же.

³ Там же.

и «жертв большевиков». О похоронах и панихидах обычно сообщала местная периодическая печать.

Ритуал похорон жертв «колчаковщины» имел отличительную специфику, которая складывалась под воздействием ряда факторов. Во-первых, формирование ритуала массовых «красных» похорон проходило в рамках выработки левыми силами протестных политических практик наряду с формированием демонстраций, забастовок и т. п. Такие похороны были важным логическим звеном в цепочке событий политического конфликта между противниками. Место похорон в последовательности событий могло быть разным. Чаще похороны символически обозначали эпилог случившегося конфликта и одновременно пролог нового витка его развития. Политические похороны могли быть и элементом кульминации конфликта, когда накал политических эмоций был особенно выражен. До 1920 г. в большевистских политических похоронах выражалось требование быть услышанными и замеченными, публично почтить память тех, кого политические оппоненты считали антигероями, широко заявить о собственной оценке событий, противоречившей их официальной трактовке. Зимой 1919/1920 г. большевики вновь официально пришли к власти, но их позиция еще не была устойчивой. Эти торжества являлись, по сути, первыми после «освобождения» западносибирских городов. Поэтому в массовых проходах многочисленных жертв «колчаковщины» еще звучали протестные ноты. Именно поэтому большевистские похороны не могли точно воспроизводить привычные формы ритуала. Однако и сломать традицию большевики не могли. Политические настроения населения были еще нестабильными, а спектр мнений о большевиках – широким¹. Помпезные политические похороны не могли восприниматься населением однозначно с сочувствием и состраданием.

Во-вторых, выработка «красного» ритуала происходила под воздействием развития революционных дискурсов европейской культуры: литературного, художественно-изобразительного, праздничного и др. В восприятии гибели героев большевики отчасти воспроизводили отношение к смерти, характерное для традиций культуры классицизма и романтизма, отразивших этапы революционного процесса во Франции. Очевидным образцом для «красных» похорон «жертв колчаковщины», как и других массовых революционных похорон в России, служили французские коммеморативные практики времен Парижской коммуны. Именно из революционной Франции 1870-х гг. в Россию

¹ Лившиц А. Я. Указ. соч. – С. 303.

пришла сама форма гражданских похорон-демонстраций (манifestаций), в которых могли участвовать тысячи человек (к примеру, похороны журналиста В. Нуара). Из французского опыта были заимствованы такие элементы ритуала, как пение революционных гимнов («Марсельеза», «Интернационал»), несение красных знамен, торжественные клятвы на могилах героев мстить врагам и до последней капли крови защищать идеалы революции. Эти ритуальные особенности были восприняты русскими революционерами – участниками и очевидцами французских событий. В духе революционной традиции происходило прощание со знаменитым П. Л. Лавровым – участником Парижской коммуны, умершим в 1900 г. в Париже. По описанию историка Б. С. Итенберга, «похороны Лаврова превратились в многолюдную интернациональную демонстрацию. Восемьтысячное шествие включало социалистов разных стран. Процессия сопровождалась звуками “Интернационала”. Раздавались возгласы: “Да здравствует социальная революция!”, “Да здравствует Интернационал”, “Да здравствует Парижская коммуна”»¹.

В России практика гражданских похорон распространилась в революционно настроенных кругах уже в начале XX в. Этнограф Н. С. Полищук связывает их происхождение не с похоронными манифестациями революционной Франции, а с русскими «литературными» похоронами середины XIX в. По ее мнению, многолюдные похороны Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского и других известных писателей, оказавших существенное влияние на общественное мнение и социально-политические взгляды россиян, становились для их современников возможностью публичного выражения солидарности с идеями «учителей». Эти похороны отражали рост гражданского самосознания.

Следующим этапом развития массовых «красных» похорон Н. С. Полищук считает похороны периода Первой русской революции. Она подчеркивает, что этим похоронам еще не был присущ единый шаблон организации. По ее наблюдениям, существовали вариации: либо ритуал являлся строго гражданским, либо сочетал религиозные и гражданские элементы. Однако все эти похороны были одновременно демонстрациями, а назначение подобной траурной процессии было не только в выражении скорби, но и в показе готовности общества продолжать дело павших героев. Смысл похорон-демонстраций состоял в выражении верности идеалам погибших. Уже в 1905 г. в России на «красных»

¹ Итенберг Б. С. Указ. соч. – С. 138.

похоронах появились знамена и алые ленты, украшавшие венки, началось хоровое пение революционных гимнов¹.

Очевидно, на выборе места для братских могил и на ритуале похорон сказался опыт погребения на Марсовом поле в Петрограде «борцов за свободу» в марте 1917 г. Марсово поле избрали для погребения, поскольку планировалось, что именно в этом месте будет располагаться здание Учредительного собрания. Братская могила «под окнами» правительства, таким образом, должна была вечно напоминать об ответственности и верности идеалам революции. Эти похороны были задуманы как всенародные, общегражданские. Гробы обивались красной тканью, украшались еловыми ветками. Опускание гробов в могилы сопровождалось стрельбой из пушки в Петропавловской крепости². Важно, что для этих похорон была избрана символика революционного подполья – красные знамена и красные банты, которые благодаря таким значимым мероприятиям стали восприниматься как общенациональные символы³.

Для организаторов похорон жертв «колчаковщины» существовал и еще один значимый образец: похороны борцов за установление советской власти в Москве, организованные 10 (24) ноября 1917 г. Британский историк К. Мерридэйл обращает внимание на то, что вопрос о выборе ритуала и «нового советского языка смерти» был поднят уже через несколько часов после установления советской власти⁴. Погибшие (238 человек) были преданы земле «в самом священном месте России» – у Кремлевской стены. Выбор места погребения советский некрополист А. С. Абрамов объяснял тем, что «Красная площадь видела, как казнили “бунтовщиков”, восставших против гнета господствующих классов; но впервые на ней торжественно хоронили восставших против строя помещиков и буржуазии, и победивших»⁵. Ритуал прощания был гражданским. Для фиксации внимания населения на этих массовых похоронах была остановлена работа предприятий и движение трамваев, закрыты театры, кинематографы, магазины. Участники похоронной демонстрации, «производившие впечатление стальной крепости и силы», несли многочисленные традиционные венки, цветы, а также штыки, красные знамена, транспаранты.

¹ Полищук Н. С. Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон»). – С. 25–39.

² Измозик В. С., Лебина Н. Б. Указ. соч. – С. 76–82.

³ Колоницкий Б. И. Политические символы и борьба за власть в 1917 г. [Электронный ресурс]. – URL: window.edu.ru/resource/483/38483/files/spr0000031.pdf (дата обращения: 22.03.2015).

⁴ Merridale C. Death and Memory in Modern Russia... – P. 7.

⁵ Абрамов А. С. Указ. соч. – С. 11.

Звучала революционная музыка, похоронный марш. Красные, открытые гробы демонстранты несли на руках. Погребение длилось до утра¹.

В-третьих, формирование ритуала «красных» похорон происходило под воздействием атеистического отношения к смерти и антирелигиозной пропаганды. Большевики стремились подчеркнуть именно гражданский смысл проводов павших товарищей в последний путь. Декрет СНК 1918 г. о кладбищах и похоронах предполагал отстранение церкви от обязательного участия в похоронах и погребении. В 1920 г. «жертв колчаковщины» не отпевали, похоронная атрибутика исключала кресты и иконы. Однако сразу заметно, что ритуал этих похорон отталкивался от складывавшейся веками религиозной традиции: неизменной осталась последовательность ритуальных действий, порядок траурного шествия, способ погребения и т. п.

Организация массовых похорон «жертв колчаковщины» опиралась на опыт левых сил, имевшийся у сибиряков со времен Первой русской революции. К примеру, томичам запомнились политизированные гражданские похороны «первого героя революции 1905 г.» И. Е. Кононова, могилу которого мы уже упоминали в предыдущей главе. Трудно судить о том, как эти похороны проходили, поскольку в воспоминаниях очевидцев о них содержится много явных преувеличений и нестыковок. Один из мемуаристов 1920-х гг. сообщал, что в похоронах Кононова, переросших в демонстрацию, приняло участие до 600 человек². Однако в тексте других воспоминаний приводится более скромная цифра – 200 человек³. Согласно официальной версии событий, прозвучавшей в одной из праздничных радиопередач 1935 г. в Томске, «труп Кононова рабочие выхлопотали домой на Петровскую улицу», в похоронах участвовали также студенты и курсистки. Молодежь несла красные флаги, на кладбище началось хоровое исполнение песни «Замучен тяжелой неволей» и других революционных произведений, которое продолжалось до темноты, несмотря на попытки полиции разогнать демонстрантов⁴.

В предвоенные годы мемуаристы, дававшие интервью музейщикам, работавшим над созданием фонда документов о С. М. Кирове, добавили некоторые детали к этому сюжету. В частности, они вспоминали гражданскую панихиду на кладбище и выступление с речью молодого Сережи Кострикова (Кирова). Эта речь, как и прочие, служила

¹ Там же. – С. 3–12.

² ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 295. – Л. 3.

³ ГАТО. – Ф. Р-1612. – Оп. 1. – Д. 39. – Л. 21.

⁴ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 67. – Л. 2–3.

мобилизационным целям. В соответствии с официальной риторикой второй половины 1930-х гг. сообщалось, что «у всех присутствовавших на похоронах появился энтузиазм, подъем, решимость бороться до конца»¹. Е. М. Валова-Топоногова вспоминала также, что похороны И. Е. Кононова проходили под надзором казаков. Однако она сообщила и то, что этот надзор не был строгим, полиция не вмешивалась в похоронное действо, а после похорон никто не был арестован².

Также под красными знаменами новониколаевские большевики провожали в последний путь своих товарищей, погибших в ходе Чехословацкого мятежа летом 1918 г. Деятель новониколаевского подполья А. Денисов рассказывал, что один из рабочих профсоюзов организовал после этих кровавых событий похороны рабочего, убитого чешским офицером в упор (имя жертвы мемуарист не вспомнил). Согласно этим воспоминаниям, похоронная демонстрация проследовала к зданию тюрьмы, потом на кладбище (видимо, на Воскресенское, находившееся рядом с тюрьмой), а с кладбища – в центр города. Денисову запомнились лозунги: «Долой самозванцев!» и «Долой белогвардейцев!». Как и в других историях о «красных похоронах», Денисов говорил, что полиция теснила демонстрантов и предпринимала попытки их задержаний³. В период диктатуры Колчака большевики устраивали похороны-демонстрации своих товарищей неоднократно⁴.

Одновременно жертв городских восстаний против режима Колчака каратели старались закапывать в землю безо всяких почестей и памятных знаков. Но люди, сочувствовавшие восставшим, знали эти места и тайком их посещали. В 1920-х гг. некоторые революционеры говорили, что помнили и сами расстрелы, и шевеление поверхности земли, которой закидывали измученных, но порой еще живых людей. Многим запали в память ужасающие картины брошенных под открытым небом тел убитых (например, после неудачного декабрьского восстания в Омске – на льду Иртыша, на свалках и в Загородной роще)⁵, саней, наполненных нагими мертвецами – расстрелянными и замученными повстанцами, которых среди бела дня везли на всеобщем обозрении по центральным улицам⁶.

¹ ГАТО. – Ф. Р-1612. – Оп. 1. – Д. 39. – Л. 63.

² Там же. – Л. 21.

³ ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 557. – Л. 1–3.

⁴ Там же. – Оп. 4. – Д. 1715. – Л. 42.

⁵ Там же. – Д. 437. – Л. 3.

⁶ Там же. – Л. 7.

Всё это действовавшая власть предпринимала для устрашения жителей городов, для демонстрации своей силы и наглядного разъяснения того, что будет с теми, кто попытается ей противостоять. В военных условиях не только трудно было установить имена погибших, но и часто просто найти места их захоронений, ведь там обычно не существовало даже насыпей. Неочевидность могил врагов по расчету действовавшей власти должна была вести к их забвению, как к посмертному наказанию. По крайней мере, место погребения уже не могло стать платформой для митингов. Был расчет и на то, что родные не смогут посещать эти места, а значит, нити семейной памяти оборвутся.

Такое «закапывание» убитых и погибших не являлось исключительно «колчаковской» практикой. Известно, к примеру, что еще в 1905 г. царская власть организовала на специальном участке Преображенского кладбища в столице тайное ночное погребение жертв «Кровавого воскресенья», умерших в госпиталях после достопамятной демонстрации. Памятных знаков на могиле не устанавливали, никаких коммеморативных действий в этом месте не производилось («Ни яиц, ни водки, ни молитвы, ни кома земли»)¹.

В отдельных случаях родным разрешалось забрать тела казненных и «замученных». Но при этом похороны происходили под контролем надзирателей («под конвоем чехословаков»). Любые элементы торжественности и политизации запрещались. Позже мемуаристы-подпольщики объясняли это тем, что «убийцы боялись агитации и мертвых большевиков»². Так, в начале июня 1918 г. в кустах на пути к Военному городку были расстреляны арестованные члены президиума новониколаевского совдепа А. И. Петухов, Ф. П. Серебренников, Ф. И. Горбань, Д. М. Полковников, Ф. С. Шмурыгин. Их тела были перенесены на территорию Нового кладбища, где и лежали под открытым небом вплоть до погребения.

Подпольщица Е. В. Бердникова вспоминала о том, что рабочие пытались добиться участия в похоронах расстрелянных совдеповцев, но получили категорический отказ новой власти³. По воспоминаниям ее сестры подпольщицы В. В. Бердниковой, родным убитых разрешили подойти к телам погибших для прощания, посторонних в этот момент на кладбище не пускали, конвой окружил все кладбище. Конвойные же переложили тела убитых в гробы. Родственники попросили перед опусканием гробов в могилы открыть крышки для последнего прощания. Но из пяти гробов были открыты только

¹ Merridale C. Night of Stone... – P. 64.

² ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 1715. – Л. 17.

³ Там же. – Оп. 3. – Д. 92. – Л. 17.

два, в которых находились тела Ф. П. Серебренникова и Д. М. Полковникова. После этого военные произвели погребение. Во время опускания гробов в могильные ямы охрана стояла в позе боевой готовности со штыками наперевес¹.

Большевики не пожалели сил и средств на организацию массовых похорон в тяжелейших условиях военной разрухи. По сибирским городам, перенаселенным беженцами, уже распозлась тифозная зараза. Не работали коммунальные предприятия. Стояли транспорт и фабрики. В Омске был разрушен железнодорожный мост. Выживанию населения также угрожал дровяной и продовольственный кризис. Обостренной была криминальная ситуация. «Жертв колчаковщины» пышно хоронили с почестями на фоне тяжелейшего гуманитарного кризиса. При этом тысячи жертв тифа и боевых действий лишь дожидались погребения. В сложившихся условиях политизированные похороны должны были выглядеть особенно заметно и неоднозначно: далеко не всех погибших борцов за советскую власть проводили в последний путь с почестями, к тому же далеко не все, похороненные в этот день, были красноармейцами и большевиками.

Говоря о политике памяти, выражавшейся в этих коммеморациях, важно подчеркнуть, что они служили целям политической социализации. Б. И. Колоницкий подчеркивает, что миллионы людей в России начали приобщаться к политике только после Февральской революции. Именно политическая символика и подобные массовые действия служили первичными средствами «обучения политике»². Символическое выражение политических идей было нацелено на эмоциональное восприятие политики и ее переживание. Конкретное же политическое значение этих коммемораций выразила, в частности, газета «Советская Сибирь»: «Сегодня в день похорон павших товарищей рабочие и крестьяне ... должны окончательно похоронить всякую мысль о каком-либо соглашении с буржуазией. Буржуазия уходит с исторической сцены, оставляя за собой кошмарный кровавый след»³. Еще не закончилась Гражданская война, однако важно было создать видимость финальной победы над врагами. Массовые похороны в этом смысле должны были создавать в народном сознании ощущение поставленной точки в войне. Между тем, разумеется, как мы уже подчеркнули, многие жители губернских центров не выражали солидарности с советской властью. Поэтому массовые торжественные похороны жертв «колчаковщины» были призваны разоблачить «палачей», продемонстрировать

¹ Там же.

² Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть... – С. 5.

³ Стуков И. Надо поскорее покончить с чудовищем // Сов. Сибирь. – 1919. – 30 нояб.

народу наглядно масштабы их преступлений и удостоить почестей борцов, павших в ходе сопротивления врагам. Ради «разоблачения» врагов большевики уверенно блефовали.

Многие тела, погребенные в братских могилах героев, не были опознаны. Однако официальная пропаганда сообщала, что они принадлежали большевикам и их сторонникам. Горожане не могли не знать, что в братских могилах покоились не только большевики и красноармейцы. Даже политизированные тексты воспоминаний, собранные Истпартом в 1930-х гг., сообщали о том, что контингент людей, покоившихся в братских могилах, был различным. К примеру, в краеведческой рукописи омского музейщика И. С. Кочнева, составленной в 1931 г., говорилось: «В одной яме оказались и колчаковцы, и мобилизованные Колчаком крестьяне, и добровольцы Красной армии»¹. Однако широко подобная информация не тиражировалась. Лишь в постсоветские годы сибирские историки частично восстановили справедливость, доказав, что в тех братских могилах покоились также многочисленные солдаты из белой армии Колчака – эсеры, меньшевики, а также люди, не имевшие отношения к политике². Важно, что эти сведения появились в газетах и в популярных краеведческих изданиях. Тела жертв не из числа большевиков хоронили вместе с останками тех, в ком большевики признали своих соратников. Эти трупы использовались «для количества», чтобы гиперболизировать масштабы жертвы большевистского подполья и Красной армии, принесенной на алтарь победы. Заметно, что большевикам не нужна была мемориализация случайных, «негероических жертв». Всех погибших они хоронили как героических товарищей из числа большевиков.

Политика памяти, исходившая от государства, предписывала пересмотр самого смысла похорон. Еще в период Первой русской революции, как заключает Н. С. Полищук, похороны жертв классовой борьбы были направлены на «выражение солидарности с погибшим», олицетворяли «присягу на верность их идеалам» и протест против «произвола самодержавия»³. По мнению Е. А. Бесединой, «красные» похороны должны были оказать, прежде всего, эмоциональное воздействие на консервативно настроенного обы-

¹ ИАОО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Д. 344. – Л. 47.

² Вибе П. П. Мемориальный комплекс «Памяти борцов революции» // Памятники истории и культуры Омска. – С. 19; Шиловский М. В. Вопрос о городе // Новосибирск-Метро. – 2007. – 8 авг., и др.

³ Полищук Н. С. Обряд как социальное явление. – С. 35.

вателя и «через сердце достучаться до его политического сознания»¹. Аналогичное понимание идеологического значения массовых похорон жертв «колчаковщины» все еще сохранялось. В печати сообщалось: «Тысячи, десятки тысяч рабочих, спаянных своей пролетарской солидарностью, вышли на улицу... чтобы показать буржуазии, что жертвы рабочих не уменьшают энергии рабочего класса, а увеличивают... Вчерашние, небывалые еще в Томске похороны ясно показали, с кем массы и куда они идут»².

Одновременно обыватели должны были почувствовать, что победившая советская власть имеет в народе массовую поддержку. В последующие годы использование памяти о павших героях имело мобилизационное значение. Это ярко отражается в одном из мемуарных текстов 1933 г.: «Память о павших в бою с колчаковщиной, беззаветно отдавших свою жизнь за дело пролетариата, должна еще сильнее мобилизовать нашу волю на дальнейшую борьбу»³.

Широко распространенное мнение о «колчаковских зверствах», о которых много говорилось после Гражданской войны, в значительной степени породила колчаковская же пропаганда устрашения путем демонстрации изувеченных тел врагов. Теперь картины, изображающие горы тел погибших, использовала советская власть для дискредитации «белых». В газетах сообщалось, что тела погибших были изувечены подчас до неузнаваемости. При этом печать тенденциозно подчеркивала крайнюю жестокость («зверство») «белобандитов», убивавших безоружных людей, многочисленность жертв и циничное отношение врагов к их личностному достоинству и памяти. Об убитых в Новониколаевске газета «Красное знамя» сообщала: «Это были последние жертвы реакции в Новониколаевске и на 104 изуродованных трупах товарищей видна вся жестокость и злоба палачей, отчаявшихся в возрождении своего гнусного дела, которые поняли, что их дело проиграно»⁴. Аналогичный акцент внимания на «зверствах» делали и краеведы последующих лет⁵.

В Новониколаевске, прежде чем предать тела расстрелянных узников земле, погибших фотографировали (см. Прил., рис. 43). При этом известно, что для съемки специально было отобрано несколько особенно изувеченных тел⁶. Снимки выставлялись в

¹ Беседина Е. А. Указ. соч. – С. 12.

² Похороны жертв контрреволюции // Сиб. коммунист. – 1920. – 24 янв.

³ ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 437. – Л. 16.

⁴ Красный М. Вы жертвою пали // Красное знамя. – 1920. – 22 янв.

⁵ Памятники Новосибирска. – С. 25–26; и др.

⁶ Корсакова М. С. Указ. соч. – С. 359.

городах на всеобщее обозрение в целях пропаганды ненависти к «колчаковщине». Эти фотографии можно было видеть и после похорон. Данное зрелище усиливало их эмоциональное последствие, должно было пробуждать ненавистнические чувства. Шокирующий эффект от просмотра этих снимков объясняется, по нашему мнению, следующими обстоятельствами. Религиозная традиция, связанная с похоронно-поминальной сферой, предписывала ритуальное омовение тел, приведение их в порядок, облачение в чистую одежду. Повреждение мертвых тел осуждалось с точки зрения народной культуры. Запрет на причинение телесного вреда мертвым восходит еще к языческим представлениям о возмездии со стороны покойника, с которым живые обращались непочтительно¹. В этой связи снимки, зафиксировавшие погибших в «неупокоенном», не приведенном в порядок виде, должны были обострять обывательское чувство страха и потрясения от увиденного. При взгляде на эти снимки шокирует состояние трупов: искореженные тела, застывшие в движении, позы, отражающие ужас и попытки защититься, развернутые анфас разбитые лица с открытыми остекленевшими глазами, оборванное белье.

На этих снимках всё противоречит правилам изображения усопших, сложившимся в дореволюционный период. Традиционно умерших фотографировали лежащими в гробах среди цветов и траурных венков, головой направо, с руками, сложенными на груди. Покойного снимали строго в профиль, ни в коем случае не акцентируя следов болезни и увечий. Вопреки всякому канону, некоторые трупы на новониколаевских снимках изображены в вертикальном положении, они словно поднимаются из груды мертвых, хаотично разбросанных тел, готовые не то к отмщению, не то к нападению на первого встречного. По крайней мере, такие мгновенные и автоматические ассоциации должны были возникать у человека, знакомого с традиционным фольклорными сюжетами об «оживших мертвецах» и распространенными приметами, связанными с погребальным культом.

В сущности, эти чудовищные в своей натуралистичности изображения свидетельствуют о том, что большевики пренебрегали всякой этикой, не считались с культурной нормой, стремясь очернить врагов. Тела убитых были сфотографированы не в том виде, в каком их оставили колчаковцы, и не на том месте, где они были найдены после отступления белых. Снимая убитых, большевики «добавляли красок». Заметно их стрем-

¹ Meridail C. Night of Stone... – P. 41.

ление сделать снимки более ужасающими, чем у противников («колчаковцы» тоже фотографировали погибших соратников). «Инсталляция», сооруженная большевиками в Новониколаевске, выглядела циничной, кощунственной и аморальной и с точки зрения православной традиции, и с позиций народной культуры. Возможно, именно поэтому газеты спешили внушить населению однозначную версию интерпретации этих визуальных материалов, многократно обвинив в «зверстве» колчаковцев. Сочетание страшного изображения и обвинительных высказываний в адрес белых оказалось действенным средством пропаганды.

Зимой 1919/1920 г. на массовые похороны жертв «колчаковщины» собирались большие толпы, о чем свидетельствуют и имеющиеся фото-источники (см. Прил., рис. 40–41). О похоронах героев и жертв, а также о значении этих обрядов сообщали местные газеты¹. Позже эти события были описаны сибирскими краеведами². Остановимся на традиционных, восходивших к православной культуре, чертах ритуала массовых похорон жертв и героев, а также отметим черты ритуала, заимствованные из опыта организации революционных похорон разных лет.

На похороны-демонстрации, как и на все особенно торжественные массовые мероприятия, народ, в соответствии с существовавшей и ранее практикой, собирался в центре городов, на главных площадях. Попытаемся определить, в какой степени ритуал «красных похорон» отличался от традиционного для России православного ритуала. До революции сложилась традиция службы панихид в память об усопших государственных деятелях, лицах, возглавлявших местную администрацию, и местных знаменитостях в кафедральных соборах, куда стекались многочисленные толпы. В годы Гражданской войны, после падения советской власти, на центральных площадях городов Западной Сибири устраивались массовые ритуальные действия, приуроченные к печальным событиям. Так, в Барнауле в сентябре 1918 г. совет приходских общин устроил на Соборной площади панихиду «по всем воинам-барнаульцам и по всем прочим, павшим в ходе междоусобной брани»³.

Тех, кого признали героями, хоронили не на кладбищах, подчеркивая их исключительность. Мы уже отмечали, что еще до революции выдающихся людей, имевших пе-

¹ См., например: Похороны жертв контрреволюции // Сиб. коммунист. – 1920. – 24 янв.; Похороны // Красное знамя. – 1920. – 22 янв.; Похороны жертв колчаковского произвола // Сов. Сибирь. – 1919. – 2 дек. и др.

² Вибе П. П. Указ. соч. – С. 19–20; Корсакова М. И. Указ. соч. – С. 359; Смоленский А. Ф. Историко-революционные памятники Омска. – Омск, 1951. – С. 46.

³ [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1918. – 21 сент.

ред городом и церковью особые заслуги, хоронили вне пределов общих кладбищ, близ храмов, на строительство которых они жертвовали деньги. Заслуги героев сопротивления колчаковщине рассматривались также как исключительные. Поэтому их хоронили в наиболее людных местах с тем, чтобы память о них актуализировалась постоянно. Примечательно, что братские могилы зачастую фактически соседствовали с православными святынями. К примеру, в Барнауле рядом с братскими могилами находилась часовня Александра Невского, а в Томске – Троицкий кафедральный собор (был известен в просторечии как «Новый собор»). Братские могилы в качестве новых сакральных мест «конкурировали» с храмами. В дальнейшем храмы будут «вытесняться» строившимися революционными монументами.

Интересно то, как на массовых похоронах решался вопрос с «выносом» тел. Традиционно умерших выносили из дома, больницы, в особенно торжественных случаях – из учреждения, где покойный служил при жизни, внося весомый вклад в его развитие. В этом смысле вполне традиционным был вынос гробов с телами жертв в Омске из военного госпиталя¹ (аналогичное решение знакомо нам по похоронам П. А. Столыпина). Сохранились сведения о том, что в Томске жертв мартовского восстания выносили из ограды арестантского отделения, ставшего их последним пристанищем. Туда и пришли родные, близкие и соратники погибших для прощания. Как и на традиционных похоронах, прощание длилось около часа. В это время от арестантского отделения до Дома науки построились колонны демонстрантов, готовясь к траурному шествию до Новособорной площади. В Новониколаевске вынос состоялся из похоронного бюро. Гробы с телами убитых принял почетный караул воинских частей города².

На похоронах героев и жертв «колчаковщины» богослужение заменяли митингом, иконы, которые традиционно несли участники траурного шествия, – черными и красными транспарантами с революционными лозунгами. Например, на похоронах в Новониколаевске лозунги гласили: «Спите спокойно, борцы мировой революции, память о вас будет жить всегда» (заметно, что формулировка этого лозунга еще отвечала православной традиции), а также «Прощайте же, братья, вы честно прошли свой путь благородный» (на черном), «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Да здравствует международная социалистическая Федеративная Советская Республика» и «Никто не даст нам

¹ Похороны жертв колчаковского произвола // Сов. Сибирь. – 1919. – 2 дек.

² Похороны // Красное знамя. – 1920. – 24 янв.

избавленья: ни Бог, ни Царь, ни Герой, добьемся мы освобождения своею собственной рукой»¹. Демонстранты несли также и красные знамена. Печать Новониколаевска зафиксировала «море красных знамен»². О таком же «море» сообщала и омская печать³. В репортаже о томских похоронах 22 декабря было сказано, что демонстранты несли «старые боевые знамена» томских большевиков. Если в период революции 1905 г. красное знамя бросало вызов царской власти⁴, то теперь оно олицетворяло единство сторонников революции и победивших советов, словно наглядно доказывая, что жертвы контрреволюции не были напрасными. Символическому значению знамен уделяет особенное внимание историк В. С. Тяжельникова, согласно выводам которой, знамена олицетворяли суд в раннехристианском смысле, выявляя верных идее и указывая на них⁵. Знамена символически идейно объединяли участников похорон, однозначно маркируя их политические взгляды, а также указывая на политический характер самого похоронного действия. Красной тканью обтягивались и гробы, чем подчеркивалась жертвенность героев и их верность «правому делу» до смерти. Гробы могли быть и обычными «тесанными», но украшенными красными лентами (в Омске).

Опять-таки, как на традиционных, так и на «красных» похоронах звучала музыка. До революции пышные похороны, как правило, сопровождал хор церковных певчих. От музыкального сопровождения, создающего особую драматичную атмосферу, советская власть не отказывалась. Конечно, церковные певчие не приглашались на «красные» похороны, но похоронный марш («Вы жертвою пали...»), а также и более оптимистичный и идеологически обоснованный «Интернационал», как и «Марсельеза», обязательно звучали в исполнении самих демонстрантов и профессионального хора. Это массовое шествие со знаменами под музыку еще очень напоминало крестный ход. По большому счету, значение музыкального сопровождения прощания с усопшим на традиционных и гражданских похоронах было схожим: в первом случае певчие напоминали убитым горем близким покойного о бессмертии души, во втором случае – об эпохальном значении дела, которому отдали жизнь умершие, чей подвиг бессмертен.

На гробы возлагали хвойные венки, путь до могил тоже усеивался хвоей. На традиционных похоронах аналогичным образом использовали живые цветы, символизиро-

¹ Корсакова М. С. Указ. соч. – С. 359.

² Похороны // Красное знамя. – 1920. – 24 янв.

³ Похороны жертв колчаковского произвола // Сов. Сибирь. – 1919. – 2 дек.

⁴ Полищук Н. С. Обряд как социальное явление. – С. 29–30.

⁵ Тяжельникова В. С. Указ соч. – С. 420–421.

вавшие рай. Но в традициях различных народов России ель и другие хвойные деревья тоже издавна ассоциировались с миром мертвых и имели культовое значение¹. Хвойные (кипарисовые) венки, символизировавшие заслуги усопшего, были также присущи декору некоторых русских надгробий эпохи классицизма. Согласно православной традиции и традиции классицизма, демонстранты несли и возлагали на могилы венки из еловых веток и цветов. Их украшали красные ленты как с формулировками вполне традиционными для христианской культуры («Вечная память павшим товарищам»), так и глубоко политическими («Революционный дух ни в тюрьме, ни в земле не сгниет»; «Железная рука пролетариата отомстит за вас»²). Надписи на венках были разнообразны, во многих сочеталась традиционная похоронная лексика и политические контексты («Вечная память павшим борцам за идею социализма», «В память дорогим товарищам, павшим жертвой в борьбе с капиталом в лице палачей Колчака»³). В надписях на лентах траурных венков погибшие нередко назывались «мучениками», а их «палачи» проклипались. Некоторые венки предназначались конкретным лицам («тов. Васильеву», «Пане Согриной»⁴).

Порядок шествия демонстрантов в разных городах мог быть различным, но логика построения оставалась общей, в целом сходной с традиционной. Сравнение построения этих процессий с траурными процессиями на похоронах великих князей начала XX в. отражает много общих черт⁵. На религиозных похоронах высокопоставленных особ шествие возглавляли люди с иконами и цветами, которыми осыпался путь процессии. На массовых похоронах жертв «колчаковщины» впереди гробов шли люди с черными траурными транспарантами, заменившими иконы. За гробом следовали члены Губернского революционного комитета (в Новониколаевске) или местная организация коммунистической партии (в Томске) со своими знаменами, уездный ЧК (в Томске чекисты несли транспарант с угрожающей надписью «Ни один контрреволюционер не уйдет от правосудия пролетариата»). В традиционном варианте за гробом должны были также следовать представители власти и родные усопших. Родственникам отвели почетное место «за гробом» в процессии только на похоронах «жертв колчаковского произвола» в Ом-

¹ Ершов В. П. Ель – дерево мертвых [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kizhi.karelia.ru/specialist/pub/library> (дата обращения: 25.07.2015).

² Похороны жертв контрреволюции...

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ РГИА. – Ф. 473. – Оп. 3. – Д. 884.

ске. В других городах родственники убитых не были отмечены особым местом в похоронной процессии. Видимо, трудно было их организовать, тем более, что очень многие погибшие оставались неопознанными. Далее, как и на традиционных похоронах именитых лиц дореволюционной поры, шли части войск, хор, оркестр, частная публика. Особенно было отмечено место профсоюзов – нового звена в процессии. До революции церемониалы подобных торжественных шествий четко прописывали специальные правительственные комиссии. Этот опыт был учтен и использован советской властью.

Известно, что к началу торжественного перезахоронения томских жертв мартовского восстания могильная яма не была готова, поскольку было крайне трудно копать мерзлую землю. Поэтому совершить погребение организаторы похорон решили позже, а демонстрацию и митинг не откладывая. Гробы с телами усопших просто поставили на землю. Над ними, опять-таки, по традиции склонили знамена, потом дали несколько залпов салюта, как и на дореволюционных похоронах военных и членов царской семьи Романовых. Играла музыка, собравшиеся пели «Интернационал» и «Вы жертвою пали...». Место похорон было оцеплено войсками. После этого начался митинг, заменивший традиционную панихиду.

Речи, звучащие на этом томском митинге, если верить газете, преимущественно призывали собравшихся совместно поклясться оставаться верными делу, за которое погибли герои. Аналогичные клятвы звучали и на других массовых похоронах. Вообще, клятвы на могилах соответствовали религиозной традиции, но особенно этот элемент ритуала был характерен для культуры романтизма, образы и смыслы которой актуализировались в военно-революционный период. Формулировки клятв были довольно разнообразными, даже поэтичными, но сходными по смыслу («не опускать знамя мировой революции», «завершить то, во имя чего пали товарищи» и т. п.). Прощальные речи и клятвы публиковались также в газетах. Интересно, что не все подобные материалы были проникнуты непримиримой ненавистью к врагам и содержали угрозы. Под влиянием христианской традиции могла идти речь о милосердном отношении к врагам. Так, новониколаевский автор прощального слова М. Красный писал: «Дорогие товарищи, опуская вас в могилу вечного покоя, мы не мстим тем, кто так зверски мучая, прекратил ваши драгоценные жизни. Мы даруем им жизнь, отменяя смертную казнь»¹. «Советская Сибирь» зафиксировала также одну из надписей на красном транспаранте в Омске, выпол-

¹ Красный М. Вы жертвою пали // Красное знамя. – 1920. – 22 янв.

ненную в этом же контексте милосердия: «Кровь погибших – на вас, палачи, но не на ваших детях». Газета поясняла, что пролетариат не собирается мстить детям классовых врагов, он выше этого¹.

Однако в целом заметно, что от участников «красных» похорон ожидалось не традиционное с точки зрения христианства слезное переживание горя, а злость и агрессия, адресованная классовым врагам. Слезы родных и близких воспринимались как естественное явление, но от прочих товарищей ожидалась стойкость, сдержанность, соответствовавшие восприятию смерти в контексте культуры классицизма, ассоциировавшейся с эпохой Великой французской революции, а также и злоба, без которой нет эмоционального мотива к дальнейшей борьбе.

Развитие этих идей демонстрирует речь С. Борисова, прозвучавшая в Омске на похоронах жертв «колчаковщины»: «Спокойствие! Твердость! Без рыданий, без стонов!.. Не будем считать наши раны и потери, мы не будем оглядываться на наш кровавый путь побед, а затаив в груди гнев и безумную боль за наших братьев, мы пойдем дальше к новым битвам и победам». Борисов призывал мстить врагам: «Мы таим священное чувство мести. Наша месть – победа»².

Именно сдержанности и «крепости духа» власть ждала от живых бойцов, примером для которых должны были послужить герои, уже стоически принявшие смерть. «Советская Сибирь» опубликовала предсмертные записки узников омской тюрьмы. Сегодня мы едва ли можем судить об их подлинности, однако очевидно, что записки отражают должное эмоциональное восприятие героической смерти. В этическом отношении эти записки, с одной стороны, соответствуют описаниям настроения парижских коммунаров, гордо встретивших гибель, согласно интерпретации ранних советских авторов. Так, И. Степанов в начале 1920-х гг. писал: «Стоически, гордо, с презрением к убийцам умирали не только Мильер и Варлен, Тони-Муален, Риго и Ферре: так умирали и тысячи безыменных героев, мужчин, женщин, детей и подростков»³. С другой стороны, на примере газетной публикации предсмертных заметок омичей заметно и то, что оправданием их стоически спокойного восприятия смерти выступает по аналогии с христианской традицией непоколебимая вера. Традиционный христианский контекст нельзя исключить, ведь «жертвы колчаковщины» некогда воспитывались в рамках этой культуры.

¹ Похороны жертв колчаковского произвола.

² ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 3. – Д. 182. – Л. 47.

³ Степанов И. Парижская коммуна 1871 г. – М., 1923. – С. 239–282.

Судя по текстам записок, приговоренные к смерти верят в свои идеалы и светлое будущее: «Не унывайте и не жалейте меня. Я умираю за идею, я рада и совершенно спокойно жду своей смерти. Будьте и вы бодры и не падайте духом»; «Я умираю с верой, что голодные дни пройдут, наступят радостные и светлые»; «Боритесь! Ни одной дрожащей нотки, ни одного крика!»¹.

Возможно, далеко не все стоически, с чувством благородной ярости воспринимали кончину соратников, но считалось, что именно такие чувства должен испытывать борец. Вид страданий несчастных и беззащитных родственников погибших (стариков-родителей, вдов, детей) должен был обострять классовую ненависть товарищей. Неслучайно «Советская Сибирь» представила описание «впечатлений» очевидцев похорон: фигуры обезумевшего от горя старика, лишившегося сына-кормильца, молодой жены, похоронившей любимого мужа, несчастной вдовы с восемью детьми². Стоит отметить, что на эмоциональный фон массовых похорон в Новониколаевске и Томске повлияло также их объединение с праздничными торжествами в честь юбилейной годовщины революции 1905 г. Совмещение похорон с праздником в этих городах должно было смягчать переживание утраты и настраивать народ оптимистически.

В день похорон газеты предложили читателям статьи о погибших героях и значении их жертвы. В этих материалах содержалось еще много традиционных похоронно-поминальных формулировок: «И легкой покажется им могильная земля»; «Товарищи, мир вашему праху» и т. п. В некоторых формулировках авторы использовали традиционные образы, однако менялась их интерпретация, образ отражал уже новый революционный смысл, к примеру, «Пусть ваша святая могила порастет цветами коммунизма»³.

По нашему мнению, в похоронах «жертв колчаковщины» было мало инновационного. Ритуальные черты «красных» похорон были относительно новыми, вернее сказать, они отвечали другой, не православной традиции, истоки которой были за пределами православной культуры. Красные знамена, лозунги, революционные песни были знакомы сибирякам и до Гражданской войны. Справедливо лишь то, что зрелище этих похорон было контрастно коммеморациям периода «колчаковщины» и похоронам дореволюционных лет.

¹ Последние строчки // Сов. Сибирь. – 1919. – 2 дек.

² Похороны жертв колчаковского произвола.

³ Там же.

Восприятие этих похорон не могло быть однозначным. С одной стороны, печать и фотоисточники свидетельствуют о том, что похороны привлекли внимание значительной части населения. Уже отмечалось, что, к примеру, на похороны в Омске пришли десятки тысяч жителей города, Атаманского хутора, ст. Куломзино, окрестных деревень¹. «Советская Сибирь» свидетельствовала, что в Новиколаевске не только улицы, по которым следовала траурная процессия, но и все крыши, все заборы и прочие возвышения были заполнены людьми.

Кем были эти зрители на крышах и заборах? Очевидно, в их числе присутствовали не только лица, солидарные с большевиками, но и обычные зеваки, и те, кто мог с недоверием относиться к новой власти. В Сибири оставалось еще огромное количество людей, поддерживавших Колчака, для которых восстановление советской власти не означало стабилизации: их ждала трудовая повинность и бесплатный труд на субботниках, национализация частной собственности, аресты и другие лишения. Едва ли массовые похороны вызывали у этой части населения особенное сострадание.

Для подпольщиков, преданных большевистским идеалам, похороны «жертв колчаковщины», видимо, были поистине святым делом. Соратники, безусловно, скорбели о погибших товарищах. Гибель узников тюрем в канун отступления белой армии неоднократно была описана в воспоминаниях революционеров. Среди лиц, оставивших воспоминания об этих событиях, имелись бывшие заключенные, избежавшие казни (омич П. Т. Филин), родные погибших (А. В. Романов – сын убитого председателя Новиколаевского совдепа В. Р. Романова), подпольщики, наблюдавшие за этими кровавыми событиями со стороны (омич А. Ф. Ильин). Подобные воспоминания проникнуты сочувствием к жертвам и злобой к врагам.

В начале 1920-х гг. в западно-сибирских городах продолжали устраивать и массовые похороны жертв контрреволюции. Этим убитых «подхоранивали» к уже существовавшим на центральных площадях некрополям. К примеру, в Барнауле в 1921 г. на проспекте Ленина появилась могила продработников, погибших в ходе «кулацкого» мятежа. В Омске в марте 1921 г. также состоялись массовые похороны восьми коммунистов, павших под Петропавловском. Их тела были преданы земле близ Дома Республики, захоронены в той же могиле, где ранее упокоились 120 «жертв колчаковщины». Ритуальные особенности этих похорон соответствовали уже сложившемуся образцу: траурное

¹ Очерки истории г. Омска. – Т. 2. – С. 94.

шествие следовало со знаменами согласно заранее распisanному церемониалу, два оркестра исполняли похоронный марш, у братской могилы состоялся митинг, гробы были обтянуты красной материей. Отличительной спецификой этих похорон было то, что гробы везли на автомобилях, что служило выражением особых почестей, поскольку автомобили были еще редки в Сибири¹.

Важно добавить, что в 1920 г. в братские могилы «подхоранивали» одиночные тела героев борьбы с контрреволюцией. К примеру, в Барнауле 6 ноября 1920 г. торжественно предали земле братской могилы тело В. Карелина, который, по сообщению газеты, был «зверски убит бандитами»². Кроме того, героический некрополь городов – административных центров Западной Сибири дополнялся в 1920-е гг. одиночными могилами людей, прославившихся в период революции и Гражданской войны. Так, с особыми почестями в Барнауле на проспекте Ленина близ уже существовавших братских могил были похоронены революционер и партизанский командир М. И. Ворожцов (Анатолий), умерший от тифа, и партизанский командир Е. М. Мамонтов, убитый, по официальной версии, кулаками в деревне Власиха. Печать освещала похороны М. И. Ворожцова. Гроб с его телом торжественно выносили из здания батальона ВЧК. На церемонию были приглашены партизаны, подпольщики, члены горсовета. В память об Анатолии состоялось торжественное заседание президиума Барнаульского губисполкома. На заседании было принято решение о переименовании ул. Павловской, где некогда проживал герой, в «улицу Анатолия»³. Могилы Ворожцова и Мамонтова напоминали современникам о том, что, несмотря на завершение Гражданской войны, «враг не дремлет», и люди, верные советской власти, должны быть в любой момент готовы ее защищать.

В 1927 г. новосибирский героический некрополь дополнила могила П. Е. Щетинкина – одного из руководителей партизанского движения в Сибири, погибшего в Монголии. Все городские газеты Западной Сибири подробно информировали население о предстоящих торжественных похоронах героя. Прощание со Щетинкиным было задумано как всенародное, на похороны приглашали «всех рабочих, служащих, членов профсоюзов, членов партии, бывших партизан». Тело героя, прибывшее из Монголии, встречали на вокзале, откуда оно было перенесено в клуб транспортников. Участники революции и Гражданской войны заранее собирались в здании Сибревкома для форми-

¹ Похороны убитых повстанцами // Сов. Сибирь. – 1921. – 12 марта.

² [Объявление] // Красный Алтай. – 1920. – 6 нояб.

³ Памяти Анатолия // Красный Алтай. – 1922. – 15 янв.

рования почетных караулов¹. Такая организация похорон напоминает церемониал прощания с великим князем Алексеем Александровичем, умершем в Париже². Разумеется, на похоронах Щетинкина христианские панихиды и чтение молитв по дороге заменили митинги, устраивавшееся на железнодорожных станциях по пути в Новосибирск³. Почетный караул и траурное шествие организовывались по дореволюционным образцам. После похорон состоялось траурное заседание участников революции и Гражданской войны, заменившее традиционные поминки.

Эти похороны, устроенные в период относительной политической стабильности, были ориентированы скорее на установление связи времен. Революционная эпоха уже миновала, Гражданская война воспринималась как прошлое, а героизм П. Е. Щетинкина измерялся по шкале его былых достижений. Это подтверждает и печать, где был представлен репортаж почти рекламного характера о могиле Щетинкина: крестьяне, приезжающие на базар торговать, из интереса подходят к Дому Ленина, к свежей могиле героя; местные жители рассказывают им о заслугах Щетинкина и его героизме в «кровавое» время, которое уже не так живо помнится⁴.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о поминовении «жертв колчаковщины» в последующие годы. Большевики не отрицали того факта, что множество павших героев оказалось забытым. Они не отрицали и того, что в первое время после «освобождения от колчаковщины» городов Западной Сибири памяти об этих людях не было уделено должного внимания. Традиционное христианское поминовение предполагало заупокойные службы в девятый, сороковой дни после смерти человека, а также через полгода и в годовщины кончины. В эти дни было также принято посещать кладбище, вспоминать о заслугах и добродетелях усопшего, устраивать поминальный обед. Разумеется, большевики ничего этого не делали. О «жертвах колчаковщины» официально вспоминали лишь в дни военно-революционных праздников, первый из которых состоялся в ноябре 1920 г.

Забвение происходило не только из-за разрыва с традицией. Причиной того, что советская власть плохо позаботилась об увековечивании памяти о «жертвах колчаковщины» по горячим следам, являлась разруха, на борьбу с которой бросили все силы.

¹ Завтра мы опускаем в могилу...: [объявление] // Сов. Сибирь. – 1927. – 9 окт.

² РГИА. – Ф. 473. – Оп. 3. – Д. 884. – Л. 5 – 9 об.

³ Щетинкин будет похоронен в Новосибирске // Красный Алтай. – 1927. – 6 окт.

⁴ У могилы Щетинкина // Сов. Сибирь. – 1927. – 18 окт.

Большевики, одержавшие победу, были вынуждены, в первую очередь, заняться преодолением страшной эпидемии тифа, разбором завалов, восстановлением дорог и продовольственного снабжения. Зимой 1920 г. в городах по несколько раз сменился состав губревкомов. Уже в 1920–1922 гг. от ран и тифа погибло огромное количество людей, боровшихся против «колчаковщины», среди них были и признанные герои локальных военных событий, и рядовые борцы. Они уносили с собой в могилу память о сопротивлении контрреволюции. В этих катастрофических условиях многие фактические данные были перепутаны или навсегда утрачены.

Однако ценность идеологического ресурса памяти о «павших героях» осознавалась большевиками. Как мы уже отметили, считалось, что эта память должна еще сильнее мобилизовать народную волю на борьбу за революционные идеалы. В начале 1920-х гг. неоднократно говорили о многочисленных анонимных братских могилах бойцов, похороненных без почестей. Их существование было в некотором смысле удобно большевикам. Рассказы о таких могилах использовались как доказательство особенной аморальности и жестокости колчаковцев. Заявлялось, что жертвы «черного адмирала» несчетны. «Братские могилы – маленькие холмики, покрывшие пространство Сибири, пусть будут они вечным проклятием палачам рабочего класса, а для нас, оставшихся, пусть они будут путеводной звездой в нашей борьбе за освобождение труда от ига капитала», – говорилось на вечере воспоминаний в Новониколаевске, приуроченном к двухлетию свержения «колчаковщины»¹.

С начала 1920-х гг., большевики вели работу над конструированием героического революционного некрополя. Его основа была представлена общеизвестными братскими могилами, в которых, однако, преимущественно неизвестно кто покоился. В начале 1920-х гг. сибиряки еще помнили имена местных революционеров и подпольщиков, погибших в период «колчаковщины», но часто данные о местах их погребения были утрачены. Между тем, могилы тех, кого официально признали героями первой величины, могли выгодно дополнить героический некрополь, сделать его реально осязаемым, а не виртуально существующим. Проще было отыскивать братские могилы, сложнее обстояло дело с могилами одиночными. Примером напоминания в 1922 г. о «забытой могиле» можно считать омский случай с братским захоронением тринадцати беглецов из 1-го омского концлагеря (1918 г.). Кстати, в более поздней литературе фигурирует иное ко-

¹ Вечер воспоминаний // Сов. Сибирь. – 1921. – 17 дек.

личество беглецов – двенадцать¹. После изгнания колчаковцев на месте захоронения этих незадачливых беглецов большевики установили простой деревянный памятник, быстро развалившийся. Газета «Рабочий путь» призывала облагородить это место, пока о нем снова не забыли².

По заданию властей работники агитпропа, журналисты, сотрудники музеев и Истпарт собирали мемуары подпольщиков и партизан, а также составляли их биографии. Этот сбор был затруднительным. Основным источником информации служили воспоминания живых очевидцев военных событий. Их просили записать воспоминания. Но получавшиеся в итоге тексты свидетельствуют о том, что многие из этих мемуаристов были едва знакомы с грамотой, писали с трудом и не умели пространно излагать мысли. Часто у них получались обрывочные записки, содержащие лишь конкретные, кратко зафиксированные сведения, но не рефлексию над событиями. Мемуаристы начала 1920-х гг. старались вспоминать имена тех, кто покоился в братских могилах на центральных площадях. Так, омская подпольщица Арбузова назвала имена тех, кого знала лично: «Эльза Казак, Игнатий, Арбузов». Ее соратница Э. Штенберг назвала еще такие имена: «Музыкантек, беспартийные Ян Балтышев, Миллер и Карлсон». Опрошенный в то же время работниками Истпарта А. Ф. Ильин добавил к этому списку имя Егора Матвеевича Гордеева³.

Такие воспоминания мало что давали исследователям: требовалось расшифровать тексты, записанные на обрывках бумаги кривым почерком, установить полные имена жертв, найти данные об их биографиях. Но нами замечено, что исследователи тех лет редко проявляли профессионализм и трудолюбие. Они часто оставляли воспоминания нерасшифрованными, практически не работали в архивах, не пытались восстановить важные биографические сведения о героях: об их родителях, воспитании, учебе, профессии и т. п. Революционеры и подпольщики как реальные люди со свойственной им индивидуальностью часто оказывались забытыми. В описаниях их характеров использовался революционный этический шаблон, подменявший реальные личностные качества. Данные о месте захоронения подпольщиков часто отсутствовали. Так, не удалось установить местонахождение могилы известной новониколаевской революционерки Е. Б. Ковальчук, которая повесилась в тюрьме, не выдержав пыток контрразведчиков. Гово-

¹ Вибе П. П. Указ. соч. – С. 19.

² Ван В. Забытая могила // Рабочий путь. – 1922. – 1 окт.

³ ИАОО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Д. 411. – Л. 13 – 14 об., 108 – 108 об., 184.

рили, что ее тело товарищи похоронили тайно, но где именно, так и не удалось узнать. Иногда восстановлению имен и поиску могил помогали родные героев. К примеру, тело первого председателя новониколаевского совдепа В. Р. Романова было найдено и опознано родственниками после отступления колчаковских войск во рву за Старым (Воскресенским) кладбищем со стороны ул. Каменской¹.

Юбилеи Октября особенно стимулировали работу над формированием революционного некрополя. Так, в 1922 г. проводилась ревизия известных могил омских революционеров. Но в их числе было установлено лишь захоронения А. Нейбута (в документах могила была названа «одной из свежих и дорогих») и приблизительно названо место в лесу у Томского вокзала, где было закопано тело Ф. Суховерхова. Отмечалось, что тело И. Нохановича было сожжено, а мест погребения А. Иванова, К. Ильмера, Я. Богграда, И. Белопольского и других подпольщиков так и не удалось установить². Большинство одиночных могил подпольщиков, таким образом, не были известны в 1920-х гг., не нашли их и позже.

Отсутствие могил компенсировалось по-разному. Иногда могила условно заменялась предполагаемым местом гибели героя, которое почитали как памятное место. Так, в Барнауле примерным местом убийства революционера Третьякова считался угол Ленинского проспекта и 11-й Алтайской улицы. В 1920-х гг. здесь обычно останавливались с целью поминовения погибшего героя демонстранты, следовавшие по пути к братским могилам³. Также реальное отсутствие могил компенсировалось различными газетными публикациями, приуроченными к революционным праздникам, как правило, написанными по шаблону и содержащими больше идеологической информации, чем исторической. Еще один вариант компенсации – переименование улиц в честь революционных героев.

«Великий перелом» создал новый идеологический стимул к работе над революционным некрополем провинциальных революционеров. Идеологическую работу в условиях социально-политических потрясений было необходимо значительно усиливать, поэтому требовалась актуализация революционных фигур памяти. В 1930-х гг. было организовано много вечеров воспоминаний подпольщиков, где заслушивались доклады об их революционной борьбе. Эти вечера были приурочены к памятным датам: революци-

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 655. – Л. 2.

² Там же. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1581. – Л. 5–20.

³ Барнаул в праздник Октября // Красный Алтай. – 1927. – 3 нояб.

онным юбилеям, юбилеям городских восстаний против режима Колчака и изгнания его армии из Западной Сибири. Уже в начале 1930-х гг. на вечерах воспоминаний бывших подпольщиков неоднократно звучала мысль о том, что из-за высокой степени конспирации большевиков в период диктатуры Колчака и больших людских потерь более или менее точная реконструкция истории подпольной борьбы вообще невозможна, так как невосполнимо утрачены имена многих убитых подпольщиков. Но ветераны все-таки считали свои воспоминания большой ценностью, сетовали о скором забвении героев и жертв Гражданской войны, старались назвать под запись имена тех, кто не был широко известен в 1930-х гг., понимая, что в противном случае об этих людях, отдавших свою жизнь за революционные идеалы, уже больше никто не вспомнит. К примеру, новосибирский подпольщик А. Денисов однажды заявил: «В части погибших товарищей я должен сказать, кроме этой семьи Шамшиных, которая была наиболее героической, погибло еще много товарищей из профсоюзов: Федосеев, Крылов, Кузьмин, Леонтьев, Криворучко, Богданов»¹. К этому списку участники вечера добавили также «замученную» А. Журинскую («Шуру Журинскую»). Участники вечера, посвященного 15-летию Омского восстания (произошло 22 декабря 1918 г.), назвали восемь новых фамилий убитых: Пеменков, Ульянов, Лобанов, Поляков, Мищенко, Горбунов, Привалов, Сурованцевы². Однако подобные сведения не тиражировались средствами печати, а стенограммы подобных вечеров отправлялись в архивы. Складывается впечатление, что реально власть не особенно нуждалась в новых сведениях о революционном сибирском некрополе. Мы объясняем это тем, что в 1930-е гг. местный коммеморативный нарратив тенденциозно вытеснялся общесоветским.

Газеты 1930-х гг. публиковали время от времени типичные биографические материалы о героях революции и их могилах. Так, 14 ноября 1934 г. омский «Рабочий путь» представил небольшую статью «Дорогая могила» об А. Нейбуте, фактически не содержащую никаких новых сведений. Эта публикация могла лишь освежить в памяти омичей то, что и так им было известно, и «просветить» молодежь. В 1930-е гг. журналисты часто коверкали имена революционеров и путали даты их гибели. Очевидный казус произошел в 1939 г., когда в барнаульской газете «Алтайская правда» была опубликована статья о партизане М. И. Ворожцове, известном среди бойцов под именем Анатолий.

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 557. – Л. 35–39.

² Там же. – Д. 655. – Л. 3.

Статья сообщала, что Анатолий умер 14 февраля 1921 г.¹ Однако его кончина реально произошла годом позже. Ничего не сообщала статья и о могиле героя, которая, между тем, располагалась в общеобозримом месте – на Ленинском проспекте, являлась значимой частью героического революционного некрополя Барнаула.

Итак, необходимо признать, что в период Гражданской войны и в начале 1920-х гг. траур по лицам, причастным к политике, всецело, активно и повсеместно использовался в идеологических целях. Похороны «героических жертв колчаковщины» являлись одним из важнейших каналов трансляции советской политики памяти. Через похоронный ритуал индивид преодолевал границы собственной памяти о гибели людей. Именно в ходе похорон формировалась коллективная память о совместно пережитой трагедии. Организаторы похорон должны были предать этому процессу «верное» направление. Решающую роль в организации похорон играли местные органы власти, которые могли самостоятельно выбирать особенности ритуала. В этой связи можно отметить некоторое разнообразие коммемораций, внешне похожих, но все-таки еще не подчинявшихся единому стандарту и, безусловно, сохранявших связь с уже сложившимися до революции траурными практиками.

Всех жертв «колчаковщины» хоронили как героев, принявших мученическую смерть. Случайные жертвы игнорировались коммемораторами, хотя тела убитых не из числа большевиков использовали «для количества». При этом в траурных коммеморациях можно усмотреть и *приемы контрмемориализации*, получившие распространение в Европе лишь к концу XX в. Контрмемориализация предполагает не увековечивание подвигов, героизма и достижений, а фиксацию памяти о насилии (о стыде, о поражении)². Временными контрмемориалами можно считать фотографии жертв «колчаковщины», снятые в Новониколаевске, которые и сейчас ужасают. Снимки выставлялись на всеобщее обозрение жителей города, они были нацелены на прямое воздействие на память каждого о войне, должны были вызывать ощущение боли и ненависти к врагу, но не гордости. Сами похороны также увековечивали страдание и боль. Эти коммеморации не романтизировали страданий погибших и их близких, не утешали, а наоборот, озлобляли и провоцировали на непримиримую ненависть к врагу, что было необходимо большеви-

¹ Бесстрашный полководец, большевик Анатолий // Алтайская правда. – 1939. – 11 дек.

² Ефимова А. В. Современные художественные практики в пространстве города как средство актуализации коллективной культуры памяти [Электронный ресурс]. – URL: <http://cultcenter.net/journals/index.php/culture/article/viewFile/53/40> (дата обращения: 28.01.2016).

кам, еще не вышедшим победителями из Гражданской войны. Однако довольно быстро использование эффективных приемов контрмемориализации прекратилось. Уже П. Е. Щетинкина хоронили вполне традиционно, как хоронят героев, не взывая к чувствам ненависти, злобы и жажды мщения.

В последующие годы работа коммемораторов над конструированием военно-революционного некрополя велась малоэффективно. Лица, ответственные за мемориализацию «жертв колчаковщины», собрали сравнительно немного оригинальных и достоверных сведений о погибших. Помимо недостатков в их работе, причины некачественной мемориализации, на наш взгляд, стоит искать в общих закономерностях реализации типичных сценариев забвения. Во-первых, коммемораторам мешала ситуация *структурной амнезии*¹ – дефицита информации, вызванной массовыми смертями, разрушением социальных связей, неспособностью многих из выживших к развернутому повествованию. Во-вторых, информационная скупость и «репертуарность» воспоминаний революционеров и подпольщиков могли объясняться *молчанием унижения*², типичным для людей, переживших ужасы войны, пытки, имевших травматический для их психики опыт.

3.2. Проблемы создания мемориальных знаков на братских могилах жертв «колчаковщины»

Важными элементами военно-революционных героических некрополей городов Западной Сибири стали монументальные памятники на братских могилах. В контексте данного исследования необходимо обратить внимание на важнейшие тенденции мемориализации 1920–1930-х гг., ведь создание памятников было напрямую связано с куль-

¹ Connerton P. Op. cit. – P. 64, 67–68.

² Там же.

турой поминовения этого периода и с особенностями формирования коллективной памяти о героях и жертвах военно-революционного периода.

Традиция установления памятников в России имеет длительную историю. В Древней Руси мемориальная культура проявила себя, в частности, в сооружении часовен. Такие памятники, сочетая мемориальные и молитвенные функции, безусловно, мощно воздействовали на православное население в идеологическом смысле. С XVIII в. в России также развивалась традиция создания светских мемориальных знаков: триумфальных арок и скульптур, символически связанных с античными образцами¹. «Реалистичные» памятники этого типа были ориентированы не только на православных жителей империи, они были обращены ко всем подданным, акцентируя внимание на фигурах и местах памяти, призванных олицетворять национальное единство. На фоне консервативной политики рубежа XIX и XX вв. власти актуализировали традицию мемориального храмотворчества.

К числу созданных в городах Западной Сибири, но впоследствии уничтоженных большевиками памятников относятся часовни, отстроенные в честь трехсотлетия Дома Романовых в Барнауле и Новониколаевске. «Романовская» часовня при Знаменской церкви в Барнауле была заложена в юбилейный год и открыта в 1916 г.² Новониколаевскую часовню Святителя и чудотворца Николая начали строить в 1914 г. и завершили уже в 1915 г.³ Оба памятника напоминали православным об идее богоизбранности правящей династии, что было особенно актуально для власти в атмосфере социально-политической нестабильности межреволюционных лет. Новониколаевская часовня стала для жителей города также и символическим указателем на их город как географический центр империи.

В начале XX в. в западно-сибирских городах планировалось также создание скульптурных памятников Александру II. В 1911 г. страна отмечала пятидесятилетие отмены крепостного права и начала в России «Великих реформ». Юбилейные торжества вызвали многочисленные коммеморативные инициативы, исходившие от населения, вдохновленного, в свою очередь, праздничным действием и публикациями в официальных печатных изданиях. Стремление увековечить память царя-освободителя затронуло и Сибирь, хотя здесь и не было крепостного права. Члены Барнаульской городской думы ходатай-

¹ Святославский А. В. Памятник в культуре России: краткий исторический очерк. – С. 57.

² Шилин С. А. Указ. соч. – С. 9.

³ Цыплаков И. Ф. Указ. соч. – С. 44.

ствовали о разрешении сбора добровольных пожертвований на создание памятника Александру II. Сама дума обещала ежегодно вносить по 100 р. в год в фонд памятника. Министерство внутренних дел утвердило эту инициативу и выразило желание рассмотреть проект памятника. Однако данный проект так и остался нереализованным¹.

Открыть памятник Александру II планировали и жители Омска. Уже в июне 1912 г. были подготовлены соответствующие проекты архитекторов и скульпторов И. А. Фомина, В. А. Шуко и А. А. Гречанникова. Комиссия, сформированная Академией художеств, куда вошли Л. Н. Бенуа, Л. Н. Померанцев, М. Л. Чижов и другие, устроила конкурс между этими работами. Проект победителя предполагал возведение памятника царю в полный рост на высоком классическом постаменте. Изображение государя практически не содержало атрибутов власти, авторы проекта ограничились лишь скипетром. Костюм Александра Николаевича также был скромен и прост. Однако на постаменте предполагалось выбить, хотя и традиционную, но выразительную в своем лаконизме фразу: «Царю Освободителю – благодарный народ». После некоторого упрощения проекта, вызванного необходимостью сэкономить средства, данный проект был утвержден. Предполагалось, что он будет установлен на Судебной площади напротив собора, рядом со зданием Омских судебных установлений². Размещение скульптурного памятника у церкви стало в России одной из мемориальных традиций. Хотя сам монумент и имел светский характер, его местоположение было знаком для верующих, привыкших к храмозданию в честь святых князей и царей. Соседство омского памятника со зданием судебных установлений подчеркивало, на наш взгляд, роль государя в процессах демократизации политической жизни и в совершенствовании судебной системы. Реализация идей установки этих памятников так и не состоялась.

Вопрос о создании памятников в западно-сибирских городах был вновь поставлен после окончания Гражданской войны в Сибири. Основным фактором принятия соответствующих решений стала советская монументальная политика. 10 октября 1918 г. на открытии Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских нарком просвещения А. В. Луначарский говорил: «Явилась потребность как можно скорей видоизменить внешность городов, выразить в художественных произведениях новые переживания, отбросить массу оскорбительного для народного чувства, создать

¹ РГИА. – Ф. 1284. – Оп. 2111. – Д. 128. – Л. 191.

² Там же. – Ф. 1293. – Оп. 166. – Д. 24. – Л. 3–4.

новое в форме монументальных зданий, монументальных памятников – эта потребность огромна»¹. В 1918 г. В. И. Ленин разработал план монументальной пропаганды, основополагающим документом которого стал декрет СНК «О памятниках Республики»². Этим документом СНК, в частности, постановил: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера; особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществу Республики и заведующего отделом изобразительных искусств при Комиссариате просвещения поручается, по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда, определить, какие памятники подлежат снятию; той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции».

В соответствии с этим документом уже в 1919 г. на Марсовом поле в Петрограде был установлен монументальный памятник борцам за свободу, послуживший всей стране образцом для подражания. Сразу после войны началась активная работа над проектами памятников жертвам и героям. Не все эти проекты были реализованы, но, соглашаясь с мнением культуролога А. С. Святославского, отметим, что фиксация внимания на памятниках, которые лишь планировалось создать, необходима для полноты анализа тенденций мемориализации того или иного исторического периода³.

В 1920 г. органы власти обычно не располагали достаточными материальными возможностями для установления памятников на могилах, но задача мемориализации героев и жертв воспринималась как первоочередная. Считалось необходимым создать монументальные памятные знаки об эпохальных событиях военно-революционных лет, которые выполняли бы также функции аккумуляции и транслирования «правильной» версии коллективной памяти об этих событиях.

Памятники создавались в условиях разрухи и жесткой экономии средств. Однако средства на эти мемориалы все-таки изыскивались, что говорило о стремлении установить памятники вопреки обстоятельствам. Особенно актуально это было для Новнико-

¹ Цит. по: Первые монументы Октябрьской революции [Электронный ресурс]. – URL: http://kvistrel.ucoz.ru/news/pervye_monumenty_oktjabrskoj_revoljucii/2012-08-06-3424 (дата обращения: 10.07.2015).

² Декрет о памятниках Республики 12 апреля 1918 г. // Декреты советской власти. – М., 1959. – Т. 2. – 17 марта – 10 июля 1978 г.

³ Святославский А. В. Памятник в культуре России: краткий исторический очерк. – С. 58.

лаевска – новой региональной столицы и Омска – бывшей «белой» столицы. Историк архитектуры и краевед В. И. Кочедамов подчеркивал, что для создания омского революционного памятника не было нормальных условий. Именно поэтому скульптор Виноградов лепил статую методом намаза сырой цементной массы на каркас¹. Увековечить память жертв и героев в граните средств не хватило. Также не каменным, а бетонным был памятник, установленный в Новониколаевске. Поэтому данные памятники олицетворяли и победу над разрухой, которая, как следует из воспоминаний подпольщиков, воспринималась в неразрывной связи с революцией и Гражданской войной.

В поисках художественных средств выражения политических идей деятели искусства в начале 1920-х гг. обращались к образам, характерным для различных культурных эпох. При этом соблюдалась установка отвергать православную традицию памяти и формы мемориальной культуры, присущие Серебряному веку. Актуализировались же традиции классицизма и романтизма, ассоциировавшиеся с Французской буржуазной революцией и Парижской коммуной. На отношении к старым кладбищам и к памяти о жертвах военно-революционных событий также сказался опыт революционной Франции. В 1791 г. Учредительное собрание постановило снести все внутренние кладбища при церквях и запретило делать захоронения в храмах. В 1792 г. Конвент постановил сжечь семь томов генеалогических списков, признанных «пережитком рабской старины». А в 1804 г. было основано новое кладбище Пер-Лашез, где после расстрела версальскими войсками коммунаров в 1871 г. часть кладбищенской стены обрела мемориальное значение как памятное место о расстреле². В 1899 г. скульптором А. Бартоломе было выполнено символическое барельефное изображение, в центре которого находилась фигура безоружной женщины, замершей в гордом порыве отдать жизнь за идеалы свободы.

Памятники должны были сообщать о наступлении новой эпохи, открывающей путь к «светлому будущему». Наши наблюдения показывают, что советская политика памяти, отразившаяся на создании военно-революционных памятников в городах Западной Сибири, выразилась в стремлении к унификации образов, которые, как правило, не были напрямую связаны с местными событиями, не напоминали конкретные жертвы и конкретных героев. Советские памятники устанавливались на «чистых» местах, они не за-

¹ Кочедамов В. И. Указ. соч. – С. 60.

² Андерсон В. Русский некрополь в чужих краях. – Пг., 1915. – Вып. 1. – С. XVIII–XXI.

нимали мест поверженных «памятников царизму», которых попросту не существовало в этих городах. Таким образом, они утверждали начало новой эпохи, служили ее первыми и главными символами, которые отчетливо доминировали в мемориальной среде городов и в последующие годы. Символы памяти словно сообщали пустоту дореволюционной истории, из которой будто нечего вспомнить.

Эти памятники, как и похороны героев, являлись средством легитимации власти большевиков, которые утверждали свою правоту в камне и бетоне, делая заявку на долгосрочность правления. Показательно, что в начале 1920-х гг. увековечивалась память не конкретных лиц, павших в боях, не убитых совдеповцев, не руководителей восстаний. Увековечивалась память о массах жертв и героев, олицетворявших поддержку власти большевиков как подлинной власти народных масс. Для начала 1920-х гг. еще не было характерно формирование политических культов вождей, большевики еще не отказались от идеи перманентной революции, их еще увлекали мысли о мировом революционном процессе. Именно поэтому были востребованы французские революционные символы, образы классицизма и романтизма.

Запоздалый памятник, появившийся в Томске к концу изучаемого периода, стилизованный под начало 1920-х гг., однако лишенный духа революционной романтики, появился, по нашему мнению, как реакция на окончательное истребление бывших колчаковцев, как подтверждение их вины и враждебности советским людям. В день юбилея освобождения Сибири от «колчаковщины» печать напомнила историю братской могилы. Прозвучала и пафосная мысль об очевидных успехах советской власти и оправданности жертв: «Мимо памятника бегут юноши, девушки. Они здоровы, счастливы, веселы. И, может быть, многие из них не знают о тех, кто в братской могиле. Но они знают другое. Они знают, что кровь, пролитая трудящимися в бою, не пропала даром, она дала свои результаты»¹.

Политика памяти, отраженная в монументах, транслировалась в массы не только посредством уже готовых, установленных памятников, которые включались в праздничные коммеморации и ежедневно актуализировали советскую героическую историю. Используя главным образом печать, власть привлекала население к созданию памятников еще на этапе формирования их замысла. Это давало ощущение «народности» монумента. Благодаря публичному обсуждению проблем памятников, массовому участию в

¹ Александровский В. У братской могилы // Красное знамя. – 1939. – 14 дек.

сборе средств, периодическим конкурсам проектов, в которых участвовало множество желающих, казалось, что памятники отражают народную волю, подлинные эмоции и историческую память граждан. В газетах 1920–1930-х гг. нередко публиковались изображения всех описанных нами памятников. Иногда местная печать демонстрировала памятники, возведенные в других городах¹. Обычно эти изображения появлялись в праздничные дни. Так власть отчитывалась в исполнении мемориальных планов, демонстрировала единство процессов мемориализации в регионе и однородность ландшафта памяти Западной Сибири. Иногда в печати появлялись снимки памятников, возведенных в других регионах страны, чем подчеркивалось единство мемориальных процессов и во всей стране.

Конкурс проектов памятника для братской могилы в Новосибирске уже рассматривался в работах омского историка В. Г. Рыженко². В Государственном архиве Новосибирской области этим историком был найден проект, составленный секцией ИЗО Томского отдела народного образования. Автор проекта не указан. Однако в архиве Томского краеведческого музея сохранился эскиз, выполненный к этому проекту. В качестве его автора назван архитектор А. Л. Шиловский³. Проект, обнаруженный в Новосибирске, датирован 29 апреля 1920 г. Сохранились пояснения к проекту, составленные его автором. Памятник на проектом изображении напоминает высокую стрелу, увенчанную пятиконечной звездой. Эта форма, тяготеющая к обелиску, ассоциируется с мемориальными формами классицизма, известными в России с XVIII в. Надгробные памятники эпохи раннего классицизма отражали добродетель добросовестного исполнения человеком гражданского или религиозного долга вплоть до кончины; настраивали на сдержанную и обезличенную скорбь, восприятие смерти без страха⁴. В традициях классицизма смерть понималась как нечто внешнее, не имеющее отношения к самой личности и ее доблести. Для надгробий была характерна имперсональная аллегоричность.

Важно и восприятие времени в контексте культуры классицизма, которое, как считалось, одновременно убивает и увековечивает. Могила же становилась не просто святым местом, но местом, предназначенном для назиданий потомству, в том числе гражд-

¹ Памятник на братской могиле борцам, погибшим за власть Советов в Омске: [фотография] // Алтайская правда. – 1937. – 21 окт.

² Рыженко В. Г. Образы и смыслы советского города... – С. 198–213; Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Пространство советского города... – С. 184–191.

³ Исаева Л. Ю. Указ. соч. – С. 212.

⁴ Акимов П. А. Указ. соч. – С. 9.

данского и политического значения. Форма памятника – столп (колонна), использовавшаяся и в мемориальном искусстве, в классической традиции означает триумф, победу и славу¹. Высота памятника впечатляет: он выше среднего человека более чем в тридцать раз. В пояснениях говорилось, что грандиозные масштабы памятника отвечают мировому масштабу революции.

Автор проекта заявлял, что «отодвинутый ото всех зданий и поставленный посередине площади в указанном на генеральном плане месте, он явится пунктом, вокруг которого будет развиваться новая пролетарская, общественная жизнь такого же масштаба, как и он сам». Лаконичность формы этого памятника была эстетически новой для сибирского городка. Предполагалось, что памятник не должен «заключать ни надгробий, ни саркофагов, ни жалких тленных, *обыкновенных* реликвий об умерших, как-то венков, лент, именных досок», а «должно развертывать мозаикой по стенам и полу ход Русской и Мировой Революции». Обратим внимание на восприятие автором проекта традиционной кладбищенской символики, которая кажется устаревшей и неподходящей для оформления такого эпохального монумента. По наблюдению А. С. Святославского, «культура некрополя, в отличие от коммеморативной культуры собственно городской среды, со своей камерностью и интимностью, формируется при участии огромного множества коммемораторов – частных лиц, что открывает возможности масштабного коллективного творчества»². Русские православные надгробия, сохранившиеся на кладбищах имперского периода в Москве, Санкт-Петербурге и провинциальных городах, в определенной мере отражают индивидуальность усопшего. До революции могила рассматривалась обществом как место для молитвы и коллективных воспоминаний семьи, тесного круга друзей, коллег, почитателей умершего, а также мысленного или даже мистического общения с человеком, «отошедшим в мир иной»³.

Проект памятника, разработанный А. Л. Шиловским, не предполагал ни камерности, ни интимности. «Герои революции», покоившиеся в братской могиле, были безымянными, а памятник, установленный в их честь, мыслился как сугубо публичный, адресованный не близким людям, а абстрактному человечеству. Как мы помним, массовые «красные» похороны героев и «жертв колчаковщины» также не предполагали интимности прощания и сентиментальности. По замыслу автора этого проекта, памятник должен

¹ Александров-Невская лавра: архитектурный ансамбль и памятники некрополей. – С. 75–76.

² Святославский А. С. Среда обитания как среда памяти: к истории отечественной мемориальной культуры. – С. 43.

³ Merridale C. Revolution Among the Dead: Cemeteries in Twentieth-Century Russia. – P. 177–178.

был оправдывать соответствующие этому эмоциональному фону слова песни: «Заветную память погибших в бою / Сумеем без слез мы хранить».

Прием изложения великих событий в виде мозаики на полу и на стенах издавна применялся в религиозном искусстве. Полы и стены византийских и ранних русских храмов украшала такая «библия для неграмотных» – Священное писание, представленное в мозаичных картинках. Идея изложить революционные события подобным образом говорит о догматизме большевистской версии революции и Гражданской войны, о попытке использовать в идеологических целях хорошо известный народу прием кодирования и передачи «священной» информации. Памятник мыслился как важнейший, центральный элемент городского ландшафта культурной памяти, видный отовсюду, постоянно напоминающий о великих событиях, но, как отмечает В. Г. Рыженко, совершенно оторванный от «потребностей места» и локальных культурных традиций. Безусловно, замысел этого монумента был максималистским и невыполнимым на практике в Ново-николаевске, охваченном хозяйственной разрухой.

В. Г. Рыженко обнаружила среди архивной документации и другой проект революционного монумента. Этот проект был разработан тоже в 1920 г. томскими художниками и озаглавлен «Нина». Памятник отвечал эстетическим традициям позднего классицизма. Его сложная пирамидальная форма восходила к «жертвеннику» – типу надгробного памятника (вертикальный объем, в сечении близкий к квадрату, с прямыми или суживающимися кверху боковыми гранями). Монумент представляет собой сравнительно небольшую четырехгранную пирамиду. Каждая грань снабжалась надписями и изображениями.

На стороне А предполагалось изобразить «груды тел замученных борцов за свободу» (заметна прямая связь с фотографиями жертв «колчаковщины») и разместить надпись: «Вы сеяли разумное, доброе, вечное, спасибо сердечное скажет Вам освобожденный народ». Эта формулировка соответствовала традиции мемориального искусства классицизма демонстрировать подвиги и добродетели усопших. На стороне Б по проекту находилась фигура матери убитых героев, склонившаяся над своими детьми, и надпись: «Дети мои, жаль мне Вас, но Ваша смерть есть гордость Вашей матери». Этот образ ассоциируется с традиционной для позднего классицизма фигурой плакальщицы, выражающей яркое и драматическое переживание смерти с обнажением личных чувств, но и гордость матери героев. На стороне В планировали изобразить живого борца за

свободу, который готов продолжать борьбу, и надпись: «Товарищи, память о Вас не умрет и Ваша смерть в каждом из нас родит жажду мести». Наконец, на стороне Г автор проекта хотел изобразить жен героев и слова «Дорогие наши Друзья, Мужественно Вы встретили смерть, но с не меньшим мужеством мы перенесем с Вами разлуку». Этот монумент был по проекту значительно меньше и человечнее первого. Здесь идеологические мотивы смешивались с чувствами недавнего свидетеля войны, был замечен оттенок местных событий.

В конечном итоге был реализован проект монумента, который отличал наиболее оригинальный в художественном отношении замысел (см. Прил., рис. 44–45). Его авторами являлись художник В. И. Невский (это имя было незаслуженно забыто на долгие годы и восстановлено благодаря поискам В. Г. Рыженко), художник-скульптор В. Н. Сибиряков и инженер В. И. Кудрявцев. Руку, сжимающую факел, создавали на народные деньги. Памятник по проекту не был таким исполинским, как обелиск, замысленный А. Л. Шиловским, но благодаря своей образности выглядел впечатляюще. Однако формализм, неизбежно проявившийся вследствие обезличивания памятника, способствовал, на наш взгляд, стиранию памяти о тех настоящих людях, которые покоились под «Красным факелом» (это наименование часто использовалось в первые годы после открытия памятника, поскольку изначально предполагалось, что железобетонный элемент, изображающий пламя, будет заменен подсвечиваемым элементом из цветного стекла).

Отношение к гибели героев, выразившееся в художественном решении новониколаевского памятника, созвучно, на наш взгляд, характеристике восприятия смерти человеком романтической культуры. Ф. Арьес отмечал, что «романтическая революция чувств создала между нами и другими людьми такие связи, разрыв которых кажется нам невыносимым и нестерпимым. Поколение ранней эпохи романтизма было первым, отвергшим смерть. Оно возвеличивало ее, гиперболизировало, и в то же время сделало любимого человека бессмертным, ибо даже смерть не может с ним разлучить»¹.

Далеко не случаен образ руки, держащей факел, который использовали авторы этого памятника. Символичен и жест каменной руки, и факел, который она сжимает. Американский историк П. Берк обращает внимание на символы свободы, характерные для европейской культуры. В период Парижской коммуны во Франции распространились

¹ Арьес Ф. Указ. соч. – С. 477.

скульптурные и живописные изображения аллегии свободы – полуобнаженной женщины, держащей в высоко поднятой руке знамя революции. Среди таких изображений наибольшую известность получила «Свобода на баррикадах» Э. Делакруа – прославленного художника эпохи романтизма. Жест центральной фигуры Свободы на этом полотне выражает страстный и решительный призыв к революционной борьбе. Выразительна оголенная грудь аллегорической фигуры, символизирующая «естественную» потребность человека в свободном состоянии. Американская статуя Свободы держит в также высоко поднятой руке фонарь, который П. Берк интерпретирует как символ просвещения. Согласно античной легенде, Прометей дал людям огонь, благодаря которому появились искусства и ремесла. Аллегорическая статуя жестом призывает к просвещению в духе свободы всего мира. Данные изображения восходят к традиционным античным образцам¹. В первые послевоенные годы этот жест воспроизводился во многих скульптурных изображениях аллегорий и героев (работы В. И. Мухиной и др.)². В начале 1920-х гг. образ горящего факела часто актуализировался в прощальных речах на гражданских панихидах. Например, на похороны томского революционера Л. П. Шишкова, погибшего во время крестьянского восстания в Кольвани, комсомольцы принесли траурный венок с лентой, на которой было написано: «Твой подвиг будет гореть ярким факелом молодому поколению на пути к коммунизму»³.

Мы полагаем, что авторы скульптуры не просто традиционно использовали широко известную символику свободы и борьбы, но и решились «сломать» одну из старых традиций, связанных с оформлением надгробий. В декоре сохранившихся русских надгробий и кладбищенских оградок первой половины XIX в. нередко встречаются изображения опущенных вниз факелов, означающих угасание жизни (см. Прил., рис. 46). Этот символ скорби был характерен, прежде всего, для мемориальной культуры классицизма⁴. Он использовался еще в античное время и, безусловно, был известен скульпторам, работавшим над новосибирским памятником. Изображение на надгробии факела, не опущенного вниз, а поднятого вверх – это вызов традиции. По нашему мнению, данный символ стоит читать как уверенность в бессмертии дела, начатого людьми, отдавшими свою жизнь за советскую власть, как оптимистичное подтверждение ненапрас-

¹ Burke P. Eyewitnessing: the Uses of Images as Historical Evidence. – P. 60–65.

² Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 288.

³ Погибшему товарищу // Сов. Сибирь. – 1919. – 14 июля.

⁴ Александр-Невская лавра: архитектурный ансамбль и памятники некрополей. – С. 79.

ных жертв, как преодоление безысходности смерти.

Из речи, произнесенной председателем Губернского исполнительного комитета Лавровым в день открытия памятника 7 ноября 1922 г., следует, что скала символизирует не могилу, а капитал, который пробивает рабочая рука. По словам Лаврова, монумент не просто напоминает о случившемся событии, но и одновременно «победно зовет нас вперед»¹. Получается, образ памятника, как иконописный образ, не принадлежит только лишь прошлому, настоящему или будущему, он мысленно помещается в особое временное измерение – в вечность, где существует лишь то, что всегда было, есть и будет. Из данной формулировки, ассоциирующейся с восприятием гибели в контексте романтизма, следует, что погибшие словно незримо присутствуют рядом и способны влиять на помыслы и поступки живых. В середине речи Лаврова звучал похоронный марш, а после того, как речь была окончена, заиграла жизнеутверждающая музыка. Такое композиционное решение музыкального сопровождения торжества было присуще практически всем коммеморативным практикам тех лет. Скорбное поминовение героев перерастало в праздник, ведь жертвы были словно приняты, а смерть символически преодолена. Так и в христианской логике день поминовения святых мучеников становится праздником для верующих.

Авторы проектов, не победивших в новониколаевском конкурсе, участвовали и в других конкурсах, вновь предлагая свои ранее отвергнутые работы на суд жюри. Нами были обнаружены документы о конкурсах революционных памятников, устраивавшихся в Томске в начале 1920-х гг. В частности, в декабре 1920 г. состоялся подобный конкурс проектов памятника на братской могиле жертв «колчаковщины» в Томске. Главный городской военно-революционный мемориал по плану должны были установить на площади Революции (бывшей Новособорной площади). Организация конкурса осуществлялась комиссией, созданной при отделе томского губернского коммунального хозяйства по поручению Губернского комитета РКП(б) и губернского исполкома, бравшего на себя премиальную выплату победителю конкурса.

Комиссия конкурсного бюро рассмотрела ряд работ, авторство которых, к сожалению, документы уже не всегда позволяют установить. Победа (первое и второе место) была присуждена художнику А. Н. Тихомирову, создавшему проекты под девизами

¹ Октябрьские торжества в Новониколаевске // Сов. Сибирь. – 1922. – 9 нояб.

«Молот с винтовкой в руке» и «Инона»¹. Проекты этих памятников и авторские комментарии к ним на сегодняшний день утрачены, однако сохранилось описание символического значения памятника под девизом «Звезда», автор которого не занял призового места. Идея, сформулированная автором, отражает общие тенденции государственной политики памяти. Автор пояснял, что задуманный им монумент не просто посвящается памяти жертв подавленного восстания, но является «трибуной свободного слова над гробами замученных героев»². Эту фразу стоит понимать буквально: в начале 1920-х гг. у братских могил героев и жертв Гражданской войны в праздники устраивались политические митинги, коммеморативный аспект которых подчинялся идеологическим целям. В контексте традиции все сказанное на могиле имеет особое значение. Обычно «над гробами» клянутся и дают обещания, особенно аморально выглядит ложь, произнесенная перед мертвыми. Именно поэтому трибуна на могиле воспринималась как место для самых искренних слов и пламенных речей.

После конкурса памятник по проекту победителя в Томске так и не появился. По всей видимости, сказался финансовый кризис. Вероятно и то, что городские власти не были удовлетворены результатами местного конкурса. Возможно, в соответствии с дореволюционной практикой им хотелось устроить конкурс всероссийского уровня, что и было предпринято в 1923 г. Однако можно расценивать конкурс 1920 г. и как подготовительный этап к основному всероссийскому конкурсу 1923 г.

Теперь главное требование к идейному содержанию памятника было сформулировано следующим образом: «В общей основе он должен воплощать в исторической перспективе идею классовой борьбы и победы диктатуры пролетариата советской власти над белогвардейщиной в Сибири и славную память жертв этой титанической борьбы»³. Двумя месяцами позже к этому добавили: «Памятник должен быть вечным выразителем идеи Октябрьской революции, посему всякое случайное, местное, скоропроходящее толкование великой идеи не должно иметь места»⁴. В документах, отражающих подготовку к конкурсу, содержатся разные формулировки названия этого памятника. Изначально монумент посвящался «жертвам периода колчаковщины в Сибири»⁵, но уже через два месяца устроители конкурса отошли от фиксации внимания на региональных со-

¹ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 119. – Л. 10 – 10 об.

² Там же. – Оп. 3. – Д. 118. – Л. 27.

³ ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 126. – Л. 17.

⁴ Там же. – Л. 22.

⁵ Там же. – Л. 11.

бытиях Гражданской войны, назвав монумент «памятником Октябрьской революции»¹. В итоговом информационном письме, объявлявшем о всероссийском конкурсе, значилось, что памятник посвящается «жертвам Октябрьской революции»². Там же сообщалось, что «монумент должен увековечивать память передовых борцов, героев Октября, положивших жизнь за дело Пролетарской Революции и Светлого Будущего; памятник должен быть историческим монументом Октябрьской революции, символизирующим титаническую войну двух миров – старого и нового, крушения первого и торжество последнего».

Объявление о конкурсе публиковалось в газетах «Известия ВЦИК», «Правда», «Экономическая жизнь» по семь раз через неделю и в журнале «Коммунальное дело», в нескольких региональных изданиях, также рассылались индивидуальные приглашения к конкурсу отдельным «наиболее компетентным» организациям и лицам³. На конкурс, проходивший летом 1923 г., было представлено 26 проектов. Девизы некоторых из них повторяли девизы проектов прошлого конкурса, однако общее число участников стало большим. Документы этого конкурса почти не содержат фамилий его участников. Но мы можем назвать города, откуда в Томск присылали проекты: Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Москва, Одесса, Омск, Пермь, Петроград, Саратов. Участвовал в конкурсе и томич А. Н. Тихомиров – победитель прошлого конкурса, представивший новый проект под девизом «Радио» (возможно, был переименован один из проектов 1920 г.). В деле мы нашли единственный проект памятника: карандашное и цветное изображения (см. Прил., рис. 47–48)⁴. Практически такой же рисунок ранее удалось обнаружить В. Г. Рыженко среди документов новосибирского конкурса, устроенного в 1920 г. (проект под девизом «Нина»). А это дает основания предполагать, что автором проекта мог быть именно А. Н. Тихомиров (кроме него, из томичей в конкурсе 1923 г. участвовали только авторы из «колонии инвалидов»). По нашему мнению, этот проект был вновь отвергнут, поскольку вызывал скорбные чувства, напоминал надгробие с традиционного кладбища, фиксировал внимание на памяти о конкретных жертвах, в то время как устроители конкурса хотели видеть воплощение оптимистичной идеи победы пролетариата.

¹ Там же. – Л. 12.

² Там же. – Л. 22.

³ Там же. – Л. 30.

⁴ Там же. – Л. 13, 26.

Победителями стали петроградцы М. Г. Манизер и В. А. Витман. Но, видимо, нужную денежную сумму на возведение монумента так не удалось собрать. В год десятилетия освобождения Сибири от «колчаковщины» томичи обращали внимание на то, что братская могила на площади Революции имеет лишь «убогую деревянную ограду», в то время, как, к примеру, в Новосибирске и в Красноярске на братских могилах были установлены памятники. Отмечалось, что не было даже мемориальной доски с перечнем фамилий погибших¹. В 1931 г. Томский горком ВКП(б) снова обсуждал вопрос о памятнике борцам революции на братской могиле. На этот раз с инициативой выступили комсомольцы, предложив свой проект, а также проект памятника В. И. Ленину. Изначально планировалось открыть эти монументы к 14-й годовщине Октябрьской революции². Печать сообщала, что на памятники томские водники пожертвовали по два процента от своих августовских заработных плат и по одному проценту от сентябрьских, призывая и другие организации последовать их примеру³.

То ли собранная денежная сумма оказалась недостаточной, то ли проект памятника жертвам «колчаковщины» не устроил местные власти, но в итоге в 1931 г. на площади Революции было решено возвести лишь памятник В. И. Ленину⁴. В последующем 1932 г. печать продолжала агитировать за сбор средств⁵. Однако основные мемориальные инициативы томичей сосредоточились вокруг памятника Ленину (см. Прил., рис. 49–50). Его заложили лишь в день 1 мая 1935 г.⁶, а открыли только к 18-й годовщине Октября – 7 ноября того же 1935 г.⁷ Создание памятника «жертвам колчаковщины» началось лишь в 1939 г. – в год двадцатилетия со дня их достопамятной гибели⁸. Памятник имел скромные размеры, был лаконичен и прост в художественном решении (см. Прил., рис. 51–53). Расположенный в стороне от более монументальной фигуры Ленина, этот памятник не доминировал в мемориальном пространстве площади. Его форма столпа отвечала мемориальным традициям эпохи классицизма, отражая идеи славы и победы, подчеркивая заслуги павших героев. Традиционная ограда и размещение табличек с информацией о погибших у подножия стелы роднили этот памятник с надгробием на

¹ ЦДНИТО. – Ф. Р-4204. – Оп. 4. – Д. 28. – Л. 5.

² Там же. – Ф. Р-80. – Оп. 1. – Д. 115. – Л. 41–42.

³ Создадим памятник Ленину в Томске // Красное знамя. – 1931. – 4 авг.

⁴ ЦДНИТО. – Ф. Р-80. – Оп. 1. – Д. 141. – Л. 28 об.

⁵ Построим памятник В. И. Ленину // Красное знамя. – 1932. – 27 марта.

⁶ Первое мая на площади Революции // Красное знамя. – 1935. – 4 мая.

⁷ В день 18-й годовщины Октября на площади Революции открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину // Красное знамя. – 1935. – 10 нояб.

⁸ Привалихина С. В. Мой Томск. – С. 86.

кладбище, создавая ощущение камерности. Интересно сравнить этот памятник с современными ему польскими надгробиями середины 1930-х гг. (см. Прил., рис. 54). К примеру, на старом католическом кладбище Гродно можно видеть типы могильных памятников, выполненных в традициях классицизма и увенчанные крестами. Томский памятник отличает советская символика – наличие красной звезды и серпа с молотом, которые заняли традиционное место святого распятия.

Неоднократно становились объектом изучения омских исследователей памятники у братских могил их города. П. П. Вибе, В. Г. Рыженко и другими авторами описан памятник, ставший композиционным центром мемориального сквера «Памяти борцов революции». Это монумент был заложен в 1921 г., в пятидесятую годовщину Парижской коммуны, и открыт в 1923 г. Таким образом, воплощалась идея исторической преемственности между революционными событиями во Франции и России (см. Прил., рис. 55–57). Выражением характерной для начала 1920-х гг. мысли об этой преемственности могут послужить выводы советского историка И. Степанова: «Никакой пощады не знает буржуазия по отношению к восставшему и побежденному пролетариату. Это показал конец Парижской коммуны, это показали расправы контрреволюции после русской революции 1905 г., это много раз показало временное торжество контрреволюции в некоторых областях современной России»¹.

Автором омского памятника стал Н. Н. Виноградов – в прошлом боец Красной армии. Историк П. П. Вибе поясняет, что фигура женщины олицетворяет революционную Россию, поднявшую знамя Парижской коммуны, а фигура мужчины – собирательный образ, олицетворяющий собой расстрелянную коммуну, идеи которой не погибли и обрели новую родину². Строго говоря, прямой связи между омскими жертвами «колчаковщины» и «Парижской коммуной», конечно, не было. Образ, воплотившийся в памятнике, был оторван от реальных омских событий, в ходе которых погибли те, кто покоился в братской могиле.

Лишь в пояснительном тексте к памятнику сообщалось о жертвах колчаковских расстрелов («Славным коммунарам Всероссийской коммуны, расстрелянным Колчаком в ноябре 1919 г.»). Но отказ автора памятника от репрезентации местных событий соответствовал мемориальным тенденциям начала 1920-х гг. Этому монументу был присущ

¹ Степанов И. Парижская коммуна 1871 г. и вопросы тактики пролетарской революции. – М., 1937. – С. 282.

² Вибе П. П. Мемориальный сквер «Памяти борцов революции». – С. 23.

и официоз, и героическая революционная романтика, и стремление к максимальному обобщению, к формированию на уровне ярких визуальных образов ассоциаций советской истории с идеологически окрашенным восприятием истории Европы. К тому же мы уже отметили существование серьезных проблем в установлении личности погибших, реконструкции их биографий, которые, к слову сказать, могли совершенно не соответствовать канонам советского «жития». Отвлеченный образ компенсировал как недостаток информации, так и ее потенциальную неполиткорректность. В Омске, еще недавно являвшемся важным эпицентром событий Гражданской войны, важно было перебороть все сколько-нибудь позитивно окрашенные воспоминания обывателей, связанные с режимом А. В. Колчака. В выборе художественного решения этого памятника очевидно обращение к романтической традиции. Применительно к этому памятнику вновь читаются атрибуты аллегии свободы, присущие европейской культуре XIX в. В идее памятника заложена не только история, но и сильные эмоции, и надрыв, однако нет сентиментальности. В сущности, этот памятник нельзя расценивать как надгробие, поскольку он не отвечает особенностям именно мемориального искусства культуры романтизма – здесь не читается рассказ об обстоятельствах смерти героев, нет обращения к семейной памяти и скорби близких.

В образном решении этого памятника просматривается и уже сложившийся советский иконографический канон – присутствует героическая фигура, крепко сжимающая перед лицом смерти в руках знамя революции. Этот мотив повторяется из одного произведения искусства в другое, из одного рассказа о героях в другой. Таковы примеры картин советских художников М. Б. Грекова «Знаменосец и трубач» (1934 г.), Г. М. Коржова «Поднимающий знамя» (1957–1960 гг.). Аналогичен пример рассказов о «первом томском герое революции» И. Е. Кононове, который, как считалось, был убит казаками в 1905 г. во время демонстрации, но не выпустил красного знамени из рук.

В 1927 г., к десятилетию Октябрьской революции у братских могил в Барнауле был построен монумент¹, который до наших дней не сохранился. Автором проекта памятника являлся А. А. Дубровский, победивший в конкурсе, в котором приняли также участие инженеры Истриюшкин и Иванов. Проект А. А. Дубровского печать характеризовала как простой, дешевый, но содержащий «художественную идею». Возведение памятника

¹ По памятным местам Барнаула (1917–1919 гг.). – С. 12.

началось в мае и продолжалось всего два месяца¹. Фото, публиковавшееся в газетах, свидетельствует о том, что он состоял из четырехгранного столпа, находившегося в центре композиции, у подножия которого располагалась трибуна, и еще двух меньших по размеру столпов, справа и слева от основного. Центральный столп был увенчан изображением серпа и молота, имелась и лаконичная надпись: «Борющиеся павшим»². Форма столпа отличалась опять-таки отвлеченностью от памяти конкретных людей, выражая общие идеи триумфа советской власти. В праздничные дни этот монумент использовался в качестве трибуны.

Судить о том, как воспринимались эти памятники населением, сложно из-за недостатка сведений. Едва ли их символическое значение было без разъяснений понятно всему населению, привыкшему к более конкретным мемориальным формам, именно поэтому местная газетная печать неизменно уделяла внимание памятникам в праздничные дни. Как будет показано в главе, посвященной музейным репрезентациям прошлого, к концу 1930-х гг. революционные памятники существенно обветшали, будучи лишенными должной заботы. С другой стороны, показательны факты активного сбора средств на памятники и участия местной интеллигенции в конкурсах. Можно констатировать, что для коммунистов, особенно для подпольщиков, эти памятники значили действительно много. Судя по воспоминаниям, еще до чехословацкого восстания большевики, ушедшие позже в подполье, готовились к реализации «плана монументальной пропаганды». В частности, новониколаевцы копили деньги на памятник К. Марксу, которые позже были потрачены на помощь политическим заключенным³. Теперь их отношение к военно-революционным монументам определялось личным опытом политической борьбы, памятью о потерях товарищей, о тюрьмах и пытках. Именно поэтому бывшие подпольщики обычно акцентировали внимание на проблемах военно-революционных монументов, призывая к их созданию и охране. Эти памятники увековечивали их собственное героическое прошлое.

Военно-революционные памятники в городах Западной Сибири являлись прямым выражением государственной политики памяти, нацеленной на героизацию, увековечивание подвига масс, боровшихся за советскую власть и победивших. Приемы контрмемориализации, присущие похоронным коммеморациям, рассмотренным нами в преды-

¹ Памятник жертвам революции // Красный Алтай. – 1927. – 1 мая.

² Памятник жертвам революции: [рисунок] // Красный Алтай. – 1927. – 1 мая.

³ ГАНУ. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 1715. – Л. 18.

душей главе, в данном случае не использовались. Созданные в городах Западной Сибири памятники, будучи произведениями публичного искусства, должны были играть ведущую роль в актуализации коллективной памяти жителей городов о Гражданской войне. По словам А. Ассман, «гонения, казни и поражения могут преобразовываться памятью в положительный нарратив, несущий в себе императивное послание»¹. Именно такими и были созданы эти памятники. Однако они увековечивали подвиг абстрактных масс, одновременно обезличивая, как подвиги, так и жертвы конкретных лиц. Ни один из этих памятников не заострял негативных чувств, не вызывал к скорби, как надгробие классицизма, к состраданию и воспоминаниях о личных добродетелях усопшего, как романтическое надгробие. Таблички с именами погибших, лежащих в братских могилах, композиционно не доминировали, их вообще можно было не заметить. Конечно, за этими особенностями можно рассмотреть контекст традиции увековечивания памяти павших воинов, сложившийся в Европе в XIX в., когда для погибших стали использовать одинаковые надгробия, символически уравнивающие всех и не акцентирующие индивидуальности². Но, в любом случае, приходится признать, что именно в силу деперсонализации памятники в городах Западной Сибири скорее не поддерживали память о жертвах и героях, а парадоксально способствовали забвению погибших, сообщая о них слишком мало информации (сценарий «структурной амнезии»). Памятник в Томске более походил на надгробие и нагляднее сообщал сведения о героях и жертвах. Однако его открытие было запоздалым. Фактически он увековечивал память уже не актуальную для многих томичей. К тому же это памятник стал явно второстепенным на фоне монументальной статуи Ленина.

Важно и то, что массовые жертвы Гражданской войны – десятки тысяч людей, погибших от тифа и в ходе боевых действий, не были удостоены мемориализации ни в межвоенный период, ни в последующие годы. Огромные братские могилы на кладбищах Новосибирска и Омска никак особенно не маркировались, а просто зарастали травой. Анализируя мировой опыт, связанный с мемориализацией невинных жертв, лишенных жизни без их согласия «принести себя в жертву» ради общественного блага, А. Ассман констатирует, что нужно пройти долгий путь, прежде чем травмированная память

¹ Ассман А. Указ соч. – С. 239.

² Wander R. Modes of Individualization at Cemeteries // Sociological Research online. – 2009. – № 9. – URL: <http://biblio.ugent.be/publication/1147654/file/6747445.pdf> (дата обращения: 28.01.2016).

жертвы получит признание и войдет в состав коллективной памяти¹. В отношении жертв Гражданской войны это путь так и не был пройден. С одной стороны, о массовых жертвах Гражданской войны помнили всегда. Но специальных мер для увековечивания их памяти не предпринималось. Ряд исследователей оценивает дефицит скорби как симптом травмы, вызванной некими тяжелыми воспоминаниями. Люди, пережившие «ликвидацию трупов», опустошались эмоционально, переставая жалеть погибших. По выражению А. Ассман, «дефицит памяти и дефицит скорби взаимно обусловлены»². Родные погибших не требовали моральных компенсаций. А для властей мемориализация жертв могла обернуться вынужденной необходимостью брать на себя ненужную ответственность за гибель невинных людей.

3.3. Массовое прощание с В. И. Лениным, Ленинские дни и траурные мероприятия, приуроченные к смерти крупных советских политических деятелей

В. И. Ленин скончался 21 января 1924 г. Ритуал прощания с вождем опирался на уже оформившиеся образцы «красных похорон» героев Гражданской войны. Однако сразу заметно и то, что во многом образец похоронного ритуала был заимствован из дворцовых церемониалов имперского периода. По выводам М. О. Логуновой, специально изучавший этот вопрос, до начала XVIII в. траурный церемониал носил исключительно религиозный характер. Лишь в петровское время началось внедрение западноевропейских элементов траурного ритуала, которые сочетались с традиционными православными. Со времен Петра I похороны становились светской церемонией со своими декорациями, статистами, главными и второстепенными персонажами. Образцом для императорских похорон вплоть до начала XX в. служили похороны Петра Великого, однако каждый новый похоронный церемониал содержал изменения, связанные с кон-

¹ Ассман А. Указ. соч. – С. 77.

² Там же. – С. 116.

кретной исторической и политической обстановкой. На похоронах Петра I в печальной процессии приняло участие более 10 тыс. человек; эта процессия представляла все элементы государственной символики и личных завоеваний императора; за гробом следовали ближайшие сподвижники и родственники; место погребения было отдалено от места смерти¹. На похоронах вождя мирового пролетариата религиозные сценарные элементы заменялись гражданскими. Далее мы остановимся на таких изменениях. Применялись и дореволюционные приемы привлечения внимания населения всей страны к смерти политического лидера.

Ленин умер в период политической нестабильности, ставшей особым фактором выбора формы последнего прощания. В стране едва окончилась Гражданская война, с трудом преодолевались проблемы бандитизма и хозяйственной разрухи, споры и нарекания вызывал нэп. Волнения в Сибири вызывал продналог, воспринимавшийся как грабительский. Согласно сводкам о политических настроениях, красноармейцы, получавшие зимой 1924 г. письма от деревенских родственников, возмущались и требовали демобилизации, считая несправедливыми поборы с солдатских семей. Массовые демобилизационные настроения в армии вызывало также плохое питание и старое обмундирование². Регион лихорадило и от забастовок рабочих, постоянно вспыхивавших на предприятиях всех губернских городов из-за мизерных зарплат³. Советская власть порождала массовые недовольства со стороны верующих, противившихся изъятиям церковных ценностей, не желавших вмешательства государства в религиозную жизнь⁴. Осенью 1923 г. ВЧК очень настораживали антибольшевистские настроения эсеров, которые рассматривались как серьезная контрреволюционная сила⁵. Уже эти обстоятельства налагали на организаторов последнего прощания с В. И. Лениным большую ответственность. Необходимо было найти такие коммеморативные формы и приемы, которые будут способствовать стабилизации ситуации, позитивным изменениям в отношении общества к власти, а не усугублению волнений.

Известно, что решающую роль в выборе ритуала похорон и формы погребения вождя мирового пролетариата сыграл И. В. Сталин. При этом по поводу организации прощания с вождем и его погребения велись жаркие дискуссии. В частности, многие не со-

¹ Логунова М. О. Траурный церемониал в Российской империи в XVIII–XIX вв. – С. 13.

² ГАНУ. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 402. – Л. 19, 21.

³ Там же. – Д. 376. – Л. 271 – 272 об.

⁴ Там же. – Л. 165.

⁵ Там же. – Л. 85.

глашались с помещением мумии Ленина в мавзолей, настаивая на традиционном погребении в землю. Петроградцы считали необходимым похоронить Ленина в северной столице. Историк О. В. Великанова убедительно показала, что все окончательные решения о ритуале похорон были приняты «наверху», без учета всего разнообразия предложений, исходивших из народной среды. В то же время эти решения выдавались как «глас народа»¹. Большевики старались всячески подчеркнуть необычность похорон Ленина, их иное, нетрадиционное значение. Однако невозможность полностью дистанцироваться от религиозного отношения к похоронам, распространенного в народной среде, осознавалось организаторами церемонии. В частности, это отразилось в записке А. В. Луначарского, адресованной комиссии по похоронам В. И. Ленина, где говорилось: «Церковных мотивов избежать нельзя»². Согласно оценке историка А. Я. Лившица, речь И. В. Сталина, произнесенная 26 января 1929 г. на заседании II Съезда Советов, посвященного памяти В. И. Ленина, по форме напоминала литургию, отличалась библейским слогом, привычным для России, но в принципе чуждым для большевиков³. На материалах Западной Сибири заметно, что по факту именно традиционное восприятие смерти и похорон во многом определило характер прощания сибиряков с вождем.

Говоря о политике памяти, выраженной в этих торжествах, стоит упомянуть о том, что в дореволюционный период траурные мероприятия служили средством демонстрации всему миру достижений правления усопшего монарха и незыблемости монархической власти⁴. Аналогичная задача решалась и на похоронах Ленина. Предполагалось, что после похорон многое еще будет напоминать сибирякам о свершившейся трагедии. Психологическое последствие от коммемораций старались закрепить и усилить показами свежей документальной киноленты «Похороны тов. Ленина», собиравшей переполненные залы массового зрителя⁵. Очевидно, усилия агитпропов не пропадали даром. Среди сибиряков были те, кто искренне скорбели, проливали слезы, собирали деньги на памятники, сочиняли песни и стихи о вожде, вышивали полотенца для его «могилы». Аналогично вели себя жители Российской империи, реагируя на кончину Александра III: толпились в местах официального прощания с императором, посылали на похороны траурные венки, плакали. Эмоциональную атмосферу тех дней Р. Уортман охарактери-

¹ Великанова О. В. Указ. соч. – С. 10.

² РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 1.

³ Лившиц А. Я. Указ. соч. – С. 57.

⁴ Логунова М. О. Печальные ритуалы императорской России. – С. 227.

⁵ Картина «Похороны тов. Ленина» // Рабочий путь. – 1924. – 9 апр.

зовал как «самозабвенную экзальтацию»¹. В случае с похоронами В. И. Ленина показательно, что уже в марте 1924 г. был зафиксирован резкий рост количества заявлений от людей, желавших вступить в партию. К этому призывали некоторые лозунги в дни траура, например: «Скончался учитель Ильич, не падай духом, не хнычь, иди по его пути, становись в РКП ряды»². В целом по Новониколаевской, Томской, Алтайской и Омской губерниям только за один месяц поступило 2976 подобных заявлений³.

В феврале 1924 г. сводки о политических настроениях зафиксировали спад демобилизационных требований солдат. Это объяснялось тем, что траурные торжества пробуждали у солдат еще недавно спавшее чувство воинского долга и «долга перед революцией»⁴. Отмечалось и то, что многие из них стали интересоваться биографией Ленина и политической обстановкой в мире.

Массовые проводы вождя мирового пролетариата в последний путь должны были производить сильное эмоциональное впечатление не только на убежденных большевиков, но и на людей, которые были мало задействованы в политической жизни, на беспартийных, на молодежь, на тех, кто стоял в толпе в качестве зевак, кого заставили прийти на траурную демонстрацию агитаторы. В дни прощания с вождем писатель М. С. Шагинян отмечала, что смерть Ленина и похоронные коммеморации рождали новое к нему отношение: «Он окончательно становится “нашим”, всеобщим, отдавая человечеству последний клочок своей самости – свое разделенное физическое бытие»⁵. Ощущение национальной консолидации и мистического единения народа и вождя через эмоциональное переживание его похорон было не новым. Р. Уортман обратил внимание на одну из публикаций в газете «Московские ведомости», приуроченных к похоронам Александра III. Автор статьи так сформулировал идеологически наполненную мысль: «В слезах – великое таинство единения русского народа»⁶. С точки зрения политики памяти, похороны вождя стали важным этапом формирования культа Ленина. Этот культ воплощал глубинные потенции русской политической культуры, в которой были заложены ценности харизматического лидерства⁷. О. В. Великанова считает, что во время

¹ Уортман Р. Указ. соч. – С. 407, 409.

² РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 18.

³ ГАНО. – Ф. П-2. – Оп. 2. – Д. 40. – Л. 43.

⁴ Там же. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 402. – Л. 31 об.

⁵ Цит. по: Миф о любимом вожде: изд. к выставке «Миф о любимом вожде». – М., 2014. – С. 27.

⁶ Уортман Р. Указ. соч. – С. 410.

⁷ Великанова О. В. Указ. соч. – С. 3.

траура осуществлялся перенос харизмы В. И. Ленина на партию. Это было необходимо для легитимации власти¹.

Траурные коммеморации были ориентированы на формирование среди населения преданности партии, «делу Ленина», идеалам революции в трактовке, актуальной для носителей власти. Траур настраивал население на верноподданнические чувства, что требовалось для сохранения установленного политического режима². Похороны служили выражению политической солидарности граждан, мобилизации общества на достижение успехов экономического развития страны. Ритуал прощания служил и легитимации власти, которая со смертью вождя обретала еще более «великую», «героическую» историю. Похороны Ленина были также поводом напомнить о «враждебности» советскому государству и советскому народу всякой политической оппозиции. В этом смысле примечательны лозунги: «Мы шлем проклятие эсерам, чьи руки обгажены кровью Ленина»; «Отравленная пуля предательской партии эсеров сократила дни Ленина! Вечный позор убийцам вождей рабочего класса!»³.

Советская власть использовала максимум возможностей (телеграф, радио, печать) для тиражирования на всю страну сведений об этапах прощания с В. И. Лениным и его погребении, стремясь вовлечь наибольшее число членов общества в похоронно-поминальные коммеморации, создать у каждого жителя страны ощущение личного присутствия на похоронах. Подобным образом в дореволюционные времена Печальная комиссия работала над изданием манифеста о кончине государя и рассылала по всей империи тексты церемониалов его похорон⁴. Однако тиражирование свежей информации о похоронах первого советского вождя проходило активнее.

Согласно плану траурной кампании, на местах сообщение о смерти В. И. Ленина прозвучало по всей стране 22 января. Большевики прекрасно осознавали неоднозначность восприятия населением смерти Ленина, в Кремле опасались контрреволюционных выступлений, поэтому на период траура по всей стране были усилены меры безопасности⁵. Сразу после кончины вождя Сиббюро ЦК РКП(б) получило секретную шифровку из Москвы, подписанную И. В. Сталиным, где содержалось распоряжение «принять меры к соблюдению твердого порядка, не допускать ни малейших проявлений паники».

¹ Там же. – С. 8.

² Там же. – С. 10.

³ РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 38, 41.

⁴ Логунова М. О. Траурный церемониал в Российской империи в XVIII–XIX вв. – С. 112.

⁵ РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 83. – Л. 19.

Шифровка сообщала о времени повсеместного объявления о смерти В. И. Ленина, а также распоряжалась об устройстве траурных митингов и демонстрации в день похорон. В официальных выступлениях требовалось делать акцент на верности заветам Ленина, на укреплении союза рабочих и крестьян, на необходимости большего сплочения вокруг партии и советской власти¹. Соответственно уже на 23 января были запланированы траурные «летучки», которые предполагалось устраивать силами райкомов в любых подходящих для этого местах².

Траурные мероприятия сломали привычный ход повседневности: была прекращена работа, отовсюду понеслись сведения о свершившейся трагедии. Пока круг избранных лично прощался с телом В. И. Ленина в Москве, в западно-сибирских городах, в соответствии с планом мероприятий, парткомы и партийные ячейки организовывали локальные демонстрации с участием отдельных групп населения. Двумя годами позже журналист «Советской Сибири» писал об этом моменте: «У всех появилась какая-то инстинктивная потребность собраться коллективно, осмыслить значение великой утраты»³. Эта «инстинктивная потребность» объясняется, прежде всего, слаженной организаторской работой агитаторов. Вероятно, сказалось и влияние исконной народной традицией откладывать любые дела и спешить на похороны знакомого человека, тем более, если он знаменит. Партийным органам важно было вызвать у населения одновременное ощущение скорби, силы и «мятежные военно-революционные думы»⁴. В партийных ячейках, на предприятиях, в клубах и на улицах зачитывались вслух газетные репортажи и краткие правительственные телеграммы. Их содержание могло ограничиваться краткой фразой, к примеру: «Его нет среди нас, но его дело останется незыблемым»⁵. Печать умалчивала о негативных высказываниях в адрес Ленина и его похорон, отражая лишь «всеобщую народную скорбь», масштабы которой, безусловно, преувеличивались.

Мы уже отмечали, что в начале 1920-х гг. обряд «красных похорон» предписывал их участникам эмоциональную сдержанность и стойкость. В данном случае слезы были скорее желательны. Это отражалось в лозунге: «Широчайшие массы трудящихся всей России будут оплакивать своего вождя»⁶. О реках слез говорили и агитаторы, не бояв-

¹ ГАНУ. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 403. – Л. 2.

² РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 83. – Л. 9.

³ А. Н. Сибирь в трауре // Сов. Сибирь. – 1926. – 22 янв.

⁴ Собрание памяти Ильича в Клубе печатников // Сов. Сибирь. – 1924. – 24 янв.

⁵ ГАНУ. – Ф. П-10. – Оп. 1. – Д. 1006. – Л. 31.

⁶ Там же. – Л. 25.

шиеся преувеличений: «Когда было получено известие о его смерти, самые закаленные и испытанные товарищи заплакали, теперь плачет эта твердая, несокрушимая сила»¹. Правда, некоторые ораторы по-прежнему призывали к сдержанности. Характерен пример из речи омича Т. Ананьева, произнесенной в Коммунистическом клубе: «Не плакать надо, не петь похоронный марш, а сильнее сплотить свои ряды под звуками рабочего гимна»². Аналогичный смысл содержали и некоторые лозунги, распространявшиеся по стране Комиссией по похоронам В. И. Ленина. Например: «Не уныние и паника, а энергия и воля к дальнейшей борьбе!»³. Известие о кончине вождя на предприятиях слушали стоя. Некоторые лозунги призывали к выполнению традиционных для похорон ритуальных действий, к примеру: «Обнажите головы перед светлой могилой великого учителя»⁴; «Склоним над нашим вождем боевые красные знамена»⁵. Само непрерывное чтение лозунгов в практическом смысле ассоциируется с традиционным произнесением у гроба молитв за упокой. Лозунги и летучие митинги, по нашему мнению, заменяли литии, которые читаются у гроба на православных похоронах. Стоит учесть и то, что по традиции в дореволюционный период с момента выставления тела усопшего императора в поминальной комнате и до его похорон придворные и священники постоянно читали Евангелие над телом усопшего⁶.

Заметно, что ту часть общества, которая искренне скорбела, захлестнула волна переживаний, характерных для традиционных похорон. Крестьяне же, наблюдавшие за событиями со стороны и не вникавшие глубоко в суть дела, задавались вопросом: состоится ли отпевание лидера государства в церкви? Приходилось разъяснять им, что большевики «своих» так не хоронят⁷. Разумеется, похороны были гражданскими, на них не должно было идти речи о бессмертии души, но важно было сделать акцент на идее бессмертия общего дела революции. На практике мы видим, что ораторы не всегда могли подобрать нужные слова, поскольку традиция еще все-таки владела их сознанием. О традиционном восприятии смерти вождя многими сибиряками свидетельствуют и

¹ Там же. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Д. 1169. – Л. 22.

² Как встретили трудящиеся Омска известие о смерти В. И. Ленина // Рабочий путь. – 1924. – 24 янв.

³ РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 11.

⁴ Там же. – Ф. П-10. – Оп. 1. – Д. 1006. – Л. 31.

⁵ Там же. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 11.

⁶ РГИА. – Ф. 473. – Оп. 3. – Д. 884. – Л. 16, 31 об.

⁷ Пушкарев Г. Ленин помер // Сибирские огни. – 1924. – № 1. – С. 173–176.

творческие инициативы крестьян, сочинявших «покойнишний вой по Ленину» (традиционная причеть), зафиксированный этнографами¹.

До революции в дни похорон членов царской семьи запрещалась работа увеселительных заведений и торговля. Но в день похорон В. И. Ленина запретили также и работу вообще, чтобы вся страна сконцентрировала внимание на эпохальном прощании. Сибирский революционный комитет даже постановил соблюдать траур на протяжении целой недели (с 22 по 27 января) с запретом всех спектаклей, концертов и увеселений².

Сохранилась стенограмма чрезвычайного заседания Новониколаевского горсовета, устроенного вечером 24 января 1924 г. Мы не можем полностью доверять этому тексту, поскольку очевидна его «шлифовка», но имеющаяся редакция все-таки содержит ряд цитат, свидетельствующих о неоднозначном понимании собравшимися происходивших событий. Судя по стенограмме, началось заседание в соответствии с шаблоном аналогичных дореволюционных мероприятий. В выступлении заместителя председателя Сибревкома чувствуется даже оттенок религиозности: «Пусть он умер, *но дух его с нами*, почтим его память вставанием»³. Выразив скорбь традиционно, ораторы, однако, затем попытались, руководствуясь соображениями политической прагматики, изменить общее эмоциональное состояние присутствующих, воспринимавших траурное собрание как похоронное. Уже на этом собрании важно было добиться деперсонализации личности В. И. Ленина, приступить к формированию в коллективной памяти фигуры Ильича, символизирующей революцию, партию, рабочий класс, вызвать у собравшихся оптимистические чувства и ожидания⁴. Выступавшие говорили: «В наших рядах не должно быть паники... Ильич как человек умер, но как вождь он не может умереть, не умер рабочий класс, не умерла партия»⁵.

Представляет интерес также резолюция одного из траурных собраний в Омске. Этот источник акцентирует внимание на трагедии, на эмоциональных переживаниях: «Умер близкий и родной человек каждому в нашей партии, каждому рабочему и крестьянину не только в России, но и за границей... Это горе мы никогда не сможем забыть». Далее повторялась мысль о том, что «умер Ленин, но жива партия». Заканчивалась резолюция традиционным обещанием «*бросить к могиле*» Ленина капитализм, который

¹ Хадзинский Н. Указ. соч. – С. 53–64.

² ГАНУ. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Д. 1169. – Л. 10.

³ Там же. – Л. 22.

⁴ Там же. – Л. 22 об.

⁵ Там же.

будет уничтожен, и традиционной «клятвой у светлой могилы вождя» быть достойными учениками Ленина¹.

Кульминацией массового прощания сибиряков с Лениным стали ночные демонстрации-похороны, организованные также в опоре на образцы имперских церемониалов и практику «красных» похорон. На центральных площадях городов местные власти должны были собрать народ для проведения массовых коммеморативных мероприятий. Подобно тому, как дореволюционные церемониалы определяли порядок траурного шествия за гробом, теперь органы местной власти расписывали порядок построения и движения демонстрантов в ночь похорон вождя. В Новониколаевске подобных демонстраций было две. Первая, состоявшаяся 23 января на Октябрьской площади, была приурочена к известию о кончине В. И. Ленина². Вторая демонстрация, прошедшая 27 января, была приурочена к похоронам. Пятидесятитысячная толпа собиралась у здания райисполкома. Начало церемонии обозначил похоронный марш (проведем аналогию: печальное шествие на царских похоронах, как и на православных похоронах вообще, начиналось под звуки церковного пения «Святой Боже»). На фоне похоронного марша звучали краткие выступления агитаторов (в дореволюционном варианте на этом этапе должна была состояться лития). Поскольку демонстрация имитировала похороны, колонны шли к братской могиле на Октябрьской площади, ставшей новым сакральным местом. Здесь делалась остановка, устраивался митинг, заменивший православное отпевание. Затем, в соответствии со сложившимся «красным» погребальным ритуалом, исполнялись похоронный марш и «Интернационал» (мы уже отметили, что музыкальный компонент неотделим и от традиционных похорон). Толпа хором пела «Вы жертвою пали в борьбе роковой, за вами идет свежих ратников строй...». В руках собравшихся пылали факелы, развевались на ветру красные флаги, искрились бенгальские огни, заменившие традиционные для православных похорон свечи³. Был создан необходимый эмоциональный фон для того, чтобы жители Новониколаевска, как и других городов, ощутили личное участие в похоронах и прочувствовали драматизм момента. В заключение траурного митинга в Новониколаевске один из ораторов сказал: «Дорогой товарищ Ленин, ты долго служил для блага народа и *мы, твои ученики, тебя на кладбище снесли*»⁴.

¹ РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 293. – Л. 1.

² Кручина А. День траура // Сов. Сибирь. – 1924. – 24 янв.

³ ГАНУ. – Ф. П-10. – Оп. 1. – Д. 1006. – Л. 65.

⁴ Там же.

Ильич умер «своей смертью», но драматизм похоронного сценария героя не мог обойтись без религиозных мотивов мученичества в речах собравшихся. Этот шаблон, многократно применявшийся в предыдущие годы на «красных» похоронах жертв и «героев» Гражданской войны, а еще ранее на похоронах Александра II¹, стал неременной чертой «красных» похорон. Митинговавшие говорили: «Ты *замучен* тяжелой болезнью, трудной и длительной работой». К. Мерридейл видит в определении смерти вождя как «*преждевременной*» отголосок традиционного мифологического представления о том, что ранняя, неожиданная и мученическая смерть героя (жертва) является залогом, даже необходимым условием зарождения новой жизни, установления нового мирового порядка². Отметим также и то, что на митинге в Новониколаевске дело революции было названо «святым». Озвучена была и вера в то, что «*наш учитель... сейчас пойдет к ранее павшим борцам, к своим ученикам*»³. Это высказывание соответствует еще языческим представлениям о встрече в загробном мире душ умерших. Неоднократно звучала церковная формулировка: «Вечная память и вечный покой!».

Как и на похоронах жертв «колчаковщины», был использован еще один важный элемент традиционного обряда погребения – клятва на могиле. На братской могиле земляков, которая символически стала теперь для новониколаевцев и могилой вождя, жители города клялись не отступать от идеалов ленинизма. В этот момент было словно включено новое хронологическое мерило: день смерти вождя стал для трудящихся контрольной датой, когда они отчитывались о своих экономических и политических достижениях за срок, истекший с того момента, когда страна осталась «без Ленина». При этом чувствуется, что по ассоциации с традицией рабочие и крестьяне держали отчет не только перед правительством и народом, но и перед усопшим вождем, с которым часто выстраивали воображаемый диалог докладчики, выступавшие на собраниях и торжественных заседаниях. К. Мерридейл считает, что в дореволюционном православном контексте умерший царь с небес «следит за своим народом»⁴.

При опускании гробов царей и великих князей в могилы обычно давали залп салюта⁵; со времен Петра I палили пушки, а еще ранее традиционным было сопровождение

¹ Уортман Р. Указ. соч. – С. 275.

² Merridale С. Death and the Memory in Modern Russia. – P. 8.

³ Ibid. – P. 63.

⁴ Ibid. – P. 26.

⁵ РГИА. – Ф. 473. – Оп. 3. – Д. 884. – Л. 8 об., 69.

опускания гроба колокольным звоном¹. Залп салюта всегда давали, как мы уже отметили, и на «красных» похоронах, подчеркивая особые заслуги усопших (погибших), символически приравнивая их к числу тех, кого признавали героями. По воспоминаниям очевидцев, в ночном Новониколаевске с каланчи на городском корпусе раздавался гул колокола, прозвучало восемь ударов, обозначивших время погребения². Салют прогремел по всей стране в 16 ч по московскому времени 26 января 1924 г. при вносе тела В. И. Ленина в Мавзолей. Тогда же все фабрики, заводы, паровозы, мельницы и лесопилки издали трехминутный гудок. Этот подчеркнуто пролетарский элемент ритуала дополнил традиционный звуковой фон похорон лидера государства. Во время гудка, звучавшего на ленинских похоронах, на пять минут все трудящиеся прекратили работу. Аналогичным образом прощались с вождем жителя Омска, Томска и Барнаула, где на траурные демонстрации строем вышли десятки тысяч человек³. Впечатляет пример Омска, в центре которого был вывешен огромный иллюминированный портрет, мимо которого шли колонны демонстрантов⁴.

Как печать, так и секретные сводки о политических настроениях фиксировали внимание общества к смерти В. И. Ленина, равнодушную реакцию. К примеру, сообщалось, что когда в Новониколаевске красноармейцы 21-й дивизии узнали печальную новость, они кинулись будить спавших товарищей и рассказывать о случившемся⁵. Грандиозное торжественное действо, имитировавшее похороны Ленина, ошеломляло и воодушевляло огромное количество людей, шедших за большевиками на эмоциональном подъеме. Идеологическое воздействие этого прощания оказалось весьма действенным: через ритуал многие искренне утвердились в своей солидарности с большевиками, ощутили «величие» исторического момента, собственную причастность к нему, а также личную ответственность перед товарищами, властью и вечностью, в которую символически ушел «Великий Ленин».

Но ясно и то, что далеко не все сибиряки прониклись скорбью в дни траура. О. В. Великанова считает, что принятие «правильных» резолюций на печальных собраниях стимулировалось искусственно. Этим историком были выявлены и негативные отзывы о Ленине, звучавшие по всей стране в дни траура («Умер – туда ему и дорога»,

¹ Логунова М. О. Траурный церемониал в Российской империи в XVIII–XIX вв. – С. 112.

² Лавров И. М. Указ. соч. – С. 42.

³ А. Н. Сибирь в трауре // Сов. Сибирь. – 1926. – 22 янв.

⁴ Горбунов И. Около портрета // Рабочий путь. – 1924. – 25 янв.

⁵ ГАНУ. – Ф. П. 1. – Оп. 1. – Д. 402. – Л. 29.

«Сколько народа погибло по его милости» и т. п.)¹. Сводки о политических настроениях сибиряков также фиксируют множество негативных реакций на печальное событие. Например, было записано, что в Новосибирске жена помощника начальника штаба встретила мужа со словами: «Колечка, ты не слыхал, что Ленин сдох?». Сообщалось и то, что кто-то из солдат 35-й дивизии выколол глаза на портрете вождя и сделал надпись «Одним меньше»². Неприязнь вызывали сами коммеморации. И. М. Лавров вспоминал, что «домовладельцы» недовольно шипели, глядя на демонстрантов: «Ишь, вылезли, глазают»³.

С другой стороны, отмечались различные страхи: «Удержатся ли коммунисты без Ленина?», «Не последует ли раскол партии?» и т. п. Заметно, что многих волновал вопрос, кому достанется власть. Фиксировалась неприязнь к Л. Д. Троцкому, нежелание видеть «жида» в качестве нового вождя. Ходили различные слухи: «Ленина отравили», «Троцкий поскандалил с Лениным, убил его и скрылся за границу» и пр. Такая неоднозначность суждений и мнений создавала широчайший фронт работы для агитаторов, пропагандистов и чекистов, боровшихся за изживание разнотолков⁴. Мы уже отметили, что смерть Ленина произошла на фоне тяжелой экономической ситуации, когда вся страна и, в частности, Сибирь еще не восстановились после Гражданской войны. Дорогостоящее прощание с Лениным многими воспринималось как «трата денег». Когда вставал вопрос о сборе средств на памятник, не все были к этому готовы⁵. Некоторые видели в смерти Ленина возможность отдохнуть от работы или получить дополнительный паек⁶.

Едва ли в 1924 г. можно было предотвратить кухонные разговоры и пересуды об умершем вожде. И. М. Лавров вспоминал, что в ночь похорон Ленина, его отец – бывший красноармеец – вместе с собутыльником ностальгировали за печкой по царской России: «Какая держава погибла, Боже ты мой!»⁷. Позже отец осмеивал кирпичи, собиравшиеся поштучно на строительство Дома Ленина: «Да, умело Ванька с кухаркой управляют государством! Доуправлялись! Аж своему вождю не на что памятник поставить! Как налетчики с большой дороги, разграбили чужое добро, нахрапом захватили

¹ Великанова О. В. Указ. соч. – С. 11.

² ГАНУ. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 402. – Л. 42, 84.

³ Лавров И. М. Указ. соч. – С. 43.

⁴ Там же. – Л. 37.

⁵ ГАНУ. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 403. – Л. 84.

⁶ Дэвис С. Указ. соч. – С. 167.

⁷ Лавров И. М. Указ. соч. – С. 47.

дома, заводы, землю, золото. Скоро вот все это промотаете со своими делегатками в юбках выше колен! Что тогда запоете?»¹.

Заметно, что отклик жителей городов Западной Сибири на смерть вождя преувеличивала печать. Об этом, в частности, говорят следующие факты. Всего на похороны Ленина в Кремль был прислан 861 венок. Многие венки имели художественную ценность, отличались оригинальностью замысла и исполнения. Были среди них и самые обычные для первой половины 1920-х гг. венки, изготовленные из фарфора. Большинство траурных венков прислали жители Ленинграда, Москвы, Киева, Харькова, Белоруссии, Симбирска, Донбасса. Из Западной Сибири Комиссия по похоронам Ленина не получила ни одного даже самого дешевого венка².

Также по традиции вдова В. И. Ленина Н. К. Крупская получила множество писем и телеграмм, содержащих соболезнования. Телеграммы приходили от предприятий, детских домов, групп национальных меньшинств, частных лиц и пр. Однако среди сохранившихся писем с соболезнованиями нет ни одного, присланного из Новониколаевска, Томска и Барнаула. В единственном письме из Омска скорбь выражена сухо и стандартно, формулировки были заимствованы из лозунгов: «Конференция фабзавкомов и делегатов Омского райкома Союза металлистов выражает глубокую скорбь и соболезнование о смерти горячо любимого Ильича. В этот тяжелый момент мы все как никогда, не считаясь с партийностью, обязуемся еще теснее сплотить наши ряды около его детища – нашей руководительницы – Российской коммунистической партии – и довести до победоносного конца его заветы, что будет лучшей и светлой памятью о дорогом Ильиче»³.

Ленинские дни. В 1925 г. отмечалось сразу несколько памятных дат, связанных с именем В. И. Ленина. Праздновали день его рождения 22–23 апреля. В рабочих клубах, театрах, школах проходили соответствующие тематические вечера. Годовщину покушения на вождя отмечали траурными вечерами 30 августа⁴. Но самые масштабные мероприятия развернулись в связи с годовщиной смерти Ленина. Традиционно именно первой годовщине со дня смерти человека уделяется наиболее пристальное внимание. В январе 1925 г. была организована Неделя памяти вождей. Дни с 21 по 26 января стали

¹ Там же. – С. 49.

² РГАСПИ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 79. – Л. 3.

³ Там же. – Д. 162. – Л. 27.

⁴ ГАНУ. – Ф. П-10. – Оп. 1. – Д. 1007. – Л. 99.

кульминацией целого «праздничного каскада», который открывало 100-летие восстания декабристов. Сразу вслед за этим праздником 1 января 1925 г. устроили торжества по поводу 20-го юбилея Декабрьского вооруженного восстания в Москве; 15 января организовано вспоминали день гибели К. Либкнехта и Р. Люксембург; 21 января отметили день кончины В. И. Ленина; 22 января – 20-летний юбилей Первой русской революции; 26 декабря вспоминали похороны вождя¹. В последующие годы продолжали объединять памятные даты. К примеру, в 1936 г. Ленинские дни соединили с празднованием годовщины революции 1905 г.² После 1925 г. дни рождения Ленина также отмечались тематическими вечерами, но в календаре эта дата не была отмечена как праздничная³.

Остановимся на политике памяти государства, влиявшей на специфику торжеств разных лет. Траурные памятные даты удобно использовать в идеологических целях, поскольку в день годовщины обостряются пережитые ранее эмоции. При этом формат ритуала стабилизирует воспоминание, канализирует скорбь, задает определенные смысловые императивы для следующих поколений⁴. Сам В. И. Ленин считал, что организаторы памятных мероприятий, посвященных великому человеку, должны всегда связывать память о человеке с революционными задачами⁵. Заметно, что еще до «великого перелома» фигура вождя в контексте памятных торжеств стала рассматриваться утилитарно.

Во-первых, это проявлялось в том, что власть стремилась внедрить в общественное сознание не память о Ленине как человеке, а представление о нем как о символе революции. Важно было изжить негативные представления о Ленине, сформировать культ Ленина, закрепить в массовом сознании представление о нем именно как о вожде. Литературоведу И. Разумнику принадлежат слова: «Как интересно жить в истоках мифа... Чем был в жизни Ленин – все равно. История будет жить легендой о Ленине»⁶. Поэт В. Коновалов сформулировал эту идею прямолинейно: «Он не важен нам как личность, / Он не важен нам как гений, / А как символ...»⁷.

Во-вторых, дни памяти преподносились не как дни скорби, но как праздники. Со временем обе эти тенденции усиливались. Власть стремилась подчеркнуть, что Ленин умер не напрасно, его дело живо и ведет общество к новым достижениям и успехам. Ис-

¹ ГААК. – Ф. 86. – Оп. 1. – Д. 45. – Л. 3.

² ГАНУ. – Ф. П-3. – Оп. 1. – Д. 45. – Л. 3.

³ Щербинин А. И. «Красный день календаря»... – С. 57.

⁴ Ассман А. Указ. соч. – С. 251.

⁵ Адрианова Н. Ю. Указ. соч. – С. 70.

⁶ Цит. по: Миф о любимом вожде. – С. 25.

⁷ Коновалов В. Ты живой // Сов. Сибирь. – 1924. – 27 янв.

торик Б. Энкер считает, что дни памяти В. И. Ленина служили знаком революционной преемственности, принципиальности, легитимности, социальной мобилизации масс¹. Через ритуал памятного торжества народ должен был почувствовать себя наследником Ленина, признать партию коммунистов в качестве его наследницы.

После 1927 г. празднества были ориентированы не на прошлое, а на современность². В 1930-е гг. в коммеморативные практики, связанные с В. И. Лениным, вводится фигура И. В. Сталина. Это стало заметным после празднования 50-летия Сталина (1929 г.). Историк Я. Плампер выявил иконографическую специфику одновременной репрезентации образов В. И. Ленина и И. В. Сталина. Ленин обычно изображался слева, Сталин справа – в этом содержался намек не только на последовательность их правлений, но и на преемственность между политикой, проводившейся двумя политическими лидерами³. В газетных репортажах с торжественных заседаний горсоветов, проходивших в «Ленинские дни» второй половины 1930-х гг., журналисты уделяли больше внимания эпизодам чествований Сталина, нежели формам коллективных воспоминаний о Ленине. Это также было необходимо для создания видимости революционной преемственности между политикой двух вождей – мертвого и живого. В этом контексте было выгодно максимально обобщить образ Ленина, лишить его индивидуальных «человеческих» характеристик. Поэтому на мероприятиях, посвященных воспоминаниям об Ильиче, не заострялось особого внимания на деталях его революционной биографии и политики.

Реализация советской политики памяти, направленной на формирование культа Ленина, осуществлялась с помощью разнообразных каналов и средств. Идеологические мысли доносились до общества посредством устного и печатного слова, в символических изображениях и праздничных действиях, а также средствами искусства. Все это в комплексе давало действенный результат, хотя и не гарантировало всеобщего позитивного восприятия обществом коммемораций.

Еще в досоветскую эпоху в городах Российской империи сложился сценарный шаблон политических праздников, который включал военный парад, крестный ход, торжественную литургию или молебен, торжественное заседание городской думы, со-

¹ Энкер Б. Указ. соч. – С. 391, 394.

² Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917–1927). – С. 13.

³ Плампер Я. Указ. соч. – С. 72.

брания в клубах, народные чтения и бесплатные театральные постановки на исторические, политические и религиозные темы. Эта схема, отработанная десятилетиями, использовалась также в советское время для организации государственных праздников и торжеств, связанных с памятными датами. В дни памяти В. И. Ленина не устраивался лишь военный парад. Остальные сценарные элементы торжества легко адаптировались к новой памятной дате и новой идеологической системе: крестный ход заменили демонстрацией с инсценировками, молебен преобразовали в митинг, обязательными были торжественные заседания горсовета, собрания в рабочих клубах, бесплатные театральные постановки и показы кино, выставки (см. Прил., рис. 55).

В 1920-х гг. Ленинские дни стандартно предварялись вечерами воспоминаний. Их организация опиралась на традиционную практику дореволюционных праздничных тематических народных чтений в гимназиях, библиотеках и клубах. В 1925 г. планировалось рассказывать на вечерах о похоронах В. И. Ленина в Москве. Но из сибиряков мало кто лично присутствовал при его погребении. Поэтому в середине 1920-х гг. на вечерах обязательно звучал доклад о достижениях советского народа за период «уже без Ленина», зачитывались заранее отобранные агитпропами отрывки воспоминаний о вожде его соратников, декламировались политические стихи, агитаторами раскрывались в докладах темы «Ленин и кооперация», «Ленин и Коминтерн», «Троцкизм» и пр.¹ В программу вечера могли включаться развлекательные элементы: демонстрация диапозитивов, физкультурные номера, инсценировки, песни и т. п.

Однако не всегда в 1920-х гг. вечера проходили в мажорной эмоциональной атмосфере. К примеру, рабочие Барнаульского лесозавода в 1926 г. устроили вечер, сохранивший элементы траура, поминального обряда. Они украсили свой клуб черными и красными флагами, начали мероприятие с прослушивания траурного марша. Далее им пришлось заслушать типичный для этого времени отчетный доклад на тему «Два года без Ленина» и речь, прославляющую партию². Согласно отчетной документации о торжестве в Томском университете, которое посвящалось памяти В. И. Ленина (1927 г.), на этом мероприятии звучали доклады «Ленин и наука», «Ленин и Красная армия», программа также включала в себя «очень выдержанное по своему содержанию траурное концертное отделение»³. Случалось, что в заключение вечера воодушевленные рабочие

¹ Там же. – Ф. Р-13. – Оп. 1. – Д. 1119. – Л. 3.

² Траурный вечер у древоотделочников // Красный Алтай. – 1926. – 27 янв.

³ ГАТО. – Ф. Р-815. – Оп. 1. – Д. 488. – Л. 1–6.

принимали резолюцию о перечислении средств на нужды культурной революции или иные государственные программы¹. К подобным мероприятиям активно привлекались беспартийные граждане, многие из которых вскоре официально изъявляли желание вступить в партию. Заметно, что в 1920-х гг. эмоциональный фон вечеров воспоминаний о вожде, проходивших в западно-сибирских городах, еще имел различные оттенки, не подчинялся строго единому стандарту. Главным было «произвести живое, глубокое впечатление»². Поэтому иногда организаторы вечеров еще вполне традиционно «поминали» В. И. Ленина.

В следующем десятилетии места для скорби на вечерах воспоминаний оставалось все меньше. Так, уже в 1930 г. основной задачей комсомольских вечеров стала проработка решений Декабрьского пленума ЦК³. В 1934 г. вечера воспоминаний дополнялись газетными публикациями с рассказами о прощании сибиряков с вождем десятью годами ранее⁴. На «траурных собраниях» устраивались читки литературных монтажей, повторялись рассказы о встречах Ленина с рабочими и детьми. К участию в вечерах привлекались «опытные беседчики» для обсуждения политических тем, «старые» рабочие, рассказывавшие истории о положении пролетариата при капитализме. Так, барнаулец Казанцев вещал на вечере рабочих лесозавода о случаях «замуровывания в стены и избивания» рабочих капиталистами⁵. Усиливалась зрелищность мероприятий. В практику вошла организация общегородских пионерских костров с демонстрациями самодельных номеров и пением революционных песен⁶.

В 1925 г. в день годовщины со дня смерти В. И. Ленина в городах прошли колонны демонстрантов. На этих мероприятиях уже не было места скорбным переживаниям. В Новониколаевске демонстранты остановились у здания Сибревкома. Там была принята присяга воинских частей, состоялся митинг, начался карнавал, где были представлены инсценировки из трех картин: «Маевка в царское время», «Маевка на Западе», «Маевка в СССР» (не очень логично для января). Интересно то, что, по сути, печальная памятная дата рассматривалась агитпропом как веселый праздник. Задачей карнавала было «насыщение улицы злободневным политическим содержанием, сатирой, смехом, яр-

¹ Кто и как готовится к Ленинским дням // Красный Алтай. – 1929. – 19 янв.

² ГАНУ. – Ф. П-13. – Оп. 1. – Д. 962. – Л. 50.

³ Там же. – Ф. П-3. – Оп. 3. – Д. 326. – Л. 63.

⁴ Омск в дни траура в 1924 г. // Рабочий путь. – 1934. – 21 янв.

⁵ ГАНУ. – Ф. П-3. – Оп. 10. – Д. 923. – Л. 26.

⁶ Памяти любимого вождя // Алтайская правда. – 1938. – 26 янв.

кими переживаниями». Темы, предлагавшиеся для карнавальных воплощений, были далеки как от скорби, так и от фигуры самого Ленина: «Крах эры пацифизма», «Жилищный кризис по-польски», «Кооперация и крестьянство». Единственная тема, содержащая в себе коммеморативную составляющую – это «Каторжане, осужденные за маевку» (вновь тема маевки в январе)¹. Разумеется, за этой идеологической карнавальной кутерьмой терялась личность вождя, не оставалось места скорби. Праздничный лозунг «Умер Ленин – жив ленинизм» воплощался в праздничном действе с максималистской буквальностью. Веселые демонстрации, направленные на трудовую мобилизацию масс, устраивались и в последующие годы².

По дореволюционному образцу горсоветы, как ранее городские думы, устраивали торжественные заседания, посвященные памяти вождя. И хотя траурный марш в начале таких мероприятий, в 1924 г., исполнялся, когда тело вождя еще не было даже внесено в Мавзолей, на подобном заседании в Новониколаевске прозвучало: «В наших рядах не должно быть паники. Довольно петь похоронный марш! Будем петь “Интернационал” – песню победы»³. Заседания горсоветов уже не были похожи на поминки. Они использовались для политического просвещения, для усиления «сплочения масс». Так, в 1927 г. на траурном заседании в городском театре Омска звучал официальный доклад о биографии В. И. Ленина, плавно перетекавший в характеристику политической ситуации в стране⁴. С началом сталинских пятилеток эти собрания использовались для идеологического продвижения идей досрочной реализации пятилетних планов. С середины 1930-х гг. на таких заседаниях все больше внимания уделялось не самому Ильичу, а отчетам об успехах социалистического строительства. К 15-летию со дня смерти Ленина в качестве основной для траурных собраний была заявлена тема «Роль ленинских идей в деле победы социализма в нашей стране и итоги выполнения за 15 лет ленинских заветов и предначертаний»⁵. Параллельно шла кампания в печати «Пятнадцатая годовщина со дня смерти В. И. Ленина и итоги выполнения партией Ленина – Сталина ленинских заветов за 15 лет»⁶. Во второй половине 1930-х гг. львиная доля внимания на торжественных заседаниях уделялась И. В. Сталину как «гениальному» продолжателю дела В. И. Ленина. Во

¹ ГАНО. – Ф. П-10. – Оп. 1. – Д. 1004. – Л. 54–55.

² План общегородской демонстрации 22 января // Красное знамя. – 1931. – 20 янв.

³ ГАНО. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Д. 1169. – Л. 22.

⁴ Три года без Ленина // Рабочий путь. – 1927. – 25 янв.

⁵ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 120. – Д. 348. – Л. 61.

⁶ Там же. – Л. 57.

второй половине 1930-х гг. имя Сталина приветствовали вставанием и аплодисментами, его заочно избирали главой президиума, именно в его честь пели гимн и «Интернационал»¹, завершали заседания составлением типичных «приветственных телеграмм товарищу Сталину»².

В Ленинские дни (к памятным датам со дня рождения и смерти) открывались выставки, посвященные памяти вождя (см. Прил., рис. 58), устраивались разнообразные зрелищные мероприятия: театры и кинотеатры предлагали вниманию зрителей премьеры, клубы готовили концертные программы. Репертуар был разным в разных городах. Однако ленинская и революционная темы повсеместно доминировали. Концертные программы обычно включали в себя заранее утвержденные художественным советом музыкальные номера и декламации. Часто песни, исполнявшиеся на этих концертах, были стилизованы под народные. Их тексты дискредитировали историческое прошлое, прославляли Ленина, выведшего страну на путь построения светлого будущего, а в 1930-е гг. – и «гений» Сталина³.

Со временем репертуар театров и кинотеатров становился более продуманным и тщательно подготовленным. В 1939 г. в Сибири, как и по всей стране, прошли показы фильмов «Ленин в Октябре» (реж. М. И. Ромм и Д. И. Васильев), «Человек с ружьем» (реж. С. И. Юткевич) и «Великое зарево» (реж. М. Е. Чиаурели)⁴. Заметным событием 1941 г. для Омска стала театральная премьера пьесы А. Я. Каплера «Ленин в 1918 г.» (см. Прил., рис. 59–60). Режиссером являлся Д. О. Козловский, исполнивший также роль И. В. Сталина в спектакле. Премьера прошла на сцене Областного театра драмы в 17-ю годовщину со дня смерти вождя⁵. К этому моменту многие уже видели одноименный художественный фильм, но театральная премьера все равно вызвала аншлаг. В духе времени пьеса обличала «предательство троцкистско-зиновьевской банды», акцентировала внимание на покушении на жизнь Ленина (в канун войны важно было напоминать советским гражданам о том, что «враг не дремлет») и на героических победах Красной армии под Царицыным. Особенно подчеркивалась роль Сталина в этих победах.

Критики отмечали, что актер Н. Н. Колесников, исполнявший роль В. И. Ленина уже в третьей постановке (в прежние годы он был занят в спектаклях «Человек с ружь-

¹ Траурный пленум Новосибирского горкома ВКП(б) и Горсовета в «Красном факеле» // Сов. Сибирь. – 1937. – 23 янв.

² Памяти великого Ленина: заседание в Областном театре // Омская правда. – 1937. – 21 янв.

³ ГАНО. – Ф. Р-1376. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 10–12.

⁴ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 120. – Д. 348. – Л. 56.

⁵ Премьера спектакля «Ленин в 1918 г.» в Омском драматическом театре // Омская правда. – 1941. – 22 янв.

ем» и «Кремлевские куранты»), создал образ вождя «живой, теплый, бесконечно близкий нам»¹, в то же время «могучий, разносторонний, сильный и многогранный»², то есть именно такой, каким преподносила Ленина официальная пропаганда (см. Прил., рис. 56, 67). Спектакль пользовался большим успехом. Омский облисполком принял решение организовать массовое посещение спектакля колхозниками и устроить широкую популяризацию спектакля среди трудящихся³. В результате только за один неполный месяц спектакль, который был показан 13 раз, посетило около 10 тыс. зрителей⁴.

К памятным дням в соответствии с традицией были приурочены многочисленные переименования. В Новониколаевске в 1924 г. Октябрьскую площадь переименовали в площадь Ленина, Вокзальный район временно переименовали в Ленинский⁵. Однако власть изначально дала установку – стараться не переименовывать старые памятники, а создавать новые. Известно, что Н. К. Крупская была противницей установления памятников В. И. Ленину и строительства дворцов его имени. Она полагала, что «подлинными памятниками» первому советскому вождю должны стать новые социальные учреждения⁶. Открытие школ, больниц, богаделен в память о царях и выдающихся государственных деятелях широко практиковалось и до революции. В память о Ленине также было создано множество социальных учреждений, иные из которых открывались в январские торжественные дни. К примеру, детский сад на 20 мест открылся в Новосибирске в 1926 г.⁷

Вопреки желанию Н. К. Крупской, первые скульптурные памятники вождю появились уже при его жизни. Лениниана последующих лет считается стихийным процессом, инициированным преимущественно «снизу», в соответствии с особенностями русского менталитета и русской родовой традицией⁸. Массовое открытие памятников Ленину отвечало также и уже сложившейся до революции традиции увековечивания памяти об императорах в юбилейные годы важнейших событий истории Дома Романовых и о других выдающихся людях в годовщины их рождения и смерти. Но, как уже сообщалось, многие дореволюционные инициативы в области мемориализации так и не были реали-

¹ Рознер Л. Хороший и нужный спектакль // Омская правда. – 1941. – 26 янв.

² Попов Я. Пример для молодежи // Омская правда. – 1941. – 26 янв.

³ О спектакле «Ленин в 1918 г.» в Омском драматическом театре // Омская правда. – 1941. – 26 янв.

⁴ Десять тысяч зрителей // Омская правда. – 1941. – 10 февр.

⁵ ГАНУ. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Д. 1169. – Л. 22 об.

⁶ Пейн Р. Ленин: жизнь и смерть. – М., 2005. – С. 641.

⁷ Открытие детского сада на 20 человек в память Ильича // Сов. Сибирь. – 1926. – 22 янв.

⁸ Андрианова Н. Ю. Указ. соч. – С. 120.

зованы из-за начавшейся революции. Официальное начало Лениниане в монументальном искусстве было положено постановлением «О сооружении памятников В. И. Ленину», принятым на Втором съезде Советов ССР 26 января 1924 г. После этого по всей стране началось установление памятников вождю, многие из которых открывали в дни политических праздников.

Мемориальные инициативы сибиряков, приуроченные к дням памяти вождя, были разнообразными: комсомольцы предлагали построить аэроплан «Ильич», крестьяне – дом крестьянина имени Ильича, но наиболее грандиозным памятником вождю, открытым к годовщине его смерти, стал знаменитый Дом Ленина в Новониколаевске (Новосибирске). Решение о его строительстве было принято уже в феврале 1924 г. Архитектурному решению и строительству Дома Ленина посвящено немало исследований¹. Историки архитектуры подчеркивали масштабность замысла памятника, оперативность крайне тяжелых строительных работ и важность открытия недостроенного сооружения к памятной дате (см. Прил., рис. 61). Газетная печать так объясняла замысел памятника: «В каждом углу этого дома чувствовалось бы дыхание творческой мысли Ленина и заметно ощущалось бы биение его живой жизни, чтоб, войдя в этот дом, каждый сразу начинал проникаться коммунистическим сознанием»².

Носители власти должны были вести неустанную работу над формированием в общественном сознании «правильного» образа вождя и «правильного» отношения к его памяти, ведь на заре советской эпохи далеко не все верили в долговечность правления большевиков. Упрощение и обобщение образа вождя, который транслировался в массы, лишало его ассоциаций с реальным человеком, делало живую память о Ленине слишком стандартной.

Восприятие Ленинских торжеств постепенно менялось. Общество привыкало к идеальному образу вождя. В 1930-х гг. окончательно утвердилось само понятие «вождь»³. Как отмечает О. В. Великанова, со временем «святость образа Ленина перешла в аксиому»⁴. Уже в 1930-х гг. общество привыкло к постоянному присутствию образа Ленина, ассоциировавшегося с чем-то светлым, с героическим прошлым, с началом великой эпохи в повседневной жизни.

¹ Баландин С. Н. Указ. соч. С. 74–77; Усольцева Л. С. Указ. соч.

² Каким будет Дом Ленина // Сов. Сибирь. – 1924. – 16 марта.

³ Лившиц А. Я. Указ. соч. – С. 60.

⁴ Великанова О. В. Указ. соч. – С. 13.

Похороны В. И. Ленина послужили образцом для последующих церемоний всенародного прощания с членами правительства. Самыми грандиозными стали похороны С. М. Кирова. В 1930-х гг. официальная пропаганда стремилась создать в общественном сознании образ современности как героической эпохи. Еще в 1928–1930 гг. перед народом СССР государство поставило новую героическую, «боевую» задачу построения мощной индустрии. Идеологический характер этой задачи британский историк М. Леное отразил в выражении «эпическая битва»¹. В последующие годы страна менялась на глазах: шла форсированная индустриализация, создавались колхозы, обновлялся общий культурный фон жизни, одновременно начались массовые репрессии. Власть объясняла ситуацию закономерным усилением классового сопротивления «врагов» и «вредителей» успехам социалистического строительства. В «боевых» условиях тех лет население должно было научиться различать друзей и врагов, почитать героев и проклинать вредителей. Для мобилизации масс на производственные подвиги, для укрепления советской политической идентичности власть нуждалась в новых героях – невинных жертвах врагов и примерных тружениках, положивших жизнь на служение советской стране. Именно поэтому яркой чертой 1930-х гг. стали пышные коммеморации – массовые похороны новых героев и дни их памяти².

Я. Плампер считает, что «маленькие», по сравнению с культом Сталина, культы героев были характерным признаком политической культуры 1930-х гг. Прославление героев наряду со Сталиным повышало «сакральную заряженность» и самого вождя, и прославляемых героев, служивших примером для масс³. Все эти культы являлись порождением массовой политики (их аудиторией и источником являлось все население) и секуляризованной советской культуры, «изгнавшей всех богов»⁴. Плампер полагает, что эти культы передавали отголоски религии⁵, однако в их назначении было гораздо больше политической прагматики.

Наиболее прославленным героем в этом ряду суждено было стать секретарю Ленинградского губкома ВКП(б), члену Политбюро ЦК ВКП(б) и члену ЦИК СССР **С. М. Кирову**. Известие о его убийстве прозвучало по радио поздним вечером 1 декабря 1934 г. Еще до начала следствия советская печать дала характеристику виновнику пре-

¹ Lenoë M. Close to the Masses. – P. 250.

² См. подробнее: Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? – С. 260–270.

³ Плампер Я. Указ. соч. – С. 72.

⁴ Там же. – С. 12–13.

⁵ Там же. – С. 11.

ступления как «подлому, презренному наемному убийце»¹. Вскоре в гибели «соратника и друга тов. Сталина» власть официально обвинила «троцкистско-бухаринскую банду». Сразу после гибели Киров стал одним из ярчайших символов борьбы с внутренними врагами.

Комиссию, отвечавшую за похороны С. М. Кирова в Москве, возглавил А. С. Енукидзе, который прежде возглавлял Комиссию по похоронам В. И. Ленина. Вновь, как и в случае с Лениным, возник спор, где хоронить героя: в Ленинграде или Москве. Решающее слово осталось за И. В. Сталиным, который настоял на захоронении праха Кирова в Кремлевской стене, где формировался главный героический некрополь страны². Опыт похорон Ленина был во многом повторен. Однако сегодня все-таки трудно понять, каковы были масштабы прощания на местах с «лучшим другом Сталина» в сравнении с похоронами первого советского вождя. Складывавшийся культ Кирова был, конечно, мельче культа Ленина. Но в середине 1930-х гг. печать и радио располагали большими ресурсами для трансляции информации о похоронах, более впечатляющими были газетные репортажи, представлявшие четкие визуальные репрезентации тела Кирова в гробу. Наконец, общественный отклик на гибель Кирова в условиях политики середины 1930-х гг. базировался на подготовке, которую вели многоопытные специалисты в области пропаганды, освоившие стандарт траурных мероприятий.

Сразу после кончины Кирова газеты опубликовали огромное количество публикаций, посвященных его биографии. Данный факт навел американского историка Э. Найта на мысль о том, что все эти сведения специально заранее собирались по заданию И. В. Сталина в ходе подготовки к убийству³. Однако разгадка быстрого появления биографических материалов, по нашему мнению, кроется в другом. Все истории, излагавшиеся о Кирове в 1934 г. в печати и в докладах на партийных собраниях, не являлись результатом реальной исследовательской работы, они были составлены по уже существовавшим соцреалистическим шаблонам жизнеописаний советских героев⁴, которые формировались в опоре на житийные прототипы и образцы античных мифов о героях⁵.

¹ Lenoë M. The Kirov Murder and the Soviet History. – P. 489.

² Ibid. – P. 490.

³ Knight A. Who Killed Kirov? The Kremlin's grates mystery. – P. 25.

⁴ См. подробнее: Шалагин М. В. Русская литература социалистического реализма и проблема ее генезиса: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Н. Новгород, 2006. – С. 13–17.

⁵ См. подробнее: Рапопорт Е. Указ. соч.

Газеты детально информировали население об этапах ритуала похорон в Москве. Западно-сибирские городские газеты размещали на своих полосах статьи о революционной деятельности С. М. Кирова в Томске и Новониколаевске. Подчеркивалось, что именно здесь начиналось его становление как революционера. Томское «Красное знамя» писало: «Пролетарии нашего города должны быть горды. В нашем городе Сергей Миронович Киров получил боевое крещение. Здесь он начал свой путь кристально чистого большевика»¹. Роль Кирова в политике преувеличивалась. Важно было подчеркнуть длительность его революционной деятельности, ее выдающееся значение. Именно поэтому потребовалось сделать акцент на томском периоде жизни «кристально чистого большевика».

Третьего января состоялся III Краевой съезд Советов Западной Сибири, посвященный убийству С. М. Кирова. Также в ответ на его гибель в городах Западной Сибири, как и по всей стране, устраивались массовые траурные митинги, входившие в план всесоюзной Кировской мемориальной кампании, очень похожей на Ленинскую. Например, в Омске 6 декабря на площади Дзержинского состоялся митинг рабочих «по поводу утраты высших партийных лидеров»². Резолюция митинга включала клятву, подобную тем, что звучали на могилах героев в начале 1920-х гг. Однако менялись идеологические контексты, что отразилось, к примеру, в следующей формулировке: «Клянемся в ответ на вылазку классового врага еще более сплотить свои ряды вокруг ВКП(б) и ее вождя Сталина организацией ударных бригад имени товарища Кирова, полным выполнением производственных и учебных планов и еще большим повышением классовой бдительности»³.

Вечером в день похорон С. М. Кирова в западно-сибирских городах были организованы траурные объединенные заседания горсоветов и горкомов партии⁴. Внушительно выглядели декорации: «Огромный портрет, освещенный красным заревом, черный бархат, склоненные знамена...»⁵. Согласно уже ставшему стандартным ритуалу прощания звучал похоронный марш, память героя чтити вставанием, объявлялась минута молчания. Заметно, что речи докладчиков на этих заседаниях были тщательнее подготовлены, нежели на аналогичных заседаниях, приуроченных к смерти В. И. Ленина. Прощальным

¹ Памяти великого земляка // Красное знамя. – 1934. – 8 дек.

² Смерть Кирова // Омская правда. – 1934. – 7 дек.

³ Там же.

⁴ Траурное заседание // Красный Алтай. – 1934. – 6 дек. и др.

⁵ Памяти великого земляка // Красное знамя. – 1934. – 8 дек.

речам 1934 г. были присущи патетика, яркая образность и гиперболы, к примеру: «Враг вырвал из наших рядов, из железной когорты большевиков лучшего из его сыновей»; «Партия потеряла надежнейшего соратника железного вождя» и т. п. Как и в случае с В. И. Лениным, уже в первые дни после гибели Кирова пропаганда формировала в общественном сознании фигуру памяти, соответствовавшую большевистскому нравственному идеалу, соцреалистическому канону, но не реальности. Очевиден и прообраз христианского мученика. По мнению Х. Гютнера, в процессе мифологизации исторические лица подгоняются под мифологическую парадигму, и решающую роль в этом процессе играет забвение индивидуально-исторических черт. На примере С. М. Кирова подтверждается и еще один вывод Х. Гютнера – о насильственном сокращении властью промежутка времени, который обычно необходим для того, чтобы реальный человек стал легендой¹.

Уже в первые дни после гибели Кирова печать транслировала в массы типичный образ героя: скромный, непритязательный, отзывчивый и верный товарищам, деятельный и отважный, «в нем билось сердце железного большевика, в нем текла кровь настоящего революционера»². Как и на политических похоронах 1920-х гг., народу предписывалось испытывать негодование, переживать великую скорбь. Печать подчеркивала единодушие в восприятии трагедии. По правилам подобных мероприятий 1930-х гг. в конце заседания говорилось о тяжелой политической обстановке, необходимости мобилизовать силы в борьбе за задачи социалистического строительства, о бдительности и о гении вождя, который без устали заботится о благе советской страны. Это «сплочение в горе» было нужно не только для мобилизации, но и для демонстрации единства партии, внутри которой реально существовали разногласия, а также для подтверждения широкой народной поддержки правительства и легитимации власти.

Восприятие гибели Кирова изучалось С. Дэвис, которая обнаружила многочисленные свидетельства сочувствия. Отмечается, что многие заявляли, будто «Киров равен Ленину», требовали похоронить его в Ленинграде. На похороны Кирова пришло около 1,5 млн человек, что, по мнению С. Дэвид, говорило о мистическом, религиозном отношении к власти. Одновременно находились и те, кто отвергал эти коммеморации, смеялся

¹ Гютнер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон. – СПб., 2000. – С. 745.

² Профессор Бродский о тов. Кирове // Красное знамя. – 1934. – 8 дек.

над гиперболизированной помпезностью похорон, сравнивал портреты Кирова с иконами, возмущался огромными тратами средств на эти похороны¹.

В адрес В. И. Сталина и вдовы С. М. Кирова Марии Львовны летели многочисленные письма с соболезнованиями. Некоторые из них, наиболее соответствующие доктринальной картине событий, были опубликованы. Письма Сталину в духе времени прославляли вождя, содержали благодарности, адресованные ему. В этих письмах были и традиционные клятвы «у могилы» («у гроба»), а также обещания мстить врагам «за боль и скорбь Сталина»².

Неопубликованные письма вдове Кирова также были проникнуты выражением глубоких переживаний. Письма-соболезнования, которые получала десятью годами ранее Н. К. Крупская, отличались большей сухостью и формализмом. Телеграммы и письма, адресованные Марии Львовне, заверяли, что их авторы «всею душой переживают глубокое горе»³. Риторике этих посланий была присуща гиперболизированная сердечность, задававшая настроение и печатным репортажам. Содержание некоторых писем представляет собой прямое цитирование лозунгов («Железные большевики обещают выполнить годовой план»⁴; «Еще крепче сплотимся вокруг вождя – товарища Сталина, завершим дело, за которое беззаветно отдал тридцать лет своей жизни товарищ Киров»⁵). Стоит отметить, что вдова Кирова получила гораздо меньше телеграмм и писем, нежели вдова Ленина. В контексте нашего исследования важно и то, что среди них не было посланий из Сибири.

Между тем, в задачи местных органов пропаганды входило привлечение массового внимания к С. М. Кирову. Томские музейщики, в частности, получили директиву, согласно которой кировская тема должна была стать доминирующей в экспозиции⁶. Музейными работниками Томска была проделана большая работа по сбору материала о жизни Кирова в их городе, к содержанию которой мы еще обратимся в дальнейшем.

Здесь же отметим, что многие из тех, кого музейщики опрашивали, плохо помнили Кирова. Кроме Б. И. Гольдберга, никто не свидетельствовал о поддержании связи с Кировым после революции 1905 г. Преподаватель П. А. Козьмин думал, что Костриков

¹ Дэвис С. Указ. соч. – С. 155, 161.

² Там же. – С. 158, 160.

³ РГАСПИ. – Ф. 80. – Оп. 19. – Д. 10. – Л. 1–98.

⁴ Там же. – Л. 75.

⁵ Там же. – Л. 98.

⁶ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 159. – Л. 116а.

(настоящая фамилия Кирова) погиб в 1905 г., лишь случайная встреча в 1919 г. доказала обратное¹. Многие не узнавали в Кирове своего старого знакомого. Д. Ильин лишь в 1932 г. узнал от товарища Тюменцева, побывавшего в Ленинграде, что Костриков стал «самим Кировым»². Не узнавал в Кирове Сережу Кострикова и москвич П. А. Носов, который лишь после гибели секретаря Ленинградского губкома партии понял, что был знаком с ним в молодости, живя в Томске³. Безусловно, далеко не вся страна разделяла чувство «душераздирающего горя». Современными исследователями выявлены отрицательные отзывы о Кирове, звучавшие после его смерти⁴. М. Леное обнаружил многочисленные свидетельства безразличного отношения беспартийных рабочих к гибели Кирова, а также множество фактов неприятия траурных коммемораций. Звучала критика и даже брань в адрес самого «героя», в частности, его называли «карьеристом», говорили: «Собаке – собачья смерть»⁵.

Однако траурная кампания продолжалась целый месяц. А годом позже был установлен стандарт коммемораций, приуроченных к последующим годовщинам гибели С. М. Кирова. Порядок торжеств определялся циркуляром, подписанным лично И. В. Сталиным⁶. Он требовал, чтобы местные партийные организации «показали тов. Кирова одним из величайших руководителей нашей партии, трибуном нашей партии, любимым всеми трудящимися СССР»⁷. В Кировские дни, ставшие, по словам С. Дэвис, «частью ритуала официальной культуры», устраивались собрания на предприятиях и в школах, а также в кружках агитации, местная печать неизменно размещала на своих страницах материалы о жизни «железного большевика», его революционной и партийной деятельности⁸. Пропаганда актуализировала образы Гражданской войны, напоминая о героизме тех лет. Повторялся миф о героизме Кирова, всегда верного революционным идеалам, вновь и вновь звучали призывы «работать по-кировски». Кинотеатры демонстрировали картины, посвященные «любимому герою». Музеи устраивали тематические выставки и дорабатывали уже существующие экспозиции, включая новые экспонаты,

¹ ГАТО. – Ф. Р-1612. – Оп. 1. – Д. 39. – Л. 96.

² Там же. – Л. 38.

³ РГАСПИ. – Ф. 80. – Оп. 19. – Д. 18. – Л. 6.

⁴ Рашковский А. Мифы и правда о Кирове [Электронный ресурс] // Кругозор: интернет-журнал. – 2009. – Июнь. – URL: <http://www.krugozormagazine.com/show/Kirov.397.html> (дата обращения: 22.03.2015).

⁵ Lenoë M. The Kirov Murder and the Soviet History. – P. 492, 497.

⁶ Ibid. – P. 518.

⁷ Дэвис С. Указ. соч. – С. 145.

⁸ Чумандрин М. Отрывок из книги «Киров» // Красное знамя. – 1935. – 1 дек.; Товарищ С. М. Киров в Томске // Красное знамя. – 1937. – 1 дек.; С. М. Киров в Новониколаевске // Сов. Сибирь. – 1939. – 1 дек.

отражавшие тему «Киров». Шел процесс присвоения имени С. М. Кирова предприятиям¹, улицам и городским районам, возводились памятники герою (см. Прил., рис. 62). Транслировались соответствующие радиопередачи. Годовщины смерти С. М. Кирова сопровождалась обязательными собраниями партийных ячеек различных учреждений и предприятий, где звучали биографические доклады о погибшем герое, а также об усилении подрывной работы вредителей и необходимой бдительности. В иных случаях это была уже не просто пропаганда: от общих фраз ораторы переходили на личности. После обсуждения общей политической ситуации в стране члены ячейки могло подвести разговор к разбору «вредительства» в их конкретном учреждении. Такие разборы могли заканчиваться очень серьезными обвинениями, имевшими решающее значение в судьбе человека. К примеру, именно таким был вечер памяти, устроенный первичной партийной организацией Новосибирского краеведческого музея². О «музейных вредителях» речь пойдет далее, здесь важно подчеркнуть то, что любая мелкая ошибка в работе могла в этот период привести к судьбоносному обвинению во вредительстве. Вечера памяти Кирова, проходившие также в рабочих клубах и учебных заведениях, могли стать для кого-то роковыми³.

Многочисленны примеры того, как неосторожное слово о Кирове стоило людям свободы. При этом не обязательно было критиковать его деятельность. Достаточно для обвинения было опоздать на траурное собрание, посвященное гибели Кирова⁴, или сказать, что «Киров был хорошим оратором, но Троцкий в свое время говорил лучше, мог зажечь молодежь, и молодежь за ним шла»⁵. Автор этого высказывания – вчерашний школьник А. П. Синцов – десять лет провел в сталинских лагерях.

Практически одинаково сибиряки прощались с В. В. Куйбышевым – председателем Госплана СССР, заместителем председателя Совнаркома СССР и Совета труда и обороны (январь 1935 г.) и с наркомом тяжелой промышленности, членом Политбюро ЦК ВКП(б) Г. К. Орджоникидзе (февраль 1937 г.). По крайней мере, печать освещала эти события, очевидно используя уже сложившийся трафарет. Массовые коммеморации служили укреплению коллективизма, были рассчитаны на обострение чувства любви и доверия к вождям. В печатных репортажах с траурных митингов фигурировали мотивы

¹ Рабочие Весового ходатайствуют о присвоении заводу имени тов. Кирова // Красное знамя. – 1935. – 1 дек.

² ГАНУ. – Ф. П-353. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 22.

³ Вечер памяти С. М. Кирова // Красное знамя. – 1938. – 1 дек.

⁴ ГАНУ. – Ф. П-3. – Оп. 2. – Д. 987. – Л. 2.

⁵ Там же. – Ф. Р-600. – Оп. 1. – Д. 183. – Л. 11.

отеческой заботы членов Политбюро ВКП(б) о народе, «осиротелости» рабочих, мотив почитания заветов отцов.

Сибирские газеты детально описывали похороны вождей, происходившие в Москве. Особенно подчеркивалась массовость прощаний и пышность похоронной атрибутики – горы живых цветов и раскидистые зеленые пальмы у гроба в зимнее время. Все это не соответствовало строгости и скромности похорон героев начала 1920-х гг. Похороны второй половины 1930-х гг. по пышности атрибутики скорее походили на дореволюционные дворцовые церемонии и похороны крупных буржуа. Подчеркивалось, что у гроба, как и на традиционных похоронах, постоянно находилась вдова усопшего – его верная боевая подруга. Уже не звучало призыва сдерживать эмоции. О прощании с Г. К. Орджоникидзе печать сообщала: «Иногда раздаются судорожные всхлипы, у многих льются слезы»¹. Обязательно подчеркивалась ответственная роль И. В. Сталина в церемонии прощания: он стоял в почетном карауле у гроба, он произносил последнее слово на митинге, лично участвовал в «выносе», на него, на живого, «устремляли взоры осиротевшие рабочие», простившись с усопшим. Такие репортажи в конечном итоге прославляли, в первую очередь, не того, с кем прощались миллионы, а Сталина, показательные добродетели которого должны были укреплять веру в победу социализма. Читатель должен был прочувствовать драматизм момента, проникнуться ненавистью к троцкистам, фашистам, «бухаринцам» и «зиновьевцам», к врагам и вредителям, которых проклинала печать, и еще глубже уверовать в гений Сталина.

Стандартные массовые коммеморации были также приурочены к похоронам таких советских знаменитостей, как писатель А. М. Горький (1936 г.) – «жертва троцкистско-бухаринских убийц»; летчик-испытатель, герой Советского Союза В. П. Чкалов (1938 г.); вдова В. И. Ленина, «друг советских женщин и детей» Н. К. Крупская (1939 г.); сестра В. И. Ленина М. И. Ульянова (1937 г.). На местах устраивались многочисленные митинги, печать подробно информировала население о похоронах, проходивших в Москве². Прах всех этих лиц был замурован в Кремлевской стене, чем подчеркивались их героический статус и особые заслуги. Посетив Мавзолей, советские

¹ Прощание у гроба тов. Г. К. Орджоникидзе // Красное знамя. – 1937. – 21 февр.

² Похороны Алексея Максимовича Горького в Москве // Омская правда. – 1936. – 22 июня; У гроба Н. К. Крупской // Омская правда. – 1939. – 3 марта; Последнее прощание: [о похоронах В. П. Чкалова] // Сов. Сибирь. – 1937. – 8 дек. и др.

граждане подходили затем к могилам этих героев, слава которых усиливала сияние звезды Ленина и горевшей еще более ярким светом звезды Сталина.

В литературе, посвященной культу В. И. Ленина, существует полемика, посвященная оценке ленинских коммемораций с точки зрения преемственности традиций. Н. Тумаркин видит в практиках, связанных с памятью о Ленине, прежде всего религиозные истоки. По ее мнению, власть намеренно эксплуатировала религиозные мотивы и практики, придавая им лишь внешне новые формы. Б. Энкерт отвергает это мнение, настаивая на политическом прагматизме большевиков, их намеренном отказе от религиозности в ритуале прощания и материалистическом подходе к формированию коммеморативных практик. По мнению Энкерта, большевики ориентировались скорее на дореволюционные придворные церемониалы и формы социал-демократических похоронных торжеств, что подтверждает и наше исследование. Представляет также интерес точка зрения О. В. Великановой, по мнению которой прагматичная по своей сути политика партии, направленная на увековечивание памяти о вожде, была столь эффективной, поскольку она опиралась на существовавшие в общественном сознании и до революции стереотипы, а также на традиционные государственные коммеморативные практики¹. И эта точка зрения в наибольшей степени подтверждается нашим исследованием. На примерах городов Западной Сибири мы можем констатировать, что на улицах, за пределами залов торжественных заседаний горсоветов, советские агитаторы не могли справиться с эмоциями толпы, ощущавшей себя на традиционных похоронах. Но именно эти острые эмоции были нужны для формирования культа Ленина – «любимого вождя», который имел так много общего с куклами царей, но отличался гигантским масштабом и большей жизнеспособностью. Позже дни памяти В. И. Ленина утратили стихийное эмоциональное начало, стали стандартными и однотипными.

Последующие политические похороны вождей очевидно воспроизводили сценарий похорон Ленина, как в столице, так и в провинции. Коммеморации были строго организованы и абсолютно типичны. Если за организацию похорон жертв «колчаковщины» отвечали местные органы советской власти, принимавшие решения о ритуальном характере массовых прощаний, то прощание с вождями не допускало свободы в организации на местах. Речи ораторов не могли содержать импровизации, свобода высказываний на официальных траурных собраниях минимизировалась. Ритуал прощания с вождями

¹ Великанова О. В. Указ. соч. – С. 13.

полностью исключал религиозность, но преемственность с дворцовыми церемониалами выгляди очевидной. Очевидно и то, что траурные чествования усопших героев не имели отличительной специфики. Траур по «герою» становился всего лишь очередной кампанией, нацеленной на социальную мобилизацию, к которым общество уже привыкло. Ритуал прощания с «героями» в 1930-х гг. был эстетичным, помпезным, традиционным. Такой ритуал примеряет живых со смертью. К приемам контрмемориализации, рассчитанной на обратный эффект, коммемораторы не прибегали. Однако общество не должно было оставаться безучастным. «Тихой скорби» было недостаточно. Поэтому, мы считаем, что поддержание психологического напряжения в обществе на момент траурной кампании достигалось не только яркими репрезентациями смерти, но и репрессиями, следовавшими за критикой (осуждением) коммемораций и фигур памяти. О С. М. Кирове и других одиозных фигурах этого времени можно было говорить только с восхищением, на их похоронах и в дни их памяти можно было только «глубоко скорбеть».

3.4. Похоронно-поминальные практики в повседневной жизни западно-сибирских городов

Очевидные изменения, происходившие в России с начала XX в. в сфере культуры памяти, коснулись не только массовых, всенародных прощаний с усопшими (погибшими) героями. Они, несомненно, затронули и сферу частной жизни семьи, небольших конфессиональных и этнических групп, входивших в локальные городские сообщества. В данном параграфе мы коснемся проблемы противостояния советской политики памяти религиозным традициям на примерах городских похорон «обычных» людей, составлявших абсолютное большинство населения западно-сибирских городов межвоенных лет. Приближение к сфере повседневного позволяет оценить глубину проникновения политической пропаганды в частную жизнь и индивидуальное сознание. Будем иметь в виду и то, что реальный выбор похоронного ритуала «обычными» людьми отражает,

прежде всего, восприятие обществом изменений в коммеморативной сфере культуры, которые навязывались государством населению страны.

В дореволюционное время около 90 % жителей России сохраняли верность традиции православного погребения. Смерть в православном контексте понималась как «разлучение души от тела». В основе похоронного ритуала лежали религиозные представления о состоянии души человека после его физической смерти. В 1880 г. была опубликована переиздававшаяся и позже работа монаха Митрофана о загробной жизни. Митрофан пояснял: «Когда совершается таинство смерти и душа отделится от тела, она – душа, в течение первых двух дней пребывает на земле и в сопровождении ангелов посещает те места, в которых имела обыкновение творить правду. Она скитается около дома, в котором разлучилась со своим телом, а иногда пребывает около гроба, в котором покоится ее тело. В третий же день, в подражание воскресению Христову, происшедшему в третий день, всякой христианской душе полагается вознестись на небеса для поклонения Богу. Третий день после смерти человека называют и тризнами, и поминают усопшего, принося о нем Богу молитвы – служат панихиду. В третий день покойника хоронят. Церковь торжественно уверяет нас, своих чад, что Христос воскрес из мертвых и сущим во гробах даровал жизнь. И твоему покойнику, – слышишь ли? – дарованы жизнь и воскресение только через Христа»¹.

Православные считают, что на третий день после смерти душа проходит мытарства. В это время родные и священник, по традиции, должны молить Господа о безобидном прохождении душой воздушных мытарств и о прощении ее согрешений. Митрофан объясняет, что в третий день, служится панихида по усопшему, дабы и он воскрес в третий день для бесконечной, славной жизни со Христом. В последующие дни душа осматривает рай, на девятый день после разлучения с телом опять возносится на поклонение Богу. В этот день «Церковь и родственники молят Вседержителя о причислении преставившейся души к девяти ликам ангельским». После второго поклонения Господь повелевает ангелам показать душе ад со всеми его муками. Наконец, «сороковой день, или сорочина, является днем определения участи души в загробной жизни. Это частный суд Христов, определяющий судьбу души только до времени страшного всеобщего суда. Это загробное состояние души, соответствующее нравственной жизни на земле, не окончательное и может измениться». В этот день также принято служить

¹ Митрофан (монах). Указ. соч.

панихиду и молиться об усопшем. Также, по словам Митрофана, панихиды и молитвы совершаются в доказательство того, что «смерть не расторгла духовного союза и отношений между живыми и умершими»¹.

Именно похоронно-поминальную обрядность этнографы считают наиболее жизненной и консервативной, поскольку в ней отражены сокровенные представления общества о жизни, смерти, вечности и бытии. Традиционно считалось, что отступление от устоявшегося ритуала может привести к негативным последствиям (наказанию) для нарушителя или всего сообщества, к которому он принадлежит. Русская похоронная обрядность базировалась на христианской традиции с сохранением элементов народной дохристианской обрядности. Похоронно-поминальные практики осуществлялись обычно в три этапа: предпогребальный (предсмертные приметы, омовение покойного), собственно погребальный (вынос, отпевание, погребение в землю) и поминальный – этап обретения умершим нового статуса предка².

В дореволюционный период отдельные элементы христианской традиции регламентировались законодательно. К примеру, можно было хоронить покойного только на третьи сутки после удостоверения в смерти. Священник обязывался препроводить процессию на кладбище, осуществляя все положенные ритуальные действия. В случае смерти христианина неправославной веры в отсутствие пастора или католического священника на кладбище похоронную процессию сопровождал православный священник. Тело самоубийцы полагалось «оттащить в бесчестное место и там закопать»³.

Ортодоксальное представление о смерти и загробной жизни на практике дополнялось еще дохристианскими мифологическими представлениями, имевшими свою специфику в разных регионах страны. Эти поверья и практики неоднократно становились предметом анализа этнографов. В таких городах, как Новониколаевск, где селились выходцы из самых разных губерний Российской империи, можно было наблюдать вариативность похоронных практик. В начале XX в. стала заметной также отличительная специфика именно городских похорон, обусловленная процессами урбанизации и развитием предпринимательства. Говоря об этой специфике, британский историк К. Мерридэйл отмечает, что традиционный смысл, который жители городов вкладывали в ритуал про-

¹ Там же.

² Вавилова М. А. Фольклор в контексте культуры: похоронно-поминальные обряды. Вологда, 2010. – С. 31–35.

³ Устав медицинской полиции // Свод законов Российской империи, повелением государя Николая I составленный. – С. 160–161.

щания с покойным и его погребение, сохранялся. Погребение воспринималось как должное и необходимое соединение усопшего с родной землей, могила – как место для молитвы, для совместных воспоминаний, мистического или мысленного общения с человеком, «ушедшим в мир иной». Однако городские похороны внешне могли выглядеть гораздо более пышными по атрибутике, чем сельские, им могла быть присуща показная роскошь¹.

В среде беднейших жителей городов, оторванных от традиционного сельского мира, бравшего в случае необходимости на себя организацию и оплату похорон, умерший мог практически лишиться посмертных почестей. Людей, найденных мертвыми на улице и неопознанных, хоронила полиция. Бедняки, не имевшие средств на похороны, могли быть погребены и за счет приказов общественного призрения. Священник, в случае отсутствия особых законных причин, был обязан отпевать этот контингент, но прочие ритуальные изыски не гарантировались². Вспомним и еще об одной отличительной черте городских похорон: они чаще оказывались политизированными.

Судить об исторической специфике сибирских городских похорон мы можем, опираясь главным образом на материалы местной газетной печати. В ежедневных городских газетах Западной Сибири в межвоенные годы публиковалось множество траурных объявлений, репортажей с похорон выдающихся местных жителей, а также некрологов. К началу 1920-х гг. уже сложилась устойчивая практика публикации в местных газетах подобных материалов, которые касались кончины и известных в городе людей, и простых обывателей, ничем особенным при жизни не прославившихся. Однако стоит учесть, что до революции траурные объявления подавали преимущественно представители интеллигенции, духовенства, купечества, военные, люди из чиновничьей среды. Для этих образованных слоев населения публикации похоронных объявлений к началу XX в. уже стали частью городского похоронного обряда, служа «цивилизованным» средством приглашения на похороны и на заупокойные литургии и панихиды, которые обычно устраивались на сороковой день после кончины, через полгода и через год на кладбище или в храме. Иногда панихида могла происходить и на двадцатый день со дня смерти. По случаю очередной годовщины печального события также могла быть устроена панихида.

¹ Merridale C. Revolution among the Dead... – P. 6.

² Устав медицинской полиции // Свод законов Российской империи, повелением государя Николая I составленный. – С. 160.

Дореволюционные объявления обычно содержали сведения о том, когда начнутся литии по усопшему, когда состоится вынос тела в храм, где покойный будет отпет и где погребен. Как правило, вынос происходил в 8–9 ч утра. После погребения родные усопшего приглашали всех участников церемонии на поминальный обед, который, судя по объявлениям, чаще устраивался на квартире, где проживала семья.

Не все усопшие в досоветский период удостоивались чести быть погребенными с полным соблюдением церковного обряда. Основанием для категорического отказа в отпевании могли стать сектантство, аморальные (с точки зрения церкви) обстоятельства смерти, самоубийство. В «подозрительных» случаях полиция решала вопрос о том, можно ли выдать близким усопшего разрешение на торжественные церковные похороны.хлопотать об отпевании могли не только родственники, но и врачи больницы, где скончался самоубийца или сектант. На примере Барнаула известны случаи отказа в похоронах с соблюдением православного религиозного обряда: «без выноса», на второй день после кончины хоронили в 1907 г. некоего Николая Торчкова, мещанку Ирину Григорьеву, которая была уличена в связи с «австрийской сектой», и др.¹

В военно-революционный период траурные объявления в печати нередко обретали политизированный характер. Так, в 1917 г. либерально настроенной интеллигенции Барнаула, судя по объявлениям в издании «Жизнь Алтая», принадлежали коммеморативные инициативы, направленные на поддержание среди барнаульцев памяти о В. К. Штильке и Н. М. Ядринцеве. В годовщины смерти этих выдающихся общественных деятелей советом Общества попечения о начальном образовании были организованы панихиды². Либералы активно работали над формированием собственного героического некрополя. Организаторы панихиды говорили о В. К. Штильке: «На его могиле до сих пор стоит деревянный крест, поставленный его семьей. Он считался крамольником, при погребении был лишен прощального погребального звона, каждая панихида о нем посещалась полицейским нарядом. Настало время установить на этой могиле достойный памятник. Впервые состоится панихида на его могиле без полицейского наряда»³. В 1918–1919 гг. газеты пестрели сообщениями о кончине героев сопротивления «большевистской заразе», которых особенно торжественно провожали в мир иной их соратники. Между тем, неграмотные обыватели, городские низы оставались в стороне от «печатных»

¹ ГААК. – Ф. Д-131. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 20, 33, 85.

² [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 15 апр.; [Объявление] // Жизнь Алтая. – 1917. – 7 июня.

³ 9-я годовщина со дня смерти В. К. Штильке // Жизнь Алтая. – 1917. – 15 апр.

форм увековечивания памяти. В их среде бытовали те традиционные похоронно-поминальные практики, которые были сообразны их вероисповеданию.

С приходом к власти большевиков многое в похоронно-поминальной сфере стало меняться. Похоронные практики трансформировались под воздействием тех же факторов, которые повлияли на изменение официального отношения к кладбищам. Серьезным фактором изменений похоронных практик стали декреты и иные законодательные документы советской власти. В 1918 г. Декретом СНК о кладбищах и похоронах для всех граждан устанавливались бесплатные «одинаковые похороны», деление похорон на «разряды» устранялось. «Одинаковые похороны», гарантировались властями трудящимся и пенсионерам, оплачивались государством за счет страхования и пенсионных фондов; умерших беспризорных хоронили за счет средств местных советов. Похоронные религиозные обряды в храме и на кладбище могли совершаться только по желанию родственников и близких умершего за их собственный счет¹.

В 1922 г. вновь вводилась оплата за похороны и погребение, которыми занялись частные похоронные бюро². Это породило свободу в выборе ритуала погребения, который в 1920-х гг. часто оставался вполне традиционным. Стоит отметить, что в Новониколаевске, где скопление тел жертв эпидемии тифа было особенно внушительным, похоронное бюро создали уже в 1920 г.³ В 1929 г. похоронные бюро вошли в состав коммунальных трестов. По правилам 1929 г., погребение усопшего могло происходить не ранее чем через 48 часов после смерти, исключительно в индивидуальной могиле, плата за которую не допускалась. О возможности осуществления религиозного ритуала погребения правила умалчивали⁴.

На изменении отношения к похоронам сказались также факторы санитарного просвещения, развития концепции нового быта и антирелигиозной пропаганды, о которой стоит сказать подробнее. Русская православная церковь, как и другие церкви, рассматривалась большевиками в контексте прежней политико-идеологической системы. Следовательно, борьба с религией воспринималась как борьба за социализм. Декретом СНК 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» отменялось участие церкви в государственных и публично-правовых установлениях; вводилась свобода ис-

¹ Декрет Совета народных комиссаров от 07.12.1918 г. о кладбищах и похоронах.

² Реформа похоронного дела // Коммунальное хозяйство. – 1922. – № 7. – С. 18.

³ Корсакова М. И. Указ. соч. – С. 361.

⁴ Правила НКВД и НК Здрав об устройстве кладбищ и порядке погребения. – С. 460.

полнения религиозных обрядов, запись актов гражданского состояния более не являлась обязанностью церкви¹.

В начале 1920-х гг. важным средством преодоления религии считалось внедрение так называемой советской обрядности: «октябрин», комсомольских свадеб, «красных похорон» и пр. Томский историк Л. И. Сосковец пишет: «Со второй половины 1920-х гг. натиск на религиозные организации усилился и приобрел характер планомерного институционального разгрома. С этого времени к ставшим уже традиционным обвинениям церкви и священства в контрреволюции добавились и другие: сопротивление делу индустриализации и коллективизации, вредительство, “смычка с кулаком”, развал колхозов, подготовка антисоветских восстаний, связи с зарубежной контрреволюцией и разведками империалистических держав, поддержка, троцкистов, а потом и организация фашистского подполья»². В историографии существуют противоречивые оценки степени религиозности советского общества в конце 1930-х гг. Распространено мнение о фактически полном уничтожении религиозной жизни в стране, по крайней мере, в ее институциональном измерении³.

С другой стороны, изучение сводок о политических настроениях приводит к выводу о фактическом бессилии советской власти в борьбе с религией, о живучести и неискоренимости церковных обрядов⁴. Одновременно мемуары в ряде случаев подтверждают фактическое укрепление веры в народной среде, ставшее реакцией на массовые репрессии. К примеру, католичка Я. С. Левченко вспоминала, что после ареста отца в Новосибирске в 1931 г. мать уехала с детьми в Томск, где крестила дочерей в костеле на Воскресенской горе. Оставшись без кормильца, мать всеми ночами истово молилась, скрывая свою религиозность днем⁵.

Наше собственное знакомство с сибирскими документами изучаемого периода позволяет увидеть два этапа резкого усиления антирелигиозной пропаганды в Западной Сибири: рубеж 1920–1930-х гг., а также конец 1930-х гг. Первому из этих этапов предшествовало наблюдение партийных органов и органов государственной безопасности за

¹ Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви // Декреты советской власти. – М., 1957 – С. 372.

² Сосковец Л. И. Антирелигиозные практики советского государства: цели, структура, этапы, средства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – 2013. – № 9. – С. 181.

³ Там же.

⁴ Дэвис С. Указ. соч. – С. 75–77.

⁵ ГАНУ. – Ф. Р-600. – Оп. 1. – Д. 172. – Л. 6 – 8 об.

деятельностью религиозных общин в 1927–1928 гг.¹ Этап ознаменовался повсеместным сносом церквей, антирелигиозной работой над принуждением общества к отказу от религиозных обрядов. К концу 1930-х гг. партийные органы Сибири вновь обратили внимание на снижение активности в области антирелигиозной пропаганды. Сводки фиксировали открытие прежде закрытых церквей, подъем сектантства и усиление позиций православных священников, особенно в Томске и Новосибирске. Фиксировалось, что в 1939 г. повсеместно «прошли дни поста, пасхи, родительский вторник (поминки усопших)». Сообщалось о том, что «церковники и сектанты привлекают новые группы верующих, молодежь и детей к церковным обрядам». Описывался случай в Новосибирске, когда «в родительский вторник только одно кладбище посетило 2000 человек», «попы служили на могилах», «поп из Турухановской церкви отпускал грехи оптом», что вызывало массовый «религиозный экстаз». Фиксировалось и «большое количество поминальщиков» на кладбищах Новосибирска, «с которых попы собирали “жатву” хлеба, яиц и кутьи». Эти и подобные им сообщения стали сигналом к решению усилить антирелигиозную пропаганду в регионе². Однако начавшаяся вскоре война смягчила этот этап усиления антирелигиозной работы.

Мы можем утверждать, что не только массовые политические похороны стали в межвоенный период объектом советской политики памяти. Государство пыталось изменить и частные похороны. Но, во-первых, политика памяти, влиявшая на характер обывательских похорон 1920–1930-х гг., не была, на наш взгляд, последовательной и детально продуманной и единой направленной. Взгляды представителей власти и интеллигенции на похоронную обрядность уже подвергались анализу А. Д. Соколовой, которая отмечает выраженный интерес к этой теме вплоть до начала 1930-х гг. и вариативность взглядов на частные похороны. Соколова выделяет три разные точки зрения на «безрелигиозные» похороны: 1) «полное отсутствие администрирования и интереса к новой обрядности», отказ от обрядности, ассоциирующейся с религией (Е. Ярославский); 2) «отсутствие прямого администрирования при выраженном внимании к новой обрядности», без которой жизнь трудового народа будет «пресной» (Л. Троцкий); 3) «активное государственное администрирование, разработка и последующее внедрение новой обрядности в административном порядке» (В. Вересаев). Отмечается и отсутствие приня-

¹ Там же. – Ф. П-2. – Оп. 2. – Д. 222. – Л. 93–99.

² Там же. – Ф. П-4. – Оп. 3. – Д. 296. – Л. 17–18.

тия решения по этому вопросу на партийно-правительственном уровне. По мнению Соколовой, изначально доминировала позиция Л. Д. Троцкого. Статусные «красные» похороны устраивались повсюду. Пик интереса к ним пришелся на 1925–1926 гг. Однако мы наблюдаем ослабление интереса к «красным» похоронам в городах Западной Сибири именно в этот период.

После низвержения Троцкого доминирующей стала позиция Ярославского. А. Д. Соколова подтверждает это тем, что с конца 1920-х гг. вопросы похоронного обряда почти не поднимались в исследовательской литературе и журнальной прессе. Ученый делает вывод об «упадке» «красных похорон» к 1930-м гг. и большем заострении внимания на вопросах кремации¹. Этот вывод уязвим: отсутствие актуализации темы «красных» похорон в литературе и печати не обязательно свидетельствует об их «упадке». Примеры городов Западной Сибири, наоборот, демонстрируют множество случаев пышных гражданских похорон под красными знаменами в 1930-х гг. Важно, что в Сибири так и не построили крематории, а значит, «красным» похоронам по образцу предыдущего десятилетия фактически не было альтернативы. К тому же кремация была лишь формой погребения, которая не означала отказа от прощального ритуала, соответствовавшего образцам 1920-х гг. Это доказывают рассмотренные нами в предыдущей главе примеры похорон членов правительства в 1930-х гг.

Во-вторых, политика памяти, касающаяся сферы частных похорон не могла быть всеохватной, направленной на все слои общества и гарантированно эффективной.

Мы считаем, что важным коммуникативным средством внедрения в народный быт и укоренения в нем «безрелигиозных» и «красных» похорон уже в 1920 г. стали массовые похороны «жертв колчаковщины». По их образцу местные партийные советские органы, а следом за ними различные государственные учреждения организовывали «красные» похороны своих умерших товарищей (сослуживцев). На основе подражания образцам формировались новые похоронные стереотипы, накапливался опыт организации салютационных коммемораций. Важным приемом ознакомления населения с «красными похоронами» и разъяснения их сути стала местная периодическая печать. В начале 1920-х гг. в целях легитимации устанавливавшегося политического режима и индокринации властям было важно публиковать в газетах некрологи тех, кто считался героями борьбы за идеалы Октябрьской революции, а также репортажи с их похорон. В идеологическом

¹ Соколова А. Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-старому».

смысле эти публикации противостояли уже сформировавшемуся в досоветский период на уровне печати и городской среды некрополю. Власть стремилась не только к акцентированию внимания на похоронах лиц из иной социально-политической и культурной среды, важно было подчеркнуть и то, что «своих» большевики хоронят не так, как «буржуи». Гражданский похоронный ритуал («красные похороны»), который для большинства обывателей, чья инкультурация состоялась в религиозной среде, был новым. Поэтому важно было многократно описать его в газете, чтобы дать обывателям образец для подражания.

Судить о том, как в действительности осуществлялась политика памяти, направленная на изменение похоронных практик, сложно. Этому препятствует состояние комплекса источников, отражающих ситуацию крайне фрагментарно. Однако можно заметить, что изменения в похоронно-поминальной сфере не предполагали ориентира на все общество без исключения. «Красные» похороны выступали именно как салютационная практика. Предполагалось, что далеко не каждый заслуживает чести последнего прощания под звуки «Интернационала» и погребения в красном гробу. Очевидно, с точки зрения власти, гражданских, а уж тем более «красных похорон» не каждый усопший был достоин. «Красные» похороны служили средством выражения особых почестей в адрес умершего, использовались как средство формирования политической солидарности, а в перспективе и советской идентичности. Смерть и погребение «несоветского» человека не стоили, с точки зрения власти, особенной концентрации внимания. Тихо похоронить «старорежимного», «бывшего» человека в соответствии с религиозной традицией считалось, по всей видимости, до определенного момента вполне допустимым, даже нормальным.

Показательно, что в 1927 г. в краевой газете «Советская Сибирь» была опубликована статья о «красных» похоронах кулака Царевича в одной из деревень Енисейской губернии. Печать сообщала, что похороны стали причиной крупного конфликта между сельской администрацией, решившей воздать посмертные почести «богачу», раздававшему в голодном 1920 г. хлеб беднякам, и большинством крестьян, считавшим, что «мироед» не достоин похоронной процессии под красными знаменами и прощального салюта¹. Возможно, конфликт «раздула» пресса, однако эта публикация отражает отношение власти к «красным похоронам» и ее мнение о том, кто таких похорон достоин.

¹ Горев Б. Похороны // Сов. Сибирь. – 1927. – 10 марта.

При этом, как мы уже подчеркнули, традиционные церковные похороны не одобрялись. Как мы увидим далее на ряде примеров, степень неприязни к «отпеваниям» и участию в похоронах «попов» была разной в различные годы и в разных городах региона. Относительно устойчивым можно признать мнение властей о необходимости распространения «безрелигиозных» похорон, которые могли быть очень скромными и неприязательными. Важно пояснить, что понятие «безрелигиозные» похороны мы используем условно, оно не применялось газетчиками межвоенных лет. Также обычно не использовали понятия «красные» похороны. И те, и другие, как правило, называли «гражданскими» похоронами. Однако, на наш взгляд, принципиально важно отличать крайне политизированные похороны уровня салютационных практик и скромные похороны в кругу семьи, друзей и знакомых без участия священника. Очевидно, были и некоторые сложные, синтетические варианты похоронного ритуала: с частичным сохранением религиозности и (или) обрядовых действий, основанных на древних суевериях, с оттенком политизации, похороны, сочетавшие новые политизированные стереотипы и отголоски религиозности.

Местные городские газеты в 1920–1930-х гг., как и до революции, продолжали публиковать траурные объявления о смерти и предстоящих похоронах частных лиц – городских обывателей (см. Прил., рис. 59–60). Осуществив сплошной просмотр газет, выходивших в Томске, Новосибирске, Омске и Барнауле в период с 1920 г. до середины 1941 г., мы выявили все опубликованные в них траурные объявления, которые классифицировали по видам похоронных практик. Полученные данные были внесены в соответствующие таблицы (см. Прил., табл. 1–4). Важно пояснить, что мы учли и подсчитали только те объявления, где содержатся сообщения не только о смерти, но и об особенностях ритуала похорон усопших. Наши подсчеты могут содержать неточности, обусловленные степенью сохранности газетных источников. Все выявленные нами объявления условно поделены на те, которые содержат, во-первых, данные о традиционных православных похоронах, подразумевающих отпевание в храме, во-вторых, те, которые сообщают о гражданских похоронах – скромных, с выносом тела усопшего из его дома или из лечебного учреждения, и «помпезных», с выносом тела из какого-либо учреждения (актового зала, клуба, красного уголка и т. п.).

Мы обратили внимание на время похорон. Заметно, что православные похороны чаще начинались в 8–9 ч утра. Именно в это время гроб с телом усопшего несли в цер-

ковь для отпевания, которое длилось до обеда, после чего следовало погребение. Гражданские похороны чаще всего устраивались в послеобеденные часы, в объявлениях никогда не встречается сочетаний фразы «гражданские похороны» и указания на начало похорон рано утром. Это позволяет предположить, что похороны, начинавшиеся рано утром, но не маркированные авторами объявлений как церковные, предполагали все-таки отпевание. В Томске, судя по газетам, количество таких неоднозначных объявлений увеличилось в первой половине 1930-х гг., что может объясняться агрессивной атакой государства на церковь.

Отдельного внимания заслуживают еврейские похороны, сведений о которых встречается чаще всего в томских газетах. Однако мы не нашли оснований выделить их в особую группу, поскольку соответствующие газетные объявления очень скупы на сведения об обрядовой специфике таких похорон. Содержание подобных объявлений практически идентично объявлениям о скромных гражданских похоронах, на этом основании мы и объединили их в одну группу. Однако обращает на себя внимание опять-таки время похорон в еврейских семьях. Обычно они устраивались около полудня, что не было характерно ни для православных, ни для представителей других конфессий, ни для атеистов. Кроме того, подобные объявления иногда сообщают о погребении на Еврейском кладбище (Томск), где обычно не хоронили тех, кто не являлся иудеем. Но мы не можем установить другие специфичные особенности еврейских похорон по газетным источникам, поэтому условно уравниваем их с гражданскими. Иногда объявления фиксируют вынос тела перед погребением в мечеть, в Католический клуб, в польский костел и т. п. Такие похороны мы отнесли к условно выделенной категории «прочих». Данная графа содержится в таблице, составленной на основе томских газетных источников, в газетах Новосибирска, Омска и Барнаула подобные объявления не фигурируют.

Наши таблицы не могут дать объективной картины похоронных практик в западно-сибирских городах 20–30-х гг. XX в. Далеко не все сообщали через газету о смерти и предстоящих похоронах близких и сослуживцев. Стоит учитывать, что, к примеру, среди томских татар в это время был очень низкий уровень распространения грамотности, не все владели русским языком. Соответственно, для этой социальной группы газета как средство социальной коммуникации не была актуальной. Однако наши подсчеты помогают увидеть тенденции изменения похоронных практик, обусловленные, прежде всего, политикой государства.

Остановимся подробнее на каждом из обозначенных нами виде похоронных практик. Из таблицы 1, помещенной в Приложении диссертации, видно, что в начале 1920-х гг. в Томске печаталось мало объявлений о православных похоронах, как и о похоронах вообще. Но смертность в послевоенные годы была высокой. Ранее нами было замечено, что в условиях хозяйственной разрухи деградировал и упрощался похоронный обряд. Часто окружающие не могли по материальным причинам устроить усопшему достойные похороны. Игнорировались детали, к которым можно отнести и газетные объявления, которые к тому же стоили денег. Кроме того, советский Томск покинули многие представители интеллигенции и буржуазии, для которых траурные объявления были прежде привычными.

В первой половине 1920-х гг. в новосибирской газете «Советская Сибирь» также почти не печатали траурные объявления. Видимо, для жителей молодого города, откуда в годы Гражданской войны старалась уехать местная буржуазия, не входило в традицию и не стало привычным оповещать через периодическую печать о кончине кого-то из близких. Здесь еще не сложились такие прочные и разветвленные социальные связи, как, например, в Томске или Омске. В своем большинстве обыватели Новониколаевска были неграмотными выходцами из сельской местности, испытывавшими в период хозяйственной разрухи материальные затруднения. Публикации траурных объявлений стали регулярными с 1925 г., когда условия повседневной жизни значительно улучшились. Также заметно, что на протяжении всего изучаемого периода жители городских окраин практически не оповещали о похоронах с помощью газет. Периферия молодого города, население которого росло в основном за счет крестьянского контингента, была охвачена процессами рурализации. На селе же в эти годы, разумеется, не было принято сообщать о смерти близких с помощью периодических изданий.

В Томске с 1925 по 1929 г., когда повседневная жизнь стабилизировалась, началось заметное возрождение культурных традиций. Это видно также и на примере краеведческой деятельности музея, о чем пойдет речь в заключительной главе диссертации. Из объявлений заметно, что неформально возрождались и православные традиции. Именно в эти годы в Томске было опубликовано наибольшее количество объявлений о похоронах с отпеванием в церкви. Показательно, что томичи не боялись подавать такие объявления, а советская газета запросто их печатала. О соседнем Новосибирске – бывшем безудном городке Томской губернии, а ныне краевом центре – такого не скажешь.

В новосибирском ежедневном издании «Советская Сибирь» во второй половине 1920-х гг. публиковали не более двух объявлений в год о предстоящих похоронах с отпеванием в церкви. По нашему мнению, это говорит о том, что в Томске, который по праву считался культурной столицей Западной Сибири, политика памяти, реализовывавшаяся местными органами власти, была мягче, чем в Новосибирске. Немного объявлений о религиозных похоронах публиковалось также в Омске и Барнауле. Однако на Алтае во второй половине 1920-х гг. подобные объявления встречаются чаще, чем в бывшей белой столице.

Важно понять, представители каких социальных слоев делали выбор в пользу церковных похорон. В 1920-х гг. такой выбор нередко принадлежал университетской интеллигенции. Примером может послужить организация прощания жителей города с профессором Томского университета В. В. Сапожниковым в 1923 г. Коллеги известного исследователя природы Алтая организовали гражданскую панихиду по усопшему в актовом зале университета, на следующее утро гроб с телом усопшего перенесли в Новый собор, где покойный был отпет¹. Репортаж о прощании с Сапожниковым был также размещен в газете «Красный Алтай», где сообщалось, что во время панихиды звучала музыка П. И. Чайковского, с речами выступали ректор университета и профессура. Последней, по традиции, с ученым прощалась его дочь. Всю ночь после панихиды у тела дежурили почитатели². В 1925 г. также в Новом соборе отпевали усопших профессоров ТГУ П. Н. Лашенкова³ и К. А. Кытманова⁴.

Как и в Томске, интеллигенция Омска в начале 1920-х гг. нередко делала выбор в пользу традиционных церковных похорон. Ярким примером могут послужить похороны первого ректора Омского медицинского института Н. К. Иванов-Эмин (ум. в 1922 г.) Его останки по традиции отпевали на третий день после кончины в кафедральном соборе⁵. Церковные похороны нередко выбирали близкие представителей иных групп интеллигенции: творческой, технической, медицинской⁶.

Из таблицы 4 (см. Прил., табл. 2) видно, что объявлений о традиционных религиозных похоронах в Барнауле подавалось очень мало, да и то только на этапе до «Великого

¹ [Объявление] // Красное знамя. – 1923. – 13 авг.

² О похоронах В. В. Сапожникова // Красный Алтай. – 1924. – 20 авг.

³ [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 29 апр.

⁴ [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 14 сент.

⁵ [Объявление] // Рабочий путь. – 1922. – 7 янв.

⁶ [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 29 янв.; [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 8 февр.; [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1926. – 25 авг. и др.

перелома». Одно из них сообщает о кончине А. С. Куклиной¹. Эта купеческая фамилия была хорошо известна как в Барнауле, так и в Новониколаевске. Пример с отпеванием в Петропавловском соборе останков Анастасии Сергеевны интересен тем, что отражает сохранение традиционных коммеморативных практик в среде тех, кто в дореволюционный период занимался предпринимательством.

Конечно, газеты также сообщают и о церковных похоронах православных священнослужителей, к примеру, протоиереев В. В. Юрьева² и С. А. Путодеева³ (Томск). Интересно, что наряду с такими традиционными объявлениями в начале 1920-х гг. в печати могли появляться сообщения об отпевании в церкви «жертв белобандитов». Пример – похороны И. Г. Чистякова, погибшего на станции Каско-Булак⁴. Этот факт дает основание сделать вывод о том, что в начале 1920-х гг. «красные» похороны могли не строго соответствовать образцам, которые транслировались через печать. Это проявлялось, к примеру, и в том, что вынос на гражданских похоронах иногда оставался традиционноранним – в 10 ч утра⁵.

Однако большинство объявлений о предстоящем отпевании все-таки не позволяют составить представления о роде занятий усопшего. Обычно такие объявления давали родственники, сообщая жителям города о том, что скончался муж (отец, дедушка, жена, мать, бабушка). Подобные объявления никогда не сопровождались воззванием к сослуживцам и соратникам организованно прийти на похороны, а значит, не предполагали политизированной панихиды, характерной для гражданских похорон.

Начало «Великого перелома» существенно отразилось на духовной жизни городов Западной Сибири. К примеру, в Томске в 1929 г. была закрыта Богоявленская церковь, Духовская церковь – в 1930 г.; в эти годы также закрыли Инокентьевскую и Успенскую церкви бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Троицкий кафедральный собор (Новый собор), где обычно отпевали наиболее выдающихся томичей, был также закрыт и частично разрушен в 1930 г. Благовещенская церковь, которую посещали староцерковники-григорианцы, прекратила деятельность в 1934 г.; в этом же году закрыли Духовскую церковь. В 1935 г. закрыли Преображенскую (в просторечии Ярлыковскую) церковь. Воскресенская и Никольская церкви были закрыты в 1936 г.; Троицкая едино-

¹ [Объявление] // Красный Алтай. – 1927. – 9 апр.

² [Объявление] // Красное знамя. – 1925. – 25 июля.

³ [Объявление] // Красное знамя. – 1927. – 22 дек.

⁴ [Объявление] // Алтайский коммунист. – 1920. – 2 апр.

⁵ [Объявление] // Красный Алтай. – 1921. – 7 апр.; 13 апр.; 15 апр.

верческая церковь фактически престала действовать в 1938 г.; в 1940 г. закрыли Петропавловскую церковь¹. Таким образом, перед Великой Отечественной войной в городе не осталось действующих православных церквей. Параллельно шел процесс закрытия храмов иных конфессий. Закрывались церкви и в других городах.

Показательно, что с 1930 г. объявления о похоронах с отпеванием в православной церкви практически исчезли. Значит ли это, что гражданские похороны вытеснили церковные? Думается, что не совсем так. Видимость подобного результата антирелигиозной пропаганды стремилась продемонстрировать печать. В пользу этой версии говорит и сам факт закрытия церквей. Однако не все церкви были закрыты одновременно, не все священнослужители репрессированы, не все жители города были согласны с антирелигиозной пропагандой. В 1932 г., когда в Томске было подано всего одно объявление о похоронах с отпеванием в церкви, шесть раз сообщалось о похоронах, начинавшихся ранним утром. Видимо, отпевание все-таки производилось, но объявление о нем умалчивало. Вероятен и вариант отпевания на дому, которое фактически практиковалось верующими в условиях закрытия церквей. В дальнейшем объявления об утренних похоронах тоже исчезли. А это значит, что верующие отгораживались от внешнего мира и не рисковали афишировать свою частную жизнь. То, что в 1937 г. в «Красном знамени» все-таки появилось одно объявление о предстоящем отпевании, свидетельствует об отсутствии официального запрета на публикацию в газетах подобных материалов. Не было и явного преследования тех, кто отпевал «своих» покойников, однако те, чьи взгляды и образ жизни не соответствовали советским шаблонам, предпочитали жить незаметно.

Немногочисленные объявления 1930-х гг., сообщающие о предстоящем отпевании, фиксируют в большинстве случаев смерть пожилых людей, большинство из которых женщины. Аналогичны объявления о похоронах, устраивавшихся ранним утром. Исключение составляет сообщение об отпевании в Старом соборе Томска молодого врача С. Д. Вишневого².

Как мы уже сказали, традиционным религиозным похоронам советская власть противопоставляла «красные» похороны – новый политизированный ритуал. Газетные репортажи позволяют сделать вывод, что с 1920 г. в городах Западной Сибири получили распространение «красные похороны» отдельных лиц. В газетных описаниях, выпол-

¹ Томск от А до Я: краткая энциклопедия города. – С. 34–37, 60, 109, 127, 227, 235, 379–380.

² [Объявление] // Красное знамя. – 1930. – 30 июня.

ненных хотя и с использованием шаблона, но все-таки «с натуры», присутствует много указаний на сохранение в гражданском обряде традиционных элементов, которые использовались неосознанно, по привычке. По привычке же они фиксировались газетчиками. Во-первых, сами похороны, судя по описаниям, оставались похожими на традиционные похороны по последовательности действий участников мероприятия. Умершего выносили из его дома, анатомического покоя или актового зала организации, где он работал. По всей видимости, перед этим собравшиеся могли некоторое время провести, прощаясь, сидя или стоя у гроба покойного в помещении. Несколько минут прощание продолжалось на улице. На похоронах революционерки из Томска Шуры Окунцовой (1921 г.) «от квартиры по обеим сторонам переулкa выстроились члены партии и курсанты партшколы, образовав живой коридор»¹. Такие «живые коридоры» устраивались на похоронах и ранее, и позже. На улице перед домом собравшиеся прощались с Шурой около 30 мин. Потом траурная процессия отправилась на кладбище, гроб несли на руках. Таким способом традиционно выражалось особенное уважение и любовь к усопшему. На похоронах заведующей отделом Губкома по работе среди женщин М. М. Громадской из Барнаула гроб несли на руках работницы «в несколько смен». Так проявились тенденции женской эмансипации, связанные с революцией². К слову сказать, традиционно на руках носили гробы с телами великих деятелей культуры, как в XIX в. (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др.), так и в 1920-х гг. (С. А. Есенин).

Остановимся на таких деталях, как венки и цветы. Венки даже на «красных» похоронах оставались одним из распространенных атрибутов. Например, на томские похороны Ольги Козловой, Клавдии Кабановой и Ольги Владимировой, «зверски убитых преступной рукой белогвардейцев» в Мариинском уезде (1921 г.), комиссия по организации похорон напоминала приглашенным принести венки, за которые был даже назначен ответственным некто Максимов³. Как отмечалось выше, по христианскому обычаю на похороны было принято что-нибудь приносить, чаще всего свечи. Цветы, принесенные на похороны, также не противоречили традиции. Ф. Арьес интерпретирует цветы на похоронах и могилах как символ райских кущ и садов, куда попадают души праведников⁴. По нашим наблюдениям, на гражданские похороны женщин букеты цветов прино-

¹ Похороны Шуры Окунцовой // Красное знамя. – 1921. – 17 мая.

² Похороны товарища Громадской // Красный Алтай. – 1921. – 8 марта.

³ [Объявление] // Знамя революции. – 1921. – 28 янв.

⁴ Арьес Ф. Указ. соч. – С. 55.

сили обязательно, а газетчики особенно подчеркивали их красоту и внушительное количество. Осыпать цветами могилу женщины, тем более, молодой, – это однозначно традиционное решение. В описании похорон Шуры Окунцовой отмечено, что рабочие заполнили всю комнату, где стоял гроб, венками и цветами, множество венков несли люди, участвовавшие в похоронной процессии. Могилу после погребения осыпали цветами, оставили венками. Венки из веток хвойных деревьев также часто приносили на «красные» похороны, особенно в зимнее время. Цветы, венки и хвою продолжали использовать и в политизированных поминальных практиках. В частности, к годовщине расстрела коммунистов в томской газете «Знамя революции» опубликовали портреты погибших, которые поместили в обрамления из рисованных похоронных венков, цветов и хвои¹. Венки и цветы обычно приносили на братские могилы также в дни политических праздников.

Задолго до революции было принято снимать посмертные маски с выдающихся людей, широко известны и живописные произведения, изображающие останки усопших в гробах. В XX в. появилась новая возможность запечатлеть момент скорби – снять фото. Фотографирование на похоронах было распространено в Сибири и до революции. К примеру, сохранились снимки похорон новониколаевского инженера Н. М. Тихомирова: и процессия, и тело в гробу, окруженное венками и цветами². Похороны Шуры Окунцовой несколько раз сфотографировали при остановке на Ленинском проспекте. Показательно, что уже ставшее традиционным действие осуществлялось в новом памятном месте, ассоциировавшемся с вождем народа, боровшемся за правое дело, за которое погибла и Шура. Остановка на Ленинском проспекте напоминает о старом сибирском обычае останавливаться с причитаниями возле церкви, которая попадает на пути похоронной процессии.

Музыкальное сопровождение частных «красных» похорон, как и похорон массовых, было идентичным: всю дорогу до кладбища звучали похоронный марш и «Интернационал» в хоровом варианте исполнения. В. С. Тяжельникова обращает внимание на «бессмертие» жертв революционной борьбы, которое обеспечивает «живая память» общества о подвигах жертв³. Музыка и цветная пышная похоронная атрибутика оказывали

¹ К годовщине расстрела коммунистов в Томске // Знамя революции. – 1920. – 16 дек.

² Брат А. Звезды светят из прошлого: документальная повесть о Н. М. Тихомирове. – Новосибирск, 2003. – С. 44–45; Косякова Е. И. Божья нива // Новосибирский некрополь. – С. 24–25.

³ Тяжельникова В. С. Указ. соч. – С. 422.

сильное эмоциональное воздействие на присутствующих, как раз и формируя эту «живую», то есть эмоциональную память.

На традиционных русских похоронах умершего всегда горько оплакивали. Образованные люди устраивали панихиду. Похоронные плачи как рудимент языческой обрядности не поощрялись церковью, которая учила вере в бессмертие души¹. На «красных» похоронах, судя по газетным описаниям, к свежей могиле выходили ораторы, чтобы выступить с прощальной или поминальной речью. Обязательно звучали и клятвы у могил. В традиционном контексте такие клятвы воспринимаются как самые серьезные, поскольку, как уже отмечалось, согласно архаичным представлениям, покойные обладают могуществом, покровительствуют и помогают живым, поэтому клясться на могиле, значит заручаться поддержкой мертвых. Авторы газетных текстов обычно призывали не проливать слез. Но, вероятно, в действительности, не имея сил сдерживать свои эмоции, родные и близкие плакали, тем более, что «голосить» предписывала традиция. Традиционно, если родные усопшего не плакали на его похоронах, окружающие их осуждали, говорили: «Рады, что помер, не дождутся, как закопают»². Едва ли в действительности сдержанность на похоронах была выгодной с идеологической позиции государству. Все-таки свободный выплеск эмоций в присутствии большой группы людей порождает эффект психического заражения и способствует укреплению социальной памяти о событии. Сибирские этнографы 1920-х гг. видели ценность в живущей в народной среде «причети», которая с легкостью адаптировалась к новым социально-политическим условиям. Так, в репертуаре сибирских партизан появились актуальные для военного и послевоенного времени причитания по погибшим³, а стараниями комсомольцев возникла уже упоминавшаяся нами «причеть» по В. И. Ленину⁴. М. К. Азадовский подчеркивал, что в Сибири не было профессиональных плакальщиц, что традиционно «выть» на похоронах должны были все. Н. Хадзинский считал: если «условия быта вытеснят “причеть” из похоронного обряда, она будет жить среди интимной лирики»⁵, поскольку именно в «вытье» проявляется искренняя скорбь. По мнению К. Мэрридэйл, «причеть»

¹ Рабинович М. Г. Указ. соч. – С. 330.

² Хадзинский Н. Указ. соч. – С. 55.

³ Соколова А. Материалы для изучения партизанской поэзии: (песни и причитания). – С. 159–162.

⁴ Хадзинский Н. Указ. соч.; Азадовский М. К. Указ. соч. – С. 22.

⁵ Азадовский М. К. Указ. соч. – С. 55.

имела в условиях традиционной культуры также значение некролога, поскольку рассказывала об умершем и о его достоинствах¹.

Советским стереотипам «красных» похорон соответствовала агитационная составляющая ритуала. Панихида по усопшему переросла в митинг. Судя по газетным описаниям, на похоронах появились советские лозунги, которые участники церемонии наносили на транспаранты и ленты траурных венков. На похоронах омского коммуниста П. С. Дзюбенко траурное шествие возглавляли люди, которые несли лозунги «Вечная память борцам за Советскую власть» и «Смерть мировой буржуазии»². Во главе процессии на похоронах томского революционера А. В. Шишкова шли представительницы женотдела с плакатом «Беспощадная смерть палачам!». Как мы помним, на традиционных похоронах процессию, следующую на кладбище, возглавляли женщины, несущие цветы и иконы. В данном случае, как и на массовых похоронах жертв «колчаковщины», иконы были заменены лозунгами. Следом за женщинами везли гроб. Из процессии исчезла традиционная фигура священника, которой на этих похоронах не было замены. За гробом шли родные и в строго определенном порядке – представители Губернского бюро РКП(б), оркестр, военные, томские коммунисты, члены профсоюза. Использовались на «красных» похоронах и советские знамена. Присутствовать на «красных похоронах» должны были «все партийцы, свободные от работы»³, в газетном объявлении могло сообщаться, что «явка всех членов союза обязательна»⁴. При этом личные отношения усопшего с теми, кто должен был явиться на его похороны в обязательном порядке, не имели значения. Утрата интимной составляющей похоронного действия задавала новый эмоциональный фон кипучей «благородной ярости», а не «неутешного горя». Для того, чтобы собрать максимальное количество присутствующих, похороны, которые больше не зависели от церковного графика отпеваний, чаще всего назначались в послеобеденные или вечерние часы, что противоречило традиции, но отвечало практическим соображениям. Именно вечернее время являлось более удобным для советских служащих и рабочих.

¹ Merridale С. Night of Stone... – P. 41.

² Похороны П. С. Дзюбенко // Рабочий путь. – 1922. – 26 окт.

³ [Объявление] // Красное знамя. – 1924. – 26 сент.

⁴ [Объявление] // Красное знамя. – 1924. – 13 сент.

К примеру, похороны упомянутого нами революционера А. В. Шишкова, состоявшиеся 20 июля 1920 г., начались в 19 ч 30 мин.¹ Характерной чертой «красных» похорон являлись элементы военизации церемонии. Не все, кого хоронили по «красному» обряду, имели отношение к армии, но даже на похоронах Шуры Окунцовой, возглавлявшей отдел работниц в Томске, дали залп салюта в момент опускания гроба в могилу. Давали салют и на похоронах А. В. Шишкова. Помимо прочих традиционных смыслов так, по нашему мнению, выражалась готовность большевиков и дальше биться насмерть с врагами революции по примеру уже имеющихся жертв классовой борьбы. Залп салюта на «красных» похоронах – это своего рода предупредительный выстрел в воздух, «адресованный» классовым врагам.

Нельзя сказать однозначно, устраивались ли поминальные обеды после «красных» похорон. В некоторых репортажах сообщалось, что после погребения рабочие расходились по домам. Те похороны, которые проходили в середине дня, вполне логично могли оканчиваться традиционными поминками, где, скорее всего, продолжался начатый на кладбище митинг. Однако подчеркнутая бедность и своеобразный революционный аскетизм по большому счету противостояли «старорежимным» трезнам, особенно пышным у состоятельных сословий Российской империи.

Репортажи с «красных» похорон, напечатанные в газетах нашего региона, не имеют отличительной специфики в разных городах. Очевидно, эти описания составлялись по образцу описания похорон жертв «колчаковщины». Вероятно, в действительности какая-то местная специфика «красных» похорон в начале 1920-х гг. и существовала, но западно-сибирская печать отражала желаемую картину, участвуя в формировании траурного газетного дискурса.

К середине 1920-х гг. неактуальной стала идеологически обусловленная жертвенность революционного поколения, представление о которой формировалось и закреплялось, в том числе, и с помощью особенного похоронного обряда². Не нужны стали и специфичные газетные описания похорон, присущие началу 1920-х гг. «Красный» ритуал был уже хорошо известен сибирякам.

Из наших таблиц (см. Прил., табл. 1–4) видно, что наибольшее число траурных объявлений, опубликованных за весь изучаемый период, сообщают о «скромных» граж-

¹ Похороны Александра Васильевича Шишкова // Знамя революции. – 1920. – 20 июля.

² Тяжелникова В. С. Указ. соч.

данских похоронах, которые частично или полностью исключали элементы религиозного ритуала. На кладбище обычно устраивалась политизированная гражданская панихида, однако этот ритуальный элемент не был обязательным. Часто в организации таких похорон участвовало то учреждение, где работал усопший. Количество объявлений, поданных сослуживцами, дает основание полагать, что роль коллег в организации похорон со временем возрастала. К примеру, «контора» могла не спрашивать мнения родных усопшего о том, кому стоит присутствовать на похоронах, как будет осуществляться погребение. Такие похороны переставали быть частным делом семьи. Показателен пример: если в 1926 г. лишь одно объявление из «Советской Сибири» о скромных гражданских похоронах сообщало род занятий усопшего (секретарь редакции газеты «Дер Ландман»)¹, то в последующие годы аналогичные объявления в большинстве случаев содержат сведения о профессии и партийной принадлежности покойного. Объявления с такими комментариями обычно давала организация, где при жизни работал ныне умерший. Если похороны организовывали родственники, не было смысла сообщать о социальном статусе (профессии, партийности, заслугах) усопшего.

Очевидно, что в первой половине 1930-е гг. участилась практика пышных гражданских похорон, ставших массовыми по количеству участников таких церемоний. В условиях обострения социально-политических отношений наступило возрождение ярких траурных коммемораций, характерных для начала 1920-х гг., но практически неактуальных для периода нэпа. Наибольшее количество объявлений о пышных похоронах «героев» давалось в Новосибирске в первой половине 1930-х гг. Максимальное количество объявлений, достигшее двадцати, было дано в 1935 г. Помпезного прощания обычно удостоивались коммунисты, руководители учебных заведений и предприятий, ударники производства, чекисты, милиционеры и т. п.

В качестве примеров пышных гражданских похорон можно привести похороны профессоров недавно открытых в Новосибирске вузов (А. И. Прибытков и И. Д. Чулков), новосибирских деятелей культуры (артист оркестра А. С. Цембалистов, дирижер оперетты В. А. Лавров, молодой художник И. Попов). В размахе пышных гражданских похорон первой половины 1930-х гг. заметно стремление власти подчеркнуть огромное количество жертв, которые приносит советский народ, строящий социализм. Внимание власти к смерти этих людей служило доказательством тезиса о возрастании классовых

¹ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1926. – 3 июня.

противоречий в результате форсированного строительства социализма, о неизбежных жертвах героев новой эпохи. Смерть партийных работников обычно сопровождалась на страницах газет самыми трагическими характеристиками. Очевидными казались жертвы тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Подвиг таких людей подчеркивало даже краткое объявление, которое могло сообщать о смерти «от руки врага», или фразу «варварски убит классовым врагом».

Некрологи 1930-х гг. нередко характеризовали усопшего как «товарища, показывавшего подлинно коммунистическое отношение к труду»¹. Если кончина «героя» наступала в результате болезни, тогда, как и в случае с объяснением причин смерти В. И. Ленина некрологи по шаблону подчеркивали, что усопший «заболел на советских хозяйственных и политических работах»². Особенно пышные похороны устраивались и тем, кто погиб трагически при исполнении служебных обязанностей. Любое преступление советская пропаганда рассматривала как «антисоветчину», поэтому похороны жертвы убийства становились удобным поводом для политизированной панихиды, превращавшейся в митинг, направленный на политическое воспитание. Организаторы похорон взывали к естественным чувствам жалости, что позволяло расширить круг участников коммемораций, и, воздействуя на эмоции, добиться целей индокринации.

Традиционные православные похороны предполагали перенос тела усопшего в церковь, после отпевания похоронная процессия следовала на кладбище для погребения тела. На пышных гражданских похоронах тело умершего несли не в церковь, а в красный уголок (клуб, актовый зал) учреждения, где он трудился при жизни. Иногда на гражданские похороны объявление приглашало к 10–11 ч утра. Толпа собравшихся родственников, друзей, соседей и сослуживцев сопровождала гроб с телом усопшего от его квартиры до учреждения, где устраивалась гражданская панихида, заменившая отпевание. Прощание длилось несколько часов, ближе к вечеру траурная процессия отправлялась на кладбище³.

Залп салюта на «красных» похоронах 1930-х был адресован уже не «буржуям», а вредителям, фашистам, троцкистам, зиновьевцам и прочим «врагам народа», которые, как сообщали пропагандисты, «зверели», видя успехи социалистического строительства. Заметно, что пышные похороны в Новосибирске устраивались в более поздний час.

¹ Н. М. Колчин: [некролог] // Сов. Сибирь. – 1930. – 6 мая.

² [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1930. – 15 марта.

³ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1935. – 6 мая.

Иногда тело выносилось на кладбище уже на закате солнца или даже поздно вечером, после 19 часов. Иллюстрацией этому обобщению может послужить пример массового прощания с омским «профессором-коммунистом» В. Е. Опариным¹. Имеющиеся в газетах фотоисточники позволяют судить о возрождении дореволюционной буржуазной ритуальной эстетики: на пышных гражданских похоронах вновь применялся старый канон изображения тела усопшего в «упокоенном» виде, лежащим в гробу, в профиль, в окружении массивных венков и цветов (см. Прил, рис. 65).

Проводы революционеров, подпольщиков и бывших партизан проходили в 1930-х гг. довольно скромно. С помощью объявлений на них приглашали преимущественно соратников, старых товарищей, партизан, членов Общества политкаторжан. Примерами могут послужить похороны красного партизана из Томска, командира отряда особого назначения В. И. Курского², а также бывших партизан А. Ф. Щербакова (14 марта 1930 г.), Д. В. Капраловой (3 января 1933 г.), А. В. Фенелонова (27 марта 1933 г.), живших в Новосибирске. Но власть не акцентировала особенного внимания на прощании с героями уже ушедшего в прошлое революционного времени, будучи заинтересованной, прежде всего, в поиске идеологических средств мобилизации общества на новые экономические успехи. Это говорит о снижении внимания со стороны государства к героям революционной эпохи, об ориентире власти на актуальную современность и на успехи будущего. В этой связи многие революционеры и подпольщики чувствовали себя уязвленными: «Скоро уже смерть, старая я, обидно, что меня забыли», – писала в конце 1930-х гг. томская революционерка Каширина. Ее воспоминания отложились в архиве лишь благодаря утомительной работе музея над сбором воспоминаний томичей о юном С. М. Кирове. «Не знаете вы, как подействовало на меня ваше письмо. Я не могу найти покоя от сознания, что меня вспомнили», – сообщала пожилая, очень бедная женщина, которую местные власти никогда не поздравляли и не премировали в политические праздники³.

Для революционеров похороны товарищей были не менее важны, чем вечера воспоминаний, речь о которых пойдет далее. На похоронах товарищей старые большевики говорили о прошлом, вспоминали погибших. Детали революционных событий для иных могли проясниться только в конце 1930-х гг. во время беседы на похоронах. К примеру,

¹ Похороны В. Е. Опарина // Рабочий путь. – 1929. – 21 февр.

² [Объявление] // Красное знамя. – 1932. – 4 июня.

³ ГАТО. – Ф. Р-1612. – Оп. 1. – Д. 39. – Л. 147.

Д. Ильин сообщил томским музейщикам, что только в 1939 г. на похоронах революционера Н. Топоногова узнал об обстоятельствах смерти своего друга С. Михайлова, избитого в 1905 г. черносотенцами¹.

Отношение разных общественных групп как к традиционным, так и к гражданским похоронам, безусловно, было различным. Верующие отторгали «красные» похороны, убежденные большевики неприязненно воспринимали отпевание и прочие элементы религиозного ритуала. Не стоит забывать и о полутонах. Важно и то, что взгляд на политизацию похорон, несомненно, отражает практическую, а не только духовную настроенность организаторов церемонии.

Обратимся к объявлениям в «Советской Сибири». Вплоть до 1933 г. количество траурных объявлений в этой газете постоянно росло. В 1933 г. опубликовали 55 похоронных объявлений, в 1934 г. – несколько меньше, 32, а в 1935 г. – 49. После этого общее количество траурных объявлений резко снизилось. В 1939 г. их было уже только два. Однако в 1940 г. было вновь напечатано 29 объявлений. Аналогичные процессы характерны и для томской печати, похожая картина также в Омске и Барнауле. Мы объясняем это реакцией на социально-политические обстоятельства. В политике нарастали тоталитарные тенденции, государство стремилось к контролю над частной жизнью общества, смерть и похороны выносились из приватного пространства семьи в публичную сферу. Видимо, в первой половине 1930-х гг. многие советские граждане не противились этим тенденциям, находя политизацию похорон нормальной, удовлетворяясь участием в салютационных коммеморациях. После похорон, организованных партийными работниками и членами трудового коллектива, родственники покойного нередко благодарили с помощью газеты устроителей похорон, демонстрируя убеждение в заботе советского государства о человеке, попавшем в беду. «Это сердечное и горячее участие окончательно убедило нас, что единственная в мире страна Советов олицетворяет эмблему уважения к трудящимся», – так с помощью газетного объявления выражала свою благодарность партийной ячейке семья Токач в 1932 г.²

Резкое снижение количества траурных объявлений во второй половине 1930-х гг. можно объяснить пиком политических репрессий. В 1937 г. организация пышных похорон с выносом тела усопшего из красного уголка или актового зала могла обернуться

¹ Там же. – Л. 81.

² [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1932. – 22 июля.

впоследствии большими проблемами для их устроителей. В эти годы было слишком много «разоблачений врагов народа», в число которых могли попасть и те, кто уже покинул этот мир. За торжественные похороны того, кто неожиданно оказался «вредителем», могли быть репрессированы те, кто в этих похоронах участвовал. Поэтому в 1938–1939 гг. печать сообщала лишь о смертях самых очевидных «кристально чистых героев». Так, в 1938 г. в «Советской Сибири» объявлялось о предстоящих торжественных похоронах кандидата в члены президиума Облисполкома, начальника управления по делам газет и издательства П. А. Новика (1 июля) и погибшего летчика гражданской авиации В. Ф. Галата (2 сентября). Во второй половине 1930-х гг. скромные «безрелигиозные» похороны стали наиболее разумным решением вопроса о выборе ритуала прощания с усопшим. Распространение атеизма, безусловно, сыграло в этом важную роль. Но не стоит забывать и том, что этот выбор мог делаться не по причине заботы о душе усопшего, а из соображений о благополучии живых – потенциальных участников похорон.

Судить о рецепции похорон и изменений в сфере некрокультуры, опираясь лишь на газетные объявления, довольно сложно. Поэтому о похоронах 1930–1940-х гг. нами было составлено более десятка бесед с пожилыми новосибирцами. Остановимся на анализе рассказов двух женщин. Обе наши собеседницы родились и выросли в Новосибирске. Их детские воспоминания о похоронах относятся к предвоенным годам. Е. А. Иванова рассказала о смерти и похоронах своей матери. На момент этих событий девочке было шесть лет. Г. Д. Ким рассказала о похоронах младшей сестры, свидетельницей которых она стала в четыре с половиной года. Эти истории объединяет не только время и место действия. Это – детские воспоминания «обычных» женщин о прощании с близкими, прожившими ничем не примечательную короткую жизнь, их похороны были заурядными для своего времени. Особенно интересно то, что Г. Д. Ким говорит о похоронах в семье атеистов, а Е. А. Иванова – о похоронах, устроенных по православному обряду.

Оба рассказа содержат описание прощания с покойной возле ее дома, о похоронной процессии, о погребении, поминках, о ритуальных предметах. Г. Д. Ким сообщила: «У меня умерла в 40-м году сестренка двухлетняя, и я была на похоронах». Е. А. Иванова восстанавливает в памяти порядок ритуальных действий на похоронах матери. Описав кратко погребение, вспоминает территорию всего кладбища, родственников, живших рядом с кладбищем, соседей, умерших одновременно с матерью, рассказывает о

посещениях могилы матери. В сознании наших собеседниц похороны и поминовение неразрывно сплетаются с судьбами членов их семей. Так, Е. А. Ивановой одновременно с похоронами вспоминается и бабушка, которая после смерти дочери «была, как помешанная», постоянно одна ходила на кладбище ранним утром, пока другие члены семьи спали, и репрессированная тетя Шура, что жила напротив кладбища и заботилась о нашей рассказчице, когда та потеряла мать. Логика построения этих рассказов свидетельствует об огромном личностном значении этих воспоминаний для наших респондентов.

Если газетные источники позволяют нам сделать вывод о том, что похороны государственных служащих и людей, имевших отношение к партийной иерархии, во второй половине 1930-х гг. часто сопровождалась сильно политизированной гражданской панихидой и служили поводом для очередного прославления вождя, то скромные похороны, описанные нашими собеседницами, проходили совершенно иначе. Сначала прощание с телом происходило в доме усопшей и во дворе. По традиции проститься во двор приходила вся округа. Гроб ставился на табуретки. Зажигались свечи. Однако, по замечанию Г. Д. Ким, «в момент прощания неверующие в 1930-х гг. уже не зажигали свечи, боялись, хотя в праздники обряды выполняли: яйца в Пасху и куличи». На похороны приносили веночки, «в основном металлические», а также искусственные цветы: «живыми цветами не увлекались, перед процессией не разбрасывали». Е. А. Ивановой запомнились цветы из древесной стружки и бумаги, которые специально для похорон изготавливала мастерица, жившая в Сахалинском переулке. Цветы эти раскрашивали – «на крахмальный клей посыпали манку и красили».

Обе рассказчицы запомнили, что гроб на кладбище несли близкие родственники либо на длинных льняных полотенцах, либо на руках. Стоит отметить, что дорога до погоста была неблизкой, процессия двигалась около часа. По рассказу Е. А. Ивановой, «за гробом шла кучка людей» – родственники, соседи по переулку, следом ехала телега с детьми («нас двое было маленьких: я и Лида, еще дети всяких там дядек»). За телегой шел отец нашей рассказчицы, по мнению которой, он не мог следовать за гробом из-за сильных переживаний. Далее было отпевание покойной в Успенской церкви, на отпевании семья усопшей стояла подле гроба. От церкви до могилы гроб с покойной снова несли на полотенцах. Теперь процессию возглавлял батюшка, который «шел до самой могилы с кадилом, и песнопение было, молитвой какой-то все сопровождалось». На

свежей могиле был установлен крест с табличкой. Собравшиеся на кладбище не сдерживали эмоций, плакали, даже голосили. Похороны матери, запечатленные в памяти Е. А. Ивановой, выглядят совершенно традиционными. Наша рассказчица не упомянула никаких элементов «красного» похоронного обряда. Между строк этого рассказа не читается политический контекст.

Рассказ Г. Д. Ким более сжат. Однако и из ее слов следует, что похороны девочки были во многом традиционными. Молодые родители отказались только от отпевания, но были и комья земли, брошенные в могилу, и оставленное на кладбище печенье, и маленький деревянный крестик. Семья сочла нужным сфотографироваться у гроба перед погребением (см. Прил., рис. 66). Эта услуга предоставлялась маленьким кладбищенским ателье, благодаря которому до сих пор в семейных альбомах многих новосибирцев хранятся похоронные снимки на фоне одной и той же картины. Создается впечатление, что фотографирование в некоторой степени заменило отпевание, ведь эта процедура позволяла семье продлить прощание с усопшей. Г. Д. Ким отметила, что люди, собравшиеся на похоронах, хотя и плакали, но старались сдерживаться. Понятно, что это стремление коренилось не в традиции, а в рекомендациях со стороны власти по поведению на гражданских похоронах.

После похорон устраивались традиционные поминки с блинами и кутьей. Обязательными были также поминки на девятый и сороковой дни после кончины. По словам Е. А. Ивановой, могилу матери ее семья посещала часто, не только в Родительский день. Г. Д. Ким подчеркнула, что на кладбище ее родители и другие люди из близкого окружения «ходили тайно, не афишировали поминальные дни». Этой рассказчице вообще не запомнились посещения могилы сестры. Мать Галины Дмитриевны была активной комсомолкой, работала в бригаде грузчиц, старалась идти в ногу со временем. Безусловно, ее образ жизни и взгляды отразились на том, как были устроены похороны девочки. Однако эти похороны не назовешь ни «красными», ни гражданскими, ритуальные действия их участников во многом сохраняли традиционный религиозный смысл, что вполне осознавалось родителями девочки, не смевшими грубо нарушать вековые традиции.

Рассмотрение уникальных устных источников позволяет сделать предварительный вывод о том, что, несмотря на активное стремление советской власти навязать обществу гражданские похороны, обыватели, не участвовавшие в политике, однозначно выбирали для себя традиционные коммеморативные практики. Многие же из тех, кто внешне со-

ставлял социальную базу власти, на деле, оказываясь перед лицом смерти, также оставались верны традиции или пытались смоделировать компромиссный вариант коммеморации (между традиционным и гражданским обрядом, отказываясь от таких ключевых ритуальных действий, как отпевание и политизированная гражданская панихида).

Заслуживают комментариев и визуальные источники, полученные нами в Новосибирске, – фото похорон в кругу семьи (см. Прил., рис. 66–68). Похоронные снимки обычно фиксируют эмоции близких покойного, которые не всегда могут сдерживать себя, хотя и должны, в рамках традиции, выражать торжественную скорбь. Фактически в кадре оказываются не только скорбные лица, но и слезы близких умершему людей, хотя съемки явной экспрессии исключаются традицией. Фотография неизбежно отражает ритуальную специфику похорон. Она также запечатлевает этап перехода не только для того, кто скончался, но и для всей семьи, ведь после этой смерти семья меняется. Главным персонажем на таких фотографиях остается именно усопший, а его близкие размещаются вокруг гроба, как на семейном портрете.

Отдельно стоит сказать о снимках, выполненных на детских похоронах. Усопших детей окружают, в первую очередь женщины (мать, бабушка, тетя) и дети из близкого им круга (братья и сестры), у гроба может находиться и отец. Контакт с усопшим обычно довольно тесный. Присутствующие склоняются над гробом. Показателен пример новосибирской фотографии из альбома А. В. Забелиной, где маленький гробик стоит на коленях женщин. Женщина, сидящая справа, придерживает гроб обеими руками, словно повторяя привычный жест покачивания ребенка в люльке или кроватке. Несмотря на всю сдержанность эмоций, фото воспринимается душераздирающе страшным – в нем застыла глубочайшая печаль.

Даная часть исследования позволила нам обнаружить лишь частичное воздействие советской политики памяти на частные похороны в городах Западной Сибири. Применительно к этой сфере политика памяти не была четко продуманной и всеохватной. С одной стороны заметно, что советскими организациями и учреждениями на местах повсеместно устраивались салютационные «красные» похороны, которые воспринимались организаторами утилитарно и были им необходимые для индокринации. Но степень распространённости «красных» похорон зависела от актуальных идеологических задач и напряженности внутривластной обстановки, от административного статуса города (в столице региона «красные» похороны практиковались чаще), от степени вовлеченно-

сти населения в политику. В начале 1920-х гг. местная печать репрезентировала такие похороны как важное событие местной жизни, однако подсчет газетных репортажей не дает увидеть внушительных цифр. На общем фоне городской повседневности «красные» похороны были не особенно частым явлением. Наибольшее же распространение «красные» похороны получили в первой половине 1930-х гг. на фоне укрепления сталинского политического режима.

Яркой чертой межвоенного времени стало распространение «безрелигиозных» похорон, которые могли устраиваться представителями разных социальных групп под мощным воздействием антирелигиозной пропаганды. Такие похороны не обязательно сопровождалась политизацией, однако выработку этих практик стоит отнести к результатам советской политики памяти и ее восприятия обществом. Гражданский ритуал поминовения представлен источниками не внятно. Можно предположить, что в той или иной степени он повторял религиозный ритуал. Показательно, что этот тип похорон «пережил» советское время и продолжает практиковаться.

Вопреки мощной антирелигиозной пропаганде, значительная часть общества сохраняла верность религиозным похоронным обрядам, что отразилось даже в советской газетной периодике. В период с 1928 по 1932 гг. объявления о религиозных похоронах практически исчезли из газет. Однако отпевания покойных фактически продолжались. При этом надо отметить тенденцию упрощения религиозного обряда, связанную с закрытием церквей и уменьшением количества священнослужителей. Отпевание могло происходить не в церкви, а на квартире покойного без участия священника, с нарушением канона. Такие похороны, частично сохранявшие традицию, как и «безрелигиозные» похороны, практикуются и по сей день.

Подведем предварительные итоги. В политических условиях начала 1920-х гг. Советам, вернувшим власть в Западной Сибири, требовались эффективные массовые коммеморации, направленные на «проработку прошлого» по горячим следам, на формирование в исторической памяти сибиряков героических образов большевиков, а также на дискредитацию врага. Именно поэтому яркой чертой того времени стали массовые прощания с «жертвами колчаковщины», которых повсеместно с почестями хоронили и пе-

резакоранивали. По форме похороны отвечали общим контурам исконной традиции, в своей сущности они были понятны для обывателей, многие из которых не верили в долговечность власти большевиков и не доверяли им, но из нравственных побуждений и сочувствия проявляли интерес к прощанию с погибшими. Относительно новыми были только отдельные ритуальные детали, однако именно с их помощью власти удавалось выражать конкретное идеологическое значение этих похорон.

Как и траурные коммеморации 1920-х гг., военно-революционные монументы первых советских лет должны были дискредитировать память о врагах и их «зверствах», повышать «градус доверия» к большевикам, выразившим благодарность погибшим. Особенно ярко эта идея воплотилась в новониколаевском памятнике «жертвам колчаковщины». Однако образы этих памятных мест были обобщенными, оторванными от конкретики местных военно-революционных событий. В отличие от похорон жертв «колчаковщины», памятники были абстрагированы от сильных негативных эмоций, избранные для увековечивания памяти символы – эстетичны и однотипны в отношении передачи смысла.

В 1930-х гг. памятники использовались преимущественно для политической социализации молодежи и ее приобщения к социалистическим ценностям. К концу изучаемого периода памятники рассматривались властью как средство, чтобы оттенять «счастливое» настоящее, они служили точкой отсчета начала движения к «благополучию» сталинской эпохи. Между тем, власть небрежно относилась к памяти о многочисленных жертвах «колчаковщины», имена и биографии которых были плохо известны. Заметны также формализация и деконкретизация памяти об «основных» героях местной военно-революционной истории, быстрое затухание памяти о «второстепенных» героях, связанное с динамичными изменениями в идеологической сфере.

Траурная кампания, приуроченная к смерти В. И. Ленина, стала первой в своем роде и наиболее грандиозной, как для сибиряков, так и для жителей всей страны. По своему размаху прощание с Лениным превзошло похороны русских царей и имело широкий общественный резонанс. Ленинские коммеморации устраивались в условиях диктата Москвы, склонившейся к использованию образцов дореволюционных церемониалов. Сибиряки прощались с вождем не так, как с жертвами «колчаковщины». На похоронах Ленина не использовались приемы контрмемориализации. Общество активно включалось в эти коммеморации, по-разному реагируя на происходившее. В дальнейшем и цен-

тральные, и местные власти должны были вести неустанную работу над формированием в общественном сознании «правильного» образа вождя и «правильного» отношения к его памяти. Мемориализация Ленина стала, на наш взгляд, первым явным шагом к постепенному забвению жертв «колчаковщины». При этом Ленинские дни заняли центральное место в календаре советских памятных дат, наряду с Октябрьскими торжествами.

Массовые траурные кампании 1930-х гг. окончательно смещали фокус внимания с героев местной истории времен Гражданской войны на героев нового общесоветского «пантеона», на фигуры И. В. Сталина и его окружения. С середины 1930-х гг. стало заметным еще большее сближение всесоюзных траурных кампаний с дореволюционными траурными ритуальными практиками. Формально политические похороны этого времени были подчеркнута безрелигиозными, однако их организаторам не удавалось избежать ассоциаций с религией. Траурная кампания становилась первым и важнейшим этапом в формировании квазирелигиозных культов героев. Сибиряки должны были участвовать в создании политических мифов об С. М. Кирове и В. В. Куйбышеве, чьи биографии были связаны с Сибирью.

Частные похоронные практики были также устойчивыми, однако в этой сфере все-таки заметна динамика. Вплоть до конца 1920-х гг. нормой повседневной жизни являлись традиционные религиозные похороны, хотя активно стали практиковаться «безрелигиозные» похороны (в той или иной степени реально сохранявшие во многих ритуальных деталях связь с традицией), а также распространились «красные» похороны как разновидность салютационных практик, выражавших политические смыслы. Под натиском антирелигиозной пропаганды к концу изучаемого периода стали заметными изменения, связанные с большим распространением гражданских похорон и упрощением как внешней стороны религиозного ритуала прощания с усопшими, так и его содержательного наполнения. В результате можно констатировать общую тенденцию «укорачивания» семейной памяти, лишавшейся обоснования в христианском контексте.

ГЛАВА 4

МАССОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ДИНАМИКА КОММЕМОРАЦИЙ

4.1. Коммеморативная составляющая Октябрьских торжеств

До революции в круг государственных праздников входили как религиозные, так и светские торжества, для которых были характерны богослужения в присутствии административных властей, представителей городских учреждений, почетных гостей, учащихся и прихожан. В имперское время политические торжества вписывались в календарь ежегодных христианских праздников, названный томским политологом А. И. Щербининым «сакральным регулятором, посредником между миром людей и божественным космосом»¹. В сценариях массовых дореволюционных политических торжеств обязательно присутствовали религиозные действия, отражавшие консервативные идеологические установки власти. Таким образом, политический праздник, по форме похожий на религиозный, должен был восприниматься подданными как священнодействие. Дореволюционным политическим праздникам была присуща и коммеморативная составляющая. Более того, большинство из них являлись датами памяти о неких важных для империи событиях (победа над Наполеоном, покорение Сибири и пр.).

Говоря о Ленинских днях, мы уже поясняли, что еще до Октябрьской революции в городах Российской империи сложился сценарный шаблон государственных праздников, который позже использовали и большевики. В качестве примера грандиозного монархического праздника начала XX в. приведем 300-летие Дома Романовых (21 февраля

¹ Щербинин А. И. «Красный день календаря»: формирование матрицы восприятия политического времени в России. – С. 53.

1913 г.). В Барнауле празднества начинались 20 февраля с панихиды по «в Бозе почившим императорам всероссийским» в Дмитриевском храме¹. В Томске праздничную программу юбилейного дня открыли аналогичная панихида в здании Городской думы «по усопшим царствующего дома» и молебен о здравствующих². После молебна в Барнауле состоялся крестный ход и молебен на Полковой площади, после чего был исполнен гимн. Торжественная часть завершилась церемониальным маршем воинских частей³. Вторая часть праздника, длившаяся до 1 ч ночи на ярко иллюминированных площадях и центральных улицах города, была рассчитана на широкие слои населения, для которого устраивались гуляния, зрелища, показы кино на исторические темы и спектакли. Особое внимание уделялось работе с учащейся молодежью: в школах и гимназиях были организованы праздники с угощением и раздачей бесплатных брошюр по истории Дома Романовых⁴.

Факторами изменения праздничных коммемораций стали, в первую очередь, собственно политические события, оценивавшиеся в дальнейшем носителями власти как эпохальные: Февральская революция и свержение самодержавия, Октябрьская революция, победы периода Гражданской войны, образование СССР. Еще в марте 1917 г. Временным правительством были отменены «царские дни». В 1918 г. большевики провели первые после Октябрьской революции советские торжества: День Великой русской революции (12 марта) и День рабочих (1 мая)⁵. Также и в период Гражданской войны большевики уделяли пристальное внимание политическим торжествам, которые рассматривались как важное средство пропаганды. Свои политические праздники были и у противоборствовавшей стороны.

В Западной Сибири новый большевистский праздничный календарь начал утверждаться сразу после «освобождения от колчаковщины», в частности, уже в 1920 г. массово праздновали третью годовщину Октябрьской революции. Вообще же круг политических праздников, общих для страны, был определен в 1919 г. К общим для всей страны политическим праздникам добавлялись региональные торжества, к примеру, годовщины освобождения населенных пунктов от белогвардейцев. К 1928 г. официально в календаре в качестве праздников и дней отдыха были отмечены: 22 января – день памя-

¹ Шилин С. А. Указ. соч. – С. 16.

² ГАТО. – Ф. Д-233. – Оп. 2. – Д. 778. – Л. 20.

³ Шилин С. А. Указ. соч. – С. 16.

⁴ ГАТО. – Ф. Д-233. – Оп. 2. – Д. 778. – Л. 20.

⁵ Шаповалов С. Н. Указ. соч. – С. 15–16.

ти В. И. Ленина и Кровавого воскресения; 12 марта – день низвержения самодержавия; 18 марта – день Парижской коммуны, 1 мая – день Интернационала; 1 июля – день Союза ССР; 7 ноября – день Пролетарской революции. Каждый год политические торжества выражали новое актуальное идеологическое содержание, резко изменившееся в 1929 г. Именно на этапе «великого перелома» появилось новое концептуальное представление о политическом празднике, поскольку «революционно-романтический проект уравнительного коммунизма сменился традиционно-национальным, имперско-милитаристским, полицейским, иерархическим»¹.

Второй важный фактор изменения праздничных коммемораций – утверждение атеизма в официальной культуре и антирелигиозная пропаганда. В начале 1920-х гг. в официальном календаре традиционные религиозные праздники (Рождество, Пасха, Духов день, Благовещение, Преображение, Вознесение, Успение, Крещение) еще уживались с новыми политическими торжествами. В современной историографии это «сосуществование» интерпретируется неоднозначно. С одной позиции, оно расценивается как проявление «осторожности» советской власти, опасавшейся вызвать волну народного возмущения резкой отменой религиозных праздников на государственном уровне. С другой позиции это объясняется намеренным сохранением религиозных праздников наравне с политическими для закрепления новых, еще непривычных народу праздников в рамках старого календаря, построенного на основе циклического (церковного) понимания времени.

С 1929 г. усилились гонения на церковь, с этого момента религиозные праздники больше не являлись выходными днями. Большевики старались искоренить их и из частной жизни населения страны. Церковь стала восприниматься как конкурент на консервативном идеологическом поле, что и привело к окончательному запрету на массовые религиозные торжества. Между тем, опыт организации религиозных и «царских» торжеств оказался востребованным как в 1920-х, так в 1930-х гг., что проявилось и в подходах к репрезентации исторического прошлого в ходе массовых официальных торжеств.

Утверждение атеистического мировоззрения повлияло на характер содержания самих коммемораций. Бог более не мог рассматриваться как субъект истории, смерть понималась материалистически, ни царь, ни вождь мирового пролетариата не могли рас-

¹ Добренко Е. М. Политэкономика соцреализма. – М., 2007. – С. 335.

цениваться как божьи помазанники на троне. Однако советская власть не спешила резко повернуться спиной к религиозной традиции в сфере коммемораций, поскольку эта традиция еще длительное время владела сознанием россиян. В итоге новые коммеморации могли лишь внешне отличаться от старых религиозных. В другом варианте согласования традиционных и инновационных составляющих коммемораций возникали квазирелигиозные коммеморации – похожие на религиозные внешне, но в сущности атеистические.

Наконец, в качестве третьего фактора изменений в сфере праздничных коммемораций мы выделяем коренные изменения в интеллектуальной культуре, прежде всего в отечественной историографии. Под идеологическим воздействием в гуманитаристике утверждался новый исторический нарратив, основанный на марксистском мировоззрении, для которого была характерна вера в социально-экономический прогресс, признание народных масс в качестве субъекта истории, а революции в качестве ее движущей силы. Этот интеллектуальный фактор сыграл серьезную роль в формировании специфики культа Октябрьской революции, которая понималась как пролетарская (социалистическая), т. е. революция «высшего типа», в ходе которой осуществляется переход от капитализма к социализму и коммунизму¹.

Организатор и лидер советской исторической науки М. Н. Покровский в первой половине 1920-х гг. говорил, что в Октябрьской революции выразилась, прежде всего, классовая борьба за саму власть, а не за ее демократические изменения. Остановимся подробнее на характеристиках, которые давал революционному движению в России этот ученый-революционер, заместитель наркома просвещения РСФСР, руководивший в разные годы Коммунистической академией, Институтом истории АН СССР, Институтом красной профессуры, автор многотиражного марксистского учебного пособия «Русская история в самом сжатом очерке».

Специфику Октябрьской революции он характеризовал следующим образом: «Колоссальный размах борьбы определился прежде всего тем, что нигде ранее противоположности старого и нового не были так резки, расстояние между старым и новым не было так громадно, как это было у нас... У нас пришлось бить по самому древнему рыцарскому замку, какой только остался в Европе, из современных осадных орудий, в не-

¹ Революция социалистическая (пролетарская) // Политология: слов.-справ. – С. 358.

сколько часов способных вдребезги разнести каменную стену» (1925 г.)¹. Об Октябрьской революции Покровский рассуждал в категориях сотворения, революция в его представлении не являлась стихийной, она была предварительно «написана» В. И. Лениным², которого Покровский назвал «завершителем русской революции вообще». Революция, по мнению Покровского, была удачной, поскольку опиралась на правильную марксистскую теорию. Михаил Николаевич писал: «Марксистская схема Октябрьской революции только одна – по этой схеме она осуществилась, по этой схеме будет написана ее история»³.

Наличие схемы предполагает также и знание будущего, которое можно уверенно прогнозировать. Однако Покровский далек от мистицизма предопределенности. В его понимании светлое будущее достижимо лишь при условии приложения правильных, теоретически обоснованных усилий народных масс. Именно это актуальное для 1920-х гг. представление задает отношение к годовщинам Октября как к контрольной дате проверки соответствия народных усилий марксистской схеме исторического развития общества. Сам Покровский называет революцию «меркой человеческих ожиданий» и дает пример оценки достижений классовой борьбы пролетариата от Первой русской революции до Октябрьской революции⁴.

К концу 1930-х гг. складывается представление об Октябрьской революции, отраженное в «Кратком курсе истории ВКП(б)», названном Е. М. Добренко «догматичным текстом». Этот учебник излагал единственную «правильную» версию истории страны. Он выступал сильнейшим средством идеологического воспитания молодого поколения строителей социализма. Революция в «Кратком курсе» характеризуется как «социалистическая» и «пролетарская». Главным результатом революции провозглашается установление нового типа государства: социалистического и советского. Утверждается, что революция имела более чем эпохальное значение, она «открыла новую эру в истории человечества – эру пролетарских революций»⁵. Так усиливается мысль, базирующаяся, несомненно, на христианском понимании времени, об Октябре как о начале нового мира, отрицающего старый мир с присущими ему ценностями господствовавших классов.

¹ Покровский М. Н. Два октября // Октябрьская революция. – М., 1929. – С. 93.

² Покровский М. Н. Октябрьская революция в изображениях современников // Октябрьская революция. – С. 169.

³ Там же. – С. 161.

⁴ Покровский М. Н. Два октября. – С. 93.

⁵ Краткий курс истории ВКП(б).

Выходит, что Октябрь занимает место традиционного Рождества Христова в праздничном календаре и восприятии времени вообще.

Отчетливо заметно влияние экономических условий и контекстов повседневной жизни населения страны на «Октябрьские торжества». В 1920 г. праздник устраивался в условиях войны, голода и дровяного кризиса. Разруха не позволяла устраивать пышных торжеств. В 1920 г. ЦК РКП(б) постановил отказаться 7 ноября от демонстраций, шествий и парадов из-за материальных проблем. Сиббюро добилося лишь разрешения на торжества в сибирских городах и на их украшение. Однако в этом и в следующем годах не было демонстраций, празднества 7 ноября ограничивались митингами, торжественными собраниями в клубах, концертами и бесплатными революционными спектаклями.

В 1920 г. в Новониколаевске произошло хищение дорогостоящей красной материи, предназначенной для украшения города¹. В 1921 г. западно-сибирские города вовсе не получили средств на декорирование зданий и братских могил, организаторам праздника предложили воспользоваться прошлогодними украшениями. Зато уже в 1923 г. праздничное декорирование стало гораздо разнообразнее: появилась иллюминация, многочисленные лозунги, зелень и цветы. В 1924 г. Новониколаевск получил для декорирования 2000 м только красной материи². В 1926 г. в Томске братскую могилу к 7 ноября украсили флагами, зеленью, красной материей, желтым песком, красными звездами и цветными лампочками³. Вероятно, и это многоцветье уводило мысли горожан от скорби по жертвам революции, канувшей в прошлое, к праздничному ликованию гораздо более благополучного этапа середины и второй половины 1920-х гг. По наблюдению С. Ф. Корни, при подготовке к десятилетию Октябрьской революции пристальное внимание уделялось праздничному декору. Праздник по замыслу должен был проходить в эстетичной и поэтической атмосфере⁴.

В 1930-х гг. декорирование улиц и зданий стало еще более пышным. Власть не жалела средств на внешние эффекты. Однако очевидна тенденция к постепенному исчезновению из декора элементов коммеморативного характера. В 1934 г. украшение Новосибирска предполагало размещение фигуры В. И. Ленина на крыше здания Крайкома, а на фасаде – портретов членов Политбюро ЦК ВКП(б). В центре этой композиции пред-

¹ ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1156. – Л. 9а.

² Там же. – Л. 2.

³ ЦДНИТО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1115. – Л. 237–238.

⁴ Corney F. С. Op. cit. – P. 174.

сказуемо красовался огромный портрет И. В. Сталина¹. Праздничный декор 1936–1937 гг., готовившийся клубами Омска, высвечивал новую актуальную тему сталинской конституции².

В городах Западной Сибири на примере Октябрьских торжеств четко прослеживается советская политика памяти. Учтем, что говоря о социальном и политическом значении праздника, известный французский историк М. Озуф поясняет: «Праздники организуют время и образуют костяк повседневной жизни... Они мощным усилием скрепляют людское сообщество... Сотворение праздника – точки, где сливаются желание и знание, где воспитание масс подчиняется радости – соединяет политику с психологией, эстетику с моралью, пропаганду с религией»³. По словам А. И. Щербинина, «календарь находится на границе истории и памяти, превращая первую во вторую, задавая траекторию восприятия истории (и политики, как истории творимой). Праздник буквально «впечатывает» событие в память. Поэтому так велика его роль в смысле формирования и поддержания коллективной памяти о важных с точки зрения власти политических событиях.

Политический смысл Октябрьских торжеств менялся со временем. В 1920 г., когда Гражданская война еще продолжалась, большевикам представлялось важным «объяснить, кто такие коммунисты», чем они отличаются от меньшевиков и эсеров, доказать, что большевики – «не грабители и не разбойники». Для этого использовались рассказы о недавнем прошлом. От пропагандистов требовалось перечисление заслуг и достижений большевиков за последние три года: «Все богатства, созданные трудящимися, переданы в руки трудового народа»; «социалистическому строительству дан огромный толчок»; «заложен фундамент всеобщего начального образования» и т. д. Особенную актуальность пропаганда обретала в связи с тем, что Октябрьские торжества по времени совпадали с началом продразверсток, вызывавших контрреволюционные настроения в хлебных селах⁴. Насилие над крестьянами вызывало отклик и в городах. Ноябрьские сводки о политических настроениях фиксировали, в частности, недовольства солдат, отбывавших службу в Омске, тем, что «дома у отцов, матерей и жен отбирают хлеб, сено, коров

¹ Как будут украшены здания // Сов. Сибирь. – 1934. – 1 нояб.

² Перед великим праздником // Омская правда. – 1937. – 2 окт.

³ Озуф М. Революционный праздник (1789–1799 гг.). – М., 2003. – С. 12.

⁴ ГАНУ. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 87. – Л. 75, 91.

и лошадей»¹. Поэтому в начале 1920-х гг. в рамках Октябрьских торжеств большевикам было необходимо оправдаться, смягчить социально-политические противоречия и волнения, попытаться сформировать в обществе представление о своих товарищах, павших в боях, как о героях, широко растиражировать идею высочайшей цены, заплаченной большевиками за победу над врагами.

К каждой памятной дате Октябрьская комиссия формулировала новые «ударные точки пропаганды», связанные с актуальными политическими задачами. Например, в 1920 г. в качестве таких точек были заявлены тезисы о помощи фронту и о подъеме производительности труда². В 1921 г. акцент делался на необходимости перехода от задач обороны к задачам хозяйственного строительства³. В 1923 г. «ударной точкой пропаганды» стали темы «Роль РКП в Октябре», «Октябрь как предпосылка к созданию СССР» и т. д.⁴

Для пропаганды в эти дни обязательно использовались исторические рассказы, собиравшиеся, главным образом силами Истпарта и позволявшие продемонстрировать прогресс, показать движение от старого к новому и лучшему. В Сибири начала 1920-х гг. существовали особые идеологические задачи. После ареста А. В. Колчака в нашем регионе началась активная мемориализация жертв и героев военно-революционных событий, а также важнейших сражений Красной армии с армией Колчака. Показательно, что в Сибири до 1922 г. Октябрьские торжества совмещали с празднованием победы над «колчаковщиной». Октябрьские праздники были одновременно и поминальными днями, когда восхваляли погибших героев и проклинали врагов. Аналогично в 1924 г., в ходе «октторжеств» поминали В. И. Ленина, акцентируя его роль в революции⁵. Как и в случае с героями Гражданской войны, это поминовение имело мобилизационное значение: 7 ноября стало поводом не столько для того, чтобы еще раз выразить скорбь по поводу утраты вождя, сколько во всеуслышание повторить, что дело его живо и никогда не умрет.

В дальнейшем, после прихода к власти И. В. Сталина, утрачивали актуальность идеи героической жертвенности революционного поколения. С середины 1920-х гг. основная идеологическая задача торжеств состояла уже не в поминовении жертв револю-

¹ Там же. – Д. 29. – Л. 32.

² РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 5. – Л. 1.

³ Там же. – Д. 36. – Л. 13.

⁴ Там же. – Д. 153. – Л. 25.

⁵ ГАНУ. – Ф. П-13. – Оп. 1. – Д. 962. – Л. 56.

ции, а в формировании у населения убеждения в прогрессивном развитии страны после революции. Отныне сравнение жизни общества «при царе» и «на современном этапе» становится доминантной темой торжеств. Важно подчеркнуть, что во второй половине 1920-х гг. Октябрьская революция именовалась еще «Октябрьским переворотом», ей не приписывалось эпохального значения. Торжества были ориентированы лишь на популяризацию идеи «Октябрьского переворота как первого этапа диктатуры пролетариата в борьбе пролетариата всех стран»¹.

К началу 1930-х гг. пропаганда ставила перед населением новую боевую задачу борьбы за советскую индустрию. Коммеморативная составляющая Октябрьских торжеств несколько ослабла по сравнению с предыдущим десятилетием. Теперь праздник был четко ориентирован на современность и на будущие успехи. Уже в 1930 г. главное содержание Октябрьских торжеств определялось как пропаганда пятилетки, культурной революции, решений XVI партсъезда². Более очевидной стала и тенденция подавления сибирского нарратива революции и Гражданской войны общесоветским нарративом.

Двадцатилетний юбилей Октябрьской революции (1937 г.) детально исследован американским историком К. Петроне. По ее выводам, праздничная риторика базировалась на идее разрыва с дореволюционным прошлым, которое изображалось, в отличие от «радостного» настоящего, в самых мрачных красках. Наше исследование показывает, что это противопоставление прошлого и настоящего использовалось и десятью годами ранее. Однако справедлив вывод К. Петроне о несоответствии радости по поводу социальных достижений в СССР и нерешенности материальных проблем населения. В связи с этим американский историк подчеркивает неудовлетворенность значительной части населения лживой риторикой и опасения организаторов торжеств по поводу возможных саботажей в праздничные дни, вызванных недовольством пропагандой. Поиск средств убеждения населения в благополучии современности предполагал разработку новых способов «проработки прошлого». В этой связи К. Петроне упоминает о произошедшем именно к двадцатилетию Октября возрождении позитивной исторической памяти о некоторых героях дореволюционной истории.

Историком замечено, что в 1937 г. власть использовала фигуры памяти А. С. Пушкина и Петра Великого для пропаганды патриотизма. «Продление» русской

¹ Там же. – Л. 70.

² Там же. – Ф. П-3. – Оп. 3. – Д. 326. – Л. 60.

истории служило фактором легитимации власти большевиков, которым было якобы «чуждо варварское уничтожение истинно ценного культурно-исторического наследия». Положительный образ Петра I был нужен также для оправдания сильной, бескомпромиссной власти, трудностей, которые переживает общество, усиленно занятое борьбой за поднятие боеспособности армии и индустриализацию. Юбилейные торжества также ярко отразили новое видение роли И. В. Сталина в Октябрьской революции. После осуждения в 1936–1937 гг. Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, Л. Д. Троцкого, А. И. Рыкова и Г. Л. Пятакова пропагандисты повсеместно заявляли, что эти люди «срывали революцию», а единственным честным соратником Ленина был только Сталин. Преувеличивался также его вклад в победу в Гражданской войне¹. По словам Н. Тумаркин, почитание Ленина в середине 1930-х гг. происходило уже в контексте почитания Сталина. Гиперболизация роли Сталина в военно-революционных событиях наиболее ярко отразилась в художественном фильме А. Я. Каплера «Ленин в Октябре» (1937 г.), к которому мы еще вернемся.

Праздник давал государству возможность использовать множество различных средств реализации политики памяти. Массовые торжества включали в себя разнообразные сценарные элементы: от официальных торжественных заседаний правительства до неформальных народных гуляний. Нужные большевикам исторические рассказы звучали с трибун на митингах, излагались в камерной обстановке вечеров воспоминаний, публиковались в газетах и журналах, обретали формы художественных образов в театре и кино, зашифровывались в политическую символику, становившуюся с годами привычной и неотъемлемой от торжеств.

Власть вела постоянную работу над тем, чтобы расширить перечень форм реализации политики памяти. В частности, уже в середине 1920-х гг. партийное руководство признало «шаблонность» форм Октябрьских торжеств, повторявшихся из года в год. К десятилетнему юбилею революции было решено разнообразить содержание торжественных выступлений и других мероприятий сведениями о революционных событиях на местах, а также актуализировать во время праздника значение революционных памятников. Это решение было подготовлено активным сбором Истпартами в 1925–1926 гг. сведений о конспиративных квартирах революционеров, местах маевки и пр. Также с середины 1920-х гг. уже 6 ноября по клубам начинали зачитывать доклады об успехах

¹ Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades. – P. 154–162.

экономического развития страны за последние 10 лет. Для лучшего восприятия этих идей населением на улицах развешивали изображения графиков и диаграмм, отражавших экономический рост. Новые идеологические доминанты также становились основой свежих лозунгов, тематики театрализованных представлений, карнавальных шествий и пр.

Отдельно стоит остановиться на значении игрового кино с точки зрения проблемы реализации политики памяти. Остановимся на примере фильма «Чапаев» (1934 г.), имевшем огромное идеологическое значение. Его авторы Г. Н. и С. Н. Васильевы создали универсальный образ героя Гражданской войны, который должен был служить примером для подражания. «Чапаев» был снят в соответствии с уже утвердившимся социалистическим каноном. Идеологическое значение этого фильма подробно охарактеризовано Дж. Г. Хартзоком. Согласно его выводам, эта картина несла идею руководящей роли партии в годы Гражданской войны. В образе Чапаева американский историк видит сходство с образами богатырей из русских былин, привлекательные черты романтики и монументальной героики. Однако, по замыслу сценаристов, Чапаев не мог победить без помощи партии, поэтому фильм внушал непоколебимую верность делу большевиков. Образ Чапаева стимулировал желание зрителей подражать герою, готовому жить ради борьбы за социализм и погибнуть в этой борьбе. Фильм служил средством объединения разрозненной аудитории, ее мобилизации на свершения невиданных до сих пор масштабов.

В этом фильме Гражданская война была представлена не абстрактно, а эмоционально и очень конкретно. Зрители воспринимали картину с воодушевлением и восторгом. Прежде всего, это касалось молодежи, не знавшей реалий Гражданской войны. Фильм стимулировал их классовое сознание. Особенное впечатление производила картина на детей, которые не могли разделить реальность и вымысел, воспринимая на веру события, показанные в кино. Этот фильм был рекомендован для школы как учебное пособие. В итоге дети восторгались героями и искренне ненавидели врага, абсолютно усваивая урок самопожертвования.

Однако Дж. Хартзок заметил и то, что восприятие фильма даже детской аудиторией не было столь однозначным. Он описал случай переноса впечатлений от «Чапаева» на улицу, где подростки привыкли проводить время. Играя в Чапаева, дети одного из провинциальных городов устроили жестокую массовую драку, которая длилась с 10 ч

утра до 5 ч вечера. Игра переросла в хулиганскую баталию с битьем окон соседних домов и избиением прохожих¹. На такое восприятие хорошо подготовленной коммеморации власть явно не рассчитывала. К описанию этой драки можно добавить известные всем анекдоты о Василии Ивановиче и настольную игру «Чапаев», также свидетельствующие о реальном «обмирщении» и даже осмеивании в народной среде образов героического прошлого. По всей видимости, зритель все-таки чувствовал ложный пафос в репрезентации прошлого. Случай с этим фильмом – лишь один из примеров «неверного» восприятия обществом политики памяти, выраженной в коммеморациях.

Далее мы еще вернемся и к «Чепаву», и к реакции общества на коммеморативную составляющую Октябрьских торжеств. Теперь же попытаемся ответить на вопрос, в какой мере «октторжества» были собственно советскими по формам коммемораций и их содержанию. Отрицалась ли в 1920–1930-х гг. старая праздничная традиция «эпохи царизма» или опыт организации имперских праздников оставался востребованным и в советское время?

Прежде всего, стоит отметить, что практически все государственные праздники в начале 1920-х гг. имели заметную коммеморативную составляющую, сохраняя в сценарии элементы поминального торжества. К примеру, изначально обращение к памяти о «нашем героическом прошлом» происходило даже 1 мая, когда демонстранты обязательно должны были «поклониться могилам героев». Со временем организация первомайских торжеств утратила этот коммеморативный элемент, ее доминантой стала идея демонстрации процветания и изобилия, разработанная в сценарном отношении еще в период Французской буржуазной революции².

В 1920-х гг. сценарии Октябрьских торжеств сохранили преемственность с имперским периодом. Они также предполагали военный парад, демонстрация заменила крестный ход, а митинг – молебен. Однако стоит подчеркнуть, что дореволюционные демонстрации имели, как правило, протестный характер, в то время, как после Гражданской войны демонстрация отражала иной смысл – торжество власти пролетариев. В соответствии с традицией проводились торжественные заседания администрации города и различных учреждений, устраивались бесплатные зрелища. Каждый структурный

¹ Hartzok J. G. Children of Chapaev.

² Озуф М. Указ. соч. – С. 43.

элемент праздника и до, и после революции актуализировал коллективную память, укреплял идентичность социально-политических групп, расширял их границы.

В начале 1920-х гг. официальный нарратив Октябрьской революции и Гражданской войны только складывался, перед партийными отделами агитации и пропаганды, помимо прочего, стояла непростая задача формирования и трансляции в массы советской версии революционных событий в столице и на местах. Но революционные события еще жили в социальной памяти различных групп городского населения, имевших на эти события собственный взгляд. Представители власти должны были обобщить, унифицировать и дополнить живую память горожан элементами, которых не хватало для построения логичной и относительно полной картины революции в данном регионе. Грубое навязывание обществу придуманной версии революции могло обернуться ее неприятием. Поэтому власть не только прямолинейно излагала в печати и на массовых собраниях собственное видение революции, но и активно стремилась использовать участие очевидцев событий 1917 г. в формировании официального «октябрьского» нарратива, который должен был стать основой коллективной памяти сибиряков.

Следуя дореволюционному опыту, предполагавшему сценарный элемент поминовения усопших героев и чествования живых, предварявший собственно праздник, 6 ноября в городских клубах, на предприятиях, при советских учреждениях и учреждениях культуры устраивались массовые вечера воспоминаний. Эта практика повсеместно вводилась с 1921 г.¹ Подобные мероприятия обязательно проходили во всех губернских и уездных городах Сибири². Их организация опиралась также на традиционную практику дореволюционных праздничных тематических народных чтений в гимназиях, библиотеках и клубах. Кроме того, до революции существовала традиция записи и широкого распространения с идеологическими целями воспоминаний участников и героев войн. «Октябрьские» вечера воспоминаний являются также и отголоском дореволюционной практики поминовения усопших императоров в преддверии праздничных событий в жизни семьи Романовых. Например, следуя традиции, в канун празднования дня совершеннолетия цесаревича Николая Александровича томичи подготовили ему и его родителям подарки в виде икон в серебряных и вызолоченных ризах, а также венок на могилу его деда Александра II, «царя-мученика, даровавшего городам самоуправление»³.

¹ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 36. – Л. 2а.

² ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1359. – Л. 4.

³ ГАТО. – Ф. Д-223. – Оп. 2. – Д. 479. – Л. 3а.

Политическая роль подобных традиционных «поминальных» практик, приуроченных к торжествам, была усилена в 1920-х гг.

Официально цель вечеров воспоминаний состояла в изложении «правдивой» версии революционных событий их очевидцами для фиксации истории революции «по горячим следам». Докладчики, представлявшие свои воспоминания на этих вечерах, чувствовали и позиционировали себя как свидетели и участники величайших событий мировой истории, обладатели практически сакрального знания и опыта. В начале 1920-х гг. рассказчики на некоторых вечерах могли еще выступать относительно свободно, без особой подготовки. Их состав не всегда утверждался заранее. Соответственно, и результат таких выступлений мог не устроить слушателей, как в смысле содержания, так и в смысле манеры его подачи. Но на этом этапе организаторы мероприятия еще признавали, что неудачное выступление «нельзя ставить кому-то вину»¹.

В дальнейшем же с виду уникальные и сугубо индивидуальные воспоминания в действительности предварительно тщательно обрабатывались организаторами Октябрьских торжеств. Видимо, докладчики не сомневались в правомерности такого метода «проработки памяти» в деталях, ведь в целом они доверяли представителям власти и опытным организаторам выступлений, «помогавшим» им построить речь. Случалось, что выступать хотели одновременно многие. В этом случае рекомендовалось организовать два вечера воспоминаний (4 и 6 ноября), чтобы не затягивать программу, не утомлять собравшихся, но и не подавлять энтузиазм потенциальных докладчиков². Транслируясь в массы, рассказы очевидцев событий расширяли коллективную память собравшихся сюжетами, полезными для легитимации власти большевиков, для укрепления революционной идентичности и привлечения в партию новых членов.

Важно то, что уже в начале 1920-х гг. на вечерах, посвященных революционным воспоминаниям, звучали также и рассказы о «первой советской власти» в Сибири, о «колчаковщине» и ее свержении. Обсуждение этих тем на «октябрьских» вечерах было необходимо для формирования массовых унифицированных представлений о результатах революции, ее значении и цене победы революционных идеалов. Темы и программы докладов планировались заранее. Выступая, мемуаристы использовали выверенные пропагандистами доклады. Иногда организаторы вечера заранее решали не допускать

¹ ИАОО. – Ф. П-1. – Оп. 3. – Д. 386. – Л. 9 об.

² Там же. – Оп. 1. – Д. 203. – Л. 54.

того, чтобы участники этих мероприятий начинали «делиться воспоминаниями» (предварительно не согласованными)¹. Несомненно, «в кулуарах» революционеры и подпольщики свободно говорили о пережитом. Но такие беседы не становились достоянием массового слушателя, который приобщался к революционному опыту героев через публично озвученные, но не совсем достоверные воспоминания. Обычно организаторы вечеров сами выступали с краткими обобщающими докладами о причинах революции, ее завоеваниях, всемирном значении и т. п. К примеру, в 1921 г. в задачи агитаторов по всей стране входило подведение итогов революции и пояснение значения нэпа². Выводы и разъяснения организаторов должны были формировать у масс вполне определенные оценки и заполнять лакуны в коллективной памяти, которая без «проработки» неизбежно остается противоречивой, фрагментарной и нелогичной.

В начале 1920-х гг., когда «окторжества» еще не обрели застывший, официально-формализованный вид, вечера воспоминаний проходили в обстановке, накаленной эмоциями: здесь было место и восхищению, и гневу, и слезам³. Вечера обычно завершались концертами с исполнением революционных песен, декламацией революционной литературной прозы и стихов, демонстрацией живых картин («отдельные моменты жизни Красной армии, капитала и труда и т. п.»⁴). Изначально подчеркивалось, что художественная часть вечеров должна иметь строго идеологический характер⁵. В конце вечера эмоциональный накал достигал апогея, в восприятии участников вечера происходило смешение личных воспоминаний с воспоминаниями товарищей и официальной трактовкой событий, художественного и документального, вымышленного и пережитого. Беспартийных участников вечеров изначально привлекал именно этот момент⁶. По всей видимости, многими из собравшихся, включая самого рассказчика, воспоминания воспринимались на веру, а значит, без особых препятствий соединялись с бытовавшей живой коллективной памятью, в идеале вытесняя ее отдельные, идущие вразрез с официальным нарративом элементы.

Признавая большое значение вечеров воспоминаний с точки зрения агитации и пропаганды, партия требовала максимального привлечения к этим мероприятиям «ши-

¹ ЦДНИТО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1329. – Л. 99 об.

² РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 36. – Л. 57.

³ ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1341. – Л. 4.

⁴ Там же. – Д. 1338. – Л. 56.

⁵ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 36. – Л. 47.

⁶ Там же.

роких беспартийных масс»¹. Поэтому, например, рабочие приглашались на вечера с женами. Уже в начале 1920-х гг. на одном таком клубном мероприятии могло собраться до 1500 человек². Позитивные эмоции вызывали и чествования героев труда, которым могли делать памятные подарки, скорее идеологического, нежели прагматического значения (политическая литература)³. Со временем вечера воспоминаний становились все более массовыми. Они выполняли функцию формирования коммеморативного нарратива, а также способствовали созданию необходимой для следующего праздничного дня эмоциональной атмосферы.

Заметно, что в конце 1920-х гг. выступления очевидцев революционных событий обрели «репертуарную» предсказуемость, а общий тон всем рассказам задавал какой-нибудь официальный доклад на актуальную для того дня политическую тему. Слушатели начинали скучать. Уже в преддверии десятилетия Октября томские организаторы вечеров были вынуждены решать проблему преодоления шаблонности выступлений докладчиков. Выход тогда видели в усилении внимания к событиям местной революционной истории и к местным достижениям, т. е. к материалу, более актуальному для томищей⁴.

В 1920-х гг. общие собрания по предприятиям могли устраиваться уже 4 или 5 ноября. Их цель состояла в подготовке рабочих к празднику, в разъяснении им значения Октябрьских торжеств⁵. Нами замечен также омский случай начала предварительных мероприятий уже 1 ноября 1925 г.⁶ В 1930-х гг. вечера воспоминаний и «публичные читки» трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина о революции в ходе «летучек» начинались за две-три недели до самого праздника. Чтение трудов вождей, отрывками публиковавшихся в газетах, проходило под лозунгом изучения истории революции. Понятно, что новых сведений о революционном движении в Сибири и Советском Союзе в целом эти труды не добавляли. Хотя есть примеры вечеров воспоминаний, посвященных «поколению, воспитанному революцией»⁷, в целом все меньше внимания уделялось живым, индивидуальным, не звучавшим ранее рассказам об Октябре и Гражданской войне.

¹ Там же. – Л. 2а.

² ИАОО. – Ф. П-1. – Оп. 3. – Д. 386. – Л. 9.

³ Там же. – Ф. П-7. – Оп. 2. – Д. 285. – Л. 6.

⁴ ЦДНИТО. – Ф. 76. – Оп. 1. – Д. 307. – Л. 25.

⁵ ИАОО. – Ф. П-1. – Оп. 3. – Д. 362. – Л. 4.

⁶ Там же. – Ф. 7. – Оп. 1. – Д. 203. – Л. 38.

⁷ Накануне 15-й годовщины революции // Красное знамя. – 1932. – 5 окт.

К тематике воспоминаний добавились успехи промышленного строительства. Эта тема тенденциозно вытесняла собственно революционную проблематику.

Однако в октябрьские дни 1930-х гг. Истпарт и отдельные группы Сибирского землячества, куда входили старые большевики, устраивали и более серьезные вечера воспоминаний. Их цель состояла в сборе материала о революции и Гражданской войне. Формально приуроченные к революционным датам, эти мероприятия фактически посвящались периоду с 1917 до 1922 г. Участниками подобных вечеров были старые подпольщики. Они стремились к установлению точности в спорных моментах и предпринимали попытки теоретизации данных, составлявших основу коллективной памяти их группы (предлагали, например, периодизацию истории подпольной работы в Сибири). Складывается впечатление, что участники этих вечеров продолжали в 1930-е гг. жить Гражданской войной. Их доклады и диалоги проходили в атмосфере погружения в прошлое. В докладах часто повторяются одни и те же сюжеты, что свидетельствует о многократных обсуждениях подпольщиками тем, составлявших каркас их живой коллективной памяти. Столь характерное для 1930-х гг. прославление И. В. Сталина и привязка революционного героизма к успехам послевоенного развития страны здесь не акцентировались.

Они считали свои воспоминания большой ценностью, сетовали на скорое забвение героев и жертв Гражданской войны, старались назвать под запись имена тех, кто не был широко известен в 1930-е гг., понимая, что в противном случае об этих людях, отдавших свою жизнь за революционные идеалы, уже больше никто не вспомнит¹. Однако уже на этих вечерах звучала мысль о том, что из-за высокой степени конспирации большевиков и значительных людских потерь более или менее точная реконструкция истории подпольной борьбы вообще невозможна, как невозполнимо утрачены имена многих убитых подпольщиков. Содержание воспоминаний охватывало уже известные в целом историкам и общественности сюжеты, однако новизну этим рассказам придавало освещение деталей и выражение личных переживаний докладчиков².

При изучении источников складывается такое впечатление: хотя перед Истпартами 1930-х гг. и стояла задача работы с воспоминаниями подпольщиков, рассказы последних особенно не тиражировались. Заслуги сибирского подполья были официально признаны

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 3. – Д. 92. – Л. 105.

² Там же. – Оп. 3. – Д. 92. – Л. 229; Оп. 4. – Д. 1715. – Л. 16–18.

властью как один из важнейших факторов победы большевиков в Гражданской войне¹. Но подпольщики, уже спокойно почивавшие на лаврах, жили, скорее, своим героическим и драматичным прошлым, а не будущим, что не соответствовало идеологическому духу времени. Поэтому можно полагать, что вечера воспоминаний подпольщиков нужны были, прежде всего, им самим. Встречи и беседы укрепляли их сообщество и морально их поддерживали.

В 1925 г. омичи попробовали разнообразить и усилить в художественном отношении праздничную программу массовой уличной инсценировкой, предшествовавшей демонстрации. Сама по себе идея не была нова ни для России, ни для Сибири, в частности. К примеру, еще в ходе массового празднования 300-летия Томска (1904 г.) сразу на нескольких площадках устраивались народные чтения и спектакли, цель которых определялась так: «Демонстрировать туманные картины из жизни Томска и Сибири в целом»². С. Ю. Малышева отмечает, что в 1918–1920 гг. масштабные многочасовые инсценировки на улицах вообще были характерны для празднеств в столичных городах. В начале 1920-х гг. мода на них докатилась и до провинции³. Считалось, что инсценировки являются очень действенным средством политической социализации молодежи и укрепления революционной идентичности старшего поколения. Как и выверенные воспоминания, инсценировки, предполагавшие участие зрителей, служили вытеснению и коррективке реальных воспоминаний населения о революции, их подмене «правильным» видением военно-революционных событий.

Шестого ноября 1925 г. в Омске было разыграно взятие Зимнего дворца, «роль» которого исполнил ярко подсвеченный «Дом молодой гвардии». Всего в этой игре было задействовано несколько тысяч человек, изображавших с одной стороны большевиков, с другой стороны – юнкеров и женский батальон, защищавших Зимний. Предполагалось, что «старики вспомнят славные дни, а молодежь будет наглядно учиться примеру старших товарищей»⁴. Печать так описала действие: «Неожиданно взвились, прорезая ярким блеском ночную тьму, синие ракеты. Прогремел орудийный выстрел. В западной части города загрохотали пушки. Послышалась частая ружейная стрельба, показались грузовики с рабочими и красноармейцами, за ними боевые цепи. Послышалась стрельба из

¹ Краткий курс истории ВКП(б).

² ГАТО. – Ф. Д-233. – Оп. 2. – Д. 2667. – Л. 17 об.

³ Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции... – С. 114–128.

⁴ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 203. – Л. 60.

орудий, ружей, револьверов. Началось наступление на двери с четырех сторон. С крыши доносилась отчаянная стрельба теряющих почву под ногами юнкеров...»¹. Журналист отмечал живое участие масс в происходившем: увлекшись действием, люди прорвали заградительную цепь и «хлынули волной» к участникам инсценировки, «слившись с ними в едином порыве»². Таковым было официальное видение этого элемента праздничной коммеморации. Данная инсценировка не являлась единственной в Западной Сибири. К примеру, в 1927 г. в Новосибирске тоже была устроена массовая инсценировка в нескольких сценах, посвященная событиям революции³.

Массовые праздничные торжества 7 ноября во всех городах обязательно открывались военным парадом. Парад являл собой демонстрацию военного потенциала, а на этапе утверждения окончания Гражданской войны наглядно показывал обывателям, кто реально держит власть в городе. По крайней мере, по масштабам эти парады не должны были уступать тем, что устраивались в период «колчаковщины», когда, к примеру, в Омске 9 декабря 1918 г. по центральной площади промаршировало до 25–30 тыс. военных⁴. В 1920 г. Октябрьская комиссия, работавшая в Москве, так объясняла значение парада: «Пехота, конница, артиллерия – все эти части могут выступить на торжествах как олицетворение силы и мощи республики, как авангардные отряды мировой красной армии». Пристальное внимание уделялось обязательному использованию на парадах советской символики⁵. Место проведения военных парадов осталось прежним. Например, в Томске военные, как и до революции, маршировали по Новособорной площади (площади Революции)⁶. Со временем парады становились все зрелищнее. К примеру, в 1935 г. в Новосибирске в военном параде впервые принимала участие авиация⁷. В 1930-х гг. печать акцентировала внимание на молодости и юной силе сибирских бойцов, а не на связи поколений – молодежи и бойцов времен Гражданской войны.

Октябрьские торжества невозможно представить без массовой демонстрации. Ярчайшая демонстрация 1927 г., по мнению К. Ф. Корни выражала единство, сплоченность и энтузиазм рабочих масс, уверенность пролетариата, победившего в нелегкой борьбе.

¹ Праздник Октября в Омске // Рабочий путь. – 1925. – 10 нояб.

² Там же.

³ Памятник В. И. Ленину // Сов. Сибирь. – 1927. – 29 окт.

⁴ Белый Омск: Омск – столица Белой России, 1918–1919 гг. – Омск, 2011. – С. 16.

⁵ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 5. – Л. 13.

⁶ Чернов К. А. Военные парады в Томске // Сибирская старина. – 2003. – № 20. – С. 23.

⁷ Каким будет парад // Сов. Сибирь. – 1935. – 3 нояб.

Более того, демонстрация выражала «внутреннюю гармонию» революционной истории и ее субъекта – народных масс¹.

Как мы уже отметили, организация демонстраций базировалась на опыте крестных ходов. Люди, участвовавшие в дореволюционных крестных ходах, стремились к храму как конечной цели. Томский храм Вознесения Христова, где собрались участники крестного хода 1702 г., находился на кладбище, соответственно, обязательным был и поклон предкам². Дореволюционный крестный ход с иконами звучал как «несение знамени веры, декларация ее идей и символов», воспринимался как средство морального очищения и духовного укрепления³. Он имел также и мистическое охранительное значение. «Во дни бед народных» участники крестных ходов испрашивали здоровья и мира. Крестные ходы, приуроченные к государственным праздникам, служили также выражению верноподданнических чувств государю. По большому счету, смысл советской демонстрации также состоял в декларации идей и символов, но не религиозных, а политических, они служил укреплению политической солидарности большевиков и укреплению в народной среде своеобразной веры в революционные идеалы.

Демонстрация начала 1920-х гг., в которой могло участвовать приблизительно 2500 человек⁴, стремилась, как к конечной цели, к новым сакральным местам – к братским могилам жертв Гражданской войны, имевшимся в каждом городе. Там устраивался митинг с целью поминовения героев и воодушевления их примером уцелевших в огне войны борцов за идеалы революции. Вообще, посещение могил предков в праздник коренится в недрах языческой культуры. Думается, что для поколения, воспитанного в религиозной среде, эти посещения братских могил в праздничные дни по инерции продолжали ассоциироваться с привычным поминовением предков, которые, с точки зрения традиционного мировоззрения, оберегают живых, если те выражают почтительное отношение к ним. В преддверии празднования третьей годовщины Октября Сибревком акцентировал внимание на следующем: «Память павших борцов должна быть отмечена должным образом. Если в городе есть могилы павших борцов, им должно быть уделено наибольшее внимание, и организация шествия должна обязательно не миновать их»⁵. Сравнение сценариев Октябрьских торжеств, составлявшихся для Москвы и для городов

¹ Corney F. C. Op. cit. – P. 175–199.

² Евтихеева И. А. Крестные ходы по томской земле // Сиб. старина. – 2003. – № 20. – С. 13.

³ Там же.

⁴ ИАОО. – Ф. П-1. – Оп. 3. – Д. 386. – Л. 4.

⁵ ЦДНИТО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1252. – Л. 17.

Западной Сибири, позволяет сделать вывод о том, что сибиряки уделяли больше внимания организованному посещению братских могил. Там воспроизводились элементы «красной» похоронно-поминальной обрядности: участники действия традиционно укладывали на могилы новые венки, снимали шапки с голов, опускали знамена. Однако добавились и нововведения: исполнялись «Интернационал» и похоронный марш (эта музыка заменила традиционное пение священника), клялись продолжать дело, начатое погибшими героями. В начале 1920-х гг. обязательно устраивались митинги у братских могил, на которые традиционно возлагались цветы¹. Помимо поминовения павших героев, митинг акцентировал внимание и на актуальных политических темах сегодняшнего дня. В 1921 г. общей для страны стала тема митинга «Завоевания Октябрьской революции и новая экономическая политика»².

Но с 1923 г. торжества в западно-сибирских городах становились все более массовыми, зрелищными и оптимистичными. Протоколы заседаний Центральной Октябрьской комиссии, проходившие в Москве в 1923 г., не содержали предложений устраивать коллективные посещения могил героев 7 ноября³. Коммеморативные действия у братских могил в городах Западной Сибири преимущественно прекратились уже в 1924 г. По плану демонстрации 1928 г. в Новосибирске колонны ее участников проходили лишь *мимо* братских могил на пути к Гортеатру, где завершалось шествие⁴. Типичной для официальных планов «окторжеств» стала формулировка: «Можно, если будет время, вспомнить участников великого переворота»⁵. Лишь в Барнауле в 1927 и в 1930 г. все-таки состоялись посещения демонстрантами братских могил⁶.

Еще в середине 1920-х гг. демонстрация «оживлялась» карнавальным шествием. Лишь в 1923 г. было решено не устраивать веселых карнавалов из-за трагических событий в Германии⁷. Серьезные и драматичные коммеморативные практики начала 1920-х гг. сменялись театрализованными и карнавальными элементами шествия демонстрантов, живыми картинами, выражавшими актуальные политические идеи. Могли быть представлены и «фигуры из прошлого»: царь (обычно в виде чучела), поп (обычно карика-

¹ ГААК. – Ф. П-2. – Оп. 4. – Д. 335. – Л. 5.

² РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 36. – Л. 2а.

³ Там же. – Д. 153.

⁴ ГАНУ. – Ф. П-18. – Оп. 1. – Д. 1449. – Л. 2.

⁵ ЦДНИТО. – Ф. 76. – Оп. 1. – Д. 1115. – Л. 2.

⁶ Барнаул в праздник Октября // Красный Алтай. – 1927. – 3 нояб.; Демонстрация 7 ноября // Красный Алтай. – 1930. – 10 нояб.

⁷ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 135. – Л. 34.

турный), «контрреволюция», «автомобиль Октября» (Барнаул, 1927 г.)¹. Новосибирское карнавальное шествие 1929 г. должно было демонстрировать темы: «События на КВЖД», «Пятилетка» и пр.² В 1930-х на, популярных в те годы, карнавалах было много оригинального, но уже практически ничего коммеморативного.

Обязательным элементом торжества 1930-х гг. оставался митинг демонстрантов на центральной площади, лейтмотивом которого также являлся отчет партийных лидеров города об успехах индустриализации. Историческая тематика на митингах 1930-х гг. становилась все менее актуальной.

К главному политическому празднику нередко приурочивали закладку и открытие новых революционных памятников, а также мемориальных досок, занимавших иногда старые памятные места, что отвечало дореволюционной традиции³. Седьмого ноября 1921 г. в Барнауле заложили памятник на могиле жертв революции (так началось формирование мемориальной аллеи на проспекте Ленина). Во время закладки все духовые оркестры и певцы исполняли похоронный марш и «Вечную память». Музыкальный фон сближал эти действия опять-таки с «красным» похоронно-поминальным обрядом. Такие действия, как и открытие памятников, разрушали в сознании их участников обычные временные границы между прошлым, настоящим и будущим, условно оживляя павших героев. Церемонии открытия советских памятников базировались на дореволюционном опыте. Открытие памятников «в Бозе почившим» императорам сопровождалось молебствием (пелись «Многие лета» и «Вечная память»), пальбой пушек Петропавловской крепости, колокольным звоном. В конце протодьякон оптимистично возглашал многолетие всероссийскому воинству и всем верноподданным⁴. Примеры закладки и открытия памятников жертвам «колчаковщины», а также Ленину в день 7 ноября многочисленной главе⁵. В конце десятилетия перед Октябрьскими торжествами приводили в порядок братские могилы; на зданиях, связанных с революционными событиями, размещали соответствующие таблички⁶. Окончание строительства различных объектов также

¹ Десятый Октябрь в Барнауле // Красный Алтай. – 1927. – 10 нояб.

² ГАНУ. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1156. – Л. 2.

³ См. подробнее: Красильникова Е. И. Создание в городах Западной Сибири памятников, посвященных юбилеям ключевых событий в истории Дома Романовых (конец XIX – начало XX в.) // Тобольск научный – 2012. – Тобольск, 2012. – С. 347–351.

⁴ РГИА. – Ф. 473. – Оп. 1. – Д. 886. – Л. 2–3 об.

⁵ ИАОО. – Ф. П-1. – Оп. 3. – Д. 386. – Л. 4.; ЦДНИТО. – Ф. 76. – Оп. 1. – Д. 1115. – Л. 2.; Памятник В. И. Ленину // Сов. Сибирь. – 1927. – 29 окт.

⁶ ГАНУ. – Ф. П-18. – Оп. 1. – Д. 1449. – Л. 48.

посвящали годовщинам Октября¹. В годы форсированной индустриализации к 7 ноября открывали преимущественно не мемориальные объекты, а объекты практически полезные, актуальные в контексте промышленного строительства и социального обеспечения населения (мост через Иртыш, ясли, бани и др.)².

Вечером после демонстрации рабочие и служащие приглашались в клубы для продолжения празднования. Городская администрация, руководящий состав наиболее крупных предприятий и заведений устраивали торжественные заседания. До революции подобные заседания городских дум зачастую предварялись панихидой или божественной литургией. Теперь главное торжественное заседание страны проходило в колонном зале Дома Союзов. На местах для этих целей обычно использовались театры.

В начале 1920-х гг. торжественные заседания горсоветов и других организаций по аналогии с имеющимся опытом начинались с минуты молчания в память о борцах, павших за идеалы революции. Далее зачитывались доклады, посвященные жертвам революционной борьбы и последним достижениям советской власти. Со временем памяти «погибших героев» на торжественных заседаниях уделялось все меньше внимания. Однако смерть В. И. Ленина в 1924 г. и последовавшие за ней смерти М. В. Фрунзе (3 ноября 1925 г.), а также Ф. Э. Дзержинского (20 июля 1926 г.) обязывали сибиряков официально отдать дань их памяти на торжественных заседаниях³.

В последующие годы коммеморативная составляющая торжеств в ряде случаев ослабевала. Уже на примерах празднования десятилетнего юбилея Октябрьской революции заметно внедрение нового идеологического концепта праздника – идеи трансформации. Революция начинала восприниматься как переломный момент, поворотная точка в истории, изменившая коренным образом все сферы жизни общества. Так, 7 ноября 1927 г. на торжественном заседании научных работников томских вузов ректоры Томского государственного университета и Сибирского технологического института «осветили» лишь «достижения советской власти в деле высшего образования», а также тему «Индустриализация и вуз», не углубляясь в историю, и уж тем более не драматизируя ее⁴. Однако в Барнауле празднование десятилетия Октября еще имело сильную коммеморативную составляющую. В барнаульском Гортеатре вечером 7 ноября прошел

¹ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 3. – Д. 36. – Л. 45.

² Подготовка к Октябрю // Красное знамя. – 1931. – 5 нояб.

³ Восьмая годовщина Октября в Томске // Красное знамя. – 1925. – 10 нояб.; Торжественное заседание в Гортеатре // Рабочий путь. – 1926. – 8 нояб.

⁴ ГАТО. – Ф. Р-18. – Оп. 1. – Д. 1449. – Л. 48 об.

торжественный пленум партии, на котором выступали участники Гражданской войны Вахрушев и Долгих с рассказами о подвигах партизан и о барнаульском отряде Красной гвардии¹.

Главной темой докладов в 1930-е гг. стало подведение итогов экономического и культурного строительства за весь послевоенный период. Особенно актуальной становилась эта тема в 1932 и 1937 гг. (15-летие и 20-летие Октября). Однако к концу 1930-х гг. традиционный коммеморативный элемент сценария заседания вновь тенденциозно усиливался. Но он имел отличительную от предыдущего десятилетия специфику. В начале мероприятия обычно вспоминали имя В. И. Ленина, следом называли имена других «борцов, погибших за идеалы большевизма», список которых заметно прирастал именно в 1930-х гг. (Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, М. В. Фрунзе, С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе). После оглашения данного списка звучали траурный марш и призыв почтить память «борцов» вставанием². Этот момент заседания служил собравшимся напоминанием идеологической формулы: чем существеннее наши экономические достижения, тем острее классовое сопротивление врагов народа, тем дороже жертвы, которые приносит народ, упорно строящий социализм. Как и в дни похорон этих людей, либо повторялась мысль о том, что «борцы» были убиты (умерщвлены) врагами, либо констатировалась их смерть от истощения сил в тяжелой борьбе за социалистические идеалы. Показательно, что на торжественных заседаниях горсоветов 1930-х гг., посвященных годовщинам Октябрьской революции, уже не вспоминали тех, кто погиб именно в 1917–1920 гг., минута молчания посвящалась преимущественно ушедшим героям советской страны последних лет. Редко заострялось внимание и на местных героях³.

Торжественные заседания второй половины 1930-х гг. были невероятно помпезными. Ораторы пользовались любой возможностью прославить вождя в пламенной речи. С середины 1930-х гг. при формировании президиума заседания в первую очередь в него заочно избирали И. В. Сталина, а следом и членов правительства. Каждое упоминание имени вождя вызывало волну продолжительных рукоплесканий, заканчивалось заседание речами, прославлявшими Сталина.

¹ Десятый Октябрь в Барнауле: (пленум в Гортеатре) // Красный Алтай. – 1927. – 10 нояб.

² ГААК. – Ф. Р-312. – Оп. 3. – Д. 28. – Л. 19.

³ На пленуме Городского совета: вечер радости // Омская правда. – 1935. – 10 нояб.

Неофициальная часть Октябрьских торжеств 1920-х гг. приходилась преимущественно на вечер 7 ноября. Клубы и театры обязательно приглашали на спектакли и концерты, подготовленные как профессиональными артистами, так и самодеятельными коллективами. В 1920 г. Центральная Октябрьская комиссия рекомендовала ставить на местах пьесы о взятии Бастилии, сцены из «Бориса Годунова» по А. С. Пушкину. Обращалось внимание и на такие произведения, как, «Мститель» П. Клоделя, «Советы» и «Освобожденный труд» П. А. Арского¹. В Западной Сибири начала 1920-х гг. театральные постановки были разнообразными, обыватели могли пойти как на классическую оперу («Аида», «Тоска» Дж. Верди и др.), привлекавшую и до революции многих жителей сибирских городов, так и на драматические спектакли, некоторые из которых соответствовали праздничной тематике (в Томске в 1920 г. шли пьесы «Борьба» и «Поп»)². Однако в начале 1920-х гг. драматургами было написано еще слишком мало революционных сценариев достойного в художественном отношении качества. Важно и то, что до Сибири новые пьесы доходили с опозданием³. Клубы могли предлагать концерты, включавшие в себя песенные, танцевальные и драматические номера. Историческое содержание имели, к примеру, сценки типа «живого календаря».

В 1930-х гг. театры и клубы также часто приглашали зрителей на спектакли классического репертуара. К примеру, в 1936 г. на театральных площадках Новосибирска шли пьесы «Не было ни гроша» и «Свои люди – сочтемся» А. Н. Островского, постановки по произведениям А. П. Чехова «Предложение» и «Медведь». Одновременно клубная концертная программа включала в себя песни о Сталине⁴. Сибгостеатр приглашал зрителей на драму о Гражданской войне «Любовь Яровая» К. А. Тренева⁵.

Большевики широко использовали для пропаганды в праздничные дни кино, которое было очень популярно среди масс. Власть расценивала его и как «приманку» для зрителей, и как средство политического образования⁶. Праздничный репертуар кинотеатров 1920-х гг. в день 7 ноября был также разнообразным. В начале десятилетия в главный революционный праздник показывали самое разное кино, создававшее праздничную атмосферу. По выводам английского историка П. Кенеза, только в 1923–1924 гг.

¹ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 5. – Л. 3, 13, 16.

² Подготовка к празднованию годовщины Октября // Знамя революции. – 1920. – 26 сент.

³ Литвинова О. А. Указ. соч. – С. 133.

⁴ Что покажут клубы города // Сов. Сибирь. – 1936. – 5 нояб.

⁵ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1936. – 6 нояб.

⁶ Kenez P. Cinema and the Soviet Society from the Revolution to the Death of Stalin. – P. 27–28.

государство окончательно признало советское кино важным средством агитации и подчинило этим целям, хотя отдельные картины еще содержали спорную с точки зрения власти оценку недавнего исторического прошлого («Аэлита» И. А. Протазанова, снятая по новелле А. К. Толстого). Для зрелищности и привлекательности фильма сценаристы использовали сатиру и эксплуатировали приключенческий жанр. Художественное кино на исторические темы допускало вымысел и фантазии. Наслаждаясь превосходной игрой молодых актеров и захватывающими сценами битв, зрители не обращали внимания на неправдоподобность событий, представленных в кино, воспринимая их на веру. Показателен в этом смысле пример фильма «Красные дьяволята» И. Н. Перестиани, где продемонстрирован вымышленный эпизод пленения Н. И. Махно и его передачи войску С. М. Буденного¹. Вообще, с 1919 по 1932 г. на экраны страны вышло не менее 114 художественных фильмов, действие которых происходило во время Гражданской войны, что составило около 10 % всех снятых картин². Часть этих фильмов оставалась востребованной в дни Октябрьских торжеств на протяжении нескольких последующих лет.

Однако многие картины, демонстрировавшиеся в праздничные дни периода нэпа, не были ни историческими, ни серьезными. Но особенно стоит отметить, что вторая половина 1920-х гг. была ознаменована выходом на экраны знаменитой трилогии С. М. Эйзенштейна «Стачка», «Броненосец Потемкин» и «Октябрь». Эти фильмы – общепризнанные образцы высокого кинематографического искусства, инновационного для своего времени, претендовали на документальность подачи исторического материала. Для достижения эффекта правдоподобия Эйзенштейн, к примеру, использовал в съемках сцен штурма Зимнего дворца непрофессиональных актеров. Но режиссер не сопротивлялся искушению преувеличить масштаб событий³.

Фильм «Октябрь» не был готов к десятилетней годовщине революции. Его показ состоялся позже, однако эта картина и после праздника эффективно справлялась со своими пропагандистскими задачами легитимации самой революции и ее детища – большевистского политического режима. П. Кенез считает, что зрители воспринимали кино в первую очередь как развлечение, ждали интересной истории и героя, в котором хотели видеть самих себя. Поэтому, подстраиваясь под публику, кино, снятое на исторические

¹ Kenez P. The Berth of Propaganda State... – P. 205–206.

² Волков Е. В. Указ. соч. – С. 95.

³ Kenez P. The Berth of Propaganda State. – P. 211.

темы в 1920-х гг., искало способы вести пропаганду, одновременно развлекая зрителей¹, что было особенно важно в условиях праздника. Одновременно фильмы Эйзенштейна, Ветрова, Пудовкина и других мэтров кино второй половины 1920-х гг. были глубоко-мысленны, они изображали революцию концептуально, приподнимая ее над миром обыденного – не просто как цепочку стихийных событий, а как нечто заранее предопределенное движущими силами мировой истории².

В 1930-х гг. появились новые революционные киноленты, демонстрировавшие в октябрьские дни. На рубеже 20-х и 30-х гг. признанные мэтры советского кино были обвинены в «формализме». Критика требовала создания кино, доступного для понимания широких масс. Новое кино фиксировало внимание уже не на массовом, обезличенном революционном героизме, а на образах конкретных героев, которые могли бы послужить примерами борьбы за новые достижения, прежде всего в сфере индустриального строительства. Однако факты свидетельствуют, что в западно-сибирских городах в первой половине 1930-х гг. нередко повторялись показы фильмов прошлого десятилетия. Ежедневные газеты зафиксировали праздничный репертуар кино третьего десятилетия XX в. Это фильмы «Красные дьяволята» И. Н. Перестиани (1923 г.), «Броненосец Потемкин» С. М. Эйзенштейна (1925 г.), «Москва в Октябре» Б. В. Барнета (1927 г.), «Герои домы» Е. А. Иванова-Борткова (1928 г.), «Два броневика» С. А. Тимошенко (1928 г.)³, «Мятеж» С. А. Тимошенко (1928 г.)⁴; «За советскую Родину» Р. А. и Ю. А. Музыкантов (1937 г.)⁵. Также кинотеатры приглашали зрителей на просмотр детских картин, имевших коммеморативное содержание: «Хочу быть летчицей» К. А. Гертеля (1928 г.), «Адрес Ленина» Б. Л. Бродянского (1929 г.)⁶. Шла социальная драма о перевоспитании беспризорников в первые годы советской власти «Путевка в жизнь» Н. И. Экка (1931 г.), фильм «Солдатский сын» («Детство большевика») Н. И. Лебедева (1933 г.)⁷ и др.

Событием стал выход на широкие экраны страны 7 ноября 1934 г. кинофильма «Чапаев», уже упомянутого нами⁸. Эта картина очень понравилась вождю и имела оше-

¹ Ibid. – P. 214.

² Kenez P. Cinema and the Soviet Society from the Revolution to the Death of Stalin. – P. 57.

³ Кино в Октябрьские дни // Сов. Сибирь. – 1934. – 1 нояб.

⁴ [Объявление] // Сов. Сибирь. – 1937. – 6 нояб.

⁵ [Объявление] // Там же.

⁶ Зрелищные предприятия в Октябрьские дни // Рабочий путь. – 1933. – 7 нояб.

⁷ Кино в Октябрьские дни // Сов. Сибирь. – 1934. – 1 нояб.

⁸ Театры и кино в Октябрьские дни // Сов. Сибирь. – 1935. – 4 нояб.

ломляющий успех у публики, смотревшей фильм по нескольку раз. Киноведы отмечают, что события Гражданской войны, представленные в фильме, были сильно искажены, но впервые советский кинематограф представил врага «достойным» – сильным, опытным, убежденно отстаивающим свои идеалы¹.

Во второй половине 1930-х гг. премьеры исторического кино продолжались. К примеру, в 1938 г. зрителям предлагался к просмотру новый фильм «Человек с ружьем» С. И. Юткевича, П. Н. Арманда и М. Я. Итиной. Анонс сообщал, что это – фильм «о первых днях советской власти, о том, как петроградский пролетариат вместе с крестьянством, под руководством большевистской партии, защищая революцию, героически сражался с эсеровско-белогвардейской контрреволюцией. В центре фильма великие вожди революции – Ленин и Сталин...»².

Еще в 1920 г. Центральная Октябрьская комиссия постановила устраивать революционные выставки документов, лубков, карикатур, лозунгов, газетных вырезок и прочих материалов в музеях и библиотеках³. Сибиряки, следуя этому постановлению, уже в 1920-х гг. накапливали опыт в организации подобных выставок. В 1930-х гг. бесплатные выставки в музеях, архивах и библиотеках стали для горожан привычными. Они посвящались не только революционной истории, но также хозяйственным и культурным достижениям последних лет⁴.

Заметно, что с течением времени экономические выставки становились все более актуальными и даже подавляли тему революции. Если в 1932 г. в Октябрьские дни архивное бюро Омска выставляло документы лишь дореволюционного периода и 1917–1920 гг.⁵, то годом позже эти документы были дополнены выставкой материалов по экономическому развитию Сибири с дореволюционных лет до современности⁶. Популярными в эти годы были выставки в окнах музеев и учреждений, которые можно было на ходу бегло осмотреть с улицы. Здесь могли быть представлены и фотографии, и документы, и, к примеру, макет шалаша В. И. Ленина, выставлявшийся в витрине томского универмага⁷. Помимо того, что подобные выставки усиливали ощущение праздника и

¹ Волков Е. В. Колчаковщина в советском игровом кино. – С. 91.

² К 21 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции // Сов. Сибирь. – 1938. – 6 нояб.

³ РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 60. – Д. 5. – Л. 19.

⁴ Выставка к празднику // Рабочий путь. – 1930. – 2 нояб.

⁵ Хроника Октябрьских дней в Омске // Рабочий путь. – 1932. – 6 нояб.

⁶ Зрелищные предприятия в Октябрьские дни // Рабочий путь. – 1933. – 7 нояб.

⁷ Октябрьские огни // Красное знамя. – 1935. – 10 нояб.

делали музей более доступным, они выступали действенным способом индокринирования.

В октябрьских коммеморациях было мало новых элементов. Торжества устраивались преимущественно по традиции, большевики не пытались внедрять новационные формы торжеств. Лишь рост значения кино представляется нам внешней чертой, отличающей советские государственные праздники от дореволюционных. Стоит отметить, что на политических похоронах, в праздничные дни активно использовалась советская символика, заменившая имперскую и религиозную. Однако посредством традиционных по форме торжеств реализовывалась политика памяти, наполнявшаяся актуальными смыслами, преследовавшая все новые цели, связанные с проблемами экономического развития, внутрипартийной борьбы и борьбы с инакомыслием в обществе.

Очень важным является вопрос о восприятии обществом праздничных коммемораций. Разумеется, нельзя верить во всеобщий восторг от торжеств, который ежегодно описывали газеты. Значительная часть населения воспринимала праздник скептически, особенно в начале 1920-х гг. Это подтверждается множеством фактов. К примеру, в письмах красноармейцев, тщательно вычитывавшихся военной цензурой, нередко фиксировалось неверие коммунистам и негативное отношение к празднику. Так, после торжества в Омске один из солдат писал: «Как вы там встретили праздник? У нас солдаты спектакль поставили, в часовне на место креста воткнули флаг. Теперь там форменный дом терпимости или просто бардак. Б...дей набирается! Хоть еще десять лет война будет – им ничего»¹. Звучит в этом отрывке из письма осуждение или насмешка – не очень понятно, однако очевидно, что к празднику выражено негативное отношение, отнюдь не сопряженное с восторгом. Фиксировались также критичные оценки в адрес эстетики торжеств, их организации: «У омских организаторов совсем нет никакого вкуса, все тут к черту годятся, город так украшен, что хуже не надо. Оратор говорил только один с балкона театра. Было страшно неорганизованно»². Со временем качество организации праздников повышалось, но и это нравилось далеко не всем.

В середине 1920-х гг. неоднократно организаторы демонстраций обращали внимание населения на необходимость совершенствования «культуры демонстраций». Очевидно, что их массовость обеспечивалась не только за счет добровольного участия ра-

¹ ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Д. 29. – Л. 35.

² Там же.

бочих в шествиях, но и за счет принуждения. Перспектива участвовать в демонстрациях многих отпугивала. В 1925 г. на омскую демонстрацию 7 ноября явилась лишь половина запланированных участников шествия. Многие воспринимали демонстрацию как «обязаловку», сбегали, не дойдя до конца, кое-кто говорил: «А ну их к черту с их праздником, пошел домой». Некоторые покидали торжество, как только начинался скучный для них митинг, тем более, что речи агитаторов было плохо слышно. Печать объясняла, что демонстрация должна отражать праздничный исторический день и закреплять революционные завоевания масс, но по факту она едва ли добивалась этих целей¹. В демонстрациях отказывались участвовать преподаватели вузов и рабочие частных предприятий, заявляя: «Нам нет дела *до ваших* демонстраций». Отмечалась и несерьезность отношения к содержательной стороне праздника. Многие демонстранты, идя в колоннах, обсуждали грядущее застолье, прикидывали, «хватит ли водки и закуски»².

К. Ф. Корни обнаружены и более жесткие свидетельства неприятия Октябрьских торжеств. Им установлено, что в 1927 г. партийные оппозиционеры выставляли в окнах своих квартир портреты Троцкого и Зиновьева, выражая таким образом поддержку этим «врагам», а также пытались забросать мочеными яблоками демонстрантов³.

Документы, относящиеся к 1930-м гг., позволяют судить о некоторых повседневных проблемах в организации Октябрьских торжеств, которые неизбежно отвлекали собравшихся от основной темы мероприятия. Это – теснота клубных помещений, «хождения» и шум в зале, алкоголь и пьяные драки. В 1931 г. художественная часть праздника, устроенного в одном из томских вузов, привлекла такое количество желающих насладиться зрелищем, что возникла настоящая давка. Пожарный, которому было поручено следить за порядком, разогнал «давившихся» студентов и рабфаковцев струей воды из пожарного рукава. История этого «торжества» окончилась судебным разбирательством. Когда партийное руководство взывали к ответу за пьянство пролетариев в революционный праздник, они разводили руками со словами: «Почему была пьянка? Потому, что рабочий класс пьет, а вы не пьете?»⁴.

Источники отражают также неоднозначное восприятие отдельных коммеморативных элементов торжеств. К примеру, относительно масштабной омской инсценировки

¹ Пикуров Н. Культура демонстраций // Рабочий путь. – 1926. – 27 апр.

² ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 204. – Л. 3.

³ Corney F. С. Op. cit. – P. 178.

⁴ ЦДНИТО. – Ф. 80. – Оп. 1. – Д. 121. – Л. 35–45.

1925 г. прозвучало немало осуждающих высказываний. Инсценировка действительно вызвала массовое столпотворение. Среди собравшихся преобладали молодежь и люди среднего возраста. Однако случайно оказались здесь и те, кто совершенно не желал смотреть постановку. Сами постановщики «Взятия Зимнего дворца» запомнили женщину, сетовавшую на то, что сквозь эту толпу невозможно протиснуться, а дома ее ждет голодный ребенок. Среди собравшихся звучало много критических замечаний о бесполезной трате денег на инсценировку. Старики ворчали: «Не позаботились нам повышенную пенсию дать, а вот тратят порох, который стоит наших денег»; «Лучше бы потратили деньги на матпомощь безработным, меньше было бы проституток»; «Лучше тратить деньги на армию и беспризорников». Выражались и мнения совершенно «контрреволюционные», к примеру: «Как бы через год-другой не пришлось смотреть нам инсценировку о падении большевиков»¹. Такие высказывания были ожидаемы в бывшей «столице колчаковщины». Безусловно, власть настораживали подобные реакции на торжества. Видимо, отчасти поэтому в дальнейшем формы торжеств и коммемораций становились все более стандартными и однозначными, их организаторы стремились к большей управляемости, акцент делался не на воспоминаниях о прошлом, которые могли восприниматься неоднозначно, а на экономических и социальных достижениях современности и на обещаниях экономического процветания в будущем.

Подчас праздничный карнавал вызывал насмешки. В Омске в 1925 г. организаторами торжеств было зафиксировано высказывание сотрудника «Сибсельхозсоюза»: «Нынче большевики поубавили дурости, а то нарядят чучел буржуев и попов и носят по городу, как маленькие ребятишки»².

Современниками отмечался тот факт, что уже в начале 1930-х гг. праздник Октября многими стал восприниматься «как обыденное явление: пришли, посидели на заседании, попили чаю, потанцевали, и всё»³. К Октябрьским торжествам народ стал привыкать. Уровень жизни в эти годы был выше, чем в начале 1920-х гг., когда достать красную материю для декорирования и отопить помещение для торжественного вечера было трудно, когда не было возможности угощать собравшихся, а само торжество в идеале воспринималось серьезно, не как время для отдыха. Теперь же, несмотря на помпезность и

¹ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 204. – Л. 2–3.

² Там же. – Л. 3 об.

³ Там же. – Ф. П-80. – Оп. 1. – Д. 121. – Л. 44.

официоз, для большинства происходило дальнейшее «обмирщение» торжеств, которые уже были встроены в привычный народу календарь.

Однако мемуары, собранные обществом «Мемориал», позволяют увидеть иную сторону рецепции Октябрьских торжеств в период репрессий: боязнь продемонстрировать неверное отношение к празднику. В период репрессий многим людям приходилось изображать восторженное восприятие годовщин Октября, не показывать своего разочарования, страха и боли. Например, жительница Новосибирска А. Т. Ильина вспоминала, что 5 ноября 1937 г. был арестован ее супруг, 6 ноября женщину исключили из партии, а 7 ноября несчастная беременная женщина, на руках у которой осталась еще и малолетняя девочка, «была на демонстрации, стояла и пела песни». Ей приходилось имитировать праздничное настроение. Судя по рассказу, «иначе было нельзя», рабочие фабрики показывали на нее пальцем, рассказывая о том, что она оказалась женой врага народа и осуждая ее. После пережитого позора женщина, остро переживавшая несправедливость и разочарование в партии, «не хотела жить, хотела покончить с собой и убить детей»¹. Двадцатилетие Октября стало для нее первым адским испытанием в череде несчастий жены, а вскоре и вдовы «врага народа».

Однако показательно, что многие люди, разочарованные в вожде, проклинавшие в застенках НКВД и лагерях Сталина и его окружение, и в 1990-х гг. демонстрировали веру в светлые революционные идеалы. Так, Г. М. Медведев, за плечами которого было 20 лет сталинских лагерей, писал: «Даже в условиях жесткого сталинизма люди, кажется, лишённые всех человеческих возможностей, умели находить силы, чтобы добросовестно работать и добиваться успехов. Они верили в идеи социализма и коммунизма, несли в душе ленинские идеи, они работали ради интересов Родины, не благодаря Сталину, а вопреки Сталину»². Эта вера в революционные идеалы, несомненно, была воспитана в политруке Медведеве в годы его юности, пришедшейся на рубеж 1920–1930-х гг. В текстах воспоминаний репрессированных Октябрьская революция остается «Великой». Характерны и примеры таких мемуаров, где излагаются судьбы старых большевиков, самоотверженно служивших революции еще с 1905 г., не разочаровавшихся в Октябре, вокруг культа которого выстраивалась советская идентичность, но арестованных и «без вины расстрелянных в годы сталинщины»³.

¹ ГАНО. – Ф. Р-600. – Оп. 1. – Д. 168. – Л. 4–5.

² Там же. – Д. 177. – Л. 74.

³ Там же. – Д. 87 и др.

Очевидно, что праздничные торжества сыграли важнейшую роль в сакрализации Октября. Даже лица, жестоко пострадавшие от большевистской репрессивной машины, не были склонны обобщать революцию, Гражданскую войну и террор 1930-х гг., не видели ничего общего между захватом власти большевиками, советской контрреволюционной политикой начала 20-х и террором второй половины 30-х гг. Для множества жертв сталинизма «Великий Октябрь» оставался символом восторжествовавшей социальной справедливости и исторического прогресса. С Октябрем ассоциировалось понятие «Родина», столь актуальное для консервативной идеологии второй половины 1930-х гг. В значительной степени именно Октябрь объединял в это противоречивое время юных пионеров и старых подпольщиков, признанных героев социалистического строительства и репрессированных, считавших себя честными коммунистами и не понимавших, в чем их вина.

В заключении необходимо подчеркнуть, что изначально массовые Октябрьские торжества рассматривались советской властью в качестве одного из основных каналов трансляции политики памяти. Над подготовкой к празднику и его коммеморативной составляющей велась тщательная работа, как в Москве, так и на местах. При этом заметно постепенное снижение роли местных коммемораторов в разработке оригинальных праздничных репрезентаций прошлого. Годовщины Октябрьской революции праздновали в любых условиях, не жалея сил и средств. Большое внимание уделялось развлекательной части торжеств.

Формы торжественных коммемораций оставались устойчивыми, сохраняя преемственность с праздничными сценариями имперского периода. На примере Октябрьских торжеств видно, что большевики не пытались «изобретать» и даже закладывать традиции. Они осторожно использовали уже сложившиеся традиции, меняя лишь символику и иногда смещая акценты. Показательно, что в России начала XXI в. используются аналогичные формы официальных торжеств.

Идеологическое значение праздника, которому подчинялись «октябрьские» коммеморации, постоянно менялось. Важно обратить внимание и на постепенное срастание политических культов Октября и Ленина. Символы Октября и Ленина, использовавшиеся одновременно, стали основой всей советской политической символики.

Посредством официальных Октябрьских коммемораций неустанно прорабатывалась коллективная память сибиряков о военно-революционном времени. Реальные вос-

поминания подменялись искусственно сконструированным нарративом, который постепенно видоизменялся. Так происходила безвозвратная утрата альтернативных нарративов революции. У молодежи 1930-х гг. коллективная память об Октябре уже не усложнялась личными воспоминаниями. Поэтому к концу изучаемого нами периода коллективная память об Октябре, отраженная в различных нарративах, обрела относительно четкие очертания. Реализацию советской политики памяти посредством Октябрьских торжеств можно признать эффективной, поскольку она обеспечивала высокую степень консолидации общественных связей и настраивала общество на оптимистичное отношение к будущему.

4.2. Массовые празднования юбилейных годовщин Первой русской революции

Еще в 1918 г. годовщина Кровавого воскресенья, 22 января (9 января по старому стилю), была признана Совнаркомом в качестве официального государственного праздника¹. Говоря о годовщинах Первой русской революции, мы учитываем общую для всех политических праздников 1920–1930-х гг. предысторию, кратко охарактеризованную в параграфе, посвященном Октябрьским торжествам. Сходными были и факторы изменений праздничных коммемораций. Стоит лишь уточнить значение революции 1905 г., представленное в официальной историографии.

В трактовке М. Н. Покровского Первая русская революция была «предметным уроком, без которого невозможен был бы подъем 1917 г.»². Революция 1905 г. воспринималась Покровским как звено единого революционного процесса в России. При этом активное участие в революции прочих политических сил не подвергалось сомнению. Покровский подчеркивал, что в 1905 г. «рабочим было трудно отвыкнуть от мысли, что царь есть всеобщий отец», что даже после 9 января рабочие шарахались при возгласе: «Долой самодержавие!»³, а крестьяне «только попугали помещиков»¹.

¹ Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции... – С. 53.

² Покровский М. Н. Два октября. – С. 95.

³ Там же. – С. 94.

Краткий курс истории ВКП(б) 1938 г. диктовал другую оценку Первой русской революции, безусловно, преувеличивавшую роль пролетариата в революции. Учебник сообщал буквально следующее: «Революция вскрыла, что царизм есть заклятый враг народа, что царизм есть тот горбатый, которого исправит только могила. Революция показала, что либеральная буржуазия ищет союза не с народом, а с царем, что она является контрреволюционной силой, соглашение с которой равносильно предательству народа. Революция показала, что вождем буржуазно-демократической революции может быть только рабочий класс»².

В Сибири этот праздник начали отмечать с 1920 г., после победы над армией А. В. Колчака и восстановления советской власти. Однако в начале 1920-х гг., судя по источникам, этот праздник расценивался местными властями и населением как второстепенный относительно Октябрьских торжеств. Даже в печати публиковалось сравнительно мало материалов о революции 1905 г. Кончина В. И. Ленина 21 января 1924 г. дала возможность агитаторам и пропагандистам объединить две мемориальные даты в «неделю пропаганды ленинизма»³. Осознание выгоды от сезона и календарной близости двух важных памятных дат агитаторы выражали следующим образом: «Каскад праздников удобно использовать в зиму, ведь и до революции крестьяне зимой отдыхали от страды и праздновали»⁴. Как мы уже отмечали, в 1930-х гг. в соответствии с политикой памяти государства январские политические торжества стали называть «ленинскими днями». С течением времени значение и формы празднований годовщины революции 1905 г. менялись.

Особенно торжественно по всей Сибири отмечался 20-летний юбилей Первой русской революции, требовавший серьезной подготовительной работы, и 30-летие событий 1905 г. в Томске. Гибель Кирова добавила работы организаторам торжеств 1935 г., посвященных юбилею Первой русской революции в этом городе. Перенос коммеморативного акцента на томские события потребовал добавить новую памятную дату к праздничному календарю сибиряков – 20 октября. Именно в этот день в 1905 г. в Томске произошел еврейский погром, устроенный, по воспоминаниям революционеров, черносотенцами. Эта дата хронологически приближалась к 7 ноября, а значит, мы вновь видим

¹ Там же. – С. 95.

² Краткий курс истории ВКП(б).

³ ЦДНИТО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 116. – Л. 91; Д. 1398. – Л. 294.

⁴ ГААК. – Ф. 86. – Оп. 1. – Д. 45. – Л. 3.

знакомый прием политической пропаганды, особенно актуальной для юбилейных лет, который можно условно назвать «праздничным каскадом». Вообще в 1930-х гг. заметна утрата этим праздником самостоятельности, тенденция «растворения» годовщины революции 1905 г. в других политических праздниках и памятных датах, таких, как: день смерти В. И. Ленина, Октябрьские торжества, дни памяти С. М. Кирова (с 1934 г.), а позже и В. В. Куйбышева (с 1938 г.).

На организации этих торжеств отразились общие экономические условия, совпадавшие с условиями организации Октябрьских торжеств. Лишь в середине 1920-х гг. появилась финансовая возможность премировать «пятигодников», несомненно, ждавших поощрений. Развитие радиовещания, сети музеев и библиотек давало возможность постепенно разнообразить формы праздничных коммемораций. Даже плакаты с изображениями на исторические темы, предназначавшиеся в 1925 г. для украшения клубов и учреждений, отличались разнообразием: «9 января» (худ. И. А. Владимиров), «Крестьянское восстание», «Экзекуция в деревне» (худ. Г. Н. Горелов), «Стачка на заводе» (худ. И. Г. Дроздов), «Декабрьское восстание в Москве» (худ. В. В. Журавлев), «Расстрелы» (худ. К. Н. Карыгин), «Восстание на Пресне» (худ. С. М. Карпов), «1905 год» (худ. З. Е. Пичугин)¹. К 20-летию революции появилась также финансовая возможность украшать здания большими освещенными картинами на исторические темы². Однако уже в 1930-е гг., когда государственные торжества стали особенно зрелищными и пышными, годовщина революции 1905 г. начала утрачивать статус самостоятельного праздника, и потому на это торжество предпочитали особенно «не тратиться».

Содержание политики памяти государства, выражавшейся в этом празднике, выглядит довольно ясно. В начале 1920-х гг. торжества служили напоминанию обстоятельств и цены установления советской власти. Обращение к событиям начала XX в. повышало эту «цену», демонстрировало, какой длительной, кровопролитной, трудной, но и успешной была борьба большевиков за их идеалы. Участие других, не большевистских сил в борьбе с царизмом внимания практически не уделялось, соответственно, роль большевиков в революционных событиях уже тогда была сильно преувеличена праздничной пропагандой. Власть использовала уже известный нам прием «проработки про-

¹ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 202. – Л. 56.

² Праздник революции // Рабочий путь. – 1925. – 22 дек.

шлого», пытаясь затушевать в народной памяти революционную деятельность небольших политический сил.

Всесоюзная комиссия по празднованию 20-летнего юбилея Первой русской революции ставила цель показать, что большевики боролись за свои идеалы и до 1905 г., таким образом продлить историю рабочего движения, повысить его значение. Ф. К. Корни считает, что помимо этого, кончина В. И. Ленина и активное формирование его культа ставило задачу пересмотреть всю историю партии с точки зрения вклада вождя в российский революционный процесс, а также осудить другие социалистические партии, которые «шли ложным путем». «События 20-летней давности требовали напоминания, но в 1925 г. печать подчеркивала: «У многих и многих все это еще живо в памяти, поэтому молчалива толпа на празднике революции». Пропаганда стремилась преподнести эти события как достояние живой, актуальной исторической памяти общества. Акцент делался на серьезности памятной даты, на мысли о восстановлении исторической справедливости: «Поражение, ставшее победой, об этом вспоминать можно только в молчаливой торжественности»¹. Поэтому, в частности, от созерцания подсвеченных революционных картин в окнах музея и на фасадах зданий у местных жителей должно было «замирать сердце». Эти изображения играли роль символических окон в страшное прошлое, открытых из благополучного настоящего. Смотрящий в эти окна должен был испытывать скорбь и радость одновременно.

Поскольку после 1927 г. празднования были ориентированы на современность и будущие успехи социалистического строительства, очень полезной для Сибири в идеологическом смысле стала фигура памяти «Киров». У пропагандистов появилась возможность, конструируя коллективную память об идеальном герое, еще более эффективно навязывать населению шаблонное восприятие революционной истории, а также продемонстрировать раздутую значимость для страны отдельных локальных событий в Сибири – «кузнице большевистских кадров», где они получили первый опыт политической борьбы и испытывали волю каторгой и тюрьмами. Героические истории революционеров всегда использовались как пример для молодежи.

Но если революционеры 1920-х гг. рассказывали преимущественно о собственном героическом опыте, то десятью годами позже участники Первой русской революции вынуждены были, прежде всего, вносить вклад в формирование политического культа

¹ Corney. F. C. – Op. cit. – P. 150–151, 156.

С. М. Кирова. Учитывая стремление власти к тотальному контролю над историей и исторической памятью народа, можно признать, что ей не были нужны новые данные о революции 1905 г.

Применительно к годовщинам Первой русской революции мы имеем в виду те же каналы трансляции советской политики памяти, которые власть использовала и в ходе других торжеств. Однако работа с исторической памятью сибиряков о Первой русской революции имела все-таки отличительную специфику. Молодежь об этих событиях могла узнать лишь от старших, соответственно, формировать историческую память этой категории населения было легче. Но «живые» воспоминания «пятигодников», по крайней мере, в первой половине 1920-х гг. могли не отвечать официальному видению революционных событий. Мы считаем, что именно поэтому власть инициировала активный сбор «правильных» мемуаров, которые должны были служить «проработке памяти». Постепенное снижение интереса к Первой русской революции на уровне праздничных коммемораций также можно объяснить сложностью «верной» интерпретации этих событий. Образно выражаясь, память о революции 1905 г. превращалась в 1930-х гг. в «тень прошлого», практически лишенную детальной прорисовки, но необходимую для демонстрации контраста между Россией эпохи царизма и Россией современной.

Сценарий массовых торжеств, посвященных юбилеям Первой русской революции, был аналогичен сценариям празднования Октября. Однако демонстрации, устраивавшиеся по случаю годовщин «Великого Октября», исключались в январские праздничные дни, как по финансовым, так и по погодным причинам. К тому же праздник воспринимался как второстепенный. Не устраивалось и военных парадов. Однако митинги, собрания в клубах и торжественные заседания, а также бесплатные концерты, театральные постановки и показы кино являлись неотъемлемыми сценарными элементами праздника.

Важным звеном торжеств являлись вечера воспоминаний. В контексте празднования годовщин Первой русской революции вечера воспоминаний проходили либо в канун памятной даты, либо в день основных торжеств. В начале 1920-х гг. вечер воспоминаний мог быть объединен с митингом. Так, в 1922 г. праздник «9 января» отмечали по узловым станциям железной дороги, куда стекались на собрания рабочие и служащие. Здесь зачитывались доклады агитаторов на темы «9 января» и «Памяти К. Либкнехта и Р. Люксембург», а также звучали воспоминания старых рабочих об отклике трудящихся

на революционные события¹. Подобные мероприятия, устраивавшиеся порой на улице в условиях сибирского мороза, проходили довольно динамично и эмоционально, заканчивались довольно быстро.

В юбилейном 1925 г. в сибирских городах были организованы собрания на предприятиях, где агитаторы зачитывали доклады о значении революции, а также вечера воспоминаний по рабочим клубам. В условиях клубов была возможность отвести на мероприятие больше времени и добиться камерности атмосферы, а также воспользоваться диапозитивами. Главной темой выступлений стало «Кровавое воскресенье»². Едва ли сибиряки могли представить развернутые воспоминания о событиях в столице, поэтому, очевидно, что на этих вечерах доминировали официальные доклады агитаторов. В Омске тематический упор делался на освещение местных событий. В этой связи существовало распоряжение партийных органов: «Доклады предварительно проверять»³. Традиционному вечеру воспоминаний существовала альтернатива – «вечер вопросов и ответов», предполагавший беседу агитатора с залом⁴. Обязательной оставалась художественная часть вечера.

Есть основания считать, что со временем воспоминания революционеров, выступавших на вечерах из года в год, как и в случае с «октябрьскими» вечерами, обретали «законченную», репертуарную форму. Так, в стенограмме 1932 г. доклада старейшего революционера-подпольщика Алтайского края П. Е. Семьянова, первого организатора марксистских кружков Барнаула, отсутствуют личные впечатления и личные оценки. Текст этого доклада напоминает обобщенную и теоретизированную лекцию⁵.

В праздничные дни в газетах обычно публиковались краткие, шаблонные воспоминания старых большевиков. Среди них были тексты о революционных событиях и процессах, как в российских столицах, так и в Сибири. Печатались также публицистические статьи на историко-революционную тематику, которая постепенно корректировалась. К примеру, в 1926 г. в газетах размещались материалы типа «Борьба почтово-телеграфных служащих за право иметь свой профсоюз»⁶. Десятью годами позже публикации по теме

¹ ГАНУ. – Ф. П-10. – Оп. 1. – Д. 457. – Л. 2.

² Там же. – Ф. П-13. – Оп. 1. – Д. 1119. – Л. 9.

³ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 202. – Л. 7.

⁴ Там же. – Л. 73.

⁵ ГААК. – Ф. 86. – Оп. 1. – Д. 32. – Л. 1–13.

⁶ Историческая годовщина: 25 лет тому назад: борьба почтово-телеграфных служащих за право иметь свой профсоюз // Красное знамя. – 1926. – 15 дек.

революции обычно связывались с революционной деятельностью С. М. Кирова в Сибири, например: «Дом, где жил Киров у Кононова»¹.

Технический прогресс сделал возможным и выступления «пятигодников» с их воспоминаниями по радио. Так, переданное по радио в пятнадцатую годовщину революции выступление томского большевика Ткаченко было посвящено подробному описанию гибели И. Е. Кононова, его похоронам и почитанию после смерти, последовавшему за демонстрацией еврейскому погрому и поджогам, учиненным монархистами². В те годы радиопередача должна была вызывать всеобщее внимание и доверие, чем и пользовались агитаторы, тщательно готовившие к обнародованию мемуарные тексты. Кроме того, радиозфир исключал обсуждение рассказа.

Во второй половине 1930-х гг. содержание рассказов и оценки революционных событий, звучавшие на вечерах воспоминаний, изменились мало. Так, в 1935 г. был устроен вечер воспоминаний Томского землячества революционеров, участвовавших в Первой русской революции. Основной темой вечера вновь стали события в Томске 20 января 1905 г. «Пятигодники» излагали в который раз уже известные сюжеты. При этом подробно описывались «зверства» монархистов, готовых «с благословения бабушки» и после «кружки бесплатной водки» на неоправданную жестокость. К этим сюжетам добавились еще эпизоды, связанные с памятью о С. М. Кирове и неизбежные похвалы И. В. Сталину³.

На обязательные торжественные заседания горсоветов, партийных и рабочих организаций также приглашались активные участники революционного движения. В 1925 г. в городах прошли специальные юбилейные заседания, в другие годы о Первой русской революции обычно вспоминали на заседаниях, посвященных годовщине смерти В. И. Ленина. Праздничные заседания 1925 г. были организационно близки вечерам воспоминаний. На этих заседаниях зачитывались доклады о значении революции, делался обзор революционных событий, выступали с воспоминаниями их участники.

На соответствующем заседании в Омском гортеатре торжество началось с воспоминаний о жертвах революционной борьбы, в память о которых прозвучал похоронный марш. Далее был зачитан двухчасовой доклад исторического содержания⁴. Революцио-

¹ Дом, где жил Киров у Кононова // Красное знамя. – 1935. – 1 дек.; 4 дек.

² ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 67. – Л. 2–3.

³ Там же. – Оп. 3. – Д. 25.

⁴ Празднование 20-летия революции 1905 г. в Омске // Рабочий путь. – 1925. – 22 дек.

нерам высказывались благодарности, выносились предложения об их премировании. В ходе подготовки к празднику выяснилось, что большинство революционеров нуждается в материальных средствах, поэтому премирование имело важное идеологическое значение, воспринимаясь как справедливое вознаграждение за героизм, как свидетельство победы революционных идеалов. После заседаний демонстрировались революционные спектакли и киноленты. 20 декабря 1925 г. прошли митинги в рабочих районах, тематические собрания в школах.

Отмечая годовщины Первой русской революции, сибиряки продолжали следовать и традиции праздничных выставок в музеях и библиотеках. Активное участие в этой работе принимал Истпарт, силами которого, например, в Томске, в 1923 г. была устроена выставка «Московское декабрьское восстание 1905 г.»¹. Большую работу над реконструкцией революционной деятельности С. М. Кирова во второй половине 1930-х гг. вели томские музеи. С 1938 г. в Томском краевом музее революционным событиям в этом городе был посвящен отдельный зал, о чем подробнее будет сказано в последующей главе.

Подготовка к 20-летию революции 1905 г. в городах Западной Сибири обусловила начало соответствующих историко-краеведческих исследований, которые продолжились и в последующие два года. Сотрудники Истпарта, а также отделов агитации и пропаганды с помощью анкет выявляли живущих в сибирских городах «пятигодников», записывали их биографии, пытались с их слов реконструировать политические события². На Алтае формировался революционный сборник воспоминаний, ориентированный на массового читателя. Исследователей особенно интересовали памятные места, связанные с революцией. Большинство из них уже не было известно молодому поколению и жителям городов, приехавшим сюда в последние годы. На основе воспоминаний революционеров были впервые письменно зафиксированы, систематизированы и растиражированы сведения о конспиративных квартирах большевиков на Гоголевской (дома № 9, 94, 99) и Бердской улицах Барнаула, о тайной типографии, агитационной работе в Бобровском затоне и первом публичном политическом митинге в Дунькиной роще.

Фиксация внимания на этих объектах городской среды была необходимой для формирования нового, советского ландшафта коллективной памяти жителей Барнаула.

¹ ЦДНИТО. – Ф. 4204. – Оп. 4. – Д. 102. – Л. 5.

² ГААК. – Ф. 86. – Оп. 1. – Д. 39.

Ментальная карта революционного города до сих пор существовала лишь в коллективной памяти «пятигодников», которые активно включились в работу над ее уточнением и массовым тиражированием. Революционеры не только давали интервью, они также организовали в Барнауле артель «Краевед», где собирали исторический материал и готовили к публикации отдельные очерки (к примеру, о революционной деятельности барнаульских пимокатов). Подобная работа велась и в других городах.

Тридцатилетие Первой русской революции вновь стимулировало краеведческие исследования, еще более политизированные. В Томске Горкомом ВКП(б) был организован сбор воспоминаний о революционной деятельности С. М. Кирова и В. В. Куйбышева¹. Отложившиеся в архиве тексты отличает однотипность. По всей видимости, те люди, кому было поручено создать эти источники, старались не отступать от схемы, заранее разработанной агитаторами. Но, очевидно, была и еще одна причина «сухости» мемуарных текстов. В 1930-х гг. некоторые «пятигодники», высоко ценившие собственные революционные заслуги, еще заявляли, что молодой Киров в организации подполья играл такую же скромную роль, как и его соратники, то есть не был лидером². Революционерка Кузнецова вообще считала, что рассказывать особенно нечего, а также добавляла, что Киров никогда не работал в типографии, что этот «факт» вымышлен «пятигодниками», которым просто нужно было что-то рассказать «для истории». Слова Кузнецовой подтверждают то, что томский период революционной биографии С. М. Кирова был во многом придуманным.

После убийства С. М. Кирова важнейшими памятными местами Томска, связанными с Первой русской революцией, стали считаться конспиративные квартиры, где жил молодой революционер Сережа Костриков, типография на Офицерской улице, организованная якобы под его руководством, тюрьма, где он отбывал наказание за организацию демонстрации в 1905 г.

Стоит отметить, что в воспоминаниях собиравшихся в Томске к 20-летию Первой русской революции фигурировало несколько имен сугубо томских революционных героев: И. Е. Кононов³, К. М. Кулеш⁴, Н. Н. Ярпольский⁵. Все они почитались как невин-

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 297.

² ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 159. – Л. 116в.

³ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 2. – Д. 295. – Л. 3 и др.

⁴ Там же. – Оп. 3. – Д. 25. – Л. 7.

⁵ Там же. – Оп. 18. – Д. 3. – Л. 31.

ные жертвы революционной борьбы. Практики, связанные с их почитанием, несомненно, ассоциируются с христианским культом мучеников.

Представляют интерес и театральные постановки, входившие в праздничный репертуар. Например, в Омске к 20-летию со дня революции 1905 г. Театр драмы приглашал зрителей на бесплатный спектакль «Борис Годунов», в Клубе водников шла самодеятельная пьеса «Лейтенант Шмидт», в клубе Маркса – «Политсуд над 1905 годом»¹.

Как и в случае с Октябрьскими торжествами, коммеморации, связанные с памятными датами Первой русской революции, из года в год базировались на дореволюционных образцах. Менялась лишь трактовка смысла событий, обусловленная идеологически. Заметно и то, что эти коммеморации были больше обращены к местной истории, хотя это наблюдение едва ли относится к 1930-м гг. Внимание к теме «Киров в Томске» как раз подтверждает постепенное вытеснение локального компонента исторической памяти общесоветским.

Говорить о рецепции населением годовщин революции 1905 г. довольно сложно из-за недостатка свидетельств. Складывается впечатление, что коммемораций, приуроченных к этому торжеству, ждали в первую очередь сами «пятигодники». Многие из них благодарили тех, кто обращался к ним с просьбой написать воспоминания, расценивая это как торжество справедливости, как запоздалое, но все-таки очень приятное поощрение и признание. Длительный «революционный стаж» был для них предметом гордости. Однако нужда и болезни омрачали жизнь. Именно поэтому эти люди были рады вниманию. То, что они реально рассказывали музейщикам, истпартовцам и журналистам о Первой русской революции, могло не совпадать с готовыми расшифровками их воспоминаний. Вероятно, в личных беседах участники революционной борьбы могли оспаривать официальный нарратив, однако документировались лишь «правильные» рассказы.

Для прочих жителей городов Западной Сибири этот праздник, конечно, не имел такого большого значения. Можно предполагать, что активный поиск информации о событиях 1905 г. в Сибири, который был характерен для 1920-х гг., был обусловлен тем, что массам события Первой русской революции были плохо известны. Память старших поколений об этом была не такой свежей, как память об Октябре и о Гражданской войне. Молодежь этих событий вообще не застала, поэтому легко принимала на веру

¹ ИАОО. – Ф. П-7. – Оп. 1. – Д. 202. – Л. 5, 73, 83.

официальную версию событий. Негативных реакций на коммеморации, связанные с 1905 г., не зафиксировано ни в печати, ни в сводках о политических настроениях.

В календаре советских политических торжеств годовщины революции 1905 г. не доминировали. Однако, будучи регулярными, как и Октябрьские торжества, эти годовщины настраивали общество на новое восприятие времени в контексте большевистского исторического нарратива. По отношению к Октябрьским, Ленинским и Кировским коммеморациям этот праздник играл вспомогательную роль. Он утилитарно использовался для «проработки прошлого» в памяти «пятигодников», которые критично воспринимали советскую действительность, имея субъективное представление о предыстории Октябрьской революции. Поэтому созданный по инициативе Истпарта комплекс воспоминаний сибиряков о революции 1905 г. сегодня способен скорее усложнить, нежели облегчить изучение истории революционных событий в нашем регионе.

4.3. Годовщины местных событий Гражданской войны

Важное место в календаре государственных праздников 20–30-х гг. XX в. занимали также торжества, посвященные памяти о местных событиях периода Гражданской войны, которым власть уделяла особенное внимание на заре советской эпохи. Общим праздником для всех губернских городов Западной Сибири были объявлены торжества, посвященные «освобождению от колчаковщины». Как мы уже отмечали, в тяжелом для советской власти 1920 г. день победы над армией А. В. Колчака объединили с Октябрьскими торжествами¹. В дальнейшем локальный праздник на несколько лет обрел в каждом городе региона собственную дату. В Омске «освобождение» праздновали 14 ноября, в Барнауле – 10 декабря, в Новониколаевске – 14 декабря, в Томске – 17 декабря. В сценарном отношении эти праздники не были оригинальными. Вновь и вновь применялся уже хорошо известный нам шаблон.

¹ ГАНО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 1156. – Л. 13.

Существенным фактором, определявшим динамику коммемораций, выступали общественные настроения. В начале 1920-х гг. праздновать победу над Колчаком приходилось в условиях социально-политической напряженности, повсеместного неприятия власти большевиков с ее экономической политикой, недоверия и разочарований в «красных». Как мы уже подчеркивали, недовольство советской властью были распространенным явлением даже в Красной армии, ни говоря уж об обывательской, интеллигентской и предпринимательской среде. По выводам А. Я. Лившица, в период Гражданской войны и в последующие несколько лет общественные настроения в СССР были неустойчивыми, характеризовались мозаичностью¹. Эта обстановка и порождала необходимость доказывать правоту большевиков, используя негативные образы «колчаковщины».

С годами, по мере подавления «контрреволюционных» настроений, менялись и сами торжества. «Колчаковские зверства» уже не нужно было доказывать. Однако на рубеже 1920–1930-х гг. росло озлобление общественных низов, коллективизация в Сибири вызывала волнения городского населения, состояние фрустрации среди рабочих². В Новосибирске партийные сводки фиксировали антисоветские высказывания студентов: «Если до революции в России история не показывала голода, то теперь мы его видим»; «Сталинизм есть эпоха трудностей и недостатков» и пр.³ При этом, как отмечает А. Я. Лившиц, в обществе распространилось опасение возврата «чрезвычайщины», ужасов революции и Гражданской войны. Все это, несомненно, отражалось на отношении общества к годовщинам освобождения от «колчаковщины». Во второй половине 1930-х гг. в условиях массовых репрессий НКВД то и дело «разоблачал» бывших «колчаковцев», которые продолжали жить и работать в Сибири. Эти люди объявлялись такими же врагами, как троцкисты и кулаки⁴. Им вменялись в вину «преступления» 20-летней давности. Это обстоятельство повышало внимание к антиколчаковским торжествам.

В конце 1930-х гг. «Краткий курс истории ВКП(б)» представил Восточный фронт 1918–1919 гг. как главный фронт советской России в Гражданской войне. Колчак был объявлен сильным врагом, которому подчинялась вся контрреволюция в стране. По версии учебника, против «колчаковщины» бились «лучшие силы большевиков, были моби-

¹ Лившиц А. Указ. соч. – С. 303.

² Там же. – С. 304.

³ ГАНО. – Ф. П-3. – Оп. 2. – Д. 619. – Л. 188–189.

⁴ Там же. – Д. 753. – Л. 65 и др.

лизованы комсомольцы и рабочие». Упоминалась и героическая роль антиколчаковского партизанского движения.

Причины победы большевиков в Гражданской войне объяснялись нерационально и не во всем правдоподобно: «Политика советской власти была правильной политикой»; «народ осознал и понимал эту политику как правильную, как свою собственную политику и поддерживал ее до конца»; «большевики знали, что армия, борющаяся во имя неправильной политики, не поддерживаемой народом, не может победить»; «Красная армия победила потому, что она была верна и предана до конца своему народу, за что и любил ее и поддерживал народ, как свою родную армию» и т. п. Признавалась и заслуга подпольщиков, «которые подымали на восстания рабочих и крестьян»¹. Таким образом, официальная героическая риторика предвоенных лет задавала тон торжествам этого времени, делая их официозными и помпезными.

В начале 1920-х гг. торжества отражали не просто политику памяти, они выступали средством настоящей информационной войны. Насаждение мнения о единстве Красной армии, самоотверженно бившейся за идеалы пролетарской революции, происходило в реальных условиях широко распространенных демобилизационных настроений среди солдат. Военные цензоры фиксировали разнообразные солдатские высказывания, содержащиеся в письмах и отражавшие негатив по отношению к власти: «Управляют кругом жида и евреи, если станешь чего говорить, то сулят тебе Губчека. Вы, может быть, эту Губчека не знаете. Но там место такое, что многие оттудова попадают в Загородную рощу и спят там без пробуду спокойно» (Омск); «Я бы вступил в партию, но почему-то ни один коммунист не делает, как надо» (Омск) и др.² Демобилизационные настроения в армии существовали еще долго. Но в дальнейшем пропаганда изображала идеальный образ Красной армии периода Гражданской войны, служивший воспитательным средством для солдат и средством смягчения этих настроений.

Идеологизация прошлого в 1930-е гг. сегодня выглядит очевидной до абсурда. Ни один вечер, ни одно заседание не обходилось без восхваления гения И. В. Сталина и успехов пятилеток. Заседания горсоветов посвящались главным образом не поминовению павших героев, а экономическим достижениям последних лет. Все прошлое страны и региона до восстановления советской власти изображалось в самых мрачных, драма-

¹ Краткий курс истории ВКП(б).

² ГАНУ. – Ф. П-2. – Оп. 2. – Д. 220. – Л. 34–35.

тичных красках, которым противопоставлялись местные хозяйственные достижения. В 1939 г. агитаторы получили конкретное задание: «Рассказать о героической борьбе сибирских большевиков и сибирских партизан с колчаковщиной, о гигантских победах социалистической Сибири под руководством Ленина и Сталина за 20 лет»¹. Важно и то, что вторая половина 1930-х гг. представлялась этапом окончательной победы над контрреволюцией. Заметно, что государство в лице местных органов власти стремилось к унификации коллективной памяти о Гражданской войне и целенаправленно вытесняло из местных коммеморативных практик и коллективной памяти социальных групп сюжеты, связанные с локальными военно-революционными событиями.

В оценке значения этих коммемораций с точки зрения политики памяти середины 1930-х гг., на наш взгляд, можно согласиться и с мнением Дж. Г. Хартзока. Этот исследователь считает, что актуализация темы Гражданской войны в середине 1930-х гг. имела особенное идеологическое значение. Государство на этом этапе призывало население вести себя в мирной, но напряженной обстановке с самоотверженностью, какая была присуща героям Гражданской войны, таким, как В. И. Чапаев и Н. А. Щорс, отдавшим жизнь, борясь за социализм. Общесоветские героические примеры были нужны для демонстрации того, что преданность делу партии в современности так же крепка, как и в период Гражданской войны, что между народом и государством существует единый фронт борьбы за общие социалистические идеалы. Мифичность этой мысли большевиков несколько не смущала. Востребованными оказались также и образы антигероев. К примеру, Колчак, так же, как Юденич и Деникин в контексте политики памяти тех лет символизировал иностранную агрессию и постоянную угрозу внешнего вторжения, которая выступала мощным фактором мобилизации масс на новые подвиги в сфере социалистического строительства².

В соответствии с традицией организации политических праздников в 1921 г., в этот день в Новониколаевске прошли вечера воспоминаний по военным и рабочим клубам. Печать фиксировала отсутствие на вечере интеллигенции, которая, очевидно, могла начать разговоры, способные сильно скомпрометировать советскую власть. Вообще, подобные вечера устраивались преимущественно для красноармейцев, нуждавшихся в подъеме боевого духа, и рабочих, которых считалось необходимым «политически про-

¹ Там же. – Ф. П-4. – Оп. 3. – Д. 296. – Л. 65.

² Hartzok J. G. Children of Чапаев.

свещать». Слово имели главным образом агитаторы, пытавшиеся убедить собравшихся в том, что Колчак практически не имел политической поддержки. Организаторы вечера также стремились оказать на собравшихся сильное эмоциональное воздействие, говоря о жертвах белогвардейских «палачей» и вспоминая павших товарищей. Вновь расчет делался на возбуждение моральных чувств жалости к убитым и ненависти к «врагам революции», под которыми понимались все противники большевизма. Однако вечер нужно было закончить на позитивной ноте. Поэтому в конце звучал доклад об успехах партийного движения в Сибири, а также и жизнеутверждающий «Интернационал»¹. После вечеров, длившихся около часа, устраивались митинги, где по стандарту говорилось о наиболее актуальных политических задачах.

Аналогичными были торжества последующих лет. В сценариях 1920-х гг. существовали некоторые вариации. К примеру, в Барнауле 10 декабря 1927 г. главным торжественным мероприятием стал митинг партизан². В духе традиции в дни местных праздников обращали внимание на проблемы военно-революционных памятников. Так, в конце октября 1923 г. «Советская Сибирь» акцентировала внимание на необходимости обновить к годовщине «освобождения» Сибири временный памятник на могиле жертвам восстания в Куломзино, которое произошло 22 декабря 1918 г.³

Особенно пышно в Новониколаевске и других городах праздновали пятилетие падения «колчаковщины» в 1924 г. Следуя инструкциям горсоветов, агитаторы стремились вовлечь в коммеморации максимальное количество народа. Вечера воспоминаний дополнялись инсценировками, поскольку считалось, что эмоциональная игра актеров поможет убедить зрителей в правильности официальной интерпретации событий.

Празднуя пятилетний юбилей, местные органы власти устраивали также и торжественные заседания, где докладчики излагали официальную версию событий последнего этапа Гражданской войны в регионе. Важно было подчеркнуть, что изгнание армии Колчака стало важнейшей, заключительной победой Красной армии, хотя фактически это было не так. Многие сибиряки еще хорошо помнили и крестьянские восстания 1920–1921 гг., и красный террор. Поэтому представители власти активно стремились препят-

¹ Вечер воспоминаний // Сов. Сибирь. – 1921. – 17 дек.

² Памятная дата // Красный Алтай. – 1927. – 10 дек.

³ Омск: памятник борцам с колчаковщиной // Сов. Сибирь. – 1923. – 23 окт.

ствовать распространению подобных воспоминаний, навязывая сибирякам свое видение войны и особенностей ее завершения¹.

Пятилетие падения «колчаковщины» было решено праздновать 14 декабря во всех городах региона. В этом решении отразилась явная тенденция унификации торжеств, связанная с утверждением официальной советской версии военных событий. В ходе торжеств, приуроченных к пятилетию падения «колчаковщины», во всех городах вновь вспоминали убитых: «героев, замученных колчаковцами, всех павших на полях сражений, вплоть до рядовых ратников».

На примере Октябрьских торжеств мы отметили характерное для 1930-х гг. угасание скорбных чувств, связанных с коллективными воспоминаниями о военно-революционных событиях. Однако, если говорить о дне «освобождения» Омска, заметно, что именно это торжество дольше других проходило в атмосфере погружения в «страшное время», когда большое внимание уделялось ставшим стандартными с начала 1920-х гг. напоминаниям о жертвах «колчаковщины». Печать в который раз сообщала 14 ноября 1932 г.: «Полтора года разгула белогвардейской реакции памятны рабочим и трудящимся Сибири... Зарублены тысячи героев из рабочих и трудящихся крестьян. Омск – центр колчаковщины – потерял сотни рабочих бойцов под Марьяновкой при чехословацком перевороте, при забастовке железнодорожников 6 октября 1918 г., в рабочем восстании 22 декабря 1918 г.»². Перечисление этих событий было особенно важно, ведь в 1930-х гг. памятные даты, приуроченные к коллективной памяти о них, уже практически не отмечались массово. Пользуясь подобными описаниями, пропаганда в который раз играла на контрасте: ужасы периода Гражданской войны сопоставлялись с уже имевшимися достижениями социалистического строительства.

14 декабря 1934 и 1939 гг. состоялись пышные торжества, приуроченные к 15-летию и 20-летию победы над «колчаковщиной». Они предполагали вечера воспоминаний, беседы на предприятиях и торжественные заседания, а также показы кино и концертов революционного содержания. К примеру, в 1934 г. омичам предлагалась для просмотра легендарная кинолента «Чапаев»³. Сюжет этого фильма не был связан напрямую с событиями Гражданской войны в городах Западной Сибири. Можно полагать, что героический образ Чапаева служил тенденциозному вытеснению локального

¹ ГАНО. – Ф. П-13. – Оп. 1. – Д. 962. – Л. 96–97.

² Тринадцатилетие освобождения Омска от колчаковщины // Рабочий путь. – 1932. – 14 нояб.

³ [Объявление] // Рабочий путь. – 1934. – 14 дек.

компонента живой коллективной памяти о Гражданской войне. Музеи приглашали на выставки, например, в 1939 г. Омский музей организовал художественную выставку картин местных художников с батальными сюжетами¹.

В 1939 г. алтайская печать, где теме «освобождения от колчаковщины» не уделялось ранее особенного внимания, разместила две обзорные статьи: в день «освобождения» Барнаула – о местном подполье², в день «освобождения» Новониколаевска – о событиях 14 декабря³. Стоит отметить, что в Омске – городе, где когда-то размещалась резиденция А. В. Колчака – печать вела наиболее выраженную пропаганду.

На промышленных предприятиях этого города агитаторы читали доклады о боях за Омск. В 1939 г. наиболее значительные вечера воспоминаний прошли 14 ноября в Клубе им. Лобкова (собралось 900 человек) и Районном доме культуры в Марьяновке. Содержание выступлений докладчиков в Клубе им. Лобкова повторяло уже известные сюжеты, вновь нагнеталась атмосфера страха: акцентировалось внимание на количестве жертв и бесчеловечности палачей. Вероятно, так организаторы вечера пытались эмоционально оживить «бронзовеющую» дату, заставить сердца собравшихся затрепетать, чтобы потом более искренне порадоваться «счастью» современности. А вечер в Марьяновке, где, похоже, долго жила коллективная память о боях, несмотря на характерные для предвоенных лет выкрики типа: «Горячее спасибо Сталину и Красной армии за освобождение Сибири!», всё еще был похож на поминки. Здесь состоялась минута молчания со вставанием, было принято решение о возложении венков к могиле павших героев⁴.

В Омске в изучаемый нами период также отдельно отмечались годовщины крупнейших сражений и восстаний времен Гражданской войны. Эти памятные даты нельзя назвать праздничными, поскольку они напоминали не о победах, а о крупных поражениях и многочисленных жертвах. Для Омска знаковым в этом смысле был день памяти битвы под Марьяновкой – 6 июня и юбилейные даты неудачного восстания против колчаковского режима – 22 декабря. Мероприятия в честь этих событий устраивались в 1933 (пятнадцатилетие) и 1938 (двадцатилетие) юбилейных годах.

Наиболее эмоционально омичи коллективно вспоминали Марьяновские бои, особенно в 1920-х гг. Праздничные коммеморации этих памятных дней включали органи-

¹ 14 ноября исполняется 20 лет со дня освобождения Омска от колчаковщины // Рабочий путь. – 1939. – 12 нояб.

² Сегодня 20 лет освобождения Барнаула от колчаковщины // Алтайская правда. – 1939. – 10 дек.

³ Разгром Колчака // Рабочий путь. – 1939. – 14 дек.

⁴ Праздник 20-летия освобождения Омска от колчаковщины // Омская правда. – 1939. – 17 нояб.

зованное шествие демонстрантов к братской могиле героев, павших под Марьяновкой, митинг и традиционное возложение венков; игры и спортивные состязания комсомольцев; вечер воспоминаний и киноконцертную вечернюю программу. Хотя сценарные элементы торжества соответствовали, как и другие политические торжества, дореволюционному шаблону государственных праздников, а также имели очевидное сходство с христианской поминальной традицией, советская власть стремилась изменить эмоциональный фон посещения кладбища и вечера воспоминаний: традиционной скорби противопоставлялись не только стойкость и ярость, но и оптимизм. Уже в середине 1920-х гг. считалось, что силы и энергию необходимо тратить на реализацию новых задач, а не на сожаления о прошлом. Но очевидно, что во второй половине 1920-е гг. эта памятная дата для многих оставалась трагической, переживалась с личной болью. Демонстранты продолжали рыдать у братских могил, вновь и вновь с волнением рассказывать о жертвах, «изрубленных на куски». В июне 1922 г. на Монастырском кладбище (за Ленинским) состоялась закладка памятника героям, павшим в бою с чехословаками под Марьяновкой. В 1926 г. рабочие железнодорожных мастерских по традиции и по зову сердца, без помощи художника и инженера установили в двух верстах от вокзала самодельный памятник тринадцати неизвестным жертвам белогвардейцев. Но в 1930-е гг. эта памятная дата уже официально не отмечалась, о боях под Марьяновкой вспоминали лишь в связи с освобождением Омска от Колчака.

В память о восстании, произошедшем 22 декабря, в 1933 г. был устроен массовый вечер воспоминаний в Клубе им. Лобкова. В мероприятии приняли участие «старые большевики» – выжившие участники восстания (Козик, Лозуткин, Марченко, Молотовников, Сергеев). Стенограмма вечера, начавшегося под «Интернационал», отражает тенденцию, присущую времени: в докладах участников вечера звучало мало личных воспоминаний. Рассказ о собственном участии в восстании прозвучал лишь из уст Лазутина. Прочие докладчики говорили отвлеченно, описывая уже зафиксированные печатью сюжеты о причинах неудачи восстания, о его жертвах («Иртыш, свалки, Загородная роща были усеяны трупами» и т. п.¹). Некоторые стремились дополнить под запись список имен героически погибших рабочих. Звучали фамилии: Лобанов, Пименков, Ульянов, Поляков, Мищенко, Горбунов². Хотя заметно, что собравшимся было важно общение на

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 1. – Д. 437. – Л. 3.

² ИАОО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Д. 418. – Л. 2 об. – 4 об.

тему их совместно пережитого прошлого, видно и то, что акцент уже делался на общих, политизированных оценках события: «Колчаковщина показала свое буржуазно-помещичье лицо»¹.

Рецепцию всех этих местных западно-сибирских торжеств следует оценивать как противоречивую. С одной стороны, понятно, что многие видели лживость коммемораций, ощущали их несоответствие собственной памяти и впечатлениям. Показателен в этом смысле пример солдатского высказывания начала 1920-х гг.: «Говорят, что нам сейчас жить легче, но если посмотрим, то как гнули, так и гнут, ожидать хорошего нечего»². Другие искренне ненавидели «колчаковщину» и еще долго оплакивали своих героев, погибших в ходе восстаний и в застенках колчаковской контрразведки. Особенно это заметно на примере памяти о Марьяновке. Показательно то, что в печати публиковалось гораздо больше очерков и воспоминаний участников Гражданской войны именно в день свержения диктатуры Колчака, а не 7 ноября. По нашему мнению, хотя и этот праздник был крайне политизирован, он находил более выраженный, живой отклик в сердцах сибиряков, преданных революционным идеалам, нежели Октябрьские торжества. Это было связано с тем, что Сибирь реально являлась одним из эпицентров Гражданской войны, для людей, переживших войну, «колчаковщина» была незабываема. В печати с годами менялся идеологический пафос. Если торжественным газетным публикациям 1920-х гг. было присуще выражение скорби по павшим товарищам, то воспоминания 1930-х гг. пронизывал пафос победы³. Эти оценки могли влиять на восприятие прошлого населением.

Также существует разница в рецепции этих коммемораций представителями разных поколений. Для молодежи 1930-х гг. реалии «колчаковщины» уже не являлись осознанно пережитым личным опытом. Поэтому пропаганда воспринималась на веру. Едва ли старшее поколение в атмосфере доносов второй половины 1930-х гг. отваживалось «просвещать» своих детей. К гиперболизации колчаковских жертв привыкли. По воспоминаниям В. П. Пунсанс, записанным по инициативе «Мемориала», в 1940-х гг. в окрестностях г. Куйбышева Новосибирской области неоднократно находили братские

¹ Там же. – Л. 1.

² ГАНО. – Ф. П-2. – Оп. 2. – Д. 147. – Л. 3.

³ Двадцатилетие освобождения Сибири от колчаковщины // Красное знамя. – 1939. – 14 дек.; Большой праздник трудящихся // Омская правда. – 1939. – 16 нояб.

могилы жертв репрессий 1937 г. Лиц, находивших останки, вполне устраивал ответ властей, согласно которому это были кости жертв «колчаковщины»¹.

В организации годовщин местных военно-революционных событий решающую роль сыграли местные коммемораторы. Они не могли отступить от праздничных шаблонов и стандартов. В коммеморативных мероприятиях, которые они устраивали, не было ничего оригинального. Но, вероятно, даже и при отсутствии организации, сибиряки в первые послевоенные годы праздновали бы победу над «колчковщиной», о чем свидетельствует их эмоциональный отклик на торжества. Эти дни могли бы закрепиться в календаре как традиционные дни поминовения погибших (по примеру Марьяновки). Однако этого не произошло. Памятные дни были довольно быстро вытеснены из местного календаря торжеств, что привело к последующему забвению местных жертв и героев. Годовщина является опорой коллективной памяти. При отмене памятной даты слабеет и память.

Все официальные праздничные коммеморации 1920–1930-х гг. и по сценариям, и по функциям были очень похожи на дореволюционные государственные праздники. Уже замечено, что, с одной стороны, разработчики сценариев советских праздников стремились использовать сильно действующую на эмоции человека эстетику христианских ритуалов, с другой – не были способны ее преодолеть². На традиционной культурной основе власть использовала отдельные коммеморативные практики для формирования выгодного ей метанарратива революции.

Годовщины знаменательных событий не только «воскрешали прошлое» для демонстраций особой коллективной идентичности, они также подводили итоги пережитого и становились временем постановки целей на будущее. К середине 1920-х гг. репрезентации коллективной памяти в Октябрьских торжествах стали унифицированными и схематичными, из дня памяти и скорби 7 ноября превратился в день торжества успехов современного развития экономики, общества и культуры. В 1930-х гг. это смысловое значение праздника стало доминантным. Праздничные коммеморации еще более унифици-

¹ ГАНО. – Ф. Р. 600. – Оп. 172. – Л. 13.

² Ральф М. Указ. соч. – С. 87.

ровались, на уровне массовых торжеств происходило подавление разных вариантов коллективной памяти об Октябре и Гражданской войне их «правильными» идеологическими репрезентациями; коллективная память сибиряков постепенно вытеснялась общегосударственным метанарративом Октября.

Аналогичные тенденции заметны на примерах годовщин революции 1905 г. и торжеств, посвященных годовщинам местных событий Гражданской войны. В начале 1920-х гг. этим праздникам придавалось большое значение. Торжества в честь годовщин Первой русской революции «продлевали» советскую историю, использовались для формирования выгодного большевикам революционного нарратива. Эти торжества были нужны и самим «пятигодникам», выступая средством их единения, повышения самооценки. Однако, если в 1920-х гг. эти праздники стимулировали относительно свободные краеведческие исследования, то в 1930-х гг. память о Первой русской революции испытывала более грубую «проработку», что, в частности, отразилось в насаждении культа С. М. Кирова. Постепенно праздник утрачивал самостоятельность, сливаясь с Октябрьскими торжествами.

Заметно и то, что изначально государство в лице местных органов власти стремилось к унификации коллективной памяти о местных событиях Гражданской войны. В первой половине 1920-х гг. эти торжества находили горячий, эмоциональный отклик среди жителей городов Западной Сибири. Однако видно резкое снижение интереса со стороны власти к этим праздникам в 1930-х гг. и даже тенденция вытеснения из местных коммеморативных практик и коллективной памяти сюжетов, связанных с локальными военно-революционными событиями.

ГЛАВА 5
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ:
ПРОБЛЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОХРАНУ ПАМЯТНИКОВ

5.1. Омский краеведческий музей: диктат политики памяти и краеведческие инициативы музейщиков

Анализ проблем репрезентации прошлого в экспозициях музеев западно-сибирских городов, по нашему мнению, целесообразно начать с деятельности Омского краеведческого музея, имеющего самую длительную историю и богатый опыт работы. Краеведческий музей в Омске был основан в 1878 г. Западно-Сибирским отделом Русского Географического общества (далее – ЗСОРГО). Уже в мае 1920 г., после «освобождения» Омска от «колчаковщины», музей, готовившийся к возобновлению своей деятельности, вступил в переписку с ЗСОРГО и с Сибархивом для выяснения принципов дальнейшего сотрудничества¹. В 1921 г. музей был выделен из состава ЗСОРГО в самостоятельное учреждение – Государственный Западно-Сибирский краевой музей.

Как отмечает музейевед Л. С. Мартынова, за 43 года существования музея при ЗСОРГО (1878–1921 гг.) в его фондах сложились ценные коллекции гуманитарного характера, использовавшиеся для научных исследований, для проведения экскурсий, лекций и выставок². По наблюдению Н. А. Томилова, создание омского музея фактически совпало с утверждением в нашей стране статуса этнографии как самостоятельной

¹ ИАОО. – Ф. Р-86. – Оп. 2. – Д. 41. – Л. 9.

² Мартынова Л. С. Указ. соч. – С. 29.

науки¹. Этот музей стал одним из наиболее ранних центров изучения этнографии народов Азиатской России². Омский музей начала XX в. был одним из центров самореализации, культурного и дружеского общения омской интеллигенции, активно участвовавшей на рубеже веков в деятельности различных обществ³.

В целом на рубеже XIX и XX вв. «музеи приобретают статус культурной нормы»⁴; этнографами движет идея собирания и сохранения бесследно исчезающих в условиях модернизации памятников прошлого⁵. Тогда же приходит осознание того, что «сберечь от гибели старину было бы легче местному обитателю, чем заезжему из столицы этнографу»⁶. Активная собирательская работа омских музейщиков до революции отвечала данному убеждению. На рубеже XIX–XX вв. традиционным направлением в работе музеев также стала охрана «местных древностей» и памятников архитектуры.

У Омска, основанного еще в 1716 г., к 1917 г. сформировался своеобразный социокультурный облик, обрисовалась общая для горожан коллективная память о специфике формирования городской среды и состава городского населения, о местных знаменитостях и великих россиянах, чьи судьбы оказались связанными с Омском. Так, еще в 1911 г. омичи позиционировали себя как жителей «города военных и чиновников»⁷. Локальная историческая память горожан отражалась на топонимике, имевшей глубокие исторические корни. К примеру, улица И. Д. Бухгольца напоминала об основании города, а улица Атаманская была связана с историей Сибирского казачества⁸.

Среди интеллигенции Омска была популярной этнографическая и историческая литература⁹. Образованные омичи, офицеры, кадеты, студенты традиционно задавали тон культурной жизни Омска. Именно эти слои населения участвовали в пополнении музейных коллекций. Историк Д. А. Алисов подчеркивает, что военные и казаки стояли у истоков формирования омской науки. Выдающиеся омские краеведы XIX в. М. В. Певцов, П. А. Золотов, И. Я. Словцов преподавали в кадетском корпусе¹⁰.

¹ Томилов Н. А. Омск как научный центр России по изучению народов Азии: (навстречу 145-летию омской этнографии) // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1988. – С. 6.

² Алисов Д. А. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914 гг.). – С. 277.

³ Сабурова Т. А. Интеллигенция Омска на рубеже XIX–XX вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Омск, 1995. – С. 14.

⁴ См.: Музейное дело России. – С. 32–33.

⁵ Турьинская Х. М. Этнографическое музееведение в конце XIX – начала XX в. – С. 112.

⁶ Там же. – С. 97.

⁷ Весь Омск. Омск, 1911. – С. 140.

⁸ Там же. – С. 186, 193.

⁹ Сабурова Т. А. Указ. соч. – С. 16.

¹⁰ Алисов Д. А. Указ. соч. – С. 276.

С 1913 по 1923 г. омский музей не опубликовал ни одного отчета, поэтому трудно судить о характере его исторической экспозиции. Известно, что еще в дореволюционный период в музее формировался «Архив Великой войны», где отложились вещи, связанные с Первой мировой войной: документы, письма, предметы вооружения и снаряжения. Историк О. В. Блинова поясняет, что изначально архив складывался на средства местного населения и Омской городской управы. Многие омичи передали музею вещи, представлявшие, с их точки зрения, интерес как раритеты¹. После революции эта коллекция была переименована в «Архив войны и революции». Есть мнение, что в период диктатуры Колчака в цели архива входило прославление белой армии и «отражение героического пути армии Колчака к Москве»². Но мемориальные предметы, имеющие отношение непосредственно к А. В. Колчаку, в музее почти не сохранились. До наших дней чудом дошли лишь колчаковские листовки и некоторые научные статьи адмирала³.

Можно сделать вывод о том, что колчаковцам для конструирования выгодной им версии коллективной памяти был необходим омский музей. Известно, что ими не только пополнялся «Архив Великой войны» по «горячим следам», но и предпринимались попытки «проработать» омское локальное прошлое. Так, Г. Е. Катанаев собирал по поручению Войскового правительства материалы для подготовки «Истории Сибирского казачьего войска», которые были им утрачены при эвакуации в Иркутск⁴. Само привлечение ветерана музейного дела в Омске Г. Е. Катанаева к историческим исследованиям в духе колчаковской идеологии показательно с точки зрения понимания той серьезной роли, которую А. В. Колчак отводил музею. При отступлении Колчак намеревался эвакуировать и музей, однако его работники спрятали большую часть музейных экспонатов в подвалах.

В период «колчаковщины» некоторые омичи и жители окрестностей Омска, нуждавшиеся в материальных средствах, пытались продать музею вещи, имевшие историческую и коллекционную ценность⁵. При этом заметно, что в начале 1920-х гг. многие обыватели и сами музейщики еще воспринимали вещи, принадлежавшие свергнутой по-

¹ Блинова О. В. Указ. соч. – С. 148.

² Очерки истории г. Омска. – Т. 2. – С. 75.

³ Лоскутова А. М., Сорокин А. П. А. В. Колчак – портрет на фоне эпохи: из опыта создания историко-биографических выставок // Музей и общество на пороге XXI в. – Омск, 1998. – С. 191.

⁴ Вибе П. П. О создании в Омске Музея Гражданской войны в Сибири. – С. 172.

⁵ ИАОО. – Ф. 86. – Оп. 1. – Д. 253. – Л. 6–8; Оп. 2. – Д. 35. – Л. 38.

литической элите, как реликвии. Многочисленные «исторические» предметы музею передавали разные организации и учреждения¹.

В дальнейшем омский музей, как и другие музеи Сибири и России, развивался главным образом под воздействием фактора государственной музейной политики, контуры которой менялись со временем. В советское время музеи были поставлены под контроль государства. Они играли ключевую роль в аккумулировании определенной версии коллективной памяти, в трансляции официальных оценок прошлого, в идеологическом просвещении. По своей сущности музеи являются просветительскими учреждениями, их миссия состоит в распространении знаний. Однако далеко не только знания транслирует музей. А. В. Луначарский называл музеи «памятной книгой человечества». Культуролог О. А. Божченко поясняет: «Опираясь на коллективную память – основу национального самосознания, воздействуя когнитивными и эмоциональными средствами, в музее возможно воссоздавать исторические реалии, вовлекая человека в мир ожившей истории, вызывая высокие чувства сопричастности значимым событиям прошедшего времени»².

С одной стороны, музей участвует в сохранении исторической памяти, с другой – выступает инструментом ее формирования и развития. Исторический музей не создает новых форм, сохраняя лишь старые. При этом отбор предметов, которые подлежат сохранению, отражает признание их ценности. Перенос ценности прошлого в современное общество, музей содействует формированию системы новых ценностей на их основе, оказывая влияние на формирование исторической памяти общества³. Этот потенциал музея и старалось использовать государство в свою пользу.

Остановимся на основных характеристиках законодательного и политического контекстов работы музеев в межвоенный период. С 1918 г. музеи стали рассматриваться государством, прежде всего, как идеологические и научно-просветительские учреждения. После Гражданской войны советская власть инициировала их работу по выявлению, учету и сохранению памятников и артефактов старины. К этой работе активно привлекалось население⁴.

¹ Там же. – Л. 11, 23, 46.

² Божченко О. А. Указ. соч. – С. 3.

³ Там же. – С. 16.

⁴ Равикович Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства. – С. 99.

Музеевед Е. М. Каулен пишет: «Если в XIX в. музеефикация являлась исключительно средством мемориализации и служила задаче увековечивания значимых для народа и государства событий и имен, то теперь основной задачей музеефикации было спасение от гибели и включение, “вписывание” в новую культурную парадигму памятников изгоняемой из актуальной жизни культуры»¹. В начале 1920-х гг. было актуально сохранить артефакты, свидетельствовавшие об имущественном расслоении, оставшемся в «мрачном» прошлом, о классовой борьбе, а также не допустить массового вывоза ценностей за рубеж. Губернские комитеты по делам музеев должны были также выступить организаторами научной и просветительской деятельности.

На этом фоне возрос общественный интерес к старине и древностям, страну захлестнула волна кладоискательства². Поэтому с 1923 г. в задачи музеев входило приведение в порядок сбора артефактов и критическая оценка всех сохранных памятников³. Для этого предполагалось «выделение предметов, имеющих исключительное музейное значение и подлежащих государственному охранению», «перерегистрация собраний и отдельных памятников искусства и старины, стоящих на учете Главнауки по музейному отделу Наркомпроса», определение исторической и художественной ценности предметов и памятников, постановка «ценных» памятников на учет. Музейные предметы и памятники, признававшиеся не имеющими ценности, снимались с учета и не подлежали охране со стороны государства⁴. Было очевидно, что это постановление спровоцирует многочисленные дебаты о ценности тех или иных памятников и сохранных вещей. Поэтому дополнительно определялись некоторые критерии ценности: «давность» (с момента возведения памятника зодчества должно было пройти сто лет и более) и «художественная сторона» (эстетические достоинства памятника или предмета)⁵. Законодательство не содержало мысли о том, что культовые постройки заведомо не являются ценными. Однако церковь утратила юридическое лицо, поэтому в дальнейшем она оказалась неспособной защитить культовые постройки от уничтожения, бессильными оказались и музеи.

В 1925 г. был задан экономический уклон собирательской деятельности музеев и построению экспозиций, которая должна была отражать в первую очередь вопросы хо-

¹ Каулен М. Е. Указ. соч. – С. 173.

² ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 2. – Л. 49.

³ Годунова Л. Н. Органы управления музейным делом в СССР, 1917–1941 гг. – С. 25–26.

⁴ ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 2. – Л. 23.

⁵ Там же. – Д. 9. – Л. 4.

зяйственного развития страны и региона. Но одновременно продолжалась организация этнографических и археологические экспедиций, к которым стали привлекаться краеведы-любители из числа тех, кого ранее называли «иногородцами». С начала 1920-х гг. музеи активно участвовали в развитии краеведения¹. Краеведение способствовало пополнению музейных фондов, что являлось закономерным развитием дореволюционных взглядов на роль местного населения в сохранении памятников старины.

В середине десятилетия сибирские музейщики проявляли интерес к городоведению, к выявлению «духа места», его уникальности. Параллельно с середины 20-х гг. музеи работали над формированием нового военно-революционного ландшафта памяти в своих городах. С 1924 г. они должны были в обязательном порядке способствовать изучению и тиражировать историю жизни и деятельности В. И. Ленина². Однако с 1927 г. руководящими органами было признано, что научно-исследовательская работа музеев идет вразрез с работой политико-просветительской³, а смена государственного курса на рубеже десятилетий ускорила путь к унификации и более выраженной политизации музейного дела в СССР.

На протяжении 1920-х гг. в музейном деле сохранялась тесная преемственность с дореволюционным периодом. Однако 1–5 декабря 1930 г. в Москве состоялся Первый Всероссийский музейный съезд, который мобилизовал музеи, в первую очередь, на решение политико-идеологических задач. В итоге начался новый этап в истории музейного дела, который М. Е. Каулен называет периодом «уничтожения созданного»⁴. Уже в своем приветственном слове нарком просвещения РСФСР А. С. Бубнов призвал музейщиков покончить с «вещевым фетишизмом», отказаться от «кунсткамерного» характера экспозиции, поставить музеи на службу социалистическому строительству и усилить массово-идеологическую работу.

Эти установки вели к сужению поля деятельности музеев, к ограничению их свободы в поиске средств репрезентации исторического прошлого, к унификации экспозиционной деятельности. Самостоятельную ценность исторического знания музейные чиновники этого времени поставили под сомнение. Попытка подойти к построению экспозиции, исходя из «марксистско-ленинских» убеждений, приводила в эти годы к вуль-

¹ Ушаков А. В. Научно-исследовательская работа музеев исторического профиля (1917–1959). – С. 48.

² ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 7. – Л. 9.

³ Годунова Л. Н. Органы управления музейным делом в СССР, 1917–1941 гг. – С. 32–33.

⁴ Каулен М. Е. Указ. соч. – С. 230.

гарному пониманию роли исторических предметов в экспозиции как средства продемонстрировать всю мрачность и никчемность дореволюционного прошлого края и оттенить успехи социалистического строительства. На рубеже десятилетий были отвергнуты и принципы традиционной эстетики исторического музея, в первую очередь любование стариной.

Съезд поставил задачу немедленно приступить к реэкспозиции, выстроить новые экспозиции на основе марксизма. Также требовалось создание отделов «социалистического строительства», которые должны были занять доминирующее положение в экспозиции. В марте 1931 г. Наркомпрос РСФСР разослал обращение «Ко всем музейным учреждениям». В нем были сформулированы основные требования к построению экспозиции, которое должно было «дать ясное понимание классовых интересов пролетариата, его революционно-исторической роли в деле освобождения трудящихся от капиталистической эксплуатации и тем самым организовать волю посетителя к революционному действию, пробуждать в нем творческую инициативу активного борца за социализм»¹. В 1936 г. заместитель наркома просвещения Н. К. Крупская утвердила «Типовое положение о местных музеях, краевых (областных) и районных, состоящих на местном бюджете», согласно которому музеи были строго ориентированы на выполнение политико-просветительских задач².

Существенными были также изменения, произошедшие в сфере охраны памятников истории и культуры, вызванные антирелигиозной пропагандой и контекстами исторической политики «очернения» прошлого. Как мы уже отмечали, с конца 1929 г. в городах Западной Сибири началось постепенное закрытие храмов, многие из которых подлежали разрушению; параллельно уничтожался исторический некрополь Западной Сибири. Ценность всех этих объектов отвергалась властями. Историк И. А. Личак считает, что с середины 1930-х гг. «набирала силу тенденция, направленная на свертывание работ по охране памятников, на снос старинных архитектурных строений и памятников, “идеологически вредных”». В эти годы проявилось также более утилитарное отношение к памятникам. И. А. Личак отмечает и то, что музеи в 1930-х гг. реально не обладали ни материальными возможностями, ни юридическими правами для осуществления деятельности по охране памятников, которая была возложена на музеи государством³.

¹ Рубан Н. И. Указ. соч.

² Там же.

³ Личак И. А. Система охраны памятников во второй половине 1930-х гг. – С. 208.

Помимо политики, важным определяющим фактором работы музеев 20–30-х гг. стало развитие науки, музейной и краеведческой мысли. Вектор направленности этого процесса не всегда совпадал с официальной позицией государства. В начале 1920-х гг. на развитие музейного дела оказали влияние идеи, возникшие еще до революции, сущность которых В. Г. Рыженко определяет, как «культурологическую»¹. Во-первых, очевидно, что это – «родиноведение» (вариант мироведения на материалах местного края), определяемое В. Г. Рыженко и А. Г. Быковой в качестве «образовательно-научной традиции». Ее утверждение относят ко второй половине XIX – началу XX в. Родиноведение выступало не только специфичной рамкой «познания Родины», но и средством формирования и укрепления патриотизма. В родиноведении соединялись личностные и общественные инициативы, гражданские идеалы, имевшие существенное воздействие на сферу культуры в Западной Сибири вплоть до конца 1920-х гг.² Идеи родиноведения пропагандировали представители областничества (системы взглядов части сибирской интеллигенции на свой регион как на особую область с отличительной национальной, климатической и исторической спецификой, которая, по их мнению, выступала основанием пересмотра колониальной политики Российской империи в отношении Сибири). В частности, Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин ратовали за открытие музеев – центров просвещения и изучения региона, которое, по их мнению, должно было осуществляться комплексно и углубленно.

На деятельности омских музейщиков сказались и идеи «духа места», разрабатывавшиеся И. М. Гревсом, заложившим основы городского краеведения, и его учеником Н. П. Анциферовым. О городах Гревс писал: «Города – это и лаборатории, и приемники, хранители культуры, и высшие показатели цивилизованности. В них происходит сгущение культурных процессов, насыщение их результатов... Город – центр, в одно время, культурного притяжения и лучеиспускания, самое яркое и наглядное мерило уровня культуры, а история города – прекраснейший путеводитель ее хода и судеб»³. Гревс призывал к исследованию наглядной «биографии» городов, в которой отражена история страны и народа, к постижению «души» города и процессов, под воздействием которых она слагалась. Глубину такому исследованию давало внимание к рядовой застройке города, его окрестностям, дорогам, связям с окружающей природой и т. п.

¹ Рыженко В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг. – С. 282.

² Рыженко В. Г., Быкова А. Г. Культура Западной Сибири: история и современность. – Омск, 2001. – С. 97.

³ Гревс И. М. Монументальный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело. – Пг., 1921. – С. 2.

Участие в работе омского музея представителей интеллигенции, болевшей душой за свое детище, можно признать особым фактором его развития как «хранилища памяти». Омские музейщики, как и их коллеги во всем нашем регионе, профессионально сформировались преимущественно в дореволюционное время. В советских условиях они были вынуждены искать баланс между индивидуальной памятью, памятью различных социальных групп и официальной версией событий. Отдельные их инициативы противоречили музейной политике, другие признавались неудачными, не соответствовавшими в полной мере инструкциям и предписаниям. В обоих случаях последствия для музейщиков могли быть трагичными.

Развитие музея зависело, в первую очередь, от деятельности его директора. В 1921–1923 гг. омским музеем руководил Б. С. Семенов, который одновременно являлся и секретарем распорядительного комитета ЗСОРГО. Нормальное функционирование омского музея сильно осложнили отношения с ЗСРГО. Выделение музея из этой структуры очень заметно сказалось на его материальном положении. В марте 1922 г. Б. С. Семенов искал помощи у московского руководства, писал в Главмузей: «Западно-сибирский краевой музей гибнет. Здание разрушается. Ценным коллекциям грозит гибель. <...> Помощи, невзирая на ряд поданных смет в Сибнаробраз и Омгубнаробраз, музей не получал с сентября 1921 г. ни рубля субсидий. Прошу экстренной помощи. Вышлите хотя бы 50 миллионов, чтобы музей мог платить до лета»¹. Прекращение финансирования произошло из-за того, что омский музей некоторое время по причине реорганизации не был включен в сеть музеев, подведомственных центру².

В декабре 1922 г. известный общественный деятель Сибири В. Д. Вегман с болью констатировал неизбежность гибели экспонатов музея, содержащихся с нарушением температурного режима. Он описывал и хаос, воцарившийся в организации музейного дела Омска³. Эта ситуация осложнилась крупным скандалом: директор музея Б. С. Семенов был обвинен в кражах музейного имущества, уволен и осужден на три года лишения свободы⁴. В голодные годы он продавал музейные вещи, некоторые из которых, впрочем, были признаны «не имеющими значения экспонатов». Вырученные

¹ ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 2. – Л. 127.

² Там же. – Л. 128.

³ Вегман В. Д. Надо спасти культурные ценности // Рабочий путь. – 1922. – 15 дек.

⁴ Март. Музейный хищник // Сов. Сибирь. – 1925. – 18 февр.; Процесс профессора Семенова // Рабочий путь. – 1925. – 16 февр.

деньги шли на выдачу жалования сотрудникам. Также, как выяснилось, Семенов раздавал своим сотрудникам музейные вещи, пригодные для использования в быту¹.

После увольнения Б. С. Семенова директором музея стал Ф. В. Мелехин, проработавший здесь с 1924 по 1929 г. и внесший неоценимый вклад в развитие музея². Среди заслуг Федора Васильевича – создание художественной галереи, пополнение этнографических, археологических, естественнонаучных коллекций, восстановление ботанического сада, создание оранжереи и зоосада. После увольнения Ф. В. Мелехина – «офицера царской армии и носителя буржуазной культуры» – непродолжительный период обязанности директора исполнял приехавший несколькими годами ранее с Дальнего Востока А. И. Харчевников³, ставший впоследствии руководителем Минусинского музея. Его на посту директора сменил С. И. Кочнев, заведовавший ранее историко-революционным отделом музея. С 1935 по 1937 г. музеем руководил П. А. Россомахин. В 1937 г. директрисой музея была назначена А. П. Петровская, развернувшая серьезную памятнично-охранительную деятельность и сумевшая вывести музей из кризисного состояния к концу 1930-х гг.

Деятельность музея зависела от экономических контекстов и обстоятельств местной повседневной жизни. Так, в годы разрухи у музея были серьезные проблемы: он размещался в обветшавшем здании и имел колоссальные финансовые задолженности. Состоянием разрухи характеризовалась жизнь всей Сибири. Населению не хватало самого необходимого: еды, дров, лекарств, одежды. В этих условиях потребность населения в посещениях музея снизилась. Большинству омичей, еле сводивших концы с концами, было не до культурного досуга.

Повышение уровня жизни населения к середине десятилетия естественным образом облегчило работу музея, у которого появились некоторые материальные средства. Народ, почувствовав сытость, стал проявлять больше интереса к культурной жизни, которая возрождалась в городе, имевшем богатую историю и локальные традиции. Команде Ф. В. Мелехина в условиях нэпа было легче работать, чем их предшественникам, тем более, что до конца 1920-х гг. власть допускала некоторую научную свободу.

Условия работы в музее после «великого перелома» начали заметно меняться. Теперь музейщики жили в обстановке сильного нервного напряжения, ощущения отсут-

¹ Безродная О. А. Западно-Сибирский краевой музей (1921–1934 гг.). – С. 33.

² Мелехин В. Ф. Указ. соч. – С. 14.

³ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп.1. – Д. 119. – Л. 1.

ствия свободы творческой деятельности, в ожидании репрессий. Вплоть до конца десятилетия у них не хватало духа взяться за опасное дело репрезентации исторического прошлого, которое в этот период, очевидно, казалось непредсказуемым. При этом больших материальных проблем музей не испытывал. Руководство учреждения изыскивало средства на дорогостоящие выставки, на командировки сотрудников, на ремонт здания и отделку залов¹. Однако внешнее благополучие маскировало «текучку» кадров, напряженность в отношениях между сотрудниками и серьезные методологические трудности в экспозиционной и выставочной деятельности.

Отражение государственной политики памяти в деятельности омского музея прослеживается довольно отчетливо. Во-первых, сказывалось общее, начавшееся еще в период Гражданской войны, стремление дискредитировать дореволюционное прошлое России и Омска, в частности. Период диктатуры А. В. Колчака воспринимался однозначно негативно. В еще недавно «белом» городе большевикам было особенно важно стереть хоть сколько-нибудь позитивно окрашенную память о «правителе Омском» и его режиме, а также сформировать у омичей шаблонные воспоминания о революционных и военных событиях. Это достигалось разными средствами. Печать 1920-х гг. напоминала читателям о старинных омских памятных местах: Омской крепости, крепостных воротах – Тарских, Тобольских, Омских, Иртышских, «мертвом доме» (место заключения Ф. М. Достоевского) и др. В контексте новой парадигмы памяти все эти места должны были выступать доказательствами тягостей дореволюционной жизни (чиновничий произвол, каторга, «военщина»). Старый Омск называли «мертвым городом Акакиев Акакиевичей».

Дискредитации подвергались и религиозные памятники. Сообщалось, например, что архиерейский дом был передан психиатрической больнице². Среди методов забвения необходимо назвать и уничтожение артефактов колчаковщины («белогвардейских» книг, личных вещей, принадлежавших «колчаковской шайке»)³. Чудом уцелевшие музейные экспонаты, относящиеся к истории белого движения, до сих пор мало известны омичам⁴. Практиковалось и «вселение» советской парадигмы памяти на места поверженной «имперской» и «белой» памяти. Переезд музея в новое здание – бывший дворец

¹ ИАОО. – Ф. П-17. – Оп. 1. – Д. 244. – Л. 7.

² Силуэты Омска // Сов. Сибирь. – 1924. – 15 окт.; Орлов П. Омск 100 лет тому назад // Сов. Сибирь. – 1925. – 30 апр.

³ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 4. – Д. 68. – Л. 14.

⁴ Вибе П. П. О создании в Омске Музея Гражданской войны в Сибири. – С. 170.

генерал-губернатора, а впоследствии дом Совета министров колчаковских – имел символическое значение. Журналист «Советской Сибири» выразился в 1924 г. по этому поводу так: «Все прошлое сдано самой жизнью... в музей»¹. Эта фраза, с одной стороны, отражает отношение к музею не как к «хранилищу живой памяти», а как к месту истории, для которого характерно сохранять уже «отжившую», утратившую для общества острую актуальность информацию о прошлом.

С другой стороны, факт занятия советским учреждением культуры здания администрации старой власти свидетельствует о фактическом сохранении у музея важных функций памятного места. Заселение музея в это здание символически провозглашало несостоятельность старой власти и ее позорное падение. Использовалась и деконкретизация сведений о колчаковцах и образцов, ассоциировавшихся с Колчаком, в печати и популярной краеведческой литературе. Так, среди характеристик городской жизни периода правления А. В. Колчака называли лишь реки водки, вина и шампанского, ужины, маскарады, спектакли, музыку на парадах и в ресторанах.

Также важно то, что через печать и музей власть стремилась формировать в сознании горожан новый ландшафт коллективной памяти, окутанный в начале 1920-х гг. ореолом революционной жертвенности, а в 1930-х проникнутый пафосом победы. Печать постоянно и эмоционально напоминала о новостях музея, который, по ее утверждениям, работал над обновлением исторической части экспозиции. Указанные тенденции советской политики памяти постепенно усиливались.

Во второй половине 1930-х гг. на деятельности музея отчетливо сказалась еще одна тенденция политики памяти: унификация исторического знания, приводившая к слабости музейных репрезентаций истории Омской области, а также гиперболизация роли И. В. Сталина в революционных событиях. В эти годы также происходило насаждение в сознание масс нового героического пантеона. Особенно значительной для Омска стала фигура памяти В. В. Куйбышева. На практике это выразилось в неоднократных переработках экспозиции, в поиске «куйбышевских» мест, в тиражировании сведений о них посредством выставочно-экспозиционной и экскурсионной деятельности.

Важно отдельно пояснить идеологическое значение выставок 1937 г. Этот год ознаменовался двумя крупными юбилеями: 20-летием Октябрьской революции и 100-летием со дня гибели А. С. Пушкина. Идеологический смысл первой из этих выставок

¹ Силуэты Омска // Сов. Сибирь. – 1924. – 15 окт.

полностью соответствовал смыслу масштабных Октябрьских торжеств, к которым мы обращались в предыдущей главе. На значении второй выставки необходимо остановиться отдельно. Пушкинские торжества служили прославлению вождя и конституции 1936 г. Важно и то, что юбилейные мероприятия были представлены обществу в контексте внешнеполитической ситуации. Печать подчеркивала равнодушие к «пушкинским дням» со стороны фашистских Германии и Италии, а также интерес к торжествам со стороны интеллигенции «культурных» европейских стран. Таким образом, осуществлялась попытка продемонстрировать объединение демократических сил Европы и СССР против фашизма, отвергающего истинные культурные ценности¹.

Говоря о значении выставок 1937 г., важно отметить, что этот тяжелый для советских граждан год был связан не только с ужесточением политического режима, но и с крупными массовыми торжествами, которые были необходимы для того, чтобы отвлечь внимание народа от массовых репрессий. В торжествах были активно задействованы и музеи, в частности, готовившие масштабные выставки к 100-летию со дня кончины А. С. Пушкина. Репрезентация исторического прошлого на такой выставке в омском музее не отличалась оригинальностью. Музей транслировал мифы, сочиненные властью, и представлял главным образом типовые экспонаты.

Перед музейщиками стояла идеологическая задача искусственного формирования видимости политической солидарности не только между современниками, но и с великими людьми ушедших эпох. В условиях повсеместного разрушения памятников русской истории и культуры (в особенности религиозной) важно было также продемонстрировать заботу советского государства о сохранении наиболее ценного культурного наследия. В канун юбилея пушкинское наследие было переосмыслено в идеологическом контексте: все пушкинские коммеморации 1937 г. были направлены на формирование в культурно-исторической памяти советских людей новой фигуры А. С. Пушкина – «борца с царизмом за счастье простого народа». В пышных торжествах, посвященных столетию со дня гибели поэта, отразилась потребность советской власти в образах героев исполинского масштаба, которые служили бы средством мобилизации масс на небывалые прежде подвиги и достижения в сфере социалистического строительства². Важно, что Пушкин, как и Чапаев, как Киров, Куйбышев и Орджоникидзе, изображался в качестве

¹ Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades. – P. 127.

² Hartzok J. G. Children of Chapaev.

жертвы героической борьбы за «счастье народное» и служил примером для подражания каждому советскому человеку. К. Петроне видит в праздничном образе Пушкина даже «квазирелигиозные» и мистические черты.

Эта исследовательница уделяет пристальное внимание идеологическому значению пушкинских торжеств 1937 г. Она подчеркивает, что такой же масштабный и похожий по форме праздник в честь столетия со дня рождения поэта устраивался еще в имперское время. Монархисты использовали образ Пушкина для пропаганды теории официальной народности. В дальнейшем, вплоть до середины 30-х гг., советская власть почти не замечала Пушкина, как и других поэтов из числа дворян. Но в 1937 г. Пушкин вновь стал национальным символом, однако на этот раз символом новой советской культуры, которая официально характеризовалась как грандиозная и прогрессивная, связанная с великими европейскими традициями и лучшими традициями русской дореволюционной культуры.

В юбилейных торжествах отразилась пропаганда патриотичной любви к Родине, за которую советский человек должен был быть готовым умереть. Косвенно эти торжества должны были повышать даже обороноспособность страны. Наследие А. С. Пушкина было представлено в СССР, как и за рубежом, в качестве великой ценности, отныне доступной не только для русской интеллигенции, но и для каждого гражданина СССР, в том числе не владеющего русским языком (в период торжеств осуществлялось множество переводов поэзии Пушкина на различные языки народов СССР).

Торжества отражали идею, согласно которой приобщение к пушкинской поэзии способствовало повышению общего уровня культурности советских граждан; представление о последней связывалось с пропагандой резкого повышения уровня жизни к середине 1930-х гг. К. Петроне считает, что празднование юбилея служило также задачам сближения государства и интеллигенции, поскольку власть была заинтересована в том, чтобы деятели культуры участвовали в прославлении режима. Заодно с восхищением творчеством поэта повсеместно высказывалась похвала сталинскому правлению, разносторонне повышающему качество жизни населения¹.

Обратимся к документам, отражающим рутинную, повседневную деятельность омских музейщиков, и попытаемся понять, в какой мере их работа продолжала дореволюционные начинания, и как менялся вектор ее направленности с течением времени.

¹ Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades. – P. 114–147.

В 1920–1923 гг. остановилась научная работа, инвентаризация фондов велась небрежно, многие экспонаты были испорчены и утрачены. Материалы, которые поступили в музей на этом этапе, часто регистрировались с ошибками¹. Историческая часть экспозиции в условиях тесноты была очень маленькой и концептуально не выстроенной. Старые теоретические представления о характере построения исторической экспозиции идеологически устарели, а новые только разрабатывались столичными специалистами. В омском музее археологический, этнографический и нумизматический отделы экспозиции оставались традиционными, существовал еще оригинальный музыкально-этнографический отдел, сформированный также до революции. Эти материалы, как и прежде, должны были свидетельствовать об успехах русской колонизации Сибири. В 1922 г. в экспозиции был представлен отдел о революции и Гражданской войне².

Создать военно-революционный музей «по горячим следам» предлагал еще в 1920–1921 гг. пожилой краевед Г. Е. Катанаев, участвовавший в работе колчаковской администрации и отпущенный из иркутской тюрьмы в силу «дряхлости и отсутствия серьезных обвинений»³. Он умер в том же 1921 г., но, возможно, именно его неоднозначные в политическом отношении наработки легли в основу построения музейного отдела революции и Гражданской войны. Неудивительно, что вскоре этот отдел закрылся. В то же время мы не находим сведений о репрезентации в музейной экспозиции начала 1920-х гг. исторического прошлого в духе марксизма. Этнографические и археологические материалы экспонировались в музее традиционно в соответствующих отделах⁴. В 1923 г. газеты писали о том, что именно историческая часть экспозиции оставалась наиболее бедной. Лишь новый хранитель музея этнограф Ф. В. Мелехин стал заявлять, что ее развитие – это приоритетное направление в работе музея, не спеша, однако, серьезно браться за этот участок работы. В марте 1923 г. директор сделал доклад на заседании музейного совета, пытаясь разъяснить коллегам новое представление о музее: «Это – не кунсткамера, не хранилище редкостей, а дом науки, лаборатория, реальный фактор насаждения духовной и материальной культуры, хранилище памятников»⁵.

В 1920–1923 гг. музей принимал посетителей с перебоями. График его работы часто менялся, попасть в него было не так уж и просто, о времени его работы нужно было

¹ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 119. – Л. 11.

² Рабочий путь. – 1922. – 21 июня.

³ Вибе П. П. О создании в Омске Музея Гражданской войны в Сибири // Катанаевские чтения. – Омск, 2006. – С. 172.

⁴ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 4. – Л. 8.

⁵ Там же. – Д. 5. – Л. 17.

узнавать из газет, а на экскурсии записываться заранее. Посещение музея было не бесплатным (200 тыс. р. в 1922 г.). Не каждый житель Омска мог в экономически тяжелых условиях позволить себе потратить деньги на билет в музей. В 1923 г. цена на детские билеты понизилась вдвое. По всей видимости, музей стремился привлечь в первую очередь подрастающее поколение, которое нужно было воспитывать в духе новой идеологии. Однако взрослые билеты в этот момент подорожали вдвое. Сотрудники музея старались привлекать посетителей бесплатными экскурсиями, которые проводились для групп¹. В качестве экскурсионного времени были определены часы с 11 до 15 по вторникам, четвергам и воскресеньям².

На протяжении 1923–1924 гг. музейный совет ни разу не обсуждал исторический отдел экспозиции, занимаясь преимущественно вопросами ботанического сада, отделом живой природы и отделом минералогии³. Однако печать привлекала внимание омичей к исторической экспозиции музея. «Рабочий путь» писал, что посетителям нравятся представленное в музее оружие времен Ермака, а также макет кареты, «в которой возили осужденных декабристов», и другие экспонаты, «имеющие просветительское значение в духе материализма». Газета сообщала, что посетители музея после просмотра экспозиции приходят к «правильному» выводу: «Теперь ясно, что не бог создал человека, а человек бога»⁴. Эта публикация свидетельствует о том, что органы местной власти ждали от музея активного содействия в деле идеологического просвещения и антирелигиозной пропаганды.

В середине 1920-х гг. «провисавшая» историческая часть экспозиции, по всей видимости, строилась так же консервативно. Все-таки изначально музей был в большей степени ориентирован на естественные науки и традиционную дореволюционную этнографию. Сотрудники музея придерживались поставленных перед собой еще в 1923 г. традиционных задач: охранять памятники старины и изучать культурно-исторические аспекты жизни сибиряков⁵.

Однако политическая обстановка обязывала устраивать военно-революционные выставки. В декабре 1925 г. в-связи с памятной датой «освобождения» Сибири от «колчаковщины» вниманию посетителей музея была предложена соответствующая бесплат-

¹ [Объявления] // Рабочий путь. – 1922. – 11 нояб.

² ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 4. – Л. 8.

³ Там же.

⁴ Экскурсия в музей // Рабочий путь. – 1925. – 14 нояб.

⁵ Хроника // Рабочий путь. – 1922. – 9 марта.

ная выставка, которая работала на протяжении двух недель. Выставлялись предметы, полученные от отдела артиллерии Омского окружного артиллерийского склада Сибирского военного округа: оружие, патроны, подзорные трубы, использовавшиеся в военно-полевых условиях, образцы обмундирования¹. Репрезентация этих вещей должна была отражать героизм Красной армии и вытеснять память об армии Колчака, материалы о которой не были представлены в экспозиции.

Также к 20-летию Первой русской революции музей открыл отдел экспозиции из 18 витрин, посвященный этой памятной дате. В содержательном отношении выставка охватывала экспонаты, свидетельствующие о забастовках железнодорожников в Омске, происходивших в 1898 и 1902 гг., листовки, снимки, прокламации, газеты 1905 г., фотографии политических ссыльных в Таре 1907 г. и пр. Также были представлены и контекстные общероссийские материалы².

В первой половине 1920-х гг. музейщики Омска начали работу по изучению и охране памятников местной истории. В сфере их внимания оказался Воскресенский собор. Одновременно ценностями собора, который хранил старинные книги и воинские знамена начала XVIII в., заинтересовалась памяtnико-охранительная комиссия ЗСОРГО. Сотрудничества между музеем и ЗСОРГО в этом вопросе не получилось, тем более, что церковь не желала афишировать сведения о своих раритетах³.

Во второй половине 1920-х гг. в музее продолжалось развитие традиционной этнографии (количество экспонатов к 1927 г. достигло 1500 единиц), археологии (617 экспонатов) и нумизматики (3000 экспонатов)⁴. Музей получил также новую коллекцию по нумизматике и бонистике от Омского отделения Общества филателистов⁵. Все эти материалы, видимо, по-старому встраивались в музейную экспозицию. Показательно, что из отчета музея за 1927 г. следует отсутствие в его коллекции экспонатов по истории города⁶.

Однако с середины 1920-х гг. музей, в соответствии с заданными властью установками, стал крупным центром краеведения. В 1927 г. в официальной документации музей впервые был назван «краеведческим». С середины третьего десятилетия XX в. при ак-

¹ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 2, 3, 78.

² Музей революции 1905 г. // Рабочий путь. – 1925. – 21 дек.

³ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 55. – Л. 20–53.

⁴ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 26 об.

⁵ Мартынова Л. С. Указ. соч. – С. 29.

⁶ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 52. – Л. 26.

тивном участии историко-партийной комиссии началась работа над отделом истории и революции, который сформировался на материалах праздничных выставок 1925 г. В экспозицию попали коллекция оружия, специально приобретенная на военно-артиллерийских складах, переданные из фондов Испарта фотографии, листовки, вырезки из газет. Число экспонатов этой части экспозиции стало внушительным – 2 тыс. единиц¹. С целью сбора материала омские музейщики вступили в сотрудничество с иркутянами, а также с коллегами из Музея революции СССР². В 1927 г. при содействии Истпарта была проведена выставка «Октябрь в Сибири». Ее организовали с размахом: выставка включала 10 разделов, занимала 15 комнат и один большой зал.

Вниманию посетителей были представлены некоторые сибирские материалы, например, фото «Колчак с английскими представителями», «Атаманы Семенов и Калмыков», «Жертвы атамановщины» и др. Но уже на примере этой выставки заметна тенденция унификации подходов к репрезентации военных событий: на выставке преобладали общероссийские материалы, необходимые для формирования стандартной, «правильной» версии событий Гражданской войны³. За две недели работы выставки ее посетило 20 328 человек⁴. По всей видимости, еще «живая» память о революции и войне привлекала публику в музей. С другой стороны, необходимо учесть и активную работу Истпарта по организации экскурсий.

Директор музея и его коллеги не проявляли особенного интереса к построению исторической части экспозиции. Ф. В. Мелехин, занятый картинной галереей и другими делами, не считал ее развитие первоочередной задачей⁵. Штатные сотрудники музея вплоть до конца десятилетия сохраняли собственный взгляд на работу музея. Из протокола заседания совета Омского музея известно, что в 1928 г. омичи получили из Новосибирска новое типовое положение о музеях. Это положение не одобрялось омским музейным коллективом, который хотел работать по-своему⁶. Независимая позиция сотрудников омского музея не давали стать исторической части экспозиции скучно типовой.

¹ Там же. – Д. 14. – Л. 26.

² ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 64. – Л. 14–15.

³ Там же. – Л. 18–19.

⁴ Шумилов А. И. Из истории создания историко-революционного отдела. – С. 21–22.

⁵ ГАНУ. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 9. – Л. 9.

⁶ Там же. – Д. 125. – Л. 4–5.

Показательно, что в 1929 г. Ф. В. Мелехина уволили из музея «за социально чуждые классовые мероприятия»¹.

В конце 1920-х гг. омские музейщики, в соответствии со своими изначальными установками, пытались защищать Крепостной Воскресенский собор от его передачи военным частям под клуб с последующей перестройкой. Музейщики просили отдать собор их учреждению под антирелигиозную выставку². В этом порыве заметно их желание сберечь храм для города хотя бы как архитектурный и «исторический памятник». Но горсовет принял окончательное решение передать храм армии. В результате произошло его фактическое разграбление.

В конце 1920-х гг. под давлением руководящих органов все-таки началась более детальная разработка исторической части экспозиции, сопровождавшаяся серьезными дискуссиями. В 1928 г. новому директору С. И. Кочневу было поручено составить план построения историко-революционного отдела. Этот план не сохранился. О его сути можно судить лишь из замечаний коллег С. И. Кочнева, которые признали план излишне упрощенным, даже схематичным. Автор упустил те детали, которые могли бы акцентировать внимание именно на местных особенностях революционной борьбы³.

В 1928 г. А. И. Харчевниковым был разработан план отдела истории края, который был раскритикован его коллегами, поскольку не включал важные с их точки зрения темы (о «дорусском» периоде, о народном просвещении и др.)⁴. Эти обсуждения демонстрируют существенные методологические сложности в работе омских музейщиков. Тяготение к схематизации и потеря в экспозиции целых эпох и очевидных тем (таких, как «дорусский период» и «сибирская деревня») свидетельствуют о размытости понимания того, как и из чего выстроить историю края. Было совершенно не ясно, как избежать параллелизма в этнографической части экспозиции и «дорусской», спорным было то, какие эпизоды местной истории стоит включать в экспозицию. Наконец, открытым оставался вопрос: относится ли к истории период революции и Гражданской войны? По всей видимости, омичи были склонны на данном этапе разделить отделы революции и истории. По крайней мере, такое разделение произошло на уровне хранилища⁵.

¹ Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 143.

² ИАОО. – Ф. 1976. – Оп. 1. – Д. 123. – Л. 24.

³ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 125. – Л. 12–13.

⁴ Там же. – Л. 13; ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 75. – Л. 21.

⁵ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 119. – Л. 12 об.

Обсуждались на заседаниях музейного совета в этот период и сугубо теоретические проблемы. К примеру, какой принцип построения экспозиции взять за основу – систематический или тематический. Систематическая экспозиция вызывала большее одобрение, но для ее размещения не хватало места, поэтому более простым казалось сделать экспозицию тематической, допускающей постепенное добавление тем и их замену¹.

К 1929 г. омичи наконец построили новую типовую экспозицию по принципу замкнуто-непрерывной цепи. Экспозиция была все-таки систематической. Местами использовался и зональный принцип. Начиная осматривать экспозицию, посетитель попадал в богатый разнообразными экспонатами естественноисторический отдел, после чего переходил к осмотру отдела культурно-исторического, постепенно осматривая археологическую, этнографическую и историческую части экспозиции. Далее следовал отдел революционный, новый отдел истории Омска, экономический зал, художественная галерея и сад². Из логики построения экспозиции видно, что после колебаний тема революции была в итоге отнесена к прошлому. Но соседство революционного отдела с отделом истории Омска должно было производить на зрителя должное эмоциональное впечатление, «оживлять» революционную часть. Все-таки именно узнавание знакомых предметов, связанных с историей родного города, дает ощущение сопричастности к истории края и расширяет коллективную память.

Согласно плану, исторический отдел раскрывал с помощью вещей эпизоды истории завоевания края, его колонизации, бытовых условий жизни населения, а также историю революции в местном крае³. Отдел экспозиции, посвященный истории Омска, предполагал демонстрацию быстрого превращения военно-административного центра в центр промышленности и торговли, его рост в последнее десятилетие. К экспонированию готовились снимки старинных крепостных стен, план города до проведения железной дороги, диаграмма роста численности населения, портреты для уголка великих людей и культурных деятелей (декабристы, Ф. М. Достоевский, М. А. Врубель)⁴.

«Выстраданная» историческая экспозиция вызвала в 1929 г. жесткую критику со стороны ОкрОНО, признавшего, что у музея «нет целевой установки, материалы экспо-

¹ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 125. – Л. 12.

² Там же. – Д. 127. – Л. 414.

³ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 76. – Л. 14 об.

⁴ Там же. – Л. 14 об., 15.

зиции часто носят случайный характер, имеют случайное происхождение»¹. Эти замечания, лишенные конкретики, характерны для рубежа десятилетий, когда государство начало выраженную атаку на традиции музейного дела в нашей стране. Комиссия также вменила музею в вину слабую работу по созданию отдела революции. В итоге было решено на время полностью «свернуть» историко-революционный отдел с тем, чтобы позже выстроить его на новых концептуальных основаниях².

Заметно, что омские музейщики в этот период испытывали много сомнений насчет раритетов военных лет: стоит ли их экспонировать, нужно ли хранить? В конечном итоге побеждали страхи: многие вещи, связанные с «колчаковщиной», были в конце 1920-х гг. списаны. С другой стороны, фактически отношение к вещам, напоминавшим о «колчаковщине», и в последующие годы было противоречивым. Так, в 1936 г. в печати сообщалось, что омский музей приобрел «забавный экспонат» – две серебряные под золотом пластинки с выгравированной на них надписью: «Да хранит вас Бог. Верховному правителю Адмиралу Александру Васильевичу Колчаку от торгово-промышленного класса Омска. 1919 г.» (см. Прил., рис. 69). Газета комментировала значение находки: «Колчак давно сметен, класс торговцев давно ликвидирован, а верноподданнический дар омских коммерсантов, завернутый в старые тряпки, найден при разборе бывшей Ильинской церкви под стропилами крыши и передан в музей»³.

В 1930 г., после убийственной критики со стороны ОкрОНО и увольнения Ф. В. Мелехина, газета «Рабочий путь» объявила о начале полной реорганизации музея и о перестройке его экспозиции. Причины объяснялись по стандарту, присущему тому времени: «Музей таился в оболочке консерватизма и индивидуализма», а между тем его «истинное» предназначение – «стать орудием борьбы за пролетарскую культуру». В условиях подготовки к Первому Всероссийскому музейному съезду эта «встряска» музея была вполне объяснимой. Согласно газетному анонсу, приоритетными направлениями экспозиционного строительства должны были стать общественно-экономический отдел, «отражающий жизнь Западной Сибири с древнейших времен до современности», и отдел, посвященный социалистическому строительству⁴.

¹ Там же. – Д. 91. – Л. 31.

² ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 79. – Л. 28 об.

³ Находка в старой церкви // Омская правда. – 1936. – 1 февр.

⁴ Авотин Я. Краевой музей должен быть орудием борьбы за пролетарскую культуру // Рабочий путь. – 1930. – 6 апр.

Перестройка экспозиции затянулась на годы, поскольку оказалась сложной в методологическом отношении задачей, мешали и кадровые перестановки: штат сотрудников этих лет был нестабильным. Что же представлял собой методологический поиск музейщиков в 1930-х гг.? В 1931 г. этнограф Г. Д. Гиммер, заместитель директора музея И. С. Кочнева, ранее возглавлявший комиссию ОкрОНО, обследовавшую музей, составил документ, отразивший его размышления о возможностях преобразования экспозиции. Документ назывался «Материалы для обсуждения». Эти материалы были высланы инспектору Сибирского Совнарпроса по научным учреждениям П. И. Кутафьеву и председателю Омского городского Совнарпроса П. Н. Смирнову.

Гиммер явно вторил своим адресатам, называя Омский музей бранным для тех лет словом «кунсткамера», а экспозицию – «негодной». Относительно исторической части экспозиции высказывались следующие критические замечания. Во-первых, в структуре музея числился историко-революционный отдел, однако по факту к его организации толком и не приступали. Гиммер писал: «Омск – в недавнем прошлом – основной нерв контрреволюции на востоке, но в музее до сих пор не отражен героизм народных масс и подполья». Пытаясь частично снять ответственность сотрудников музея за данную «недоработку», автор материалов доказывал, что в этом «виновата вся омская общественность», недостаточно осознающая актуальность работы над сбором материалов по военно-революционной тематике. Гиммер предлагал привлечь к формированию новой экспозиции Истпарт, общества старых большевиков, красногвардейцев, партизан и политкаторжан. В план работ он предлагал включить выявление «всех домишек, где организовывалась и росла революция», а также создание уголка В. В. Куйбышева, который родился и вырос в Омске. Относительно недостатков историко-краеведческой части экспозиции заместитель директора музея оправдывался теми обстоятельствами, что в прежних условиях коллекции формировались по большей части случайно, а краеведческая работа в целом имела географический уклон. Также в духе времени Гиммер «проявил бдительность», сообщив, что его коллеги грешили продажами старинных вещей: икон, изделий из слоновой кости и пр.¹

Как мы уже отмечали, государственная культурная политика после «великого перелома» ставила перед музеями 1930-х гг. новые приоритетные задачи. По документам, относящимся к 1931 г., музей должен был всесторонне изучать природу, экономику и

¹ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 132. – Л. 2–7.

культуру района в интересах социалистического переустройства его хозяйственного и бытового уклада¹. Показательно, что в этой формулировке ничего не было сказано об истории края. В музейном совете этого времени не существовало даже исторической секции, она была «растворена» в секции под названием «Человек, быт, культура, труд, экономика»². В начале 1930-х гг. музейщики спорили о том, как «отразить социалистическое строительство в крае комплексно, без деления экспозиции на дисциплины (отделы)», «как показать в целом обстановку, в которой идет экономическая жизнь»³.

В 1931 г. совет музея постановил перестроить экспозицию музея по комплексному принципу «с экономическими темами на фундаменте естественноисторическом и культурно-историческом»⁴. Комплексный подход к созданию экспозиции предполагал одновременный показ геологических, исторических, этнографических вещей, а также экспонатов из отделов живой природы и экономики. Объединить все это в технических условиях начала 1930-х гг., избежав максимального обобщения данных о крае, оказывалось очень трудной задачей. Уже на начальном этапе разработки экспозиционного плана стало ясно, что не получится «показать комплексно» всю Омскую область и город Омск. Было решено создать самостоятельный отдел, посвященный Омску, который собирались строить по следующей схеме: почва, рельеф, ландшафт, климат, история возникновения Омска, история классовый борьбы, история развития народного хозяйства, рост культурных и кооперативных учреждений⁵.

Согласно плану работ на 1931 г., к весне музейщики должны были перестроить экспозицию, расположив весь материал «по зонам», где планировалось представить естественноисторический, экономический, географический аспекты и аспект хозяйственного развития. Но как вмонтировать в такую экспозицию исторические экспонаты, омские музейщики так и не смогли придумать. Поэтому пока было решено работать главным образом над сбором материалов по этой проблематике в архивном бюро⁶.

Итак, новая экспозиция создавалась медленно, по частям. Из отчета музея за 1932 г. известно, что омские музейщики «перестроили отдел революции»⁷, однако документы не позволяют судить, что он теперь из себя представлял. В 1933 г. сотрудники

¹ Там же. – Д. 128 а. – Л. 7.

² Там же. – Л. 26.

³ Там же. – Л. 17.

⁴ Там же. – Л. 17 об.

⁵ Там же. – Л. 17.

⁶ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 130. – Л. 6.

⁷ Там же. – Д. 143. – Л. 2.

омского музея попытались отразить «в комплексном показе отдел эпохи социалистического строительства с 1919 по 1933 г.»¹. Печать поспешила проинформировать местных жителей о текущей перестройке экспозиции «на основании последнего решения партии и правительства», однако конкретики эта публикация не содержит². В 1934 г. не предполагалось полноценной разработки плана экспозиции. Историко-краеведческая работа планировалась эпизодами: провести изучение истории труда и быта коммун им. Роговского; изучить историю партизанского движения в Муромцевском районе Татарского округа (ответственный С. И. Кочнев); организовать выставку по истории фабрик и заводов Омска³.

Согласно отчету, в 1935 г. Кочнев продолжал изучать архивные материалы по истории партизанского движения. В соответствии с тенденцией унификации местной истории, ее подавления «большим» историческим нарративом сталинской эпохи омские музейщики были вынуждены собирать материалы к выставке о В. В. Куйбышеве, умершем в 1935 г. Параллельно шло столь характерное для этого времени создание «кировского уголка» к годовщине убийства С. М. Кирова⁴. Однако историческая экспозиция уже несколько лет оставалась в зачаточном состоянии. Поэтому директор принял решение «провести разборку экспонатов по революционному движению, разбив материал по темам»⁵.

В 1936 г. сбор материала и поиск способов его экспонирования заикнулся на сугубо политических темах: «Первые Советы в Омске», «Суд над Куйбышевым», «Польская ссылка в Омской области» и «Бунт в киргизских степях» (о национальной политике самодержавия). Сбор материала подчинялся заранее сформулированным задачам, которые предполагали и вполне определенные выводы («показать, что советы возникли в результате борьбы пролетариата с буржуазией за установление диктатуры пролетариата» и т. п.⁶). Заметно, что в соответствии с задачами пропаганды музейщики стремились к искусственному преувеличению роли В. В. Куйбышева в местной истории. По этим темам в хранилищах музея не было почти никаких материалов, поэтому их пытались найти в

¹ Там же. – Д. 155. – Л. 1 об.

² Молодов. Помочь краеведческому музею // Рабочий путь. – 1934. – 25 нояб.

³ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 164. – Л. 1.

⁴ В музее организован Кировский уголок // Рабочий путь. – 1935. – 3 дек.

⁵ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 164. – Л. 22–23.

⁶ Там же. – Л. 38.

местном архиве. Между тем, богатые археологические и этнографические коллекции в эти годы вообще не экспонировались.

Исчерпав потенциал собственных экспозиционных идей, с 1936 г. омичи начали ездить в Москву, чтобы перенять опыт столичных коллег из Музея Красной армии и Исторического музея, где уже существовали экспозиции, построенные по-новому. С 1937 г. после смены директора музея работа над исторической экспозицией стала более интенсивной и продуктивной. В годы, когда музеем руководила Петровская, построили фондовую кладовую, начали серьезную работу по охране памятников старины, не только в Омске, но и в Ялуторовске, Тобольске. Однако, как того и требовала культурная политика тех лет, Петровская считала приоритетным направлением в работе музея агитационно-пропагандистское. Она декларировала, что историческая часть экспозиции должна «увязываться с демонстрацией настоящего и перспективами будущего»¹. Научно-исследовательской работе директриса придавала второстепенное значение. В 1937 г. по ее инициативе был разработан довольно подробный план экспозиции, которая содержала два основных отдела: художественный и краеведческий. В последний входили историко-археологический и историко-революционный подотделы. Фактически этот план корректировался и дополнялся на протяжении нескольких лет. Его осуществление также происходило постепенно.

Согласно плану, первые три зала посвящались физико-географическим особенностям Омской области. Следующие пять залов занимал историко-археологический отдел, еще пять залов – историко-революционный, три зала занимал отдел социалистического строительства. От комплексного принципа построения экспозиции на этом этапе произошел отказ, природа области демонстрировалась отдельно. История Омской области начиналась с показа «первобытного коммунистического общества». Здесь была выставлена археологическая карта области, макеты орудий труда, зарисовки стоянок, репродукции с картин В. М. Васнецова и Н. К. Рериха – художественные изображения первобытных людей. Отдельный зал посвящался «дославянским культурам»: татары были представлены по материалам раскопок городищ Искер и Кучумово в Тюмени и Ишиме. По плану экспозиция содержала также зарисовки городищ, картографические материалы и отрывки из летописных описаний, изображения ненцев, остяков и вогулов, выпол-

¹ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 128. – Л. 21 об.

ненные западными художниками. Однако, судя по экспозиционному плану, собственно этнографические вещи из богатых коллекций музея не экспонировались.

Далее следовал зал, посвященный «покорению» Сибири. Приводились выдержки из летописей о походах новгородских ушкуйников, чертежи и карты их походов в Сибирь, летописные свидетельства о походах Ермака. Среди музейных вещей экспонировалось снаряжение дружинников, доспехи, рисунки из Кунгурской летописи, репродукции картин В. И. Сурикова и других художников. Специально для этой части экспозиции создавалась карта завоевания Сибири и модели острогов. Последующие залы раскрывали темы: «Первые “засельщики”» и «Закабаление туземцев, их опорные пункты и остроги»; «Земледельческая колонизация XVIII–XIX вв.»; «Развитие капитализма и зарождение фабрично-заводской промышленности». Эти темы были представлены такими вещами, как пушки, ядра, ружья, а также диаграммами, которые наглядно отражали демографический рост населения.

Отдельный зал раскрывал тему «Переселенцы и переселение после 1861 г.: от ходоков до быта на новом месте». Здесь экспонировались орудия труда, жилище, одежда, крестьянская пища в рисунках и документах. Экспозиция содержала и историко-революционный отдел, построенный на основе марксистско-ленинской методологии. Этот отдел отражал историю революционного движения во всей стране, начиная с восстаний под руководством И. Болотникова, С. Разина и Е. Пугачева. Здесь же предполагалось представить материалы о декабристах, петрашевцах, народниках. В отдельном зале по плану должны были размещаться материалы по истории ВКП(б), революции 1905 г., ссылке и каторге. Еще один зал отводился темам Февральской и Октябрьской революций, в следующем зале предполагалось экспонировать материалы о Гражданской войне. Наконец, завершался этот отдел экспозиции темой «Сталинская конституция», которая расценивалась, как счастливый итог долгих лет упорной борьбы трудового народа с гнетом капитала. Какие именно вещи предполагалось представить в этом отделе, план 1937 г. не сообщал. Более подробная проработка военно-революционного отдела велась позже¹. Работая над экспозицией, музейщики, следуя инструкциям, опирались в качестве источника исторической информации на новый учебник «Краткий курс истории ВКП(б)»².

¹ Там же. – Д. 164. – Л. 39 об. – 42.

² Там же. – Л. 7 об.

В 1938 г. омичи создали план зала «Первые сталинские пятилетки (1928–1938 гг.)», где демонстрировался рост социалистического сектора промышленности за 1924–1927 гг.; была представлена тема социалистических соревнований на примере Омских железнодорожных мастерских; отражен рост посевных площадей колхозов, а также итоги первой пятилетки, стахановское движение, подъем благосостояния и культурного развития трудящихся. Для этого использовались цитаты из краткого курса истории ВКП(б), диаграммы, картограммы, лозунги.

Одновременно дорабатывался историко-археологический отдел экспозиции: в 1939–1941 гг. создавались карты путей татарской и ненецкой колонизации, реставрировались с целью экспонирования хранившиеся в музее подлинные сельскохозяйственные орудия труда. К концу 1939 г. было создано три отдела по истории, которые размещались в разных помещениях. Музейщики в это время нередко спорили с директором музея о значении исторической экспозиции. В частности, некоторые из них считали, что Омский музей должен быть, прежде всего, историческим, а экспозиция должна быть единой и должна размещаться в одном главном здании. Высказывалось также мнение, согласно которому музей не оправдывает вывески «краеведческий», поскольку исторический отдел недоработан и походит скорее на выставку.

В 1941 г. при музейно-краеведческом совете была создана историческая секция, в постоянные задачи которой вошло изучение археологии и истории Омской области. В состав секции вошли П. А. Шуркин, В. Т. Верелович, И. Н. Шухов, А. Ф. Палашенков, Г. С. Дроздов, Г. Н. Белозеров. Эта группа занялась переработкой экспозиционного плана¹. Созданный перед войной экспозиционный план получился довольно подробным и логически выверенным. В работе его составителей чувствуется профессионализм и наличие опыта знакомства с образцовыми экспозициями столичных музеев. Содержательная цель плана экспозиции была сформулирована следующим образом: «отразить основные факты из истории Сибири, преимущественно Омской области». Теперь были очевидны материалистический и марксистский методологические принципы построения экспозиции. В качестве экспонатов было решено использовать не только оригинальные археологические и этнографические вещи, демонстрировавшиеся ранее, но также различные макеты, муляжи, фотографии и текстовые пояснительные материалы. Не могли

¹ Там же. – Л. 116.

обойтись в эти годы музейщики и без цитат из работ Ф. Энгельса и И. В. Сталина. Именно словами вождя открывалась и заканчивалась экспозиция.

Согласно плану, первый зал знакомил посетителей музея с разницей между «религиозным» и «научным» представлениями о строении земли, космоса и о происхождении жизни. Второй зал демонстрировал историю края в периоды палеолита, неолита и «металлического века» («медно-бронзового века»). Местные материалы репрезентировались в контексте мировых процессов антропогенеза и цивилизационного развития человечества. Именно омских подлинных материалов демонстрировалось сравнительно немного. Они были представлены главным образом орудиями труда, самые ранние из которых относились к неолиту. Разработчики плана учли опыт попыток создания экспозиции в комплексном показе. В этом отделе они решили продемонстрировать не только археологические находки, но и разрез почв, и даже некоторые зоологические материалы.

Третий зал раскрывал историю края XVI–XVII вв. Здесь планировалось выставить материалы о проникновении новгородцев в Сибирь, о первых контактах коренных жителей края с иностранцами. Отдельно планировалось показать материалы, посвященные «Сибирскому царству» (Сибирскому ханству), в первую очередь Искеру и его жителям – татарам. Специально для экспозиции готовилась карта «Сибирского царства», а также выбирались археологические предметы, найденные при раскопках Искера. «Завоевание» Сибири Ермаком планировалось демонстрировать в следующих аспектах: «Политика Ивана Грозного в продвижении на восток»; «Строгановы на Урале» и «Поход Ермака». Здесь предполагался показ портретов Ивана IV, Ермака, подлинных колчанов, стрел, пушечных ядер и кольчуги того времени, старинной литографии «Чувашов мыс», рисунков первых русских острогов, а также подлинных останков старинных укреплений: кирпичей и решеток башенных окон. В четвертом зале по плану демонстрировалась история края XVIII–XIX вв. Главной темой плана этой части экспозиции стала военная и сельскохозяйственная колонизация, планировалось также отразить правовое и экономическое положения населения в эти годы.

Отдельное внимание уделялось основанию Омска. Был запланирован показ фото старинных омских крепостных ворот и знамени сибирских казаков. Пятый зал по плану посвящался Сибири как месту каторги и ссылки¹. Однако история Омска и Омской области в XX в. была разработана в новом плане очень невнятно. К маю 1941 г. планиро-

¹ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 3. – Д. 6. – Л. 5–6.

валось завершить построение экспозиции в зале, раскрывавшем тему Первой русской революции, а к 7 ноября доработать экспозицию и в военно-революционных залах. Однако начавшаяся война помешала осуществлению всех этих планов. Сложную в исполнении археологическую карту омичи не смогли закончить даже в годы войны.

Отдельного внимания заслуживает выставочная деятельность музея. Исторические выставки 1930-х гг. не отличались особенной оригинальностью. В 1932 г. музей организовал выставку к юбилею А. М. Горького, а также смонтировал две передвижные выставки к 15-летию Октябрьской революции¹. В 1933 г. была подготовлена еще серия «передвижек»: выставки о революции 1905 г., «Великом Октябре» и «колчаковщине». Передвижные выставки демонстрировались в городском театре, по рабочим клубам, в Водном техникуме².

В 1937 г. музей организовал две юбилейные выставки, и каждая из них заслуживает особенного внимания. Выставка к юбилею Октябрьской революции создавалась в условиях кризиса исторической экспозиции, в которой временно отсутствовал военно-революционный отдел. В 1930-х гг. власть регулярно меняла официальные оценки революционных событий, поэтому музейщики постоянно испытывали риск обвинения во вредительстве, если предлагавшаяся ими репрезентация недавнего исторического прошлого шла вразрез с официальной версией. Однако юбилей обязывал открыть хотя бы временную выставку. Ее создание облегчилось довольно четкими директивами Горсовета.

Согласно установкам власти, выставка к 20-летию Октябрьской революции создавалась с целью «запечатлеть в сознании трудящихся величие борьбы и достижений социалистического строительства в нашей стране за последние 20 лет»³. Лейтмотивом выставки должны были стать слова И. В. Сталина: «Наши люди добились всемирной исторической победы»⁴. С одной стороны, выставка должна была наглядно показать сталинскую конституцию «как итог пройденного пути и уже добытых завоеваний» всей страны, с другой стороны – достижения социалистического строительства во всей стране и в Омской области⁵. Согласно экспозиционному плану, первый зал выставки открывали огромные портреты К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина,

¹ Там же. – Оп. 1. – Д. 143.

² Там же. – Д. 177. – Л. 1–2 об.

³ Там же. – Д. 188. – Л. 1.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

изображенные на шелковых флагах. На отдельном щите имелись цитаты из их «классических трудов». Далее размещались два стенда, посвященные Парижской коммуне и революции 1905 г.

Во втором зале демонстрировали материалы по Февральской революции, здесь были представлены и некоторые омские экспонаты. В третьем зале раскрывались темы: «Октябрьское вооруженное восстание» (наиболее яркими экспонатами по этой теме были живописные произведения «Ленин в Смольном» и «Взятие Зимнего дворца»), «Декреты советской власти», «Конституция 1918 г.», «Октябрь в Омске», «Гражданская война». Четвертый зал посвящался теме образования СССР. Последующие семь залов содержали политизированные материалы, относящиеся к современности: о сталинской конституции, экономических и социальных достижениях последних лет, о борьбе с фашистами и троцкистами¹. Явно то, что эти семь залов доминировали над четырьмя предыдущими. Обилие экспонатов-символов, размещавшихся в последних залах, работало на формирование в массовом сознании позитивного образа настоящего, безоговорочного доверия к власти и полного согласия с ней, на укрепление социально-политической советской идентичности.

Заметно, что на этой выставке было представлено мало экспонатов, отражающих историю революции в Сибири и, в частности, в Омске. Несколько больше было представлено региональных экспонатов, связанных с современностью и экономическим развитием региона. В их числе были материалы, отражающие историю старейших промышленных предприятий Омска и развитие сельского хозяйства. Вытеснение из экспозиции материалов, связанных с местной историей, теми, которые использовались для репрезентации «большого» общесоветского нарратива новейшей истории, было в целом характерно для музейного дела страны. Аналогичные тенденции прослеживаются также на примере иных коммемораций. Освещая выставку, печать сообщала, что на ней были представлены подлинные архивные дела о тяжелом положении рабочих на фабриках и заводах Омской области в прошлом, об их низких заработках и жестоких наказаниях розгами. Автор статьи подводил идеологически безукоризненно сформулированный итог: «Молодежи, родившейся после 1917 г., кажется невероятным такое положение рабочего класса»².

¹ Там же. – Л. 8.

² Выставка в музее // Омская правда. – 1937. – 21 окт.

Вторая юбилейная выставка, имевшая важное идеологическое значение, посвящалась 100-летию со дня кончины А. С. Пушкина. Этот юбилей активно отмечался по всей стране: творчество поэта стало частью школьных учебных программ, театры предлагали драматические постановки или концерты по мотивам его произведений. По всей стране устраивались костюмированные «Пушкинские балы», о поэте писали в газетах и журналах, было издано около 13 млн экземпляров книг А. С. Пушкина и о Пушкине, в магазинах продавались даже «Пушкинские торты»¹. В Омске, помимо музейной выставки, были развернуты разнообразные торжественные мероприятия: лекции и вечера поэзии в школах, институтах и клубах; библиотека им. А. С. Пушкина отвечала за организацию конкурса на лучшего чтеца стихов, а также за устройство выставки книг поэта; театры готовили постановки пьес по пушкинским произведениям; радио транслировало оперы на стихи А. С. Пушкина – «Борис Годунов» и «Кавказский пленник»².

Один из ведущих пушкинистов тех лет, В. Я. Кирпотин, участвовавший в работе Всесоюзного Пушкинского комитета, говорил: «Надо, чтобы Пушкинский юбилей был большим историко-культурным и историко-литературным событием. <...> Это – задача не узколитературная, а политическая»³. Основные Пушкинские торжества проходили в Москве и Ленинграде. В провинции также планировалось множество мероприятий и выставок. В Сибири по решению Всесоюзного Пушкинского комитета «особенно выдающиеся юбилейные выставки» в музеях должны были устраиваться в Новосибирске и Томске⁴. Однако сохранившиеся на сегодняшний день источники отражают в большей мере выставку, устроенную в Омске.

Типовой выставочный план отражал следующие основные разделы: «Жизнь Пушкина», «Жизнь Пушкина в общественной жизни своей эпохи», «Творчество Пушкина и народное творчество»⁵. Омскому музею было поручено создать выставку в двух больших залах. При этом исполнительный комитет Горсовета высказал и требования к содержанию выставки, стандартные для всей страны. Выставка должна была фиксировать внимание не только на биографии и творчестве поэта, но и на фоне исторических событий его эпохи: на Французской революции, войне 1812 г., на «аракчеевщине», восстании декабристов, «реакционной политике» Николая I. Пушкин должен был быть представ-

¹ Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades. – P. 114.

² ИАОО. – Ф. 235. – Оп.1. – Д. 639. – Л. 1–6, 19.

³ ГАРФ. – Ф. А-305. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 75.

⁴ Там же. – Д. 4. – Л. 41.

⁵ Там же. – Л. 5.

лен не только как поэт, но и как историк. Обязательно требовалось отразить современную критику взглядов Пушкина¹.

Основа этой выставки – типовая «передвижка» из двухсот фотографий – была приобретена стараниями А. Ф. Палашенкова в Москве. Эту выставку омичам предоставил Институт литературы АН СССР. Ее дополнили местными материалами. Сотрудники омского музея нашли большой живописный портрет поэта – копию с картины В. А. Тропинина, а также документы с автографами лиц, причастных к смерти поэта. Пользуясь фондами местных архивов, музейщики, следуя требованию вовлекать широкую общественность в краеведческую работу, широко растиражировали призыв, адресованный жителям города, приносить в музей на выставку вещи, напоминающие о самом поэте и о Пушкинской эпохе.

В итоге были собраны книги и журналы современной Пушкину печати, картины и скульптуры на пушкинские темы, мебель, хрусталь и фарфор. На выставке демонстрировались и современные средства сохранения памяти о Пушкине: плакаты, лозунги, листовки, советские издания произведений поэта². Эта выставка акцентировала внимание на проблемах классовой борьбы в наследии Пушкина, на социально-политических конфликтах его эпохи, почти игнорируя прочие темы лирики поэта. Не заострялось внимания на произведениях, посвященных любви и природе. Музейщики должны были объяснить посетителям пушкинские «порывы к свободе и светлой, радостной жизни», а также «рассказать о действительных причинах его преждевременной трагической гибели»³.

Официальное отношение к творчеству А. С. Пушкина, обусловленное идеологически, отразилось в научно-популярной литературе, посвященной биографии поэта и значению его произведений, которая издавалась в юбилейный год. Все книги, посвященные биографии поэта, содержали однотипные оценки и выводы. Пушкин в этот период рассматривался исключительно как революционный поэт, «бичевавший самодержавие и воспевавший политическую свободу». О нем говорили, как об «оптимисте, протестовавшем против гнета и несовершенства общественного строя его времени, верившем в счастье всех людей, которое достижимо на земле». Всячески подчеркивалась дружба Пушкина с декабристами. Поэт характеризовался как бедный дворянин, которому был

¹ Там же. – Л. 27.

² ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1 – Д. 183. – Л. 9.

³ Там же. – Ф. 235. – Оп.1 – Д. 639. – Л. 72.

чужд светский образ жизни и развращенность дворянства¹. Книги о Пушкине внушали читателям ненависть поэта к крепостному строю, самодержавию, а также к «бесчеловечной эксплуатации, присущей зарождавшемуся капитализму»². О причинах дуэли с Дантесом говорилось: «Пушкин чувствовал себя затравленным, его преследовали Николай, Бенкендорф, министры, светское общество старалось унижить, критика хулила»³. Дантес рассматривался лишь как один из многих врагов «певца свободы». Считалось, что о дуэли знал император, но намеренно не попытался ее предотвратить, фактически потакавая убийству. Дошло до того, что Пушкин был признан поэтом рабочих, крестьян и советской интеллигенции. Его поэзия, вопреки действительности, характеризовалась как простая и доступная всем слоям общества. Критика его политической позиции состояла в признании того, что Пушкин не понимал: «Революционное насилие – это единственное действенное средство в борьбе за торжество гуманизма»⁴.

В ежедневной газете «Омская правда» был опубликован репортаж о Пушкинской выставке. Пояснялось, что она посвящена не только великому поэту, но и «ужасам его эпохи». Согласно газете, в начале осмотра посетители видели утонченную старинную статуэтку, изображавшую Психею с крыльями бабочки. Далее автор статьи объяснял значение этого экспоната: «Таковыми Психеями украшали свои гостиные помещицы, которые на кухне или в девичьей секли своих крепостных девок»⁵.

Обратимся также к вопросу о памятно-охранительной деятельности омского музея в конце 1930-х гг. Вплоть до 1939 г. документы, отражающие работу этого музея, ничего не сообщают об инициативе музея, направленной на охрану памятников. Памятно-охранительный аспект деятельности музея был связан с его непосредственным участием в поддержании коллективной памяти жителей города об историческом прошлом Омска, а также в ее «корректировке», обусловленной государственной идеологией. Из изучения музейной документации становится ясно, что незадолго до Великой Отечественной войны работа в этом направлении оживилась. Охрана памятников на территории Омска переориентировалась исключительно на советские мемориальные объекты.

¹ Бродский Н. Л. Указ. соч.; Кирпотин В. Я. Наследие Пушкина и коммунизм. – М., 1938.

² Кирпотин В. Я. Указ. соч. – С. 136.

³ Там же. – С. 117.

⁴ Там же. – С. 197.

⁵ Мартынов Л. Пушкинская выставка в музее // Омская правда. – 1937. – 18 февр.

В первую очередь это касалось братских могил «жертв колчаковщины» и соответствующего памятника в сквере на улице Республики. Этот монумент, возведенный более 15 лет назад, еще ни разу не реставрировался. Не отличались ухоженным видом и братские могилы. Между тем, близился 20-летний юбилей «освобождения» Омска от Колчака, к которому Горсовет обязал музей привести памятные места военнореволюционных лет в порядок. Помимо реставрации и уборки, потребовалось провести немалую работу, направленную на то, чтобы освежить в памяти имена лиц, покоившихся в братских могилах и обстоятельства их гибели, поскольку выяснилось, что полузаброшенный памятник практически не сообщает этих сведений. Ознакомившись с состоянием военнореволюционных памятников и оценив ситуацию как запущенную, музейщики приняли решение установить местонахождение всех сколько-нибудь известных могил героев и жертв Гражданской войны, а также зданий, связанных с историей революции. По итогам планировалось выпустить карту историко-революционных памятников Омской области. К числу памятных мест были отнесены конспиративные квартиры подпольщиков, места массовых расстрелов, здания, связанные с революционными событиями 1905 и 1917 гг. Уточнялось их местонахождение, создавались мемориальные таблички и доски для их маркировки.

В целом, перед войной музей сделал немало для коррекции памяти омичей о военнореволюционных событиях в их городе¹. К этой инициативе привлекалось население, обращаясь к которому, музейщики просили «отнестись к делу не формально, как это часто бывает в подобных случаях»². Однако от отчетной документации, составлявшейся самими музейщиками на этом этапе, все-таки веет именно формализмом.

Как мы отмечали выше, еще одной актуальной с точки зрения идеологии тех лет проблемой для омского музея стало выявление и охрана памятников, связанных с именем В. В. Куйбышева, который в юности проживал в этом городе. В итоге здание бывшего кадетского корпуса, где учился Куйбышев, и дом, где он жил, в 1939 г. были признаны историческими памятниками и поставлены под охрану государства. В память о В. В. Куйбышеве также наспех был открыт небольшой музеек в доме, где юный революционер был арестован в 1906 г.

¹ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 186. – Л. 24, 26, 35, 41, 83, 121, 122, 124, 133, 135, 138.

² Там же. – Л. 24–41.

Помимо этого, в список охраняемых военно-революционных исторических памятников вошли два памятника И. В. Сталину, шесть памятников В. И. Ленину, дома, где жили декабристы Басаргин и Семенов, здания, где располагался Сибревком, некоторые явочные и конспиративные квартиры революционеров, подпольная типография, а также место осуществлявшихся в 1918 и 1919 гг. расстрелов подпольщиков – Загородная роща (там существовало четыре уже обветшавших памятника погибшим). В список включили и братские могилы «жертв колчаковщины»: в Ленинске, на Казачьем кладбище, в Кировске, во дворе военного училища на ул. Республики. На братских могилах и на отдельных могилах революционеров производилась уборка, менялись ограды и памятники, высаживались цветы. На Казачьем кладбище к братским могилам проложили дорожку. В канун 20-летия свержения «колчаковщины» в Омске также появилось несколько мемориальных досок. Доска на ул. Ядринцева сообщала: «В этом доме был под арестом В. В. Куйбышев в 1906 г.»; на улице Почтовой: «Здесь 19 октября 1919 г. произошло избивание манифестантов» и т. д.¹

Делать выводы об отношении жителей Омска 1920-х гг. к музею их города как к памятному месту сложно. Попытки передавать в музей раритеты говорят об уважении и доверии к музею со стороны жертвователей и дарителей. Однако нельзя составить внятного представления о мнениях экскурсантов и одиночных посетителей. Газеты фиксировали оживленный интерес экскурсантов к экспозиции. Сообщалось, к примеру, что комсомольцы «с жадностью слушали и смотрели», но краткость изложения материала «без объяснений» разочаровывала посетителей². Однако полного доверия субъективным газетным репортажам, конечно, быть не может.

Судить о восприятии исторической экспозиции и выставок отчасти можно по данным о посещаемости музея. Надо признать, что она постоянно возрастала. В период разрухи музей посещало приблизительно 1500 человек в год³. В 1925 г. музей посетило 55 258 человек, в 1926 г. – 98 745, за неполный 1928 г. – 91 338 человек.⁴ По данным за 1929 г., посещаемость немного снизилась – до 86 773 тыс. человек⁵. Однако вызывает сомнение: историческая ли часть экспозиции, сопряженная с потребностью общества в поддержке коллективной памяти, повышала популярность музея? Даже количественное

¹ Там же. – Л. 124–133.

² Экскурсия РКСМ в музей // Рабочий путь. – 1922. – 26 февр.

³ В краевом музее // Рабочий путь. – 1926. – 5 марта.

⁴ ГАНУ. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 127. – Л. 18.

⁵ ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. – 163. – Л. 1.

сравнение зоологических и исторических материалов показательно в этом смысле: в 1929 г. здесь насчитывалось 14 тыс. зоологических экспонатов, 891 археологический, 1500 этнографических и всего 636 революционно-исторических¹.

Впрочем, в 1930-х гг., когда исторический отдел экспозиции был «свернут», упала и посещаемость. В 1931 г. омский музей посетило 93 307 человек, однако уже в 1932 г. – 74 524. В 1933 г. посещаемость еще сильнее сократилась – до 54 964 человек, однако затем стала подрастать. В 1934 г. она составила 65 049, в 1935 г. – 74 600 человек².

Более вняты источники второй половины 1930-х гг., поскольку сохранились книги отзывов посетителей, которые велись в эти годы. Согласно такой книге за 1936–1937 гг., посетителей в большей степени интересовали именно подлинные археологические и исторические вещи, интересно им было также увидеть «старое» и «новое» в сравнении. Большинство отзывов об исторических отделах экспозиции касалось сюжетов, связанных с Ермаком. Один ребенок написал: «Особенно понравилось то, как раньше воевали запорожцы с татарами».

Однако многие отзывы содержали критику. Посетители сетовали на то, что представленные в экспозиции материалы «непонятны». Некто, подписавшийся как Василий Астахов, записал: «История народа – это история его переживаний и борьбы. А у вас где это показано? Хотя и показано, но немо. Вот найдут Ермака – это завоеватель Сибири. А где это видно? Где показано, что он завоевал, покоря Сибирь, кто он вообще такой? Не каждый знает, что он холоп Строгановых. Плохо, что ваши сопровождающие не рассказывают хотя бы вкратце о данном изображении, а только ходят и окрикивают. Мое пожелание: сделайте музей действительно доступным, понятным, чтобы из него уходили посетители со знаниями виденной ими истории»³. Взрослых посетителей разочаровывали не только грубое отношение персонала и невнятные экскурсии, но и фактическое отсутствие отдела, посвященного революционному движению и Гражданской войне⁴. Омичи, посещавшие музей в 1937 г., неоднократно оставляли в книгах отзывов записи, свидетельствовавшие об их желании видеть экспонаты, связанные именно с местной историей⁵. Аналогичной была критика посетителей и в 1938–1941 гг.⁶

¹ Там же. – Д. 111. – Л. 48

² Там же. – Л. 3, 5, 7.

³ Там же. – Л. 6 об.

⁴ Там же. – Л. 21 об.

⁵ Там же. – Д. 190. – Л. 19, 28 об.

⁶ Там же. – Д. 194. – Л. 7, 13 об., 24, 42 об.

Много отзывов сохранилось о выставках. Их посещения были массовыми. Эта массовость обеспечивалась хорошей работой отделов агитации и пропаганды при местных органах исполнительной власти и партийных комитетах. Кроме того, за годы советской власти население уже было приучено властью к организованным посещениям музея в праздничные дни. Жившие в условиях жесткой идеологической пропаганды и индокри-нации омичи часто воспринимали советский официоз как норму. Более того, многие из них ожидали от юбилейной выставки, посвященной 20-летию Октября, а также от исторической музейной экспозиции еще большей политизации (больше материалов о «любимых вождях»)¹.

Многие посетители отмечали, что им хватало ярких визуальных образов. К примеру, предлагалось «устроить макеты рабочего кабинета Пушкина и его дуэли с Дантесом»². Другим недоставало «разъяснений», как устных, так и письменных. Некоторые ожидали от музейщиков доработки выставки, ее расширения в соответствии с отзывами. Отдельные посетители сравнивали эту выставку с аналогичными выставками в других городах, признавая опыт омичей довольно удачным. Фиксировались и ожидания аналогичных выставок о А. М. Горьком и В. И. Ленине.

Многим посетителям бросилась в глаза чрезвычайная политизация биографии поэта, за которой исчезал образ Пушкина-человека, имевшего частную жизнь. Посетители писали, что на выставке не хватало сведений о детстве и юности поэта, его изображения в раннем возрасте. Заметили посетители и фактическое отсутствие каких-либо материалов о Н. Н. Гончаровой, которая, по их мнению, все-таки, «как жена, играла большую роль в жизни Пушкина»³. Ученики фиксировали в книге отзывов вопросы, на которые так и не получили ответов от экскурсоводов: «Почему нет портретов его детей и внучат? Где они жили? Были среди них писатели и поэты?»⁴. Отмечалось и то, что на выставке не были представлены современные собрания сочинений поэта, не хватало иллюстраций к произведениям и фотоснимков сцен из спектакля «Борис Годунов», шедшего на омской театральной сцене.

Поражают и отзывы тех, кто воспринимал политические реалии 1937 г. как норму, искренне считая это время периодом социальной справедливости и благополучия. Такие

¹ Там же. – Д. 185 и др.

² ИАОО. – Ф. Р-1076. – Оп. 1. – Д. 189. – Л. 3 об.

³ Там же. – Л. 9.

⁴ Там же. – Л. 24 об.

посетители выставки ожидали еще больше политизации ее содержания. Обращает на себя внимание следующий отзыв: «Меня как командира РККА поражает, почему Пушкина не расстреляли хамы и самодуры открыто? Но вообще я художествами доволен»¹. Подобные отзывы говорят о крайне упрощенном и даже вульгарном восприятии массовым посетителем эпохи «царизма». Многие в 1937 г. приходили к убеждению, что по сравнению с современностью XIX в. был «кошмарной эпохой». Это подтверждает следующий отзыв: «Пушкин писал стихи против царя, в конце концов, дело дошло до дуэли, на которой погиб великий поэт. Конечно, если сравнивать его время и наше счастливое, радостное время, кажется, что того времени никогда не было»². Один из студентов комвуза записал замечание: «Эпоха Николая Палкина представлена слишком мягко, в красках довольно привлекательных»³.

По меркам Сибири Омский краеведческий музей возник довольно рано. Однако самими музейщиками дореволюционного периода он слабо осознавался как институт памяти. Идеологический потенциал использования музея был осознан колчаковцами, пытавшимися осуществлять собственную политику памяти в опоре на музей. Созданные в период «колчаковщины» мемориальные коллекции еще долго хранились в омском музее, однако под воздействием советской политики памяти были практически уничтожены. Колебания музейщиков относительно возможности хранить эти предметы были обусловлены тем, что «колчаковщина» не подвергалась забвению. Однако необходимость следовать строго определенной трактовке значения «колчаковщины» привела к решению избавиться от большинства мемориальных вещей, использование которых в музейной деятельности могло вызвать нарекания со стороны контролирующих органов.

В 1920-х гг. музейщики Омска признавали за собой роль коммемораторов применительно к местной истории. Они пока не могли предложить концептуальных репрезентаций истории Омска и Омского Прииртышья. Но они стремились защищать местное историко-культурное наследие от разрушения и сохранять творческую самостоятельность. Приспособление к диктату государственной политики памяти омский музей переживал тяжело: через смену кадров и разрушение экспозиции. Лишь благодаря способности обновленной команды конца 1930-х – начала 1940-х гг. следовать официальным типовым инструкциям и при этом находить возможности репрезентировать в музейном

¹ Там же. – Л. 3.

² Там же.

³ Там же. – Л. 3 об.

пространстве местное историческое прошлое можно признать, что омский музей довольно успешно справлялся с общей кризисной ситуацией.

5.2. Краеведческий музей Томска: судьба репрезентаций «томской старины»

Еще в дореволюционные годы университетский город Томск, ставший образовательным центром нашего региона, называли «Сибирскими Афинами». Именно в рамках университета возник первый томский музей. Однако с восстановлением советской власти большее значение в культурной жизни города обрел другой, новый краеведческий музей, имевший не академическую ориентацию, а нацеленный на диалог с живой коллективной памятью томичей. Его история начинается приблизительно с 1909 г., когда у местной интеллигенции возникла идея создать в Томске научно-художественный музей. Однако городские власти поддержали эту инициативу лишь в ходе подготовки празднования 50-й годовщины со дня отмены крепостного права в России. Третьего февраля 1911 г. Городская дума дала согласие на создание в Томске Областного Сибирского научно-художественного музея им. Царя Освободителя Александра II¹. В обосновании актуальности открытия музея говорилось, что музей, как памятник, «будет сотни лет напоминать сибирякам образ царя-освободителя».

Однако для либерально настроенных томских ученых и просветителей (Б. А. Аминов, Ф. Я. Несмелов, А. В. Адрианов, Г. Н. Потанин, Т. Л. Фишель, П. И. Макушин и др.) являлось очень важным и то, что музей «увеличит значение города Томска как научного центра», а также будет «иметь огромное воспитательно-образовательное значение для масс»². Еще в 1880-х гг. знаменитый ученый и публицист, один из идеологов сибирского областничества Н. М. Ядринцев считал, что в Сибири наступает новый исторический этап осознанного отношения к прошлому и распространения просвещения, которое поможет решению насущных проблем региона³. Этим ак-

¹ ГАТО. – Ф. 233. – Оп. 2. – Д. 3367. – Л. 25–26.

² Там же. – Л. 11.

³ Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Новосибирск, 2003. – С. 503.

туальным для своего времени целям должен был служить по замыслу и томский музей. В духе времени томичи обратили внимание на резкие перемены в общественной жизни «страны Сибири»: массовое прибытие переселенцев и «вымирание инородцев». Инициаторы создания музея считали, что «надо сохранить память о старых людях и их жизни – мы ушли от них вперед, но зато многое от них переняли и многому научились»¹.

Стремясь к точному воссозданию условий жизни сибиряков в прошлом, изначально томская интеллигенция ориентировалась на опыт европейцев. Создатели музея так разъясняли свои замыслы, имевшиеся у них еще задолго до того, как Городская дума поддержала их в стремлении открыть музей: «Культурные страны давно уже оберегают в своих музеях от уничтожения следы былой материальной и духовной культуры своих державных родичей... Около Гельсингфорса есть своеобразный музей, в котором вся обстановка обитателей страны, с их жильем, костюмами, орудиями... сохраняется в ее натуральном виде под открытым небом. Мы... задалась мыслью положить начало такому музею в Томске, предполагая на первое время вывезти из Нарымского края старинное остяцкое и самоедское жилье со всей их обстановкой, остяцкие лодки, ловушки на зверя и прочее... Сюда же полагали необходимым свозить и те уцелевшие исторические памятники, которые были во множестве рассеяны по Сибири со времен ее покорения...»².

Городской комитет по устройству Сибирского областного музея в Томске поставил перед собой грандиозную цель: «Создать учреждение, в котором была бы представлена вся Сибирь, и которое стало бы гордостью всей страны»³. При подсчете средств идея музея под открытым небом показалась нерентабельной, поэтому приняли решение о создании музея в более традиционном варианте. В утвержденную программу комитета входила задача сформировать в музее «отдел живой и мертвой старины» с антропологическим, этнографическим и археологическим подотделами. Музей, по замыслу его организаторов, должен был стать средством «наглядного разъяснения» того, «какие люди тут живут, чем занимаются, и какие люди здесь жили в старые и древние времена»⁴.

Позже, в 1915 г., было решено начать формировать «по горячим следам» отдел, посвященный истории Первой мировой войны, куда предполагалось включить карты и га-

¹ ГАТО. – Ф. 233. – Оп. 2. – Д. 3367. – Л. 12 – 12 об.

² Там же. – Л. 14 об.

³ Там же. – Л. 100 об.

⁴ Там же. – Л. 101в.

зетные описания театра военных действий, фотографии (в том числе из сибирских газет), биографии и портреты героев (прежде всего сибиряков), воинскую форму, оружие, трофеи и пр.¹ Вплоть до 1920 г. у музея еще не было помещения, однако можно считать, что он фактически уже существовал: шла работа над его концепцией и собирались коллекции. Создателям музея было не чуждо сентиментальное отношение к томской старине и признание эстетической ценности городских архитектурных памятников, следить за состоянием которых планировали создатели музея. В 1920 г. при отделе народного образования Томского губернского исполнительного комитета был создан подотдел по делам музеев, охраны памятников искусства и старины. В 1921 г. этот подотдел был реорганизован в губернский музей².

Его дальнейшее развитие было обусловлено преимущественно теми же факторами советской музейной политики, которым мы уже уделили внимание в предыдущем параграфе. Однако необходимо добавить, что особыми факторами развития этого музея стали своеобразная культурная атмосфера Томска и творческая роль незаурядных людей, принявших участие в деятельности этого учреждения на этапе его оформления. В их числе: юрист и этнограф М. Б. Шатилов, заведовавший музеем в 1922–1933 гг.; агент-инструктор по музейному делу археолог А. М. Мягков, также руководивший работой музея летом 1922 г.; художник и архитектор А. Л. Шиловский; архитектор А. М. Прибыткова-Фролова.

Еще в дореволюционный период, благодаря университету, Томск стал центром концентрации основных интеллектуальных сил Западной Сибири. Процессы урбанизации и индустриализации также повышали спрос на образование. По подсчетам Д. А. Алисова, научной, учебной, воспитательной деятельностью занимался 21 человек из каждой 1000 жителей города³, что было вдвое выше показателей по всему региону. За счет открытия Томской епархии здесь также было много представителей духовенства, несшего в массы просвещение и церковную культуру. В начале XX столетия в Томске неизменно рос спрос на образование, в том числе и женское. Именно в Томске были открыты Высшие женские курсы и народный университет. Этот город был «читающим» во многом благодаря просветителю П. И. Макушину, открывшему публичную библиотеку и первый книжный магазин.

¹ Там же. – Л. 114 – 114 об.

² Артюхова И. В. Указ. соч. – С. 19.

³ Алисов Д. А. Указ. соч. – С. 177.

Во многом с Томском были связаны традиции сибирского областничества. Авторитетом среди томской интеллигенции пользовался Г. Н. Потанин, живший в этом городе с 1902 г. до смерти в 1920 г. В начале XX в. он добивался возможности введения земств в Сибири, занимался культурно-просветительской деятельностью, являлся председателем Общества попечения о народном образовании в Томске, был членом совета Общества изучения Сибири, создателем Томского литературно-драматического общества.

Областниками были также музейщик, любитель томской старины А. В. Адрианов, расстрелянный в 1920 г., и М. Б. Шатилов. Именно благодаря областникам в дореволюционном Томске были заложены основы краеведения, базировавшегося на патриотических основаниях, на эстетстве, на сентиментальном любовании «старым Томском». А. В. Адрианову принадлежали слова: «Милая старина, незлобивая и мягкая, овеванная теплом и ласковым светом, она задевает в душе человека самые нежные струны...»¹. Он фиксировал внимание на своеобразии Томска, на специфике формирования его территории и среды, на людях, чьи судьбы были связаны с этим городом, в числе которых Адрианов выделил княжну Е. А. Долгорукую – невесту Петра II, старца Федора Кузьмича, декабриста Г. С. Батенькова и др. Адрианов предложил и характеристику «томских тузов» – богатейших купцов и местных представителей власти; дал очерк развития томской интеллигенции, показав прогресс просвещения. Областники ратовали за культурное развитие региона, не очерняя при этом прошлого. Противоположным был большевистский взгляд на историю, в том числе и местную. Поэтому томское краеведение в духе областничества было обречено на искоренение.

На томских примерах отчетливее, чем на примерах Омска, заметна роль политических репрессий 1930-х гг. в истории музеев. Громкие аресты сильно затормозили развитие музейного дела в Томске, существенно ограничили его роль в поддержании коллективной памяти жителей этого города об их общем локальном прошлом, особенном и неповторимом. С начала 1920-х гг. музейщики находились под контролем контрразведки. М. Б. Шатилова дважды арестовывали, но отпускали. В 1931 г. началась обширная кампания по выявлению «социально чуждых» и «социально опасных» для советской власти элементов. К числу «неудобных контингентов» были отнесены члены антисовет-

¹ Адрианов А. В. Указ. соч. – С. 101.

ских партий, «контрреволюционные элементы», члены террористических организаций, участники кулацких повстанческих организаций, священнослужители и др.¹

В 1931 г. М. Б. Шатилов был вновь арестован в связи с процессом по делу Всесоюзного бюро меньшевиков. Однако его отпустили. В 1933 г. состоялся очередной арест. Михаил Бонифатьевич – бывший министр Временного Сибирского правительства – «подтвердил» свое членство в контрреволюционной белогвардейской повстанческой организации. Он проходил по следственному делу как один из основных руководителей повстанческой и диверсионной организации, названной «Белогвардейский заговор»². По данным историка В. Н. Уманова, бывший директор музея подробно охарактеризовал взгляды своих томских «соратников», занимавших платформу областничества и сочувствовавших народничеству³. К слову, кроме него, по этому делу было подвержено арестам 1759 человек, 1057 из них было осуждено. Шатилову пришлось «признать» то, что в состав контрреволюционной организации им был завербован также и сотрудник музея И. М. Мягков⁴. Историк В. Н. Уманов считает, что дело о «Белогвардейском заговоре» не зависело напрямую от указаний из Москвы. Скорее сыграло роль стремление местных чекистов выслужиться, показать «серьезные» результаты в борьбе с контрреволюцией. Перспективы открывались вполне радужные, поскольку в Западной Сибири проживало много тех, кого легко было считать врагами⁵. Признательные показания М. Б. Шатилова не учитывались при вынесении приговора, что, однако, не привело к его освобождению⁶. Он все-таки был осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей, отправлен на Соловки, откуда не вернулся. По данным историка В. И. Шишкина, в 1937 г. тройкой при УНКВД по Ленинградской области Шатилов был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян⁷.

За последующий беспокойный период с июня 1933 по сентябрь 1941 г. в музее сменилось восемь директоров: Н. П. Карпова (исполняла обязанности директора), Г. М. Котт, М. Н. Невляхинов, А. С. Уланов, Б. И. Мордкович, И. И. Косов,

¹ Уманов В. Н. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец 1919 – 1941 г.). – С. 139.

² Там же. – С. 184.

³ Там же. – С. 192.

⁴ Ханевич В. А. Политические репрессии в судьбах сотрудников Томского краеведческого музея. – С. 210–215.

⁵ Уманов В. Н. Указ. соч. – С. 182.

⁶ Там же. – С. 199.

⁷ Шишкин В. И. Шатилов Михаил Николаевич // Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – С. 522.

А. Н. Квашнин, Г. Ф. Васильченко¹. Ни один из них не имел возможности тщательно продумать и реализовать экспозиционные планы. Трагично сложилась судьба А. С. Уланова, который, как и М. Б. Шатилов, занимался исторической частью экспозиции (заведовал историко-революционным отделом). Этот человек руководил музеем всего один год, его арестовали в 1937 г. и приговорили к семи годам исправительно-трудовых лагерей².

Отражение советской политики памяти на работе томских музеев имело свои особенности. В Томске, как и в Омске, после Гражданской войны проживало много людей, недовольных большевиками, потенциальных «врагов». Однако в начале 1920-х гг. краеведческий музей смог оградиться от пропаганды, стандартно дискредитировавшей историческое прошлое этого города, как и других городов страны.

Газетная печать периодически выдавала репортажи о безобразии и убогости пережитков старины в Томске, об «ужасах прошлого», о «зверствах колчаковцев» и т. п. Однако до определенного момента музей, руководимый областником М. Б. Шатиловым, находил пути избегать такой жесткой идеологизации прошлого. В экспозиции старый Томск был представлен вовсе не в уродливом и не в убогом свете. Формально здесь существовал и пополнялся историко-революционный отдел. Но складывается впечатление, что он служил лишь ширмой, за которой вплоть до начала 1930-х гг. продолжалось свободное творчество в духе традиций родиноведения. Увольнение и осуждение Шатилова дискредитировало томский музей. Его сотрудникам, уцелевшим в годы репрессий, требовались немалые усилия для реабилитации, для возврата доверия со стороны органов власти. В этих условиях приходилось выслуживаться, искать средства изменить о себе мнение. Таким средством и стал политический культ С. М. Кирова, биография которого была связана с Томском.

Разработка «кировской» тематики давала томским музейщикам возможность демонстрировать преданность сталинскому режиму. Местные органы власти получали благодаря музею материал для позитивных отчетов. По большому счету Москва также нуждалась в сведениях о биографии «лучшего друга вождя», которая содержала много белых пятен. Однако показательно, что собранные томичами материалы так и не были востребованы столичными авторами, писавшими о Кирове. А это подтверждает предпо-

¹ Андреева Е. А. История Томского краевого музея языком архива. – С. 160–165.

² Там же. – С. 223.

ложение о том, что разработка данной тематики во многом являлась инициативой самих томичей, желавших «прикрыться» Кировым, защитить себя от обвинений. Показательно, что параллельно формировался культ В. В. Куйбышева, однако «куйбышевская» тема доминировала в экспозиционной и выставочной деятельности омских музейщиков, которые в годы репрессий не понесли таких масштабных потерь, как томичи.

Активная деятельность музея началась практически сразу после «освобождения» Томска от «колчаковщины». Огромную роль в формировании характера будущей исторической части экспозиции музея сыграл архитектор А. Л. Шиловский – председатель подотдела по охране памятников Губернского комитета народного образования. Уже в 1920 г., сразу после окончания боевых действий между Красной армией и колчаковцами, А. Л. Шиловский с небольшой группой художников приступили к выявлению, обмерам, фотографированию и художественным зарисовкам уцелевших памятников истории и искусства Томска, желая запечатлеть как выдающиеся произведения искусства, так и послевоенные панорамы старых улиц, передать художественными средствами их атмосферу.

В сентябре 1920 г. печать информировала томичей о первых итогах их работы: исследователями были обнаружены редкие образцы ампириного зодчества, собраны ценные в художественном отношении предметы быта и украшения интерьера¹. Подотдел работал над собиранием и сохранением томских раритетов, позже составивших музейные фонды: произведений искусства, старинной мебели, книг, посуды и т. п. Печать неоднократно сообщала о находках: старинной картине «Суд Соломона», иконах, китайской вазе и пр.²

В формирование коллекций активно включилась местная интеллигенция, жертвовавшая музею книги, старинное оружие и другие раритеты. Часть предметов была передана музею различными учреждениями. Губернское земельное управление пожертвовало музею 20 карт различных мест Томской губернии и дореволюционного Томска; из различных складов губернских учреждений в музей попала реквизированная старинная мебель; Главная библиотека Томского университета передала кандалы каторжника, деревянные иконы, медные складни, старинную печать, сибирские монеты времен Екате-

¹ Старый Томск // Красное знамя. – 1920. – 28 сент.

² В подотделе по делам музеев // Красное знамя. – 1920. – 10 окт.; В подотделе охраны памятников старины // Красное знамя. – 1920. – 22 окт.

рины II, буддистский молитвенный плат¹; из Горкомхоза привезли в музей живописные, графические и скульптурные портреты российских императоров, которые позже, в 1929 г., сотрудникам музея пришлось с оправданиями передать в ОГПУ².

В сентябре 1920 г. подотдел был готов устроить первую выставку старинных вещей, однако не мог найти подходящего помещения, хотя в феврале 1920 г. и было принято окончательное решение об открытии Музея старины и революции в бывшей усадьбе золотопромышленника И. Д. Асташова. Выставочная деятельность музея началась лишь в марте 1922 г. По данным историка С. Е. Григорьевой, изначально экспозиция строилась ретроспективно: от революционной современности вглубь времен, вплоть до археологических артефактов³. И. В. Артюхова дает более подробное описание экспозиции: «Зал живописи и старого Томска, зал художественных работ по конкурсам первых двух лет революции, парадный зал в стиле “ампир”, зал Востока, зал 30-х гг. XIX в., зал археологии»⁴.

Директор музея М. Б. Шатилов, ратовавший за просвещение, активно проявлял личную инициативу в пополнении музейных коллекций. Так, в 1924/1925 г. он ходатайствовал о передаче музею экспонатов, связанных с пребыванием в Мариинске декабристов⁵. Отдельные коллекции в эти годы покупались (старообрядческая, якутская), другие поступали из хранилищ монастырей и церквей. Наиболее активно исторические экспонаты собирались в период с 1922 по 1927 г. Сам директор музея заведовал культурно-историческим отделом, развитие которого осуществлял на научной основе.

Уже в 1927 г. в музее насчитывалось 1297 археологических, 1169 этнографических и 2500 нумизматических экспонатов⁶. В экспозиции существовал специфичный для Томска отдел, который в отчетной документации за 1925/1926 г. назван «Стариной Томского края»⁷, а в документах 1927 г. этот отдел, представленный 484 экспонатами, именовался «Старый город»⁸. Этот отдел строился в опоре на удачно выбранный ансамблевый метод. До революции музей планировалось расположить на Воскресенской горе, там, где находилась каланча, которая в памяти томичей связывалась с основанием их

¹ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 38, 43, 66.

² Там же. – Д. 31. – Л. 98 – 98 об.

³ Григорьева С. Е. Указ. соч. – С. 15.

⁴ Артюхова И. В. Указ. соч. – С. 20.

⁵ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 47.

⁶ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 52. – Л. 26.

⁷ Там же. – Д. 14. – Л. 29.

⁸ Там же. – Д. 52. – Л. 26.

города на начальном этапе русской колонизации Сибири¹. Но и дом Асташова, где в итоге открылся музей, выбрали неслучайно. В парадной зале стиля «ампир», обставленной мебелью 1830-х гг., сохранилась особая атмосфера XIX в., чувствовался «аромат эпохи»².

Как и его предшественники, М. Б. Шатилов сентиментально относился к «прелестной» томской старине. Исходя из установок дореволюционной томской интеллигенции, он считал, что необходимо «познавать старое, которое вокруг нас, чтобы творить новое»³. Рассуждая о ценности сохранения «духа» старины, он использовал в отчете цитату из обзора томских достопримечательностей, составленного А. В. Андриановым для справочника 1912 г. по городу Томску: «Здесь есть своя старина, полная значения и интереса, достойная ее запечатления»⁴. Только в отчете 1929 г. целевая установка руководства музея изменится в соответствии с политикой государства: «Выявлять и отражать естественно-производительные силы края, с одной стороны, и сохранять культурное наследие прошлого, охранять памятники искусства и старины, изучать народный быт»⁵.

В лучшие для музея годы нэпа историческую часть экспозиции открывал зал отдела «Старина Томского края», где выставлялись предметы, собранные в начальный период существования музея. В их числе были: раритетные карты и планы Томска, Сургута, Нарыма, Кузнецка; чертежи, зарисовки и фотоснимки архитектурных памятников; портреты героев местной истории: таинственного старца Федора Кузьмича, золотопромышленника З. М. Цыбульского, финансировавшего строительство здания Томского университета, жертвователя денег на создание бесплатной библиотеки, купца-благотворителя С. С. Валгусова и др. Демонстрировалась здесь и икона, дарованная Борисом Годуновым Томску на его основание. Как сообщала печать, эта икона – редкий для Сибири образец иконописи московской школы – была обнаружена в сентябре 1920 г. в одной из городских церквей в связи с музеефикацией ценностей⁶. В экспозиции также присутствовали гравюра «Вид Томска» XVIII в., пушка того же столетия, найденная близ реки Ушайки, вериги юродивого, двухсотлетние английские часы, полковые знамена томско-

¹ Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея (1922 – 18 марта 1926 г.). – С. 3.

² Там же. – С. 27.

³ Там же. – С. 26–27.

⁴ Там же. – С. 26.

⁵ Шатилов М. Б. Обзор деятельности Томского краевого музея (1927–1928 гг.) // Тр. / Томск. краев. музей. – Томск, 1929. – Т. 2. – С. 103.

⁶ Томская древность // Знамя революции. – 1920. – 22 сент.

го 42-го полка¹. Экспозиция этого зала состояла из предметов, во многом узнаваемых для просвещенных томичей, предметов, переданных и подаренных музеем местными жителями, она возбуждала интерес, подтверждала признание жителей Томска участниками «строительства» местного музея. Наконец, она готовила посетителей к восприятию более неожиданных и диковинных вещей из отделов истории, археологии, нумизматики и этнографии. Такая компоновка залов должна была давать посетителям ощущение сопричастности к историческому прошлому края, стимулировать интерес к истории и расширять коллективную память горожан, а также просвещать их.

Музей в середине 1920-х гг. устраивал и временные исторические выставки. Одна из них посвящалась памяти декабриста Г. С. Батенькова, отбывавшего ссылку в Томске. Его дом, как и Кузнецкую крепость, а также домик, где жил Ф. М. Достоевский, «Московские столбы», келью старца Федора Кузьмича и другие городские памятные места, охранял музей. Музейные сотрудники стремились закрепить народную память о ссыльном декабристе на уровне городской среды, предлагая назвать хутор Степановка, где Г. С. Батеньков возвел ряд построек, его именем, а вместо пустыря на углу Благовещенского и Петропавловского переулков разбить сквер Батенькова. В честь него удалось переименовать Благовещенский переулок². В 1920-е гг. такое переименование обуславливалось идеологически, но заметим, что томичи стремились закрепить с помощью топонимов в коллективной памяти горожан имя исторического персонажа, почитавшегося в качестве борца с «царизмом», судьба которого *реально* была связана с Томском.

Гораздо труднее М. Б. Шатилову оказалось бороться за сохранение памятных мест, связанных со старцем Федором Кузьмичом, историческое значение которых директор музея высоко ценил. В 1924 г. он обнаружил разграбление кельи старца, которая находилась под охраной музея. Из помещения пропали стулья, иконы, деревянная кровать и прочие вещи. Милиция нашла только кровать и ее изголовье, прочее, к огорчению директора музея, пропало бесследно³. Историк В. Г. Рыженко уже обращала внимание на спор между томскими музейщиками, чью позицию представляли М. Б. Шатилов и И. М. Мягков, с председателем Горкомхоза В. Н. Клочановым по поводу ремонта здания бывшей городской думы и магистрата. Музейщики настаивали на сохранении уникального

¹ Шатилов Б. М. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея (1922 – 18 марта 1926 г.). – С. 26.

² ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 52. – Л. 32 – 32 об.

³ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 85. – Л. 1–3.

стиля здания. Также мы уже обращались к сюжету о требовании М. Б. Шатилова прекратить разрушение исторического некрополя Томска.

В 1926 г. музей, пользуясь своими богатыми коллекциями архитектурных зарисовок и фотографий, устроил выставку, посвященную старинному сибирскому зодчеству. Весной 1926 г. И. Д. Серебрянников прочел лекцию «Из прошлого Томска. Знаменитый сад Горохова»¹. Такие мероприятия способствовали развитию и укреплению локального компонента коллективной памяти томичей. Горожане продолжали приносить в музей старинные вещи и предлагать свое сотрудничество в качестве внештатных исследователей.

Отдавая приоритет теме томской старины, сотрудники музея должны были работать и над репрезентацией революционной тематики. С помощью Истпарт ко дню кончины В. И. Ленина в 1925 г. был организован «Ленинский уголок». Сотрудница музея К. Н. Юхневич (см. Прил., рис. 70) формировала коллекцию воспоминаний старых большевиков, однако эти материалы не были должным образом расшифрованы и оформлены, что может свидетельствовать об отсутствии реального интереса у музейщиков к данной теме². В 1927 г. состоялась временная тематическая выставка «Десять лет Октября»; в 1928 г. – «Первое мая и самодержавие»; в 1929 г. – «Колчаковщина и восстановление советской власти в Сибири». Эти выставки стали работать непрерывно. Кроме того, к юбилею революции Истпарт открыл в музее «уголок революционного движения»³.

К началу 1930-х гг. томские музейные работники стали постепенно утрачивать прежнюю свободу творческой инициативы, связанной с дореволюционными установками. Хотя в начале 1930-х гг. они продолжали изучать памятники томской старины, очевидно, что в этот период на их работе сказалась необходимость повысить внимание к историко-революционной части экспозиции. В 1930 г. культурно-исторический отдел оставался богаче (в нем насчитывалось 4052 экспоната), но историко-революционный отдел, где зафиксировали только 1142 экспоната, по понятным идеологическим причинам посещался экскурсантами чаще⁴. Коллекции историко-революционного отдела стали пополняться вдвое активнее (за год в этот отдел поступило 595 экспонатов против

¹ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 32.

² ЦДНИТО. – Ф. 4204. – Оп. 1. – Д. 27. – Л. 3, 11–12.

³ Там же. – Ф. 75. – Оп. 1. – Д. 400. – Л. 64.

⁴ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 30.

288 экспонатов культурно-исторического отдела)¹. Помощь в формировании фондов по революционной тематике оказывали Общество политкаторжан и историко-революционный кружок при музее. Согласно отчету 1931 г., культурно-исторический отдел отражал трудовые традиции населения Томской области, проблемы классовой борьбы, содержал материалы по устному народному творчеству. Историко-революционный отдел строился в логике хроники революционных событий в Томске, составленной сотрудниками музея. Известно, что там экспонировались отснятые в 1925 г. Н. В. Татауровым фотографии конспиративных квартир и тюрьмы (см. Прил., рис. 71). Каждая тема экспозиции историко-революционного раздела сопровождалась экономической характеристикой. Так, сведения о революции 1905 г. дополнялись диаграммами о количестве населения, состоянию промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта; использовался принцип сопоставления этих данных по разным периодам². Данный метод должен был подводить посетителей к выводу о несомненной экономической пользе социалистической революции.

Однако в 1932 г. Томский краевой музей подвергся обследованию инспектора научных учреждений Западно-Сибирского краевого отдела народного образования С. С. Черникова, который выступил с жесткой критикой экспозиции. По его словам, экспозиция «не отвечала требованиям марксистско-ленинской теории», не отражала ни «диалектики исторического процесса», ни «мало-мальски связанной истории края». Черников писал: «Классовая борьба затушевана и выпячены без противопоставления и вскрытия классовых корней вещи, отражающие буржуазную и феодально-дворянскую идеологию и быт»³. Кроме того, создатели экспозиции обвинялись в «кунсткамерном» подходе к ее формированию. В заключение Черников сделал вывод о необходимости переустройства экспозиции в соответствии с марксистским подходом.

В результате этого обследования сотрудники музея оказались в методологическом тупике. «Ампириный зал» и отдел, посвященный томской старине, пришлось ликвидировать. Нужно было по-новому строить историческую часть экспозиции. Документы 1934 г. зафиксировали дискуссию совета музея по поводу плана построения раздела о капиталистической формации. Члены совета не могли решить, стоит ли ограничиться включением в экспозицию томских материалов или нужно использовать материал по

¹ Там же. – Л. 51.

² Там же. – Д. 18. – Л. 12 – 15 об.

³ Там же. – Д. 6. – Л. 24.

всей РСФСР. Большинство по привычке склонялось к варианту использования только местных материалов. Автора плана Эпова критиковали за слабое отражение вопроса истории революционного движения, «руководящей роли партии», экономического развития. Проблемным местом оказалось отражение движущих сил революции. Обсуждение плана Эпова происходило дважды, и оба раза план не был утвержден¹. Одновременно разрабатывался план построения раздела о социалистической формации. По утвержденному плану, эта часть экспозиции должна была отражать экономические успехи, возрождение транспорта, вопросы культурного строительства².

Неизвестно, в какой степени эти планы были реализованы. С середины 1930-х гг. отчеты музея стали очень краткими и формальными. После процесса над «троцкистами» потребовалась основательная «чистка» историко-революционного отдела. Директор музея А. С. Уланов распорядился уничтожить даже позолоченный иконостас архиерейской домово́й церкви и еще ряд «опасных» экспонатов³. Однако это не спасло самого директора от ареста.

На момент вступления Уланова в должность в январе 1936 г. историческая часть экспозиции, не отвечавшая новым требованиям, находилась в разработке. Директор велел полностью разобрать неоконченные исторические разделы, выстроил их по-новому и, не успев открыть, в страхе снова уничтожил, что и стало одной из причин его обвинения во вредительстве. В тот момент, когда музей был закрыт с целью перестройки экспозиции, газета «Красное знамя» опубликовала обличительную статью под заголовком «Невежда заведует музеем». В ней сообщалось, что историко-революционный отдел «почти оконченной экспозиции» представлен остекленными монтажами из газетных вырезок, фотографий, документов и репродукций, которые подобраны «неряшливо», «политически безграмотно» и «бессистемно». Часть музейных экспонатов (фото группы неизвестных красных партизан) директор музея не смог прокомментировать, чем снова навлек на себя гнев газетчиков. Обвинили они его и в том, что в срок не был открыт отдел, посвященный памяти С. М. Кирова⁴.

Однако это упущение А. С. Уланов наверстал, создав довольно подробную выставку, посвященную С. М. Кирову и его пребыванию в Томске. Специально для этого зака-

¹ Там же. – Д. 46. – Л. 4 об., 11, 13 об.

² Там же. – Л. 4 об.

³ Там же. – Д. 18. – Л. 98–102.

⁴ Пезаретный Д. Невежда заведует музеем // Красное знамя. – 1936. – 20 сент.

зывались картины известным художникам на сюжеты: «Портрет Кирова», «Киров и Сталин», «Киров на Северо-Кавказском фронте», «Погром 1905 г. в Томске», «Панорама г. Кирова», «Киров среди детей», «Киров и Орджоникидзе». Для выставки создали макеты конспиративной квартиры Кирова и организованной при его участии подпольной типографии, вокруг печатного станка была даже расположена группа манекенов, изображавших печатников. Музейные работники также воссоздали общий вид одиночной камеры Томской тюрьмы, где в 1906 г. сидел Сережа Костриков.

Выставка включала книги, фотографии С. М. Кирова, революционные лозунги, листовки, тексты речей С. М. Кирова и И. В. Сталина. Но из документов заметно, что психологическая обстановка в музейном коллективе была крайне накаленной. Все боялись доносов и неосторожных фраз. А. С. Уланов «срывался», говорил грубости, забывая о ключевой «заповеди» этого периода: «Не болтай!». Если верить партийной документации, обличившей его в «антисоветчине», Уланов, собственноручно приколавывая к стене плакат с изображением В. И. Ленина, в сердцах воскликнул: «Гад!», когда плакат в очередной раз упал. В другой раз, посчитав деньги, израсходованные на выставку, посвященную памяти С. М. Кирова, директор недовольно пробурчал: «На эту тварь отпустил столько денег». О подобных высказываниях, как и о найденной в мусорном ящике его кабинета фотографии С. М. Кирова с семьей, коллеги А. С. Уланова Н. А. Квашнин и И. И. Косов докладывали парторгу музея, что вскоре привело к увольнению и аресту директора¹. Стоит ли рассуждать об объективности данных обвинений и о том, кто именно бросил в мусорный ящик злополучное фото? Кстати, директором музея после увольнения А. С. Уланова, которого на короткий период сменил Б. И. Мордкович, стал единственный сотрудник с высшим образованием и, видимо, с большими амбициями, – И. И. Косов, еще вчера доносивший на своего начальника.

Из отчета 1937 г. видно, что сотрудники музея пытались построить историческую экспозицию так, чтобы не спровоцировать очередные репрессии. Видимо, поэтому исторический отдел стал «отделом истории материальной культуры». В 1938 г. снова открылся многострадальный историко-революционный отдел экспозиции, разместившийся в трех залах. Посредством периодической печати новый директор И. И. Косов, которому, возможно, требовалось доказать справедливость своего назначения, заявлял, что отдел построен в соответствии с «Кратким курсом истории ВКП(б)». В начале просмотр-

¹ ГАНО. – Ф. П-5. – Оп. 11. – Д. 797. – Л. 33–43.

ра посетители музея знакомились с вопросами развития капитализма и первыми шагами революционного движения в России. Здесь были представлены материалы (фотографии, макеты, плакаты), информирующие о группе «Освобождение труда», о начале революционной деятельности В. И. Ленина, Первом съезде РСДРП и газете «Искра».

Далее экспонировались томские материалы: копии документов о студенческом движении, фотографии студентов, участвовавших в забастовках, макеты главного учебного корпуса университета и студенческого общежития, где устраивались сходки, листовки Томского комитета социал-демократического союза. В первом зале также был представлен раздел «Подъем революционного движения в России в 1901–1904 гг.». Здесь были материалы о ленинском плане построения партии и Втором съезде РСДРП. Первый зал заканчивался материалами о приезде в 1904 г. в Томск С. М. Кирова (фото Кирова и его товарищей, обучавшихся на общеобразовательных курсах при Технологическом институте). Второй зал открывался показом событий 9 января 1905 г. и отклика на эти события томичей (листовка Томского комитета РСДРП, материалы о Н. Е. Кононове, погибшем на демонстрации в революционном Томске, документы о первом аресте С. М. Кирова, о сходках революционеров и студенческих волнениях). Далее экспонировался монтаж документов и фотографий III Съезда РСДРП, Всероссийской политической стачки, Декабрьского вооруженного восстания. Здесь же была представлена картина художника Вучичиева на тему черносотенного погрома в Томске 1905 г., фотографии похорон жертв погрома и развалин здания управления Сибирской железной дороги, листовки РСДРП с призывами мстить врагам.

Второй зал оканчивался документами о повторном аресте С. М. Кирова и макетом организованной им подпольной типографии. Третий зал был посвящен очередному аресту Кирова, его тюремному заключению. Здесь очень пригодился макет одиночной камеры, созданный еще при А. С. Уланове. Имелись в этом зале и документы о революционной деятельности В. В. Куйбышева в Томске и нарымской ссылке Я. М. Свердлова. Впервые в томском музее экспонировались также и документы о ссылке И. В. Сталина. Зал закрывали копии документов о Ленских событиях 1912 г., «империалистической войне» и Февральской революции¹. Заметно, что в этой экспозиции материалы, относящиеся к «большому» историческому нарративу революции, являлись не контекстом репрезентации томских материалов, а доминировали над ними. Очевидна и имитация

¹ Косов И. И. Отдел революционного движения в Томском краеведческом музее // Красное знамя. – 1938. – 8 июля.

местных материалов: главной фигурой памяти томской революционной истории был представлен С. М. Киров, героический культ которого раздувался на глазах.

Последний музейный зал посвящался траурным дням по С. М. Кирову, последовавшим после его убийства. Важно отметить, что музейным работникам удалось создать в залах нужную с идеологической позиции эмоциональную обстановку. Экспозиция начиналась с фрагмента текста о социальной несправедливости и ужасах заточения, написанного С. М. Кировым во время отбывания наказания в одиночной камере Томской тюрьмы. Посещение музея должно было подводить обывателя к выводу о незаслуженных страданиях идеального в моральном смысле человека, героя, преодолевшего множество трудностей, сделавшего жизнь народа-страдальца лучше и вероломно убитого «нелюдем». Ненавидеть врагов и бороться за советские идеалы – вот чему учила экспозиция на примере С. М. Кирова.

Сохранилось фото центральной части раздела экспозиции о Кирове. Материалы, представленные в ней, носили стендовый характер. В центре композиции между профилями И. В. Сталина и В. И. Ленина в медальонах располагался большой погрудный портрет С. М. Кирова, обрамленный красной драпировкой. С двух сторон портрет окружали фотографии, относящиеся к разным периодам его жизни. Под портретом был представлен планшет с его биографией¹. Эта композиция ассоциируется с православной иконой, изображающего святого, с клеймами по краям и символической рукой Господа в правом верхнем углу. Известно, что часть этого отдела по-прежнему посвящалась смерти и похоронам С. М. Кирова. В экспозиции были представлены фотоснимки революционера в гробу в окружении товарищей и траурного венка от соратников.

В это же время сотрудники музея определили для экскурсионного бюро в Новосибирске перечень Кировских мест в Томске; прочли о нем серию лекций и докладов. В канун войны эта часть экспозиции дополнялась материалами, связанными с пребыванием в Томске В. В. Куйбышева. Фигура памяти С. М. Киров, усилиями сотрудников музея, испытывавших со стороны власти колоссальное давление, фактически служила вытеснению из коллективной памяти томичей прочих фигур, связанных с богатой местной историей.

Заметно, что сотрудники музея собирались и дальше продвигаться по пути унификации экспозиции. К началу 1940 г. планировалось расширить и дополнить ее материа-

¹ Андреева Е. А. История Томского краеведческого музея языком архива. – С. 114.

лами, четко выдерживая сталинскую периодизацию; построить экспозицию раздела «Сибирь докапиталистическая» на фоне возникновения и развития Московского государства; а также создать дополнительные разделы по истории Новосибирска и Томска¹. Последний пункт плана очень показателен: в Томске, где существовали богатые коллекции по истории города, где всегда был высоким интерес населения к историческому краеведению, в 1940 г. был поставлен вопрос о создании раздела экспозиции по истории Томска. Выходит, что в 1930-х экспонаты по истории Томска не демонстрировались. При этом надо отдать должное сотруднику музея Н. А. Чернышеву, который в канун войны один продолжал заниматься изучением и защитой памятников старинного зодчества Томска. Обратим также внимание на вывод, сделанный музееведом С. Е. Григорьевой, согласно которому в канун войны томские музейщики активно использовали для построения типовой экспозиции, которую требовалось дробить «по формациям», всевозможные схемы, диаграммы и иллюстрации, вытеснявшие реальные музейные предметы².

Заслуживает отдельного рассмотрения и вопрос о работе этого музея над охраной памятников. Из приведенного выше обзора ясно, что в начале 1920-х гг. данному вопросу уделялось повышенное внимание. Помимо А. Л. Шиловского, охраной памятников в Томске занимались архитекторы А. Д. Крячков и Б. Н. Засыпкин, а также профессор Б. П. Деннике. В частности, выдающийся сибирский архитектор А. Д. Крячков делал обмеры и зарисовки церкви закрытого мужского Алексеевского монастыря, которая была поставлена под охрану, а также старых мясных рядов³. В список памятников комиссия вносила, прежде всего, церкви, подчеркивая их ценность в художественном и историческом смысле. В этот список изначально попали и старые кладбища.⁴

С середины 1920-х гг. томский музей работал также над выявлением и постановкой под охрану военно-революционных памятников. Эта работа была приурочена к десятилетию Октября. Фотограф Н. В. Татауров отснял следующие объекты: здание тюрьмы, где отбывали наказание томские революционеры и подпольщики⁵, барак № 2, где в но-

¹ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 91.

² Григорьева С. Е. Указ. соч. – С. 17.

³ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 309. – Л. 3.

⁴ См. подробнее: Красильникова Е. И. Исторический некрополь Новосибирска // Вестник / Томск. гос. ун-т. – 2014. – № 308 (3). – С. 80–91.

⁵ ГАТО. – Ф. Р-133. – Оп. 2. – Д. 677.

ябре 1919 г. началось восстание против Колчака¹, дом И. Е. Кононова², тайную типографию³, дом, где состоялась маевка в 1899 г.⁴, несколько конспиративных квартир⁵. Сведения о местонахождении этих домов черпались из воспоминаний революционеров, записанных также музейщиками⁶.

После увольнения М. Б. Шатилова забота о памятниках, не связанных с историей революционного движения, практически прекратилась. Деятельность по охране военно-революционных памятных мест, как и в Омске, велась без особенной инициативы, усилившись только в преддверии двадцатилетия «освобождения от колчаковщины». С 1934 г. был поставлен под охрану дом на Гоголевской улице, где жил С. М. Киров⁷. В 1935 г. была создана городская комиссия по охране памятников. В качестве представителя музея в работе комиссии принял участие этнограф П. Г. Иванов. С 1939 г. в городе функционировала уже другая памятник-охранительная комиссия – Комитет по охране памятников революции, Гражданской войны, культуры и искусства. Этой комиссией руководил директор музея И. И. Косов⁸.

В 1940 г. работа комиссии выразилась в ходатайстве исполнительного комитета Томского городского совета депутатов трудящихся перед Новосибирским исполнительным комитетом (Томск в эти годы являлся городом Новосибирской области) о зачислении на местную государственную охрану памятников истории и революции. В список вошла усадьба золотопромышленника Асташова, где размещался краеведческий музей; здание, где в 1905 г. произошел еврейский погром; памятник И. Е. Кононову; памятник на братской могиле на площади Революции, возведенный лишь годом ранее; памятник жертвам «колчаковщины» близ железнодорожной станции Томск II; дом, где жил С. М. Киров, а также дом на набережной реки Ушайки – место, где в 1917 г. располагались клуб и бюро Томского комитета РСДРП⁹.

Заметно, что в этот список практически не попали памятники дореволюционного периода, не ставились под охрану конспиративные квартиры и подпольная типография, выявленные в середине 1920-х гг. Усадьба Асташова – «яркий образец раннего никола-

¹ Там же. – Д. 640.

² Там же. – Д. 529.

³ Там же. – Д. 526.

⁴ Там же. – Д. 519.

⁵ Там же. – Д. 525 и др.

⁶ ЦДНИТО. – Ф. 4204. – Оп. 1. – Д. 27 и др.

⁷ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 51. – Л. 35 об.

⁸ Григорьева С. Е. Указ. соч. – С. 96–97.

⁹ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 309. – Л. 9.

евского ампира» – поставили под охрану лишь благодаря инициативе одного из немногих квалифицированных специалистов, работавших в томском музее, археолога Н. А. Чернышова, сумевшего доказать ценность этого памятника¹.

Мы не располагаем книгами отзывов посетителей томских музеев, поэтому не имеем возможности составить сколько-нибудь полного представления о восприятии посетителями экспозиции и выставок. Известно лишь то, что в «шатиловский период» краеведческий музей активно привлекал посетителей. Сотрудники зафиксировали их повышенный интерес к разделу экспозиции «Старина Томского края». Помимо этого им нравились этнографические залы, залы по искусству и зоологии². Влияние политической пропаганды середины 1920-х гг., контексты формирования культа Ленина обостряли внимание и к этой теме. Так, отмечалось, что многие посетители отмечали как интересный экспонат фотографию вождя в Шушенском³.

Согласно отчетной документации, Томский краеведческий музей с момента его открытия до 1925 г. включительно посетило 36 267 человек, еще около 30 тыс. человек посетило отдельные выставки. В музей организованно приходили учащиеся, члены профсоюзов⁴. По сравнению с Омском эти цифры не особенно впечатляют. Однако не будем забывать, что этот музей только строился и еще не имел авторитета омского музея. В отдельные периоды более посещаемым являлся музей университета, существовавший дольше. За весь 1924 г. его посетило 25 тыс. человек⁵. Такой интерес был вызван обновлением экспозиции. При этом заметно, что в последующие годы интерес населения к университетскому музею несколько снизился. За весь период с конца 1923 по 1926 г. его посетило около 50 тыс. человек⁶.

На рубеже десятилетий посещаемость краеведческого музея возросла, достигнув в 1930 г. 48 239 человек⁷. Однако в кризисный период, последовавший за Первым Музейным съездом, увольнением М. Б. Шатилова и перестройками экспозиции, посещаемость стала снижаться. К 1937 г. она упала почти вдвое⁸, несмотря на то, что существовала установка работать с разным контингентом: со школьниками, рабочими и служащими, с

¹ Андреева Е. А. Указ. соч. – С. 120–121.

² ГАНУ. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 31.

³ ЦДНИТО. – Ф. 4204. – Оп. 1. – Д. 102. – Л. 25.

⁴ ГАНУ. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 31.

⁵ В этнолого-археологическом музее // Красное знамя. – 1925. – 3 янв.

⁶ ГАНУ. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 37.

⁷ ТОКМ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 63.

⁸ Там же. – Д. 62. – Л. 53 об.

колхозниками и красноармейцами¹. Томская печать кратко отразила восприятие музейных коммемораций, связанных с фигурой С. М. Кирова, затмившего с середины 1930-х гг. все прочие темы в экспозиции. Многие посетители музея, по версии газеты, были довольны. И это не вызывает сомнений, поскольку существует немало подтверждений народной любви к Кирову, о которых мы уже упоминали в третьей главе. Но из газетной публикации заметно и то, что С. М. Киров слишком быстро «обронзовел», что в оффициозе экспозиции совершенно растворился человек Сергей Костриков. Даже «Красное знамя» допустило в своей публикации критическое пожелание школьников, желавших видеть картины из детства Сережи Кирова², которые могли бы хоть как-то оживить этот образ. С другой стороны, данное пожелание может говорить о хорошем усвоении соцреалистического канона и героического дискурса. Герой, согласно логике жанра, должен уже в детские годы проявлять незаурядные качества, как Володя Ульянов, служивший примером всем советским детям.

В заключении подчеркнем, что в 1920-х гг. бывший областник М. Б. Шатилов, опираясь на помощь своей команды, развивал музей как институт памяти. Томские краеведы репрезентировали в музее собственную социальную память о местном прошлом. Память их сообщества о «томской старине» преодолела функциональный уровень выработки традиции и канонизации артефактов. Уже до революции существовал томский краеведческий нарратив. Так, в 1920-х гг. Шатилов и его коллеги говорили на том же языке, что автор «Томской старины» А. В. Адрианов. В начале XX в. томские краеведы определили актуальный для себя перечень памятных мест и фигур памяти. Именно с этими образами они и вели работу в 1920-х гг., не реагируя на официальную пропаганду, очернявшую прошлое Томска. Томские краеведы, создавшие музей, пытались с помощью него реализовать потребность в накоплении и консервации на длительный срок памяти своего сообщества, сделать ее достоянием культурной памяти. Ни в одном другом сибирском городе локальная коллективная память горожан не укреплялась и не транслировалась при помощи музейной экспозиции так, как в Томске этих лет. Здесь музей органично «срастался» с городской средой, «высвечивая» значимые для томичей памятные места и задавая определенные ракурсы их восприятия.

¹ Там же. – Л. 32.

² Федоренко А. Указ. соч.

Необходимость перестроиться и начать служить государственной политике памяти вызвала в Томске такой глубокий кризис музейного дела, из которого местные музейщики так и не нашли конструктивного выхода в изучаемый период. После Шатилова музей полностью утратил творческую самостоятельность, встав на путь реализации сугубо идеологических задач. Засилье кировской тематики стало основной чертой в коммеморативной деятельности музея последующих нескольких лет. Однако собранные в шатиловский период коллекции, написанные им и его единомышленниками труды, созданный им архив, сохранились, став через несколько десятилетий основой для возрождения краеведческих традиций в Томске. «Томич Киров» также существует до сих пор в символическом пространстве культуры этого города. В условиях современной политики памяти он не особенно актуален, однако обилие кировских коммемораций, видимо, еще обретет новые смыслы в будущем.

5.3. Новосибирский краеведческий музей: история на службе государственной идеологии

У Новосибирского краеведческого музея не было особенной предыстории. В молодом городе Новониколаевске в начале XX в. еще не сложились краеведческие традиции, как например, в Томске, или в Омске, у музейщиков не было опыта краеведческих исследований. Если Омск являл собой город чиновников и военных, активно участвовавших в формировании культурной инфраструктуры, а Томск – университетский и коммерческий центр, то Новониколаевск до революции развивался как транспортный узел, как город на дороге, где оседал самый пестрый, подчас разночинный люд, преимущественно настроенный на предпринимательство, работу в сфере услуг, на железной дороге и баржах.

Создание и быстрое развитие музея было обусловлено статусом столицы региона, который получил Новосибирск после Гражданской войны. В региональном центре обязательно должен был существовать образцовый музей. Именно поэтому его руководство

быстро реагировало на изменения музейной политики. Стоит заметить, что именно этот музей становился полем для деятельности авантюрных дилетантов, имевших лишь поверхностное представление о науке экспонирования артефактов и амбиции больших начальников. Ярчайший пример такого типажа – П. И. Кутафьев, о котором речь пойдет далее. С другой стороны, именно из-за «столичности» Новосибирска музейщики в период репрессий находились под строгим надзором партии и НКВД. Здесь, как и в Томске, за короткий промежуток времени сменилось несколько руководителей, биографии которых до сих пор плохо известны.

Общие для страны и региона условия развития этого музея в 1920–1930-х гг. нами уже выяснены и охарактеризованы в предыдущих параграфах. Остается добавить лишь то, что специфичным условием существования Новосибирского краеведческого музея на раннем этапе стала борьба за помещение. Жителям Новосибирска в изучаемый период хронически не хватало жилья, «жилья» не хватало и различным учреждениям и организациям, процесс создания которых шел в новой региональной столице быстрыми темпами. Перед революцией купец Ф. Д. Маштаков продал здание, где позже находился музей, кредитной кооперации. После революции дом перешел во владение ГОМХа (отдела местного хозяйства Исполнительного комитета Новониколаевского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов), который и передал здание Окружному отделу народного образования под музей. Однако в 1926 г., в связи с выходом декрета о возвращении учреждениям кооперации изъятых у нее домов, кооперативная организация «Сибсельхозсоюз», пережившая пожар своего здания, потребовала вернуть ей здание, в котором теперь находился музей. 24 июля 1926 г. вышло постановление Окрисполкома о выселении музея из здания, которое вновь передавалось кооперации. В результате была разрушена экспозиция, сократилась площадь, выделявшаяся под выставки, а большинство экспонатов попали в сырой подвал¹. В таких условиях фонды музея были в значительной мере испорчены и утрачены, а прием посетителей велся с перебоями.

История во многом повторилась после экспериментов директора музея П. И. Кутафьева с экспозицией, к которым мы еще обратимся. В 1931 – начале 1933 г. музей был закрыт для посещений, научно-исследовательская, политико-

¹ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 65 об. – 66.

просветительская и научно-учетная работа также почти не велась¹. Помещения музея постепенно занимали различные организации: ОГИЗ (первичная организация Коммунистической партии Советского Союза Западно-Сибирского книжного издательства Государственного Комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли), редакция «Сибирской советской энциклопедии», книжная палата и Бюро краеведения. В опустевших музейных залах устраивались временные выставки картин и предметов ширпотреба. Вскоре эти комнаты решили окончательно занять соседствующие организации. По словам очередного директора Г. П. Шапошкова (вступил в должность в 1932 г.), «однажды настал день выселения музея из здания при участии милиции». Милиционеры выбросили в коридор и на улицу то, что еще не оказалось в подвале, поэтому множество экспонатов либо сломалось, либо было вовсе уничтожено. Кто-то из сотрудников музея сфотографировал плачевную картину: сваленные в кучу книги, рваные коробки, стулья, газеты и пр.² В 1934 г. уточнили: за предшествующие годы музей потерял 129 экспонатов, еще 10 уничтожили крысы и моль³.

В городе-акселерате Новосибирске государственная политика памяти своеобразно проявила себя в музейном деле. Во-первых, не заметно направленности этой политики на вытеснение из экспозиции всего того, что могло быть связано с локальным компонентом исторической памяти жителей города. Все дело в том, что экспозиции, тесно связанной с исторической памятью новосибирцев, в 1920-х гг. так и не успели построить. Во второй половине 1930-х гг. новосибирцы, в сущности, ничего не перестраивали, они создавали экспозицию с нуля по схеме, в которой история страны явно доминировала над местной историей. Во-вторых, в отличие от Омска, где велась активная работа над «коррекцией» коллективной памяти о Гражданской войне, в Новосибирске, бывшем в прошлом таким же центром «белогвардейщины», музейщики этой теме не придавали большого значения. Особенно не раздувалась и кировская тематика. Вероятно, просто работа в этих направлениях велась вяло, не так, как требовалось. Возможно, отчасти поэтому такой жесткой была критика работы музея в печати.

При этом контроль над деятельностью музея со стороны партии и НКВД был, как мы уже подчеркивали, неустанным. Об этом свидетельствуют не только аресты. Показателен следующий пример: музей в середине 1930-х гг. устраивал бесплатные историче-

¹ Там же. – Д. 1. – Л. 3.

² Там же. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 3.

³ Там же. – Д. 1а. – Л. 37, 41.

ские выставки в окнах, выходящих на улицу. Складывается впечатление, что каждый экспонат становился объектом контроля для партийных органов, опасавшихся «неверных» репрезентаций прошлого. Однажды в окошке музея появилось фото демонстрации 1905 г. в Красноярске. На первом плане виднелась группа с лозунгом «Земля и воля». Незамедлительно директор музея получил указание из вышестоящих партийных органов удалить это фото, «искажающее историю»¹. Очевидно, что, по мнению властей, героями Первой русской революции должны были быть представлены исключительно большевики.

У истоков формирования музея стоял В. А. Анзимиров, руководивший работой этого учреждения вплоть до своей трагической гибели на Алтае в 1922 г. Именно его усилиями в 1920 г. в Новониколаевске открылся государственный «мироведческий» народный музей регионального (краевого) значения². В. А. Анзимиров стремился к идейному преодолению узких, по его мнению, рамок «родиноведения», которое, как ему казалось, уже не отвечало «международному, космополитическому лейтмотиву творческих дерзаний великой революции»³. Об открытии музея жителей города сразу проинформировала местная газета «Красное знамя»⁴. Печать сообщала, что размещается он на углу улиц Гондатти и Гудимовской в доме бывшего хлеботорговца А. И. Кагана. Позже музею выделили помещение в доме № 7 на Красном проспекте. Оно напоминало о важном событии недавнего военно-революционного прошлого, об этом красноречиво свидетельствовала появившаяся в скором времени мемориальная доска с надписью: «В этом здании 10 декабря (нового стиля) 1919 г. состоялось первое организованное собрание новониколаевской Красной гвардии». Горожанам, давно жившим в Новониколаевске, было известно, что до революции этот красивый двухэтажный дом из красного кирпича с маковкой в псевдорусском стиле принадлежал предпринимателю, владельцу магазинов, Ф. Д. Маштакову. Однако после революции, по классовым соображениям, его имя уже практически не упоминалось в музейной документации. Зато фиксировался другой факт, вероятно, затрагивавшийся и музейными экскурсоводами: «В период белого террора в этом здании помещалась контрразведка, в подвалах производились рас-

¹ Там же. – Л. 34 об.

² Там же. – Д. 1. – Л. 1.

³ Рыженко В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг. – С. 292.

⁴ Народный музей // Красное знамя. – 1920. – 4 авг.

стрелы коммунистов, красноармейцев и красных партизан»¹. Таким образом, само здание музея, в соответствии с политикой памяти тех лет, считалось памятным местом, связанным также с периодом «колчаковщины» и ее «зверствами».

Сведения о работе музея в 1920-е гг. отрывочны. Из единственной за пятилетие с 1920 до 1925 г. газетной публикации о музее известно, что изначально исторического отдела экспозиции здесь не существовало, имелись лишь «социологический», а также биологический, технический, промышленный и художественный отделы. Всего в музее насчитывалось 10 тыс. экспонатов, но сколько из них имело отношение к истории края, сказать трудно². «Мироведческий» музей, по оценке В. Г. Рыженко, представлял собой «некий универсальный центр больше общекультурного, чем сугубо музееведческого назначения»³. Экспозиция передавала информацию обобщенно, музей был нужен для популяризации главнейших научных дисциплин и точных знаний⁴.

Экспонаты, которые могли бы войти в исторический отдел экспозиции, изначально разместили в социологическом отделе. Это объясняется и профилем музея, и тем, что сразу после революции еще не было ясно, какой быть советской истории, и отсутствием опыта краеведческой работы в Новониколаевске. Но коллекции исторических материалов постепенно пополнялись. Отчет о работе музея за период с 1 октября 1925 по 1 октября 1926 г. свидетельствует о появлении в музее самостоятельного этнологического отдела с археологическим и этнографическим подотделами⁵. В этом отделе имелись некоторые исторические раритеты, которые были описаны в одном из газетных репортажей, направленных на привлечение посетителей, к примеру, сабля казаков Сотниковых – одних из основателей Мангазеи⁶.

С 1922 г. директором новосибирского музея был геолог М. А. Кравков, расстрелянный в 1937 г.⁷ Этнографическим подотделом экспозиции заведовала Е. Н. Орлова, работавшая в музее с 1922 г.⁸ Во второй половине 1920-х гг. она участвовала в деятельности секции «Человек» ОИС⁹, собирала этнографические материалы в Хакасии летом

¹ ГАНО. Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 65.

² Народный музей // Красное знамя. – 1920. – 4 авг.

³ Рыженко В. Г. Указ. соч. – С. 293.

⁴ Там же. – С. 294.

⁵ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 65.

⁶ Берг Б. Новониколаевский музей // Сов. Сибирь. – 1925. – 1 февр.

⁷ Мелихова Н. В. Указ. соч. – С. 71–72.

⁸ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 65 об.

⁹ Там же. – Д. 59. – Л. 1, 9.

1925 г.¹ и в Нарымском крае в 1927 г.² В ноябре 1927 г. «Советская Сибирь» представила репортаж о результатах одной из этих этнографических экспедиций. С гордостью сообщалось, что Е. Н. Орлова собрала коллекции остяцких, тунгусских и шорских «божков». Говорилось, что этнограф просила, чтобы ей подарили эти фигурки, а после отказа их владельцев просто украли будущие экспонаты. Газета хвалила этнографа за находчивость и называла ее поступок «единственно оправданным воровством»³. Этот случай демонстрирует крайности музейной этики 1920-х гг.: отсутствие уважения к культурным ценностям коренных народов Сибири, восприятие их верований как предрассудков, непонимание отношения человека традиционной культуры к сакральным предметам. Этнографа не заботили чувства обкраденных людей. По всей видимости, предполагалось, что эти «божки» будут использованы для антирелигиозной выставки в качестве доказательства «темноты» и «ограниченности» их бывших владельцев.

Помимо Е. Н. Орловой, в 1920-х гг. этнографические материалы собирали художница Н. Н. Нагорская, А. А. Шнейдер, С. И. Орлов, И. М. Суслов. При их участии были скомплектованы коллекции по старообрядцам Алтая, по истории русского быта, по ненцам, селькупам, тофаларам и хакасам⁴. По всей видимости, их коллектив довольно успешно справлялся с задачами музейного строительства, занимаясь активной собирательской деятельностью и генерируя идеи.

Из отчета за 1925/1926 г. также известно, что ко второй половине 1920-х гг. количество археологических экспонатов в музее было сравнительно небольшим и составляло 583 шт. («подъемные материалы» из становищ и могильников Новосибирской области); этнографических экспонатов насчитывалось только 662 шт. (материалы, представляющие культуру русских Сибири, тунгусов, остяков, самоедов, шорцев, хакасов); нумизматических – 744 шт.⁵

В начале 1920-х гг. новониколаевский музей, работавший сравнительно вяло, утратил свой краевой статус, который вполне заслуженно перешел к омскому музею. В 1925 г. новониколаевский музей стал «краеведческим»⁶, что означало сужение профиля его деятельности. В 1926 г. на региональном музейном совещании в Новосибирске, про-

¹ Там же. – Д. 14. – Л. 68.

² Там же.

³ Новое в музее // Сов. Сибирь. – 1927. – 16 нояб.

⁴ Сальникова И. В. Документальная летопись Новосибирского государственного краеведческого музея // Образовательная деятельность музея: 85-летию музея посвящается. – С. 52.

⁵ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 59. – Л. 66 об.

⁶ Там же. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 2.

ходившем под эгидой ОИС, вновь было принято постановление о «развертывании» новосибирского музея в музей краевого значения¹. После его переезда в новое здание планировалось перестроить экспозицию по новому принципу: «показать уклон в сторону производительных сил», как того и требовали свежие тенденции развития музейного дела в СССР².

Исторический отдел экспозиции в 1920-х гг. так и не был создан, а этнологический отдел, оформленный с «экономическим уклоном», должен был, прежде всего, демонстрировать потенциал хозяйственного развития коренных народов Сибири, т. е. обращать внимание посетителей не к прошлому, не к исконным традициям, а к будущему. Коллекция по революционной тематике только формировалась³. Фактически на данном этапе музей не поддерживал и не расширял коллективную память сибиряков о военно-революционных событиях, «верная» репрезентация которых была столь важной для государства.

Параллельно над формированием революционной коллекции работал Истпарт. Но вопрос об открытии им самостоятельного Музея революции вновь осложнялся борьбой за помещение. За инициативу Испарта со страниц местной печати выступил известный общественный деятель В. Д. Вегман. Актуальность открытия музея он сформулировал следующим образом: «Музей не роскошь! Все учащиеся изучают историю ВКП(б), историю революционного движения в Сибири и историю сибирской партийной организации. Музей нужен для делегатов съездов, для участников конференций, приезжающих со всего края»⁴. Вегман подчеркивал то, что Истпарт в течение шести лет пытался выхлопотать помещение под музей, а между тем лучше всего было бы разместить его в Доме Ленина. Сибкрайком постановил открыть музей к десятилетию «освобождения от колчаковщины», однако служба коммунального хозяйства и в конце октября 1929 г. тянула с выделением помещения⁵.

Судя по сохранившимся данным, краеведческий музей вплоть до конца 1920-х гг. не работал над поддержанием коллективной памяти жителей города о героях и событиях локальной истории. Только в 1928 г. секция ОИС «Человек» подняла вопрос о необходимости начала изучения истории Новосибирска. Соответствующая программа, разра-

¹ Там же. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 55. – Л. 1–2.

² Там же. – Д. 14. – Л. 67.

³ Там же. – Л. 66 об.

⁴ Вегман В. Дайте помещение для краеведческого музея революции // Сов. Сибирь. – 1929. – 25 окт.

⁵ Там же.

ботанная Е. Н. Орловой, была близка устремлениям краеведов дореволюционной поры и начала 1920-х гг., творческим поискам И. М. Гревса и Н. П. Анциферова¹. Это заметно в стремлении запечатлеть и сохранить «ускользающую старину», в желании уловить «дух места». Краеведы видели специфику истории Новосибирска в ее «молниеносности»: «Новосибирск – это город со своим маленьким центром каменных громад и авто, и с огромными окраинами халуп и землянок... промелькнул быт станционного поселка, уездного городишки, города губернского... Безнадежные обозы отступающих белых сменились в городе лихорадочной стройкой Сибстолицы». В этой характеристике чувствуется уже ставшее к середине 1920-х гг., благодаря пропаганде, шаблонным, отношение к историческому прошлому любого сибирского города как «беспросветному» и к его настоящему как полному перспектив развития. Едва ли эту позицию разделяли томские краеведы. А Новосибирск «шел в ногу со временем». Однако Е. Н. Орлова все-таки предлагала обратить внимание на такие оригинальные, собственно новосибирские сюжеты, как «жизнь улиц, площадей, базаров», «знаменитые Закаменка, Нахаловка, Ельцовка, Татарская слобода, старое кладбище, кирпичные сараи». Этнограф задавал вопросы: «Кто там живет и чем живет? Что дает ему город? Что берет город у него?». Для ответов на эти вопросы предлагалось собирать мемуары, дневники, открытки, частные письма, фото и рисунки. Эта работа началась. Музейщики посредством печати приглашали старожилов города к сотрудничеству².

На это приглашение отозвался, в частности, один из первых жителей Новосибирска М. В. Можаров, сохранившиеся воспоминания которого отражают нешаблонный взгляд на историю города. В его восприятии до революции Новониколаевск был, прежде всего, торговым центром, вовсе не захолустным, а быстро развивавшимся. По мнению Можарова, начинать отсчет истории Новосибирска нужно было с открытия первого базара 20 марта 1894 г., поскольку именно коммерции Новониколаевск был обязан своим молниеносным развитием. Автор воспоминаний указывал также на местонахождение первого в городе дома и предлагал отметить его мемориальной табличкой³. В этих воспоминаниях отразилась живая память первопоселенца, который хотел с помощью музея зафиксировать ее и увековечить для будущих поколений. К сожалению, в связи с ликви-

¹ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1 – Д. 116. – Л. 12.

² Там же. – Л. 10–12.

³ Там же. – Л. 3, 4, 6.

дацией ОИС и с изменением музейной политики этот интересный и оригинальный проект имел слишком короткую историю.

К концу десятилетия музей стал центром, координировавшим исследовательскую работу других музеев региона. В 1928 г. на его площадке состоялось заседание появившейся исторической подсекции ОИС, на котором был разработан план исследований по истории региона. Участники заседания распределили темы для изучения между новосибирскими музейщиками и рекомендовали ряд тематических направлений работникам других сибирских музеев. Темы, связанные с историей, объединялись в следующие блоки: «Программно-методические вопросы и источниковедение», «История экономического развития края и отдельных видов его хозяйства», «История колонизации и переселения, история городов», «История туземного населения Сибири», «История культурного развития Сибири» и «История революционного и профессионального движения и лет Гражданской войны»¹.

На этом фактически завершился относительно благополучный, хотя и не столь продуктивный, как в Томске и Омске, этап истории новосибирского музея. На рубеже десятилетий его, как и другие аналогичные учреждения нашего региона, ждали серьезные испытания. В декабре 1929 г. новосибирский музей возглавил П. И. Кутафьев, оставивший след разрушителя в истории музеев Западной Сибири. Он сразу решил изменить кадровый состав учреждения (увольнению подлежали бывший белый офицер Троицкий, бывшая дворянка Нагорская)² и перестроить едва начавшую оформляться историческую часть экспозиции. Одновременно новый директор являлся инспектором научных учреждений Краевого Совета народного просвещения. Данный этап в работе музея связан с трагическим финалом деятельности ОИС. Кутафьев вступил в яростную полемику с членами этого общества, обвинив их в академической замкнутости и изоляции от пролетарских масс, в «буржуазных» и «миссионерско-колониаторских» взглядах на краеведение³. Инспекция П. И. Кутафьева, устроенная в новосибирском музее, сыграла не последнюю роль в реорганизации административного устройства всей музейной системы региона. ОИС было ликвидировано, а музеи подчинены Бюро краеведения, созданному в мае 1931 г. Но после этой реорганизации наступил очевидный кризис в музейном деле.

¹ Там же. – Д. 155. – Л. 12.

² Там же. – Ф. П-3. – Оп. 4. – Д. 382. – Л. 1.

³ Там же. – Д. 381. – Л. 6–10.

После увольнения специалистов, имевших достойный опыт работы, в музее началась кадровая «текучка», отношения между сотрудниками стали напряженными. В учреждении постоянно менялись директора, парторги, заведующие различными отделами экспозиции; без конца звучали обвинения в «троцкизме» и «завале работы». Если омские музейщики в первой половине 1930-х гг. «замерли» под предлогом необходимости сбора материала для новой экспозиции, то новосибирцы действовали еще более радикально, чем томичи, открывавшие и вновь ломавшие экспозицию.

П. И. Кутафьев был первым директором, состоявшим в Коммунистической партии. Видимо, успехи в борьбе с ОИС придали ему особую уверенность в деле реорганизации экспозиции. Позднее чиновники культпропотдела не без оснований обвинят его в «варварстве» и крайней «левизне» взглядов. Фактически же Кутафьев просто уничтожил экспозицию, не построив новой. Практически все историко-этнографические экспонаты он назвал «старым буржуазным хламом» и отправил в сырой подвал, как выражались его преемники, «на съедение мышами и крысам»¹. Пощадил директор лишь шаманский бубен как олицетворение дикости и иррациональности сибирской жизни до революции и «богатые кулацкие одежды», которые напоминали о непрекращающейся и в современности борьбе с «врагами народа» за социалистические идеалы. Постоянно действовавший исторический отдел экспозиции директор заменил чередой временных выставок диаграмм и фотографических источников. Тем временем Кутафьев вынашивал радикальную идею «развернуть всю историю природы и общества вокруг трактора». В итоге после инспекции РКИ и строгого выговора в 1932 г. Кутафьев был уволен. Своими экспериментами он добился лишь «вульгаризации марксистско-ленинской теории» и растворения исторических и этнографических знаний в отделах «промышленность» и «сельское хозяйство»². При нем экспозиция действительно утратила историческую составляющую, были обрублены связующие нити между исторической памятью местных жителей и музеем.

Постоянная, но пока не завершенная экспозиция была вновь открыта в новосибирском музее только в середине 1933 г. Структурно она вытраивалась в соответствии со следующим планом: вводный отдел, отдел докапиталистических формаций, отдел капиталистического общества и большой отдел социалистического строительства с раздела-

¹ Там же. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 28.

² Там же.

ми: историко-революционным, каменноугольной промышленности, металлургическим, легкой и кустарной промышленности, сельского хозяйства, лесной промышленности, охоты и рыболовства¹. Из плана видно, что все «докапиталистическое» прошлое Западной Сибири предполагалось отразить обобщенно, а историко-революционную тематику подать в духе «комплексного показа». Важно подчеркнуть, что исторический отдел в 1933 г. только планировалось открыть. Из вводного отдела, раскрывавшего основные этапы геологического развития земли и эволюции фауны, посетители сразу попадали в зал, где были представлены экспонаты, рассказывающие о развитии угольной промышленности.

Открытие исторической части экспозиции затягивалось: как и в других городах, ответственные за нее работники, не имевшие специального образования, никак не могли избрать концептуальную модель построения экспозиции. В конце 1933 г. был все-таки открыт историко-революционный отдел. Он состоял из 495 экспонатов, кратко отражавших историю революционного движения в Западной Сибири, сибирской каторги и ссылки, освещавших пребывание в Сибири В. И. Ленина и И. В. Сталина. В экспозиции выделялись также темы истории партии большевиков в Сибири, событий Февральской и Октябрьской революций, истории Красной армии, политики Временного правительства в Сибири, «колчаковщины», большевистского подполья, партизанского движения, борьбы с бандитизмом. Раскрывалась также стандартная для тех лет тема «Десять лет без Ленина», составленная из портретов и бюста вождя. Заметно, что в экспозиции были отражены только сюжеты политической истории. История экономического развития региона, история быта и культуры Сибири игнорировались.

Сохранилась фотография части экспозиции, посвященной теме «Октябрь 1917 г.». Видно, что она содержала преимущественно визуальные материалы (фотографии) и несколько текстов документов. В центре разместили большие равновеликие портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина. Очевидно, что уже в 1933 г. гиперболизация роли Сталина в революции стала неизбежной. Композиция была организована концентрическими кругами. Портреты вождей окружали по бокам изображения Я. М. Свердлова, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского и К. Е. Ворошилова. Над портретами поместили лозунг: «Наша Октябрьская революция открыла новую эпоху всемирной истории!». Под портретом Ленина повесили небольшие выписки из отзывов вождя о «врагах народа»

¹ Там же. – Д. 1. – Л. 4–5.

Л. Д. Троцком, Г. Е. Зиновьеве и Л. Б. Каменеве. Совсем не упомянуть этих людей в 1933 г. было нельзя, поскольку историческая экспозиция должна была пропагандировать точку зрения власти, но фотографии низвергнутых наркомов были уже не нужны в экспозиции, поскольку запоминать в лицо следовало не «врагов народа» и «предателей», а вождей и героев. Отсутствие (удаление, уничтожение) фотографии – это распространенный прием стирания памяти об историческом лице.

Под портретом Сталина поместили выписку из революционной речи Ленина. Соседство текста речи с портретом Сталина должно было подводить зрителя к выводу об их полном единомыслии. Третий (внешний) круг экспонатов состоял из знамени Союза грузчиков г. Томска; нескольких мелких портретов «второстепенных» деятелей Октябрьской революции; небольшой статьи о ЦИК Советов Сибири; текстов Декрета о мире, Декрета о земле, Декларации прав народов России, краткой статьи по истории РСДРП¹.

Историк Я. Плампер заметил, что в период культа личности Сталина его изображения на уровне символических репрезентаций стали размещать в центре композиций. Другие люди и объекты выстраивались вокруг фигуры вождя концентрическими кругами, более или менее приближенными к фигуре Сталина, в зависимости от их значимости. Так выражалась идея первостепенной важности вождя во всех сферах советской жизни². Эта репрезентативная схема была воплощена и в провинциальном новосибирском музее, над идеологической «чистотой» экспозиций которого велась усиленная работа. К имеющимся экспонатам планировалось добавить материалы, которые будут свидетельствовать о влиянии на общественное мнение сибиряков работ В. И. Ленина, И. В. Сталина, Я. М. Свердлова и В. В. Куйбышева; материалы о связях рабочего движения Западной Сибири с Петроградом и Москвой; экспонаты, рассказывающие о событиях 1905 г., о годах «реакции», об империалистической войне и т. п. Очевидно, что достраивать экспозицию предполагалось в уже заданной логике.

Показательно, что в музеях краевого значения почти не демонстрировались именно сибирские материалы. Частично виноватым в этом был П. И. Кутафьев, ведь после его экспериментов фонды музея опустели. Среди вещественных источников времен Гражданской войны в музее были выставлены немногие уцелевшие предметы: оружие парти-

¹ Там же. Л. 15.

² Плампер Я. Пространственная поэтика культа личности: «круги вокруг Сталина» // Очевидная история: проблемы визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, 2008. – С. 348.

зан (пушка, винтовки и сабли), знамя полка крестьянской армии. Имелись и картины современных художников, где изображались красные партизаны и сцены боя¹.

Нахлынувшая в 1934 г. комиссия культпропа Крайкома партии выявила много идеологических «ошибок» в работе сотрудников музея. Так, было сделано замечание, согласно которому некоторые темы до сих пор излагались в духе «буржуазной» науки². Это означало то, что в музее сменится руководство и опять начнется реорганизация экспозиции. И действительно, директор Г. П. Шапошков уволился и скрылся, опасаясь санкций. Его место на короткий период занял человек по фамилии Майский, которому предстояло перестроить экспозицию. При этом экспозиционная работа постоянно контролировалась парторгами, исполнявшими установку власти «чистить музей от классово враждебных элементов». Но положение самих парторгов являлось очень шатким. Они сыпали бесконечными замечаниями, между тем, в этот период парторги сменялись столь же часто, как и руководители музея, оказываясь в одночасье «троцкистами» и «вредителями». «Советская Сибирь» неоднократно публиковала критические статьи о работе музея, называя его «окаменелым» и «кунсткамерой». Сотрудники учреждения вынуждены были фиксировать согласие с критикой официального издания в протоколах своих партийных собраний. Одновременно они признавали собственную беспомощность: вплоть до 1937 г. им не удалось разработать корректный план экспозиции. Сотрудник музея Берковский выразил суть проблемы следующим образом: «Мы перевешиваем экспонаты со стены на стену, но не можем изменить экспозицию по сути»³. Этот концептуальный кризис был общим для всех музеев Западной Сибири середины 1930-х гг.

После убийства С. М. Кирова в Новосибирске, как и в Томске, внимание музейщиков сконцентрировалось на этой фигуре памяти. Именно выставками и разделами экспозиции о Кирове они отчитывались в первую очередь, желая продемонстрировать активную деятельность, которая в реальности была скорее ее имитацией. К примеру, в 1935 г. партийная отчетная документация музея акцентирует внимание на дополнении экспозиции новыми фотографиями С. М. Кирова⁴.

¹ ГАНО. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 16.

² Там же. – Л. 23.

³ Там же. – Ф. П.-357. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 16.

⁴ Там же. – Л. 22.

В 1934 г. новосибирцы получили официальное «Положение об областных, краевых и базовых музеях», согласно которому «музей являлся научно-исследовательским и политико-просветительским учреждением, обслуживающим и отражающим в своей экспозиции область и район». В его задачи входило: 1) всестороннее плановое изучение в соответствии с требованиями сил человеческого общества, области и края; 2) пропаганда идей марксизма и мобилизация масс к активному участию в социалистическом строительстве; 3) содействие политехнизации школы и пропаганде техники; 4) выявление, учет и охрана памятников природы, революции, истории и искусства¹. Показательно, что не ставилась задача изучения истории края, а выявление и сохранение исторических памятников значилось в конце списка задач. Между тем, построение исторической части экспозиции оставалось и в последующие годы труднорешаемой проблемой.

После увольнения по политическим причинам Майского директором стала Горцева, взявшаяся на перестройку историко-революционного отдела. По словам коллег, сама она не верила в успех начатого дела, однако затеяла капитальный ремонт, который и стал причиной ее обвинения во вредительстве. Знакомство с В. Д. Вегманом, которым Горцева гордилась, обернулось для нее трагически. После ареста В. Д. Вегмана в июне 1936 г. парторг музея Гришин потребовал удалить портрет репрессированного из экспозиции, переработанной лично Горцевой, но она заколебалась и в итоге отказалась это сделать, что и привело к окончанию ее карьеры. Следующий директор музея Д. Ласкин уже через два с половиной месяца был исключен из партии и уволен как «троцкист», не успев ничего перестроить. Однако Ласкин создал новый экспозиционный план, который представляет собой еще один вариант разработки «комплексного показа» края.

План Ласкина базировался на идее неразрывной демонстрации отделов природы и истории. Природа при этом понималась как естественная среда, в которой совершается жизнь и борьба человека. Поэтому, как считал Ласкин, в музее нужно показывать лишь степень освоения и изменения природы человеком в ходе его исторического развития. Структура экспозиции включала: вводный раздел (географическое положение края, климат, рельеф, население, экономика, культура); разделы «Наш край в отдаленном прошлом»; «Народы Сибири накануне завоевания»; «Колонизация Сибири»; «Сибирь под игом самодержавия»; «Октябрь в Сибири и эпоха социалистического строитель-

¹ Там же. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 17.

ства». План репрессированного Ласкина остался на бумаге. Его преемники избрали иные методологически ориентиры в экспозиционной работе.

С лета 1937 г., когда Горцева начала ремонт, до 1939 г. музей был закрыт для посетителей. И только перед войной началась его заметная деятельность. Музей совместно с Горсоветом взялся за выявление и учет памятников города Новосибирска. Общими усилиями Горсовета и музея была произведена реконструкция изрядно обветшавшего памятника Героям революции, который горожане именовали «Красным факелом». Однако к этому моменту сведения о происхождении памятника существенно исказились, что нашло отражение в годовом отчете о работе музея¹.

Составители отчета перепутали многие важные детали, касающиеся памятника. Отсутствие должного внимания к городским памятным местам со стороны даже таких организаций, в обязанности которых входило политическое просвещение, приводило, как выясняется, сначала к упрощению и естественному искажению памяти о революции, а потом и к созданию новой, совершенно оторванной от исторической почвы, версии революционных событий. Показательно, что на 1940 г. запланировали установление памятника на месте расстрела «чехословацкой бандой» руководителей советской власти, фамилии которых были также перепутаны. Так, А. И. Шмурыгин был назван в отчете «Шмурыкиным», председатель ЧК Ф. И. Горбань «Горбачем», а имен этих людей авторы отчета и вовсе не вспомнили. В 1939 г. установили также ряд мемориальных досок на фасадах зданий, имевших отношение к революции, а также бюст П. Е. Щетинкина. В следующем году планировалось продолжить работу по установлению мемориальных досок на памятных местах революции².

Рост числа посетителей в предвоенные годы обусловил необходимость открытия новых выставок, которые соответствовали запросам публики. Так, появилась временная выставка по истории Новосибирска, включавшая три раздела, соответствовавшие советской схеме периодизации отечественной истории: «Новосибирск дореволюционный», «От Февраля к Октябрю и после Октября», «Новосибирск социалистический». Организация этой выставки была осложнена отсутствием современной исторической литературы о Новосибирске. Работникам музея пришлось пользоваться старыми газетами и устными воспоминаниями, что, безусловно, осложняло достижение требовавшейся схема-

¹ Там же. – Д. 4. – Л. 1–2.

² Там же. – Л. 2.

тизации и идеологической выстроенности выставки¹. Однако при всей очевидной зависимости музейной экспозиции от «большого» советского исторического нарратива, стоит отметить, что музей постепенно начал преодолевать проблему отсутствия материалов, связанных с прошлым Западно-Сибирского региона. Кроме того, в 1939 г. добавились части экспозиции, раскрывающие общие этапы национальной истории: «Московская удельная Русь» и «Московское государство в период монгольского ига».

На 1940 г. запланировали открыть еще несколько разделов экспозиции, повествующих о национальном прошлом: разделы, посвященные периодам 1917–1918 гг., 1918–1920 гг. (Гражданская война и интервенция), 1935–1939 гг. В разделе о Гражданской войне предполагалось уделить немного внимания и сибирским вопросам: ликвидации «колчаковщины» в Сибири, сибирскому подполью и партизанскому движению. Было четко решено, каким содержанием наполнится последний раздел экспозиции. Согласно замыслу, он должен был включать разделы о стахановском движении, «сталинской» конституции, событиях на озере Хасан, подраздел «Если завтра война». Очевидно, что из экспозиции совершенно выпал пятнадцатилетний период с 1920 по 1935 г.² Официальная версия репрезентации революций и Гражданской войны уже сложилась. Все-таки в последние несколько лет музеи страны активно работали над сбором материалов о революции. Специалисты разрабатывали даже анкеты и методические рекомендации по записи воспоминаний о революции и Гражданской войне очевидцами этих событий. При этом четко оговаривалось, что стоит описать, а чему не следует уделять внимания³.

К 1940 г. было понятно и то, как представить последние события, но неоднозначный период с 1920 по 1935 г. вызывал сложности в его показе. Видимо, поучителен был пример Горцевой, пострадавшей за «вредительскую» репрезентацию этого периода в экспозиции. Требовалось время на то, чтобы события этих лет хорошенько «затерлись» в памяти и настал подходящий момент для конструирования идеологически «правильного» образа прошлого.

В январе сотрудники музея затеяли новую реконструкцию музейной экспозиции. Было принято введение так называемой «единой исторической экспозиции», концепция которой в то время активно обсуждалась в специализированной советской литературе. В мае 1941 г. началась реализация задуманного, но Великая Отечественная война круто

¹ Там же. – Л. 5.

² Там же. – Л. 18.

³ Создадим историю Гражданской войны: (материалы и документы). – Новгород, 1931. – С. 10–11.

изменила ситуацию. Для нужд государства пришлось освободить второй этаж музея и разрушить экспозицию. Вообще же в канун войны работа в музее оживилась. Краеведческий музей усиленно занялся именно краеведением, возросла посещаемость и активизировалась культурно-массовая работа учреждения.

Основной научной задачей стало наконец-то изучение истории Новосибирской области. С этой целью готовилась экспедиция в область, к участию в которой привлекались студенты, школьники и учителя. Планировалось собрать сведения по истории городов, заводов, шахт, фабрик, старинных сел, материалы, связанные с революционным и партизанским движением, с пребыванием В. В. Куйбышева в Каинске (с 1935 г. – г. Куйбышев Новосибирской области) и т. д. Предполагалось также учесть и описать братские могилы, местечки и дома, связанные с революцией. Наконец, вспомнили и о ценности учета памятников архитектуры, городищ, курганов, древних наскальных надписей. Но война помешала экспедиции. Кроме того, музей закупал экспонаты, среди которых были фотоснимки и картины сибирских художников на исторические, преимущественно революционные темы. Однако среди ценных приобретений этого года были и некоторые экспонаты, не связанные с революцией: мебель работы декабриста С. Г. Волконского и знаменитая «Чертежная книга Сибири» боярского сына С. У. Ремезова.

В январе 1941 г. бюро обкома ВКП(б) обязало музей полнее отразить в экспозиции этапы жизни и деятельности вождей революции в сибирской ссылке. В этом направлении, соответственно, тоже велась работа. Возросло число экскурсий: в 1941 г. их было 600. На экскурсии организовано приходили школьники и военные. Всего музей за год посетили 32 тыс. человек. Стали практиковаться и кинолекции на исторические темы, которых в год начала войны прочитали шесть. Лекторы выезжали также на фабрики, заводы, в колхозы, устраивали временные выставки в кинотеатре им. В. Маяковского и на швейной фабрике¹. Неизвестно, каким стал бы новосибирский музей, если бы планы его сотрудников не были нарушены войной, однако очевидно, что только через 20 лет после открытия работа музея по созданию исторической экспозиции и ее репрезентации становилась интересной и разносторонней.

Судить о восприятии музея его посетителями мы можем, начиная лишь с 1930-х гг. Отчетная документация директора Шапошкова зафиксировала, что посетители музея обвиняли Кутафьева в недооценке культурного наследия, говорили, что в музее должны

¹ ГАНО. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 4, 5, 7, 8.

быть обязательно представлены вещественные источники, которые почему-то исчезли из экспозиции¹. Новая экспозиция 1933 г. также не вызывала одобрения. Посетители испытывали недоумение и разочарование, о чем и писали в книге отзывов. К примеру, прибывшие в музей крестьяне хотели увидеть портреты героев революции и узнать о происхождении сибирских народов, но вся эта информация не была представлена в музее. Невыразительными были и сами экспонаты: 75 % информации представлялось в «плоскостном», т. е. стендовом виде, многие экспонаты казались устаревшими².

Часть экспозиции, посвященная Гражданской войне, привлекала многих, но собственно военных экспонатов было мало, выставлялись они в тесном помещении, что снижало общее впечатление посетителей музея от экспозиции. Не нравились посетителям и экскурсии, которые не всегда могли ответить на вопросы, путали детали, сбивчиво рассказывали о происхождении экспонатов. Хотя за второе полугодие 1933 г. музейные залы работали 126 дней, экскурсии, судя по статистическим данным, проводились не часто. За весь 1933 г. экскурсий и массовок сотрудники музея провели только 93. Их посетил 2581 человек, в то время как одиночных посетителей в музее за год зафиксировали 8900³. Эти данные довольно скромны по сравнению с музеями других городов, особенно с омскими показателями. Н. М. Ядринцев свидетельствовал, что еще в начале 1890-х гг. музей в маленьком сибирском городке Минусинске за год посещало около 8 тыс. человек⁴. Новосибирск же в 1930-е гг. был крупным административным центром, численность населения которого значительно превышала людность Минусинска, а посещаемость здешнего музея была чуть выше, чем посещаемость музея в крохотном дореволюционном городке.

Ясно, что новосибирский музей не вызывал массового интереса у населения. Очевидна и слабость его инициатив, направленных на привлечение посетителей. Но в этот период не существовало низовой сети краеведческих ячеек, а музей не координировал и не интегрировал работу краеведов любительского уровня. Кроме того, музей потерял сотрудников, которые могли предлагать оригинальные идеи, ему однозначно не хватало места и денег на пополнение фондов.

¹ Там же. – Д. 16. – Л. 28.

² Там же. – Л. 6, 9.

³ Там же. – Л. 29.

⁴ Ядринцев Н. М. Указ. соч. – С. 463.

Однако в предвоенные годы на фоне общего подъема в деятельности музея росла и посещаемость. В 1938 г. его посетило более 21 тыс. человек, а в 1939 г. – уже более 54 тыс. Музейные работники фиксировали контингент посетителей, среди которых были ученые, колхозники, рабочие, учителя и школьники¹. Этими показателями музей мог гордиться. По «посещаемости» он обогнал томский музей и мог сравнивать себя с региональным лидером в музейном деле – с музеем в Омске.

На примере Томска мы увидели столкновение уже сложившейся краеведческой традиции, отражавшей специфику локального компонента коллективной памяти томской интеллигенции, и жесткой советской политики памяти, не считавшейся с альтернативными историческими нарративами. Ситуация с новосибирским музеем была иной. Этот музей практически сразу стал площадкой для идеологических экспериментов. Кажалось бы в Новосибирске нечего было ломать, поскольку краеведческая традиция находилась в зачаточном состоянии. Однако репрезентации исторического прошлого разрушались здесь постоянно, едва успев оформиться в черновом варианте. Стремление администрации сделать музей передовым приводило к попытке угнаться за новыми веяниями политики памяти. Пример деятельности Куфьева показал всю утопичность такого пути. Создать какие-то внятные репрезентации местной истории музейщикам мешал и строжайший надзор со стороны партии. Парторги буквально не давали работать. В частности поэтому Новосибирск, развивавшийся ускоренными темпами, оставался в межвоенный период городом без прошлого. Музей, имеющий в теории, как институт памяти, преимущества перед другими агентами культуры, оказался в ситуации ограниченных возможностей. Он плохо справлялся с задачей аккумулировать память новосибирцев об их общем прошлом, хотя у новосибирцев существовал запрос на музейные репрезентации прошлого местного края.

¹ ГАНО. – Ф. Р-1813. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 29.

5.4. Барнаульский краеведческий музей: незаметное существование

История Барнаульского краеведческого музея длительна и интересна. Известно, что в 1823 г. в целях просвещения по инициативе начальника Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова был создан первый в Барнауле «музеум» (Горный музей), основу коллекций которого составили уникальные модели рудников Алтая, горных машин и механизмов, собрание рукописей и книг, редкие этнографические вещи. После отъезда П. К. Фролова из Барнаула пополнением музейных коллекций занимался врач Ф. В. Геблер, со смертью которого хранительская деятельность и коллекционирование пришли в упадок¹. Однако на раннем этапе существования музея его можно было назвать одним из любопытнейших в России хранилищ этнографических и исторических редкостей. Богатство этнографических коллекций («коллекции древностей Сибири») барнаульского музея было отмечено еще в 1879 г. серебряной медалью Московской антропологической выставки². Музей не был «публичным», доступ к его посещению имели лишь ученые, специалисты и почетные гости администрации, которым нередко дарили ценные экспонаты³. Как таковой экспозиции здесь не существовало.

В 1891 г. было создано Общество любителей исследований Алтая, основавшее свой собственный музей, где также накапливались этнографические и археологические предметы. С 1902 г. общество подчинялось Западно-Сибирскому отделу Русского Географического общества (РГО). В 1911 г. обществу удалось добиться получения уцелевших коллекций Горного музея, который уже лишился значительной части своих экспонатов, передававшихся не только частным лицам, но и в другие музейные хранилища⁴. До революции музей располагал многими этнографическими и археологическими ценностями, которые могли бы в будущем составить основу богатой исторической экспозиции,

¹ Рафиенко Л. С. Указ. соч. – С. 9–10.

² ГААК. – Ф. Д-66. – Оп. 8. – Д. 33. – Л. 64–65.

³ Абрамова Ю. А. Музей Общества любителей исследований Алтая: (из истории АГКМ 1891–1920 гг.). – С. 30.

⁴ Там же. – С. 26.

но в большинстве своем были либо утрачены, либо испорчены из-за неправильного и бессистемного хранения¹.

В «горном» городе Барнауле, являвшемся также крупным центром предпринимательства, до революции были заложены краеведческие традиции, сопряженные с просветительской деятельностью народников (В. К. Штильке) и областников (Н. М. Ядринцев). После Гражданской войны благотворной темой для изучения могло стать партизанское движение на Алтае, поскольку были живы его лидеры. Однако еще до начала арестов бывших партизан эта тематика не получила в музее выраженного развития. Вероятно, сказался отток интеллигенции, способной взяться за музейное дело в Барнауле с таким же энтузиазмом, как в Томске и Омске. Не существовало и формальных причин активно развивать музейное дело в этом городе. Барнаул не был региональной столицей с таким статусом, как у Новосибирска.

После Октябрьской революции музей был национализирован. Несмотря на тяжелые экономические и социально-политические условия, совет Алтайского подотдела Русского Географического общества работал над формированием коллекций. Так, в июне 1919 г. было принято решение о необходимости комплектования отдела, посвященного памяти Н. М. Ядринцева (предполагался сбор его рукописей, печатных работ, фотоснимков, газетных и журнальных заметок о нем)². С 1918 г. комплектовалась коллекция памятников войны и революции.

Очевидно, что в период Гражданской войны и хозяйственной разрухи этот музей, как и подобные ему учреждения по всей стране, понес потери в связи с отсутствием топлива, хаосом в документации, теснотой и хозяйственной запущенностью помещения, порчей и кражами экспонатов. Музею также не хватало квалифицированных кадров. Например, с мая 1921 г. учреждением заведовал биолог Л. Л. Коровай, работавший здесь по совместительству. Важно, что на этом этапе в штате музея не числилось историков и этнографов³.

Дальнейшее развитие барнаульского музея происходило в контексте уже охарактеризованных нами условий. Выделяя специфику этих условий, целесообразно отметить относительно слабое участие местной интеллигенции в музейно-просветительской деятельности, при том, что Барнаул и в целом Алтай край имели длительную историю, бо-

¹ Фролов Я. В. Указ. соч. – С. 63.

² Барнаул: летопись города. – Ч. 1. – С. 181.

³ ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 348. – Л. 64.

гатую разнообразными сюжетами. При наличии инициативы здесь также могла активно развиваться этнография и краеведение, по крайней мере, до революции был создан задел.

Политика памяти, направленная на прошлое Алтая, может быть реконструирована в опоре на местную периодическую печать. Четкие контуры обрела эта политика в годы индустриализации, когда актуализировался образ Барнаула – «горного города». В связи с 200-летием Барнаула в 1930 г. была опубликована статья исторического содержания, где говорилось о том, что история города начинается с создания Демидовского медеплавильного завода. Автор статьи Е. Ильин подчеркивал, что Барнаул изначально был промышленным городом. В этой связи давалась пространная характеристика невыносимых условий труда горных рабочих и приводилась история гениального изобретателя из народа И. И. Ползунова. Подчеркивалось, что его изобретение – первая паровая машина, как и сам он, не были по достоинству оценены современниками и заводской администрацией и подверглись незаслуженному забвению. Эта публикация подводила читателя к выводу о благополучной современности, когда рабочему гарантированы устойчивые заработки, нормальные условия труда, поощрение инициатив и признание таланта¹, а также служила мобилизационным целям.

Обращают на себя внимание и некоторые историко-краеведческие публикации в газете «Красный Алтай» за 1936 г. Серию статей для этого издания подготовили Л. Спицын, Л. Шмолин и др. В версии Л. Спицина промышленники Строгановы снабдили войско Ермака на завоевание Сибири. Одним из результатов хищнической колониальной политики царских времен стало основание демидовских заводов, существовавших за счет каторжного труда рабочих, живших в условиях «военного режима». В статьях подчеркивалось, что Демидовы «безудержно эксплуатировали» тружеников и хищнически разграбляли недра земли при разработке, что Демидовский корпус был «построен на костях крепостных крестьян и беглых»². Показательна и статья о частных промышленных предприятиях Барнаула второй половины XIX – начала XX в., где повторялась мысль о тяжелой доле рабочего до революции³.

¹ Ильин Е. Дела давно минувших дней: (по поводу 200-летия Барнаула) // Красный Алтай. – 1930. – 11 сент.

² Спицын Л.: 1) Очерки истории Барнаула // Красный Алтай. – 1936. – 22 мая; 2) Завод каторжного труда // Красный Алтай. – 1936. – 23 мая; Шмолин Л.: 1) Об Алтайском заводе // Красный Алтай. – 1936. – 20 апр.; 2) История Барнаульского завода: демидовщина // Красный Алтай. – 1936. – 3 июня.

³ Очерки частнокапиталистической промышленности Барнаула // Красный Алтай. – 1930. – 8 июня.

Однако важно пояснить, что барнаульский музей, вопреки ожиданиям, не проявлял инициативы в деле борьбы за индустриализацию, которую развернула местная печать, активно используя исторические примеры. Поэтому в 1939 г. «Алтайская правда» с возмущением констатировала, что на музейном «складе» валяется автограф изобретателя И. И. Ползунова, его документы плохо хранят и никому не показывают¹. Фигура памяти И. И. Ползунова к этому периоду была уже популяризирована на Алтае. Он фактически признавался народным героем – гениальным изобретателем-самоучкой. Местные газеты неоднократно акцентировали внимание на «первом изобретателе парового двигателя» И. И. Ползунове, жившем в Барнауле XVIII в., как на героя не только местной, но и мировой истории науки и техники². За этим возрождением памяти о Ползунове, безусловно, угадываются идеологические контексты сталинской индустриализации, к которым музей оставался практически безразличным.

Рассмотрим деятельность барнаульского музея в контексте соотношения преемственности традиций и новационных сдвигов. В 1920 г. началась работа над восстановлением хранилищ и экспозиции. Государство дало мощный стимул к подъему музейного дела. Учреждение получило статус «Центрального Алтайского советского музея», а вместе с этим и право реквизиции у населения исторических раритетов и культурных ценностей. Одновременно появилась и предписанная законом обязанность охранять памятники старины, в том числе и археологические памятники, многие из которых находились под угрозой уничтожения. На первых порах пополнению коллекций помогали органы власти и различные организации. Коллегия музея 19 февраля 1920 г. публично обратилась к населению города с призывом передавать в музей ценности за плату по договоренности: старинную редкую одежду, иконы, кресты, рукописи, книги, предметы домашнего обихода, оружие, документы (приказы, официальную переписку, записки и дневники повстанцев, колчаковскую осведомительную литературу, газеты 1905–1920-х гг.) и пр. Музейщики поясняли: «Часто между кажущимся хламом бывают в высшей степени ценные вещи»³. Вообще, в начале 1920-х гг. местная печать активно помогала музею, пытаясь разъяснить читателям разницу между «старыми» и «новыми» принципами построения музейной экспозиции. К примеру, говорилось, что раньше музей был «мертвым хранилищем музейных ценностей», а «новый» музей должен стать «аудио-

¹ Днепров Н. Об архивах и музеях // Алтайская правда. – 1939. – 17 июля.

² Первый изобретатель паровой машины И. И. Ползунов // Красный Алтай. – 1936. – 18 июня.

³ От коллегии Алтайского губернского центрального совета музея // Алтайский коммунист. – 1920. – 19 февр.

рией, университетом, доступным даже для неграмотных». Существовал замысел создания «социального» отдела, который в будущем может разрастись до самостоятельного музея. Этот отдел был призван отразить «все этапы, которые прошел народ на пути к светлой цели равенства и братства». Создатели музея мечтали: «Со временем это будет вечный памятник безмерной энергии и мощи трудового класса, его тернистому пути и трудовой победе»¹.

В 1920–1921 гг. экспозиция предсказуемо строилась преимущественно на старых методологических принципах, которые позже осуждались как «кунсткамерные». Две витрины и два шкафа социально-исторического отдела были представлены 159 экспонатами, преимущественно документами, связанными с вопросами классовой борьбы, «положения труда» в дореволюционной России и при белых. Все эти материалы были собраны в короткие сроки с помощью частных лиц и учреждений. Одна витрина представляла археологический отдел из 150 экспонатов, приобретенных Алтайским подотделом РГО в 1919 г. Экспонировались и нумизматические материалы: монеты разного достоинства и разных лет, а вместе с ними и бумажные деньги. В ноябре 1920 г. музей получил новую нумизматическую коллекцию (135 шт.), куда входили и польские монеты XVI в.²

Этнографические материалы, оставшиеся совершенно неразобранными, на момент открытия музея не выставлялись, хотя музей имел ряд ценных приобретений: китайские старинные вазы, поступившие из Рабочего клуба, костюм и бубен кама и другие редкости, переданные художником-алтайцем Г. И. Чорос-Гуркиным³. В 1922 г. музей пополнил запасники отдельными предметами материальной культуры «алтайских инородцев», казахов и русских старожилов Алтая⁴.

До середины 1920-х гг. работа барнаульских музейщиков не была особенно эффективной. Директор музея М. А. Сурин отмечал, что в этом учреждении нет специалистов по этнологии и истории⁵. По данным за 1925–1926 гг., в экспозиции не существовало собственно исторического отдела, но имелись связанные с историей археологический, этнографический отделы, «отдел памятников войны и революции» и нумизматическая коллекция. «Исторических» вещей в музее насчитывалось меньше всего. Этнологиче-

¹ Алтайский губернский советский музей // Алтайский коммунист. – 1920. – 19 февр.

² По городу // Красный Алтай. – 1920. – 22 янв.

³ ГААК. – Ф. Р-288. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 19.

⁴ ГАРФ. – Ф. А-2307. – Оп. 3. – Д. 348. – Л. 78.

⁵ ГАНУ. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 47.

ский отдел, представленный пятью шкафами, включал 295 экспонатов. Отдел памятников войны и революции состоял из 159 экспонатов. За пять лет этот отдел почти не вырос. Кроме документов, отдел включал в себя самодельные партизанские пики и ружья. Демонстрировалась и партизанская пушка, стоявшая «на козелках»¹. К концу десятилетия военно-революционный отдел еще не пропитался советским официозом, поскольку был недоработан и концептуально не оформлен.

Другие периоды истории Алтая были представлены в экспозиции крайне эпизодически. Само здание музея, построенное в начале XIX в., настраивало на восприятие исторической части экспозиции, однако кроме машины для чеканки сибирских монет в музее практически не демонстрировались подобные ей выразительные экспонаты, которые могли бы свидетельствовать об успехах развития сибирской экономики и науки до революции². Источники 1920-х гг. не отражают попытки барнаульцев оформить историческую часть экспозиции по марксистскому принципу. Музейная отчетная документация не содержит даже сведений о присутствии в экспозиции портретов и статуэток советских вождей и красных знамен.

Стоит уделить внимание и деятельности музея, направленной на охрану памятников. В Барнауле – центре горной промышленности – многое в межвоенное время свидетельствовало о специфике дореволюционного прошлого этого города. В частности, наиболее яркий памятник периода интенсивного развития горнорудного дела – Демидовский столп, заложенный еще в 1825 г. на Демидовской площади в честь столетия с начала промышленной добычи медной руды на Алтае (см. Прил., рис. 72).

Уже в 1921 г. с газетной полосы первомайского номера «Красного Алтая» прозвучал призыв заменить этот памятник на «выкристаллизованную волю пролетариата» – фигуру В. И. Ленина, поскольку «обелиск уносит нас в мрачную эпоху крепостничества»³. Музей не оказал сопротивления вандалам. Однако, как широко известно, что снести столп не удалось по причине его прочности, лишь две красные плиты из сузунской меди с точными датами основания завода и барельеф А. Н. Демидова были сняты с памятника. К середине 1920-х гг. максимализм революционного запала начал ослабевать, и барнаульские журналисты, поддерживая членов РГО и местных краеведов, выразили критичное отношение к разрушению столпа. По мнению газетчика А. Коптелова

¹ Там же. – Л. 53 – 53 об.

² Там же. – Л. 53.

³ Украсим город // Красный Алтай. – 1921. – 1 мая.

(будущего известного писателя), факты снятия с памятника и отправки в Новониколаевск плит позорили барнаульцев, которые, по оценке журналиста, вообще безалаберно «хранят памятники старины»¹.

В Барнауле середины 1920-х гг., как и в других городах региона, началась работа по выявлению памятных мест, связанных с историей революционного движения. В соответствии со стандартом мероприятий, предшествовавших торжествам, приуроченным к 20-летию революции 1905 г., барнаульский музей собирал сведения о местонахождении конспиративных квартир подпольщиков, а также записывал со слов «пятигодников» истории, связанные с этими квартирами, располагавшимися преимущественно на Гоголевской улице². Работа барнаульских исследователей по этой тематике велась качественнее, чем в Омске. В итоге было записано и расшифровано несколько довольно интересных, подробных текстов.

История барнаульского музея первой половины 1930-х гг. в источниках представлена невнятно. Известно, что барнаульские музейщики занимались в этот период сбором этнографических материалов в русских и мордовских селах и среди алтайцев³. Однако мы не можем судить о том, как эти материалы экспонировались. После первого Всероссийского музейного съезда, прошедшего в 1930 г. в Москве, новые идеологические установки предписывали музейщикам всей страны «покончить с вещевым фетишизмом» и поставить музеи на службу социалистическому строительству. Однако требования к построению экспозиций постоянно менялись, а музейные кадры, отвечавшие за экспозиционную работу, и, по мнению всевозможных комиссий, не справлявшиеся с ней, становились жертвами репрессий. Складывается впечатление, что музейщики Барнаула не только не понимали, какую историческую экспозицию они должны построить, но и по ментальным причинам не могли отказаться от «старых» культурных ценностей, от привязанности к местным памятникам, утрату которых воспринимали как трагедию. В частности, это подтверждается описанной нами попыткой барнаульских музейщиков выступить в защиту исторического некрополя.

Несколько лет в газетах ничего не писали о барнаульском музее. Лишь в 1936 г. печать Барнаула вновь обратилась к этой теме. Газета «Красный Алтай» сообщала, что в музей поступают новые устные и письменные документы о революционном движении в

¹ Коптелов А. Как барнаульцы хранят памятники старины // Сов. Сибирь. – 1925. – 7 марта.

² ГААК. – Ф. Р-86. – Оп. 1. – Д. 39. – Л. 46.

³ Попова И. В. Указ. соч. – С. 190.

Сибири и о Гражданской войне. Отдельно отмечалось, что специально для музея «товарищем Зайцевым представлена собственная картина о зверствах колчаковских карателей»¹. Во второй половине 1930-х гг. весь предшествующий период работы музея жестко осуждался, что было характерно для всей Сибири. Музей называли «типичной кунсткамерой, существовавшей с целью показать вещь как диковинку»². Теперь было решено разделить экспозицию на три отдела: природный, исторический и отдел социалистического строительства. Исторический отдел предполагалось выстроить по схеме: доклассовое общество, феодализм, капитализм. Подбор экспонатов должен был отражать характер производительной деятельности, политического устройства и классовой борьбы. Вещи, относящиеся к периоду, начиная с 1917 г., планировалось выставлять в отделе социалистического строительства. Все, что относилось к советскому времени, воспринималось как современность, как новая эпоха, решительно рвущая связь с прошлым. Отдел должен был также отражать восстановительный период, этап социалистической реконструкции хозяйства и пятилеток. В газете отмечалось, что ситуация осложняется тем, что многие вещи хранились в запасниках беспорядочно, без паспортов, в результате чего «надо собирать все заново»³. Складывается впечатление, что как таковой законченной исторической экспозиции до войны барнаульцы так и не создали.

Однако они вели активную выставочную деятельность, что было продиктовано политическим требованием усиления массово-идеологической работы. Так, в 1937 г. барнаульский музей участвовал во всесоюзной программе празднования юбилея А. С. Пушкина, подготовив большую выставку. Как и в Омске, музейщики Барнаула просили горожан приносить книги, портреты поэта, различные вещи, ассоциирующиеся с Пушкинской эпохой. В содержательном отношении эта выставка была аналогичной омской выставке. В 1938 г. была устроена посмертная выставка картин партизана А. Н. Борисова. Тематика его произведений включала революционное движение на Алтае, прошлое и настоящее Барнаула, алтайскую промышленность и фольклор. Художник Борисов был активным общественником, оформителем всех политических кампаний, перед смертью он работал над картиной «Товарищ Сталин в Барнауле», которую так не успел окончить. За две недели выставку посетило 17 950 человек. Очевидно, что посети-

¹ В городском музее // Красный Алтай. – 1936. – 27 марта.

² Васин Н. О перестройке Барнаульского музея // Красный Алтай. – 1937. – 8 февр.

³ Там же.

телей на выставку не просто приглашали, а «мобилизовывали» большими группами (школьники, передовики животноводства, допризывники)¹.

Наконец, в 1940 г. открыли отдел истории, организованный Н. Т. Васиным. По его собственному описанию, в экспозиции были представлены этнографические экспонаты, повествующие о жизни алтайцев в прошлом. Приводились исторические справки о сменах государственных объединений на территории Алтая и Средней Азии за две тысячи лет. Выставлялась копия карты Джунгарии 1724 г. Сама Джунгария была представлена как «душитель культурно-экономической жизни алтайцев». Демонстрировались изменения быта и хозяйства алтайцев с прихода русских до 1865 г.: вещи, фотографии, тексты об охоте, земледелии, скотоводстве, общественном устройстве и формах управления, предметы обихода, одежда, домашняя утварь, «примитивные» орудия труда: ручная мотыга (абыл), соха (андазан), сосуды из коровьего вымени. Экспозиция была призвана отражать «мрачное прошлое трудящихся Алтая, тяжелый двойной гнет со стороны России и алтайских эксплуататоров»².

Однако совершенно очевидно, что в экспозиции была представлена лишь история Горного Алтая. Ни о Барнауле с его богатой историей, ни о прошлом горной промышленности Алтая, ни об истории русских алтайских сел и деревень в экспозиции не сообщалось ровным счетом ничего. Именно поэтому, несомненно, исторический отдел экспозиции барнаульского музея существовал на этом этапе в отрыве от коллективной памяти жителей города и его сельской округи. В экспозиции было много экзотики, не имевшей фактически отношения к Барнаулу и коллективной памяти большинства его жителей.

В канун Великой Отечественной войны сотрудники музея работали над военно-революционным отделом. В частности, они просили в Москве копии картин «Ленин, Сталин и Свердлов в дни Брестского мира» художника Шашкевича и картину Авилова «Алтайские партизаны», которую им так и не прислали. Известно, что барнаульские музейщики также готовили раздел «Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны. Особенности Алтайской губернии». Но им пришлось столкнуться с отсутствием необходимого материала. Ничего подходящего для создания экспозиции они не нашли и в Новосибирске. Поочередно барнаульцам отказыва-

¹ На выставке художника А. Н. Борисова в краевом музее // Алтайская правда. – 1938. – 28 февр.

² Васин Н. Т. В краевом музее // Алтайская правда. – 1940. – 6 апр.

ли прислать военно-революционные материалы коллеги из Бийска, Камня-на-Оби и Славгорода. Поэтому сбор материала ограничивался преимущественно газетными статьями¹.

В 1941 г. вышло новое положение о краеведческом музее, в котором сообщалось, что «музей является политико-просветительским и научно-исследовательским учреждением, которое собирает, хранит и изучает вещественные, письменные и изобразительные материалы исторического процесса развития природы и общества». Говорилось и то, что музей должен изучать свой край, вести научную пропаганду на основе марксистско-ленинского мировоззрения, организовывать массово-культурную просветительскую работу. Главная задача понималась как повышение культурно-политического уровня трудящихся, воспитание в них патриотизма путем показа истории, социалистического хозяйства и культуры в своем крае, а также достижений страны в целом².

В соответствии с новым положением о краеведческих музеях барнаульцы разработали новый экспозиционный план. Из плана 1941 г. видно, что отдел социалистического строительства не был окончен, особенно это касалось новейшего периода истории и современного состояния Алтайского края. Это план выглядит парадоксальным, поскольку в начале документа говорится о намерении демонстрировать краеведческие материалы в контексте процессов, характерных для страны в целом, но в плане фактически отсутствуют пункты, непосредственно связанные с историей Алтая. Так, в начале отдела было решено показать тему подготовки и организации социалистической революции: представить Временное правительство России как «правительство разрухи, голода и войны», приезд В. И. Ленина в Петроград, «Апрельские тезисы» Ленина и апрельский кризис Временного правительства, июльские дни, курс большевиков на всеобщее военное восстание, VI съезд партии, заговор Корнилова против революции, II Всероссийский Съезд советов, Брестский мир, ленинский план перехода к социалистическому строительству. Этим ограничивается разъяснение первого пункта плана. Почти не фигурируют упоминания об Алтае и в следующих пунктах плана: «Интервенция, Гражданская война, партизанское движение»; «Восстановление народного хозяйства страны», «Социалистическая индустриализация и коллективизация сельского хозяйства», «СССР – могучая индустриальная держава», «СССР – страна победившего социализма» и т. п.³

¹ ГААК. – Ф. Р-288. – Оп. 1. – Д. 9. – Л. 148.

² Там же. – Ф. Р-312. – Оп. 3. – Д. 232. – Л. 74.

³ Там же. – Ф. Р-288. – Оп. 1. – Д. 10. – Л. 9 – 10 об.

Лишь пункт о Гражданской войне содержит в расшифровке единственную краткую формулировку, связанную с историей Алтая: «Поход Колчака и его разгром, партизанское движение на Алтае». Встречается в плане и упоминание о намерении представить в экспозиции материал по промышленным предприятиям Алтая¹. Великая Отечественная война помешала экспозиционным планам барнаульцев, которые, по всей видимости, не смогли реализовать свои замыслы.

Попытаемся сделать некоторые выводы о восприятии музейных репрезентаций прошлого жителями Барнаула. Со дня его открытия 14 марта 1920 г. велся учет посетителей. Из журнала таких записей известно, что в первый день работы музея его посетил 251 человек. За первые две недели – 1138 человек. В дальнейшем посещаемость снизилась и, похоже, особенно не повышалась. Изначально в музей шли и одиночные посетители, представлявшие разные профессии: в первый день были зафиксированы милиционер, счетовод, библиотекарь, фельдшер, актер, домашние хозяйки, машинистки и пр. Любопытство обывателей на первых порах помогало обеспечить музейщикам посещаемость, хотя изначально это учреждение было связано в большей степени с учебным процессом и просвещением, чем с культурным досугом горожан. Чаще в музей приходила молодежь. Самым старшим посетителем первого дня стал малограмотный 60-летний Гусев². Однако график работы был неудобным: изначально музей был открыт лишь по вечерам во вторник и четверг и по воскресеньям с 11 до 14 ч³. В первой половине 1920-х гг. месяцами музей не мог принимать посетителей из-за холода и коммунальных неурядиц. Все это означает, что, несмотря на отдельные оригинальные идеи (к примеру, витрины с наиболее интересными экспонатами, стоящие в общественных местах)⁴, музей недостаточно эффективно справлялся с задачей привлечения посетителей.

Во второй половине 1920-х гг. местная газета «Красный Алтай» периодически публиковала сводки, посвященные посещаемости музея. Например, фиксировалось, что в марте 1927 г. музей посетило 1428 человек, из них 712 пришли группами (учащиеся и красноармейцы)⁵. В апреле этого же года посещаемость была немного ниже: 1380 человек, 575 из которых пришли с экскурсией⁶. Но в мае, накануне школьных ка-

¹ Там же. – Л. 10 об.

² Там же. – Д. 2а. – Л. 1–6.

³ По городу // Красный Алтай. – 1920. – 1 дек.

⁴ ГААК. – Ф. Р-288. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 54.

⁵ За день // Красный Алтай. – 1927. – 14 апр.

⁶ За день // Красный Алтай. – 1927. – 5 мая.

никул, посещаемость музея предсказуемо возросла до 1958 человек, из которых 1306 человек объединились в группы. В мае погодные условия позволили школьникам из окрестных деревень прийти в музей пешком¹.

На все лето 1927 г. музей закрылся для «дезинфекции экспонатов»². После открытия в сентябре музей установил следующий график рабочих дней: вторник, четверг, воскресенье³. Уже в октябре газета сообщала: барнаульцы недовольны тем, что музей открывается только на три часа, из-за чего многие не успевают его посетить⁴. Интересна сводка за декабрь 1928 г., когда музей посетили всего 949 человек. Школьники составили 47 % посетителей. К числу организованных групп относились красноармейцы, составлявшие 10 % посетителей⁵. Фиксировались также рабочие, крестьяне, служащие. Подобные сводки служили, по нашему мнению, целям актуализации музея, привлечения внимания жителей города к его деятельности. К сожалению, нам не удалось выявить данных о посещении музея и его восприятии барнаульцами в 1930-х гг.

Если верить печати, в 1920-х гг. наибольший интерес у посетителей вызывал маленький отдел экспозиции, посвященный Гражданской войне. Именно эти предметы вызывали у посетителей музея эмоционально окрашенные воспоминания о недавнем прошлом. Партизанская пушка буквально притягивала экскурсантов, которые часто роняли ее, пытаясь потрогать⁶. В одной из газетных заметок о музее говорилось, что алтайские партизаны встают у пушки кружком, говорят: «Да, жаркое было время, да вот, ведь до чего додумались партизаны...»⁷. По всей видимости, барнаульцы, как и жители других сибирских городов, участвовавшие в Гражданской войне, в 1920-х гг. тянулись к музею, желая увидеть в нем репрезентации собственной идентичности. Известно, что в 1928 г. близкие партизана Ф. С. Гуляева-Сусанина, умершего в Барнауле, передали музею его личные вещи, фотографии и документы⁸.

Однако складывается впечатление, что сами музейщики Барнаула не были удовлетворены работой с посетителями. Особым пессимизмом проникнут отчет музея за 1928 г. Заведующий музеем В. В. Лебедев отметил, что отдел народного образования

¹ За день // Красный Алтай. – 1927. – 4 июня.

² За день // Красный Алтай. – 1927. – 21 июля.

³ За день // Красный Алтай. – 1927. – 11 сент.

⁴ Увеличить время для посещения музея // Красный Алтай. – 1927. – 5 окт.

⁵ Кто посещает музей? // Красный Алтай. – 1929. – 26 янв.

⁶ Увеличить время для посещения музея // Красный Алтай– 1927. – 5 окт.

⁷ Кто посещает музей? // Красный Алтай. – 1929. – 26 янв.

⁸ Новый экспонат в окружном музее // Красный Алтай. – 1928. – 30 янв.

проявлял равнодушие к музею, как к «надгробным памятникам, покрытым пылью времен», а горожане воспринимают его как скучную «кунсткамеру»¹. Музей не сотрудничал с Комиссией по охране памятников искусства, старины, народного быта и природы при Алтайском отделе РГО и не умел привлечь горожан, сетуя, что «насколько легко прививается и пышно расцветает здесь пьянство, настолько же трудно внедрять всякое культурное начинание»². Здесь же отмечалось и то, что массовой просветительской работе серьезно препятствует теснота музейного помещения.

С другой стороны, критичное отношение к музею высказывалось в местной печати конца 1930-х гг. В 1939 г. «Алтайская правда» сообщала, что в музее экспонаты валяются в сарае, хранятся как попало, музей мало заботится о состоянии памятников Алтайского края. Печать низко оценивала вялый сбор материалов о Гражданской войне, отсутствие в экспозиции материалов об алтайских писателях: И. И. Тачалове, С. И. Исакове, А. И. Жилиякове³. Вероятно, на сведения об этих людях существовал спрос среди местных жителей и журналистов, получавших задания писать статьи на темы местной истории и культуры. Отказы музея вызывали раздражение и разоблачительские инициативы, столь характерные для 1930-х гг.

Барнаульский краеведческий музей был старейшим городским музеем в Западной Сибири. Однако в межвоенный период он слабо заявил о себе, как об институте памяти. В 1920-х гг. барнаульские музейщики, как и их томские коллеги пытались строить музей, опираясь на дореволюционный опыт в деле создания репрезентаций прошлого, слабо реагируя на вызовы политики памяти. Но результаты их деятельности были скромнее, чем у томичей. Помощи в увековечивании их героического прошлого искали в музее алтайские партизаны. Музей шел им на встречу, но сотрудничество с партизанами не отразилось в сколько-нибудь ярких коммеморациях. В 1930-х гг. барнаульские музейщики пассивно служили идеологии, устраивая типовые выставки и пытаясь разработать новый экспозиционный план, который практически не предполагал репрезентаций исторического прошлого Алтая.

¹ ГАНО. – Ф. Р-217. – Оп. 1. – Д. 134. – Л. 3.

² Там же. – Л. 3.

³ Днепров Н. Об архивах и музеях // Алтайская правда. – 1939. – 17 июля.

Подводя краткие итоги этой части исследования, необходимо обратить внимание на следующее. Уже в 1920 г. в городах Западной Сибири началось советское музейное строительство. При этом в Барнауле и Омске ранее уже складывались традиции музейного дела. Музейное дело Новониколаевска находилось в зачаточном состоянии. Краеведческий музей Томска до восстановления советской власти в Сибири также находился в состоянии проекта. Факторы развития музейного дела в регионе и в целом в стране были общими. Однако очевидно, что успешность развития отдельных музеев как памятных мест зависела, прежде всего, от личных инициатив музейщиков. Это справедливо даже для драматичных 1930-х гг. Наиболее оригинальные репрезентации прошлого в 1920-х гг., на наш взгляд, удалось создать музейным работникам Томска. В конце 1930-х гг. омские музейщики смогли выйти на путь преодоления затяжного методологического кризиса первой половины десятилетия, освоив новые принципы построения исторической экспозиции. Свежие экспозиционные идеи появились накануне войны и в новосибирском музее. Хотя государство пыталось поставить музеи на службу идеологии, на наш взгляд, не везде это удавалось в полной мере. Если томичи в конце 1930-х гг., следуя политической конъюнктуре, сконцентрировали внимание на теме «Киров», в деятельности музейщиков Омска оставалось место и иным, не столь политизированным темам.

Можно увидеть некоторые общие черты и в памятнико-охранительной деятельности городских музеев Западной Сибири. После Гражданской войны музейщики нашего региона сохраняли отношение к культурно-историческому наследию, ставшее стандартным в начале XX в.: стремились запечатлеть и оберегать «ускользающую старину» – прежде всего, памятники деревянного зодчества и старинные церкви. Параллельно советская власть работала над созданием новых памятных мест, связанных с историей революции и Гражданской войны. С середины 1920-х гг. к этой работе привлекались и музеи, которые должны были участвовать в формировании нового ландшафта коллективной памяти. Музеи были обязаны охранять новые памятники, выявлять и маркировать памятные места, известные ранее только небольшим группам революционеров и подпольщиков, а также широко тиражировать историю этих мест. Велась также работа над формированием памяти о том, где происходили важнейшие революционные события в городах Западной Сибири. Когда на рубеже 20-х и 30-х гг. музейщики пытались защитить памятники дореволюционной истории, не связанные с военно-революционным

нарративом, местные власти обычно пресекали их инициативы. Заметно, что западно-сибирские музейщики без особенной заинтересованности охраняли новые военно-революционные памятные места, часто относясь к этой задаче как формальной. В итоге уже к 20-летию «освобождения от колчаковщины» новые мемориалы выглядели заброшенными и неухоженными. В ответ революционеры и подпольщики выражали недовольство пренебрежением к памяти, которая была им очень дорога. Однако, как уже было отмечено, в 1930-х гг. музеи Западной Сибири переживали глубокий структурный кризис, их невнимание к памятникам было связано также с недостатком квалифицированных работников, кадровой текучкой и материальными проблемами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эпоха Ленина и Сталина продолжает вызывать много дискуссий как в российской науке, так и в зарубежной славистике. После Октябрьской революции и Гражданской войны в стране формировалось поколение советских людей – носителей новой системы ценностей и идентичности, находивших опору в особой, сложно организованной системе образов коллективной памяти. Наука XX в. открыла историческую память, объяснила ее мировоззренческое значение, ее роль в политическом процессе и культурной динамике. Однако лишь теперь мы задаемся вопросами о специфике коллективной памяти ушедших поколений, во многом сделавшей их такими, какими они осознавали сами себя и какими они вошли в историю. Бытующая коллективная память находит множество воплощений в памятных местах, в коммеморативных практиках, а также в сопутствующих им текстах, дающих объяснение коммеморациям. Именно поэтому источники изучения истории коммемораций многочисленны и разнообразны. Их комплексное исследование на материалах городов одного российского региона позволяет сделать некоторые выводы, которые в ряде случаев, как нам представляется, можно экстраполировать на всю страну.

Подводя итоги проделанному исследованию, мы считаем, что нашла подтверждение наша изначальная гипотеза о том, что динамика основных коммемораций в городах – административных центрах Западной Сибири в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами имела единую направленность, подчинялась общим тенденциям, заданным политически и зависимым от культурного контекста.

К началу XX в. коммеморативная сфера культуры городов Западной Сибири соответствовала общим коммеморативным стандартам Российской империи. Кладбища и музеи являлись основными, системообразующими памятными местами в ландшафте коллективной памяти жителей городов нашего региона. Исторический некрополь представлял собой наиболее традиционное место, теснейшим образом связанное с религиоз-

ной составляющей культуры памяти, так или иначе актуальное для всех слоев населения западно-сибирского города. Музеи, история которых началась лишь в первой трети XIX в. (Барнаул), были относительно новым явлением в культуре сибирских городов начала XX в. В музеях формировался ориентир на интеллектуально-аксиологическое осмысление прошлого региона, в то время как некрополь ассоциировался, прежде всего, с эмоциональной коллективной памятью семьи и христианским отношением к памяти о предках. Смысловыми доминантами большинства траурных коммемораций в западно-сибирских городах начала XX в. также оставались преимущественно религиозные и семейно-родственные (генеалогические) ценности. Траурные и праздничные коммеморации государственного значения уже в дореволюционный период обрели шаблонный вид, хорошо усвоенный, в частности, жителями Западной Сибири. Эти коммеморации служили укреплению верноподданнических чувств населения, преданности императорской фамилии и приверженности политическому консерватизму. Катастрофические военно-революционные события стали первым этапом резких изменений в коммеморативной сфере культуры западно-сибирских городов, значительно деградировавшей в результате массовых демографических потерь, хозяйственной разрухи, классовых противоречий, большевистской антирелигиозной пропаганды, деморализации общества, криминализации социальной обстановки.

В 1920–1930-х гг. коммеморативная сфера культуры менялась под воздействием ряда общих факторов. В числе таких факторов, прежде всего, следует назвать политические изменения: смену политических элит в начале 1920-х гг. и в результате внутривластной борьбы середины 1920–1930-х гг., утверждение тоталитарного политического режима, исключавшего инакомыслие. Культура коммемораций менялась также в связи с разрушением сословного строя с его привилегиями, формированием новой социальной структуры и правовой системы, постановкой государством новых идеологических задач и задач социальной мобилизации. Значительное воздействие на коммеморативную сферу культуры оказала антирелигиозная пропаганда и борьба с религией. Важным фактором стоит признать также становление и развитие советской историографии, предполагавшей новый, марксистский взгляд на прошлое России.

Стоит учитывать, что культурное пространство городов Западной Сибири не было однородным. Поэтому и характер коммемораций в этих городах имел свою специфику. К примеру, университетский Томск длительное время демонстрировал приверженность

коммеморативным традициям дореволюционного периода. В частности, это нашло отражение в краеведческих изысканиях, в частом выборе томичами традиционного похоронного ритуала. В отличие от Томска, молодой город Новосибирск, ставший региональной столицей, быстрее воспринимал нововведения в коммеморативной сфере.

В развитии музейных форм коммемораций, безусловно, решающую роль играла местная интеллигенция. Особенно выдающимися стоит признать заслуги директора Томского краеведческого музея М. Б. Шатилова, находившего в условиях диктата жесткой государственной музейной политики возможность поддерживать краеведческие традиции Томска, сложившиеся до революции и транслировать музейными средствами вариант памяти о «томской старине», альтернативный советскому взгляду на прошлое сибирских городов.

Хотя мы не можем говорить о советской политике памяти как об институционализированной, постараемся назвать ее основные содержательные и ценностные характеристики. Еще в период Гражданской войны доминантой большевистской политики памяти стало стремление дискредитировать, представить в мрачных тонах дореволюционное прошлое России, изобразить ее как страну, не знавшую социальной справедливости и отсталую экономически. Образы «темного прошлого» были нужны пропаганде для того, чтобы оттенять «благополучное настоящее» и «светлое будущее». За счет этих идеологических контрастов власть получала дополнительное средство самолегитимации. Местная газетная печать на протяжении всего изучаемого периода неустанно «очерняла» прошлое региона, в том числе на близких читателям примерах из жизни их родных городов. Музеи вплоть до конца 1920-х гг. сохраняли относительную самостоятельность и вариативность в оценках местной истории, однако культурная революция поставила и их на службу пропаганде. В условиях консервативной политики второй половины 1930-х гг. государством предпринимались попытки выстроить историческую преемственность между дореволюционным прошлым страны и «социалистическим» настоящим. На этой волне восстанавливалась позитивно окрашенная память о некоторых исторических деятелях имперского периода. Западная Сибирь, как и вся страна, активно включилась в этот коммеморативный процесс, что нашло отражение, прежде всего, в пушкинских торжествах 1937 г., ставших ярким событием в не очень насыщенной культурной жизни региона. Однако пушкинские коммеморации, как и прочие в этот период, были типовыми и отражали исключительно официальный взгляд на историю.

Советская политика памяти нередко предполагала проработку прошлого: вытеснение «вредных» исторических образов и оценок из коллективной памяти, а также насаждение нового героического пантеона и нарратива, основанного на формировавшемся соцреалистическом каноне. Официальный исторический нарратив, на основе которого государство пыталось формировать историческую память населения, игнорировал многие факты и исторические источники, сообщавшие об этих фактах. К общим характеристикам советской политики памяти межвоенного периода стоит также отнести постепенное усиление тенденции унификации исторической памяти жителей разных регионов страны, обеднение местного компонента коллективной памяти, уничтожение памятных мест дореволюционного периода, наполнение ландшафта коллективной памяти городов однотипными памятными местами, как правило, связанными с героическими политическими культурами (культом Ленина, культом Кирова и др.). В соответствии с такими установками, в частности, был уничтожен исторический некрополь городов Западной Сибири. Радикализм местных органов власти в решении этого вопроса можно признать специфичным для нашего региона: далеко не во всей стране старые кладбища были полностью стерты с лица земли в столь краткие сроки.

При том, что старые памятные места без сожаления разрушались до основания, процесс формирования новых памятных мест в городах Западной Сибири был довольно вялым. Лишь в первые годы после Гражданской войны в западно-сибирских городах активно формировался героический некрополь борцов с «колчаковщиной», а также, как и по всей стране, шел поиск монументальных форм увековечивания памяти о героях и жертвах войны. Однако воплощенные в жизнь проекты памятников имели слабую смысловую связь с историей места. Избранные символические формы отразили попытки вписать местные события в общемировой контекст классовой борьбы, на котором делался акцент. Местной истории изначально предавалось второстепенное значение в официальном историческом нарративе, который в межвоенный период только складывался, обретя законченный вид лишь к 1936 г. в догматическом тексте «Краткого курса истории ВКП(б)».

В этих обстоятельствах попытки дополнить общесоветский нарратив событиями местной истории, о которых еще помнили сибиряки, часто были неудачными. Это видно на примерах строившихся и тут же разбиравшихся музейщиками исторических экспозиций, шаблонных воспоминаний о Кирове, записанных в Томске, и т. п. Истпарту, му-

зейщикам, журналистам и агитаторам, работавшим в эти годы над формированием и коррекцией исторической памяти земляков, не хватало времени, опыта, профессионализма и свободы для того, чтобы создавать качественные коммеморации, подкрепленные достоверными фактами и взвешенными, рациональными оценками. Заметно, что коммеморации межвоенных лет зачастую быстро теряли актуальность и критично переоценивались, забывались и утрачивались. Так, местные власти Томска в конце 1930-х гг. приняли решение полностью снести Преображенское кладбище, невзирая на то, что на нем был Коммунистический участок, где еще недавно хоронили тех, кого большевики считали героями Гражданской войны.

Мы пришли к однозначному выводу о том, что во всех коммеморациях межвоенных лет оставалось много традиционного, восходившего к православию и светским ритуалам имперского периода. Традиции были очень сильны в сфере некрокультуры; преимущественно в рамках традиций дореволюционного музейного дела работали сибирские музейщики вплоть до 1930-х гг. Сохранялись также и традиции в сфере праздничных коммемораций. Это касается как подходов к организации торжеств, так и их смысла и функций. Исследователь обнаруживает, скорее, не разрыв с традицией, а зависимость акторов от традиции, их неспособность ее преодолеть. Приходится признать, что после Гражданской войны официальная коммеморативная традиция не «изобретается заново», что осторожно используется уже имеющаяся традиция, она только частично, в деталях видоизменяется. Но и этого уже становится достаточным для пропаганды новых идеологических ценностей и политических целей через коммеморацию.

Здесь уместно вспомнить пример массовых похорон «жертв колчаковщины». В 1920 г. большевики еще не обладали достаточным авторитетом и силой, чтобы сломать привычную для общества похоронно-поминальную традицию, распространенную в период «царизма» и во время «колчаковщины», и противопоставить ей собственное изобретение. Именно поэтому они лишь заимствовали элементы другой похоронной традиции, которая сложилась задолго до советской власти, еще в революционной Франции. Таким образом, внешне вполне традиционные похороны, в которых лишь церковь не принимала участия, были дополнены относительно новыми, но уже знакомыми обществу атрибутами с политической символикой.

Несмотря на фактическое использование символов, практик и смыслов дореволюционной культуры, официальная советская культура 1920–1930-х гг. позиционировала

себя как культура революционная и новационная, отказавшаяся от старых религиозных, имперских и буржуазных ценностей и эстетических форм. На примерах официальных государственных торжеств, как праздничных, так и траурных, также видна декларация аналогичных отказов. Внешне, с первого взгляда, коммеморации выглядели новыми. Из сферы официальной коммеморативной культуры демонстративно вытеснялась религиозность, образы и символы, ассоциировавшиеся с имперским периодом отечественной истории, внедрялись гражданские ритуалы, истоки которых стоит искать в культуре революционной Франции. Однако возможно выделить именно новационные черты. Еще при жизни В. И. Ленина началось формирование квазирелигиозных политических культов вождей, героев и эпохальных событий, образы которых заполняли ландшафт коллективной памяти жителей городов Западной Сибири, как и страны в целом.

Уже в начале 1920-х гг. существенно изменился праздничный календарь. Главным политическим торжеством стала памятная дата дня Октябрьской революции. Ежегодный праздник был ориентирован на формирование в исторической памяти населения устойчивого представления о главенстве этого события в череде всех событий всемирной истории. На основе исторической памяти общества о «Великом Октябре» выстраивалась советская социальная идентичность. При этом в тени остались торжества, на основе которых формировалась сибирская региональная составляющая советской идентичности – годовщины конкретных событий Гражданской войны. Советской новацией стоит признать небывалую степень идеологического давления на историческую память общества, выражавшуюся в стандартных, регулярных коммеморациях, в которых должно было участвовать все общество, а не только его элита, как часто бывало в дореволюционный период (праздники, похороны «героев советской страны», ленинские дни и пр.). Изначальный отказ от коммеморативных форм и практик, ассоциировавшихся с православием, с русской культурой начала XX в., был смягчен во второй половине 1930-х гг., когда в связи с усилением консервативных тенденций в политике на уровне коммемораций произошло сближение с той традицией, которая отвергалась в предыдущем десятилетии.

Советские изменения традиций, коснувшиеся памятных мест – кладбищ и музеев, приводили к драматичным событиям. Во-первых, сносились старые кладбища, оцененные как бесполезные в идеологическом смысле, краеведческие музеи переживали глу-

бокий кризис «перезагрузки», когда приходилось полностью перестраивать экспозиции и менять подходы к работе с коллективной памятью населения.

Между тем принципиально важен вопрос о степени вовлеченности жителей городов Западной Сибири в эти коммеморативные процессы. Несомненно, большевикам не удалось полностью искоренить народную приверженность религиозной культуре памяти. В этой связи есть возможность выделить несколько вариантов адаптации общества к советской коммеморативной культуре. Во-первых, часть общества категорически отказывалась от советских коммемораций, сохраняя верность культуре религиозной. Это касалось далеко не только православных, но и представителей иных конфессиональных групп, которые продолжали организовывать религиозные похороны, отмечать церковные праздники, посещать могилы близких в родительский день, игнорировали массовые советские торжества и музеи.

Усиление антирелигиозной пропаганды подчас приводило не к «перевоспитанию» убежденных традиционалистов, а к их конспирации. Такие люди могли внешне имитировать приверженность советской коммеморативной культуре, но в реальности ее отвергать или не придавать ей серьезного значения. Практика двойного стандарта для многих становилась нормой. Однако «подпольные» условия, в которых, в частности, устраивались религиозные похороны, все-таки обедняли традицию. К тому же вне церковного контроля создавалась благоприятная среда для актуализации дохристианских суеверий, связанных со сферой некрокультуры («блуждающий мертвец» и пр.). После Гражданской войны в обществе были и такие люди, которые реально оставались верны старым коммеморативным традициям, но пытались найти себе место и применение в сфере советской коммеморативной культуры, не меняя собственных установок. Подобные примеры демонстрирует музейная интеллигенция, сильно пострадавшая от политических репрессий и увольнений в 1930-х гг., когда инакомыслие активно изживалось государством.

Во-вторых, часть общества, солидарная с большевиками, позитивно воспринимала советские коммеморации и легко в них включалась. Особенно это касалось молодежи, социализировавшейся в 1920–1930-х гг. и легко усваивавшей советский коммеморативный нарратив. Показательно, что даже многие из пострадавших в годы сталинских репрессий уже в период «перестройки» выражали в своих воспоминаниях любовь к Ленину и веру в светлые идеалы Октября, несомненно, воспитанные советскими коммемора-

циями. С другой стороны, многие из тех, кто реально разочаровался в советской политической системе в 1930-х гг., из боязни ареста не афишировали своих мыслей, продолжая активно участвовать в советских коммеморациях и одобрять их на словах.

Наконец, наиболее сложный для осмысления вариант рецепции советских коммемораций, которые сами по себе никогда не рвали окончательно связи с дореволюционными традициями, можно условно назвать «эклектическим». На примере обывательских похоронных практик мы увидели варианты совмещения элементов гражданского и религиозного ритуалов. Пожалуй, это лучший пример своеобразного, «неправильного» в советском понимании, восприятия официальных коммемораций. Появление таких практик отражает процессы культурной маргинализации – постепенной утраты связи со старой традицией и «недоусвоения» новой. В крайнем варианте усвоение новой культурной традиции не происходило вовсе, что могло на практике выражаться в бытовом вандализме, случаи которого нередки для 1920–1930-х гг. Безусловно, советский коммеморативный нарратив, транслировавшийся в массы через официальные коммуникативные каналы, мог оседать в коллективной памяти населения лишь в искаженном и расщепленном виде. Государство, хотя и стремилось, но не могло внушить каждому однообразный набор устойчивых исторических представлений. В своей сущности историческая память обрывочна, избирательна, противоречива, нелогична, сопряжена с личным жизненным опытом человека.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»

На правах рукописи

Красильникова Екатерина Ивановна

**ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(КОНЕЦ 1919 – СЕРЕДИНА 1941 г.)**

Специальность 07.00.02 – Отечественная история

**Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук**

Том 2

научный консультант – доктор исторических наук,
профессор В. А. Зверев

Новосибирск – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	3
ПРИЛОЖЕНИЕ	58
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	96

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Неопубликованные источники***Государственный архив Алтайского края (ГААК)***

Ф. 66 (Барнаульская казенная библиотека и музей, 1810–1911).

Ф. 86 (Коллекция по истории Сибири и Барнаула, 1884–1965).

Ф. 131 (Знаменская церковь, г. Барнаул, 1754–1939).

Ф. 144 (Коллекция метрических книг, 1835–1933).

Ф. 219 (Барнаульская городская управа, 1877–1919).

Ф. Р-288 (Алтайский краевой краеведческий музей Управления культуры Алтайского крайисполкома, 1827 г. – по наст. время).

Ф. Р-312 (Барнаульский городской совет народных депутатов, 1917–1993).

Ф. П-1 (Алтайский краевой комитет КПСС, 1937–1962).

Ф. П-2 (Алтайский губернский комитет РКП(б), 1917–1925).

Ф. П-4 (Барнаульский окружной комитете ВКП(б), 1921–1930).

Ф. П-6 (Барнаульский уездный комитет РКП(б), 1920–1925).

Государственный архив Новосибирской области (ГАНО)

Ф. Д-156 (Метрические книги церквей территории современной Новосибирской области, 1759–1920).

Ф. Р-1 (Сибирский революционный комитет (Сибревком), 1919–1925).

Ф. Р-34 (Новониколаевская (Томская) губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом, 1919–1920).

Ф. Р-217 (Общество изучения Сибири и ее производительных сил, 1925–1931).

Ф. Р-1124 (Отдел коммунального хозяйства Новониколаевского губисполкома (Губкомхоз), 1919–1923).

Ф. Р-1376 (Отдел по делам искусств Новосибирского облисполкома, 1937–1953).

Ф. Р-1813 (Новосибирский областной краеведческий музей, 1920 – по наст. время).

Ф. Р-2054 (Новосибирское областное отделение Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры).

Ф. Р-2189 (Коллекция книг записей актов гражданского состояния по Новосибирской области, 1919–1925).

Ф. П-1 (Сибирское бюро ЦК РКП(б), 1918–1924).

Ф. П-2 (Сибирский краевой комитет ВКП(б), 1924–1930).

Ф. П-3 (Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б), 1930–1937).

Ф. П-5 (Сибирская Комиссия по изучению истории Коммунистической партии (Истпарт), 1921–1940).

Ф. П-10 (Новониколаевский губернский комитет РКП(б), 1921–1925).

Ф. П-13 (Новониколаевский уездный комитет РКП(б), 1920–1925).

Ф. П-18 (Новосибирский окружной комитет ВКП(б), 1925–1930).

Ф. П-357 (Первичная организация КПСС Областного краеведческого музея, 1934–1982).

Государственный архив Томской области (ГАТО)

Ф. Д-233 (Томская городская управа, г. Томск, 1822–1818).

Ф. Р-53 (Томский губернский революционный комитет (Губревком), 1919–1920).

Ф. Р-199 (Отдел коммунального хозяйства Томского губернского исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губкомхоз), 1919–1924).

Ф. Р-430 (Томский городской совет народных депутатов и его исполнительный комитет (горсовет, горисполком), 1920–1933).

Ф. Р-815 (Томский государственный ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени университет Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (ТГУ), 1888 – по наст. время).

Ф. Р-1313 (Татауров Н. В., 1864–1966).

Ф. Р-1612 (Воспоминания томичей, коллекция, 1955–1973).

Ф. Р-1763 (Дульзон А. П., 1938–1973).

Ф. Р-1893 (Лозовский И. Т., 1871–1999).

Ф. Р-1955 (Добрынин Г. П., 1959–2002).

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)

Ф. А-305 (Всесоюзный Пушкинский комитет, 1935–1937).

Ф. А-2306 (Министерство просвещения РСФСР (Наркомпрос), 1917–1988).

Ф. А-2307 (Главное управление научных и музейных учреждений (Главнаука), 1921–1930).

Исторический архив Омской области (ИАОО)

Ф. 16 (Омская духовная консистория, 1722–1921).

Ф. Р-74 (Управление коммунальных предприятий и благоустройства города Исполнительного комитета Омского городского совета депутатов трудящихся, 1919–1937).

Ф.-86 (Западносибирский отдел Российского географического общества (ЗСОП-ГО), 1763–1922).

Ф. Р-235 (Исполнительный комитет Омского городского совета народных депутатов, 1920–1978).

Ф. Р-255 (Отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета Омского губернского совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов, 1919–1928).

Ф. Р-286 (Отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета Омского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 1919–1976).

Ф. Р-846 (Омская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом (Омгубчекатиф), 1921–1922).

Ф. Р-1075 (Омское отделение Всероссийского географического общества Академии наук СССР, 1917–1972).

Ф. Р-1074 (Омское общество краеведения, 1925–1976).

Ф. Р-1076 (Омский областной краеведческий музей, 1922–1976).

Ф. Р-1089 (Отдел омского коммунального хозяйства Исполнительного комитета Омского областного совета депутатов трудящихся, 1934–1976).

Ф. П-1 (Омский губернский комитет РКП(б), 1917 – 1927).

Ф. П-7 (Омский окружком ВКП(б), 1920–1930).

Ф. П-19 (Омская Комиссия по изучению истории Коммунистической партии (Омский Истпарт), 1896–1990).

Музей Новосибирского государственного технического университета

Коллекция устных источников:

Интервью с Е. А. Ивановой: записано автором в Новосибирске в 2010 г.

Интервью с Г. Д. Ким: записано автором в Новосибирске в 2010 г.

Интервью с В. К. Лобановой: записано автором в Новосибирске в 2008 г.

Интервью с Г. А. Кочергиной: записано автором в Новосибирске в 2008 г.

Интервью с В. Г. Дугалюковым: записано автором в Новосибирске в 2004 г.

Интервью с С. В. Перепечаевым: записано автором в Новосибирске в 2004 г.

Новосибирский городской архив (НГА)

Ф. 33 (Новосибирский горисполком, 1920–1991).

Ф. 331 (Отдел коммунального хозяйства Новосибирского горсовета, 1926–1943).

Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова (ТОКМ)

Ф. 1 [Делопроизводство].

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)

Ф. 16 (Памяти В. И. Ленина, 1924–1997).

Ф. 17 (Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС), 1898, 1903–1991).

Ф. 79 (Куйбышев Валериан Владимирович, 1888–1935).

Ф. 80 (Киров Сергей Миронович, 1886–1934).

Российский государственный исторический архив (РГИА)

Ф. 468 (Кабинет его императорского величества МИДВ, 1704–1918).

Ф. 473 (Церемониальная часть МИДВ, 1690–1917).

Ф. 549 (Управление делами великого князя Николая Михайловича МИДВ, 1825–1918).

Ф. 789 (Академия художеств МИДВ, 1757–1918).

Ф. 1284 (Департамент общих дел МИДВ, 1902–1917).

Ф. 1293 (Техническо-строительный комитет МИДВ, 1904–1917).

Ф. 1320 (Комитет для устройства празднования 300-летия Дома Романовых, 1910–1913).

Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО)

Ф. 1 (Томский губернский комитет РКП(б), 1920–1925).

Ф. 4 (Томский уездный комитет РКП(б), 1920–1925).

Ф. 76 (Томский окружной комитет ВКП(б), 1921–1930).

Ф. 80 (Томский городской комитет КПСС, 1930–1990).

Ф. 4204 (Документы о борьбе за установление советской власти и социалистическом строительстве, 1900–1991).

Опубликованные источники

Андреева, Е. А. История Томского краеведческого музея языком архива : [делопроизводственные материалы Том. обл. краевед. музея из архивных фондов музея] / Е. А. Андреева // Тр. / Томск. обл. краевед. музей : сб. ст. / отв. ред. Я. А. Яковлев. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002. –Т. 11. – С. 3–156.

Барнаул в воспоминаниях старожилов, XX в. : в 2 ч. / отв. ред. Л. М. Дмитриева. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2005–2007.

Весь Омск : справ.-указ. на 1911 г. – Омск : Н. П. Иванов, 1911. – 329 с.

Весь Новониколаевск : адресно-справ. кн. с краткой историей и планом города. – Новониколаевск : Сиб. отд-ние Рос. телегр. агентства, 1925. – 298 с.

Весь Новосибирск в кармане : справ. блокнот. – Новосибирск : Новосиб. окр. совет ОДН, 1928. – 82 с.

Весь Новосибирск : справ. кн. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. ком. содействия постройке Дворца культуры и науки, 1931. – 245 с.

Весь Томск : адрес-календарь и справ. по г. Томску. – Томск : изд. «Книжного товарищества», 1918. – 76 с.

Весь Томск : адресно-справ. кн. на 1911–1912 гг. – Томск : Чавыкин, [б. г.]. – 332 с.

Вольский, З. Вся Сибирь : справ. кн. по всем отраслям культурной и торгово-промышленной жизни Сибири / З. Вольский. – СПб. : Изд-во при 1-м С.-Петерб. адрес. деле, 1908. – 520 с.

Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904–1920) / сост. Е. И. Петрова. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1959. – 174 с.

Вся Сибирь со включением Уральской области: справ. и адресн. кн. на 1925–1926 гг. – М. : Известий ЦИК СССР и ВЦИК, 1925. – 538 с.

Вся Сибирь : справ. и адрес. кн. на 1924 г. – Л. : Изд-во Сев.-Зап. отд-ния Глав. конторы «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1924. – 358 с.

Вся Сибирь и Дальний Восток : справ. кн. на 1926 г. – Л. : Промиздат, 1926. – 512 с.

Голицын, С. Н. Народная легенда об Александре-отшельнике / С. Н. Голицын // Русская старина. – 1880. – № 11. – С. 742–744.

Город Томск. – Томск : изд. Сиб. товарищества печат. дела, 2012. – 507 с.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // Кодификация российского гражданского права / редкол.: С. С. Алексеев [и др.]. – Екатеринбург : Ин-т част. права, 2003. – 927 с.

Декреты советской власти (1917–1918) [Электронный ресурс] : электрон. б-ка. – Режим доступа : <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/> (дата обращения: 26.01.2016).

Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями / сост. С. Слободской, протоиерей. – Петрозаводск : Николо-Волосовский монастырь, 2002. – 714 с.

Катанаев, Г. Е. На заре сибирского самосознания : воспоминания генерал-лейтенанта Сибирского казачьего войска / Г. Е. Катанаев ; отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2005. – 367 с.

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики [Электронный ресурс] : (принята V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.) // Сайт Конституции Российской Федерации. – Режим доступа : <http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/> (дата обращения: 26.12.2015).

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик [Электронный ресурс] : (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов

Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) // Сайт Конституции Российской Федерации. – Режим доступа : http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/ (дата обращения: 26.12.2015).

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик [Электронный ресурс] : (утверждена резолюцией II-го Съезда Советов Союза ССР от 31 января 1924 г.) // Сайт Конституции Российской Федерации. – Режим доступа : <http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/> (дата обращения: 26.12.2015).

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1954). – 7-е изд., доп. и испр. – М. : Госполитиздат, 1954. – Т. 1 : 1898–1924 гг. – 831 с.; Т. 2 : 1924–1930 гг. – 676 с.; Т. 3 : 1930–1954 гг. – 691 с.

Мелехин, В. Ф. Пять лет работы музея, 1923–1928 : (краткий отчет) / В. Ф. Мелехин // Изв. / Гос. Зап.-Сиб. музей. – 1928. – № 1. – С. 121–150.

Митрофан (монах). Загробная жизнь : как живут наши умершие, как будем жить и мы по смерти [Электронный ресурс] / Митрофан (монах). – СПб., 1897. – Режим доступа : http://azbyka.ru/vera_i_neverie/zhizn_posle_smerti/zagrobnaia-zhizn-all.shtml (дата обращения: 18. 02. 2016).

Мой Новосибирск : кн. воспоминаний / сост. Т. И. Иванова. – Новосибирск : СО «Дет. лит.», 1999. – 363 с.

Новосибирская область: экон.-геогр. описание / под ред. М. С. Бурлакова, В. Ф. Зобина, А. С. Шуланова. – Новосибирск : Обл. изд-во, 1939. – 250 с.

Новосибирск : справ. по городу и району. – Новосибирск : Сов. Сибирь, 1935. – 490 с.

Память сердца : воспоминания новониколаевцев / ред. Н. М. Щукин. – Новосибирск : Фонд «Новосибирск, XXI в.» : Изд. дом «Сиб. горница», 2003. – 94 с.

По Оби и г. Барнаул, 1912–1913 гг. – Барнаул : Тип. А. О. Кедриной, 1912. – 20 с.

Прибыткова-Фролова, А. М. Памятники архитектуры XVIII–XIX вв. в Томске / А. М. Прибыткова-Фролова // Тр. / Томск. краевед. музей. – Томск : [б. и.], 1929. – Т. 2. – С. 19–29.

Свод законов Российской империи, повелением государя Николая I составленный. – СПб. : [б. и.], 1857. – Т. 13 : Уставы о народном продовольствии, общественном призрении и врачебные. – 978 с.

Сергей Миронович Киров : воспоминания ленинградских рабочих / сост. Н. А. Ходза ; общ. ред. С. И. Аввакумов. – Л. : Лениздат, 1939. – 164 с.

Создадим историю Гражданской войны : (материалы и документы) / Новгородский архив. – Новгород : [б. и.], 1931. – 32 с.

Сибирь в 1923–1924 гг. – Новониколаевск : Сибревком, 1925. – 266 с.

Список эпитафий с надгробий Лазаревского кладбища и церкви-усыпальниц Александро-Невской лавры // Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его с 1703 по 1751 г. – СПб. : [б. и.], 1779. – С. 374–446.

Шатилов, М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея (1922–18 марта 1926 г.) / М. Б. Шатилов // Тр. / Томск. краевед. музей. – Томск : [б. и.], 1927. – Т. 1. – С. 2–30.

Шатилов, М. Б. Обзор деятельности Томского краевого музея (1927–1928 гг.) / М. Б. Шатилов // Тр. / Томск. краевед. музей. – Томск : [б. и.], 1929. – Т. 2. – С. 92–104.

Периодические издания

Алтайская правда : краев. массовая газ. : орган Барнауль. горкома ВКП(б) и горсовета ; 1937, окт. – 1938, янв. – орган оргбюро ЦК ВКП(б), оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю, Барнаульского горкома ВКП(б); 1938 – орган крайкома ВКП(б), оргкомитета ВЦИК по Алт. краю, Барнауль. горкома ВКП(б); 1939–1940 – орган Алт. краевого и Барнауль. горкома ВКП(б), оргкомитета Президиума Верховного совета РСФСР по Алт. краю; 1940–1952 – орган Алт. краевого и Барнауль. горкома ВКП(б), Алт. краев. совета депутатов трудящихся. – Барнаул. – 1937, 9 окт. – 1941, 22 июня.

Алтайский коммунист : газ. : орган Алт. губ. бюро РКП(б) и Алт. губревкома / ред. А. И. Шмелев. – Барнаул. – 1920, 20 янв. – 1920, 28 авг.

За социалистическую реконструкцию городов : журн. : орган Всероссийского совета по делам коммунального хозяйства при ЦИК СССР и Наркомхозе РСФСР. – М. – 1932–1933.

Знамя революции : ежедн. газ. : орган Томского губревкома / ред. В. Д. Вегман. – Томск. – 1920, февр. – 1921, сент.

Коммунальное дело : сб. Главного управления коммунального хозяйства НКВД / ред. В. Н. Толмачев [и др.]. – М. : Совет. законодательство. – 1921–1931.

Коммунальное хозяйство : журн. Московского обл. коммунального хозяйства. – М. : Изд-во Мособлисполкома. – 1922–1932.

Красное знамя : газ. : орган Новониколаев. ревкома и Общегородского ком. РКП(б) / ред. А. Мильчаков. – Новониколаевск. – 1920, янв. – 1920, май.

Красное знамя : газ. – Томск. – 1921, 1 окт. – 1941, 22 июня.

Красный Алтай : газета : 1920–1922 гг. – орган Алт. губисполкома Советов; 1922–1923 – орган Алт. губисполкома Советов и Алтайского губкома РКП(б); 1923 (21 дек.) – 1925 – орган губисполкома губпрофсовета и губкома РКП(б); 1926–1927 – орган окружкома ВКП(б), окрисполкома и окрпрофсовета; 1928–1930 – ежедн. газ. Барнаул. окружкома ВКП(б) / ред. (в разные годы): П. П. Канцелярский, С. Е. Кожевников. – Барнаул. – 1920, 31 авг. – 1937, 9 окт.

Новосибирский рабочий : газ. : орган Новосиб. горкома ВКП(б), гор. совета и горпрофсоюза. – Новосибирск. – 1932–1933.

Обская жизнь : газ. обществ., полит.-экон. и лит. / ред. А. Г. Новицкий. – Новониколаевск (Томская губ.). – 1909–1912.

Омская правда : газ. : орган Омского обкома КПСС и обл. совета депутатов трудящихся. – Омск. – 1937–1941.

Рабочий путь : газ. : 1921 (15 июня) – 1925 (13 окт.) – орган Омского губисполкома и губкома РКП(б); 1925 (14 окт.) – 1930 (10 авг.) – газ. Омского горкома ВКП(б); с 1931 – ежедн. газ. горкома ВКП(б), горсовета. – Омск. – 1921–1934.

РСФСР. Народный комиссариат внутренних дел : Бюл. Народ. комиссариата внутр. дел РСФСР. – М. – 1921–1930.

РСФСР. Народный комиссариат коммунального хозяйства : Бюл. Глав. упр. коммунального хоз-ва при СНК РСФСР. – М. : Сов. законодательство. – 1931–1940.

Сибирская новь : обществ., полит.-эконом. и лит. газ. / ред. В. М. Бахметьев. – Новониколаевск (Томская губ.). – 1913.

Сибирские огни : лит.-худож. и науч.-публ. орган Сибгосиздата и Сибполитпросвета. – Новониколаевск (Новосибирск). – 1923–1941.

Исследовательская литература

Опубликованные исследования

Абрамов, А. С. У кремлевской стены / А. С. Абрамов. – М. : Политиздат, 1987. – 368 с.

Абрамов Р. Н. Музеефикация советского: историческая травма или ностальгия? [Электронный ресурс] / Р. Н. Абрамов // Гефтер : электрон. журн. – 2014. – Режим доступа: <http://gefeter.ru/archive/11132> (дата обращения: 06.01.2016).

Абрамова, Ю. А. Барнаульский музей в 1917–1941 гг. / Ю. А. Абрамова // Краеведческие записки : сб. статей. – Барнаул : [б. и.], 2001. – Вып. 4. – С. 57–66.

Абрамова, Ю. А. Музей Общества исследования Алтая : (из истории АГКМ в 1891–1920 гг.) / Ю. А. Абрамова // Краеведческие записки : сб. – Барнаул : [б. и.], 1999. – Вып. 3. – С. 23–31.

Агафонов, Н. Я. Казань и казанцы: археология, история, этнография, быт религиозный, домашний и общественный, биографии, мемуары, воспоминания, письма, предания, легенды, сказания старожилов / Н. Я. Агафонов. – Казань : Типолит. И. С. Перова, 1906. – Ч. 1. – 113 с.

Агеева, О. Г. Светские ежегодные праздники русского двора от Петра до Екатерины Великой / О. Г. Агеева // Отечественная история. – 2006. – № 2. – С. 11–26.

Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрьской революции : кат. выставки / сост. Л. В. Андреева. – М. : Сов. художник, 1967. – 63 с.

Агурский, С. Борьба за Октябрь в Москве / С. Агурский. – М. : Моспартиздат, 1933. – 96 с.

Адоньева, С. Б. Дух народа и другие духи / С. Б. Адоньева. – СПб. : Амфора, 2009. – 258 с.

Адорно, Т. Что означает «проработка прошлого» / Т. Адорно // Память о войне 60 лет спустя : Россия. Германия. Европа : сб. статей / ред. М. Габович. – М. : НЛЮ, 2005. – С. 64–80.

Адрианов, А. В. Прошлое Томска / А. В. Адрианов // Город Томск. – Томск : Сиб. товарищество печат. дела, 1912. – С. 101–183.

Азадовский, М. К. Ленские причитания / М. К. Азадовский // Тр. / Гос. ин-т нар. образования в Чите. – Чита: [б. и.], 1922. – Кн. 1. – С. 121–248.

Акимов, П. А. Надгробие и эпитафия эпохи романтизма в России / П. А. Акимов. – М. : Спутник+, 2007. – 65 с.

Аксёнов, В. С. Организация массовых праздников трудящихся (1918–1920) : учеб. пособие по курсу «История массовых праздников» / В. С. Аксенов. – Л. : [б. и.], 1974. – 76 с.

Александро-Невская лавра : архитектурный ансамбль и памятники некрополей / авт.-сост.: А. И. Кудрявцев, Г. Н. Шкода. – Л. : Художник РСФСР, 1986. – 304 с.

Алексеев, В. Л. Ярославский некрополь / В. Л. Алексеев. – Ярославль : Яросл. ист.-архитектур. музей-заповедник, 2000. – Вып. 1 : Тугова гора. – 55 с.

Алисов, Д. А. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914) : моногр. / Д. А. Алисов. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2006. – 337 с.

Алисов, Д. А. Культура городов Прииртышья в XIX – начале XX в. : моногр. / Д. А. Алисов. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2001. – 200 с.

Андрианова, Н. Ю. Концепция «пролетарской культуры» и монументальная Лениниана как отражение идеологических установок в обществе в первые годы советской власти (1917–1927) / Н. Ю. Андрианова. – М. : Триада-фарм, 2008. – 142 с.

Андерсон, В. М. Русский некрополь в чужих краях / В. М. Андерсон. – СПб. : РАН : Альфарет, 2006. – 101 с.

Антипин, Н. А. 50-летие Русско-Японской войны в СССР: коммеморативные практики (1954–1955) / Н. А. Антипин // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. – 2012. – № 40. – С. 79–93.

Анциферов, Н. П. Главная улица города / Н. П. Анциферов // На путях краеведения. – М. : Мир, 1926. – С. 99–106.

Анциферов, Н. П. Непостижимый город / Н. П. Анциферов. – СПб. : Лениздат, 1991. – 333 с.

Артюхова, И. В. Традиционная культура русских в фондах Томского областного краеведческого музея / И. В. Артюхова. – Томск : Изд-во ТГУ, 2010. – 222 с.

Артюхова, И. В. Экспедиции М. Б. Шатилова к русскому населению Томского края / И. В. Артюхова // Тр. / Томск. обл. краевед. музей / под. ред. В. П. Зиновьева. – Томск : Ветер, 2008. – Т. 15. – С. 16–25.

Аръес, Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Аръес ; пер. с фр. В. К. Ронина. – М. : Прогресс : Прогресс-академия, 1992. – 526 с.

Ассман, А. Длинная тень прошлого : мемориальная культура и историческая политика / А. Ассман ; пер. с нем. Б. Хлебникова. – М. : НЛО, 2014. – 324 с.

Ассман, Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман ; пер. с нем. М. М. Сокольской. – М. : Языки славян. культуры, 2004. – 363 с.

Баберовски, Й. Красный террор : история сталинизма / Й. Баберовски ; пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. – М. : Фонд первого Президента России Б. И. Ельцина : РОССПЭН, 2007. – 277 с.

Байбурова, Р. М. Праздники в Москве 100 лет назад / Р. М. Байбурова // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв.: очерки истории и теории / [ред.-сост. Е. В. Дуков]. – СПб. : Д. Буланин, 2000. – С. 258–280.

Балан, В. Сталин и убийство Кирова [Электронный ресурс] / В. Балан // Лебедь : независимый альм. – 2002. – № 300 (1 дек.). – Режим доступа: <http://www.lebed.com/2002/art3162.htm> (дата обращения: 10.02.2016).

Баландин, С. Н. Новосибирск: история градостроительства 1893–1945 гг. / С. Н. Баландин. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 136 с., 24 л. ил.

Бардина, П. Е. Быт русских сибиряков Томского края / П. Е. Бардина. – Томск : Изд-во ТомГПУ, 1995. – 223 с.

Бардина, П. Е. Материалы о похоронно-поминальном обряде русского населения Среднего Приобья в конце XIX – начале XX в. / П. Е. Бардина // Обряды народов Западной Сибири / под ред. В. М. Кулемзина. – Томск : Изд-во ТГУ, 1990. – С. 166–178.

Барнаул: летопись города : в 2 ч. / сост.: А. М. Родионов, В. Ф. Гришаев. – Барнаул : Силуэт-континент, 1994.

Барнаул : энциклопедия / под ред. В. А. Скубневского [и др.]. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2000. – 408 с.

Безродная, О. А. Западно-Сибирский краевой музей (1921–1934 гг.) / О. А. Безродная // Изв. / Омск. гос. ист.-краевед. музей : сб. науч. тр. – Омск : [б. и.], 2013. – № 18. – С. 31–51.

Безродная, О. А. Общество изучения Сибири и ее производительных сил: трагический финал // Седьмые Всерос. краевед. чтения, Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г. / отв. ред. В. Ф. Козлов. – М. ; Омск : Краеведение, 2013. – С. 577–584.

Беликов, Д. Н. Старинный Свято-Троицкий собор в г. Томске / Д. Н. Беликов. – Томск : Типогр. А. К. Орлова, 1900. – 30 с.

Беляев, В. О кладбищах в Санкт-Петербурге / В. Беляев. – СПб. : Тип. В. Велленга, 1872. – 110 с.

Беляева, Г. «Вы жертвою пали» : феномен присвоения смерти в советской традиции [Электронный ресурс] / Г. Беляева, В. Михайлин // Археология русской смерти : блог по некросоциологии, антропологии, фольклористике : практики памяти и визуализация смерти. – Режим доступа: <http://nebokakcofe.ru/archives/1339> (дата обращения: 08.02.2016).

Бердинских, В. А. Крестьянская цивилизация в России / В. А. Бердинских. – М. : Аграф, 2001. – 427 с.

Бережнова, М. Л. К вопросу о генезисе погребального обряда русских сибиряков / М. Л. Бережнова // Сибирский сборник – 1 : погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий / отв. ред. Л. Р. Павлинская. – СПб. : МАЭ РАН, 2009. – Кн. 2. – С. 109–117.

Бережнова, М. Л. Погребальный обряд русских старожилов Среднего Прииртышья / М. Л. Бережнова // Этнографо-археологические комплексы : проблемы культуры и социума / отв. ред. Н. А. Томилов. – Новосибирск : Наука, 1997. – Т. 2 : Культура тарских татар. – С. 163–177.

Бережнова, М. Л. Православные нормы в погребальном обряде русских Среднего Прииртышья / М. Л. Бережнова // Народная культура : сб. статей / под ред. Т. Г. Леоновой. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 1997. – С. 40–44.

Беседина, Е. А. «В этом здании жил и работал» : мемориальные доски как образ исторической памяти / Е. А. Беседина, Т. В. Буркова // Тр. / Санкт-Петербург. ун-т, ист. фак. – 2013. – № 16. – С. 45–67.

Беседина, Е. А. «Кровавое воскресенье» в повседневной революционной практике (символ, ритуал, историческое событие) / Е. А. Беседина // Историческая память и социальная стратификация: социокультурный аспект : материалы XVII Междунар. науч. конф. / под ред. С. Н. Полторака. – СПб. : Нестор, 2005. – Ч. 1. – С. 73–75.

Беседина, Е. А. Российские социал-демократы в рабочей среде: повседневная революционная практика (1905–1907 гг.) / Е. А. Беседина // Рабочие – предприниматели – власть в XX в. / отв. ред. А. М. Белов. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова, 2005. – Ч. 2. – С. 6–14.

Бибикова, И. М. Как праздновали десятилетие Октября / И. М. Бибикова // Декоративное искусство. – 1966. – № 11. – С. 5–10.

Блинова, О. В. Архив Великой войны: особенности истории комплектования / О. В. Блинова // Вторые Ядринцевские чтения : материалы II Всерос. науч.-практ. конф, посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны / под. ред. П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой. – Омск : ОГИК музей, 2014. – С. 148–149.

Богуславский, А. В. Из истории советского законодательства об охране памятников : (Декрет 5 октября 1918 г.) / А. В. Богуславский // Правоведение. – 1987. – № 5. – С. 87–93.

Богуславский, Г. А. Памятники Сибири : Западная Сибирь и Красноярский край / Г. А. Богуславский. – М. : Сов. Россия, 1974. – 385 с.

Бойко, В. П. Томское купечество в конце XVIII – XIX в. : из истории формирования сибирской буржуазии / В. П. Бойко. – Томск : Водолей, 1996. – 309 с.

Бордюгов, Г. А. Октябрь. Сталин. Победа : культ юбилеев в пространстве памяти / Г. А. Бордюгов. – М. : АИРО-XXI, 2010. – 256 с.

Брат, А. Звезды светят из прошлого : документальная повесть о Н. М. Тихомирове / А. Брат. – Новосибирск : Сиб. горница, 2003. – 68 с.

Братская могила : биографический словарь умерших и погибших членов Московской организации РКП(б) : в 2 т. / Моск. ком. РКП ; Губ. бюро Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (Истпарт). – М. : Моск. рабочий, 1922–1923.

Бродский, И. Кладбища Омска / И. Бродский // Омский вестн. – 1994. – 27 янв.

Бродский, И. Метастазы беспамятства / И. Бродский // Омский вестн. – 1996. – 5 янв.

Бродский, И. Чтить сограждан своих / И. Бродский, А. Лосунов // Вечерний Омск. – 1999. – 2 апр.

Бродский, Н. Л. Пушкин: биография / Н. Л. Бродский. – М. : Госполитиздат, 1937. – 893 с.

Букин, С. С. Новосибирцы: очерки истории повседневной жизни, конец XIX – начало XXI в. / С. С. Букин, В. И. Исаев. – Новосибирск : Сиб. науч. изд-во, 2008. – 270 с.

Бугров, Ю. А. Курский некрополь : Никитское и Всехсвятское кладбища : опыт науч. исследования / Ю. А. Бугров. – Курск : Курск. обл. краевед. о-во, 2003. – 75 с.

Вавилова, М. А. Фольклор в контексте культуры: похоронно-поминальные обряды / М. А. Вавилова. – Вологда : Граффити, 2010. – 122 с.

Ваннер, К. Переживаемая религия: концептуальная схема для понимания погребальных обрядов приграничных районов Советской Украины / К. Ваннер // Государство, религия, церковь в России и за Рубежом. – 2012. – №3–4. – С. 464–484.

Васильев, А. Г. Культурная память / забвение и национальная идентичность: теоретические основания анализа / А. Г. Васильев [Электронный ресурс] // Культурная память в контексте формирования национальной идеи России в XXI в. – М., 2011. – Режим доступа: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2012/19_11_2012_7.pdf (дата обращения: 01.02.2016).

Васильев, А. Г. Современные memory studies и трансформация классического наследия / А. Г. Васильев // Диалоги со временем : память о прошлом в контексте истории / под ред. Л. П. Репиной. – М. : Либроком, 2008. – С. 20–21.

Васильев, А. Г. Феномен творчества в контексте memory studies / А. Г. Васильев // Ярославский педагогический вестн. – 2013. – № 1. – Т. 1 : (Гуманит. науки). – С. 227–231.

Вегман, В. Д. Как и почему пала в 1918 г. советская власть в Томске / В. Д. Вегман // Сибирские огни. – 1923. – №1–2. – С. 127–147.

Вегман, В. Д. Восстание омских рабочих против колчаковщины, 22 декабря 1918 г. / В. Д. Вегман // Сибирские огни. – 1934. – № 1. – С. 200–207.

Вельцер, Х. История, память и современность прошлого : память как арена политической борьбы // Память о войне 60 лет спустя : Россия, Германия, Европа : сб. ст. / ред. М. Габович. – М. : НЛЮ, 2005. – С. 51–63.

Вибе, П. П. 120 лет Омского государственного историко-краеведческого музея: хроника основных событий / П. П. Вибе // Изв. / Омск. гос. ист.-краевед. музей : сб. науч. тр. – Омск : ОГИК музей, 1998. – № 6. – С. 11–51.

Вибе, П. П. О создании в Омске «Музея Гражданской войны в Сибири» / П. П. Вибе // Катанаевские чтения : материалы Шестой Всерос. науч.-практ. конф. – Омск : Наука, 2006. – С. 170–174.

Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь : Исторические портреты. Хранители памяти. Памятники истории и культуры. События, связанные с историей Омского Прииртышья / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М. : Альм. «Отечество», 1994. – 317 с.

Вибе, П. П. Основные этапы истории и перспективы развития Омского государственного историко-краеведческого музея / П. П. Вибе // Музей и общество на пороге XXI в. : материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 120-летию Омского гос. ист.-краевед. музея / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск : Изд-во ОГИК музея, 1998. – С. 2–7.

Вибе, П. П. Память поколений в Омском музее / П. П. Вибе // Музей и его коллекции : к 130-летию основания Омского государственного историко-краеведческого музея / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск : Русь, 2008. – С. 6–17.

Вибе, П. П. Старо-Северное кладбище г. Омска / П. П. Вибе, Н. М. Пугачёва // Памятники истории и культуры Омской области / под ред. П. П. Вибе. – Омск : РИО, 1995. – Вып. 2. – С. 145–165.

Виноградов, Г. С. Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилого населения Сибири // Сборник трудов профессоров и преподавателей государственного Иркутского университета. – Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 1923. – Вып. 5. – С. 261–345.

Воинский некрополь Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : Преображенское кладбище / сост. В. С. Алексинцев [и др.]. – М. : [б. и.], 1994. – 279 с.

Волков, В. В. Концепция культурности, 1935–1938 гг. : советская цивилизация и повседневность сталинского времени / В. В. Волков // Социологический журнал. – 1996. – № 1/2. – С. 194–213.

Волков, Е. В. «Гидра контрреволюции» : Белое движение в культурной памяти советского общества / Е. В. Волков. – Челябинск: Челяб. дом печати, 2008. – 392 с.

Волков, Е. В. «Колчаковщина» в советском игровом кино / Е. В. Волков // Новый исторический вестн. – 2013. – Вып. 35. – С. 84–108.

Волков, Е. В. «Правитель омский» : образ адмирала А. В. Колчака в советской художественной литературе / Е. В. Волков // Проблемы российской истории. – 2010. – № 1. – С. 262–273

Воронов, Н. В. Вера Мухина : моногр. / Н. В. Воронов. – М. : Изобраз. искусство, 1989. – 336 с.

Восточно-сибирские сказки М. К. Азадовского / вступ. ст. А. А. Горелова ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. – СПб. : Тропа Троянова, 2006. – 532 с.

Вострикова, В. В. Похороны Столыпина [Электронный ресурс] / В. В. Вострикова // Фонд «Русское либеральное наследие» : web-сайт. – Режим доступа: rusliberal.ru/full/novostnoj_razdel_tcentralnij/aleksej_kara-murza_petr_stolipin_tragicheskaya_figura/ (дата обращения: 08.02.2016).

Врангель, Н. Забытые могилы / Н. Врангель // Старые годы. – 1907. – № 2. – С. 35–49.

Галай, Ю. В. Правовая охрана культовых памятников в первые годы советской власти / Ю. В. Галай // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья : тез. докладов III Регион. науч.-практ. конф. «Проблемы исследования памятников Верхнего Поволжья» / отв. ред. Ф. В. Васильев. – Горький : [б. и.], 1990. – С. 36–44.

Галкин, А. Общественный прогресс и мобилизационная модель развития / А. Галкин // Коммунист. – 1990. – № 18. – С. 23–33.

Гарданов, В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы советской власти / В. К. Гарданов // История музейного дела в СССР : сб. ст. – М. : Госкультпросветиздат, 1957. – [Вып. 1]. – С. 7–36. – (Тр. / Науч.-исслед. ин-та музееведения).

Гедрене, Р. К. Гражданские похороны в Литве / Р. Г. Гедрене // Традиционные и новые обряды в быту народов СССР : сб. ст. – М. : Наука, 1981. – С. 125–134.

Генкин, Д. М. Массовые праздники : учеб. пособие для институтов культуры / Д. М. Генкин. – М. : Просвещение, 1975. – 140 с.

Герасимов, С. Первое празднество Октябрьской революции / С. Герасимов // Искусство. – 1957. – № 7. – С. 44–45.

Гефнер, О. В. Роль военных в организации Омского музея // Музей и общество на пороге XXI в. : материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 120-летию Омского гос. ист.-краевед. музея / отв. ред. П. П. Вибс. – Омск : Изд-во ОГИК музея, 1998. – С. 148–150.

Гладышев, В. Ф. Перми старинное зеркало : история Перми в зеркале некрополя / В. Ф. Гладышев. – Пермь : Раритет-Пермь, 2001. – 173 с.

Глебкин, В. В. Ритуал в советской культуре / В. В. Глебкин. – М. : Янус-К, 1998. – 167 с.

Годунова, Л. Н. Органы управления музейным делом в СССР, 1917–1941 гг. / Л. Н. Годунова // Музейное дело в СССР / отв. ред. Т. Г. Шумная. – М. : [б. и.], 1989. – Вып. 19 : Музейное строительство в СССР. – С. 13–42.

Головкова, Л. А. Из истории советских крематориев [Электронный ресурс] / Л. А. Головкова // Русский дом: для тех, кто любит Россию. – 2011. – № 7. – Режим доступа: <http://russsdom.ru/node/4102> (дата обращения: 28.09.2015).

Голубев, А. В. Тоталитаризм как феномен истории XX в. / А. В. Голубев // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.) / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории ; [редкол. : В. П. Дмитренко и др.]. – М. : [б. и.], 1997. – С. 7–33.

Голубкова, О. В. Особенности похоронного обряда у украинцев и русских старожилов юга Западной Сибири / О. В. Голубкова // Русские старожилы и переселенцы Сибири в историко-этнографических исследованиях / под ред. Е. Ф. Фурсовой, Ф. Ф. Болонева. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – С. 205–213.

Гончаров, Ю. М. Городские праздники в Западной Сибири в середине XIX – начале XX в. / Ю. М. Гончаров // Вестн. / ТомГПУ. – 2004. – № 4. – С. 9–15.

Гревс, И. М. Краеведение и экскурсионное дело / И. М. Гревс // Вопросы экскурсионного дела по данным Петроградской экскурсионной конференции 10–12 марта 1923 г. / под общ. ред. Б. Е. Райкова. – Пг. : Культ.-просвет. кооп. изд-во «Начатки знаний», 1923. – С. 3–10.

Гревс, И. М. Монументальный город и исторические экскурсии: (основная идея образовательных путешествий по крупным центрам культуры) / И. М. Гревс // Экскурсионное дело. – 1921. – № 1. – С. 1–14.

Гречухин, П. Б. Выход «Краткого курса истории ВКП(б)» и предвоенное общество [Электронный ресурс] / П. Б. Гречухин, В. Н. Данилов // Альманах «Восток». – 2005. – Вып. 1/2. – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_740.htm (дата обращения: 01.02.2016).

Гришаев, В. Ф. Барнаульский музей в 1863 г. / В. Ф. Гришаев // Алтайский сборник. – Барнаул : [б. и.], 1993. – Вып. 17. – С. 32–38.

Гришаев, В. Ф. Барнаульский некрополь : (к истории Нагорного кладбища) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края : материалы науч.-практ. конф. – Барнаул : [б. и.], 1995. – Вып. 5, ч. 1. – С. 171–177.

Громыко, М. М. Святой праведный старец Федор Кузьмич Томский – Александр I Благословенный: исследование и материалы к житию / М. М. Громыко. – М. : Паломник, 2007. – 512 с.

Гузеева, В. Т. Семья Шамшиных: шаги в бессмертие / В. Т. Гузеева. – 2-е изд., доп. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1989. – 160 с.

Длужневская, Г. В. Утраченные храмы Петербурга / Г. В. Длужневская. – СПб. : Литера, 2003. – 271 с.

Дмитриенко, Н. М. День за днем, год за годом : хроника жизни Томска / Н. М. Дмитриенко. – Томск : Изд-во ТГУ, 2003. – 346 с.

Дмитриенко, Н. М. К истории создания Сибирского областного научно-художественного музея в Томске (1911–1920 гг.) / Н. М. Дмитриенко // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2013. – № 381. – С. 119–122.

Дмитриенко, Н. М. О создании музея-скансена в Томске / Н. М. Дмитриенко // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2013. – № 377. – С. 71–72.

Дмитриенко, Н. М. О публикации траурных сообщений в томской газете «Красное знамя» (1940–1962) / Н. М. Дмитриенко, А. А. Монгуш // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2012. – № 10 (636). – С. 89–91.

Дмитриенко Н. М. Первый Музейный съезд как фактор эволюции музейного мира России / Н. М. Дмитриенко, Л. А. Лозовая // Вестн. / Томск. гос. ун-т : сер. «История». – 2013. – № 6 (26). – С. 193–197.

Дмитриенко, Н. М. Первый опыт музейного проектирования в Томске / Н. М. Дмитриенко // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2013. – № 372. – С. 98–100.

Дмитриенко, Н. М. У истоков музейного дела в Томске / Н. М. Дмитриенко // Тр. / Томск. обл. краевед. музей. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002. – Т. 11. – С. 178–187.

Добренко, Е. А. Музей революции : советское кино и сталинский исторический нарратив / Е. А. Добренко. – М. : НЛО, 2008. – 416 с.

Добренко, Е. А. Политэкономия соцреализма / Е. А. Добренко. – М. : НЛО, 2007. – 587 с.

Добренко, Е. М. Сталинская культура: вслушиваясь в письмо, читая голос [Электронный ресурс] / Е. М. Добренко // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 117. – Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/2642> (дата обращения: 09.02.2016).

Добрынин, М. Н. Кладбища Новосибирска (Новониколаевска) / Н. М. Добрынин // Материалы Новосибирской генеалогической конференции, проведенной Новосибирским историко-родословным обществом совместно с Домом народного творчества Новосибирской области. – Новосибирск : [б. и.], 2003. – С. 6–9.

Дукельский, В. Ю. В поисках музейной концепции истории / В. Ю. Дукельский // Музейная экспозиция: теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и концепции / отв. ред. М. Т. Майстровская. – М. : Изд-во Рос. ин-та культурологии, 1997. – С. 33–41.

Дульзон, А. П. Археологические памятники Томской области : (материалы к археологической карте Среднего Приобья) / А. П. Дульзон // Тр. / Томск. обл. краевед. музей / отв. ред. Н. М. Петров. – Томск : [б. и.], 1956. – Т. 5. – С. 100–130.

Дэвис, С. Мнение народа в сталинской России: террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941 гг. / С. Дэвис ; [пер. с англ. В. Н. Морозова]. – М. : РОССПЭН, 2011. – 229 с.

Евтропов, К. Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске / К. Н. Евтропов. – Томск : тип. Епарх. братства, 1904. – 423 с.

Елизарьева, М. К созданию Томского областного музея краеведения / М. К. Елизарьева // Красное знамя. – 1949. – 16 апреля.

Еперина, Г. С. Омск в годы Первой мировой войны : обзор коллекции документов в фондах ОГИК музея / Г. С. Еперина // Вторые Ядринцевские чтения : материалы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны / под ред. П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой. – Омск : ОГИК музей, 2014. – С. 177–180.

Ермонская, В. В. Советская мемориальная скульптура : (к истории становления и развития русского советского художественного надгробия) / В. В. Ермонская. – М. : Сов. художник, 1979. – 214 с.

Ершов, В. П. Ель – древо мертвых [Электронный ресурс] / В. П. Ершов // Музей-заповедник «Кижи»: web-сайт : электрон. б-ка. – Режим доступа: <http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2003/102.html> (дата обращения: 09.02.2016).

Ефимова, А. В. Современные художественные практики в пространстве города как средство актуализации коллективной культуры памяти [Электронный ресурс] / А. В. Ефимова // Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS): web-сайт : электрон. б-ка. – Режим доступа: <http://cultcenter.net/journals/index.php/culture/article/viewFile/53/40> (дата обращения: 28.01.2016).

Жигунова, М. А. О похоронной обрядности сибирских казаков / М. А. Жигунова // Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. – Алматы ; Омск : [б. и.], 2004. – С. 191–194.

Жигунова, М. А. Обряды похоронно-поминального цикла у русских Сибири (вторая половина XX – начало XXI в.) / М. А. Жигунова // Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. – Омск : Изд-во ОмГПУ; Изд. дом «Наука», 2010. – С. 123–126.

Жигунова, М. А. СобираТЕЛЬСкая работа Новосибирского областного краеведческого музея в конце XX в. / М. А. Жигунова, Н. А. Томилов, О. В. Деш // Русский вопрос: история и современность : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. «Русский вопрос: история и современность». – Омск : Наука, 2007. – С. 394–397.

Жуков, Ю. Н. Роль права в охране культурно-исторического наследия в первые годы советской власти / Ю. Н. Жуков // Советское государство и право. – 1983. – № 11. – С. 117–122.

Жуков, Ю. Н. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры, 1917–1920 гг. / Ю. Н. Жуков. – М. : Наука, 1989. – 302 с.

Забелин, И. М. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях / И. М. Забелин. – М. : Ин-т рус. цивилизации, 2014. – 1047 с.

Забылин, М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия : в 4 ч. / собр. М. Забылиным. – М. : М. Березин, 1880. – 607 с.

Загидуллина, М. В. Мифотворческая функция слухов в рамках фольклета : к вопросу о расширении классической теории фольклора / М. В. Загидуллина // Вестн. / Челяб. гос. ун-т. – 2009. – № 34. – С. 37–42.

Закс, А. Б. Всероссийский музейный съезд / А. Б. Закс // Вопр. истории. – 1980. – № 12. – С. 164–167.

Закс, А. Б. Музеи исторического профиля в 1917–1934 гг. / А. Б. Закс // История СССР. – 1962. – № 5. – С. 136–170.

Зеленин, Д. К. Избранные труды : очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки / Д. К. Зеленин. – М. : Индрик, 1995. – 430 с.

Зелов, Д. Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII в. : (история триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы) / Д. Д. Зелов. – М. : УРСС, 2002. – 303 с.

Зиновьев, В. П. Об октябрьских событиях 1905 г. в Томске / В. П. Зиновьев // Революция 1905–1907 гг. и общественное движение в Сибири и на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. / под ред. А. П. Толочко. – Омск : Изд-во ОмГУ, 1995. – С. 80–94.

Иванова, И. В. Современная советская монументально-декоративная скульптура / И. В. Иванова, А. В. Стригалева. – М. : Знание, 1967. – 48 с.

Измозик, В. С. Петербург советский : «новый человек» в старом пространстве, 1920–1930-е гг. : (социально-архитектурное микроисторическое исследование) / В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. – СПб. : Крига, 2010. – 248 с.

Иов (Гумеров). Вечная память: православный обряд погребения и поминовения усопших / Иов (Гумеров), иером., П. Гумеров, свящ. – М. : Изд-во Моск. патриархии Рус. православ. церкви, 2011. – 160 с.

Ионова, О. В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток (1928–1941) / О. В. Ионова // Очерки истории музейного дела в СССР : сб. ст. / НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. – М. : Госкультпросветиздат, 1963. – Вып. 5. – С. 84–118.

Исаев, В. И. Необычные судьбы обычных людей : советская повседневность в 1920–1930-е гг. / В. И. Исаев ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. – Новосибирск : Параллель, 2008. – 187 с.

Исаева, Л. Ю. Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохранение памятников архитектуры в Томске [Электронный ресурс] / Л. Ю. Исаева. – Томск : Томск. обл. краевед. музей, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Историческая политика в XXI в. / науч. ред. : А. Миллер, М. Липман. – М. : НЛЮ, 2012. – 647 с.

История Сибири с древнейших времен до наших дней / гл. ред. : А. П. Окладников, В. И. Шунков. – Л. : Наука, 1968. – Т. 3 : Сибирь в эпоху капитализма / отв. ред. Ф. А. Кудрявцев. – 532 с. ; Т. 4 : Сибирь в период строительства социализма / под ред. И. М. Разгона [и др.]. – 504 с.

Историческая наука сегодня: теория, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. – М. : ЛКИ, 2012. – 607 с.

Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. / гл. ред. В. А. Ламин ; отв. ред. П. И. Клименко. – Новосибирск : Ист. наследие Сибири, 2010.

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика : учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова [и др.] ; под ред. А. К. Соколова. – М. : Высш. школа, 2004. – 687 с.

Итенберг, Б. С. Россия и Парижская коммуна / Б. С. Итенберг. – М. : Наука, 1971. – 202 с.

Их имена вечно будут жить в народе : кладбище героев Великой Отечественной войны в Ужгороде : фотоальбом. – Ужгород : [б. и.], 1961. – 58 с.

Кабанов, К. А. Роль Общества изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС) в изучении освоения Сибирского региона / К. А. Кабанов // Культура и интеллигенция России: интеллектуальное пространство (Провинция и Центр), XX в. – Омск : ОмГУ, 2000. – С. 112–116.

Калужский некрополь / сост. Л. М. Лисицын. – Калуга : Облиздат, 2009. – 241 с.

Караваяева, Е. В. Устройство сельского православного погоста в конце XIX – начале XX в. (на примере Томской губернии) / Е. В. Караваяева // Макарьевские чтения : материалы IX Междунар. конф. / отв. ред. В. Г. Бабин. – Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2011. – С. 74–89.

Католический некрополь г. Томска (1841–1919 гг.) / сост.: В. А. Ханевич, Г. А. Караваяева. – Томск : [б. и.], 2001. – 281 с.

Каулен, М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России / М. Е. Каулен. – М. : Этерна, 2012. – 423 с.

Качемцева, А. А. Традиции некрокультуры как форма сохранения социально-исторической памяти / А. А. Качемцева // Вестн. / Бурят. гос. ун-т. – 2010. – № 6. – С. 276–279.

Кирилина, А. А. Неизвестный Киров: мифы и реальность / А. А. Кирилина. – СПб. : Нева : Олма-пресс, 2002. – 543 с.

Кирпотин, В. Я. Александр Сергеевич Пушкин, 1799–1837 / В. Я. Кирпотин. – М. : Худож. лит., 1937. – 154 с.

Кирпотин, В. Я. Наследие Пушкина и коммунизм / В. Я. Кирпотин. – М. : Госполитиздат, 1938. – 231 с.

Книга расстрелянных : мартиролог погибших от руки НКВД в годы Большого террора (Тюменская область) : в 2 т. / сост. Р. С. Гольдберг. – Тюмень : Тюмен. курьер, 1999.

Ковалёв, М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.) / М. В. Ковалёв. – Саратов : Саратов. гос. тех. ун-т, 2012. – 405 с.

Кознова И. Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства / И. Е. Кознова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : [б. и.], 2000. – 207 с.

Колесников, А. Д. Памятники и памятные места Омска и области / А. Д. Колесников. – Омск : Кн. изд-во, 1987. – 155 с.

Колоницкий, Б. И. Символы власти и борьба за власть : к изучению политической культуры российской революции 1917 г. / Б. И. Колоницкий. – СПб. : Д. Буланин, 2011. – 347 с.

Компанец, С. Е. Надгробные памятники XVI – первой половины XIX в. / С. Е. Компанец. – М. : Мосгорпечать, 1990. – 68 с.

Копосов, Е. Н. Память строго режима : история и политика в России / Е. Н. Копосов. – М. : НЛО, 2011. – 320 с.

Корсакова, М. И. Погосты, кладбища, братские могилы / М. И. Корсакова // История города : Новониколаевск – Новосибирск : ист. очерки / гл. ред. А. Ф. Косенков. – Новосибирск : Ист. наследие Сибири, 2005. – С. 349–364.

Костомаров, Н. И. Очерки домашней жизни и нравов в XVI–XVII столетиях / Н. И. Костомаров. – М. : Республика, 1993. – 301 с.

Косякова, Е. И. Новый быт Сибирского Чикаго : очерки городской повседневности Новосибирска между войнами / Е. И. Косякова. – Новосибирск : Сиб. горница, 2006. – 237 с.

Котляревский, А. А. О погребальных обычаях языческих славян / А. А. Котляревский. – М. : Тип. К. А. Попова, 1868. – 26 с.

Котнев, В. А. Материалы по истории Нагорного кладбища г. Барнаула / В. А. Котнев // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края : материалы науч.-практ. конф. – Барнаул : [б. и.], 1995. – Вып. 5, ч. 1. – С. 178–185.

Кочедамов, В. И. Омск : как рос и строился город / В. И. Кочедамов. – Омск : Кн. изд-во, 1960. – 112 с.

Красильников, Р. Л. «Живой труп» в русской литературе [Электронный ресурс] / Р. Л. Красильников // Русская культура нового столетия : проблемы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия. – Вологда, 2007. –

С. 594–600. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/suda/kov/6_03.htm (дата обращения 30.01.2016).

Красильников, С. А. Общество изучения Сибири: от рассвета до заката (1925–1931) / С. А. Красильников // Наука в Сибири. – 2000. – 12 мая.

Красильников, С. А. Социальная мобилизация как системная характеристика сталинского режима: природа, формы, функции // История сталинизма: итоги и проблемы изучения : материалы Междунар. науч. конф. / под ред. Й. Баберовски. – М. : РОСПЭН, 2011. – С. 150–159.

Красильникова, Е. И. Жизнь в городе-акселерате : обеспечение потребностей новосибирцев в межвоенное время (конец 1919 – первая половина 1941 г.) : моногр. / Е. И. Красильникова. – Новосибирск : Наука, 2008. – 256 с.

Краткий курс истории ВКП(б) [Электронный ресурс] / под. ред. Комиссии ЦК ВКП(б). – М. : ОГИЗ, 1938. – 351 с. – Режим доступа: http://www.lib.ru/DIALEKTIKA/kr_vkpd.txt (дата обращения: 18.02.2016).

Кубрина, Г. А. Барнаульское Нагорное кладбище / Г. А. Кубрина // Охрана и изучение культурного наследия Алтая : тез. науч.-практ. конф. – Барнаул : Изд-во АГУ, 1993. – Вып. 4, ч. 2. – С. 275–277.

Кузина, Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. / Г. А. Кузина // Музей и власть / отв. ред. С. А. Каспаринская. – М. : [б. и.], 1991. – Ч. 1 : Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.) – С. 96–172.

Кулемзин, В. М. Михаил Бонифатиевич Шатилов и Владимир Клавдиевич Арсеньев в сибиреведении / В. М. Кулемзин // Тр. / Томск. обл. краевед. музей. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2010. – Т. 16. – С. 7–10.

Кулемзин, В. М. Этнографическая деятельность Михаила Бонифатьевича Шатилова / В. М. Кулемзин // Тр. / Томск. обл. краевед. музей. – Томск : Ветер, 2008. – Т. 15. – С. 12–15.

Кулешов С. Я. Смоленский некрополь / С. Я. Кулешов. – СПб. : [б. и.], 2004. – 67 с.

Куприянов, А. И. Городская культура русской провинции (конец XVIII – первая половина XX в.) / А. И. Куприянов. – М. : Нов. хронограф, 2007. – 480 с.

Куприянов, А. И. Русский город в первой половине XIX в.: общественный быт и культура горожан Западной Сибири / А. И. Куприянов. – М. : Аэро-XX, 1995. – 157 с.

Куприянская, В. С. Культура и быт горнозаводского Урала (конец XIX – начало XX в.) : моногр. / В. С. Куприянская, Н. С. Полищук. – М. : Наука, 1971. – 288 с.

Кухер, К. Парк Горького : культура досуга в сталинскую эпоху, 1928–1941 / К. Кухер ; [пер. с нем. А. И. Симонова]. – М. : РОССПЭН, 2012. – 350 с.

Кучкин, В. А. Захоронение Ивана Грозного и русский средневековый погребальный обряд / В. А. Кучкин // Советская археология. – 1967. – № 1. – С. 289–295.

Ларьков, Н. С. Декабрьские события 1919 г. в Томске / Н. С. Ларьков // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2013. – № 367. – С. 74–80.

Ларьков, Н. С. Начало Гражданской войны в Сибири: армия и борьба за власть / Н. С. Ларьков. – Томск : ТГУ, 1995. – 252 с.

Ларьков, Н. С. Политическая деятельность А. В. Адрианова в годы Гражданской войны / Н. С. Ларьков // Вестн. / Томск. гос. ун-т : сер. «История». – 2011. – № 3. – С. 46–56.

Лебедева, Н. И. Читая книгу истории : Кадышевское кладбище Омска / Н. И. Лебедева // Проблемы сохранения и изучения историко-культурного наследия в памятниках Омского Прииртышья. – Омск : [б. и.], 2005. – С. 89–93.

Лебедева, Н. И. История омских храмов [Электронный ресурс] / Н. И. Лебедева // Время Омское : новости города и региона, день за днем : web-сайт. – Режим доступа: <http://www.omsktime.ru/projects/church/ilia.html> (дата обращения: 30.09.2015).

Левкиевская, Е. Е. Слухи как речевой жанр [Электронный ресурс] / Е. Е. Левкиевская // Фольклор в наше время: традиции, трансформации, новообразования. – М., 2009. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/l09_program_levkievskaya.htm (дата обращения: 30.09.2015).

Леонтьева, О. Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке / О. Б. Леонтьев // Диалог со временем. – 2015. – Вып. 50. – С. 59–96.

Лившиц, А. Я. Настроения и политические эмоции в Советской России, 1917–1932 гг. / А. Я. Лившиц. – М. : РОССПЭН : Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. – 341 с.

Литвинова, О. А. Власть и театральная культура в сибирской провинции в годы нэпа (1921–1928 гг.) / О. А. Литвинова. – Барнаул : АзБука, 2005. – 219 с.

Личак, Н. А. Разрушение памятников церковного зодчества Иваново-Вознесенской губернии в 1920–1930-х гг. / Н. А. Личак // Изв. / Тульск. гос. ун-т : сер. «Гуманит. науки». – 2010. – № 2. – С. 83–91.

Личак, Н. А. Система охраны памятников во второй половине 1930-х гг. / Н. А. Личак // Науч. ведомости / Белгород. гос. ун-т : сер.: «История. Политология. Экономика. Информатика». – 2010. – № 16, т. 19. – С. 202–208.

Логунова, М. О. Траурный церемониал в Российской империи / М. О. Логунова // Власть. – 2010. – № 3. – С. 111–115.

Лоскутова, А. М. А. В. Колчак – портрет на фоне эпохи : из опыта создания историко-биографических выставок / А. М. Лоскутова, А. П. Сорокин // Музей и общество на пороге XXI в. : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию Омского гос. ист.-краевед. музея / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск : Изд-во ОГИК музея, 1998. – С. 190–194.

Люди большевистского подполья Урала и Сибири, 1918–1919 / сост. С. Г. Черемных. – М. : Сов. Россия, 1988. – 266 с.

Лясоцкий, И. Е. Прошлое Томска в названиях его улиц, построек и окрестностей / И. Е. Лясоцкий. – Томск : [б. и.], 1952. – 64 с.

Майданюк, Э. К. Шествия и демонстрации в Томске / Э. К. Майданюк // Сибирская старина. – 2003. – № 20. – С. 18–21.

Малицкий, Г. Л. Музейное строительство в России к моменту Октябрьской революции / Г. Л. Малицкий // Научный работник. – 1926. – № 2. – С. 43–56.

Малышева, С. Ю. «Еженедельные праздники, дни господские и царские» : время отдыха российского горожанина второй половины XIX – начала XX в. / С. Ю. Малышева // Ab imperio. – 2009. – № 2. – С. 225–269.

Малышева, С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, мифы (1917–1927) / С. Ю. Малышева. – Казань : Рутен, 2005. – 400 с.

Мартынов, А. А. Надгробная летопись Москвы / А. Мартынов // Русский архив. – 1895. – С. 279–284.

Мартынова, Л. С. Этапы комплектования коллекций Омского краеведческого музея / Л. С. Мартынова // Музей и общество на пороге XXI в. : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию Омского гос. ист.-краевед. музея / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск : Изд-во ОГИК музея, 1998. – С. 2–30.

Маслинская, С. Г. «По-пионерски жил, по-пионерски похоронен» : материалы к истории гражданских похорон 1920-х гг. / С. Г. Маслинская // Живая старина. – 2012. – № 3. – С. 49–52.

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР : Алтайский край / сост. Р. С. Рафиенко. – М. : [б. и.], 1990. – 112 с.

Матющенко, В. И. Из истории музея археологии и этнографии Томского государственного университета / В. И. Матющенко // Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в контексте междисциплинарного изучения : сб. ст. / под ред. В. И. Ожередова. – Томск : Изд-во ТГУ, 2008. – Вып. 2. – С. 13–19.

Меерович, М. Г. Кладбище соцгородов : градостроительная политика в СССР, 1928–1932 гг. / М. Г. Меерович, Е. В. Конышева, Д. С. Хмельницкий. – М. : РОССПЭН, 2011. – 268 с.

Мелихова, Н. В. Кравков Максим Алексеевич – геолог, писатель, краевед, директор Новониколаевского городского музея / Н. В. Мелихова // Образовательная деятельность музея : 85-летию музея посвящается. – Новосибирск : Сиб. горница, 2005. – С. 71–72.

Миллер, А. И. Россия: власть и история [Электронный ресурс] / А. И. Миллер // Полит.ру : web-сайт. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2009/11/25/miller/http://polit.ru/article/2009/11/25/miller/> (дата обращения: 04.01.2016).

Миненко, Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири XVII – первой половины XIX в. : моногр. / Н. А. Миненко. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1979. – 349 с.

Миф о любимом вожде : [буклет] / [авт. текста : Т. Г. Колоскова, О. В. Киташова]. – М. : Гос. ист. музей, 2014. – 32 с.

Михайлов, К. Взорванная память : уничтожение памятников русской воинской славы / К. Михайлов. – М. : Яуза : Эксмо, 2007. – 348 с.

Могильнер, М. Российская радикальная интеллигенция перед лицом смерти [Электронный ресурс] / М. Могильнер // Археология русской смерти : блог по некросоциологии, антропологии, фольклористике : практики памяти и визуализация смерти. – Режим доступа: <http://neboкакcofe.ru/archives/714> (дата обращения: 30.01.2016).

Мокеев, Н. Иркутское Иерусалимское кладбище / Н. Мокеев // Сибирский архив. – 1912. – № 12. – С. 927–938.

Монгуш, А. А. Томские эпитафии как памятник культурного наследия / А. А. Монгуш // Вестн. / Томск. гос. ун-т. – 2013. – № 374. – С. 107–109.

Монументы СССР : [фотоальбом] / [авт. вступ. ст. А. Г. Халтурин]. – М. : Сов. художник, 1969. – 306 с.

Московский некрополь: история, археология, искусство, охрана : материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Э. А. Шулепова. – М. : НИИК, 1991. – 199 с.

Московский некрополь: история, археология, искусство, охрана : материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Э. А. Шулепова. – М. : Мосгорархив, 1996. – 166 с.

Музей и власть / отв. ред. С. А. Каспаринская. – М. : НИИК, 1991. – Ч. 1 : Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). – 322 с.

Музейное дело России / Рос. ин-т культурологии ; ред. : М. Е. Каулен, И. М. Косова, А. А. Сундиева. – М. : ВК, 2003. – 676 с.

Надь, Ф. Мысли на кладбище / Ф. Надь // Омская правда. – 1990. – 7 июня.

Надь, Ф. Их давно уже нет на свете... / Ф. Надь // Вечерний Омск. – 1993. – 3 июля.

Назаретян, А. П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации / А. П. Назаретян // Вопр. философии. – 2002. – № 11. – С. 74–79.

Назарцева, Т. М. Развитие музейного дела в Омской области / Т. М. Назарцева // Музееведение Западной Сибири / отв. ред. : Т. М. Назарцева, Н. А. Томилов. – Омск : Изд-во ОмГУ, 1994. – С. 37–46.

Народы европейской части СССР / под ред. В. А. Александрова [и др.]. – М. : Наука, 1964. – Т. 1 – 984 с.

Нарский, И. С. Жизнь в катастрофе : будни населения Урала в 1917–1922 гг. / И. С. Нарский. – М. : РОСПЭН, 2001. – 632 с.

Начала теории православного кладбищенского хозяйствования / сост. А. Станько. – М. : Сотский Щуриков, 1995. – 128 с.

Наш город родной : исторические места и памятники Томска / сост. : И. М. Чугунов, В. А. Соловьёва. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1982. – 210 с.

Недзелюк, Т. Г. Представления сибирских католиков о смерти и связанная с ними погребальная обрядность / Т. Г. Недзелюк // Восток – Запад: проблемы

взаимодействия : исторический, политический, социальный и религиозный аспекты : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. К. Б. Умбрашко. – Новосибирск : НГПУ, 2013. – Ч. 2. – С. 108–116.

Неклепаев, И. Я. Поверья и обычаи Сургутского края / И. Я. Неклепаев // Обряды, обычаи, поверья / под ред. П. Городцова [и др.]. – Тюмень : ОФТ-Дизайн, 1997. – С. 208–214.

Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища конца XVIII – начала XX в. / А. Ф. Некрылова. – Л. : Искусство, 1984. – 89 с.

Никитина, А. В. Свеча в обрядах перехода / А. В. Никитина. – СПб. : Санкт-Петербург. гос. ун-т, филол. фак., 2008. – 88 с.

Никифорок, В. П. Мобилизационный тип развития : особый путь России от Ивана Грозного до Владимира Путина / В. П. Никифорок. – М. : Слово, 2000. – 40 с.

Новосибирск, 100 лет : События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск : Наука, 1993. – 472 с.

Новосибирск : энциклопедия / гл. ред. В. А. Ламин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 2003. – 1072 с.

Новосибирский некрополь / под ред. С. В. Бондаренко [и др.]. – Новосибирск : Сиб. горница, 2009. – 214 с.

Нормы и ценности повседневной жизни : становление социалистического образа жизни в России, 1920–1930-е гг. : сб. ст. / под ред. Т. Вихавайнен. – СПб. : Журн. «Нева», 2000. – 478 с.

Няшин, Г. Д. Некоторые моменты истории Барнаула / Г. Д. Няшин. – Барнаул : [б. и.], 1929. – 24 с.

Овсейчик, В. Трансформация погребально-поминальной обрядности в советское время: на примере белорусов Подвинья / В. Овсейчик // Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве / сост. А. Архипова. – М. : РГГУ, 2013. – С. 170–178.

Овчинников, Г. Д. Владимирский городской некрополь / Г. Д. Овчинников. – Владимир : Транзит-ИКС, 2011. – 362 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азъ, 1993. – 960 с.

Озуф, М. Революционный праздник, 1789–1799 / М. Озуф ; пер. с фр. Е. Э. Ляминой. – М. : Языка славян. культуры, 2003. – 416 с.

Олик, Дж. Фигурации памяти : процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии / Дж. Олик // Социологическое обозрение. – 2012. – Т. 1, № 1. – С. 40–74.

Омский историко-краеведческий словарь : Ист. портреты. Хранители памяти. Памятники истории и культуры. События, связанные с историей Омского Прииртышья / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева ; Ист.-краевед. лаб. Омского гос. пед. ин-та им. А. М. Горького. – М. : Альм. "Отечество", 1994. – 314 с.

Омский некрополь : исчезнувшие кладбища / С. Д. Авербух [и др.] ; сост. И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова. – Омск : Омск. дом печати, 2005. – 232 с.

Орлов, А. А. Надгробные надписи, собранные Александром Орловым из всех кладбищ московских / А. А. Орлов. – М. : Тип. С. Селивановского, 1834. – 20 с.

Оснос, Ю. Октябрьская революция и памятники художественной культуры / Ю. Оснос // Искусство. – 1940. – № 6. – С. 62–66.

Охотников, И. В. Литераторские мостки / И. В. Охотников. – Л.: Лениздат, 1965. – 46 с.

Очерки истории г. Омска / под ред. А. П. Толочко. – Омск : ОмГУ, 2005. – Т. 2 : Омск, XX в. – 400 с.

Падалкина, О. В. Музей глазами современников / О. В. Падалкина // Алтайский сборник. – Барнаул : Алтай, 1999. – Вып. 17. – С. 6–24.

Павлов А. М. Описание Александро-Невской лавры с хронологическими списками особ, погребенных в церквах и на кладбищах лаврских / А. М. Павлов. – СПб. : Тип. А. Бородина и К^о, 1842. – 159 с.

Палашенков, А. Ф. Материалы к археологической карте Омска / А. Ф. Палашенков // Изв. / Омск. отд. Геогр. о-ва СССР. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1960. – С. 19–22.

Палашенков, А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – 235 с.

Палашенков, А. Ф. Памятные места Омска / А. Ф. Палашенков. – Омск : Обл. кн. изд-во, 1956. – 126 с.

Памятники истории и культуры Барнаула / Н. Я. Савельева [и др.]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1983. – 141 с.

Памятники истории и культуры г. Омска : сб. ст. / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – Омск : Упрполиграфиздат, 1992. – [Вып. 1]. – 126 с.

Памятники истории и культуры Омской области: проблемы выявления, изучения и использования : тез. докл. Обл. науч. конф. / отв. ред. В. П. Вибе. – Омск : [б. и.], 1993. – 147 с.

Памятники истории и культуры Омской области : сб. ст. / под ред. П. П. Вибе. – Омск : РИО, 1995. – 167 с.

Памятники Новосибирска / Л. М. Горюшкин [и др.]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1980. – 112 с.

Памятники Новосибирской области / сост. : Л. М. Горюшкин, Б. И. Семко. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1989. – 200 с.

Памятники советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 и захороненным в Москве / Моск. секция Сов. ком. ветеранов войны ; Моск. гор. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. – М. : Машиностроение, 1985. – 33 с.

Папков, С. А. Обыкновенный террор : политика сталинизма в Сибири / С. А. Папков. – М. : РОССПЭН, 2012. – 440 с.

Папков, С. А. Сталинский террор в Сибири, 1928–1941 / С. А. Папков. – Новосибирск : Сиб. отд-ние РАН, 1997. – 272 с.

Паршукова, Н. П. Литературные праздники в Барнауле в конце XIX – начале XX в. / Н. П. Паршукова // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири : сб. ст. / под. ред. Ю. Ф. Кирюшина. – Барнаул : [б. и.], 2003. – Кн. 2. – С. 477–480.

Пейн, Р. Ленин: жизнь и смерть / Р. Пейн ; пер. с англ. О. Н. Никулиной. – М. : Молод. гвардия, 2005. – 666 с.

Петербургский некрополь : справ. : в 4 т. / сост. В. И. Саитов. – Репр. воспроизв. изд. 1912 г. – СПб. : Альфарет, 2006.

Петербургский некрополь, или Справочный исторический указатель лиц, родившихся в XVII и XVIII столетиях, по надгробным надписям Александр-Невской лавры и упраздненных петербургских кладбищ / сост. В. И. Саитов. – М. : Университет. тип. (М. Катков), 1883. – 159 с.

Пирютко, Ю. М. Лазаревская усыпальница – памятник русской культуры XVIII–XIX вв. / Ю. М. Пирютко // Памятники культуры: новые открытия, 1988 : ежегод. – М. : Наука, 1989. – С. 484–497.

Плампер, Я. Алхимия власти : культ Сталина в изобразительном искусстве / Я. Плампер ; пер. с англ. Н. Эдельмана. – М. : НЛЮ, 2010. – 495 с.

Плампер, Я. Пространственная поэтика культа личности : «круги вокруг Сталина» / Я. Плампер // Очевидная история : проблемы визуальной истории России XX столетия: сб. ст. / под ред. И. В. Нарского. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – С. 339–364.

Познанский, В. С. Социальные катаклизмы в Сибири: голод и эпидемии, 20–30-е гг. XX в. : моногр. / В. С. Познанский. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – 306 с.

Покровский, М. Н. Октябрьская революция : сб. ст. (1917–1927 гг.) / М. Н. Покровский ; Коммунист. акад. ; О-во марксистов. – М. : Изд-во Коммунист. акад., 1929. – 418 с.

Политология : словарь-справочник / авт.-сост. А. П. Угроватов. – Новосибирск : ЮКЭА, 2006. – 488 с.

Полищук, Н. С. Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон») / Н. С. Полищук // Советская этнография. – 1991. – № 6. – С. 25–39.

Полищук, Н. С. У истоков советских праздников / Н. С. Полищук // Советская этнография. – 1987. – № 6. – С. 3–15.

Полухин, Т. А. По историческим местам Барнаула / Т. А. Полухин. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1972. – 70 с.

Попова, И. В. Этнографическая коллекция АГКМ: формирование, презентация / И. В. Попова // Краеведческие записки / отв. ред. В. А. Скубневский. – Барнаул : Алтай, 2009. – Вып. 8. – С. 187–200.

Поспелова, Л. Б. История сноса Тарских ворот в Омской крепости / Л. Б. Поспелова // Изв. / Омск. гос. ист.-краевед. музей. – 2003. – Вып. 10. – С. 217–223.

Православная жизнь русских крестьян XIX–XX вв.: итоги этнографических исследований / отв. ред. Т. А. Листова ; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. М. Миклухо-Маклая. – М. : Наука, 2001. – 363 с.

Правоторова, А. А. Город и наследие / А. А. Правоторова, В. Л. Гусаченко. – Новосибирск : НПЦ по сохранению ист.-культур. наследия Новосибирской обл., 2002. – 251 с.

Прибалтийско-финские народы России / отв. ред. : Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина. – М. : Наука, 2003. – 671 с.

Привалихина, С. В. Мой Томск / С. В. Привалихина. – Томск : Изд-во ТГУ, 1999. – 188 с.

Рабинович, М. Г. Очерки этнографии феодального города : горожане, их общественный и домашний быт / М. Г. Рабинович ; Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1978. – 328 с.

Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период / О. Н. Вилков, В. Н. Курилов, А. А. Малых и др. ; редкол.: Н. В. Блинов (отв. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 459 с. – (История рабочего класса Сибири).

Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917–1937 гг.) / Д. М. Зольников, В. С. Познанский, В. А. Кадейкин [и др.] ; отв. ред. А. С. Московский. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 423 с. – (История рабочего класса Сибири).

Равикович, Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.) / Д. А. Равикович // Очерки истории музейного дела в СССР / отв. ред. А. Б. Закс. – М. : Сов. Россия, 1969. – Вып. 4. – С. 97–145.

Равикович, Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР, 1917–1967 гг. / Д. А. Равикович // Труды НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. – М. : Сов. Россия, 1970. – Вып. 22. – С. 3–127.

Разгон, А. М. Археологические музеи России (1861–1917 гг.) / А. М. Разгон // Очерки истории музейного дела в России / отв. ред. Э. С. Коган. – М. : Сов. Россия, 1961. – Вып. 3. – С. 190–230.

Разгон, А. М. Этнографические музеи в России (1861–1917 гг.) / А. М. Разгон // Очерки истории музейного дела в России / отв. ред. Э. С. Коган. – М. : Сов. Россия, 1961. – Вып. 3. – С. 231–268.

Рапопорт, Е. Политика мифотворчества: случай пионеров героев [Электронный ресурс] / Е. Рапопорт // Гефтер : интернет-журн. – 2013. – 20 дек. – Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/10887> (дата обращения: 01.12.2015).

Рафиенко, Л. С. П. К. Фролов и Барнаульский музей ведомства Кабинета / Л. С. Рафиенко // Краеведческие записки / отв. ред. В. А. Скубневский. – Барнаул : Алтай, 1999. – Вып. 3. – С. 7–13.

Ремизов, А. В. Омское краеведение 1930–1960-х гг.: очерк истории : моногр. / А. В. Ремизов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 348 с.

Репина, Л. П. Историческая память и современная историография / Л. П. Репина // Новая и новейшая история. – 2004. – № 5. – С. 33–45.

Репина, Л. П. Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии / Л. П. Репина // Феномен прошлого / под ред. И. М. Савельевой, А. В. Полетаева. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – С. 122–169.

Репина, Л. П. Культурная память и проблемы историописания : (историографические заметки) / Л. П. Репина. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с.

Репина, Л. П. Память о прошлом в пространстве культуры / Л. П. Репина // Диалог со временем : альм. интеллектуальной истории. – М. : Изд-во Ин-та всеобщей истории (ИВИ) РАН, 2012. – № 43. – С. 190–198.

Рикёр, П. Память, история, забвение : пер. с нем. / П. Рикёр. – М. : Изд-во гуманит. лит., 2004. – 728 с.

Ритуал печального кортежа : ритуал похорон российских императоров / под ред. А. Р. Соколова. – СПб. : Спец. лит., 1998. – 104 с.

Рожанский, М. Я. Сибирь как пространство памяти : моногр. / М. Я. Рожанский. – Иркутск : Оттиск, 2014. – 180 с.

Рольф, М. Советские массовые праздники / М. Рольф ; пер. с нем. В. Т. Алтухова. – М. : РОССПЭН, 2009. – 440 с.

Росиев, П. А. Забытые могилы на московских кладбищах / П. А. Росиев // Исторический вестник. – 1906. – Т. 54. – Июнь. – С. 822–847.

Российская музейная энциклопедия / под ред. В. Л. Янина [и др.] – М. : Прогресс : РИПОЛ классик, 2005. – 845 с.

Рубан, Н. И. Первый Всероссийский музейный съезд, его влияние на развитие дальневосточных музеев [Электронный ресурс] / Н. И. Рубан. – Режим доступа: http://www.museumstudy.ru/content/files/ruban_1_s_ezd.pdf (дата обращения: 01.10.2015).

Рудая, И. Рождение краеведческого музея в Томске / И. Рудая // Красное знамя. – 1979. – 12 июня.

Руденко, Н. Останки Старо-Южного [кладбища] / Н. Руденко // Вечерний Омск. – 1998. – 28 апр.

Русские / отв. ред. : В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. – М. : Наука, 1999. – 828 с.

Русский провинциальный некрополь : картотека Н. П. Чулкова из собраний Государственного литературного музея / сост. А. П. Николаев [и др.]. – М. : Эллис Лак : Товарищество «Река времен», 1996. – 415 с.

Рыженко, В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования : моногр. / В. Г. Рыженко. – Екатеринбург : Изд-во УрГУ ; Омск : Изд-во ОмГУ, 2003. – 370 с.

Рыженко, В. Г. Культура Западной Сибири: история и современность : учеб. пособие по курсу «Культура региона: история и современность» / В. Г. Рыженко, А. Г. Быкова. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2001. – 372 с.

Рыженко, В. Г. Образы и символы советского города в современных исследовательских опытах (региональный аспект) : моногр. / В. Г. Рыженко. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2010. – 340 с.

Рыженко, В. Г. Пространство советского города (20–50-е гг.) : теоретические представления, региональные социокультурные и историко-культурологические характеристики (на материалах Западной Сибири) / В. Г. Рыженко, В. Ш. Назимова, Д. А. Алисов. – Омск : Наука, 2004. – 292 с.

Рябов, В. В. В дни всенародной скорби... : по страницам отчета Комиссии по увековечиванию памяти В. И. Ульянова (Ленина) / В. В. Рябов // Вопр. истории КПСС. – 1988. – № 5. – С. 98–108.

Савельева, И. М. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия / И. М. Савельева // Феномен прошлого / под ред. И. М. Савельевой, А. В. Полетаева. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – С. 170–220.

Савельева, И. М. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2004. – 56 с.

Савицкий, П. Н. Разрушающие свою Родину : (снос памятников искусства и распродажа музеев СССР) / П. Н. Савицкий. – Прага : Изд. евразийцев, 1936. – 39 с.

Саитов В. И. Московский некрополь : указ. : в 3 т. / В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. – Репр. воспроизв. изд. 1907 г. – СПб. : Альфарет : Б-ка РАН, 2006.

Саладин, А. Г. Очерки истории московских кладбищ / А. Г. Саладин. – М. : Кн. сад, 1997. – 343 с.

Сальникова, И. В. Документальная летопись Новосибирского государственного краеведческого музея / И. В. Сальникова // Образовательная деятельность музея : 85-летию музея посвящается. – Новосибирск : Сиб. горница, 2005. – С. 48–66.

Сальникова, И. В. Первые коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея и их собиратели / И. В. Сальникова // Образовательная деятельность музея : 85-летию музея посвящается. – Новосибирск : Сиб. горница, 2005. – С. 67–70.

Сахаров, И. П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков / И. П. Сахаров. – СПб. : Гунненбергова тип., 1837. – 591 с.

Святославский, А. В. Городской монумент как объект восприятия : некоторые аспекты современной мемориальной культуры / А. С. Святославский // Преподаватель, XXI век. – 2010. – № 1. – С. 356–364.

Святославский, А. В. История России в зеркале памяти : механизмы формирования исторических образов / А. В. Святославский. – М. : Древлехранилище, 2013. – 588 с.

Святославский, А. В. Памятник в культуре России : краткий ист. очерк / А. В. Святославский // Культура памяти : сб. ст. / под ред. Э. А. Шулепова. – М. : Древлехранилище, 2003. – С. 53–75.

Святославский, А. В. Традиция памяти в православии / А. В. Святославский. – М. : Древлехранилище, 2004. – 244 с.

Седакова, О. А. Поэтика обряда : погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. – М. : Индрик, 2004. – 319 с.

Семененко, Т. Н. Выставочная работа музеев (1917 – начало 1950-х гг.) / Т. Н. Семененко // Музейное дело в СССР / отв. ред. Т. Г. Шумная. – М. : [б. и.], 1989. – Вып. 19. – С. 13–42.

Семёнова, К. А. Здравоохранение г. Томска: время становления (1860-е – 1919 г.) / А. К. Семёнова. – Томск : Изд-во ТГУ, 2009. – 155 с.

Сенявский, А. С. Российский тоталитаризм: урбанизация в системе факторов его становления, эволюции и распада / А. С. Сенявский // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.) / под ред. В. П. Дмитриенко. – М. : [б. и.], 1999. – С. 7–33.

Сибирская советская энциклопедия : в 3 т. / под общ. ред. М. К. Азадовского [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. отделение Огиз, 1928–1931.

Сибирь в период Гражданской войны : учеб. пособие / М. В. Шиловский [и др.]. – Кемерово : Кемер. облИУУ, 1995. – 143 с.

Симонов, Д. Г. Свержение советской власти в Сибири летом 1918 г. / Д. Г. Симонов // Проблемы истории Гражданской войны на востоке России / под ред. В. И. Шишкина. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2003. – С. 3–36.

Симонова, О. А. К. С. Малевич и В. А. Луначарский : полемика в искусстве и культурная политика страны Советов в 1917–1935 гг. / О. А. Симонова // Вестн. / Рус. христиан. гуманист. акад. – 2011. – № 2. – С. 230–238.

Синяев, В. С. Памятные места г. Томска : в помощь экскурсоводу / В. С. Синяев. – Томск : ТОКМ, 1957. – 38 с.

Степанов, И. И. Парижская коммуна 1871 г. / И. И. Степанов. – М. : Красн. новь, 1923. – 180 с.

Славнин, В. Д. Томск сокровенный / В. Д. Славнин. – Томск : Кн. изд-во, 1991. – 328 с.

Смирнов, И. С. Из истории строительства социалистической культуры в первые годы советской власти (октябрь 1917 – лето 1918 г.) / И. С. Смирнов. – М. : Госполитиздат, 1952. – 256 с.

Смоленский, И. М. Историко-революционные памятники Омска / И. М. Смоленский. – Омск : Омск. обл. гос. изд-во, 1951. – 48 с.

Снегирёв, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды [Электронный ресурс] / И. М. Снегирёв. – М. : Университет. тип., 1837–1839. – Вып. 1–4. – Режим доступа: <http://www.rodnovery.ru/knizhnaya-polka/200-russkie-prostonarodnye-prazdniki-i-suevernye-obryady> (дата обращения: 01.10.2015).

Советская культурная политика и практика ее реализации в Сибирском регионе : очерки истории / В. Л. Соскин, С. А. Красильников, Е. Г. Водичев [и др.]. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2006. – 214 с.

Соколова, А. Материалы для изучения партизанской поэзии (песни и причитания) / А. Соколова // Сибирская живая старина / под. ред. М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. – 1926. – Вып. 1. – С. 159–162.

Соколова, А. Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-старому!» : эволюция похоронного обряда в Советской России [Электронный ресурс] / Д. А. Соколова //

Отечественные записки : журн. для медлен. чтения. – 2013. – №. 5. – С. 191–208. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/2013/5/nelzya-nelzya-novyh-lyudey-horonit-postaromu> (дата обращения: 10. 04. 2015).

Соловьёва, В. Южное кладбище / В. Соловьёва // Сибирская старина: краеведческий альм. – 1992. – №3. – С. 11–12.

Сорокин, А. П. «Места памяти» : проблемы сохранения, изучения и популяризации исторических некрополей (на примере Омска и Тобольска) / А. П. Сорокин // Первые Ядринцевские чтения : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 170-летию со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева / под ред. П. П. Вибе, Е. М. Бежан. – Омск : ОГИК музей, 2012. – С. 170–175.

Сосковец, Л. И. Антирелигиозные практики советского государства: цели, структура, этапы, средства / Л. И. Сосковец // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – 2013. – № 9. – С. 178–182.

Соскин, В. Л. Основные итоги и задачи изучения истории культурного строительства Сибири (1917–1937 гг.) / В. Л. Соскин // Историческая наука в Сибири за 50 лет : основные проблемы истории советской Сибири : сб. ст. / отв. ред. А. П. Окладников. – Новосибирск : Наука, 1972. – С. 124–136.

Соскин, В. Л. Российская советская культура (1917–1927 гг.): очерки социальной истории / В. Л. Соскин. – Новосибирск : Изд-во СОРАН, 2004. – 455 с.

Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.) : коллект. моногр. / Н. Б. Арнаутов, С. А. Красильников, И. С. Кузнецов [и др.]. – Новосибирск : НГУ, 2013. – 419 с.

Спирина, Л. М. Неизвестные произведения искусства и исторические документы, связанные с погребальным комплексом Годуновых / Л. М. Спирина // Памятники культуры : Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология, 1980 : ежегод. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. – С. 455–464.

Сталева, Т. В. Сибирский просветитель Петр Макушин / Т. В. Сталева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. Двор, 2001. – 288 с.

Сталинизм в российской провинции, 1937–1938 гг. : массовая операция на основе приказа № 00447 / [Уполномоченный по правам человека в Рос. Федерации и др. ; сост. М. Юнге и др.]. – М. : РОССПЭН [и др.], 2009. – 926 с.

Тархов, С. Изменения административно-территориального деления России в XVIII–XX вв. / С. Тархов // Логос. – 2005. – № 1. – С. 65–101.

Татаурова, Л. В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв.: по материалам комплекса Изюк-I / Л. В. Татаурова. – Омск : Апельсин, 2010. – 283 с.

Терещенко, А. В. Быт русского народа / А. В. Терещенко. – М. : Тарра клуб, 2001. – 414 с.

Тимербулатов, Д. Р. «Баржи смерти» в Сибири в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.) // Вестн. / Кемер. гос. ун-т. – 2011. – № 4. – С. 57–62.

Тимофеева, Т. П. «Лежит в развалинах Твой храм...» : о судьбах церковной архитектуры Владимирского края (1918–1939) : документ. хроники / Т. П. Тимофеева. – Владимир : Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 1999. – 112 с.

Тишкина, Т. В. Музеи Алтая в первой половине 1920-х гг. / Т. В. Тишкина // Вопр. музеологии. – 2012. – № 1. – С. 59–65.

Токарев, С. А. Этнография народов СССР: исторические основы быта и культуры / С. А. Токарев. – М. : Изд-во МГУ, 1958. – 615 с.

Толстой, В. П. Ленинский план монументальной пропаганды в действии / В. П. Толстой. – М. : Акад. художеств СССР, 1961. – 56 с.

Толстой, В. П. У истоков советского монументального искусства, 1917–1923 гг. / В. П. Толстой. – М. : Изобраз. искусство, 1983. – 239 с.

Томилов, Н. А. Деятельность Новосибирского краеведческого музея в 1920-е – начале 1930-х гг. / Н. А. Томилов // Общественное движение и культурная жизнь Сибири (XVIII–XX вв.) : сб. науч. тр. / под ред. Э. Ш. Хазиахметова. – Омск : Изд-во ОмГУ, 1996. – С. 123–136.

Томилов, Н. А. Интеллигенция в музейном деле Западной Сибири 1920-х гг. / Н. А. Томилов // Культура и интеллигенция России в переломные эпохи (XX в.) / отв. ред. В. Г. Рыженко. – Омск : [б. и.], 1993. – С. 79–81.

Томилов, Н. А. История музеев Западной Сибири : проблема периодизации музейного дела // Декабрьские диалоги : материалы Всерос. науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина «Художественные музеи в пространстве времени: искусство, наука, образование». – Омск : ОГИК музей, 2000. – Вып. 3. – С. 19–22.

Томилов, Н. А. К истории Новосибирского краеведческого музея / Н. А. Томилов // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 1. – С. 96–102.

Томилов, Н. А. Новосибирский областной краеведческий музей в 1920–1987 гг. / Н. А. Томилов // Проблемы музееведения и народная культура / отв. ред. Н. М. Патрушев. – Омск : Изд-во ОмГУ, 1999. – С. 65–113.

Томилов, Н. А. Омск как научный центр России по изучению народов Азии : (навстречу 145-летию омской этнографии) / Н. А. Томилов // Вестн. / Рос. акад. естествен. наук (Зап.-Сиб.отд-е). – 1999. – Вып. 2. – С. 70–73.

Томилов, Н. А. Омский государственный объединенный исторический и литературный музей : (краткий исторический очерк) / Н. А. Томилов, Ю. А. Макаров // Народы Севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и литературного музея / гл. ред. Н. А. Томилов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1986. – С. 5–39.

Томилов, Н. А. Периодизация истории исторических и краеведческих музеев Сибири / Н. А. Томилов // Социально-экономическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья : материалы IV Науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова / под ред. Н. А. Бут [и др.]. – Тара : Изд-во А. А. Аскаленко, 2009. – С. 121–127.

Томилов, Н. А. Погребальный обряд барабинских татар / Н. А. Томилов, Л. Т. Шаргородский // Обряды народов Западной Сибири : сб. ст. / отв. ред. В. М. Кулемзин. – Томск : Изд-во ТГУ, 1990. – С. 124–125.

Томилов, Н. А. Проблемы периодизации истории исторических и краеведческих музеев Сибири / Н. А. Томилов // Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в контексте междисциплинарного изучения : сб. ст. / под ред. В. И. Ожередова. – Томск : Изд-во ТГУ, 2008. – Вып. 2. – С. 45–51.

Томилов, Н. А. Этнографические коллекции в омских музеях / Н. А. Томилов // Советская этнография. – 1981. – № 5. – С. 84–95.

Толстой, В. П. Ленинский план монументальной пропаганды в действии / В. П. Толстой. – М. : Акад. художеств СССР, 1961. – 56 с.

Томск от А до Я : краткая энциклопедия города / под ред. Н. М. Дмитриенко. – Томск : НТЛ, 2004. – 440 с.

Томские музеи : Краеведческий музей им. М. Б. Шатилова. Муниципальные музеи : материалы к энциклопедии «Музейное дело Томской области» / под ред. Э. И. Черняка. – Томск : Изд-во ТГУ, 2012. – 411 с.

Томский краеведческий музей: из прошлого в будущее : альбом / сост. Е. А. Андреева [и др.]. – Томск : Изд-во ТГУ, 2003. – 182 с.

Томский литературный некрополь / Г. Скарлыгин, Т. Назаренко, А. Яковенко. – Томск : Красное знамя. – 2013. – 96 с.

Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая Михайловича в РГИА) / подгот. Д. Н. Шилов. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2010. – 61 с.

Томский некрополь : списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах, 1827–1939 гг. / отв. ред. Н. М. Дмитриенко. – Томск : Изд-во ТГУ, 2001. – 328 с.

Томский некрополь : Южное кладбище / под ред. Н. М. Дмитриенко. – Томск : Изд-во ТГУ, 2010. – Вып. 1 : Восточная сторона. – 78 с.

Томский некрополь : Южное кладбище / под ред. Н. М. Дмитриенко. – Томск : Изд-во ТГУ, 2013. – Вып. 2 : Западная сторона. – 190 с.

Томское купечество : краеведческий дайджест [Электронный ресурс] / Муницип. информ. библиотеч. система г. Томска. – Томск : МИБС, 2004. – 46 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/1072> (дата обращения: 15.12.2015).

Третьяк, И. Я. Партизанское движение в Горном Алтае, 1919 г. / И. Я. Третьяк. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1933. – 168 с.

Труевцева, О. Н. История сибирского музея: методология, историография, источники : учеб. пособие / О. Н. Труевцева. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1999. – 130 с.

Турнов, А. Н. Революция и Гражданская война в Сибири / А. Н. Турнов, В. Д. Вегман. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1928. – 150 с.

Тульский некрополь / сост. Л. Н. Дзиговская [и др.]. – Тула : [б. и.], 2008. – 16 с.

Турчин, В. С. Надгробные памятники эпохи классицизма в России: типология, стиль, иконография // От Средневековья к Новому времени : материалы и исследования по русскому искусству XVIII – первой половины XIX в. – М. : Наука, 1984. – С. 211–228.

Турьинская, Х. М. Музейное дело в России в 1907–1936 гг. / Х. М. Турьинская. – М. : ИЭА РАН, 2001. – 124 с.

Турьинская, Х. М. Этнографическое музееведение в России в конце XIX – начале XX в. / Х. М. Турьинская. – М. : ИЭА РАН, 2008. – 313 с.

Тюркские народы Сибири / отв. ред. : Д. А. Функ, Н. А. Томилов. – М. : Наука, 2006. – 678 с.

Тяжельникова, В. С. «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» : генезис и эволюция революционной жертвенности коммунистов / В. С. Тяжельникова // Социальная история : ежегод., 1998–1999 / под ред. Л. И. Бородкина. – М. : РОССПЭН, 1999. – С. 411–433.

Уварова, Е. Д. Как развлекались в российских столицах / Е. Д. Уварова. – СПб. : Алетейя, 2004. – 280 с.

Уйманов, В. Н. Ликвидация и реабилитация : политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец 1919 – 1941 г.) / В. Н. Уйманов. – Томск : Изд-во ТГУ, 2012. – 562 с.

Украинцы / отв. ред. : Н. С. Полищук, А. П. Понамарев. – М. : Наука, 2000. – 535 с.

Ульянова, С. Б. Память об «империалистической войне» в советском обществе в 1920-е гг. / С. Б. Ульянова // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918 : материалы Междунар. науч. конф. / отв. ред. : А. Н. Артизов, А. К. Левыкин, Ю. А. Петров. – М.: [ИРИ РАН], 2014. – С. 675–680.

Уманский, А. П. Памятники культуры Алтая / А. П. Уманский. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1959. – 259 с.

Уортман, Р. С. Сценарии власти : мифы и церемонии русской монархии : материалы и исследования : в 2 т. / Р. С. Уортман ; пер. С. В. Житомирской. – М. : ОГИ, 2002.

Усадьба И. Д. Асташева – Томский областной краеведческий музей / сост. Е. А. Андреев. – Томск : Изд-во ТГУ, 2000. – 48 с.

Усольцева, Л. С. Дом Ленина. Сквер героев революции / Л. С. Усольцева. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1990. – 75 с.

Ушаков, А. В. Научно-исследовательская работа музеев исторического профиля (1917–1959) // Музейное дело в СССР / отв. ред. Т. Г. Шумная. – М. : [б. и.], 1989. – Вып. 19 : музейное строительство в СССР. – С. 45–71.

Ушакова, С. Н. Идеолого-пропагандистские кампании как способ социальной мобилизации советского общества в конце 1920-х – начале 1940-х гг. / С. Н. Ушакова. – Новосибирск : Сова, 2009. – 241 с.

Фёдоров, Н. Ф. Философия общего дела / Н. Ф. Фёдоров. – М. : Эксмо, 2008. – 715 с.

Фёдоров П. В. Мурманский некрополь / П. В. Фёдоров. – Мурманск : Кн. изд-во, 2008. – 204 с.

Фетисова, Л. Е. Похоронные и поминальные причитания / Л. Е. Фетисова // Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока : свадебная поэзия, похоронная причеть : сб. ст. / сост. : Р. П. Потанина, И. В. Леонова, Л. Е. Фетисова. – Новосибирск : Наука, 2002. – С. 316–324.

Философский словарь [Электронный ресурс]. – М., 1993. – Режим доступа: http://gufo.me/fil_a (дата обращения: 15.10.2015).

Фицпатрик, Ш. Срывайте маски! : идентичность и самозванство в России XX в. / Ш. Фицпатрик ; пер. с англ. – М. : Фонд «Президент. центр Б. Н. Ельцина», 2011. – 373 с.

Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм : социальная история Советской России в 30-е гг.: город / Ш. Фицпатрик ; пер. с англ. Л. Ю. Пантиной. – М. : РОСПЭН, 2001. – 336 с.

Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне : социальная история Советской России в 30-е гг.: деревня / Ш. Фицпатрик ; пер. с англ. Л. Ю. Пантиной. – М. : РОСПЭН, 2001. – 422 с.

Формирование государственной музейной сети (1917 – первая половина 60-х гг.) / под ред. Д. А. Равикович. – М. : [б. и.], 1988. – 151 с.

Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок ; пер. с фр. Д. Хапаевой. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 1999. – 328 с.

Фролов, Я. В. Археологические и этнографические коллекции Барнаульского музея в XIX в. / Я. В. Фролов // Краеведческие записки / отв. ред. В. А. Скубневский. – Барнаул : Алтай, 2001. – Вып. 4. – С. 57–66.

Фурсова, Е. Ф. «Одежда на тот свет» русских старообрядцев Алтая и Васюганья начала – первой половины XX в. / Е. Ф. Фурсова // Сибирский сборник – 1 : погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий : сб. ст. / отв. ред. Л. Р. Павлинская. – СПб. : МАЭ РАН, 2009. – Кн. 2. – С. 109–117.

Фурсова, Е. Ф. Женская погребальная одежда русского населения Алтая / Е. Ф. Фурсова // Традиции и инновации в быту и культуре народов Сибири : сб. ст. / отв. ред. Л. М. Русакова. – Новосибирск : [б. и.], 1983. – С. 78–82.

Фурсова, Е. Ф. Закрытие православных церквей в г. Новосибирске в 1920–1930-е гг. / Е. Ф. Фурсова // Новосибирская область в контексте российской истории : материалы Регион. ист.-краевед. конф. / отв. ред. А. А. Беспаликов. – Новосибирск : Ин-т истории СО РАН, 2001. – С. 169–171.

Хандзинский, Н. «Покойнишний вой» по Ленине / Н. Хандзинский // Сибирская живая старина / под. ред. М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. – 1925. – Вып. 3/4. – С. 53–64.

Хальбвакс, М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Память о войне 60 лет спустя : Россия, Германия, Европа / ред. М. Габович. – М. : НЛО, 2005. – С. 16–50.

Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс ; пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М. : Нов. изд-во, 2007. – 348 с.

Хархун, В. П. Политика памяти о коммунизме и музейная коммуникация / В. П. Хархун // Труды Русской антропологической школы / отв. ред. Н. Г. Полтавцева. – М. : Изд-во РГГУ, 2012. – Вып. 11. – С. 119–127.

Хархун, В. П. Христологические коннотации в литературной Лениниане (украинский контекст) / В. П. Хархун // Труды Русской Антропологической школы / отв. ред. Н. Г. Полтавцева. – М. : Изд-во РГГУ, 2011. – Вып. 9. – С. 86–96.

Хархун, В. П. Язык политической пропаганды : Лениниана как пример тоталитарной иконографии / В. П. Хархун // Slované jazyky a literatury : hledání identity / ed. Marek Příhoda, Hana Vaňková. – Praha : Červený, 2009. – S. 23–29.

Хаттон, П. Х. История как искусство памяти / П. Х. Хаттон ; пер. с англ. В. Ю. Быстрова ; предисл. И. М. Савельевой. – СПб. : Владимир Даль, 2003. – 422 с.

Хлевнюк, О. В. Хозяин : Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. Хлевнюк. – М. : РОССПЭН, 2010. – 478 с.

Хмельницкий, Д. С. Зодчий Сталин / Д. С. Хмельницкий. – М. : НЛО, 2007. – 304 с.

Цыплаков, И. Ф. Корона сибирской столицы : хроника исторического центра г. Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск : Сиб. горница, 2003. – 366 с.

- Чамеев, А. А.* Лицом к лицу с призраками, или Шаг во тьму : сб. / А. А. Чамеев // Готический рассказ XIX–XX вв. : сб. – М. : Эксмо, 2010. – С. 5–21.
- Черепов, А. И.* Барнаул / А. И. Черепов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1955. – 86 с.
- Чернов, К. А.* Военные парады в Томске / К. А. Чернов // Сибирская старина. – 2003. – № 20. – С. 22–23.
- Чернопятов, В. И.* Некрополь Крымского полуострова / В. И. Чернопятов. – М. : Тип. Л. И. Пожидаевой, 1910. – 314 с.
- Чех, С. С.* Опыт исследования Старого Симферопольского кладбища / С. С. Чех // Изв. / Таврич. учен. архив. комис. – 1918. – № 55. – С. 321–329.
- Чугунов, С. М.* Материалы для антропологии Сибири : вып. 13 : древнее кладбище близ г. Томска «Тоянов городок» / С. М. Чугунов // Изв. / Императ. Томск. ун-т. – 1902. – С. 30–60.
- Чугунов, С. М.* Материалы для антропологии Сибири : вып. 14 : старинное Татарское и следы других кладбищ в «Юрточной» части г. Томска / С. М. Чугунов // Изв. / Императ. Томск. ун-т. – 1904. – С. 10–30.
- Чугунов, С. М.* Материалы для антропологии Сибири : вып. 15 : антропологический состав населения г. Томска по данным пяти старинных православных кладбищ / С. М. Чугунов // Изв. / Императ. Томск. ун-т. – 1905. – С. 237–240.
- Чуйкина, С. А.* Дворянская память : «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–1930-е гг.) / С. А. Чуйкина. – СПб. : Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2006. – 259 с.
- Чулков, Н. П.* Москва и декабристы / Н. П. Чулков // Декабристы и их время : труды Московской и Ленинградской секций по изучению декабристов и их времени. – М. ; Л. : Изд-во политехнорган, 1932. – Т. 2. – С. 291–323.
- Шабунин Е. А.* Храмы Новосибирска : исторический путеводитель / Е. А. Шабунин. – Новосибирск : [б. и.], 2002. – 80 с.
- Шалаева, Н. В.* План советской монументальной пропаганды / Н. В. Шалаева // Вестн. / Челяб. гос. ун-т. – 2014. – № 8. – С. 30–35.
- Шелегина, О. Н.* Музеи Сибири: очерки создания, развития, адаптации : моногр. / О. Н. Шелегина. – Новосибирск : [б. и.], 2010. – 243 с.

Шереметевский, В. В. Русский провинциальный некрополь / В. В. Шереметевский. – Репр. воспроизв. изд. 1914 г. – СПб. : Б-ка РАН : Альфарет, 2006. – 240 с.

Шеррер, Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти [Электронный ресурс] / Ю. Шеррер // Перспективы : сетевое изд. Центра исследований и аналитики Фонда ист. перспективы. – Режим доступа: <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=48576> (дата обращения: 13.10.2015).

Шилин, С. А. Общественные праздники в Барнауле (конец XIX – начало XX в.) / С. А. Шилин. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2008. – 54 с.

Шилов, Д. Н. «Русский некрополь» великого князя Николая Михайловича: история создания, неопубликованные материалы / Д. Н. Шилов. – М. : Старая Басманная, 2004. – 172 с.

Шиловский, М. В. Вопрос о городе / М. В. Шиловский // Новосибирск-Метро. – 2007. – 8 авг.

Шиловский, М. В. Первая русская революция 1905–1907 гг. в Сибири / М. В. Шиловский. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2012. – 319 с.

Шиловский, М. В. Томский погром 20–22 октября 1905 г.: хроника, комментарий, интерпретация / М. В. Шиловский. – Томск : ТГУ, 2010. – 148 с.

Шахитов, И. Забытые погосты, или На костях предков / И. Шахитов // Аргументы и факты в Омске. – 2002. – 12 янв.

Шишкин, В. И. Гражданская война в Сибири (1920 г.) [Электронный ресурс] / В. И. Шишкин // Сибирская заимка. – 2000. – № 7. – Режим доступа: <http://zaimka.ru/soviet/shishkin2.shtml> (дата обращения: 13.10.2015).

Ширяева, П. Г. Из истории становления революционных пролетарских традиций / П. Г. Ширяева // Советская этнография. – 1970. – № 3. – С. 38–48.

Шокарев, С. Ю. Русский средневековый некрополь: обряды, представления, повседневность (на материалах Москвы XIV–XVII вв.) / С. Ю. Шокарев // Культура памяти : сб. ст. / науч. ред. Э. А. Шулепова ; сост. А. В. Святославский. – М. : Древлехранилище, 2003. – С. 141–187.

Шулепова, Э. А. Русский некрополь под Парижем / Э. А. Шулепова. – М. : Рос. ин-т культурологии, 1993. – 95 с.

Щербин, Н. М. История создания, становления и развития общественно-краеведческих музеев в Сибири (вторая половина XIX – первая треть XX в.) / Н. М. Щербин // Роль музеев в формировании и трансляции региональной идентичности / под ред. Н. М. Щербина. – Новосибирск : Параллель, 2012. – С. 266–282.

Щербинин, А. И. «Красный день календаря» : формирование матрицы восприятия политического времени в России / А. И. Щербинин // Вестн. / Томск. гос. ун-т : сер.: «Философия. Социология. Политология». – 2008. – № 2. – С. 52–69.

Щербинин, А. И. Тоталитарная индокринация: у истоков системы : политические праздники и игры / А. И. Щербинин // Полис. – 1998. – № 5. – С. 79–96.

Щербинин, А. И. Тоталитарная индокринация как управление сознанием : учеб. пособие / А. И. Щербинин. – Томск : Изд-во ТГУ, 2012. – 271 с.

Щербинина, Н. Г. Тоталитарный миф о вождях / Н. Г. Щербинина // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. – Томск : Томск. обл. антифашист. ком., 1998. – Вып. 2. – С. 119–124.

Эгге, О. Загадка Кирова : убийство, развязавшее сталинский террор / О. Эгге ; пер. с англ. А. А. Пешкова, Г. И. Германенко. – М. : РОССПЭН, 2011. – 285 с.

Эксле, О. Г. История памяти – новая парадигма исторической науки / О. Г. Эксле // Историческая наука сегодня : Теории. Методы / под ред. Л. П. Репиной. – М. : УРСС, 2012. – С. 75–90.

Энкер, Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе / Б. Энкер ; пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. – М. : РОССПЭН, 2011. – 437 с.

Энциклопедия города Омска : в 3 т. / Администрация г. Омска. – Омск : Лео, 2009–2011.

Ядринцев, Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении / Н. М. Ядринцев. – Новосибирск : Сиб. хронограф, 2003. – 556 с.

Янгиров, Р. Прощание с мертвым телом [Электронный ресурс] / Р. Янгиров // Отечественные записки : журн. для медлен. чтения. – 2007. – № 2. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/2007/2/proshchanie-s-mertvym-telom> (дата обращения: 13.12.2015).

Ястржембский, Л. А. Московский некрополь декабристов / Л. А. Ястржембский // Декабристы в Москве : тр. Музея истории и реконструкции Москвы / под ред. Ю. Г. Османа. – М. : Моск. рабочий, 1963. – Вып. 8. – С. 265–278.

Art of the Soviets : Painting, Sculpture and Architecture in a One-Party State, 1917–1992 / M. C. Bown, B. Taylor, ed. – Manchester : Manchester University Press, 1993. – 231 p.

Bonnell, V. E. Iconography of Power : Soviet Political Posters under Lenin and Stalin / V. E. Bonnell. – Berkley ; Los Angeles ; L. : University of California press, 1997. – 385 p.

Bown, M. Art under Stalin / M. Bown. – N. Y. : Holmes and Meir, 1991. – 256 p.

Brooks, J. Thank You, Comrade Stalin! : Soviet Public Culture from Revolution to Cold War / J. Brooks. – Princeton : Princeton university press, 2000. – 344 p.

Brzezinski, Z. Ideology and Power in Soviet Politics / Z. K. Brzezinsky. – N. Y. : Praeger, 1960. – 180 p.

Burke, P. Eyewitnessing : the uses of Images as Historical Evidence / P. Burke. – Ithaca ; N. Y. : Cornell university press, 2001. – 234 p.

Chatterjee, C. Celebrating Women : Gender, Festival Culture, and Bolshevik Ideology, 1910–1939 / C. Chatterjee. – Pittsburgh, PA : University of Pittsburg press, 2002. – 240 p.

Conquest, R. Stalin and the Kirov Murder / R. Conquest. – N. Y. : Oxford University Press, 1989. – 192 p.

Connerton, P. Seven Types of Forgetting? / P. Connerton // Memory Studies. – 2008. – № 1. – Pp. 59–71.

Corney, F. C. Telling October : Memory and the Making of the Bolshevik Revolution / F. C. Corney. – Ithaca, N. Y : Cornell University press, 2004. – 266 p.

Edele, M. Stalinist Society, 1928–1953 / M. Edele. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 367 p.

Friedrich, C. J. Totalitarian Dictatorship and Autocracy / C. J. Friedrich, K. Zbigniew, K. Brzezinski. – N. Y. : Praeger, 1961. – 346 p.

Hellbeck, J. Fashioning the Stalinist Soul : The Diary of Stepan Podlubnyi, 1931–1939 / J. Hellbeck // Stalinism : New Direction / ed. by S. Fitzpatrick. – L. ; N. Y. : Routledge, 2000. – Pp. 77–116.

Hoffman, D. L. Stalinist Values : the Cultural Norms of Soviet Modernity / D. L. Hoffman. – Ithaca ; L. : Cornell University Press, 2003. – 247 p.

Hoskins, A. Editorial / A. Hoskins, A. Barnier, W. Kansteiner, J. Sutton // Memory Studies. – 2008 . – № 1. – P. 5–7.

Kenez, P. Cinema and the Soviet Society from the Revolution to the Death of Stalin / P. Kenez. – L. ; N. Y. : Tauris, 2001. – 252 p.

Kenez, P. The Birth of the Propaganda State : Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929 / P. Kenez. – Cambridge ; N. Y. : Cambridge University Press, 1985. – 308 p.

Knight, A. Who killed Kirov? : The Kremlin's Grates Mystery / A. Knight. – N. Y. : Hill & Wang , 2000. – 336 p.

King, D. Russian Revolutionary Posters : from Civil War to Socialist Realism, from Bolshevism to the end of Stalin : from the David King Collection at Tale Modern / D. King. – L. : Tale publ., 2012. – 144 p.

Kotkin, S. Magnetic Mountain : Stalinism as Civilization / S. Kotkin. – Berkeley : University of California Press. –1995. – 639 p.

Lenoe, M. E. Closer to the Masses : Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers / M. E. Lenoe. – Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2004. – 315 p.

Lenoe, M. E. The Kirov murder and Soviet history / M. E. Lenoe. – New Haven, Conn. ; L. : Yale University Press, 2011. – 833 p.

Merridale, C. Death and Memory in Modern Russia / C. Merridale // History Workshop Journal. – 1996. – № 42. – P. 1–18.

Merridale, C. Night of Stone : Death and Memory in Twentieth-Century Russia / C. Merridale. – L. : Penguin books, 2000. – 404 p.

Merridale, C. Revolution among the Dead : Cemeteries in Twentieth-Century Russia / C. Merridale // Moritaly. – 2003. – Vol. 8. – № 2. – P. 176–188.

Nora, P. Between Memory and History : Les Lieux de Memoire / P. Nora // Representations. – 1989. – № 26 : Special issue : Memory and Counter-Memory. – P. 7–24.

Petrone, K. The Grate War in Russian Memory / K. Petrone. – Bloomington : Indiana University Press, 2011. – 408 p.

Petrone, K. Life Has Become More Joyous, Comrade : Celebrations in the Time of Stalin / K. Petrone. – Bloomington : Indiana University Press, 2000. – 266 p.

Pristland, D. Stalinism and the Politics of Mobilization : Ideas, Power and Terror in Inter-War Russia / D. Priestland. – Oxford ; N. Y. : Oxford University Press, 2007. – 487 p.

Rites of Place : Public Commemoration in Russia and Eastern Europe / ed. and with an introduction by J. Buckler, E. D. Johnson. – Evanston, IL : Northwestern University Press, 2013. – 338 p.

Robinson, D. Beautiful Death: art of the Cemetery / D. Roberson, D. Koontz. – N. Y. : Penguin Studio, 1996. – 176 p.

Sherman, D. The Construction of Memory in Interwar France / D. Sherman. – Chicago : University of Chicago Press, 1999. – 176 p.

Stalinist Terror : New Perspectives / ed. by J. A. Getty, R. T. Manning. – Cambridge ; N. Y. ; Melbourne : Cambridge University Press, 1993. – 294 p.

Steenberg, L. Framing War : Commemoration, War & the Art Cinema [Electronic resource] / L. Steenberg // Cinephile : The University of British Columbia's Film Journal. – Available at: <http://cinephile.ca/wp-content/uploads/2008/10/steenber- framingwar.pdf> (accessed: 13.10.15).

Takiguchi, J. Cultural History of early Soviet Russia and its Repercussion to Political History / J. Takiguchi // Acta Slavica Iaponica. – Vol. 25. – P. 221–233.

Разрушение Храма Христа Спасителя : The Destruction of the Church of Christ the Savior : (самиздат) / вступ. ст. И. Иловойской-Альберти. – L. : Overseas publ. inter- change, 1988 – 205 с.

Tumarkin, N. The Living and the Dead : the Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia / N. Tumarkin. – N. Y. : Basic books, 1994. – 242 p.

Tumarkin, N. Lenin lives! : The Lenin Cult in Soviet Russia / N. Tumarkin. – Cambridge ; Massachusetts ; L. : Harvard University Press, 1983. – 315 p.

Tucker, R. Political Culture and Leadership in Soviet Russia : from Lenin to Gorbachev / R. C. Tucker. – Brighton, Sussex : Wheat sheaf Books, 1987. – 214 p.

Wander, R. Modes of Individualization at Cemeteries [Electronic resource] / R. Wander // Sociological Research Online. – 2009. – № 9. – Available at: <https://biblio.ugent.be/publication/1147654/file/6747445.pdf> (accessed: 13.10.15).

Watkins, M. G. The Cemetery and Cultural Memory: Montreal, 1860–1900 / M. G. Watkins // Urban History Review. – 2002. – Vol. 31., № 1. – P. 52–62.

Диссертации и авторефераты диссертаций

Акимов, П. А. Русское надгробие XVIII – первой половины XIX в. : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 / П. А. Акимов. – М., 2008. – 27 с.

Андюсев, Б. Е. Традиционное сознание крестьян-старожилов Приенисейского края 60-х гг. XVIII – 90-х гг. XIX в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Б. Е. Андюсев. – Красноярск, 2002. – 23 с.

Арнаутов, Н. Б. Образ «врага народа» в системе советской социальной мобилизации: идеолого-пропагандистский аспект (декабрь 1934 г. – ноябрь 1938 г.). : автореф. ... дис. канд. ист. наук : 07.00.02 / Н. Б. Арнаутов. – Томск, 2010. – 21 с.

Бердников, И. М. Сибирский православный некрополь XVIII–XIX вв. как археологический источник (по материалам исследований в Иркутске) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / И. М. Бердников. – Иркутск, 2012. – 22 с.

Боброва, С. Л. Творчество С. Т. Коненкова в 1920–1940-е гг. : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 / С. Л. Боброва. – М., 1992. – 29 с.

Божченко, О. А. Музей в формировании исторической памяти : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.03 / О. А. Божченко. – СПб., 2012. – 23 с.

Бутакова, Н. В. Общественный быт горожан Томской губернии во второй половине XIX – начале XX в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Н. В. Бутакова. – Барнаул, 2005. – 27 с.

Вакалова, Н. В. История возникновения и развития музеев Томской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 17.00.09 / Н. В. Вакалова. – Барнаул, 2006. – 23 с.

Великанова, О. В. Образ В. И. Ленина в государственной идеологии и общественном восприятии в Советской России : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / О. В. Великанова. – СПб., 1993. – 19 с.

Волков, Е. В. Белое движение в культурной памяти советского общества : эволюция «образа врага» : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / В. Е. Волков. – Челябинск, 2009. – 40 с.

Галай, Ю. В. Деятельность государственных органов Российской Федерации по охране памятников истории и культуры (1917–1929 гг.) : историко-правовой аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.91 / Ю. Г. Галай. – Н. Новгород, 1997. – 42 с.

Гарипова, Л. Г. Советская историография Гражданской войны в Сибири (конец 60-х – 80-е гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Л. Г. Гарипова. – Томск, 1991. – 20 с.

Герасименко, Е. Е. Музей в институционализации социальной памяти : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.03 / Е. Е. Герасименко. – СПб., 2012. – 23 с.

Григорьева, С. Е. История Томского областного краеведческого музея (1920–2000-е гг.) : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.03 / С. Е. Григорьева. – Томск, 2011. – 27 с.

Деканова, М. К. Трансформация российской праздничной культуры в конце XIX – первой трети XX в.: центр и провинция : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / М. К. Деканова. – Самара, 2009. – 19 с.

Киндзерская, М. А. Музейное дело и сохранение историко-культурных памятников России (начало XX в. – конец 1930-х гг.) : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.03 / М. А. Киндзерская. – Краснодар, 2005. – 28 с.

Котылева, И. Н. Праздничная культура Европейского Северо-Востока России в 1918 г. – начале 1930-х гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / И. Н. Котылева. – Сыктывкар, 2005. – 27 с.

Лиманова, С. А. Официальные церемонии в городском пространстве Петербурга и Москвы в царствование Николая II : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / С. А. Лиманова. – М., 2013. – 30 с.

Литвинов, А. В. Профессорско-преподавательский корпус Томского университета (20–30-е гг. XX в.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. В. Литвинов. – Томск, 2002. – 22 с.

Логунова, М. О. Траурный церемониал в Российской империи в XVIII–XIX вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / М. О. Логунова. – СПб., 2010. – 21 с.

Лойко, В. М. Большевики Западной Сибири в борьбе за ликвидацию последствий колчаковщины (конец 1919 – 1920 г.): по материалам Томской, Омской и Алтайской губерний : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / В. М. Лойко. – Новосибирск, 1957. – 21 с.

Михеенков, Е. Г. Вузовская интеллигенция Томска в годы революции и Гражданской войны : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Е. Г. Михеенков. – Томск, 2002. – 26 с.

Мордасова, М. А. Праздничная культура Южного Урала в 1917–1941 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / М. А. Мордасова. – Челябинск, 2005. – 26 с.

Мороз, Е. В. Феномен тоталитаризма в американской историографии (1930–1980-е гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.09 / Е. В. Мороз. – Кемерово, 2006. – 50 с.

Некрылов, С. А. Профессорско-преподавательский корпус Томского университета (1888–1917 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / С. А. Некрылов. – Томск, 1999. – 26 с.

Неподобная, Г. А. Государственная политика в отношении культурного наследия в 1921–1929 гг. (на материалах Урала) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Г. А. Неподобная. – Екатеринбург, 2002. – 22 с.

Овчинникова, Л. И. Художественная жизнь Томска в переломные годы истории Сибири (1917–1922) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Л. И. Овчинникова. – Томск, 2006. – 20 с.

Озеров, Ю. В. История погребальной культуры российской провинции в конце XVIII – начале XX в.: на примере Курской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Ю. В. Озеров. – Курск, 2004. – 24 с.

Павленко, А. А. Смерть в культуре тезауруса современной культуры России : дис. ... канд. культурологии / А. А. Павленко. – Комсомольск-на-Амуре, 2014. – 174.

Панков, В. В. Проблема рационального и иррационального в историческом познании : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / В. В. Панков. – Магнитогорск, 2006. – 21 с.

Плотникова, М. Е. Советская историография Гражданской войны и интервенции в Сибири : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.09 / М. Е. Плотникова. – Томск, 1974. – 48 с.

Сабурова, Т. А. Интеллигенция Омска на рубеже XIX–XX вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Т. А. Сабурова. – Омск, 1995. – 18 с.

Святославский, А. В. Среда обитания как среда памяти : к истории отечественной мемориальной культуры : автореф. дис. ... д-ра культурологии : 24.00.01 / А. В. Святославский. – М., 2012. – 53 с.

Соколова, А. Д. Трансформации похоронной обрядности у русских в XX–XXI вв.: на материалах Владимирской области : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / А. Д. Соколова. – М., 2013. – 33 с.

Фролова, А. В. Праздники русских Архангельского Севера в XX – начале XXI в.: традиции и инновации : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / А. В. Фролова. – М., 2007. – 34 с.

Хмылёв, В. Л. Феномен тоталитаризма: генезис, сущность, формы (социально-философский анализ) : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / В. Л. Хмылёв. – Томск. – 17 с.

Чеснокова, М. Н. Эволюция музейной экспозиции как знаковой системы : дис. ... канд. культурологии : 24.00.03 / М. Н. Чеснокова. – СПб., 2010. – 136 с.

Шалагин, Н. В. Русская литература социалистического реализма и проблема ее генезиса : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Н. В. Шалагин. – Н. Новгород, 2006. – 26 с.

Шаповалов, С. Н. Историческая трансформация российских (советских) государственных праздников в 1917–1991 гг. (на материалах Краснодарского края и Ростовской области) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / С. Н. Шаповалов. – Краснодар, 2011. – 27 с.

Шилов, Д. Н. «Русский некрополь» великого князя Николая Михайловича (история создания, неопубликованные материалы и проблемы их изучения и издания) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Д. Н. Шилов. – СПб., 2004. – 22 с.

Шиловский, М. В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX в. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / М. В. Шиловский. – Новосибирск, 1992. – 34 с.

Шокарев, С. Ю. Московский некрополь XV – начала XX в. как социокультурное явление (источниковедческий аспект) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / С. Ю. Шокарев. – М., 2000. – 25 с.

Щегорцов, В. А. Эволюция политической культуры советского общества : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 23.00.03 / В. А. Щегорцов. – М., 1991. – 54 с.

Hartzok, J. G. Children of Chapaev : the Russian Civil War cult and the creation of Soviet identity, 1918–1941 [Electronic resource] : theses and PhD diss. / J. G. Hartzok ;

University of Iowa. – Iowa, 2009. – Available at: <http://ir.uiowa.edu/etd/1227> (accessed: 14.10.2015).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Визуальные материалы



Рис. 1. Фото памятника на могиле И. Е. Кононова (Преображенское кладбище), выполненное Н. В. Татауровым (дата не отмечена). При сносе монастырских кладбищ останки Кононова перенесли на Преображенское кладбище.

В настоящее время памятник не существует. Из фондов ГАТО¹.

¹ ГАТО. – Ф. Р-1313. – Оп. 2. – Д. 814.

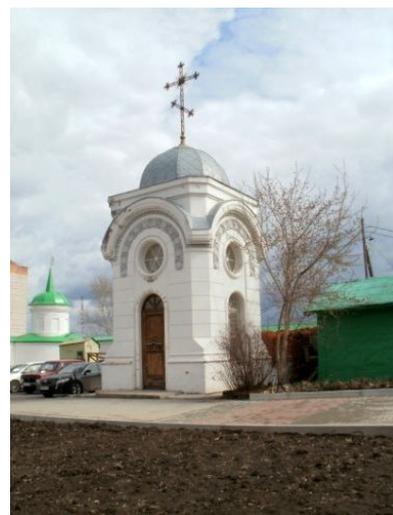


Рис. 2. Место, где находилось кладбище Алексеевского мужского монастыря в Томске. Современный вид. Фото автора (2011 г.)

Рис. 3. Восстановленная часовня на могиле Святого Федора Томского (старца Федора Кузьмича). Территория Алексеевского монастыря. Место монастырского кладбища. Современный вид. Фото автора (2011 г.)



Рис. 4. Сегодня о погосте Алексеевского монастыря напоминает надгробный крест у подножия храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Надпись на кресте сообщает: «Архимандрит Иона (Изосимов) † 1908; Архимандрит Лазарь (Тенерозов) † 1908». Фото автора (2011 г.)

Рис. 5. Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Алексеевский мужской монастырь в Томске. Современный вид. Фото автора (2011 г.)



Рис. 6. Памятник на могиле Г. Н. Потанину в Университетской роще (Томск). В 1956 г. могила была перенесена с разрушенного кладбища женского Иоанно-Предтеченского монастыря, в 1958 г. установлен памятник (скульптор И. С. Данилин). Фото автора (2011 г.).



Рис. 7. Мемориальная доска, установленная в Томске в 1991 г. на стене здания, где находилась редакция газеты «Сибирская жизнь» (угол ул. Гагарина и пер. Нахановича) в память об А. В. Адрианове. Местонахождение его могилы не установлено.

Фото автора (2011 г.).



Рис. 8. Воскресенская церковь в Томске. Здание было заложено в 1789 г. Близ церкви существовал погост. Архитектурный памятник республиканского значения.

Фото автора (2011 г.).



Рис. 9. Старинная надгробная плита на могиле купца-благотворителя А. А. Васильева (ум. в 1898 г.) близ Воскресенской церкви в Томске.

Фото автора (2007 г.).



Рис. 10. Интересный пример могилы «верного солдата пролетарской революции, павшего от предательских пуль банд Колчака, товарища Д. М. Смирнова» у подножия храма на кладбище Донского монастыря в Москве. Фото автора (2014 г.).



Рис. 11. Траурные сообщения о смерти П. И. Макушина в газете «Красное знамя».

Рис. 12. Современный памятник на могиле П. И. Макушина близ основанного им Дома науки и культуры. Томск. Фото автора (2011 г.)



Рис. 13. Воскресенская церковь на Старом кладбище в Новониколаевске. Дореволюционное фото.



Рис. 14. Вид Воскресенской церкви после закрытия в 1930-х гг.¹



Рис. 15 Похороны инженера Н. М. Тихомирова в Новониколаевске (1900 г.)²

¹ Шабунин Е. А. Церковь в честь Воскресения Христова на Старом кладбище [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.orthedu.ru/kraeved/602-09.html> (дата обращения: 20.12.2015).

² Новосибирский некрополь. – С. 25.



Рис. 16. Надгробие М. П. Сабуровой, возможно, перенесенное с разрушенного Успенского кладбища на Заельцовское. Новосибирск.

Фото автора (2011 г.).

Рис. 17. Надгробие А. С. Сабуровой на Заельцовском кладбище.

Новосибирск. Фото автора (2011 г.).



Рис. 18. Пример современного памятника на могиле, перенесенной на Заельцовское кладбище в послевоенное время: надгробие Бердышевой Матроны Григорьевны (1872–1919), Новосибирск. Фото автора (2011 г.).



Рис. 19. Современное надгробие на могиле известного инженера-путейца Н. М. Тихомирова (1857–1900), останки которого изначально покоились в ограде Александро-Невского собора в Новониколаевске. Новосибирск, Заельцовское кладбище. Фото автора (2011 г.).



Рис. 20. Могила владыки Никифора [Н. П. Асташевского] (1848–1934) на Заельцовском кладбище. Перенесена в 1960-х гг. с погоста при Успенской церкви. Фото Е. А. Шабунина (2005 г.)¹.

¹ Шабунин Е. А. Православный некрополь [Электронный ресурс] // Образование и православие: web-сайт. – URL: <http://www.rthedu.ru/kraeved/nekropol/print:page,1,434-09.html> (дата обращения: 14.02.2016).



Рис. 21. Надгробие братьев Таракановых с разрушенного Закаменского кладбища в Новосибирске. Фото автора (2007 г.).

Рис. 22. Уцелевшее безмянное надгробие на разрушенном Закаменском кладбище. Новосибирск. Фото автора (2007 г.).



Рис. 23. Сад Сталина, разбитый на месте Воскресенского кладбища в Новосибирске. Фото 1930-х гг.¹

¹ Кузьменкина Л. А. История Центрального парка [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bsk.nios.ru/content/istoriya-centralnogo-parka.html>. (дата обращения: 20.12.2015).



Рис. 24. В Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска в настоящее время. Новосибирск. Фото автора (2015 г.).



Рис. 25. Памятник на могиле Н. М. Ядринцева. Барнаул, Нагорное кладбище. Фото автора (2012 г.).



Рис. 26. Восстановленное надгробие на могиле К. Д. Фролова.
Барнаул, Нагорное кладбище. Фото автора (2012 г.).



Рис. 27. Восстановленное надгробие на могиле Ф. В. Геблера.
Барнаул, Нагорное кладбище. Фото автора (2012 г.).



Рис. 28. Современное надгробие на могиле В. К. Штильке.
Барнаул, Нагорное кладбище. Фото автора (2012 г.).



Рис. 29. Современное состояние Нагорного кладбища. Барнаул.
Фото автора (2012 г.).



Рис. 30. Современный памятник на месте старого Нагорного кладбища.
 Надпись на памятнике: «Всем покоящимся и погребенным в этом месте».
 Барнаул. Фото автора (2012 г.).

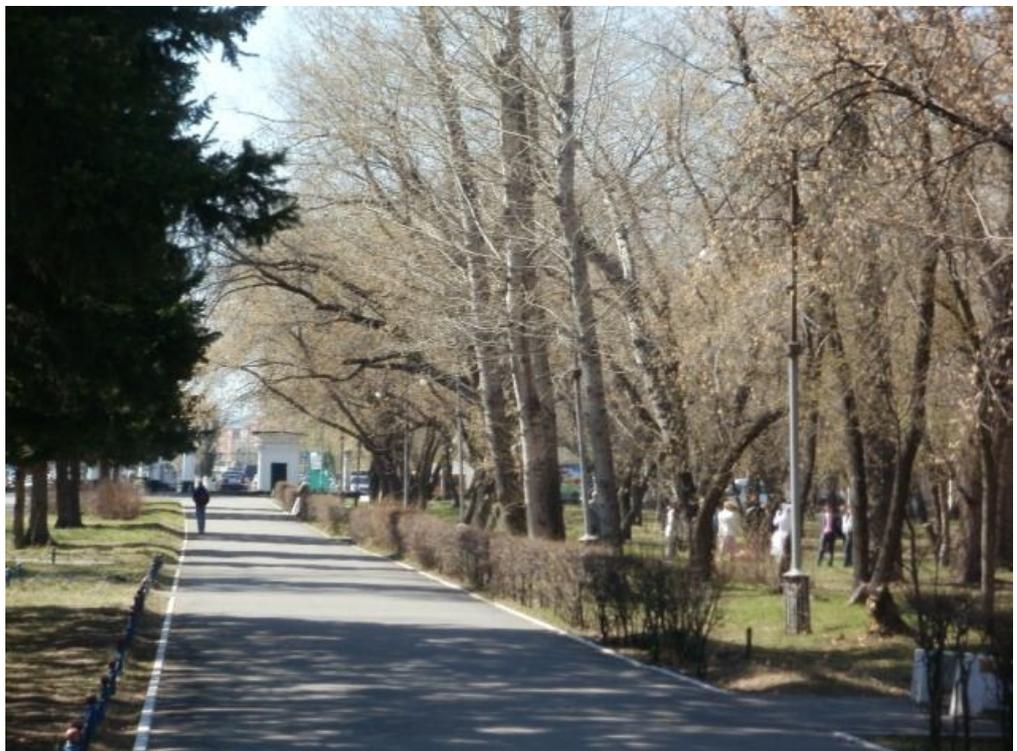


Рис. 31. В парке культуры и отдыха на месте старого Крестовоздвиженского
 кладбища. Барнаул. Фото автора (2012 г.).



Рис. 32. Искусственное озеро в парке культуры и отдыха на месте старого Крестовоздвиженского кладбища. Барнаул. Фото автора (2012 г.).



Рис. 33. В парке на месте Казачьего кладбища в Омске.
Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 34. Уцелевшее надгробие К. Д. Чукреева на разрушенном Казачьем кладбище в Омске. Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 35. Обломок надгробия доктора медицины М. С. Левантуева на месте старого Казачьего кладбища в Омске. Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 36. Обломки надгробия купца М. И. Галина с Казачьего кладбища в Омске. Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 37. Примеры обновленного надгробия на могиле 1936 г. на Казачьем кладбище. Омск. Фото А. В. Жидченко (2014 г.)



Рис. 38. Еще одно обновленное надгробие на могиле второй половины 1930-х гг. Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 39. Вскрытие могилы жертв мартовского восстания против «колчаковщины» в Томске¹. Томск, 1920 г.

¹ Гражданская война в Сибири [Электронный ресурс]: фотоматериалы. – URL: <http://gorod.tomsk.ru/index-1231783842.php> (дата обращения: 20.12.2015).



Рис. 40. Торжественное перезахоронение жертв мартовского восстания против «колчаковщины» в Томске¹. Томск, 1920 г.



Рис. 41. Прощание с жертвами «колчаковщины» в Омске. Омск, 1920 г.²

¹ Гражданская война в Сибири [Электронный ресурс].

² Омский обком КПРФ [Электронный ресурс]: Депутаты от партии. Наглядная агитация. Газеты «Красный путь» и «Омское время». – URL: <http://www.omsk-kprf.ru/?q=node/8260> (дата обращения: 20.12.2015).

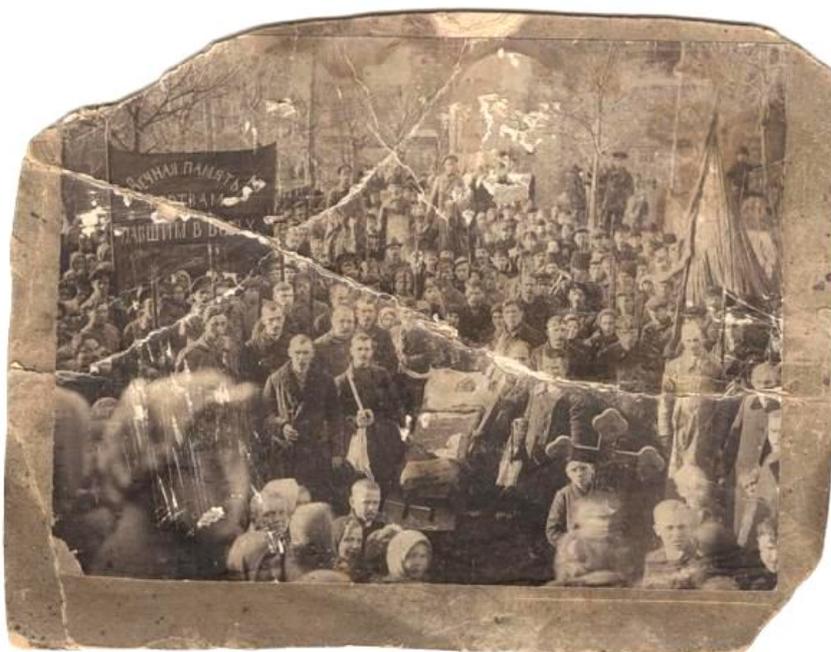


Рис. 42. Траурное шествие на похоронах красноармейца.
Томск, 1919 или 1920 г.¹



Рис. 43. Фото из подборки «Жертвы Колчака». Новониколаевск, 1919 г.²

¹ Гражданская война в Сибири [Электронный ресурс].

² Корсакова М. И. Погосты, кладбища, братские могилы // История города: Новониколаевск – Новосибирск: ист. очерки. – Новосибирск, 2005. – Т. 2. – С. 359.



Рис. 44. Памятник на могиле жертв Гражданской войны в Новосибирске.

Фото автора (2015 г.).



Рис. 45. Надпись на памятнике на могиле жертв Гражданской войны в Новосибирске. Фото автора (2015 г.)



Рис. 46. Надгробие XIX в. на старом католическом кладбище в Гродно. Опущенный факел символизирует угасание жизни. Фото автора (2013 г.).



Рис. 47. Проект памятника, присланный на конкурс 1923 г. в Томске (из фондов ГАТО). Автор точно не известен. Надпись на памятнике: «Вы сеяли разумное, доброе и вечное, спасибо сердечное скажет Вам освобожденный народ»¹.

¹ ГАТО. – Ф. Р-199. – Оп. 1. – Д. 126. – Л. 17.

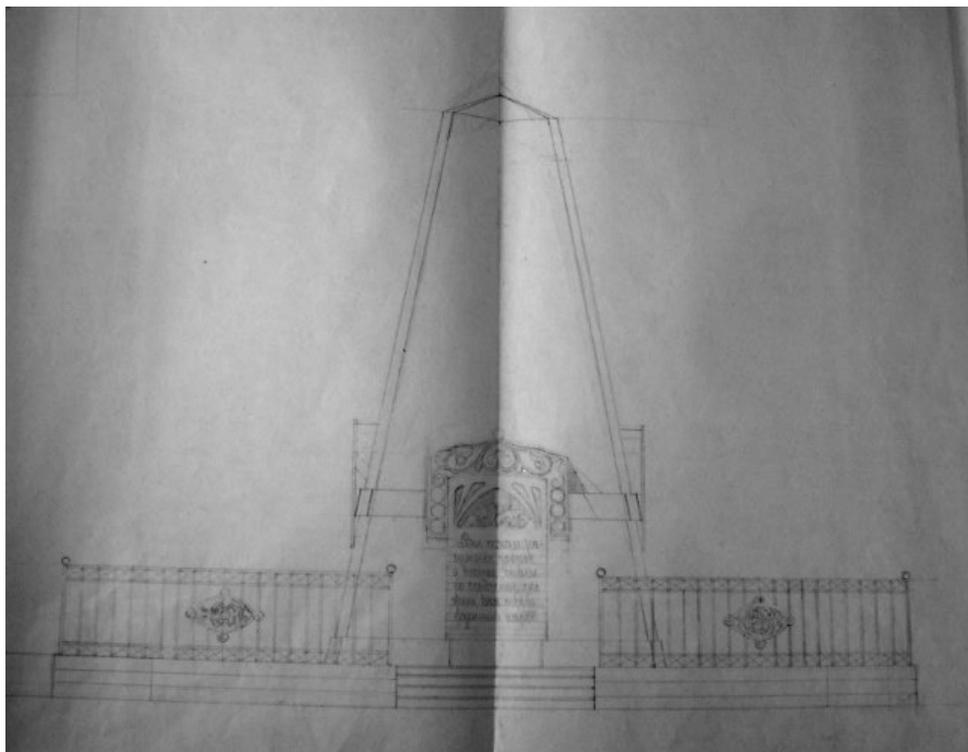


Рис. 48. Тот же проект в карандашном рисунке.

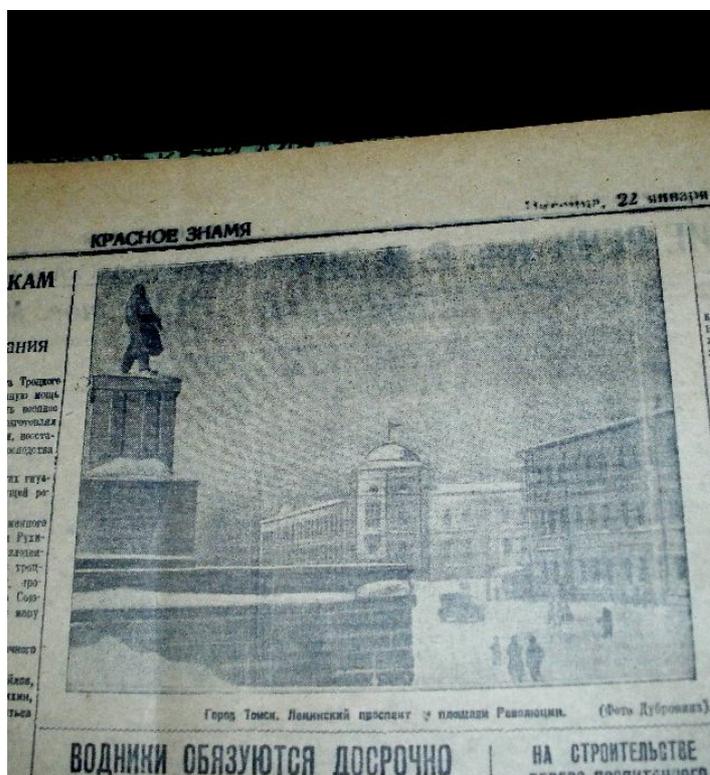


Рис. 49. Фото томского памятника В. И. Ленину на пл. Революции в газете «Красное знамя» (22 янв. 1937 г.).



Рис. 50. Вид площади Революции в Томске с памятником В. И. Ленину.
Фото Н. В. Татаурова. Из фондов ГАТО¹.



Рис. 51. Памятник у братской могилы жертв неудачного восстания против режима А. В. Колчака в Томске на Новособорной площади (пл. Революции). Современное состояние. Находившийся на этой же площади памятник В. И. Ленину снесен.

Фото автора (2011 г.).

¹ Там же. – Д. 818.



Рис. 52. Фото томского памятника жертвам «колчаковщины» в газете «Красное знамя» (26 апр. 1940 г.).



Рис. 53. Вид площади Революции в Томске с памятником жертвам «колчаковщины». Фото Н. В. Татаурова. Из фондов ГАТО¹.

¹ ГАТО. – Ф. Р-1313. – Оп. 2. – Д. 820.



Рис. 54. Пример католического надгробия в классическом стиле.
Старое католическое кладбище Гродно. Фото автора (2013 г.).



Рис. 55. Памятник Парижской коммуне в Омске. Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 56. Современная пояснительная табличка на памятнике парижским коммунарам и на братской могиле «жертв колчаковщины» в Омске.

Фото А. В. Жидченко (2014 г.).

Рис. 57. Еще одна пояснительная табличка на омском памятнике.

Фото А. В. Жидченко (2014 г.).



Рис. 58. Страница газеты «Омская правда» за 23 апреля 1940 г.

На фото изображена мемориальная выставка в городском Доме партийного просвещения, посвященная 70-летию со дня рождения В. И. Ленина.



Рис. 59. Страница из газеты «Омская правда» за 26 апреля 1941 г. Опубликован фоторепортаж о премьере спектакля «Ленин в 1918 году», прошедшей в день рождения В. И. Ленина в Омском областном театре драмы.



Рис. 60. Еще одно фото из репортажа со спектакля «Ленин в 1918 году». В роли Ленина – Н. А. Колесников.



Рис. 61. Дом Ленина в Новосибирске. Фото 1920-х гг.¹

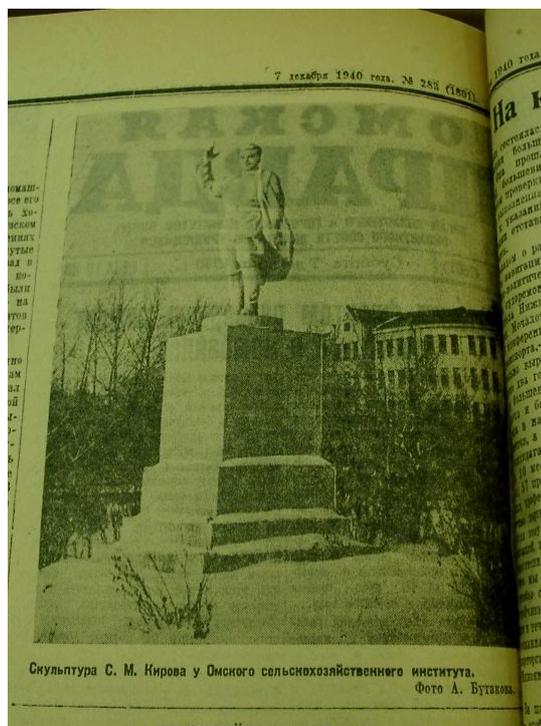


Рис. 62. Фото памятнику С. М. Кирову в Омске, опубликованное в газете «Омская правда» 7 декабря 1940 г.

¹ Дом Ленина: вперед в прошлое. К 90-летию Дома Ленина [Электронный ресурс] // Новосибирская филармония : web-сайт. . – URL: <http://filnsk.ru/afisha/dom-lenina-vpered-v-proshloe/?date=12.09.2015>



Рис. 63–64. Примеры частных траурных объявлений, опубликованных в томской газете «Красное знамя».



Рис. 65. Траурное фото тела академика М. А. Усова, опубликованное в томской газете «Красное знамя» 30 июля 1939 г.



Рис. 66. Фото из семейного альбома Г. Д. Ким. Прощание родных с умершей девочкой (Нина Старикова). Снято в фотоателье Успенского кладбища в Новосибирске. 1940 г.



Рис. 67. Фото из семейного альбома Г. Д. Ким. Прощание семьи с умершим ребенком. Снято в фотоателье Успенского кладбища в Новосибирске. Конец 1930-х гг.



Рис. 68. Фото из семейного альбома А. В. Забелиной. Прощание родных с умершим ребенком возле дома. Новосибирск, 1930-е гг.



Табличка дарственная от торгово-промышленного класса г. Омска Верховному правителю А.В. Колчаку. Омск. 1919 г.

Рис. 69. Фрагмент современной экспозиции ОГИК музея. Омск.
Фото автора (2013 г.).



Рис. 70. Семья сотрудников Томского краеведческого музея Борислава Петровича и Капитолины Николаевны Юхневич. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. К. Н. Юхневич (Атласова) заведовала историко-революционным отделом музея. В 1937 г. Б. П. Юхневич был репрессирован. Фото из фондов ГАТО (1924 г.)¹.



Рис. 71. Фото здания, где в 1903 г. находилась тайная типография (ул. Мухинская, д. 11). Из снимков томского фотографа Н. В. Татаурова. Томск, 1925 г. Из фондов ГАТО².

¹ ГАТО. – Ф. Р-1923. – Оп. 1. – Д. 6.

² Там же. – Д. 525.



Рис. 72. Демидовский столп в Барнауле. Современное состояние. Фото автора.
Барнаул (2012 г.).

Виды похоронных практик в Томске¹

Год	Православные похороны с отпеванием	Гражданские похороны с выносом тела из квартиры, из лечебного учреждения	Гражданские похороны с выносом тела из учреждения, «красного уголка»	Похороны, начинавшиеся рано утром	Прочие
1920	-	7	1	-	1
1921	-	1	5	-	-
1922	3	1	2	-	-
1923	1	1	-	1	1
1924	1	2	2	-	-
1925	13	23	-	2	-
1926	5	15	4	-	2
1927	6	16	5	-	-
1928	21	46	3	-	2
1929	14	50	7	-	-
1930	2	71	4	1	-
1931	1	91	4	2	-
1932	1	99	12	6	-
1933	-	80	13	2	-
1934	2	52	7	-	-
1935	-	43	8	1	-
1936	-	55	7	-	-
1937	1	43	4	-	-
1938	-	53	4	-	-
1939	-	63	7	1	-
1940	-	58	13	-	-
1/2	-	17	2	-	-

¹ Составлено по траурным объявлениям, опубликованных в газетах: «Сибирский коммунист» (январь 1920 г.); «Знамя революции» (февраль 1920 – октябрь 1921 г.); «Красное знамя» (октябрь 1921 – середина июня 1941 г.).

Виды похоронных практик в Новосибирске¹

Год	Православные похороны с отпеванием	Гражданские похороны с выносом тела из квартиры, из лечебного учреждения	Гражданские похороны с выносом тела из учреждения, «красного уголка»
1920	-	3	-
1921	-	-	-
1922	-	-	-
1923	-	-	-
1924	-	-	-
1925	-	4	2
1926	1	7	1
1927	1	10	6
1928	1	12	6
1929	-	14	3
1930	-	20	7
1931	-	22	6
1932	-	22	13
1933	-	42	13
1934	-	21	11
1935	-	29	20
1936	-	32	6
1937	-	7	4
1938	-	3	2
1939	-	-	2
1940	-	18	11
1/2 1941	-	7	2

¹ Составлено по траурным объявлениям, опубликованных в газетах: «Красное знамя» (1920 г.); «Советская Сибирь» (июнь 1921 – середина июня 1941 г.)

Виды похоронных практик в Омске¹

Год	Православные похороны с отпеванием	Гражданские похороны с выносом тела из квартиры, из лечебного учреждения	Гражданские похороны с выносом тела из учреждения, «красного уголка»	Похороны, начинавшиеся рано утром
1920	-	2	-	-
1921	-	-	-	-
1922	3	4	2	-
1923	-	1	-	-
1924	-	1	-	-
1925	1	8	3	-
1926	-	4	6	-
1927	1	6	1	2
1928	-	10	1	1
1929	-	18	3	-
1930	-	21	5	-
1931	-	15	8	-
1932	-	16	1	-
1933	-	7	3	-
1934	-	10	1	-
1935	-	9	1	-
1936	-	13	4	-
1937	-	7	4	-
1938	-	5	3	-
1939	-	20	6	-
1940	-	18	5	-
1/2 1941	-	19	4	-

¹ Составлено по газетам: «Советская Сибирь» (дек. 1919 – июнь 1921 г.); «Рабочий путь» (1922 – ноябрь 1934 г.); «Омская правда» (декабрь 1934 – первая половина 1941 г.).

Виды похоронных практик в Барнауле¹

Год	Православные похороны с отпеванием	Гражданские похороны с выносом тела из квартиры, из лечебного учреждения	Гражданские похороны с выносом тела из учреждения, «красного уголка»	Похороны, начинавшиеся рано утром
1920	1	1	-	1
1921	-	6	2	-
1922	1	6	3	2
1923	-	1	1	1
1924	-	1	2	-
1925	-	1	-	-
1926	-	5	2	-
1927	1	4	6	1
1928	2	9	-	-
1929	3	14	2	5
1930	-	13	2	-
1931	-	22	1	-
1932	-	11	1	-
1933	-	9	1	-
1934	-	6	2	1
1935	-	16	1	-
1936	-	-	2	-
1937	-	-	1	-
1938	-	5	7	-
1939	-	4	2	-
1940	-	-	-	-
1/2	-	-	-	-

¹ Составлено по траурным объявлениям, опубликованных в газетах: «Красный Алтай» (1920 – сентябрь 1937 г.); «Алтайская правда» (октябрь 1937 – середина июня 1941 г.).

Список сокращений

АН СССР – Академия наук СССР

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия

ГААК – Государственный архив Алтайского края

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ГАТО – Государственный архив Томской области

ИАОО – Исторический архив Омской области

НГА – Новосибирский городской архив

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

ОГИЗ – Объединение государственных книжно-газетных изданий

ОИС – Общество изучения Сибири и ее производительных сил

ОкрОНО – Окружной отдел народного образования

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории

РГИА – Российский государственный исторический архив

РГО – Русское географическое общество

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия

СНК – Совет народных комиссаров

ТГУ – Томский государственный университет

ТОКМ – Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова

ЦДНИТО – Центр документации Новейшей истории Томской области